This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
ORGANIZED 1891
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

George kaestlin.
Zelinskiĭ, V.A. №1

СОБРАНІЕ

КРИТИЧЕСКИХЪ МАТЕРІАЛОВЪ

ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЙ

И. С. ТУРГЕНЕВА.

Выпускъ второй.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

СОСТАВИЛЪ

В. Зелинскій.

Изданіе четвертое.

JPK

МОСКВА.
Типо-литографія В. Рихтеръ. Тверская, Мамоновскій пер., с. д.
1905.

92166

PG 3443
Z42
v. 2

ОГЛАВЛЕНІЕ

второй части второго выпуска „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“.

„Новь“.

Критическія статьи:

	Стр.
Изъ „Вѣстника Европы“ за 1877 г.	1
В. Чуйко. Изъ „Пчелы“ за 1877 г.	9
В. Г. Авсѣенка. Изъ „Русскаго Вѣстника“ за 1877 г.	24
П. Н. Ткачова (П. Никитина). Изъ „Дѣла“ за 1877 г.	41
Н. К. Михайловскаго. Изъ „Отеч. Записокъ“ 1877 г.	48
В. Г. Авсѣенка	53
К. Григорьева. Изъ „Дѣла“ за 1884 г.	67
В. Буренина	68
Говорухи-Отрока (Ю. Николаева)	72
И. Иванова	78
Д. Н. Овсянико-Куликовскаго	92
К. Чернышова	94
К. Головина	104

Критическіе отзывы о дѣйствующихъ лицахъ „Нови“—каждомъ въ отдѣльности.

Неждановъ.

Выдержки изъ критическихъ статей:	
П. Ткачова (П. Никитина).	109
В. Авсѣенка	112
О. Миллера	114
В. Буренина	115
Н. Михайловскаго	—
А. Незеленова	118
И. Иванова	119
Д. Овсянико-Куликовскаго.	131
К. Чернышова	132

Соломинъ.

Выдержки изъ критическихъ статей:	
В. Авсѣенка	139
В. Буренина	142
Н. Михайловскаго	146
Говорухи-Отрока (Ю. Николаева)	147
К. Чернышова	150
Д. Овсянико-Куликовскаго.	155
И. Иванова	157

Маріанна.

Выдержки изъ критическихъ статей и этюдовъ:	
В. Буренина	164
Н. Михайловскаго	—
О. Миллера	165
Говорухи-Отрока (Ю. Николаева)	166
К. Чернышова	168

Сипягинъ.

Выдержки изъ критическихъ статей и этюдовъ:
П. Ткачова (П. Никитина). 168
В. Буренина 169
А. Незеленова 171
В. Авсѣенка 172

Коломѣйцевъ.

Выдержки изъ критическихъ статей и этюдовъ:
В Буренина 173
П. Ткачова (П. Никитина). 174
А Незеленова 175

Маркеловъ.

Выдержки изъ критическихъ статей и этюдовъ:
Н. Михайловскаго. . . . 178
В. Авсѣенка 179
В. Буренина. 180
Говорухи-Отрока (Ю. Николаева). 181
Д. Овсянико-Куликовскаго. —

Паклинъ.

Отзывы:
В. Буренина. 182
Д. Овсянико-Куликовскаго. 183

Сипягина.

Отзывы П. Ткачова (П. Никитина) 183

Голушкинъ.

Отзывъ А. Незеленова. . 184

Машурина и Остродумовъ.

Характеристики:
В. Буренина. 186
Говорухи-Отрока (Ю. Николаева). . . . . —
Д. Овсянико-Куликовскаго. 187

Фомушка и Фимушка.

Отзывъ В. Авсѣенка. . . 188

„Разсказъ отца Алексѣя“.

Выдержа изъ критическаго этюда А. Незеленова 188

„Пѣснь торжествующей любви“.

Выдержки изъ критическихъ статей и этюдовъ:
В. Буренина. 192
Н. Михайловскаго. . . . 193
А. Незеленова 196
К. Головина 199

„Стихотворенія въ прозѣ“.

Выдержка изъ статьи Л. Е. Оболенскаго (Созерцателя) . . 200

„Клара Миличъ“.

Выдержки изъ критическихъ статей и этюдовъ:
В. Буренина 204
М. Протопопова. 205
Изъ „Недѣли“. Статьи М. П. 206
Л. Е. Оболенскаго (Созерцателя) 209

Библіографическій указатель къ сочиненіямъ И. С. Тургенева.

Библіографическій очеркъ Д. Языкова. 214

И. С. Тургеневъ. (некрологъ).

Статья Н. Г. Изъ „Русскаго Курьера“. 224

Отзывы иностранной печати о Тургеневѣ по поводу его смерти. 231

Похороны И. С. Тургенева.

Статьи:

М. М. Стасюлевича. 254
Изъ „Новостей“. 267
Порядокъ шествія на похоронахъ И. С. Тургенева. . . . 270
Рѣчи на могилѣ Тургенева. 277

Изъ воспоминаній о послѣднихъ дняхъ И. С. Тургенева. Статья М. М. Стасюлевича 280

Переписка Тургенева съ В. В. Стасовымъ и семьей Аксаковыхъ.

„Двадцать писемъ Тургенева и мое знакомство съ нимъ“. Статья Владиміра Васильевича Стасова 290
Переписка И. С. Тургенева съ семьей Аксаковыхъ 356

Алфавитный указатель произведеній Тургенева, именъ писателей, названій сочиненій, статей, книгъ, журналовъ, газетъ и т. п.,—упоминаемыхъ на страницахъ второй части второго выпуска „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“. 574

Отъ издателя.

Настоящее четвертое изданіе второй части второго выпуска „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“ увеличено противъ третьяго изданія этой книги болѣе чѣмъ въ два раза. Кромѣ того, что сюда вошли многія критическія статьи, преимущественно о „Нови“, которыхъ нѣтъ въ предыдущихъ изданіяхъ, эта часть дополнена еще двумя обширными перепиской Тургенева, а именно: съ Владиміромъ Васильевичемъ Стасовымъ и семьей Аксаковыхъ. Въ перепискѣ Тургенева съ Стасовымъ весьма ясно и опредѣленно вырисовывается намъ личность Тургенева со стороны его взглядовъ на искусство вообще и на русскихъ художниковъ и композиторовъ въ частности, а переписка съ Аксаковыми представляетъ собою не только весьма интересныя данныя для пониманія и изученія Тургенева, но и въ высшей степени цѣнный историко-литературный матеріалъ вообще.

В. Зелинскій.

„НОВЪ".

*) У насъ былъ обычай—при началѣ каждаго новаго года дѣлать, въ доступной намъ формѣ, оцѣнку общаго положенія дѣлъ и подводить какъ-бы балансъ истекавшему году. Нынѣшній разъ это сдѣлали не мы: въ первыхъ двухъ книгахъ журнала печатался новый романъ И. С. Тургенева. Что̀ общаго, спросятъ насъ—можетъ имѣть романъ съ подобнымъ образомъ внутренней политики за какой бы то ни было годъ? Но, во-первыхъ, не надобно забывать того, что у насъ литературныя условія чрезвычайно своеобразны, и только у насъ отъ беллетриста даже требуютъ, чтобы онъ былъ непремѣнно органомъ и выразителемъ общественныхъ стремленій, въ одинаковой степени съ публицистомъ,—даже въ бо́льшей степени, такъ какъ кисть художника имѣетъ для себя болѣе ширины и простора, чѣмъ перо чисто-публицистическаго писателя. Въ силу именно этого обстоятельства, и независимо даже отъ высокой степени своего художественнаго таланта, г. Тургеневъ былъ издавна наиболѣе вліятельнымъ изъ нашихъ беллетристовъ. Въ немъ видѣли, по преимуществу, „руководителя" общества. Онъ, конечно, не могъ быть руководителемъ безспорнымъ. Многіе отвергали его отношеніе къ нѣкоторымъ явленіямъ нашей жизни. Но достаточно вспомнить, что споры по поводу „Отцовъ и Дѣтей" послужили въ свое время поводомъ къ новой группировкѣ литературныхъ партій, что въ этихъ спорахъ сказалось съ особой ясностью

*) „Вѣстникъ Европы" 1877 г. № 3. „Внутреннее Обозрѣніе". „Новый романъ И. С. Тургенева, какъ страница изъ исторіи нашего вѣка".

различіе исходныхъ точекъ нашихъ талантливѣйшихъ публицистовъ—и мы убѣдимся, что какъ бы ярки ни были доводы противниковъ, приглашавшихъ общество не слѣдовать за приписанными г. Тургеневу воззрѣніями, никто, однако, не отрицалъ въ немъ ни права, ни призванія быть именно руководителемъ общества. Всѣ возраженія сводились только къ тому, что „руководитель“ въ данномъ случаѣ ошибся. Но самая энергія, цѣлая буря этихъ возраженій доказывала, что призванія его въ смыслѣ „руководительства“ не отрицали сами наиболѣе горячіе его противники.

„Новь“ явилась опять съ характеромъ діагнозы современныхъ общественныхъ симптомовъ, и нельзя не сознаться, что никогда еще г. Тургеневъ не писалъ произведенія, въ которомъ идеи автора выступили бы столь ясно, вполнѣ сознательно, осмысленно сначала и до конца. Здѣсь уже нѣтъ ни малѣйшаго повода къ недоразумѣніямъ, какъ въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ и „Дымѣ“. Прочтя „Новь“, вы совершенно опредѣленно видите, на какіе симптомы хотѣлъ указать писатель и какое онъ придаетъ имъ значеніе. Въ этой опредѣлительности, если можно такъ выразиться, высказанности почти до конца — характерное отличіе нынѣшняго произведенія г. Тургенева отъ всѣхъ предшествующихъ— и въ его пользу.

Но все-таки это—романъ, а не статья, діагноза, а не полное терапевтическое указаніе. Художникъ ясно созналъ и высказалъ симптомы, онъ даже подалъ совѣтъ, какъ уменьшить ихъ острый характеръ, но главная его заслуга все-таки только въ самой діагнозѣ, которою, какъ всякимъ раціональнымъ наблюденіемъ надъ признаками болѣзни, доказывается, что признаки эти не представляютъ чего то самопроизвольнаго. Художникъ не былъ обязанъ и даже не могъ не объяснить, отъ чего они зависятъ, ни предвидѣть возможности такихъ новыхъ явленій, которыя могли бы сперва сгладить, а потомъ и совсѣмъ устранить эти признаки. Единственная задача беллетриста — наблюденіе, художественное воспроизведеніе наблюдаемыхъ признаковъ въ ихъ взаимной связи и указаніе ихъ смысла. Если онъ пошелъ далѣе и

показалъ, какимъ образомъ они могли бы видоизмѣняться къ общей выгодѣ, то и при этомъ все-таки долженъ былъ оставаться исключительно въ избранной рамкѣ наблюдаемыхъ явленій, какъ они существуютъ въ данный моментъ. Если бы онъ вдался въ разсужденіе о томъ, что самая эта рамка, при другихъ обстоятельствахъ, могла бы измѣниться, то онъ вышелъ бы изъ области романа въ сферу чистой публицистики.

Такъ называемая „исторія“ на Казанской площади подоспѣла какъ-бы нарочно, чтобы показать всю справедливость увѣщаній почтеннаго автора о нелѣпости фантастическихъ попытокъ нѣкоторыхъ молодыхъ людей увлечь за собой народъ для достиженія цѣлей, которыя не только преступны, но совершенно непонятны народу. Эта „исторія“, послѣдовавшій приговоръ надъ участниками въ государственномъ преступленіи, разговоры въ обществѣ по этому поводу и вообще настроеніе нашей молодежи — вотъ предметы, которые неотступно становятся предъ нашими глазами, и положительно лишаютъ насъ внутренней возможности говорить о другихъ текущихъ явленіяхъ русской жизни, не упомянувъ о „Нови“.

Въ „Нови“ мы видимъ извѣстное стремленіе молодежи „въ народъ“. Но такое стремленіе въ неизвѣстную и неразгаданную даль мы видимъ не въ одной „Нови“ и не въ одной сферѣ, охваченной этимъ произведеніемъ. Развѣ въ нашей литературѣ, именно въ прошломъ же году, не была выставлена на первомъ планѣ тема объ „отсутствіи идеаловъ“, о томительной тоскѣ и исканіи новыхъ путей, и развѣ писатели, которые говорили объ этомъ,—люди весьма солидные и не имѣющіе ничего общаго съ нелѣпыми революціонными попытками—не приглашали насъ „въ деревню“, т. е. въ сущности туда же — „въ народъ“. Это не все. Развѣ въ самомъ „движеніи въ пользу славянъ“ и даже въ порывахъ къ войнѣ у насъ не сказывалось для того же самаго стремленія погрузиться во что то новое, во имя общественной идеи, наконецъ, просто уйти куда то въ неизвѣстное и неразгаданное,—только бы уйти.

Все это въ сущности проявленія одного и того же чувства, выражающагося въ какихъ то номадныхъ стремленіяхъ мысли, которыя, правда, далеко расходятся въ стороны, но расходятся—какъ радіусы расходятся изъ одной точки отправленія, изъ центра. А центромъ служитъ общее всѣмъ современное чувство. Назвать это чувство съ точностью мы не можемъ, хотя можемъ пріискать для него очень много названій: неопредѣленность, отсутствіе положительныхъ идеаловъ, слабое біеніе пульса общественной жизни и т. д.—все это названія, употреблявшіяся въ тѣхъ же статьяхъ, на которыя мы сослались выше.

Намъ самимъ, въ одномъ изъ предыдущихъ обозрѣній, пришлось коснуться этого предмета, т. е. „отсутствія идеаловъ“, и мы должны были отнестись совершенно отрицательно къ исканію ихъ въ „деревнѣ“. Затѣмъ, крайности и увлеченія, вызванныя „славянскимъ движеніемъ“ (которое само по себѣ было вполнѣ естественно), подали намъ поводъ и наложили на насъ обязанность отнестись съ полнымъ недовѣріемъ и къ этой мечтѣ объ „обновленіи“ русскаго общества этимъ движеніемъ и жаждою внѣшнихъ успѣховъ. Наконецъ, предъ нами представляется еще одинъ радіусъ, исходящій изъ того же центра: хожденіе „въ народъ“ или казанская „исторія“, или мотивъ, наблюдаемый въ „Нови“,—назовите это какъ хотите.

Въ томъ обозрѣніи, о которомъ упомянуто выше, мы разсматривали, какимъ образомъ произошло нынѣшнее нравственное настроеніе общества, полнѣйшая разобщенность его членовъ, умственный разбродъ и уныніе. Мы должны были признать, что этотъ психологическій фактъ истекъ изъ сознанія обществомъ своего безсилія для осуществленія прежнихъ его идеаловъ. Изъ сознанія собственнаго безсилія—въ одной части общества, болѣе хладнокровной и способной успоканвать себя аппеляціею чисто-литературнаго свойства, возникло какъ бы самоотреченіе въ настоящемъ и стремленіе передать свое дѣло въ руки массы, которая безсильной быть не можетъ, и подчиниться тѣмъ идеаламъ, которые эта масса, „деревня“, подскажетъ; или же—воз-

ложить роль обновителя на нѣкоего deus ex machina, который и представлялся инымъ въ славянскомъ движеніи и въ связанной съ нимъ войнѣ. Другая же, болѣе подвижная и вмѣстѣ легкомысленная часть общества разумѣла аппеляцію къ массѣ не въ пассивномъ, но въ активномъ смыслѣ. Вотъ гдѣ различіе девизовъ: „въ деревню“, „въ Сербію“, „въ народъ“.

Но стремленіе какъ въ той, такъ и въ другой формѣ, въ смыслѣ ли платоническаго воздыханія то по деревнѣ, то по соплеменникамъ, или въ смыслѣ преступнаго хожденія „въ народъ“, повторяемъ, вытекло прямо и непосредственно изъ того положенія, что современное общество само безсильно для осуществленія своихъ прежнихъ общекультурныхъ, обще-европейскихъ идеаловъ. Отъ этого самые эти идеалы подверглись охлажденію, даже сомнѣнію—что проявилось въ томъ значительномъ повышеніи въ курсѣ понятій славянофильства, которое нынѣ стало замѣтно не только въ нѣкоторыхъ органахъ печати, но—скажемъ прямо—въ средѣ представителей науки, и притомъ не въ Москвѣ.

Между тѣмъ, именно это-то самое положеніе, изъ котораго такъ естественно истекли всѣ указанныя послѣдствія, положеніе о полномъ безсиліи современнаго общества и объ окончательной будто бы безысходности настоящаго историческаго момента, мы, съ своей стороны, никакъ не можемъ принять безусловно. Допустимъ, что мы теперь стоимъ; но стоимъ мы не болѣе времени, чѣмъ сколько мы шли впередъ. На основаніи нѣсколькихъ лѣтъ невозможно произносить окончательныхъ приговоровъ, а у насъ такой окончательный приговоръ надъ самими собою произносятъ очень часто, и только этимъ можно объяснить то указанное центробѣжное стремленіе, въ какой бы формѣ оно ни выражалось: въ активной и преступной, или въ легальной и пассивной. Мы не можемъ не согласиться, что у общества нѣтъ практическихъ силъ въ данную минуту; но мы вѣримъ, мы убѣждены, что у русскаго общества, какъ мы его теперь знаемъ, есть способности для плодотворной

дѣятельности; есть и достаточно знанія и много охоты, хотя не примѣняющейся и даже не выступившей наружу. Вотъ почему, по нашему глубокому убѣжденію, оно не должно думать о томъ, чтобы переродиться въ нѣчто другое, непохожее на то, чѣмъ создала его исторія; не должно отрекаться отъ себя и считать себя годнымъ къ упраздненію въ пользу невѣдомыхъ грядущихъ людей, съ неповѣданными доселѣ лозунгами,—даже если бы подобныя мечты о перерожденіи и самоупраздненіи наличнаго ума цѣлаго народа и не были неосуществимы сами по себѣ.

Не можемъ допустить приговора объ окончательной безысходности также и по нашему пониманію той среды, которая имѣетъ практическую силу въ своемъ распоряженіи. Историческія условія всей русской жизни были таковы, что у насъ не можетъ быть такой партіи, которая окончательно взяла бы верхъ. Коль скоро само правительство устранило воззрѣнія прежней эпохи о возможности и даже необходимости окончательнаго застоя—а рядъ реформъ доказалъ неопровержимо, что оно отъ застоя, какъ принципа, отреклось—временный застой можетъ быть только отсрочкой, по мысли самого правительства. Никогда не было ни одного прямого или косвеннаго правительственнаго заявленія, которое давало бы право полагать, что оно само считаетъ рядъ реформъ окончательно завершеннымъ. Никогда не было заявленія хотя бы одного изъ правительственныхъ органовъ, въ которомъ общія начала всего культурнаго міра хотя бы косвенно порицались и мысли о нихъ объявлялись бы „вольнодумствомъ“, между тѣмъ какъ лѣтъ 25 тому назадъ подобныя заявленія были не рѣдкостью, и во всѣхъ заявленіяхъ по ихъ сущности безусловно проводился взглядъ, что Россіи ничего болѣе не нужно, что благоустройство ея ближе къ истинному идеалу, чѣмъ какія-либо „сумасбродныя мечтанія“, т. е. мысли о великихъ реформахъ.

Если мы всмотримся въ вещи, какъ онѣ есть въ дѣйствительности, а не будемъ увлекаться временнымъ чувствомъ унынія, то найдемъ, что основное положеніе о безысходности настоящаго момента не имѣетъ прочнаго основанія,

и, стало быть, тѣ стремленія, которыя изъ него истекаютъ и которыя мы назвали „центробѣжными“, не могутъ быть основаны на полномъ убѣжденіи, хотя и внушаются наличнымъ чувствомъ.

Но, съ другой стороны, мы должны признать также, что обществу вредно долго оставаться подъ вліяніемъ чувства уныніа и разочарованія, хотя бы только въ самомъ себѣ. Какъ бы ничтожны и безвредны ни были упомянутыя стремленія въ настоящее время, невозможно поручиться за отдаленное время, если бы то же чувство могло поддерживаться и питаться долгое время. Какъ бы бдительны и энергичны ни были мѣры, принимаемыя противъ отдѣльныхъ симптомовъ, какъ бы силенъ ни былъ протестъ самого общественнаго организма противъ наиболѣе острыхъ изъ этихъ симптомовъ, все таки надо сознаться себѣ, что поверхностное леченье, направленное противъ отдѣльныхъ симптомовъ, не обѣщаетъ вѣрнаго успѣха. Вредно было бы закрывать глаза передъ логическими послѣдствіями тѣхъ или другихъ фактовъ. Болѣзнь состоитъ не въ тѣхъ или другихъ симптомахъ; симптомы только свидѣтельствуютъ объ анормальности въ организмѣ, но сами могутъ видоизмѣняться; вѣдь, кромѣ приведенныхъ признаковъ, у насъ еще не мало и иныхъ, совсѣмъ иного рода, но которые также свидѣтельствуютъ о нездоровомъ расположеніи общественнаго организма.

Мы вѣримъ, что изъ всего этого есть исходъ; исходъ вполнѣ возможный, правильный, естественный, указывается рядомъ преобразованій, которыхъ всѣ мы были свидѣтелями. Съ расширеніемъ круга практической дѣятельности, передъ обществомъ явилось бы прямое дѣло, и нездоровыя мечтанія и унынie уступили бы мѣсто полнымъ жизненной силы здоровымъ направленіямъ. Исчезло бы сознаніе, безсиліе и пріискиваніе какихъ-то новыхъ идеаловъ, когда всѣ умственныя потребности привлекались бы самой практической жизнью и всѣ поглощались бы ею. Самый тотъ туманный и мечтательный позывъ къ какой-то аппеляціи къ „деревнѣ“ потерялъ бы смыслъ, и о немъ тотчасъ же забыли бы, какъ

молодой человѣкъ, ставъ дѣятелемъ, забываетъ свои ребяческія мечты о необычайныхъ богатырскихъ подвигахъ и обращеніи къ силѣ волшебной, за неимѣніемъ силы реальной. Всѣ указанные выше признаки легальной апатіи и активной преступности безслѣдно исчезли бы отъ правды, внесенной въ жизнь, какъ снѣгъ таетъ отъ весенняго солнца.

Обращаясь теперь спеціально къ „Нови“, повторимъ, что романъ, конечно, имѣетъ дѣло только съ существующими, доступными для художественнаго наблюденія признаками, не вдаваясь ни въ то, какимъ образомъ они произошли, ни въ то, какимъ образомъ они могутъ быть устранены. Г. Тургеневъ показалъ намъ вѣрно явленіе существующее, показалъ намъ, какъ оно отражается въ нынѣшнихъ представителяхъ, легкомысленныхъ и не увѣренныхъ въ себѣ, и какъ то же самое можетъ отразиться впослѣдствіи въ представителяхъ, менѣе легкомысленныхъ и вѣрнѣе знающихъ свои силы. Этимъ онъ и долженъ былъ удовольствоваться, художникъ какъ бы хотѣлъ сказать намъ:—Вотъ вамъ моя діагноза, а затѣмъ—дѣлайте, что хотите! Въ томъ, какъ діагноза поставлена въ „Нови“—огромная заслуга автора. Только тѣмъ же самымъ фактомъ обуявшаго насъ разброда между легальною аппатіею и активною преступностью можно было объяснить себѣ недостаточную чувствительность самой нашей критики къ громадной общественной заслугѣ новаго произведенія; ея одной, въ прежнее болѣе здоровое время, было бы достаточно, чтобы оно произвело поразительное впечатлѣніе, совершенно даже независимо отъ художественныхъ красотъ, указать на которыя предоставляемъ литературному критику. Для насъ, въ этомъ отдѣлѣ журнала, романъ г. Тургенева интересенъ прежде всего, какъ любопытнѣйшая страница современной исторіи, весьма поучительная для желающихъ учиться, весьма искренняя для тѣхъ, кто дорожитъ правдой и любитъ слушать ее.

Изъ „Вѣстника Европы“ за 1877 г.

***

*) Помимо всѣхъ общественныхъ и политическихъ вопросовъ, переживаемыхъ нами въ настоящее время, нельзя не замѣтить, что начало нынѣшняго года ознаменовано крупнымъ, во всякомъ случаѣ, событіемъ въ русской текущей литературѣ. Я говорю о новомъ романѣ И. С. Тургенева. Для современнаго критика такое событіе, помимо общаго значенія, имѣетъ еще и другой интересъ: среди заурядныхъ произведеній современной литературы особенно отрадно остановиться на произведеніи высокаго таланта, болѣе тридцати лѣтъ стоящаго во главѣ русскаго умственнаго движенія и олицетворяющаго собою до сихъ поръ лучшія стремленія русскаго общества. Обязанность современнаго критика, по истинѣ, чрезвычайно печальна: ему то и дѣло приходится отмѣчать или совершенно неудачныя произведенія, или же произведенія, если и талантливыя, то во всякомъ случаѣ не отвѣчающія требованіямъ данной минуты. Наша беллетристика растрачивается на мелочи и подробность; съ одной стороны, слишкомъ большія заботы, относительно такъ называемаго психологическаго анализа, сводятъ даже и талантливаго романиста на кропотливаго искателя такихъ деталей умственнаго и душевнаго механизма, которыя имѣютъ весьма ничтожное значеніе въ общей психической жизни, а съ чисто научной точки зрѣнія являются или простыми парадоксами, или же, въ крайнемъ случаѣ, при удачной наблюдательности, составляютъ простое сообщеніе мелкаго факта ни въ какомъ случаѣ не могущаго значительно вліять на развитіе характера, въ томъ или другомъ отношеніи, и не играющаго никакой роли въ общей экономіи психической жизни. Съ другой стороны, вторая школа нашихъ беллетристовъ, оставляя въ сторонѣ психическій анализъ, занимается фабрикаціей болѣе или менѣе удачныхъ манекеновъ, чрезвычайно удобныхъ для выраженія личныхъ мнѣній автора, который заботится не о воспроизведеніи жизни, а о раз-

*) В. Чуйко. „Пчела“ 1877 г., №№ 3, 4 и 5. Статья подъ заглавіемъ: „И. С. Тургеневъ: *Новь*, романъ (*Вѣстникъ Европы*), январь, первая часть“.

витіи тезиса, лично ему особенно интереснаго. Въ первомъ случаѣ, наши беллетристы—не болѣе какъ послѣдователи искусства для искусства, расходящагося все болѣе и болѣе съ требованіями жизни, витающаго въ какомъ-то мірѣ призраковъ, не имѣющемъ ничего общаго съ повседневной, жизненной драмой. Во второмъ, они берутъ на себя роль проповѣдниковъ, казнятъ и милуютъ, совершенно забывая, что искусство—не каѳедра проповѣди, не трибуна оратора, и что точка зрѣнія нравственности (общественной или частной) во всякомъ случаѣ можетъ играть только второстепенную роль въ искусствѣ. Конечно, существуютъ почтенныя исключенія, доказывающія, что современная беллетристика не представляетъ собой того упадка, о которомъ намъ то и дѣло твердятъ пессимисты „Русскаго Вѣстника“, превращающіе критику въ нѣчто вродѣ кордегардіи и полицейскаго участка. Но тѣмъ не менѣе, эти исключенія только подтверждаютъ то, что мы сказали объ общемъ состояніи нашей беллетристики.

И. С. Тургеневъ принадлежитъ къ совершенно другому типу художниковъ. Частная психологія личности его на столько интересуетъ, на сколько она является необходимымъ подспорьемъ наблюденія надъ живыми людьми и на сколько она необходима для опредѣленія характера или типа. Свои мнѣнія, міросозерцаніе, теоріи, предположенія и желанія И. С. Тургеневъ выдвигаетъ на первый планъ на столько, на сколько это нужно для опредѣленія типа всего произведенія. Но такъ называемая тенденціозность, une thêse, какъ говорятъ французы, въ произведеніяхъ И. С. Тургенева играетъ значительную роль, хотя И. С.—въ полномъ значеніи слова—истинный художникъ, который держитъ знамя искусства высоко, оберегая его отъ грязи и внѣшнихъ наростовъ. И эта тенденціозность совершенно понятна: художникъ имѣетъ дѣло не съ фикціями собственнаго воображенія, а съ жизнію и съ живыми людьми, онъ самъ живой человѣкъ, сложившійся извѣстнымъ порядкомъ, подъ извѣстными вліяніями, въ извѣстной средѣ; онъ не только художникъ, но и членъ даннаго общества, радующійся его радостямъ, страдающій его

страданіями. Вотъ почему въ общественное дѣло онъ вноситъ извѣстную долю своего участія, онъ имѣетъ свой голосъ въ этомъ дѣлѣ, голосъ, можетъ быть, болѣе нужный, вѣскій, чѣмъ голосъ всякаго другого. Но эта индивидуальная, личная сторона не должна заслонять собою другой, общей стороны, составляющей настоящій, дѣйствительный объектъ творческой дѣятельности, которая заключается въ объективной воспріимчивости жизни, въ полномъ воспроизведеніи дѣйствительности не въ деталяхъ, а въ общей сложности явленій. И. С. Тургеневъ является именно такимъ тенденціознымъ писателемъ: для искусства онъ не отказывается ни отъ своихъ мнѣній, ни отъ своего міросозерцанія, но уваженіе къ жизни и къ дѣйствительности у него такъ велико, что намѣренно онъ никогда не исказитъ ихъ, даже для самыхъ важныхъ интересовъ собственной мысли. Отсюда—другое послѣдствіе его художественной школы: романъ И. С.—есть романъ философскій, если слѣдовать терминологіи западно-европейскихъ литературъ.

Философскій романъ—есть воспроизведеніе типа, сосредоточивающаго въ себѣ если не всѣ, то по крайней мѣрѣ большинство стремленій данной эпохи и даннаго народа. Изъ этого опредѣленія ясно, что философскій романъ не принадлежитъ къ реалистической школѣ современной бѣллетристики; и дѣйствительно, такого рода типъ не есть что-либо конкретно существующее, не есть живой организмъ, который намъ легко изучить непосредственнымъ наблюденіемъ, простымъ анализомъ. Это—извѣстный выводъ синтетическаго характера, выводъ, основанный на тщательномъ изученіи дѣйствительности, но ужъ выходящій за ея предѣлы,—формула, какъ сказалъ бы математикъ, или ракурсъ, какъ сказалъ бы художникъ,—чрезвычайно облегчающій пониманіе этой дѣйствительности. Представляя собой полное объясненіе дѣйствительности, подъ угломъ личныхъ особенностей автора,—такой романъ является, по истинѣ, философскимъ романомъ, потому что здѣсь личное наблюденіе, личная мысль, детали уходятъ на второй планъ. По этому и И. С. Тургеневъ, всецѣло принадлежа къ натураль-

ной школѣ, нисколько не реалистъ, въ родѣ Зола, Гонкуровъ, или Гончарова. Но въ то же время, онъ и не ученый, выводящій изъ наблюденій за фактами абстрактныя, сухія положенія. Своими изслѣдованіями надъ жизнію онъ приходитъ не къ безстрастной формулѣ, годной для объясненія всѣхъ частныхъ случаевъ, а къ живому, художественному обобщенію, которое выражается создаваемымъ имъ типомъ. Другими словами, какъ и всѣ великіе художники, И. С. Тургеневъ не только описываетъ, не только воспроизводитъ жизнь, но также и мыслитъ; изъ-за подробностей онъ замѣчаетъ законы, управляющіе ими; въ его типахъ и характерахъ—все строго дѣйствительно и индивидуально, но въ то же время всѣ подробности и индивидуальныя особенности направлены въ одну точку, образуютъ одно органическое цѣлое, являющееся уже выводомъ, обобщеніемъ. Отсюда то сильное впечатлѣніе, которое производятъ характеры Тургенева на читателя; мы не только понимаемъ ихъ, но и чувствуемъ, потому что они гораздо выразительнѣе, чѣмъ живыя лица,—то, что природа разсѣяла въ массѣ подробностей,—то искусство соединяетъ въ одинъ фокусъ. Но ему, какъ и всякому истинному художнику, недостаточно констатировать жизнь, онъ хочетъ ее понимать; изъ массы частныхъ фактовъ, которые для насъ, по большей части, не связаны никакой причинностью, художникъ опредѣляетъ законы, управляющіе ими. Въ томъ или другомъ характерѣ, типѣ, онъ видитъ не одну простую случайность, а роковое, неизбѣжное слѣдствіе цѣлаго ряда причинъ, которыя его подготовили, направили, воспитали, опредѣлили и сдѣлали его тѣмъ, чѣмъ онъ есть. Въ массѣ характеровъ и типовъ данной эпохи и даннаго народа, онъ видитъ причины ихъ образованія и тѣсную связь; усиліемъ творческой дѣятельности онъ ищетъ тѣхъ общественныхъ, политическихъ, экономическихъ и культурныхъ условій, которыя ихъ создали, выдвинули на первый планъ, и въ которыхъ каждый изъ насъ видитъ частичку самого себя, своихъ стремленій, порывовъ и идеаловъ. Художникъ, такимъ образомъ, оставаясь

художникомъ, даетъ намъ полную исторію общества въ выводахъ и живыхъ образахъ.

Почти всѣ значительныя произведенія И. С. Тургенева имѣютъ этотъ характеръ обобщенія. „Записки Охотника," „Рудинъ," „Дворянское Гнѣздо," „Отцы и Дѣти," „Дымъ," — тѣсно связаны съ исторіей нашего общества, составляютъ, такъ сказать, вѣха, опредѣляющіе путь, по которому слѣдовало наше умственное и гражданское развитіе. Каждое изъ этихъ произведеній опредѣляетъ извѣстный моментъ русской общественной жизни; Тургеневъ, какъ выразился „Курьеръ" въ своей „Histoire de la littérature contemporaine en Russie", — aprés avoir dit son mot sur la question du servage, s' attacha à décrire la situation morale de ses contemporains". Въ этой задачѣ опредѣленія нравственнаго состоянія своихъ современниковъ заключается истинная заслуга Тургенева, оказанная имъ русской литературѣ и рускому обществу.

Но съ первыхъ же его произведеній, мы заключаемъ уже нѣкоторыя особенности его таланта. Еще Кантъ утверждалъ, что наши идеи образуются частью вліяніемъ внѣшняго міра, частью—принадлежатъ нашему внутреннему *я*, что предметъ, поражая нашъ умъ,—находитъ тамъ уже готовую форму, которая въ извѣстной степени измѣняетъ воспринятый образъ, и что такимъ образомъ, наша истина не есть еще объективная истина. Въ психологіи это ученіе не болѣе какъ гипотеза, но въ критикѣ оно является неизмѣннымъ правиломъ. La plus jolie femme du monde ne peut donner que ce qu' elle a, — говоритъ французская пословица. То же самое можно сказать о всякомъ писателѣ и художникѣ. Личная структура ума писателя не только опредѣляетъ его отношенія къ предмету его творчества, но также и измѣняетъ его въ извѣстномъ направленіи. Въ этомъ заключается особенность каждаго ума и своеобразность каждаго таланта. Одинъ видитъ въ обществѣ и въ людяхъ одни только каррикатурныя или безобразныя стороны (Щедринъ, наприм.), другой — героическіе элементы жизни (Гюго), третій — страсти (Шекспиръ), и т. д. Всякій приходитъ къ одному неизбѣжному выводу, который является окончательнымъ сводомъ всей его умственной дѣятельности.

Такъ же, какъ и всякій великій художникъ, И. С. Тургеневъ имѣетъ свой выводъ, уже лично ему принадлежащій, субъективный. Этотъ выводъ—есть типъ *лишняго человѣка*, созданный имъ въ русской литературѣ и повторяющійся во всѣхъ его произведеніяхъ. Рудинъ — это прототипъ этихъ лишнихъ людей. Чрезвычайно умный, образованный, большой энтузіастъ,— онъ, казалось, былъ полонъ огня, смѣлости, жизни, но въ сущности онъ — холодный эгоистъ любующійся своимъ собственнымъ краснорѣчіемъ. „Jam sir Oracle and whem I ope my lips, let no dog bark, какъ говоритъ Шекспиръ въ „Венеціанскомъ Купцѣ“. Рудинъ былъ наивно убѣжденъ въ томъ, что говоритъ, но далѣе этого онъ не шелъ; испробовавъ всего, побывавъ вездѣ, оставивъ послѣ себя несчастіе и драму, не достигнувъ никакого практическаго дѣла, онъ умираетъ на парижской баррикадѣ... Но былъ ли онъ вполнѣ *лишнимъ* человѣкомъ? Не совсѣмъ; не будучи въ состояніи приложить свои теоріи къ жизни, онъ могъ имѣть вліяніе, и вліяніе самое благотворное на другихъ. Въ то время русское общество было только еще наканунѣ дѣла, и Рудины, во всякомъ случаѣ, играли роль фермента, бродящаго начала.

Лаврецкій („Дворянское Гнѣздо“) есть другой типъ лишняго человѣка; его усилія безплодны только вслѣдствіе роковыхъ условій жизни; онъ принужденъ бороться не противъ своего собственнаго безсилія, но противъ положенія и идей, которыхъ не можетъ сломать никакая энергія и воля, и онъ падаетъ побѣжденный, не сдѣлавъ ничего ни лично для себя, ни для народа, который онъ такъ любилъ. Всѣ другіе типы и характеры романовъ Тургенева представляютъ собой только измѣненіе и варіанты этой концепціи лишняго человѣка. Инсаровъ—лишній, во всякомъ случаѣ, человѣкъ, который въ концѣ своего поприща принужденъ сознаться, что вся его жизнь, вся энергія ушли на дѣло, котораго выполнить онъ не былъ въ состояніи. Литвиновъ („Дымъ“) приходитъ къ разочарованію и довольству личной жизнью. Вездѣ мы встрѣчаемъ одну и ту же ноту, звучащую во всемъ, что написалъ И. С. Тургеневъ,—

ноту безплодной и безполезной борьбы противъ общества. Всѣ его герои — „печальный продуктъ печальнаго положенія.“ Таковъ художественный выводъ И. С. Тургенева, выводъ, который вполнѣ объясняется его извѣстной статьей „Гамлетъ“ и „Донъ-Кихотъ“. Полоній—былъ дѣятельный старикъ и человѣкъ практическій, полный здраваго смысла, хотя ограниченный. Для Полонія,— что такое Гамлетъ? Для него — Гамлетъ скорѣе ребенокъ, чѣмъ сумасшедшій; онъ на него не смотритъ серьезно,—и, по мнѣнію Тургенева, Полоній правъ. Гамлеты—безполезны массамъ, они ничего не даютъ, не могутъ ихъ направлять, потому что сами не знаютъ куда итти. Къ тому же Гамлеты презираютъ толпу. Совершенно другое представляетъ собою Санхо. Онъ смѣется надъ Донъ-Кихотомъ, потому что знаетъ, что онъ сумасшедшій; но Санхо заботится о немъ, жертвуетъ собой для Донъ-Кихота. Какъ Тургеневъ объясняетъ эту разницу между Полоніемъ и Санхо? Толпа, говоритъ онъ, способна на энтузіазмъ безъ разсчета, она всегда готова слѣдовать за тѣми, которые идутъ впередъ, безъ боязни, ищутъ выхода, падаютъ, подымаются. Гамлеты не любятъ и не боятся ничего; они заботятся только о себѣ, они—изолированы и потому безсильны. Такой портретъ Гамлета—составляетъ осужденіе эпохи сороковыхъ годовъ. Тургеневъ, доказывая намъ превосходство чувства надъ разумомъ, точно говоритъ, что эпоха Рудиныхъ смѣняется эпохой людей практическаго дѣла.

Вотъ тотъ субъективный уголъ зрѣнія, подъ которымъ Тургеневъ смотритъ на эпоху сороковыхъ годовъ, эпоху Рудиныхъ. Но переноситъ ли Тургеневъ этотъ уголъ зрѣнія и на наше время? Смотритъ ли онъ на это время также мрачно и безотрадно? Составляетъ ли этотъ выводъ только объективное сужденіе мыслителя,—или же является послѣдствіемъ особенностей его таланта и ума? Вся послѣдующая дѣятельность Тургенева доказываетъ намъ, что въ данномъ случаѣ онъ не мыслитель, а только художникъ, покоряющійся послѣдствіямъ своей художественной, до крайности впечатлительной натуры. „Отцы и Дѣти“ составляютъ переломъ и какъ бы пониженіе его таланта. По его же собственному сознанію,

онъ вступилъ въ новую эпоху, эпоху уже не *лишнихъ*, а практическихъ людей, а между тѣмъ, что представляетъ собою Базаровъ, этотъ типъ новаго человѣка, по концепціи Тургенева? Въ чемъ заключается его философское значеніе? Въ настоящее время мы такъ далеко стоимъ отъ той ожесточенной полемики, которая была вызвана „Отцами и Дѣтьми“,—что имѣется возможность совершенно объективно высказать наше окончательное мнѣніе. Нѣтъ, Базаровъ не новый человѣкъ, тотъ человѣкъ дѣла и энергіи, личныхъ усилій, который былъ намъ возвѣщенъ. Базаровъ все тотъ же лишній человѣкъ, сначала очарованный, а потомъ разочарованный, какъ Рудинъ, Лаврецкій и Литвиновъ; въ немъ, какъ и въ людяхъ сороковыхъ годовъ, мы видѣли ту же жажду дѣятельности, тѣ же упованія, тѣ же высокіе порывы, но, какъ и люди сороковыхъ годовъ, онъ не достигаетъ никакого дѣла, и падаетъ подъ ударами судьбы (нѣсколько случайными и мелодраматичными), высказывая тотъ же мрачный и безотрадный взглядъ на жизнь. Измѣнилась декорація, внѣшность,—но не измѣнился основной взглядъ автора на людей и жизнь. Эпоху шестидесятыхъ годовъ онъ продолжаетъ объяснять, какъ объяснялъ время сороковыхъ годовъ: тѣми же мотивами, тѣми же соціальными элементами и, кромѣ внѣшняго различія, авторъ не сумѣлъ отыскать между этими двумя эпохами ни исторической преемственности, ни рѣзкаго отличія по существу. И опять таки—тотъ же субъективный выводъ: разочарованіе, безвѣріе въ лучшую долю, какое-то шопенгауэровское примиреніе на краю могилы, въ объятіяхъ смерти.

Эти основныя положенія вполнѣ опредѣляютъ Тургенева. При значительной наблюдательности, при огромномъ лирическомъ талантѣ, Тургеневъ собственно является пѣвцомъ природы, любви въ ея высшихъ и лучшихъ проявленіяхъ женщинъ. Это его настоящая область, скрашиваемая имъ нѣсколько туманной, но, во всякомъ случаѣ, обаятельной поэзіей. Но Тургеневъ ниже своего таланта въ распутываніи соціальныхъ усложненій, благодаря органической наклонности ума къ окончательному примиренію „на лонѣ при-

роды"; въ этомъ заключается его философскій синтезъ, заставляющій его видѣть въ людяхъ не энергію, страсть, героизмъ, готовность жертвовать собою ради высшаго, идеальнаго стремленія, — а одни только благородные порывы существа, больного недостаткомъ воли и избыткомъ лимфатическаго безсилія. Сквозь эту призму, искажающую явленія своимъ рѣзкимъ преломленіемъ угла, — Тургеневъ смотритъ на людей и природу, на Россію, ея историческія задачи, на умственное движеніе русскаго общества, на его идеальныя стремленія и конечныя цѣли. Правъ ли И. С. Тургеневъ и правда ли, что анализъ русскаго общества приводитъ къ такому разочарованію, а русскій человѣкъ страдаетъ недостаткомъ воли? — Нѣтъ, И. С. не правъ, — не правъ потому, что, какъ только ему пришлось перейти за рубежъ сороковыхъ годовъ—этой эпохи лишнихъ людей, Гамлетовъ Щигровскаго уѣзда, доморощенныхъ Фаустовъ и Литвиновыхъ, которые со всѣмъ своимъ европейскимъ образованіемъ и культурностью, способны произносить монологи на тему о томъ, что все дымъ,—и ихъ личныя стремленія и идеальныя стремленія общества,—какъ только, говорю, ему пришлось перейти за этотъ рубежъ, и вступить въ область для него новую, незнакомую эпоху новыхъ формацій, вызванныхъ новыми общественными усложненіями,—онъ не отыскалъ въ этой другой эпохѣ, ему чуждой, ни другихъ элементовъ, ни другихъ задачъ. Онъ перенесъ на нее свое міросозерцаніе разочарованія, повторяя вмѣстѣ съ Дантомъ:

...Nessun maggior dolore
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria...

Собственно эта общая и нѣсколько бѣглая характеристика И. С. Тургенева исчерпываетъ, по моему мнѣнію, всю задачу критика по отношенію къ писателю, который стоитъ во главѣ нашей беллетристики. Его новый романъ можетъ

только подтвердить то, что уже было высказано мною о прежнихъ произведеніяхъ И. С. Тургенева.

„Новь“,—какъ и „Отцы и Дѣти“,—характеристика новыхъ для г. Тургенева временъ, тѣхъ временъ, въ которыхъ лично онъ уже не участвуетъ, а остается простымъ и по возможности безпристрастнымъ зрителемъ. Такое положеніе простого наблюдателя, казалось бы, болѣе благопріятно, потому что наблюдателю гораздо легче уловить такія черты и особенности, которыя обыкновенно ускользаютъ отъ вниманія участниковъ; онъ можетъ не только видѣть эти черты и особенности, но совершенно хладнокровно обсудить ихъ значеніе и пріурочить ихъ къ тому или другому общему явленію, найти ихъ причинную связь. Но въ искусствѣ какъ разъ бываетъ наоборотъ; художникъ, сердце котораго не бьется пульсомъ массъ, художникъ, смотрящій равнодушно и безучастно „съ своего прекраснаго далека“ на горячую борьбу жизни, по выраженію Диккенса—увидитъ только рядъ картинъ, болѣе или менѣе блестящихъ, болѣе или менѣе печальныхъ,—но почти никогда не угадаетъ дѣйствительнаго значенія борьбы и конечныхъ цѣлей ея. Искусство — не философія, а сама жизнь, со всѣми ея радостями и печалями, порывами, упадкомъ энергіи, надеждами. Вотъ почему художникъ обязанъ, подъ угрозою пониженія таланта, быть въ то же время и гражданиномъ, какъ всѣ мы, смертные,—волноваться, страдать и любить,—любить то дѣло, въ которомъ мы невольные участники, страдать за раненыхъ и выбывшихъ изъ строя, ждать и надѣяться побѣды. Олимпійское спокойствіе и равнодушное à parte, — сошло даромъ одному только Гёте; но даже и Шекспиръ,—этотъ великанъ среди великановъ, — жилъ среди людей, которыхъ изображалъ, и раздѣлялъ всѣ ихъ стремленія, недостатки и качества.

Это à parte, съ котораго г. Тургеневъ смотритъ на русскую жизнь,—оказало ему плохую услугу; оно не научило его ничему, а возвѣщенная имъ „Новь“,—все та же старая землица, съ нѣкоторой примѣсью чернозема, если хотите,—которую онъ *поднималъ* уже не разъ въ качествѣ

хозяина-агронома. „Поднимать слѣдуетъ „Новь“ не поверхностно скользящей сохой, но глубоко забирающимъ плугомъ“, — говоритъ И. С. въ эпиграфіи къ своему новому роману. Посмотримъ же, такъ ли онъ поднимаетъ „Новь“ и слѣдуетъ ли онъ своему правилу.

Дѣло происходитъ въ 1868 г., сначала въ Петербургѣ, а потомъ въ деревнѣ. Мы на первыхъ же строкахъ встрѣчаемся съ этою „Новью“. Во-первыхъ Машурина, — молодая женщина, сдавшая экзаменъ на повивальную бабушку. Года полтора назадъ, она, бросивъ свою семью, прибыла въ Петербургъ съ шестью цѣлковыми въ карманѣ; поступила въ родовспомогательное заведеніе и безустаннымъ трудомъ добилась желаннаго аттестата. Остродумовъ, — молодой человѣкъ, занимающійся пропагандой. Паклинъ, — нѣчто въ родѣ Шубина въ „Наканунѣ“, и какъ Шубинъ — остроумный шутникъ и любитель женщинъ. — Паклинъ зналъ со множествомъ студентовъ, которымъ онъ нравился своею цинической бойкостью; лишь изрѣдка ему доставалось отъ нихъ. Разъ онъ какъ-то опоздалъ на „политическую“ сходку... Войдя, онъ тотчасъ началъ торопливо извиняться...—„Трусоватъ былъ Паклинъ бѣдный“, — запѣлъ кто-то въ углу,—и всѣ расхохотались. Паклинъ, наконецъ, засмѣялся самъ, хоть и скребло у него на сердцѣ. „Правду сказалъ, мошенникъ!“ — подумалъ онъ про себя. Затѣмъ мы видимъ Нежданова,— какъ надо полагать — настоящаго героя романа, вокругъ котораго сосредоточивается вся драма. Слѣдуетъ ли говорить, что Неждановъ—кошія съ прежнихъ героевъ г. Тургенева,—Литвинова, напр., или Базарова,—только болѣе изящнаго и красиваго Базарова? Какъ Базаровъ ѣздилъ на лѣто къ своимъ роднымъ и встрѣтился съ Одинцовой, такъ Неждановъ ѣдетъ „на кондицію“ въ качествѣ учителя въ деревню къ Сипягину,—важному сановнику, и встрѣчаетъ тамъ его жену, М-me Сипягинъ,— которая въ значительной степени напоминаетъ Одинцову, и съ нимъ кокетничаетъ. Валентина Михайловна была проникнута той особенной граціей, свойственной „милымъ“ существамъ; — въ этой граціи нѣтъ ни поэзіи, ни истинной

чувствительности; но есть мягкость, есть симпатія, даже нѣжность. Только перечить этимъ прелестнымъ истамъ не слѣдуетъ: онѣ властолюбивы—и не выносятъ ч самостоятельности. Женщины, подобныя Сипягиной, вс ждаютъ и волнуютъ людей неопытныхъ и страстныхъ; онѣ любятъ правильность и тишину жизни. Добродѣ имъ легко дается—онѣ невозмутимы; но постоянное ж ніе повелѣвать, привлекать и нравиться—придаетъ имъ рованіе и блескъ; воля у нихъ крѣпкая,—и самое обаяніе частью зависитъ отъ этой крѣпкой воли. Тр устоять человѣку, когда по такому ясному, нетрону существу забѣгаютъ огоньки какъ бы невольной тайной ги; онъ такъ и ждетъ, что вотъ-вотъ наступитъ час ледъ растаетъ; но свѣтлый ледъ только играетъ лучам и не растаять, не помутиться ему никогда! Сипягинъ,- выраженію Шекспира,—не человѣкъ, а сенаторъ*); са никъ важный и либералъ. Типъ

You are a senator...

этотъ,—надобно отдать И. С. Тургеневу справедливост великолѣпно схваченъ, и составляетъ единственный вп законченный типъ новаго романа. Коломейцевъ — др типъ, — гораздо слабѣе, и, если можно такъ выразит вульгарнѣе. Служилъ онъ въ министерствѣ двора, и звaніе камеръ-юнкера; *патріотизмъ* помѣшалъ ему п по дипломатической части, куда, казалось, все его призыв и воспитаніе, и привычка къ свѣту, и успѣхи у женщ и самая наружность... mais quitter la Russie?.. jan Онъ былъ... un peu trop feodal dans ses opinions,—в нигилистовъ и прогресса, какъ и другъ его, нѣкто L las, — романистъ большого свѣта. Коломейцевъ говор „романъ Ладисласа я прочту непремѣнно. Il y aura le mot pour rire... и направленіе! направленіе! Нигилисть дутъ посрамлены,—въ этомъ мнѣ порукой образъ мыслей Л

*) Thou arta villain...

ласа—qui est très correct!... Этотъ Коломейцевъ вступаетъ въ споръ съ Неждановымъ.

„По немногу расходившись и придя въ азартъ, Коломейцевъ отъ заграничныхъ якобинцевъ обратился къ домотрощеннымъ нигилистамъ и соціалистамъ,—и разразился цѣлой филиппикой... онъ изъявилъ желаніе раздробить, превратить въ прахъ всѣхъ тѣхъ, которые сопротивляются—кому бы и кому бы то ни было! Онъ именно такъ выразился.—Пора, пора! твердилъ онъ, занося себѣ ложку въ ротъ;—пора! пора!—повторялъ онъ, подставляя рюмку другѣ, разливавшему хересъ. Съ благоговѣніемъ упомянулъ онъ о великихъ Московскихъ публицистахъ—и Ladislas, notre bon et cher Ladislas не сходилъ у него съ языка.—И при этомъ онъ то и дѣло устремлялъ взоръ на Нежданова, словно тыкалъ имъ.—„Вотъ, молъ, тебѣ! Получай загвоздку! Это я на твой счетъ! А вотъ еще!“—Тотъ не вытерпѣлъ, наконецъ—и началъ раздражаться—немного, правда, трепетнымъ (конечно, не отъ робости) и хриповатымъ голосомъ началъ защищать надежды, принципы, идеалы молодежи. Коломейцевъ запищалъ—негодованіе въ немъ всегда выражалось фальцетомъ,—и сталъ грубить... Но вдругъ услышавъ въ двадцатый разъ произнесенное имя Ladislas' а—Нежановъ вспыхнулъ весь и, ударивъ ладонью по столу, воскликнулъ:—Вотъ наши авторитеты! Какъ будто мы не знаемъ, что такое этотъ Ladislas! Онъ прирожденный клеврета и больше ничего!—А...а...а... во... вонъ ку...да!—простоналъ Коломейцевъ, задыхаясь отъ бѣшенства.—Вы вотъ какъ позволяете себѣ отзываться о человѣкѣ, котораго уважаютъ такія особы, какъ графъ Блазенкампфъ и князь Коврижкинъ!.. Нежановъ пожалъ плечами.—Хороши рекомендаціи! Князь Коврижкинъ—этотъ какей—энтузіастъ!...—Ladislas—мой другъ!—закричалъ Коломейцевъ,—онъ мой товарищъ—и я...-Тѣмъ хуже для васъ,—перебилъ Нежановъ; значитъ вы раздѣляете его образъ мыслей, и мои слова относятся также къ вамъ. Коломейцевъ помертвѣлъ отъ злости.—Ка-къ! Что? Какъ вы смѣете? На...добно васъ сейчасъ...—Что вамъ угодно сдѣлать со

мною *сейчасъ*,—вторично съ иронической вѣжливостью перебилъ его Неждановъ... Но тутъ вступился Сипягинъ; возвысивъ голосъ и принявъ осанку, въ которой неизвѣстно, что преобладало: важность ли государственнаго человѣка, или же достоинство хозяина дома, — онъ съ спокойной твердостью объявилъ, что не желаетъ слышать болѣе у себя за столомъ подобныя неумѣренныя выраженія, что онъ поставилъ себѣ правиломъ (онъ поправился: священнымъ правиломъ) уважать всякаго рода убѣжденія, но только съ тѣмъ—чтобы они удерживались въ извѣстныхъ границахъ благопристойности и благоприличія; что если онъ, съ одной стороны, не можетъ не осудить въ г. Неждановѣ нѣкоторую невоздержанность языка, извиняемую, впрочемъ, молодостью его лѣтъ, то, съ другой стороны, не можетъ также одобрить въ г. Коломейцевѣ ожесточеніе его нападокъ на людей противнаго лагеря— ожесточеніе, объясняемое, впрочемъ, его рвеніемъ къ общему благу.

У Сипягина живетъ воспитанница Марьянна, въ которую влюбляется Неждановъ; онъ повѣряетъ ей свои тайны, свою агитацію по общему дѣлу, и находитъ въ ней сочувствіе, и, какъ всегда бываетъ у г. Тургенева,— женщина представляетъ собой элементъ энергіи, готовность жертвовать собою, въ то время, какъ мужчина расплывается въ нерѣшительности, сомнѣніяхъ, колебаніяхъ,— общее явленіе у всѣхъ *лишнихъ* людей. Марьянна—въ другой обстановкѣ, съ другими задачами—все та же Ирина (въ „Дымѣ“),—по крайней мѣрѣ, основныя условія характера тѣ же, или же Наташа въ „ Рудинѣ“, или Лиза въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ“. Въ Марьяннѣ нѣтъ ни одной новой черты; тотъ же психическій строй, та же душевная тревожность, та же женская внезапность впечатлѣній. Сцены Марьянны съ Неждановымъ—необыкновенно хороши. Неждановъ знакомится также съ Маркеловымъ,— товарищемъ по „общему дѣлу“, и у него встрѣчаетъ старыхъ знакомыхъ—Остродумова, Машурину. Они ѣдутъ въ городъ къ Соломину, завѣдывающему фабрикой,—который вѣрилъ въ близость революціи въ Россіи. „Онъ хорошо зналъ петербургскихъ революціонеровъ—

и до извѣстной степени сочуствовалъ имъ—ибо самъ былъ изъ народа; но онъ понималъ невольное отсутствіе этого самаго народа, безъ котораго „ничего не подѣлаешь“. „Котораго долго готовить надо—да и не такъ и не тому, какъ мы“. Личность Соломина въ первой части еще не выяснена, а между тѣмъ по плану романа, она должна сосредоточить на себѣ главный интересъ. Затѣмъ слѣдуютъ вводныя лица, эпизодическія: купецъ Галушкинъ, богачъ, самодуръ, сходящійся съ революціонерами изъ за популярности,—фигура, очевидно, не списанная съ натуры, не имѣющая ни одной живой черты, непріятно поражающая своей фальшью, и, наконецъ, знаменитый эпизодъ Ѳомушки и Ѳимушки, безъ всякаго отношенія къ содержанію романа, ненужный, въ высшей степени дѣланный. Этотъ эпизодъ одинъ изъ самыхъ неудачныхъ, совершенно неудачныхъ мѣстъ въ романѣ, и онъ лучше всего доказываетъ, что силы г. Тургенева, какъ художника, значительно падаютъ. Въ прежнихъ его романахъ не было этихъ вводныхъ, ненужныхъ, карикатурныхъ эпизодовъ, къ которымъ прибѣгаютъ только заурядные художники, съ цѣлью разнообразить впечатлѣніе и остановить вниманіе читателя. Въ романѣ замѣчаются и другія странныя особенности: романъ написанъ не такъ изящно, какъ прежнія произведенія: мѣстами сухо, не образно, даже небрежно; небрежность эта достигаетъ до того, что въ двухъ мѣстахъ И. С. Тургеневъ употребляетъ нецензурныя выраженія (первая буква съ точками), безъ всякой надобности. Вся „Новь“, выступающая въ романѣ,—очевидно не была наблюдаема, или кругъ наблюденій былъ до крайности съуженъ: до такой степени фигуры этихъ молодыхъ людей блѣдны, не типичны, фальшивы не только въ концепціи, но и въ выполненіи; языкъ, которымъ они говорятъ, не ихъ языкъ; обстановка, въ которой они живутъ — не ихъ обстановка; характеры непоняты, искажены. Въ романѣ выдвигаются на первый планъ представители „старой“ Россіи,—удачно схваченные, очевидно изученные, и затѣмъ фигуры женщинъ,—Сипягина до извѣстной степени, и въ особенности Марьянна. Недуренъ также Неждановъ,

не какъ представитель молодого поколѣнія семидесятыхъ годовъ,— а какъ рудинскій типъ въ новой обстановкѣ и при другихъ общественныхъ условіяхъ. Но и въ этомъ романѣ, начиная отъ общаго плана, кончая подробностями, типами,— все напоминаетъ намъ прежняго Тургенева, и не только напоминаетъ, — неизбѣжно вызываетъ желаніе провести параллель. Новаго типа нѣтъ ни одного; — всѣ они и ярче и лучше уже были изучены И. С. Тургеневымъ раньше, — но только въ „Нови“ все это, какъ будто бы покрыто нѣкоторой „дымкой“, все это—старые знакомые, старые звуки, старые пейзажи,—но только блѣдные, мало выразительные, и потому ничего неговорящіе; и надъ всѣмъ этимъ царитъ вѣчный мотивъ,—мотивъ лишняго человѣка, олицетворяемаго теперь Тургеневымъ и въ Соломинѣ, и въ Неждановѣ, и во всѣхъ тѣхъ молодыхъ людяхъ, которые ихъ окружаютъ... Но окончательнаго сужденія, конечно, теперь произнести нельзя; надо подождать окончанія романа; тогда, можетъ быть, выяснятся особенности „Нови“; тогда можно будетъ подробнѣе коснуться вопроса о томъ, какъ смотритъ И. С. на современную злобу дня и какъ онъ изъ своего прекраснаго далека понимаетъ наше время.

В. Чуйко.

***

*) Нашу публику часто упрекаютъ въ непостоянствѣ симпатій, въ способности мгновенно разочаровываться въ своихъ вчерашнихъ кумирахъ, въ неблагодарности къ людямъ, достойнымъ продолжительной признательности. Это конечно справедливо, но такъ какъ вообще нѣтъ правила безъ исключенія, то и тутъ мы можемъ указать на замѣчательное явленіе, стоящее въ разрѣзѣ съ недолговѣчностью нашихъ литературныхъ и общественныхъ симпатій. Рѣдкое и лестное исключеніе это выпало на долю г. Тургенева, Несмотря на то, что онъ уже не обнаруживаетъ никакого

*) Статья А. (В. Г. Авсѣенко). „Русскій Вѣстникъ“ 1877 г., № 2.

вліянія и около пятнадцати лѣтъ уже его произведенія не волнуютъ общественнаго мнѣнія и не руководятъ имъ, русская публика сохранила вѣру въ него, и забывая всѣ свои послѣднія разочарованія, съ нетерпѣніемъ ждетъ отъ него новыхъ произведеній. Правда, это нетерпѣніе захватываетъ уже не столь обширный кругъ, какъ во дни оны, и мелкіе разсказы г. Тургенева проходятъ незамѣченными; но когда въ прошломъ году распространился слухъ, что авторъ „Дворянскаго Гнѣзда“ написалъ большой романъ изъ современной жизни, да еще подъ такимъ многообѣщающимъ заглавіемъ: „Новь“—ожиданія были возбуждены въ значительной степени, и когда этотъ романъ наконецъ появился, многія тысячи русскихъ людей бросились жадно читать его.

Мы не раздѣляли этихъ ожиданій, такъ какъ смыслъ литературной дѣятельности г. Тургенева представлялся намъ до того яснымъ, до того доказаннымъ, что всякое сомнѣніе на этотъ счетъ было бы большою непослѣдовательностью. Г. Тургеневъ покинулъ Россію въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, въ ту знаменательную эпоху, когда, съ одной стороны, кончалось крѣпостное право, а съ другой, всплывала наружу вся наша умственная и общественная нечистота, разрѣшившаяся Петербургскими пожарами и польскимъ возстаніемъ. Движеніе это завершило собою періодъ, истолкователемъ котораго въ нашей литературѣ былъ г. Тургеневъ. Покидая Россію въ эту знаменательную эпоху, онъ оставлялъ за собою послѣднее слово: пресловутые „нигилисты“ романа „Отцы и Дѣти“ были героями дня и выразителями общественнаго настроенія. Но тутъ случилось нѣчто весьма прискорбное: уѣзжая подъ впечатлѣніями начала шестидесятыхъ годовъ, г. Тургеневъ остался рабомъ ихъ. Весь смыслъ русской жизни заключился для него въ движеніи, первые признаки котораго онъ такъ талантливо опредѣлилъ въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“. Дальнѣйшія событія какъ будто проходили мимо его разумѣнія. Грянулъ 1863 годъ, отрезвившій лучшую часть русскаго общества, проросла новая жизнь въ земствѣ, въ новомъ судѣ, въ новыхъ экономическихъ условіяхъ и явленіяхъ, народилось

новое поколѣніе, для котораго вчерашнія „дѣти“ сдѣлались „отцами“, а г. Тургеневъ продолжалъ все сидѣть на нигилистахъ въ какомъ то недоумѣвающемъ ожиданіи: что же, молъ, наконецъ изъ нихъ будетъ и когда будетъ? Изъ бурнаго потока, готовившагося затопить Русь, нигилизмъ давно уже превратился въ мутный ручей, пробирающійся гдѣ-то въ сторонѣ отъ главнаго теченія жизни; а г. Тургеневу очевидно до сихъ поръ онъ представляется большимъ русломъ, центромъ, въ который замкнулась русская жизнь и отъ котораго зависитъ ея дальнѣйшее направленіе.

Ровно десять лѣтъ назадъ, въ 1867 году, г. Тургеневъ привезъ изъ-за границы романъ „Дымъ“. Это опять былъ романъ о нигилизмѣ; только здѣсь нигилизмъ являлся не устремленнымъ бодро впередъ, какъ въ лицѣ Базарова, а примолкшимъ, приниженнымъ, получившимъ щелчокъ со стороны. Но всего любопытнѣе было то, что г. Тургеневъ, занятый нигилизмомъ, оказался уже неспособнымъ замѣчать и наблюдать другія органическія явленія русской жизни. Не видя въ этой жизни торжества нигилизма, онъ пришелъ къ заключенію, что, стало быть, нигилизмъ былъ дымъ, и что вся русская жизнь есть дымъ, и ничего въ ней, кромѣ дыма, не можетъ быть. Припомнимъ эти размышленія Литвинова, возвращающагося въ Россію: „Дымъ, дымъ, повторилъ онъ нѣсколько разъ; и все вдругъ показалось ему дымомъ, все, собственная жизнь, русская жизнь—все людское, особенно все русское. Все дымъ и паръ, думалъ онъ; все какъ будто безпрестанно мѣняется, всюду новые образы, явленія бѣгутъ за явленіями, а въ сущности все то же да то же; все торопится, спѣшитъ куда-то, и все исчезаетъ безслѣдно, ничего не достигая; другой вѣтеръ подулъ, и бросилось все въ противоположную сторону, и тамъ опять та же безустанная, тревожная и — ненужная игра“. Замѣтимъ, что эти строки печатались въ то время, когда русское общество, отрезвленное событіями 1863 года, переживало трудный процессъ органическихъ реформъ.

Теперь, по прошествіи десяти лѣтъ, г. Тургеневъ выступаетъ съ новымъ романомъ. И что же? Это опять ро-

нанъ о нигилизмѣ. Ни современнѣе ни важнѣе нигилизма г. Тургеневъ, очевидно, ничего не знаетъ въ русской жизни. И опять, замѣчая что до торжества нигилизма все еще очень далеко, авторъ говоритъ почти то же, что говорилъ въ „Дымѣ“. Тамъ былъ дымъ, здѣсь *сонъ*. Этимъ словомъ озаглавлено стихотвореніе, которымъ разражается герой романа.

Нѣтъ, никогда еще такимъ ужаснымъ сномъ
Мои любезныя соотчичи не спали!
Все спитъ кругомъ: вездѣ, въ деревняхъ, въ городахъ,
Въ телѣгахъ, на саняхъ, днемъ, ночью, сидя, стоя...
Купецъ, чиновникъ спитъ; спитъ сторожъ на часахъ,
Подъ снѣжнымъ холодомъ—и на припекѣ зноя!
И подсудимый спитъ и дрыхнетъ судія;
Мертвó спятъ мужики; жнутъ, пашутъ—спятъ; молотятъ—
Спятъ тоже; спитъ отецъ, спитъ мать, спитъ вся семья...
Всѣ спятъ! спитъ тотъ, кто бьетъ, и тотъ, кого колотятъ!
Одинъ кабакъ не спитъ и не смыкаетъ глазъ,
И штофъ съ очищенной всей пятерней сжимая,
Лбомъ въ полюсъ упершись и пятками въ Кавказъ,
Спитъ непробуднымъ сномъ отчизна, Русь святая!

И опять приходится отмѣтить: все это говорится послѣ двадцатилѣтія органическихъ реформъ, почти въ ту самую минуту, когда Восточный вопросъ глубоко волнуетъ Россію, когда во всѣхъ слояхъ русскаго народа обнаруживается небывалая чуткость къ явленіямъ политическимъ и общественнымъ, когда по деревнямъ мужики собираются, чтобы съ лихорадочнымъ возбужденіемъ послушать грамотѣя, заручившагося газетнымъ листкомъ. И прибавимъ еще: судьбѣ угодно было ядовито подшутить надъ маститымъ романистомъ, подготовивъ къ выходу его новаго романа безобразную исторію „казанскихъ декабристовъ“. Такимъ образомъ, лягушка, хвалившаяся раздуться съ вола, давно уже лопнула, а г. Тургеневъ изъ своего прекраснаго далекà все еще ждетъ, когда она сдѣлается воломъ и запряжется въ тотъ „глубоко забирающій плугъ“, которымъ, по словамъ эпиграфа, должна быть поднята дѣвственная русская новь.

Мы сказали, что литературная дѣятельность г. Тургенева представляется намъ настолько законченною и договорившеюся до своего послѣдняго слова, что мы не могли относиться къ его новому роману съ ожиданіями въ томъ смыслѣ, какъ привыкли цѣнить его прежнія произведенія. Отъ писателя, застывшаго на томъ моментѣ нашего общественнаго развитія, въ которомъ мы находились пятнадцать лѣтъ назадъ, нельзя ждать плодотворной мысли, живого чувства современности, поэтическаго прорицанія. Но, признаемся, была другая сторона въ творчествѣ г. Тургенева, относительно которой вопросъ еще казался для насъ спорнымъ. Независимо отъ значенія писателя, по высотѣ своихъ идеаловъ долгое время стоявшаго впереди литературнаго движенія, мы цѣнили въ г. Тургеневѣ первокласснаго художника. Мы помнили, что не далѣе какъ въ „Дымѣ“, произведеніи столь слабомъ по идеѣ и нравственному смыслу, еще обнаруживался художественный талантъ автора. Мы надѣялись, что и въ новомъ романѣ, независимо отъ его общественной задачи, г. Тургеневъ дастъ намъ великолѣпный драматическій узелъ, мастерски нарисованные типы и, какъ всегда, замѣчательную героиню. Увы! въ этомъ отношеніи намъ пришлось испытать горестное разочарованіе. Въ „Нови“ мы не нашли почти никакого романа, нашли только блѣдную тѣнь прежнихъ творческихъ пріемовъ автора, блѣдныя копіи со старыхъ, заѣзженныхъ типовъ, а вмѣсто героини, какое то тусклое пятно, очевидно не прояснившееся для самого автора.

Дѣйствіе романа отнесено къ 1868 году. Въ квартирѣ студента Нежданова сходятся нѣсколько лицъ, связанныхъ между собою принадлежностью къ тайному революціонному обществу: Пименъ Остродумовъ, угрюмый и совершенно безцвѣтный агентъ подпольной агитаціи; дѣвица Машурина, некрасивая, но цѣломудренная акушерка; маленькій кривоногій Паклинъ, личность до крайности жалкая, играющая нѣчто въ родѣ шута въ этомъ страшно меланхолическомъ обществѣ; наконецъ, самъ Неждановъ, котораго Паклинъ называетъ россійскимъ Гамлетомъ, и который, какъ только

входитъ въ комнату, такъ прямо объявляетъ, что „нельзя носу на улицу высунуть въ этомъ гадкомъ городѣ, въ Петербургѣ, чтобы не наткнуться на какую нибудь пошлость, глупость, на безобразную несправедливость, на чепуху. Жить здѣсь больше невозможно“. Когда Паклинъ допрашиваетъ его, почему именно жить въ Петербургѣ невозможно, Неждановъ отвѣчаетъ „внезапно зазвенѣвшимъ голосомъ“: полъ-Россіи съ голода помираетъ, „Московскія Вѣдомости“ торжествуютъ, классицизмъ хотятъ ввести, студенческія кассы запрещаются, вездѣ шпіонство, притѣсненія, доносы, ложь и фальшь—шагу намъ ступить некуда“... Остродумовъ объявляетъ, что получилъ письмо изъ Москвы отъ таинственнаго Василія Николаевича, революціоннаго воротилы, предписывающее ему и Машуриной ѣхать куда-то въ провинцію для пропаганды; Неждановъ и Паклинъ предлагаютъ достать на эту поѣздку деньги. Потолковавъ, революціонеры собирались уже разойтись, „какъ вдругъ, безъ всякаго предварительнаго шума и стука, въ передней раздался удивительно пріятный, мужественный и сочный баритонъ, отъ самаго звука котораго вѣяло чѣмъ-то необыкновенно благороднымъ, благовоспитаннымъ и даже благоуханнымъ“. Баритонъ принадлежалъ камергеру Сипягину. Оказывается, что еще за три дня передъ тѣмъ Сипягинъ встрѣтился и разговорился съ Нежданомъ во время спектакля въ александринскомъ театрѣ. Случилось это такимъ образомъ: Неждановъ зашелъ въ кассу купить билетъ, но въ ту минуту, какъ онъ подходилъ къ окошечку, какой-то офицеръ протянулъ изъ-за его плеча трехрублевую бумажку, со словами: „Имъ (т. е. Нежданову), вѣроятно, придется получать сдачу, а мнѣ не надо; такъ вы дайте мнѣ, пожалуйста, поскорѣй билетъ во второмъ ряду... мнѣ къ спѣху!“ —Извините, г. офицеръ—промолвилъ рѣзкимъ голосомъ Неждановъ“—я самъ желаю взять билетъ во второмъ ряду, и тутъ бросилъ въ окошко трехрублевую бумажку, весь свой наличный капиталъ. Кассиръ выдалъ ему билетъ, и вечеромъ Неждановъ очутился въ аристократическомъ отдѣленіи Александринскаго театра“.

Во время спектакля Нежданову пришлось сидѣть м... усѣяннымъ звѣздами генераломъ и тайнымъ совѣтникомъ ...пягинымъ. „Генералъ изрѣдка взглядывалъ на Нежд... какъ на нѣчто неприличное, неожиданное и даже осс... тельное; Сипягинъ, напротивъ, бросалъ на него хо... свенные, но не враждебные взоры. Всѣ лица, окруж... Нежданова, казались, во-первыхъ, болѣе особами, не... лицами; во-вторыхъ, они всѣ очень хорошо знали дру... друга и мѣнялись короткими разговорами, словами или даже простыми восклицаніями и привѣтами.“ Неждановъ же чувствовалъ себя очень неловко и даже мало наслаждался комедіей Островскаго. Вдругъ, къ удивленію его, Сипягинъ въ антрактѣ „заговорилъ съ нимъ учтиво и мягко, съ какою-то заискивавшею снисходительностью“. Неждановъ сначала оробѣлъ, но потомъ пустился высказывать мнѣніе о комедіи Островскаго безъ всякаго стѣсненія, и „подъ конецъ даже такъ громко и съ такимъ увлеченіемъ, что явно обезпокоивалъ сосѣда звѣздоносца“. Въ слѣдующій антрактъ Сипягинъ снова заговорилъ съ нимъ уже не объ Островскомъ, „а вообще о разныхъ житейскихъ, научныхъ и даже политическихъ предметахъ“. Неждановъ и тутъ не стѣснялся: „коли, молъ, любопытствуешь, такъ на же вотъ!“ При разъѣздѣ изъ театра, Сипягинъ столкнулся со своимъ хорошимъ пріятелемъ, флигель-адъютантомъ княземъ Г., и узналъ отъ него, что молодого человѣка звали Неждановымъ, и что онъ побочный сынъ его отца и получаетъ отъ нихъ пенсію. На другой день Сипягинъ прочелъ въ „Полицейскихъ Вѣдомостяхъ“, что студентъ Неждановъ ищетъ кондицій въ отъѣздъ—и отправился къ нему. Онъ предложилъ ему ѣхать съ нимъ на лѣто въ деревню, въ качествѣ учителя его сына, за сто рублей въ мѣсяцъ, къ великому недоумѣнію Нежданова, который никакъ не могъ понять, откуда такая благодать. „Что это такое? зачѣмъ этотъ человѣкъ словно заискиваетъ во мнѣ?“ думалъ онъ; однако приглашеніе принялъ и черезъ нѣсколько дней уѣхалъ вмѣстѣ съ Сипягинымъ къ нему въ деревню.

Мы нарочно подробно передали содержаніе первыхъ главъ

„Нови“, потому что въ этихъ главахъ сразу выступаетъ замѣчательное и довольно неожиданное (по крайней мѣрѣ, въ такой степени) свойство автора, именно совершенное незнаніе того, о чемъ онъ такъ увѣренно и съ такими затѣйливыми подробностями разсказываетъ. Пусть читатель подумаетъ, сколько удивительныхъ несообразностей вмѣстилось на этихъ страницахъ! Во-первыхъ, случай съ офицеромъ въ кассѣ никакъ не могъ произойти, потому что трехрублевыхъ креселъ въ Александринскомъ театрѣ нѣтъ и никогда не было, не только во-второмъ, но и въ первомъ ряду; во-вторыхъ, ни звѣздоносные генералы, ни камергеры Александринскаго партера не посѣщаютъ, и тамъ вовсе нѣтъ аристократическаго отдѣленія; въ-третьихъ, еслибъ и случилось генералу сидѣть рядомъ съ Неждановымъ, то онъ никакъ не могъ бы взглядывать на него „какъ на нѣчто неприличное, неожиданное и даже оскорбительное“, потому что въ переднихъ креслахъ Александринскаго театра преимущественно сидятъ купцы, приказчики, а нерѣдко и просто дворники. А потому, въ четвертыхъ, лица окружавшія Нежданова не могли казаться особами и быть всѣ знакомыми между собою, какъ это случается въ другихъ театрахъ. По той же причинѣ, въ пятыхъ, встрѣча Сипягина съ княземъ Г. весьма неправдоподобна, особенно имѣя въ виду, что давалась пьеса Островскаго. Въ шестыхъ, „Полицейскія Вѣдомости“ давнымъ-давно перестали быть единственнымъ листкомъ объявленій, и Сипягину не было надобности читать ихъ, такъ какъ онъ могъ найти несравненно больше предложеній о „кондиціяхъ“ въ любой политической газетѣ.

Все это, мы согласны, несообразности довольно мелкія; однако взятыя вмѣстѣ, онѣ сообщаютъ разсказу неправдоподобный колоритъ, дѣлаютъ его похожимъ на разсказъ иностранца, который, вздумавъ писать повѣсть изъ петербургской жизни, отыскалъ въ справочномъ календарѣ Александринскій театръ, и дѣло въ шляпѣ.

Но читатель замѣтилъ, конечно, несообразность болѣе серьезную, заключающуюся въ самомъ сближеніи Сипягина

съ Неждановымъ. Въ самомъ дѣлѣ, почему Сипягину могло придти въ голову взять Нежданова къ своему сыну, да еще и придти съ этой цѣлью къ нему на квартиру? Разговориться съ нимъ въ театрѣ, ради любопытства: какъ, молъ, студентъ объ этомъ разсуждаетъ—дѣло еще возможное; но приставить его къ сыну, послѣ того, какъ онъ узналъ, что Неждановъ человѣкъ весьма краснаго образа мыслей, и притомъ безо всякой рекомендаціи—не черезчуръ ли легкомысленно? Правда, въ отвѣтъ на недоумѣніе самого Нежданова,— который навѣрное заподозрѣлъ во всемъ этомъ какую-то тайную цѣль, — Сипягинъ объясняетъ, что онъ совершенно раздѣляетъ его образъ мыслей, и что наружность его ему понравилась; но изъ дальнѣйшаго теченія романа оказывается, что либерализмъ Сипягина былъ самый умѣренный, а наружность Нежданова—довольно скверная. Между тѣмъ и тайной цѣли, которую могъ заподозрѣть Неждановъ, также не было, и неправдоподобность завязки остается неразъясненною и не закрашенною.

Возвратимся къ содержанію романа. Дѣйствіе переносится въ усадьбу Сипягиныхъ, въ большой каменный домъ съ колоннами и греческимъ фронтономъ, убранный внутри съ отпечаткомъ „новѣйшаго, деликатнаго вкуса“. Хозяйка дома, Валентина Михайловна, „была высокаго роста женщина, лѣтъ тридцати, съ темнорусыми волосами, смуглымъ, но свѣжимъ, одноцвѣтнымъ лицомъ, напоминавшимъ обликъ Сикстинской Мадонны, съ удивительными, глубокими, бархатными глазами. Всякій, кто бы увидалъ, какъ она свободно и легко двигалась по гостиной, то наклоняя къ цвѣтамъ свой тонкій, слегка перетянутый станъ и съ улыбкой нюхая ихъ, то переставляя какую-нибудь китайскую вазочку, то быстро поправляя передъ зеркаломъ свои лоснистые волосы и чуть-чуть прищуривая свои дивные глаза, всякій, говоримъ мы, навѣрное воскликнулъ бы, про себя или даже громко, что онъ не встрѣчалъ болѣе плѣнительнаго созданія!“ Въ этой гостиной, до пріѣзда Нежданова, авторъ знакомитъ насъ съ двумя лицами. Во-первыхъ, молодой человѣкъ, Калломѣйцевъ, петербургскій „гранжанръ“

высшаго полета. Этою личностью авторъ занимается чрезвычайно много, онъ, можно сказать, пристаетъ съ ней къ читателю; она служитъ для него главнымъ вмѣстилищемъ авторскихъ антипатій, она олицетворяетъ собою ту старую Русь, которая никакъ не соглашается расчистить дорогу Неждановымъ, Машуринымъ и прочимъ представителямъ новой Руси. Происходитъ Калломѣйцевъ отъ простыхъ огородниковъ: прадѣдъ его назывался, по мѣсту происхожденія, Коломенцовъ, но уже дѣдъ переименовалъ себя въ Каломейцева, отецъ писалъ Калломейцевъ, а нынѣшній представитель рода перемѣнилъ *е* на *ѣ*, и уже не шутя считаетъ себя аристократомъ. По правдѣ сказать, соль этихъ превращеній, и въ особенности соль буквы *ѣ*, для насъ непонятна... У него были „консерваторскіе, патріотическіе и религіозные принципы“, и въ Петербургѣ о немъ выражались, что онъ „un peu trop feodal dans ses opinions“. Въ сущности, это повтореніе, въ значительно поблѣднѣвшемъ и притомъ штатскомъ видѣ, тѣхъ изящныхъ генераловъ, которые разсуждаютъ въ „Дымѣ“ о семибоярщинѣ. Едва онъ входитъ въ гостиную, какъ уже заявляетъ, что для ихъ губерніи хорошо бы правителя съ желѣзною рукой, въ родѣ его пріятеля, сербскаго князя Михаила Обреновича... и что земство возбуждаетъ лишнія мысли и несбыточныя надежды.

Затѣмъ, героиня романа, Маріанна Викентьевна Синецкая, племянница Сипягина и дочь генерала полу-польскаго происхожденія, сосланнаго въ Сибирь за громадную казенную кражу. „Въ сравненіи съ теткой, Маріанна могла казаться почти дурнушкой. Лицо она имѣла круглое, носъ орлиный, большой, сѣрые, и тоже большіе и очень свѣтлые глаза, тонкія брови, тонкія губы. Она стригла свои русые густые волосы и смотрѣла букой. Но отъ всего ея существа вѣяло чѣмъ-то сильнымъ и смѣлымъ, чѣмъ-то стремительнымъ и страстнымъ“. „Сипягинъ пріютилъ Маріанну у себя въ домѣ. Но жить въ зависимости было ей тошно; она рвалась на волю всѣми силами неподатливой души, и между ея теткой и ею кипѣла постоянная, хотя

съ Неждановымъ. Въ самомъ дѣлѣ, почему Сипягину могло придти въ голову взять Нежданова къ своему сыну, да еще и придти съ этой цѣлью къ нему на квартиру? Разговориться съ нимъ въ театрѣ, ради любопытства: какъ, молъ, студентъ объ этомъ разсуждаетъ—дѣло еще возможное; но приставить его къ сыну, послѣ того, какъ онъ узналъ, что Неждановъ человѣкъ весьма краснаго образа мыслей, и притомъ безо всякой рекомендаціи—не черезчуръ ли легкомысленно? Правда, въ отвѣтъ на недоумѣніе самого Нежданова,— который навѣрное заподозрѣлъ во всемъ этомъ какую-то тайную цѣль,— Сипягинъ объясняетъ, что онъ совершенно раздѣляетъ его образъ мыслей, и что наружность его ему понравилась; но изъ дальнѣйшаго теченія романа оказывается, что либерализмъ Сипягина былъ самый умѣренный, а наружность Нежданова—довольно скверная. Между тѣмъ и тайной цѣли, которую могъ заподозрѣть Неждановъ, также не было, и неправдоподобность завязки остается неразъясненною и не закрашенною.

Возвратимся къ содержанію романа. Дѣйствіе переносится въ усадьбу Сипягиныхъ, въ большой каменный домъ съ колоннами и греческимъ фронтономъ, убранный внутри съ отпечаткомъ „новѣйшаго, деликатнаго вкуса“. Хозяйка дома, Валентина Михайловна, „была высокаго роста женщина, лѣтъ тридцати, съ темнорусыми волосами, смуглымъ, но свѣжимъ, одноцвѣтнымъ лицомъ, напоминавшимъ обликъ Сикстинской Мадонны, съ удивительными, глубокими, бархатными глазами. Всякій, кто бы увидалъ, какъ она свободно и легко двигалась по гостиной, то наклоняя къ цвѣтамъ свой тонкій, слегка перетянутый станъ и съ улыбкой нюхая ихъ, то переставляя какую-нибудь китайскую вазочку, то быстро поправляя передъ зеркаломъ свои лоснистые волосы и чуть-чуть прищуривая свои дивные глаза, всякій, говоримъ мы, навѣрное воскликнулъ бы, про себя или даже громко, что онъ не встрѣчалъ болѣе плѣнительнаго созданія!“ Въ этой гостиной, до пріѣзда Нежданова, авторъ знакомитъ насъ съ двумя лицами. Во-первыхъ, молодой человѣкъ, Калломѣйцевъ, петербургскій „гранжанръ“

новое поколѣніе, для котораго вчерашнія „дѣти“ сдѣлались „отцами“, а г. Тургеневъ продолжалъ все сидѣть на нигилистахъ въ какомъ то недоумѣвающемъ ожиданіи: что же, молъ, наконецъ изъ нихъ будетъ и когда будетъ? Изъ бурнаго потока, готовившагося затопить Русь, нигилизмъ давно уже превратился въ мутный ручей, пробирающійся гдѣто въ сторонѣ отъ главнаго теченія жизни; а г. Тургеневу очевидно до сихъ поръ онъ представляется большимъ русломъ, центромъ, въ который замкнулась русская жизнь и отъ котораго зависитъ ея дальнѣйшее направленіе.

Ровно десять лѣтъ назадъ, въ 1867 году, г. Тургеневъ привезъ изъ-за границы романъ „Дымъ“. Это опять былъ романъ о нигилизмѣ; только здѣсь нигилизмъ являлся не устремленнымъ бодро впередъ, какъ въ лицѣ Базарова, а примолкшимъ, приниженнымъ, получившимъ щелчокъ со стороны. Но всего любопытнѣе было то, что г. Тургеневъ, занятый нигилизмомъ, оказался уже неспособнымъ замѣчать и наблюдать другія органическія явленія русской жизни. Не видя въ этой жизни торжества нигилизма, онъ пришелъ къ заключенію, что, стало быть, нигилизмъ былъ дымъ, и что вся русская жизнь есть дымъ, и ничего въ ней, кромѣ дыма, не можетъ быть. Припомнимъ эти размышленія Литвинова, возвращающагося въ Россію: „Дымъ, дымъ, повторилъ онъ нѣсколько разъ; и все вдругъ показалось ему дымомъ, все, собственная жизнь, русская жизнь—все людское, особенно все русское. Все дымъ и паръ, думалъ онъ; все какъ будто безпрестанно мѣняется, всюду новые образы, явленія бѣгутъ за явленіями, а въ сущности все то же да то же; все торопится, спѣшитъ куда-то, и все исчезаетъ безслѣдно, ничего не достигая; другой вѣтеръ подулъ, и бросилось все въ противоположную сторону, и тамъ опять та же безустанная, тревожная и — ненужная игра“. Замѣтимъ, что эти строки печатались въ то время, когда русское общество, отрезвленное событіями 1863 года, переживало трудный процессъ органическихъ реформъ.

Теперь, по прошествіи десяти лѣтъ, г. Тургеневъ выступаетъ съ новымъ романомъ. И что же? Это опять ро-

манъ о нигилизмѣ. Ни современнѣе ни важнѣе нигилизма г. Тургеневъ, очевидно, ничего не знаетъ въ русской жизни. И опять, замѣчая что до торжества нигилизма все еще очень далеко, авторъ говоритъ почти то же, что говорилъ въ „Дымѣ“. Тамъ былъ дымъ, здѣсь *сонъ*. Этимъ словомъ озаглавлено стихотвореніе, которымъ разражается герой романа.

Нѣтъ, никогда еще такимъ ужаснымъ сномъ
Мои любезныя соотчичи не спали!
Все спитъ кругомъ: вездѣ, въ деревняхъ, въ городахъ,
Въ телѣгахъ, на саняхъ, днемъ, ночью, сидя, стоя...
Купецъ, чиновникъ спитъ; спитъ сторожъ на часахъ,
Подъ снѣжнымъ холодомъ—и на припекѣ зноя!
И подсудимый спитъ и дрыхнетъ судія;
Мертвò спятъ мужики; жнутъ, пашутъ—спятъ; молотятъ—
Спятъ тоже; спитъ отецъ, спитъ мать, спитъ вся семья...
Всѣ спятъ! спитъ тотъ, кто бьетъ, и тотъ, кого колотятъ!
Одинъ кабакъ не спитъ и не смыкаетъ глазъ,
И штофъ съ очищенной всей пятерней сжимая,
Лбомъ въ полюсъ упершись и пятками въ Кавказъ,
Спитъ непробуднымъ сномъ отчизна, Русь святая!

И опять приходится отмѣтить: все это говорится послѣ двадцатилѣтія органическихъ реформъ, почти въ ту самую минуту, когда Восточный вопросъ глубоко волнуетъ Россію, когда во всѣхъ слояхъ русскаго народа обнаруживается небывалая чуткость къ явленіямъ политическимъ и общественнымъ, когда по деревнямъ мужики собираются, чтобы съ лихорадочнымъ возбужденіемъ послушать грамотѣя, заручившагося газетнымъ листкомъ. И прибавимъ еще: судьбѣ угодно было ядовито подшутить надъ маститымъ романистомъ, подготовивъ къ выходу его новаго романа безобразную исторію „казанскихъ декабристовъ“. Такимъ образомъ, лягушка, хвалившаяся раздуться съ вола, давно уже лопнула, а г. Тургеневъ изъ своего прекраснаго далекà все еще ждетъ, когда она сдѣлается воломъ и запряжется въ тотъ „глубоко забирающій плугъ“, которымъ, по словамъ эпиграфа, должна быть поднята дѣвственная русская новь.

Мы сказали, что литературная дѣятельность г. Тургенева представляется намъ настолько законченною и договорившеюся до своего послѣдняго слова, что мы не могли относиться къ его новому роману съ ожиданіями въ томъ смыслѣ, какъ привыкли цѣнить его прежнія произведенія. Отъ писателя, застывшаго на томъ моментѣ нашего общественнаго развитія, въ которомъ мы находились пятнадцать лѣтъ назадъ, нельзя ждать плодотворной мысли, живого чувства современности, поэтическаго прорицанія. Но, признаемся, была другая сторона въ творчествѣ г. Тургенева, относительно которой вопросъ еще казался для насъ спорнымъ. Независимо отъ значенія писателя, по высотѣ своихъ идеаловъ долгое время стоявшаго впереди литературнаго движенія, мы цѣнили въ г. Тургеневѣ первокласснаго художника. Мы помнили, что не далѣе какъ въ „Дымѣ“, произведеніи столь слабомъ по идеѣ и нравственному смыслу, еще обнаруживался художественный талантъ автора. Мы надѣялись, что и въ новомъ романѣ, независимо отъ его общественной задачи, г. Тургеневъ дастъ намъ великолѣпный драматическій узелъ, мастерски нарисованные типы и, какъ всегда, замѣчательную героиню. Увы! въ этомъ отношеніи намъ пришлось испытать горестное разочарованіе. Въ „Нови“ мы не нашли почти никакого романа, нашли только блѣдную тѣнь прежнихъ творческихъ пріемовъ автора, блѣдныя копіи со старыхъ, заѣзженныхъ типовъ, а вмѣсто героини, какое то тусклое пятно, очевидно не прояснившееся для самого автора.

Дѣйствіе романа отнесено къ 1868 году. Въ квартирѣ студента Нежданова сходятся нѣсколько лицъ, связанныхъ между собою принадлежностью къ тайному революціонному обществу: Пименъ Остродумовъ, угрюмый и совершенно безцвѣтный агентъ подпольной агитаціи; дѣвица Машурина, некрасивая, но цѣломудренная акушерка; маленькій кривоногій Паклинъ, личность до крайности жалкая, играющая нѣчто въ родѣ шута въ этомъ страшно меланхолическомъ обществѣ; наконецъ, самъ Неждановъ, котораго Паклинъ называетъ россійскимъ Гамлетомъ, и который, какъ только

входитъ въ комнату, такъ прямо объявляетъ, что „нельзя носу на улицу высунуть въ этомъ гадкомъ городѣ, въ Петербургѣ, чтобы не наткнуться на какую нибудь пошлость, глупость, на безобразную несправедливость, на чепуху. Жить здѣсь больше невозможно“. Когда Паклинъ допрашиваетъ его, почему именно жить въ Петербургѣ невозможно, Неждановъ отвѣчаетъ „внезапно зазвенѣвшимъ голосомъ“: полъ-Россіи съ голода помираетъ, „Московскія Вѣдомости“ торжествуютъ, классицизмъ хотятъ ввести, студенческія кассы запрещаются, вездѣ шпіонство, притѣсненія, доносы, ложь и фальшь—шагу намъ ступить некуда“... Остродумовъ объявляетъ, что получилъ письмо изъ Москвы отъ таинственнаго Василія Николаевича, революціоннаго воротилы, предписывающее ему и Машуриной ѣхать куда-то въ провинцію для пропаганды; Неждановъ и Паклинъ предлагаютъ достать на эту поѣздку деньги. Потолковавъ, революціонеры собирались уже разойтись, „какъ вдругъ, безъ всякаго предварительнаго шума и стука, въ передней раздался удивительно пріятный, мужественный и сочный баритонъ, отъ самаго звука котораго вѣяло чѣмъ-то необыкновенно благороднымъ, благовоспитаннымъ и даже благоуханнымъ“. Баритонъ принадлежалъ камергеру Сипягину. Оказывается, что еще за три дня передъ тѣмъ Сипягинъ встрѣтился и разговорился съ Нежданомъ во время спектакля въ александринскомъ театрѣ. Случилось это такимъ образомъ: Неждановъ зашелъ въ кассу купить билетъ, но въ ту минуту, какъ онъ подходилъ къ окошечку, какой-то офицеръ протянулъ изъ-за его плеча трехрублевую бумажку, со словами: „Имъ (т. е. Нежданову), вѣроятно, придется получать сдачу, а мнѣ не надо; такъ вы дайте мнѣ, пожалуйста, поскорѣй билетъ во второмъ ряду... мнѣ къ спѣху!“ — Извините, г. офицеръ — промолвилъ рѣзкимъ голосомъ Неждановъ“—я самъ желаю взять билетъ во второмъ ряду, и тутъ бросилъ въ окошко трехрублевую бумажку, весь свой наличный капиталъ. Кассиръ выдалъ ему билетъ, и вечеромъ Неждановъ очутился въ аристократическомъ отдѣленіи Александринскаго театра“.

Во время спектакля Нежданову пришлось сидѣть [redacted] усѣяннымъ звѣздами генераломъ и тайнымъ совѣтникомъ Сипягинымъ. „Генералъ изрѣдка взглядывалъ на Нежд[redacted] какъ на нѣчто неприличное, неожиданное и даже ос[redacted]тельное; Сипягинъ, напротивъ, бросалъ на него хо[redacted]свенные, но не враждебные взоры. Всѣ лица, окружавшія Нежданова, казались, во-первыхъ, болѣе особами, нежели лицами; во-вторыхъ, они всѣ очень хорошо знали друг друга и мѣнялись короткими разговорами, словами или даже простыми восклицаніями и привѣтами.“ Неждановъ же чувствовалъ себя очень неловко и даже мало наслаждался комедіей Островскаго. Вдругъ, къ удивленію его, Сипягинъ въ антрактѣ „заговорилъ съ нимъ учтиво и мягко, съ какою-то заискивавшею снисходительностью“. Неждановъ сначала оробѣлъ, но потомъ пустился высказывать мнѣніе о комедіи Островскаго безъ всякаго стѣсненія, и „подъ конецъ даже такъ громко и съ такимъ увлеченіемъ, что явно обезпокоивалъ сосѣда звѣздоносца“. Въ слѣдующій антрактъ Сипягинъ снова заговорилъ съ нимъ уже не объ Островскомъ, „а вообще о разныхъ житейскихъ, научныхъ и даже политическихъ предметахъ“. Неждановъ и тутъ не стѣснялся: „коли, молъ, любопытствуешь, такъ на же вотъ!“ При разъѣздѣ изъ театра, Сипягинъ столкнулся со своимъ хорошимъ пріятелемъ, флигель-адъютантомъ княземъ Г., и узналъ отъ него, что молодого человѣка звали Неждановымъ, и что онъ побочный сынъ его отца и получаетъ отъ нихъ пенсію. На другой день Сипягинъ прочелъ въ „Полицейскихъ Вѣдомостяхъ“, что студентъ Неждановъ ищетъ кондицій въ отъѣздъ—и отправился къ нему. Онъ предложилъ ему ѣхать съ нимъ на лѣто въ деревню, въ качествѣ учителя его сына, за сто рублей въ мѣсяцъ, къ великому недоумѣнію Нежданова, который никакъ не могъ понять, откуда такая благодать. „Что это такое? зачѣмъ этотъ человѣкъ словно заискиваетъ во мнѣ?“ думалъ онъ; однако приглашеніе принялъ и черезъ нѣсколько дней уѣхалъ вмѣстѣ съ Сипягинымъ къ нему въ деревню.

Мы нарочно подробно передали содержаніе первыхъ главъ

„Нови“, потому что въ этихъ главахъ сразу выступаетъ замѣчательное и довольно неожиданное (по крайней мѣрѣ, въ такой степени) свойство автора, именно совершенное незнаніе того, о чемъ онъ такъ увѣренно и съ такими затѣйливыми подробностями разсказываетъ. Пусть читатель подумаетъ, сколько удивительныхъ несообразностей вмѣстилось на этихъ страницахъ! Во-первыхъ, случай съ офицеромъ въ кассѣ никакъ не могъ произойти, потому что трехрублевыхъ креселъ въ Александринскомъ театрѣ нѣтъ и никогда не было, не только во-второмъ, но и въ первомъ ряду; во-вторыхъ, ни звѣздоносные генералы, ни камергеры Александринскаго партера не посѣщаютъ, и тамъ вовсе нѣтъ аристократическаго отдѣленія; въ-третьихъ, еслибъ и случилось генералу сидѣть рядомъ съ Неждановымъ, то онъ никакъ не могъ бы взглядывать на него „какъ на нѣчто неприличное, неожиданное и даже оскорбительное“, потому что въ переднихъ креслахъ Александринскаго театра преимущественно сидятъ купцы, приказчики, а нерѣдко и просто дворники. А потому, въ четвертыхъ, лица окружавшія Нежданова не могли казаться особами и быть всѣ знакомыми между собою, какъ это случается въ другихъ театрахъ. По той же причинѣ, въ пятыхъ, встрѣча Сипягина съ княземъ Г. весьма неправдоподобна, особенно имѣя въ виду, что давалась пьеса Островскаго. Въ шестыхъ, „Полицейскія Вѣдомости“ давнымъ-давно перестали быть единственнымъ листкомъ объявленій, и Сипягину не было надобности читать ихъ, такъ какъ онъ могъ найти несравненно больше предложеній о „кондиціяхъ“ въ любой политической газетѣ.

Все это, мы согласны, несообразности довольно мелкія; однако взятыя вмѣстѣ, онѣ сообщаютъ разсказу неправдоподобный колоритъ, дѣлаютъ его похожимъ на разсказъ иностранца, который, вздумавъ писать повѣсть изъ петербургской жизни, отыскалъ въ справочномъ календарѣ Александринскій театръ, и дѣло въ шляпѣ.

Но читатель замѣтилъ, конечно, несообразность болѣе серьезную, заключающуюся въ самомъ сближеніи Сипягина

съ Неждановымъ. Въ самомъ дѣлѣ, почему Сипягину могло придти въ голову взять Нежданова къ своему сыну, да еще и придти съ этой цѣлью къ нему на квартиру? Разговориться съ нимъ въ театрѣ, ради любопытства: какъ, молъ, студентъ объ этомъ разсуждаетъ—дѣло еще возможное; но приставить его къ сыну, послѣ того, какъ онъ узналъ, что Неждановъ человѣкъ весьма краснаго образа мыслей, и притомъ безо всякой рекомендаціи—не черезчуръ ли легкомысленно? Правда, въ отвѣтъ на недоумѣніе самого Нежданова,— который навѣрное заподозрѣлъ во всемъ этомъ какую-то тайную цѣль, — Сипягинъ объясняетъ, что онъ совершенно раздѣляетъ его образъ мыслей, и что наружность его ему понравилась; но изъ дальнѣйшаго теченія романа оказывается, что либерализмъ Сипягина былъ самый умѣренный, а наружность Нежданова—довольно скверная. Между тѣмъ и тайной цѣли, которую могъ заподозрѣть Неждановъ, также не было, и неправдоподобность завязки остается неразъясненною и не закрашенною.

Возвратимся къ содержанію романа. Дѣйствіе переносится въ усадьбу Сипягиныхъ, въ большой каменный домъ съ колоннами и греческимъ фронтономъ, убранный внутри съ отпечаткомъ „новѣйшаго, деликатнаго вкуса“. Хозяйка дома, Валентина Михайловна, „была высокаго роста женщина, лѣтъ тридцати, съ темнорусыми волосами, смуглымъ, но свѣжимъ, одноцвѣтнымъ лицомъ, напоминавшимъ обликъ Сикстинской Мадонны, съ удивительными, глубокими, бархатными глазами. Всякій, кто бы увидалъ, какъ она свободно и легко двигалась по гостиной, то наклоняя къ цвѣтамъ свой тонкій, слегка перетянутый станъ и съ улыбкой нюхая ихъ, то переставляя какую-нибудь китайскую вазочку, то быстро поправляя передъ зеркаломъ свои лоснистые волосы и чуть-чуть прищуривая свои дивные глаза, всякій, говоримъ мы, навѣрное воскликнулъ бы, про себя или даже громко, что онъ не встрѣчалъ болѣе плѣнительнаго созданія!“ Въ этой гостиной, до пріѣзда Нежданова, авторъ знакомитъ насъ съ двумя лицами. Во-первыхъ, молодой человѣкъ, Калломѣйцевъ, петербургскій „гранжанръ“

высшаго полета. Этою личностью авторъ занимается чрезвычайно много, онъ, можно сказать, пристаетъ съ ней къ читателю; она служитъ для него главнымъ вмѣстилищемъ авторскихъ антипатій, она олицетворяетъ собою ту старую Русь, которая никакъ не соглашается расчистить дорогу Неждановымъ, Машуринымъ и прочимъ представителямъ новой Руси. Происходитъ Калломѣйцевъ отъ простыхъ огородниковъ: прадѣдъ его назывался, по мѣсту происхожденія, Коломенцовъ, но уже дѣдъ переименовалъ себя въ Каломейцева, отецъ писалъ Калломейцевъ, а нынѣшній представитель рода перемѣнилъ *е* на *ъ*, и уже не шутя считаетъ себя аристократомъ. По правдѣ сказать, соль этихъ превращеній, и въ особенности соль буквы *ъ*, для насъ непонятна... У него были „консерваторскіе, патріотическіе и религіозные принципы“, и въ Петербургѣ о немъ выражались, что онъ „un peu trop feodal dans ses opinions“. Въ сущности, это повтореніе, въ значительно поблѣднѣвшемъ и притомъ штатскомъ видѣ, тѣхъ изящныхъ генераловъ, которые разсуждаютъ въ „Дымѣ“ о семибоярщинѣ. Едва онъ входитъ въ гостиную, какъ уже заявляетъ, что для ихъ губерніи хорошо бы правителя съ желѣзною рукой, въ родѣ его пріятеля, сербскаго князя Михаила Обреновича... и что земство возбуждаетъ лишнія мысли и несбыточныя надежды.

Затѣмъ, героиня романа, Маріанна Викентьевна Синецкая, племянница Сипягина и дочь генерала полу-польскаго происхожденія, сосланнаго въ Сибирь за громадную казенную кражу. „Въ сравненіи съ теткой, Маріанна могла казаться почти дурнушкой. Лицо она имѣла круглое, носъ орлиный, большой, сѣрые, и тоже большіе и очень свѣтлые глаза, тонкія брови, тонкія губы. Она стригла свои русые густые волосы и смотрѣла букой. Но отъ всего ея существа вѣяло чѣмъ-то сильнымъ и смѣлымъ, чѣмъ-то стремительнымъ и страстнымъ“. „Сипягинъ пріютилъ Маріанну у себя въ домѣ. Но жить въ зависимости было ей тошно; она рвалась на волю всѣми силами неподатливой души, и между ея теткой и ею кипѣла постоянная, хотя

скрытная борьба. Сипягина считала ее нигилисткой и безбожницей; съ своей стороны, Маріанна ненавидѣла въ Сипягиной свою невольную притѣснительницу. Дяди она чуждалась, какъ и всѣхъ другихъ людей. Она именно чуждалась ихъ, а не боялась; нравъ у нея былъ не робкій“.

Когда всѣ эти три лица, М-me Сипягина, Маріанна и Калломѣйцевъ сходятся въ гостиной, авторъ заставляетъ ихъ высказываться сообразно распредѣленнымъ между ними ролямъ: Сипягина язвительно замѣчаетъ про Маріанну, что она занимается естественными науками и женскимъ вопросомъ; Маріанна, догадавшись, что ее хотятъ смутить, отвѣчаетъ съ кротостью: „Да, тетушка; я читаю все, что объ этомъ написано; я стараюсь понять, въ чемъ состоитъ этотъ вопросъ“. Калломѣйцевъ разражается сверхъестественнымъ вздоромъ: „И я всѣмъ этимъ интересуюсь; только я запретилъ бы объ этомъ говорить!“ восклицаетъ онъ. „Чтò-жъ, по вашему, спрашиваетъ Сипягина, не комиссію ли назначить при министерствѣ для разрѣшенія этого вопроса?“ „А хоть бы и комиссію!“ восклицаетъ Калломѣйцевъ.

Читателю начинаетъ дѣлаться очень скучно... у него, какъ говорится, уши вянутъ отъ этихъ плоскостей и отъ наивности авторскаго пріема...

Пріѣзжаетъ Сипягинъ съ Неждановымъ, садятся обѣдать. За обѣдомъ Калломѣйцевъ приводитъ тостъ одного знакомаго барина: „Пью за единственные принципы, которые признаю, за кнутъ и за Редереръ!“ Нежданов и Маріанна за обѣдомъ переглянулись и вдругъ почувствовали, что они однихъ убѣжденій и одного *пошиба*; а въ Калломѣйцевѣ Нежданов тотчасъ призналъ врага. Послѣ обѣда, уходя изъ столовой, онъ столкнулся въ дверяхъ съ Маріанной, которая поредъ тѣмъ только что выкурила пахитоску, и „снова заглянулъ ей въ глаза, снова убѣдился, что будетъ съ ней какъ товарищъ, хотя она не только не улыбнулась ему, но даже нахмурила брови“.

Здѣсь мы позволимъ себѣ опять пріостановиться. Мы узнали, что Маріанна и М-me Сипягина не любятъ другъ друга, и авторъ объясняетъ эти отношенія тѣмъ, что Си-

пягина притѣсняла племянницу. Антагонизму между ними авторъ вообще придаетъ большое значеніе, отводитъ ему очень много мѣста въ романѣ, при чемъ всѣ симпатіи его явно на сторонѣ Маріанны. Однако все это рѣшительно ничѣмъ не мотивировано, и представляетъ одну изъ тѣхъ несообразностей, которыми переполненъ романъ. „Маріанна, говоритъ г. Тургеневъ, ненавидѣла въ Сипягиной свою невольную притѣснительницу“. Въ чемъ же заключались притѣсненія? Изъ первой же сцены мы видимъ, что Маріанна стрижетъ волосы, занимается естественными науками, читаетъ все написанное о женскомъ вопросѣ, куритъ пахитосы; далѣе узнаемъ, что она свободно видится ночью съ Неждановымъ... Въ чемъ же заключаются стѣсненія, и какой еще свободы желалъ бы г. Тургеневъ своей героинѣ? Свободы убѣжденій? Но Маріанна высказываетъ ихъ безо всякаго запрета, и даже учитъ крестьянскихъ дѣтей въ школѣ, вѣроятно, также безъ слишкомъ бдительнаго надзора со стороны ненавистной тетушки... Любопытно, что самъ Неждановъ, послѣ цѣлой недѣли наблюденій въ Сипягинскомъ домѣ, пишетъ о Маріаннѣ своему пріятелю Силину: „Почему она несчастна—этого я до сихъ поръ еще не знаю... Хозяйка ее не любитъ... И она ей платитъ тѣмъ же... Но кто изъ нихъ правъ—неизвѣстно. Я полагаю, что скорѣй хозяйка не права... такъ какъ ужъ очень она вѣжлива съ нею; а у *той* даже брови нервически подергиваются, когда она говоритъ со своею патроншей“. Не много.

Неждановъ продолжаетъ жить въ домѣ и кое-когда заниматься съ Колей. Сипягинъ какъ только привезъ его, такъ и пересталъ обращать на него вниманіе... Новое противорѣчіе: зачѣмъ же въ такомъ случаѣ было столько безпокоиться, чтобы достать именно Нежданова, и совсѣмъ не тѣмъ путемъ, какимъ обыкновенно пріискиваютъ учителей господа въ родѣ Сипягина?

Авторъ знакомитъ насъ съ новымъ лицомъ, братомъ Валентины Михайловны, Маркеловымъ. Оказывается, что онъ влюбленъ въ Маріанну, но Маріанна отвергла его любовь. За обѣдомъ Неждановъ все смотрѣлъ на него и ди-

вился, какимъ образомъ онъ могъ быть братомъ Сипягиной? „Одно развѣ: у обоихъ кожа была смуглая; но у Валентины Михайловны матовый цвѣтъ лица, рукъ и плечъ составлялъ одну изъ ея прелестей... у ея брата онъ переходилъ въ ту черноту, которую вѣжливые люди величаютъ бронзой, но которая русскому глазу напоминаетъ—голенище. Волосы Маркеловъ имѣлъ курчавые, носъ нѣсколько крючковатый, губы крупныя, впалыя щеки, втянутый животъ и жилистыя руки. Весь онъ былъ жилистый, сухой, и говорилъ мѣднымъ, рѣзкимъ, отрывистымъ голосомъ. Сонный взглядъ, угрюмый видъ—какъ есть желчевикъ!“ И не мудрено, что Неждановъ удивляется, какимъ образомъ Маркеловъ могъ быть братомъ Сипягиной: противоположность между ними простирается гораздо далѣе наружности. Маркеловъ принадлежитъ къ тайному обществу и состоитъ подъ командой таинственнаго Василія Николаевича. Онъ уже давно ведетъ подпольное дѣло, только безъ значительнаго успѣха. „Народъ здѣсь довольно пустой, говоритъ онъ Нежданову, темный народъ. Поучать надо. Бѣдность большая, а растолковать некому, отчего эта самая бѣдность происходитъ“. Чтобы потолковать хорошенько о „дѣлѣ“, онъ везетъ Нежданова въ свою деревеньку, приносящую ему 700 р. дохода, гдѣ уже пріютились прибывшіе изъ Петербурга Остродумовъ и Машурина. По его словамъ, мѣшкать нечего, нарывъ уже созрѣлъ, остается прорѣзать его ланцетомъ. Между окрестными мужиками, фабричными, есть нѣсколько такихъ, что сію минуту пойдутъ на что̀ угодно: Голоплецкій Еремѣй, Сипягинскій Кирило, и еще какой то Менделей, по прозвищу Дутикъ; только на этого Дутика положиться было трудно: въ трезвомъ видѣ храбръ, а въ пьяномъ трусливъ; и почти всегда пьянъ бываетъ. Но самыя важныя свѣдѣнія долженъ доставить нѣкто Кисляковъ. „Я его, впрочемъ, мало знаю, говоритъ Маркеловъ, всего два раза съ нимъ видѣлся, но какія письма этотъ человѣкъ пишетъ, какія письма!! Я вамъ покажу... вы удивитесь! просто огонь! И какая дѣятельность! Разъ пять или шесть всю Россію вдоль и поперекъ проскакалъ... и съ каждой станціи письмо въ десять, двѣнадцать

страницъ!!“ Тѣмъ не менѣе, когда на другой день Маркеловъ пытается потолковать съ мужиками, оказывается, что они совсѣмъ сообразить ничего не могутъ. „Даже по-русски не понимаютъ. Слово: участокъ имъ хорошо извѣстно, а участіе... Что̀ такое: участіе? Не понимаютъ!“

Проходитъ еще нѣсколько недѣль. Неждановъ получаетъ отъ Василія Николаевича приказаніе сблизиться съ Соломинымъ, управляющимъ на сосѣдней фабрикѣ, и купцомъ Голушкинымъ, изъ старообрядцевъ, проживающимъ въ губернскомъ городѣ. Прежде, однако, чѣмъ исполнить это предписаніе, Неждановъ устраиваетъ свиданіе съ Маріанной, и они внезапно открылись другъ другу и объяснились. „Неждановъ съ увлеченіемъ, съ жаромъ, съ неожиданнымъ для него самого краснорѣчіемъ, сообщилъ Маріаннѣ свои планы, намѣренія, причину, заставившую его принять предложеніе Сипягина, всѣ свои связи, знакомства, свое прошедшее, все что̀ онъ скрывалъ, что никому не высказывалъ! Онъ упомянулъ о полученныхъ письмахъ, о Василіи Николаевичѣ, обо всемъ; даже о Силинѣ! Онъ говорилъ торопливо, безъ запинки, безъ малѣйшаго колебанія, словно онъ упрекалъ себя въ томъ, что до сихъ поръ не посвятилъ Маріанны во всѣ свои тайны, словно извинялся передъ нею. Она его слушала внимательно, жадно; на первыхъ порахъ она изумилась... Но это чувство тотчасъ исчезло. Благодарность, гордость, преданность, рѣшимость,—вотъ чѣмъ переполнялась ея душа. Ея лицо, ея глаза сіяли; она положила другую свою руку на руку Нежданова, ея губы раскрылись восторженно“...

Не для поцѣлуя, конечно: новѣйшія героини, какъ ихъ понимаетъ г. Тургеневъ, никогда не цѣлуются, также какъ и герои.

„Значитъ, вы знаете: заговорила она, что я въ вашемъ распоряженіи, что я хочу быть тоже полезною вашему дѣлу, что я готова сдѣлать все, что будетъ нужно, пойти, куда прикажутъ, что я всегда, всею душой желала того же, что и вы“...

Въ эту патетическую минуту авторъ вспоминаетъ о Валентинѣ Михайловнѣ и заставляетъ ее подслушивать у дверей. Собственно для интриги романа это оказывается впо-

слѣдствіи совсѣмъ ненужнымъ, и вставлено только такъ, въ видѣ маленькой сплетни на ненавистную „барыню“: надо же, молъ, показать, что Маріанна честная-пречестная, а камергерша у дверей подслушиваетъ...

„Странно, замѣчаетъ Неждановъ, вѣдь, мы объяснились другъ другу въ любви, мы любимъ другъ друга, а ни слова объ этомъ между нами не было.

„Къ чему? шепнула Маріанна, и вдругъ бросилась къ нему на шею, притиснула свою голову къ его плечу... Но они даже не поцѣловались, это было бы пошло и почему-то жутко— такъ, по крайней мѣрѣ, чувствовали они оба—и тотчасъ же разошлись, крѣпко-крѣпко стиснувъ другъ другу руку“.

Когда мы читали эту сцену, намъ пришла въ голову очень смѣлая мысль: не шутитъ ли г. Тургеневъ, пародируя бѣллетристовъ „Дѣла“ и „Отчественныхъ Записокъ“, у которыхъ подобныя сцены, съ подобными красками, мы сто разъ встрѣчали здѣсь? Вѣдь, не можетъ же быть, чтобы маститый романистъ нашъ серьезно подражалъ изображеніямъ „новой любви“ у г. Михайлова, г-жи Смирновой и прочихъ живописцевъ „новыхъ людей“..? Но объ этомъ рѣчь впереди.

На другой день послѣ объясненія съ Маріанной Неждановъ ѣдетъ съ Маркеловымъ къ Соломину, управляющему купца Фалѣева. Вотъ какъ отзывается авторъ объ этой „будущей силѣ“ Руси: „На первый взглядъ Соломинъ производилъ впечатлѣніе чухонца или скорѣе шведа. Онъ былъ высокаго роста, бѣлобрысъ, сухопаръ, плечистъ; лицо имѣлъ длинное, желтое, носъ короткій и широкій, глаза очень небольшіе, зеленоватые, взглядъ спокойный, губы крупныя и выдвинутыя впередъ; зубы бѣлые, тоже крупные и раздвоенный подбородокъ, чуть-чуть обросшій пухомъ. Одѣтъ онъ былъ ремесленникомъ кочегаромъ: на туловищѣ старый пиджакъ съ отвислыми карманами, на головѣ клеенчатый помятый картузъ, на шеѣ шерстяной шарфъ, на ногахъ дегтярные сапоги. „Маркеловъ тотчасъ завелъ было съ нимъ разговоръ о „дѣлѣ“, но Соломинъ объявилъ, что тутъ у него неудобно, и предложилъ ѣхать всѣмъ къ Маркелову. Однако и тамъ онъ не оказался разговорчивымъ. „Соломинъ не оправдалъ

ожиданій Нежданова. Онъ говорилъ замѣчательно мало... такъ мало, что почти, можно сказать, постоянно молчалъ; но слушалъ пристально, и если произносилъ какое-либо сужденіе или замѣчаніе, то оно было и дѣльно, и вѣско, и очень коротко. Оказалось, что Соломинъ не вѣрилъ въ близость революціи въ Россіи, но, не желая навязывать свое мнѣніе другимъ, не мѣшалъ имъ попытаться, и посматривалъ на нихъ не издали, а сбоку. Онъ хорошо зналъ петербургскихъ революціонеровъ и до нѣкоторой степени сочувствовалъ имъ, ибо самъ былъ изъ народа; но онъ понималъ невольное отсутствіе этого самаго народа, безъ котораго „ничего ты не подѣлаешь“, и котораго долго готовить надо, да и не такъ и не тому, какъ ты. Вотъ онъ и держался въ сторонѣ, не какъ хитрецъ и виляка, а какъ малый со смысломъ, который не хочетъ даромъ губить ни себя, ни другихъ. А послушать... отчего не послушать, и даже поучиться, если такъ придется. Соломинъ былъ единственный сынъ дьячка; у него было пять сестеръ, всѣ замужемъ за попами и дьяконами; но онъ съ согласія отца, степеннаго и трезваго человѣка, бросилъ семинарію, сталъ заниматься математикой и особенно пристрастился къ механикѣ, попалъ на заводъ къ англичанину, который полюбилъ его какъ сына и далъ ему средства съѣздить въ Манчестеръ, гдѣ онъ пробылъ два года и выучился англійскому языку. На фабрику московскаго купца онъ попалъ недавно, и хотя съ подчиненныхъ взыскивалъ— потому что въ Англіи на эти порядки насмотрѣлся—но пользовался ихъ расположеніемъ: свой, дескать, человѣкъ!“ По поводу высказанныхъ Маркеловымъ надеждъ на фабричныхъ, онъ отозвался, что „у насъ на Руси фабричные не то, что за границей—самый тихоня народъ“, о мужикахъ же сказалъ, что „кулаковъ между ними уже теперь завелось довольно, и съ каждымъ годомъ больше будетъ, а кулаки только свою выгоду знаютъ; остальные — овцы, темнота“. Бесѣда продолжалась до самаго утра. „Соломинъ слушалъ, слушалъ, вникалъ, покуривалъ—и не переставая улыбаться, не сказавъ ни одного остроумнаго слова, казалось, лучше всѣхъ понималъ, въ чемъ состояла собственно вся суть.

Мы добросовѣстно передали содержаніе около сотни страницъ „Нови“, и... чувствуемъ, что это трудъ неблагодарный. Читатели, не успѣвшіе еще ознакомиться непосредственно съ новымъ произведеніемъ г. Тургенева, вѣроятно не безъ удивленія уже спрашиваютъ себя: гдѣ же собственно романъ? Увы, да романа и нѣтъ, ни на первой, ни на второй, ни на третьей сотнѣ страницъ. Передъ читателемъ проходитъ вереница лицъ, большею частью не играющихъ ровно никакой роли, лицъ поголовно ничтожныхъ и, полагаемъ, антипатичныхъ для всякаго свѣжаго чувства. Но мы еще возвратимся къ тому, какія общественныя группы и какія типы видитъ г. Тургеневъ въ современной Россіи, и въ какой странной пустотѣ заставляетъ онъ дѣйствовать своихъ не менѣе странныхъ героевъ. Теперь же замѣтимъ только, что экспозиція дѣйствующихъ лицъ отличается въ его новомъ романѣ непомѣрною растянутостью и, что всего удивительнѣе въ такомъ опытномъ беллетристѣ, крайнею неискусностью. Вся первая половина романа израсходована на экспозицію, при чемъ авторъ не далъ себѣ труда поставить выводимыя лица хоть въ какую-нибудь правдоподобную житейскую связь, хоть какое-нибудь драматическое соотношеніе. Онъ просто *возитъ* читателя вмѣстѣ съ Неждановымъ отъ одного лица къ другому: отъ Сипягиныхъ къ Маркелову, отъ Маркелова къ Соломину, отъ Соломина къ Голушкину, отъ Голушкина къ Ѳомушкѣ и Фимушкѣ, и т. д. Правда, Чичиковъ знакомился подобнымъ образомъ съ помѣщиками, но... полагаемъ, нѣтъ надобности объяснять, почему въ этомъ случаѣ сравненіе не можетъ служить оправданіемъ.

Мы не будемъ утомлять вниманіе читателя такимъ же подробнымъ пересказомъ романа, въ какомъ изложили содержаніе первыхъ шестнадцати главъ, и поторопимся обозрѣть дальнѣйшій ходъ повѣствованія, останавливаясь только на болѣе выдающихся страницахъ. Авторъ вводитъ въ романъ еще нѣсколько новыхъ лицъ—купца Голушкина и „старосвѣтскихъ помѣщиковъ“ Ѳомушку и Фимушку. Голушкинъ—сынъ милліонера старообрядца, совратившійся въ

„революцію“ изъ-за непомѣрнаго честолюбія: „то, молъ, Суворовъ или Потемкинъ, а то Капитонъ Голушкинъ!“ Что сказать объ этой, на видъ весьма рискованной, фигурѣ—мы право не знаемъ; можетъ быть, въ дѣйствительности нашимъ революціонерамъ и случалось завербовывать подобныя личности, а, можетъ быть, и нѣтъ; по крайней мѣрѣ, въ извѣстныхъ политическихъ процессахъ онѣ не фигурировали, и по нашему личному впечатлѣнію—Голушкинъ, въ особенности какъ старообрядецъ, неправдоподобенъ.

В. Авсѣенко.

* * *

*) Первая часть романа, судя по газетнымъ рецензіямъ и „уличнымъ“ толкамъ, произвела, повидимому, впечатлѣніе не особенно лестное для автора. Литературные Коломѣйцовы „Голоса“, до сихъ поръ подобострастно расшаркивающіеся передъ „великимъ художникомъ“, изобразили на своемъ хамелеоновскомъ лицѣ гримасу пренебрежительнаго сожалѣнія. Вотъ оно что, воскликнули они;—это совсѣмъ даже недостойно Тургенева! Это—не болѣе, какъ „зады“ передового когда-то учителя, повторяемые съ примѣсью какой-то старческой, порою нѣсколько утомляющей брюзгливости“... „Тургеневъ, такъ постоянно отличавшійся своею чуткостью въ распознаваніи злобы дня и нарождающихся измѣненій въ общественномъ темпераментѣ, не попалъ въ жилку на этотъ разъ“. „Подпольные герои „Нови“ не возбуждаютъ къ себѣ никакого художественнаго сочувствія, если исключить типъ купца нигилиста Голушкина... (браво! вотъ что, значитъ, „рыбакъ рыбака видитъ издалека“). „Бѣсы“ Достоевскаго и „Некуда“ г. Лѣскова куда выше въ этомъ отношеніи „Нови“. Но особенно вознегодовалъ „Голосъ“ на

*) П. Никитинъ (П. Н. Ткачовъ). „Дѣло“ 1877 г., № 2. (Въ этой критикѣ, между прочимъ, упоминается, какъ отнеслись къ „Нови“, въ моментъ ея появленія, нѣкоторые болѣе или менѣе выдающіеся органы нашей печатной прессы).

Тургенева за его отношеніе къ Коломѣйцову. „Это совсѣмъ даже не характеръ, даже не живой образъ, а весьма сомнительнаго свойства шаржъ, который странно встрѣтить на страницахъ серьезнаго произведенія“ (а отчего же Голушкинъ, которымъ вы такъ восхищаетесь—не шаржъ, и отчего этотъ шаржъ вамъ нисколько не странно, а, напротивъ, очень даже пріятно „встрѣтить на страницахъ серьезнаго произведенія?“ О, Коломѣйцовы, Коломѣйцовы, какъ вы всегда неловко сами себя выдаете!). Г. Тургеневъ, витійствуютъ дальше наши Коломѣйцовы, „очевидно, за что-то злится на насъ, и эта злоба увлекаетъ его за предѣлы всякой художественной и даже общественной правды“. „И съ чѣмъ это сообразно, чтобы Коломѣйцовъ могъ быть употребленъ на ловленіе раскольничьихъ архіереевъ за клобукъ, когда всѣмъ извѣстно, что преслѣдованіе раскольниковъ прекратилось съ началомъ нынѣшняго царствованія?“ (?!)

Сипягинымъ тоже остались недовольны и тоже нашли, что это совсѣмъ не „живое лицо“, и что подобныхъ шаблонныхъ сановниковъ „способенъ всякій нарисовать, начиная съ Авсѣенко и кончая княземъ Мещерскимъ“.

Однако князь Мещерскій тоже не одобрилъ Сипягина и тоже нашелъ, что Коломѣйцовъ—шаржъ. Вообще, „новый романъ Тургенева, по мнѣнію его сіятельства, не удовлетворилъ ничьихъ ожиданій, изъ рукъ вонъ плохъ; даже удивительно, какъ это Тургеневъ, написавшій „Отцовъ и Дѣтей“, могъ написать такую плохую вещь?“ Впрочемъ, князь удивляется только для виду, въ сущности же онъ очень хорошо знаетъ, что иначе и быть не могло. Во-первыхъ, тему авторъ взялъ преглупую: „нигилисты“; но кто же теперь думаетъ о нигилистахъ (князь, очевидно, забываетъ то, о чемъ онъ самъ постоянно думаетъ)? „Они надоѣли всѣмъ и въ литературѣ и въ дѣйствительности“. Во-вторыхъ, къ этой глупой темѣ авторъ отнесся самымъ глупѣйшимъ образомъ: на старости лѣтъ онъ вздумалъ кокетничать и расшаркиваться съ людьми, долженствующими возбуждать въ душѣ всякаго истиннаго „гражданина“ лишь чувство негодованія и презрѣнія.

Въ такомъ же или почти въ такомъ же духѣ высказались и прочіе органы Мещерско-Краевскаго толка. Тургеневъ, по ихъ отзывамъ, хотя и не щадитъ, но все-таки какъ будто симпатизируетъ новымъ и подрастающимъ представителямъ общества, и крайне пристрастно, съ совсѣмъ „нехудожественнымъ озлобленіемъ“ относится къ элементамъ старымъ и отживающимъ, къ такимъ, во всякомъ случаѣ, почтеннымъ господамъ, какъ Сипягины и Коломѣйцовы.

На органы съ оттѣнкомъ „свободомыслія“ (хотя бы на нижнихъ своихъ столбцахъ), въ родѣ „Биржевыхъ Новостей“, „Новаго Времени“ и „Недѣли“, „Новь“ произвела нѣсколько иное, хотя и не менѣе смутное впечатлѣніе. Газета г. Полетики скромно заявила, что пока она еще ничего въ романѣ не понимаетъ и мнѣнія о немъ никакого не имѣетъ. „Сипягинъ стереотипенъ и баналенъ. Коломѣйцовъ — шаржированъ, Неждановъ и Соломинъ — личности столь неопредѣленно обрисованныя, что о нихъ ничего положительнаго сказать нельзя. Голушкинъ же — это чистая карикатура, до крайности смахивающая не то на „Взбаламученное Море“ Писемскаго, не то на „Некуда“ Стебницкаго“.

Напротивъ, „Новое Время“ нашло, что „личности, выступающія въ романѣ, обрисованы мастерски немногими крупными штрихами и, несмотря на отсутствіе столь любимаго многими психологическаго анализа, выступаютъ живыми людьми; можно сочувствовать имъ, жалѣть ихъ, или ужъ отнестись къ нимъ иначе (какъ это тонко и политично выражено: истинные Талейраны!), но правда, живая правда, безъ всякихъ риторическихъ прикрасъ, охватываетъ васъ и завлекаетъ въ этотъ жизненный потокъ!“

Рецензентъ „Недѣли“, тотъ самый рецензентъ, который сожалѣлъ, что въ нашей журналистикѣ не найдется, по всей вѣроятности, критика, способнаго оцѣнить новое произведеніе Тургенева по достоинству,—этотъ рецензентъ, какъ и слѣдовало ожидать, выражаетъ свое полное одобреніе и сочувствіе тургеневскому роману. „Честь и слава, восклицаетъ онъ,—свѣтлому таланту Тургенева, и дай Богъ добраго успѣха его новому роману, насквозь проникнутому

теплой, отеческой любовью къ молодому поколѣнью!“ Не видно, впрочемъ, на чемъ основываетъ авторъ свое заключеніе „о теплой, отеческой любви“. Во всемъ романѣ онъ видитъ „единственно сколько-нибудь отрадный образъ—это образъ героини романа „Маріанны“. Въ описаніи остальныхъ героевъ романа „Нови“ онъ замѣчаетъ у автора „тѣ же пріемы, съ которыми пріобыкли подходить къ изображенію ихъ всѣ изобразители „нигилистокъ“, начиная съ Стебницкаго и кончая княземъ Мещерскимъ“. „Второстепенныя личности романа, изъ новыхъ типовъ молодежи, очерчены пока внѣшнимъ образомъ“. „Въ романѣ... все еще чего-то недостаетъ... не вытанцовывается... картина слишкомъ блѣдна“. „Есть основаніе опасаться, что сторона наиболѣе жгучихъ вопросовъ и до конца останется у художника въ тѣни... потому что онъ незнакомъ и не можетъ быть близко знакомъ съ этою таинственною (?) стороною дѣла“.

Вообще, по мнѣнію рецензента, новый романъ Тургенева долженъ будетъ произвести на „новь“ „впечатлѣніе тяжелое, грустное, томительное“, что, однакожъ, не помѣшаетъ ему (т. е. впечатлѣнію) быть „благотворнымъ, отрезвляющимъ, но не убивающимъ ничего хорошаго“.

Не желая уклоняться въ сторону, мы прежде всего отдѣлимъ вводныя, эпизодическія, аксессуарныя личности, фигурирущія въ романѣ, отъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, отъ его героевъ. Только послѣдніе для насъ и интересны, потому на нихъ то мы и сосредоточимъ все наше вниманіе. Къ числу аксессуауровъ мы относимъ, съ одной стороны, Остродумова, Машурину, Маркелова, Голушкина и „резонера“ романа Паклина; съ другой — Коломѣйцова и супруговъ Сипягиныхъ. Аксессуары первой категоріи пришиты къ роману живыми нитками, и, судя по ихъ „художественной отдѣлкѣ“, можно думать, что самъ авторъ не придавалъ имъ никакого значенія. Какъ бы ни смотрѣли на художественный талантъ Тургенева, во всякомъ случаѣ, нельзя не признать, что среди нашихъ современныхъ беллетристовъ (за вычетомъ Писемскаго и Достоевскаго) это одинъ

изъ самыхъ крупныхъ талантовъ. Возможно ли допустить, чтобы „крупный художественный талантъ“, желая обрисовать выдающіеся типы извѣстной общественной среды, унизился бы до плагіата, и, вмѣсто того, чтобы самому изучать и наблюдать эту среду, обобщать единичныя явленія и претворять ихъ въ самобытные, живые, конкретные образы,—рѣшился бы воспользоваться чужимъ трудомъ, и притомъ трудомъ весьма сомнительнаго достоинства, рѣшился бы заимствовать готовые образы... и откуда же?—Изъ „Бѣсовъ“ и „Взбаламученнаго Моря“! Нѣтъ, это рѣшительно невозможно. Совсѣмъ другое дѣло, если художникъ, нисколько не имѣя въ виду „обрисовать выдающіеся типы данной среды“, захотѣлъ просто взять „нѣкоторыхъ“ изъ этой среды, первыхъ попавшихся, съ невинною цѣлью, черезъ сопоставленіе ихъ съ главными героями романа, рельефнѣе, ярче оттѣнить характеръ послѣднихъ. Очень можетъ быть, что для лучшаго достиженія своей цѣли, въ интересахъ художника было выбрать даже изъ этихъ „первыхъ попавшихся“ личности наиболѣе неуклюжія, нескладныя, даже неправдоподобныя... Никто не можетъ стѣснять его въ выборѣ тѣхъ средствъ, которыя онъ считаетъ наиболѣе удобными и цѣлесообразными для обрисовки характеровъ своихъ героевъ. Не спорю, съ чисто-художественной точки зрѣнія противъ избраннаго имъ пріема можно было бы сказать очень многое. Но я здѣсь не хочу заниматься художественною оцѣнкою „Нови“...

Уважая свободу художника, мы не обвиняемъ его за его не совсѣмъ художественный пріемъ, и, вполнѣ признавая, что въ обрисовкѣ аксессуарныхъ личностей первой категоріи нѣтъ ни крупицы художественной правды, мы прибавляемъ, однакожъ, что въ виду той спеціальной цѣли, съ которой онѣ введены въ романъ, автору и не для чего было гоняться за этою правдою. Напротивъ, она, чего добраго, только разстроила бы общій тонъ задуманнаго имъ произведенія.

Что касается аксессуаровъ второй категоріи, къ которымъ мы причисляемъ Коломѣйцова и супруговъ Сипяги-

ныхъ (о Ѳомушкѣ съ Ѳимушкой не стоитъ и упоминать), то замѣтимъ, прежде всего, что и эти аксессуары первой категоріи пришиты къ главнымъ дѣйствующимъ лицамъ романа крайне искусственнымъ и совершенно неправдоподобнымъ образомъ. Если для сближенія Нежданова, Соломина и Маріанны съ Остродумовымъ, Машуриной, Голушкинымъ и т. п. понадобился какой-то таинственный и ни для кого невидимый Василій Николаевичъ, то для сближенія Нежданова съ Сипягинымъ и Коломѣйцовымъ потребовался уже цѣлый рядъ самыхъ невѣроятныхъ событій. Потребовалось прежде всего, чтобы Неждановъ, желая взять билетъ въ партеръ Александринскаго театра, встрѣтился въ кассѣ съ какимъ-то офицеромъ, тоже имѣвшимъ намѣреніе взять билетъ, но только въ кресла; хотя офицеръ пришелъ позже Нежданова, но такъ какъ онъ куда то торопился, то и просилъ кассира выдать ему билетъ раньше, мотивируя свою просьбу тѣмъ, что ему (т.-е. Нежданову), вѣроятно, придется получать сдачу, „а мнѣ не надо“. Мотивированіе это показалось Нежданову до такой степени оскорбительнымъ что онъ рѣшился не брать сдачи, а взять, вмѣсто того, также билетъ въ кресла, и, въ благородномъ (хотя и совершенно непонятномъ) негодованіи, „онъ бросилъ въ окошко трехъ-рублевую бумашку, весь свой наличный капиталъ“. Посадивъ такимъ образомъ своего героя, противъ его воли, въ кресла Александринскаго театра, авторъ сажаетъ рядомъ въ нимъ нѣкоего важнаго сановника, тайнаго совѣтника Сипягина. Затѣмъ онъ заставляетъ важнаго сановника начать литературный разговоръ (объ Островскомъ) съ Неждановымъ, совершенно до тѣхъ поръ ему незнакомымъ и одѣтымъ настолько бѣдно и даже неприлично, что всѣ вообще особы сидѣвшія въ креслахъ (это въ Александринкѣ-то!) посматривали на него не особенно дружелюбно. Хотя въ разговорѣ съ сановникомъ Неждановъ заявилъ себя нигилистомъ и человѣкомъ „крайнихъ мнѣній“, и хотя эти мнѣнія онъ „высказывалъ весьма громко, во всеуслышаніе, однако, авторъ заставляетъ Сипягина (такъ звали важнаго сановника) воспылать къ „неприличному студенту“ большимъ сочувствіемъ.

При выходѣ изъ театра Сипягина встрѣчаетъ нѣкій флигель-адъютантъ и князь Г., который оказывается братомъ (конечно, побочнымъ) „неприличнаго студента“. Онъ разсказываетъ объ этомъ „важному сановнику“, сообщаетъ, что заинтересовавшаго его студента зовутъ Неждановымъ и что онъ, дѣйствительно, человѣкъ крайнихъ мнѣній. На другой день авторъ подсовываетъ Сипягину тотъ № „Полицейскихъ Вѣдомостей“, въ которомъ напечатано въ отдѣлѣ объявленій, что „студентъ Нежданов, живущій тамъ-то, ищетъ мѣсто учителя въ отъѣздъ“. Сипягинъ усматриваетъ въ этомъ удивительномъ совпаденіи обстоятельствъ „перстъ судьбы“, ѣдетъ сейчасъ къ Нежданову и приглашаетъ его къ себѣ въ деревню учить его девятилѣтняго сына Колю. Неждановъ, конечно, соглашается, и аксессуаръ притянутъ къ герою.

Рецензенты раньше насъ еще указали на крайнюю неправдоподобность всѣхъ этихъ „случайностей“, которыя если и могутъ быть въ дѣйствительной жизни, какъ изъ ряду вонъ выходящія явленія, то художникъ, претендующій на воспроизведеніе реальной жизни, не въ правѣ пользоваться ими, какъ матеріаломъ для своихъ обобщеній. Одинъ изъ рецензентовъ заявилъ даже, что хотя „это все пустяки, но пустяки эти рушатъ за собою весь романъ, подобно тому, какъ стоитъ вынуть одну карту изъ карточнаго домика—и весь онъ, безъ удержу, развалится въ одно мгновеніе“. „Въ самомъ дѣлѣ, подумайте только, философствуетъ тотъ же рецензентъ,—что Неждановъ не могъ попасть во 2-й рядъ креселъ путемъ такого скандала, какимъ онъ попалъ, не могъ поэтому встрѣтиться и съ Сипягинымъ, самое присутствіе котораго въ Александринкѣ весьма подозрительно. Ну, затѣмъ и весь романъ долженъ оказаться не сбывшимся“. Конечно, подобный выводъ можетъ придти въ голову лишь такому „заурядному читателю“, заурядность котораго ниже средняго уровня. Обыкновенный же читатель, т.-е. читатель средней заурядности, даже и неотличающійся проницательностію газетнаго рецензента, уже и по первой части романа могъ сообразить, что Сипягины и ихъ пріятель Коломѣйцовъ не играютъ въ романѣ никакой существенной роли,

что они привязаны къ нему бѣлыми нитками, и что поэтому, если бы даже эти нитки и порвались, то романъ все-таки „не разрушился бы“ и не оказался бы „не сбывшимся“.

П. Никитинъ (П. Ткачовъ).

***

*) Романъ „Новь“ написанъ на тему революціоннаго „хожденія въ народъ“. Намъ, въ Россіи живущимъ, трудно судить о степени вѣрности лицъ „Нови“ и ихъ дѣлъ. Знаемъ мы эти дѣла только по слухамъ, да изъ нѣкоторыхъ политическихъ процессовъ. Но такъ какъ мы живемъ въ Россіи, то незнаніе наше все таки, по крайней мѣрѣ, не превышаетъ незнанія г. Тургенева, а потому кое-какія соображенія для оцѣнки „Нови“ у насъ есть. У насъ есть, во-первыхъ, данныя для оцѣнки нѣкоторыхъ подробностей, частностей, не играющихъ существенной роли въ романѣ, но не безынтересныхъ. Напримѣръ, въ романѣ фигурируетъ нѣкая дѣвица Машурина, очень некрасивая, между прочимъ. Вотъ какъ говоритъ объ ней авторъ: „Года полтора тому назадъ, она бросила свою родную, дворянскую, небогатую семью въ южной Россіи, прибыла въ Петербургъ съ шестью цѣлковыми въ карманѣ; поступила въ родовспомогательное заведеніе и безустаннымъ трудомъ добилась желаннаго аттестата. Она была дѣвица... и очень цѣломудренная дѣвица. Дѣло не удивительное! скажетъ иной скептикъ, вспомнивъ то, что сказано объ ея наружности. Дѣло удивительное и рѣдкое! „позволимъ себѣ сказать мы“. Этими словами г. Тургеневъ „позволилъ себѣ сказать“ просто неправду, основываясь, конечно, на невѣрныхъ свѣдѣніяхъ, доставленныхъ ему кѣмъ-нибудь изъ Россіи. За неимѣніемъ статистики цѣломудрія (вотъ бы хорошо завести, всякій бы зналъ, по крайней мѣрѣ!), нельзя этого доказать; но всѣ мы, живущіе въ Россіи, тѣмъ не менѣе, знаемъ, что Машурина съ этой стороны

*) Н. Михайловскій. „Отечественныя Записки“ 1877 г., № 2. Статья подъ названіемъ: „Записки Профана“.

вовсе не составляетъ чего-нибудь „рѣдкаго и удивительнаго“. Бываетъ это часто. Такихъ мелочей, гдѣ мы, по необходимости ближе стоящіе къ дѣлу, можемъ съ удобствомъ провѣрить показанія г. Тургенева, можно найти не мало. Но Богъ съ ними, съ мелочами. Ошибка въ фальшь не ставится. Одно только можно сказать: какое намъ дѣло до цѣломудрія госпожи Машуриной, и какіе ужъ мы съ г. Тургеневымъ контролёры чужого цѣломудрія?

Ошибка въ фальшь не ставится. Но фальшь ужъ непремѣнно въ счетъ идетъ. А и для этого у насъ, русскихъ читателей, есть не то, что опредѣленныя, объективныя данныя хотя есть и они, а, такъ сказать, данныя субъективныя, внутри насъ лежащія.

Политическіе процессы слѣдуютъ одинъ за другимъ. Правительство естественно озабочивается пріисканіемъ мѣръ противъ этого рода преступленій. Интересуются ими газеты, интересуется общество. Всѣ хотятъ знать, въ чемъ же дѣло? Гдѣ причины этихъ революціонныхъ попытокъ? Почему онѣ направлены именно такъ, а не иначе? Всѣ стараются разрѣшить эти вопросы, кто—про себя, кто—публично. Вотъ, напр., г. Достоевскій, въ декабрьскомъ номерѣ своего „Дневника“, объясняетъ дѣло утратою вѣры въ безсмертіе души. Другіе указываютъ, какъ на причину, на разложеніе семьи, утратившей возможность или желаніе направлять своихъ младшихъ членовъ къ строго-легальнымъ цѣлямъ. Третьи укажутъ на условія школьнаго воспитанія и образованія. Четвертые—на экономическія условія и т. д. При всемъ разнообразіи этихъ объясненій, въ нихъ есть одна общая черта: они ищутъ корня дѣла, его общественныхъ причинъ. Это понятно. Каждому русскому естественно искать общихъ причинъ этихъ явленій. Братъ Ивана Сидорова, мужъ Марьи Ивановой, тетка Сидора Иванова—интересуются личною судьбою своихъ родственниковъ и подыскиваютъ въ ихъ жизни причины ихъ революціоннаго увлеченія. Но вообще-то говоря, эти личныя исторіи Ивана Сидорова и пр. въ такомъ только случаѣ интересны, если въ нихъ содержатся хоть намекъ на исторію общую.

Естественно было бы ждать чего-нибудь подобнаго и отъ романа г. Тургенева. Къ сожалѣнію, это не вошло въ его задачу. На то была, конечно, его добрая воля; но дѣло въ томъ, что, вслѣдствіе этого, его романъ въ значительной степени утрачиваетъ свой raison d'être. Всѣ дѣйствующія лица „Нови“ являются въ извѣстномъ смыслѣ вполнѣ готовыми, что, мимоходомъ сказать, придаетъ имъ какую-то деревянность. Процессъ образованія идей и чувствъ, толкнувшихъ ихъ на опасную дорогу, или совсѣмъ скрытъ (Машурина, Остродумовъ, Соломинъ), или коротенько разсказанъ „словами“, да и то очень неполно.

Романъ, въ которомъ изображаются только „поступки“, рядъ дѣйствій, безъ внутренняго, психическаго развитія персонажей, былъ бы очень плохъ, даже въ чисто-художественномъ смыслѣ. Въ прежнихъ романахъ г. Тургенева, какъ и въ большинствѣ романовъ, это внутреннее, психическое развитіе сосредоточивалось на процессахъ и перипетіяхъ любви. Постепенное разгораніе или потуханіе страсти, разныя столкновенія на этой почвѣ приковывали къ себѣ вниманіе читателя и заставляли его съ интересомъ слѣдить даже за пустячными внѣшними дѣйствіями, „поступками“. „Новь“ — романъ политическій, и потому въ немъ психическое движеніе должно хоть отчасти основываться на политическихъ мотивахъ. Но, какъ сказано, всѣ дѣйствующія лица „Нови“ оказываются въ этомъ отношеніи точно замороженными. На счетъ движенія любовнаго мы получаемъ матеріалу очень достаточно: какъ въ госпожѣ Сипягиной поднимается и быстро падаетъ неопредѣленное влеченіе къ Нежданову, какъ зарождается и растетъ въ Неждановѣ любовь къ Маріаннѣ, какіе разнообразные оттѣнки принимаетъ послѣдовательно склонность Маріанны сначала къ Нежданову, а потомъ къ Соломину. Но какъ зарождаются, ростутъ, падаютъ чувства и идеи политическія, это остается въ туманѣ. Только Маріанна составляетъ маленькое исключеніе, очень маленькое, хотя авторъ приложилъ даже особенное стараніе къ выясненію ея образа съ этой стороны.

Общественное явленіе сведено у г. Тургенева къ разнообразнымъ, мелкимъ, личнымъ причинамъ. Онъ, разумѣется, самъ понимаетъ, что это невѣрно, что и „червонныхъ валетовъ“, напримѣръ, можно тоже представить въ видѣ кучки „неудачниковъ“, ни на волосъ не объяснивъ дѣла. Онъ слишкомъ уменъ, чтобы не понимать этого. Наконецъ, заключительныя слова Паклина (которому авторъ вкладываетъ много своихъ собственныхъ, тургеневскихъ шпилекъ и остротъ, а отчасти и серьезныхъ мыслей, предоставляя, впрочемъ, свое серьезное задушевное болѣе Нежданову), заключительныя слова Паклина о Соломинѣ ясно говорятъ, что какая-то общая причина, общій фонъ всѣхъ этихъ отдѣльныхъ личныхъ исторій существуетъ. Какая причина? какой фонъ?— этого г. Тургеневъ не знаетъ и не хочетъ знать. Съ него требуютъ „новыхъ людей“. Онъ исполняетъ требованіе, спеціализируетъ свою задачу до уровня неразумнаго заказа и, слѣдуя голосу заказчиковъ, представляетъ всю совокупность условій, породившихъ „новыхъ людей“, другимъ, а себѣ оставляетъ только ихъ висящія на воздухѣ личности и ихъ „поступки“. Такова основная фальшь романа. Но, разъ приявъ непосильный заказъ, г. Тургеневъ естественно долженъ былъ пойти и далѣе по этой скользкой дорогѣ фальши. Человѣкъ, который берется, по какимъ бы то ни было побужденіямъ, говорить о предметѣ, для него невидимомъ, какъ о видимомъ, долженъ все время разговора лавировать, многое обходить, многое совсѣмъ постороннее приплетать и т. п. Это случилось и съ г. Тургеневымъ. Замѣчательно, что всѣ *вѣрующіе* „новые люди“ у него очень честны, но чрезвычайно тупы, тупы не случайно, а по велѣнію автора; это уже изъ того видно, что *не* вѣрующимъ (Нежданову, Соломину, Паклину) онъ въ умѣ не отказываетъ и даже цѣнитъ ихъ въ этомъ отношеніи свыше мѣры. Объ Остродумовѣ Паклинъ (очень часто alter ego самого г. Тургенева) выражается такъ: „не все же полагаться на однихъ Остродумовыхъ! Честные они, хорошіе люди, за то глупы! глупы!!! Ты посмотри на нашего пріятеля. Самыя подошвы его сапоговъ, и тѣ не такія, какія бываютъ у умныхъ лю-

дей“. Машурина, Кисляковъ, до такой степени глупы, что составляютъ даже мишень для остроумія автора. О Маркеловѣ прямо говорится, какъ о человѣкѣ съ „ограниченнымъ умомъ“, какъ о „существѣ тупомъ“. О Маріаннѣ ничего не говорится, но ведетъ она себя положительно глупо. Все это не случайно, а непремѣнно такъ и должно было выйти у г. Тургенева. Если вамъ закажутъ романъ изъ китайской жизни, и вы будете имѣть подъ руками только кое-какіе скудные печатные матеріалы, васъ невольно потянетъ къ изображенію людей тупыхъ, ограниченныхъ, потому что ихъ несвѣдущему человѣку изобразить легче: натуры у нихъ несложныя, кругозоръ узенькій, поступки аляповатые. Повернуть дурака можно куда угодно, безъ всякой отвѣтственности, въ душу залѣзть къ нему немудрено. Эта сплошная глупость вѣрующихъ еще особенно оттѣняется невидимымъ присутствіемъ ихъ вожака, объ которомъ только и извѣстно, что зовутъ его Василіемъ Николаевичемъ, и что всѣ ему повинуются. Г. Тургеневъ, очевидно, самъ чувствовалъ, что ему не справиться съ этимъ типомъ, и потому ни разу не показалъ его читателю. Но тогда зачѣмъ же было огородъ городить?

Глупые люди были до такой степени нужны г. Тургеневу, что онъ оказался вынужденнымъ привлечь къ участію въ ихъ глупостяхъ даже своихъ умницъ. Помните, напримѣръ, какъ Маркеловъ, Неждановъ, Паклинъ и Соломинъ посѣщалъ Голушкина и супруговъ Субочевыхъ, эту, мимоходомъ сказать, очень плохую и неизвѣстно для чего выставленную пародію старосвѣтскихъ помѣщиковъ Гоголя. Оба эти посѣщенія составляютъ сплошную глупость, не безъ грязнаго оттѣнка вдобавокъ. Даже непонятно, какъ такіе серьезные и умные люди, какими авторъ желаетъ представить Соломина и отчасти Нежданова, могутъ, Богъ знаетъ зачѣмъ, проводить время съ „блаженными“ Ѳомушкой и Ѳимушкой, пьянствовать съ глупцомъ и негодяемъ Голушкинымъ, болтать при этомъ совсѣмъ неподходящія вещи въ присутствіи совершенно незнакомаго голушкинскаго приказчика, который потомъ и оказывается предателемъ. Неужто даже у умницъ не хватаетъ смысла понять, что рекоменда—

ція Голушкина очень мало надежна? Но такова ужъ сила глупости всѣхъ изображаемыхъ г. Тургеневымъ поступковъ, что, какъ только начнутъ люди „поступать“, такъ и распространяютъ кругомъ себя заразу глупости. И все это только потому, что глупыхъ легко рисовать...

Н. Михайловскій.

* * *

*) Со второй половины романа авторъ уже перестаетъ возить читателя по новымъ знакомымъ, отчего, разумѣется, дѣйствіе нѣсколько выигрываетъ въ живости, но увы, не пріобрѣтаетъ внутренняго интереса. Содержаніе этой второй половины сосредоточивается на двухъ темахъ: какъ Маріанна перешла отъ Нежданова къ Соломину, и какъ Неждановъ и Маркеловъ бунтовали народъ. При этомъ надо сказать, что хотя вторая тема уже достаточно исчерпана въ нашей литературѣ и развита у г. Тургенева весьма слабо, какъ бы вскользь, но первая разработана еще менѣе. Можно даже сказать, что читатель до самаго конца такъ и не понимаетъ, почему Маріанна полюбила Соломина, и даже полюбила ли она его? Сипягинъ, желая сманить Соломина къ себѣ на фабрику, посылаетъ за нимъ экипажъ; тутъ Маріанна въ первый разъ его видитъ. Во весь день они не перемолвились словомъ; но авторъ слѣдующимъ образомъ анализуетъ впечатлѣніе своей героини (замѣтимъ, только что полюбившей Нежданова): „До пріѣзда Соломина Маріанна воображала его совсѣмъ инымъ. На первый взглядъ онъ ей показался какимъ-то неопредѣленнымъ, безличнымъ... Рѣшительно: она на своемъ вѣку видала много такихъ бѣлокурыхъ, жилистыхъ, сухопарыхъ людей! Но чѣмъ больше она въ него всматривалась, чѣмъ больше вслушивалась въ его рѣчи, тѣмъ сильнѣе становилось въ ней чувство довѣрія къ нему, именно довѣрія. Этотъ спокойный, не то чтобы неуклюжій, а тяжеловатый человѣкъ, не только не могъ солгать или прихвастнуть: на него можно положиться, какъ на каменную стѣну.“ За обѣдомъ она уже

*) Статья А. (В. Г. Авсѣенко). „Русскій Вѣстникъ“ 1877 г., № 2.

ловитъ себя на томъ, что невольно сравниваетъ его съ Неждановымъ—и не въ пользу Нежданова.

Ночью Соломинъ отправился въ комнату Нежданова, и тотъ тотчасъ объявилъ ему, что онъ и Маріанна любятъ другъ друга и собираются вмѣстѣ бѣжать. На этомъ признаніи къ нимъ входитъ Маріанна, и ни съ того ни съ сего проситъ Соломина вѣрить, что она честная дѣвушка. „Да, я это знаю, *серьезно* промолвилъ Соломинъ“... и предложилъ имъ двѣ комнаты у себя на фабрикѣ.

Такъ какъ авторъ къ каждому изъ героевъ „новой“ Руси приставилъ по одному ненавистному врагу изъ „старыхъ“, то предварительно побѣга у Маріанны оказывается стычка съ Валентиной Михайловной. Именно въ то время, какъ Маріанна была у Нежданова, ненавистная тетушка оставила у нея въ комнатѣ слѣдующую записочку: „Мнѣ жаль васъ. Вы губите себя. Опомнитесь. Въ какую бездну вы бросаетесь съ закрытыми глазами? Для кого и для чего?“ Говоря по правдѣ, Валентинѣ Михайловнѣ не было никакой надобности прибѣгать къ корреспонденціи, такъ какъ она имѣла полное право сказать это въ глаза своей племянницѣ; но автору почему-то необходимо представить эту барыню въ самомъ ненавистномъ свѣтѣ, и онъ то и дѣло заставляетъ ее подслушивать, шпіонить, язвить и лукавить. На другой день между тетушкой и племянницей произошла, по мнѣнію автора, *страшная* сцена. Страшнаго въ ней, впрочемъ, немного, но удивительнаго довольно! Мы присутствуемъ тутъ при нѣкоторомъ поучительномъ урокѣ семейной и общественной морали. „Вы желаете знать, чѣмъ я недовольна, Маріанна? говоритъ Валентина Михайловна. Извольте! Я недовольна вашими продолжительными свиданіями съ молодымъ человѣкомъ, который и по рожденію, и по воспитанію, и по общественному положенію стоитъ слишкомъ низко для васъ, я недовольна... нѣтъ! это слово не довольно сильно—я возмущена вашими поздними... вашими ночными визитами у этого самаго человѣка. И гдѣ же? подъ моимъ кровомъ! Или вы находите, что это такъ и слѣдуетъ, и что я должна молчать и какъ бы оказывать покровительство вашему легкомыслію?“ — „Вы на-

прасно негодуете, возражаетъ Маріанна. Я не нанесла никакого позора вашему крову. Молодой человѣкъ, на котораго вы намекаете... да, я дѣйствительно... полюбила его..." — „Да помилуйте, Маріанна! (продолжаетъ ненавистная тетушка) вѣдь, онъ студентъ, безъ роду, безъ племени, вѣдь, онъ моложе васъ! Что же изъ этого можетъ выйти? И что́ вы, съ вашимъ умомъ, нашли въ немъ? Онъ просто пустой мальчикъ... Вы слѣдовали влеченію вашего сердца, положимъ. Но, вѣдь, все это должно же кончиться бракомъ?" — „Не знаю... я объ немъ не думала", отвѣчаетъ Маріанна, и замѣтивъ, въ какое изумленіе повергли тетушку ея слова, спѣшитъ прибавить: „Прекратимъ этотъ разговоръ, Валентина Михайловна. Онъ ни къ чему не можетъ повести. Мы все-таки не поймемъ другъ друга". Но ненавистная тетушка думаетъ, что она должна сдѣлать послѣднее усиліе. Она пытается еще разъ обратиться къ разсудку и чувству племянницы, наконецъ, грозитъ, что запретитъ ей продолжать свиданія съ Неждановымъ. „Я васъ не послушаюсь", отвѣчаетъ Маріанна, и вдругъ разражается потокомъ дерзостей, упрековъ, грубыхъ остротъ, и заключаетъ эту нелѣпую тираду словами: „Представьте! Я увѣрена въ томъ, что я гораздо честнѣе васъ! Прощайте!"

Такимъ образомъ, ненавистная барыня получаетъ жесточайшій репримандъ и съ позоромъ удаляется со сцены, а „честность" торжествуетъ въ лицѣ угнетенной племянницы. То-есть, такъ думаетъ г. Тургеневъ, получающій вдохновеніе изъ романовъ г-жи Смирновой, а какъ объ этомъ будутъ думать читатели—не знаемъ.

На другой день Неждановъ съ Маріанной „сбѣга́ютъ" къ Соломину и поселяются у него на фабрикѣ. Къ нимъ приставлена въ родѣ нянюшки нѣкая Татьяна Осиповна, которая, узнавъ, что Маріанна не хочетъ быть больше дворянкой, говоритъ: „А, вотъ что! Ну, теперь знаю. Вы, стало, изъ тѣхъ, что опро́ститься хотятъ". Слово *опроститься*, *опростѣлые*, очевидно, придумано авторомъ не вскользь, не мимоходомъ, а въ серьезъ, какъ нѣчто такое, чему суждено играть роль на Руси, пожалуй, такую же, какъ слово нигилистъ. Авторъ повторяетъ это словечко чуть не въ каждой главѣ и, оче-

видно, желаетъ, чтобъ оно не проскользнуло какъ-нибудь мимо вниманія читателя, но вошло бы во всеобщій оборотъ. Только навряд ли это будетъ.

Въ тотъ же день между Неждановымъ и Маріанной происходитъ такой разговоръ: „Мнѣ кажется, говоритъ Маріанна, намъ обоимъ немного неловко. Молодые—des nouveaux mariés—въ первый день своего брачнаго путешествія должны чувствовать нѣчто подобное. Они счастливы... имъ очень хорошо—и немножко неловко“.—„Ты очень хорошо знаешь, Маріанна, что мы не молодые—въ твоемъ смыслѣ“, возражаетъ Нежданов. „Это отъ тебя зависитъ“, говоритъ Маріанна... „Какъ?“—„Алеша, ты знаешь, что когда ты мнѣ скажешь, какъ честный человѣкъ — а я тебѣ вѣрю, потому что ты точно честный человѣкъ; когда ты мнѣ скажешь, что ты меня любишь тою любовью... ну, тою любовью, которая даетъ право на жизнь другого—когда ты мнѣ это скажешь—я твоя“. Затѣмъ Маріанна проситъ Татьяну Осиповну научить ее стряпать и вязать чулки, чтобы быть полезною русскому народу, а Соломинъ тѣмъ временемъ изготовляетъ для нея и для Нежданова мѣщанскіе костюмы. Въ ожиданіи Маріанна читаетъ съ Неждановымъ тетрадку его стихотвореній, но не слишкомъ одобряетъ, и вспоминаетъ стихи Добролюбова, которые г. Тургеневъ тутъ же выписываетъ цѣликомъ, съ указаніемъ тома и страницы полнаго собранія сочиненій Добролюбова. По этому поводу Маріанна замѣчаетъ, что „надо такіе стихи писать, какъ Пушкинъ—или вотъ такіе, какъ эти Добролюбовскіе: это не поэзія... но что-то не хуже ея“. Такимъ образомъ и Пушкинъ сохраненъ, (вѣдь, г. Тургеневъ въ 1864 году писалъ: „Венера Милосская, пожалуй, несомнѣннѣе римскаго права или принциповъ 89-го года“), и стихотвореніе изъ покойной памяти „Свистка“ рядомъ съ нимъ поставлено. А въ сущности это очень забавно. Не поэзія, но не хуже ея... вѣдь, это и про сапоги можно сказать. На выставкахъ статуя Венеры и пара сапоговъ могутъ получить одну и ту же награду; что же изъ нихъ лучше и что хуже?

Костюмы, наконецъ, были готовы. Нежданов первый

облекся въ желтоватый нанковый кафтанъ и расчесалъ волосы по-русски. Маріанна, какъ увидѣла его, воскликнула: „Господи! какой ты некрасивый! Ты смотришь какимъ-то плохимъ городскимъ мѣщаниномъ... или разносчикомъ... или отставнымъ дворовымъ“. Неждановъ, который самъ это чувствовалъ и смущался, отвѣтилъ, что, по словамъ Соломинскаго лакея Павла, въ поддёвкѣ или въ армякѣ его сейчасъ бы узнали, „а эта одёжа—по его словамъ—словно я другой отъ роду и не нашивалъ!“

Вернувшись въ тотъ же день съ своего перваго хожденія „въ народъ“, Неждановъ такъ разсказываетъ о немъ Маріаннѣ: „Четыремъ человѣкамъ предлагалъ брошюры. Одинъ спросилъ, божественная ли эта книга? и не взялъ; другой сказалъ, что не знаетъ грамотѣ, и взялъ для дѣтей, потому на обложкѣ есть рисунокъ; третій сперва все мнѣ поддакивалъ: „тэ-акъ“, „тэ-акъ“... потомъ вдругъ выругалъ меня самымъ неожиданнымъ образомъ, и тоже не взялъ; четвертый, наконецъ, взялъ—и много благодарилъ меня, но, кажется, ни бельмеса не понялъ изо всего того, что я ему говорилъ. Кромѣ того, одна собака укусила мнѣ ногу; одна баба съ порога своей избы погрозилась мнѣ ухватомъ, прибавивъ: „у! постылый! шелапуты вы московскіе! погибели на васъ нѣту-ти!“ Да еще одинъ солдатъ безсрочный все мнѣ вслѣдъ кричалъ: „Погоди, постой! мы тебя, братъ, распатронимъ!“ А на мои же деньги напился!“

Маріанна хочетъ въ свою очередь разсказать ему, что она сдѣлала въ его отсутствіе для русскаго народа. Но изъ разсказа авторъ сообщаетъ читателю только то, что она „отлично... вымыла горшокъ“.

Двѣ недѣли спустя, Неждановъ пишетъ своему другу Силину: „Пребываніе наше на этой фабрикѣ—временное. Мы находимся здѣсь, пока наступитъ время дѣйствовать; хотя, если судить по тому, что произошло до сихъ поръ—время это едва-ли когда наступитъ! Владиміръ, мнѣ очень, очень тяжело. Прежде всего я долженъ тебѣ сказать, что хотя мы съ Маріанной бѣжали вмѣстѣ, но мы до сихъ поръ какъ

братъ съ сестрой. Она меня любитъ... и сказала мнѣ, что будетъ моею, если... если я почувствую себя въ правѣ потребовать этого отъ нея. Владимиръ, я этого права за собою не чувствую! Она вѣритъ мнѣ, моей честности, я ее обманывать не стану. Я знаю, что я никого не любилъ и не полюблю (это-то ужъ навѣрно!) больше, чѣмъ ее. Но все-таки! Какъ могу я навсегда присоединить ея судьбу къ моей? Живое существо—къ трупу? Ну, не трупу—къ существу полумертвому? Гдѣ же будетъ совѣсть? Ты скажешь, была-бы сильная страсть—совѣсть замолчала бы. Въ томъ то и дѣло, что я трупъ; честный, благонамѣренный трупъ, если хочешь.

„Увѣряютъ, что нужно сперва выучиться языку народа, узнать ихъ обычаи и нравы... Вздоръ! вздоръ! вздоръ! Нужно *вѣрить* въ то, что говоришь — а говори, что хочешь! Мнѣ разъ пришлось слышать нѣчто въ родѣ проповѣди одного раскольничьяго пророка. Чортъ знаетъ, что онъ мололъ, какая-то была смѣсь церковнаго языка, книжнаго, простонароднаго, да еще не русскаго, а бѣлорусскаго какого-то... „Цобѣ“, вмѣсто „тебѣ“, „исть“, вмѣсто „ѣсть“, „ы“, вмѣсто „и“—и вѣдь все одно и то же долбилъ, какъ тетеревъ какой! „Накатылъ духъ... накатылъ духъ...“ За то глаза горятъ, голосъ глухой и твердый, кулаки сжаты—и весь онъ какъ желѣзный! Слушатели не понимаютъ, а благоговѣютъ! И идутъ за нимъ. А я начну говорить, точно виноватый, все прощенія прошу. Хоть въ раскольники бы пошелъ, право: мудрость ихъ не велика... да гдѣ вѣры-то взять, вѣры?“

Очень интересны также въ этомъ письмѣ нѣкоторыя подробности о хожденіи въ народъ (надо замѣтить вообще, что мужики—единственныя живыя лица въ романѣ; видно, что г. Тургеневъ не рѣшился ихъ передѣлывать и прилаживать, а изобразилъ такими, какими зналъ раньше). „У здѣшняго фабричнаго Павла—писалъ Неждановъ—есть пріятель изъ мужиковъ. Елизаромъ его зовутъ... тоже свѣтлый умъ—и душа свободная, безо всякихъ путъ; но какъ только онъ со мною—точно стѣна между нами! такъ и смотритъ „нѣтомъ!“ А то еще вотъ на какого я наскочилъ... впрочемъ, этотъ

былъ изъ сердитыхъ. „Ужъ ты, говоритъ, баринъ, не размазывай, а прямо скажи: отдашь ли ты всю свою землю, какъ есть—аль нѣтъ?“ Что ты, отвѣчаю я ему—какой я баринъ! (И еще, помнится, прибавилъ: Христосъ съ тобою!) „А коли ты изъ простыхъ, говоритъ, такъ какой въ тебѣ толкъ? И оставь ты меня, сдѣлай милость!“

„И вотъ еще что я замѣтилъ: коли кто ужъ очень охотно тебя слушаетъ и книжки сейчасъ беретъ — знай: этотъ изъ плохенькихъ, вѣтеркомъ подбитъ. Или на какого краснобая наткнешься—изъ образованныхъ, который только и знаетъ, что одно облюбленное слово твердитъ. Одинъ, напримѣръ, просто замучилъ меня: все у него „производство!“ Что ему ни говори, а онъ: „такое, значитъ, прызводство!“ А, чортъ тебя побери! Еще одно замѣчаніе... Помнишь, была когда-то давно тому назадъ — рѣчь о лишнихъ людяхъ, о Гамлетахъ? Представьте: такіе „лишніе“ люди попадаются теперь между крестьянами! Конечно, съ особымъ оттѣнкомъ... притомъ они, большею частью, чахоточнаго сложенія. И интересные субъекты, и идутъ къ намъ охотно; но собственно для дѣла—непригодные; такъ же, какъ и прежніе Гамлеты.

„Окургузила меня жизнь, мой Владимиръ, какъ, помнишь, говаривалъ нашъ знакомый, пьянчужка портной, жалуясь на свою жену“.

Въ припискѣ Неждановъ замѣчаетъ: „Да, нашъ народъ спитъ. Но мнѣ сдается, если что его разбудитъ—это будетъ не то, что *мы* думаемъ“.

Вскорѣ Павелъ приноситъ извѣстіе, что въ сосѣднемъ Т—скомъ уѣздѣ крестьяне подымаются, не хотятъ платить податей. „Сергѣя Михайловича (Маркелова), должно полагать, работа. Вотъ уже пятый день, какъ ихъ нѣту дома.

Получивъ такое извѣстіе, Неждановъ и Маріанна собираются тотчасъ летѣть на мѣсто; но Соломинъ уговариваетъ Маріанну остаться; послѣ нѣкотораго колебанія, она соглашается съ нимъ. Соломинъ и съ Нежданова беретъ слово быть осторожнымъ и вернуться поскорѣе. „Обѣщаешь?“ спрашиваетъ онъ его. „Коли тебѣ всѣ здѣсь покоряются, начиная съ Маріанны!“ отвѣчаетъ съ ревнивою досадой Неждановъ—

и уходитъ не простившись. Павелъ долженъ отвезти его въ телѣгѣ.

„Соломинъ подсѣлъ къ Маріаннѣ.—Вы слышали послѣднія слова Нежданова?

„—Да, онъ досадуетъ, что я слушаюсь васъ больше, чѣмъ его. И, вѣдь, это правда. Я люблю *его*, а слушаюсь *васъ*. Онъ мнѣ дороже, а вы ко мнѣ ближе.

„Соломинъ осторожно поласкалъ своею рукой ея руку“.

Спустя нѣкоторое время, Павелъ привезъ Нежданова назадъ мертвецки пьянаго. Это случилось такимъ образомъ:

„Садясь на телѣгу къ Павлу, Нежановъ пришелъ въ весьма возбужденное состояніе; а какъ только они выѣхали съ фабричнаго двора и покатили по дорогѣ въ направленіи къ Т-у уѣзду, онъ началъ окликать, останавливать проходившихъ мужиковъ, держать къ нимъ краткія, но несообразныя рѣчи. Что, молъ, вы спите? Поднимайтесь! Пора! Долой налоги! Долой землевладѣльцевъ!—Иные мужики глядѣли на него съ изумленіемъ; другіе шли дальше, мимо, не обращая вниманія на его возгласы: они принимали его за пьянаго; одинъ такъ даже, придя домой, разсказывалъ, что ему навстрѣчу французъ попался, который кричалъ „непонятно таково, картаво“. У Нежданова было довольно ума, чтобы понять, какъ несказано глупо и даже безсмысленно было то, что онъ дѣлалъ; но онъ постепенно до того взвинтилъ себя, что уже пересталъ понимать, что умно и что глупо“. Замѣтивъ въ одномъ мѣстѣ мужиковъ, толковавшихъ подлѣ амбара, Нежановъ соскочилъ съ телѣги и принялся имъ толковать и кричать: за свободу! впередъ! двинемся грудью. Мужики слушали его внимательно, но когда онъ уѣхалъ, „одинъ изъ нихъ, самый прозорливый, глубокомысленно покачавъ головой, промолвилъ: „какой строгій!“ а другой замѣтилъ: „знать, начальникъ какой!“ на что прозорливецъ возразилъ: „Извѣстное дѣло — даромъ глотку драть не станетъ. Заплачутъ теперича наши денежки!“

Кончилось тѣмъ, что въ слѣдующемъ селѣ мужики затащили Нежданова въ кабакъ и заставили столько выпить водки, что онъ омертвѣлъ совсѣмъ. „Ну, а какъ заслабѣлъ-то

онъ очень—докладывалъ Павелъ Соломину—я и попросилъ съ поклонами: Господа, молъ, честные, отпустите паренька; видите, младъ больно... Ну, и отпустили; только полтинникъ магарыча, говорятъ, подавай! Я такъ и далъ".

Нежданова уложили на диванѣ. Маріанна сѣла подъ окномъ и глядѣла въ палисадникъ. „Она не волновалась; но ей было грустно... безотрадно грустно. На нее какъ будто повѣяло настоящимъ запахомъ того міра, куда она стремилась... и содрогнулась она отъ этой грубости и темноты".

Вдругъ является Паклинъ и приноситъ дурныя вѣсти: Маркелова схватили крестьяне и препроводили въ городъ; Голушкина также арестовали, и онъ теперь выдаетъ всѣхъ и каждаго. Паклинъ предлагаетъ поѣхать къ Сипягину и просить его заступиться за Маркелова. Сипягинъ рѣшаетъ ѣхать поутру къ губернатору, и для предосторожности запираетъ Паклина въ особую комнату. Дорогой въ городъ Паклинъ, не то по глупости, не то изъ трусости, пробалтывается обо всѣхъ „опростѣлыхъ". Слѣдуетъ крайне растянутая сцена у губернатора, къ вящей неправдоподобности которой оказывается, что у губернатора есть адъютантъ, что политическіе арестанты содержатся на цѣпи въ губернаторскомъ домѣ, что чуть не всѣ комнаты у губернатора наполнены выростающими словно изъ земли жандармами, что какой-то мужикъ повѣсился вслѣдствіе какихъ-то притѣсненій Калломѣйцева, и пр. Вообще эта глава едва ли не болѣе другихъ представляется намъ „разсказомъ иностранца, долго жившаго въ Россіи"...

Соломинъ уговариваетъ Нежданова и Маріанну ѣхать тотчасъ вѣнчаться и затѣмъ скрыться съ фабрики, такъ какъ надо ожидать посѣщенія полиціи. Неждановъ проситъ Соломина не оставить Маріанну, если съ нимъ что случится, уходитъ въ палисадникъ и застрѣливается. Онъ оставилъ два предсмертныя письма, одно къ Силину, другое къ Маріаннѣ. Въ послѣднемъ онъ пишетъ: „ложь была во мнѣ, а не въ томъ, чему ты вѣришь!"

Соломинъ бросаетъ фабрику, увозя съ собою Маріанну. Податливый попъ, его родичъ, вѣнчаетъ ихъ. Его, однако, притягиваютъ къ суду, изъ котораго онъ впрочемъ выходитъ сухъ. Маркеловъ несетъ строгое наказаніе.

Два года спустя, Паклинъ встрѣчается съ Машуриной, проживающею по паспорту итальянской контессы. Хромоногій сатирикъ, которому авторъ предоставилъ лестную роль высказать на послѣднихъ страницахъ мораль басни, вспоминаетъ поочереди дѣйствующихъ лицъ „Нови“. „Чудесный былъ человѣкъ! говоритъ онъ о Нежановѣ. Только не въ свою колею попалъ! Онъ такой же былъ революціонеръ какъ и я. Знаете, кто онъ собственно былъ? Романтикъ реализма! Понимаете ли вы меня?“

„За то Сипягины (продолжаетъ онъ)—помните, эти снисходительные, важные, отвратительные тузы—они теперь на верху могущества и славы! Говорятъ, у нихъ въ домѣ такой высокій тонъ! Все о добродѣтели толкуютъ!! Только я замѣтилъ: если гдѣ слишкомъ много толкуютъ о добродѣтели—это все равно, какъ если въ комнатѣ у больного слишкомъ накурено благовоніями: навѣрно предъ этимъ совершилась какая-нибудь тайная пакость! Подозрительно это! Бѣднаго Алексѣя (Нежданова) *они* погубили, эти Сипягины!“ (??) Машурина любопытствуетъ узнать о Соломинѣ.

„Этотъ молодецъ! восклицаетъ Паклинъ. Вывернулся отлично. Прежнюю-то фабрику бросилъ и лучшихъ людей съ собой увелъ. Тамъ былъ одинъ... голова, говорятъ, бѣдовая! Павломъ его звали... такъ и того увелъ. Теперь, говорятъ, свой заводъ имѣетъ, небольшой, гдѣ-то тамъ въ Перми, на какихъ-то артельныхъ началахъ. Этотъ дѣла своего не оставитъ! Онъ продолбитъ! Клювъ у него тонкій, да и крѣпкій за то! Онъ—молодецъ!“

„Да-съ—продолжаетъ Паклинъ—веселое наступило времячко, доложу вамъ! Въ обществѣ застой совершенный; всѣ скучаютъ адски; въ литературѣ—пустота, хоть шаромъ покати! Въ искусствѣ—то же самое! Скоропихинъ, знаете, нашъ исконный Аристархъ—нашихъ паскудныхъ живописцевъ хвалитъ! Я, молъ, прежде самъ приходилъ въ восторгъ отъ Европы, отъ итальянцевъ; а услышалъ Россини и подумалъ: э! э!—увидѣлъ Рафаэля... э! э! И этого э! э! нашимъ молодымъ людямъ совершенно достаточно; и они за Скоропихинымъ повторяютъ: э! э!—и довольны, представьте! А въ

то же время народъ бѣдствуетъ страшно, подати его разорили въ конецъ, и только та и совершилась реформа, что всѣ мужики картузы надѣли, а бабы бросили кички... А голодъ! а пьянство! а кулаки!"

Грустная картина! Но г. Тургеневъ не любитъ обрывать свои романы на текущей минутѣ; въ туманѣ и хаосѣ настоящаго онъ всегда указываетъ свѣтлый лучъ, свѣтлую искру, зарождающуюся въ грядущемъ. Лаврецкій въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ" привѣтствуетъ дѣтей: „играйте, веселитесь, растите, молодыя силы, жизнь у васъ впереди, и вамъ легче будетъ жить". Въ „Наканунѣ" Уваръ Ивановичъ, играя перстами, предсказываетъ, что и у насъ будутъ „люди". Даже въ „Отцахъ и Дѣтяхъ" Павелъ Петровичъ Кирсановъ, прощаясь съ племянниками, надѣется на ихъ счастье и посылаетъ имъ англійское farewell! И вотъ въ послѣднемъ своемъ романѣ г. Тургеневъ возвращается къ этой милой привычкѣ, и устами все того же Паклина прорицаетъ зарю лучшаго будущаго для этой бѣдной, глупой, голодной Россіи. „Вы вотъ о Соломинѣ отозвались сухо—говоритъ онъ — а знаете ли, что я вамъ доложу? Такіе какъ онъ—они-то вотъ и суть настоящіе. Ихъ сразу не раскусишь, а они—настоящіе, повѣрьте; и будущее имъ принадлежитъ. Это—не герои; это даже не тѣ „герои труда", о которыхъ какой-то чудакъ, американецъ или англичанинъ, написалъ книгу для назиданія насъ, убогихъ; это крѣпкіе, сѣрые, одноцвѣтные, народные люди. Теперь только такихъ и нужно! Вы посмотрите на Соломина: уменъ какъ день, и здоровъ какъ рыба... Какъ же не чудо! Вѣдь, у насъ до сихъ поръ на Руси какъ было: коли ты живой человѣкъ, съ чувствомъ, съ сознаніемъ, такъ непремѣнно ты больной! А у Соломина сердце-то, пожалуй, тѣмъ же болѣетъ, чѣмъ и наше, и ненавидитъ онъ то же, что мы ненавидимъ, да нервы у него молчатъ, и все тѣло повинуется, какъ слѣдуетъ... значитъ: молодецъ! Помилуйте: человѣкъ съ идеаломъ—и безъ фразы, образованный—и изъ народа, простой — и себѣ на умѣ. Какого вамъ еще надо? И вы не глядите на то, что у насъ теперь на Руси всякій водится народъ: и славянофилы, и чиновники, и простые

Два годные генералы, и эпикурейцы, и подражатели, и чуживающ... ...ядите на все это, почтеннѣйшая, а знайте, что сатрикъ, ...исконная наша дорога — тамъ, гдѣ Соломины, сказать ... хитрые Соломины!“

наетъ по... дорога найдена, да еще настоящая, исконная добылъ челов...нъ Еруслань Лазаревичъ новѣйшей Руси, висвою коле... et sans reproche, съ идеаломъ и безъ фразы, и я. Знаете... день и здоровый какъ рыба. Онъ уже ѣдетъ по Понимаете ...ей, исконной дорогѣ, и зоветъ насъ за собою,

„За то Он... въ пустынѣ, блеститъ намъ его злотоверхій сходительны... аты: его артельная сыроварня въ городѣ Перверху могуще... въ Паклинъ, этотъ alter ego Потугина, что кой высокій ... Машурину: какого вамъ рожна еще надо? замѣтилъ: ес... любопытно: представляется ли г. Тургели—это все р... Паклина о застоѣ въ русской жизни и о комъ накурен... э! э!—находятся въ естественной связи шилась какая-... его же Паклина о нашей „будущей силѣ“, наго Алексѣя (... глѣнительномъ образѣ Соломина, который Машурина люб... читатели, съ виду смахиваетъ на

„Этотъ молод... г. Тургеневъ, что какъ скоро Сололично. Прежню... „настоящую, исконную дорогу“, такъ собой увелъ. Там... насъ древо европейской цивилизаціи, Павломъ его зва... говорить э! э! на Рафаэля и свой заводъ имѣ... сдается, что тотъ самый Скорокакихъ-то артельщ... „нашихъ паскудныхъ живописцевъ“, вить! Онъ продол... отъ Соломина и отъ новаго роза то! Онъ—моло... образомъ, есть нѣчто неблагопо-

„Да-съ—продол... Паклинымъ на послѣднихъ мячко, доложу вам... болѣе неблагополучное, чѣмъ всѣ скучаютъ адск... коротко и ясно отрицалъ руспокати! Въ искусст... цивилизаціи; это было однонашъ исконный Ар... себѣ извѣстную цѣльную мысль: цевъ хвалитъ! Я, мо... современной русской жизни. отъ Европы, отъ ита... цивилизаціи, другое—во имя Со думалъ: э! э!—увидѣ... что въ родѣ Добролюбовскихъ молодымъ людямъ сов... ея“. Вѣроятно, пихинымъ повторяютъ... о Соло...; это не цивн-

Нѣтъ, хуже, въ тысячу разъ хуже, неизмѣримо хуже, чѣмъ даже Добролюбовскіе стихи предъ поэзіей...

Но не будемъ торопиться. Представивъ на этихъ страницахъ обстоятельное изложеніе содержанія „Нови“, мы можемъ теперь высказаться довольно полно объ этомъ произведеніи какъ въ отношеніи художественномъ, такъ и въ отношеніи его общественнаго смысла.

Впрочемъ, что касается до художественной стороны романа, то о ней можно сказать весьма немногое. Мы видѣли, что драматическаго развитія въ немъ нѣтъ никакого, хотя есть и политическое преступленіе, и тайное общество, и мистическій Василій Николаевичъ, и самоубійство, и два побѣга и т. д. Правда, есть и любовь, но это какая-то не человѣческая, по крайней мѣрѣ, не европейская любовь, а что-то совсѣмъ особенное, какой-то странный и жалкій слѣдъ влекущійся за политическою идеей. Такъ, вѣроятно, индійскія баядерки жертвуютъ собою у подножія каменнаго бога, безъ участія личнаго чувства, подавленныя темною идеей о необходимости пожертвованія. Въ этой странной любви Неждановъ играетъ роль скептика-жреца, сомнѣвающагося—имѣетъ ли онъ право быть орудіемъ жертвоприношенія, онъ невѣрующій въ того бога, къ подножію котораго склонилась новая баядерка. Но вотъ въ раскрытыя двери пагоды входитъ „чухонецъ“, беретъ Маріанну за руку и уводитъ. А она? Она не любила Нежданова, не любитъ Соломина; но она готова принадлежать всякому, кто скажетъ ей голосомъ власти: иди!—лишь бы этотъ всякій раздѣлялъ ея ненависть къ тетушкѣ, къ дядюшкѣ, къ камеръ-юнкеру Калломѣйцеву и т. д. Именно, ничего больше не требуется, какъ раздѣлять ея ненависть: она, вѣдь, знаетъ, что Соломинъ вовсе не революціонеръ, что онъ не одобряетъ ни хожденія въ народъ, ни вѣры въ Василія Николаевича, въ революціоннаго корреспондента Кислякова или въ Голоплёцкаго Еремѣя; ей довольно того, что онъ способенъ вмѣстѣ съ нею ненавидѣть Сипягиныхъ и Калломѣйцевыхъ.

И странное дѣло: весь романъ какъ будто носитъ отпечатокъ этихъ отрицательныхъ симпатій. Въ немъ незамѣтно

и махровые генералы, и эпикурейцы, и подражатели, и чудаки—не глядите на все это, почтеннѣйшая, а знайте, что настоящая, исконная наша дорога — тамъ, гдѣ Соломины, сѣрые, простые, хитрые Соломины!“

Итакъ, дорога найдена, да еще настоящая, исконная дорога, и найденъ Еруслань Лазаревичъ новѣйшей Руси, витязь sans peur et sans reproche, съ идеаломъ и безъ фразы, умный какъ день и здоровый какъ рыба. Онъ уже ѣдетъ по этой настоящей, исконной дорогѣ, и зоветъ насъ за собою, и какъ свѣточъ въ пустынѣ, блеститъ намъ его злотоверхій шатеръ... виноваты: его артельная сыроварня въ городѣ Перми. Развѣ не правъ Паклинъ, этотъ alter ego Потугина, что онъ спрашиваетъ Машурину: какого вамъ рожна еще надо?

Только вотъ что любопытно: представляется ли г. Тургеневу, что слова Паклина о застоѣ въ русской жизни и о Скоропихинскомъ: э! э! — находятся въ естественной связи съ восклицаніями того же Паклина о нашей „будущей силѣ“, олицетворенной въ плѣнительномъ образѣ Соломина, который впрочемъ, какъ помнятъ читатели, съ виду смахиваетъ на чухонца? Подагаетъ ли г. Тургеневъ, что какъ скоро Соломины выведутъ насъ на „настоящую, исконную дорогу“, такъ сейчасъ процвѣтетъ у насъ древо европейской цивилизаціи, и Скоропихинъ перестанетъ говорить э! э! на Рафаэля и Россини? Намъ, напротивъ, сдается, что тотъ самый Скоропихинъ, который хвалитъ „нашихъ паскудныхъ живописцевъ“, будетъ первый въ восторгѣ отъ Соломина и отъ новаго романа г. Тургенева. Такимъ образомъ, есть нѣчто неблагополучное въ морали, изрекаемой Паклинымъ на послѣднихъ страницахъ „Нови“ — гораздо болѣе неблагополучное, чѣмъ мораль Потугина. Послѣдній коротко и ясно отрицалъ русскую жизнь во имя европейской цивилизаціи; это было односторонне, но заключало въ себѣ извѣстную цѣльную мысль: А Паклинъ даетъ два отрицанія современной русской жизни. одно—во имя европейской цивилизаціи, другое—во имя Соломиныхъ. Выходитъ опять нѣчто въ родѣ Добролюбовскихъ стиховъ, которые—„не поэзія, однако не хуже ея“. Вѣроятно, г. Тургеневъ хочетъ сказать и о Соломиныхъ: это не цивилизація, но и не хуже ея.

Нѣтъ, хуже, въ тысячу разъ хуже, неизмѣримо хуже, чѣмъ даже Добролюбовскіе стихи предъ поэзіей...

Но не будемъ торопиться. Представивъ на этихъ страницахъ обстоятельное изложеніе содержанія „Нови“, мы можемъ теперь высказаться довольно полно объ этомъ произведеніи какъ въ отношеніи художественномъ, такъ и въ отношеніи его общественнаго смысла.

Впрочемъ, что касается до художественной стороны романа, то о ней можно сказать весьма немногое. Мы видѣли, что драматическаго развитія въ немъ нѣтъ никакого, хотя есть и политическое преступленіе, и тайное общество, и мистическій Василій Николаевичъ, и самоубійство, и два побѣга и т. д. Правда, есть и любовь, но это какая-то не человѣческая, по крайней мѣрѣ, не европейская любовь, а что-то совсѣмъ особенное, какой-то странный и жалкій слѣдъ влекущійся за политическою идеей. Такъ, вѣроятно, индійскія баядерки жертвуютъ собою у подножія каменнаго бога, безъ участія личнаго чувства, подавленныя темною идеей о необходимости пожертвованія. Въ этой странной любви Неждановъ играетъ роль скептика-жреца, сомнѣвающагося—имѣетъ ли онъ право быть орудіемъ жертвоприношенія, онъ невѣрующій въ того бога, къ подножію котораго склонилась новая баядерка. Но вотъ въ раскрытыя двери пагоды входитъ „чухонецъ“, беретъ Маріанну за руку и уводитъ. А она? Она не любила Нежданова, не любитъ Соломина; но она готова принадлежать всякому, кто скажетъ ей голосомъ власти: иди!—лишь бы этотъ всякій раздѣлялъ ея ненависть къ тетушкѣ, къ дядюшкѣ, къ камеръ-юнкеру Калломѣйцеву и т. д. Именно, ничего больше не требуется, какъ раздѣлять ея ненависть: она, вѣдь, знаетъ, что Соломинъ вовсе не революціонеръ, что онъ не одобряетъ ни хожденія въ народъ, ни вѣры въ Василія Николаевича, въ революціоннаго корреспондента Кислякова или въ Голоплёцкаго Еремѣя; ей довольно того, что онъ способенъ вмѣстѣ съ нею ненавидѣть Сипягиныхъ и Калломѣйцевыхъ.

И странное дѣло: весь романъ какъ будто носитъ отпечатокъ этихъ отрицательныхъ симпатій. Въ немъ незамѣтно

положительнаго отношенія къ героямъ: авторъ какъ будто одобряетъ ихъ лишь за то, что они ненавидятъ все тѣхъ же Сипягиныхъ, Калломѣйцева, „Московскія Вѣдомости“, и т. д. Весь романъ написанъ какъ будто съ цѣлью дать исходъ авторскому раздраженію—одному только раздраженію... Когда мы читаемъ его, мы ясно видимъ, гдѣ лежатъ антипатіи автора; но куда обращены его симпатіи, и есть ли еще у него эти симпатіи, любитъ ли онъ что-нибудь въ русской жизни—читатель не чувствуетъ...

Но, вѣроятно, г. Тургеневъ искренно убѣжденъ, что настоящее время не требуетъ художественныхъ созданій, и потому старался стать на чисто политическую, общественную тему, старался сказать „новое слово“ на счетъ смысла и содержанія нынѣшняго момента русской жизни. Что жъ, сказалъ ли онъ дѣйствительно это новое слово, помогъ ли онъ намъ уразумѣть смыслъ нашей жизни, какъ это удавалось ему дѣлать въ прежнихъ своихъ романахъ? Увы, на такой вопросъ надо отвѣчать отрицательно. „Новь“ никакимъ образомъ не можетъ подвинуть впередъ наше общественное самознаніе. Изъ всѣхъ элементовъ и теченій современной русской жизни авторъ остановился на томъ, которое играетъ въ ней наименьшую роль, которое просачивается гдѣ-то далеко въ сторонѣ отъ главнаго русла. Вмѣсто могучей и плодоносной нови, о которой говоритъ эпиграфъ, читатель видитъ ничтожную поросль, едва цѣпляющуюся за почву хилыми корнями. Правда, авторъ не прикрываетъ ложнымъ блескомъ эту вялую поросль, не маскируетъ ея худосочія и безсилія; но изъ этого безсилія онъ указываетъ такой выходъ, который гораздо хуже самаго безсилія. Не страшна и не долговѣчна подземная работа Донъ-Кихотовъ и Гамлетовъ революціи; но если бы Россіи предстояло въ самомъ дѣлѣ попасть въ лапы бездушныхъ, наглыхъ, ограниченныхъ Соломиныхъ, тогда дѣйствительно за нее пришлось бы ужаснуться.

В. Авсѣенко.

*
* *

*) Художникъ, чуть ли не 15 лѣтъ почти безвыѣздно проживавшій за границей, смѣло берется за „истолкованіе“ такого явленія, передъ которымъ въ недоумѣніи останавливаются самые близкіе наблюдатели. Онъ смѣло берется за описаніе пропаганды, заговора, типовъ, хотя ни того, ни другого, ни третьяго совершенно не могъ наблюдать изъ своего прекраснаго далека. Ничто его не устрашаетъ. Я знаю, находятся люди, которые даже по поводу этой исторіи рѣшаются говорить о „геніальности“, но, право, это ужъ слишкомъ! Допустите какую угодно геніальность, но согласитесь все-таки, что законы природы обязательны для генія, какъ для простого смертнаго... И что же нужно сказать, если геній совершенно забываетъ объ этихъ законахъ природы, если онъ, напримѣръ, о нравахъ какого-нибудь животнаго начинаетъ судить по чучелѣ зоологическаго музея, о настроеніи воина во время битвы—по трупу убитаго солдата и т. д.? Я полагаю, что каждый художникъ, если онъ даже не понимаетъ этого сознательно, то ужъ однимъ своимъ художественнымъ чутьемъ, однимъ ощущеніемъ правдивости, жизненности явленія, долженъ приходить къ пониманію, что составныя части каждаго процесса, взятыя въ изолированномъ видѣ, имѣютъ совсѣмъ не тотъ характеръ, какой пріобрѣтаютъ при своемъ взаимодѣйствіи. Что сказать, если художникъ дѣйствуетъ такъ, какъ будто онъ перестаетъ это понимать? Я думаю, очевидно, что побудительною причиною у него, стало быть, служитъ что угодно, но только не художественное чутье. Оно у него, положимъ, есть, но въ данномъ случаѣ не оно имъ руководитъ. А затѣмъ — какая громадная увѣренность нужна для того, чтобы браться за истолкованіе при такихъ условіяхъ, и потомъ еще думать, что послѣдующее подтвердило ваше мнѣніе? При такомъ убѣжденіи Тургеневъ остался до конца дней, завѣщая его намъ даже въ своихъ „Стихотвореніяхъ въ прозѣ“!...

К. Григорьевъ.

---

*) К. Григорьевъ. „Дѣло“ 1884 г., № 1.

* * *

*) По объему и числу дѣйствующихъ лицъ романа, „Новь“ является самымъ большимъ произведеніемъ Тургенева. Всѣ остальные его романы заключаются въ одной части, къ которой иногда присоединенъ небольшой эпилогъ; въ „Нови“ художникъ отступаетъ отъ этой экономіи въ изложеніи романа, которая такъ цѣнилась въ нашемъ писателѣ нѣкоторыми иностранными критиками и бѣллетристами, и въ первый разъ даетъ романъ въ двухъ частяхъ. Какъ бы въ соотвѣтствіе этому, романъ имѣетъ двухъ центральныхъ героевъ, Неждановa и Соломина, очевидно, поставленныхъ въ нѣкоторую противоположность другъ другу для оттѣнка двухъ различныхъ вѣяній времени: одного, если можно такъ выразиться, артистически-политическаго и другого практически-соціальнаго. Къ этимъ двумъ героямъ присоединены нѣсколько другихъ дѣятелей, разныхъ оттѣнковъ, являющихся какъ бы дополнительными лицами для поясненія той жизненной картины, въ которой движутся и борятся главные персонами романа. Сложность этой картины заставила художника по возможности широко раздвинуть ея раму и дать роману объемъ значительно большій объема прежнихъ произведеній... Образы имъ нарисованные если и не столь точны, выразительны и живы, какъ образы „Отцовъ и Дѣтей“ или „Дворянскаго Гнѣзда“, то, во всякомъ случаѣ, скомпанованы съ замѣчательно искуснымъ подборомъ наиболѣе характерныхъ признаковъ и съ еще болѣе искуснымъ расположеніемъ свѣта и тѣни. Несмотря на преклонный возрастъ, въ который написанъ этотъ по преимуществу „молодой“ романъ, Тургеневу не измѣнили ни его талантъ ни его удивительная бѣллетристическая техника: они проявляются, быть можетъ, съ меньшей силой и свѣжестью, чѣмъ въ произведеніяхъ, бывшихъ апогеемъ его творчества, но все таки проявляются довольно полно. И если всѣ усилія тургеневскаго таланта и вся выработка тургеневской техники не въ состояніи были

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

сообщить образамъ „Нови“ настоящую плоть и кровь, не въ состояніи были довести эти образы до полной жизненной реальности и законченности, не въ состояніи были освѣтить совершенно яснымъ свѣтомъ жизненный моментъ, выражаемый образами, то въ этомъ отчасти слѣдуетъ винить нѣкоторую неопредѣленность, переходность самаго момента, нѣкоторую колеблющуюся туманность основного строя дѣйствительности, воспроизведенной въ романѣ. „Молодое поколѣнье“, какъ извѣстно, не признало себя въ герояхъ „Нови“.

Въ двухъ главныхъ герояхъ „Нови“, Неждановѣ и Соломинѣ, олицетворено то противоположеніе таланта“ и „характера“, о которомъ было поднято столько толковъ у нѣмцевъ во время появленія „юной Германіи“ и которое было такъ ядовито осмѣяно Гейне въ „Атта-Тролѣ“, гдѣ почтенный медвѣдь аттестованъ въ качествѣ „характера“, въ качествѣ „медвѣдя съ направленіемъ“, въ качествѣ героя, обладающаго „запахомъ“. У насъ, въ періодъ стремленія „передовой молодежи“ въ народъ, выступило, какъ и въ Германіи, превознесеніе характера надъ талантомъ. Для политическихъ подвиговъ, для служенія прогрессу талантъ считается излишнимъ и вреднымъ, ибо онъ приводилъ къ эстетикѣ, а эстетика, какъ извѣстно, въ дѣлѣ политическаго служенія народу представляетъ не только нѣчто праздное, но даже и нѣчто вредное. Вслѣдствіе подобнаго убѣжденія многіе юноши, чувствовавшіе въ себѣ эстетическія стремленія, носившіе зачатки талантливости, старались подавлять ихъ, старались отдѣлаться отъ безполезной, по господствовавшему убѣжденію, эстетики и, ударившись въ „политику“, усердно драпировались въ тогу „характеровъ“, которыми они не были, да и не могли быть, хотя бы, напримѣръ, по одной своей нервной развинченности.

Дѣйствіе „Нови“ происходитъ въ 1868 году и захватываетъ, такъ сказать, первые шаги того революціоннаго броженія на Руси, котораго тревожные, судорожные порывы въ ихъ крайнемъ развитіи обнаружились гораздо позднѣе. Эти первые шаги выразились въ формѣ пресловутаго стре-

мленія „въ народъ“ нѣкоторой части такъ называемой „передовой молодежи“, въ формѣ стремленія низойти фактически, на дѣлѣ, до служенія народной массѣ, стремленія „опроститься“, какъ охарактеризовалъ однимъ словомъ Тургеневъ это сложное, болѣзненное, конечно, но въ то же самое время несомнѣнно дѣйствительное явленіе. Люди, увлекавшіеся упомянутымъ стремленіемъ, не всѣ, разумѣется, но въ большинствѣ—увлекались имъ вполнѣ искренно, придавали ему серьезное „прогрессивное“ значеніе, и въ гордомъ увлеченіи молодой неопытностью, пожалуй, даже молодымъ невѣжествомъ, полагали, что для народа необходима пропаганда тѣхъ свободныхъ теорій, экономическихъ и политическихъ, какія они извлекали изъ запрещенныхъ и незапрещенныхъ брошюрокъ западныхъ мыслителей революціоннаго толка. Они думали свои книжные идеалы связать съ народными идеалами посредствомъ „распропагандированія“ темныхъ массъ. Они думали „научить“ народъ тому, чему довольно поверхностно научились сами...

Отрицательная сторона того жизненнаго движенія, которое захвачено художникомъ въ „Нови“, обрисована довольно эскизно, какъ бы вскользь. Тѣмъ не менѣе и тутъ встрѣчаются блестящія и остроумныя характеристики комическихъ дѣятелей и комическихъ чертъ россійскаго агитаторства. Таковы, напримѣръ, характеристики великолѣпнаго господина Кислякова и купца-кулака Голушкина, въ пьяномъ видѣ жертвующаго „тыщу рублевъ“ на революцію. Голушкинскій обѣдъ съ агитаторами очень выразительная иллюстрація нашихъ пьянственныхъ сборищъ во имя „святого дѣла“, сборищъ, на которыхъ льются безсмысленныя рѣчи съ наборомъ словъ: „прогрессъ, правительство, литература, податной вопросъ, церковный вопросъ, женскій вопросъ, судебный вопросъ, классицизмъ, реализмъ, нигилизмъ, коммунизмъ, интернаціоналъ, клерикалъ, либералъ, капиталъ, администрація, организація, ассоціація и даже кристаллизація“. И какъ хорошъ амфитріонъ этого пьянственнаго сборища Капитонъ Голушкинъ, который внимая всей этой безсмысленной трескотнѣ либеральныхъ словъ,

приходитъ въ восторгъ и преисполняется такимъ торжествующимъ видомъ, какъ будто хочетъ сказать: „Знай, молъ, нашихъ! Разступись—убью!... Капитонъ Голушкинъ идетъ!“ Какъ хорошъ его приказчикъ Вася, который въ заключеніе всей пьяной трескотни, какъ бѣшеный, выкрикиваетъ изумительный вопросъ: „Что за дьяволъ такой—прогимназія?!?“ Не правда ли, въ этой маленькой иллюстраціи, набросанной художникомъ, такъ много всѣмъ намъ знакомаго, роднаго, россійскаго безобразія, безобразія наивнаго, пошлаго, невѣжественно-самодурнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ добродушнаго, несмотря на то, что онъ претендуетъ на агитаторскую закваску... А господинъ Кисляковъ, этотъ милый отпрыскъ революціонной хлестаковщины, этотъ россійскій „Лео“ въ глазахъ праздно-болтающихъ петербургскихъ и провинціальныхъ радѣтельницъ о возрожденіи европейскаго прогресса на бѣдной и скучной почвѣ отечества—какъ сжато и удивительно живо, на одной страничкѣ, сумѣлъ художникъ нарисовать эту характерную фигурку. Что это за прелестный „дѣятель“ фразъ и бездѣлья! Онъ неизвѣстно зачѣмъ скачетъ по русской землѣ, по деревнямъ и городамъ, ночуетъ въ коровьихъ хлѣвахъ, при чемъ на этихъ ночлегахъ его „блоха не беретъ“; онъ пишетъ „четырнадцать большихъ писемъ, двадцать восемь малыхъ и восемнадцать записокъ“ (изъ которыхъ четыре карандашомъ, одну кровью, одну сажей, разведенной на водѣ); онъ кропаетъ „соціалистическіе“ стишонки, въ которыхъ убѣждаетъ дѣвушекъ „любить не его, а идею“; онъ въ двадцать два года является рѣшившимъ „всѣ вопросы жизни и науки“ и не сомнѣвающимся, что онъ перевернетъ всю Россію, „встряхнетъ“ ее. Давно ли еще подобные дѣятели фигурировали у насъ въ качествѣ настоящихъ героевъ, выдающихся сыновъ молодого поколѣнія; давно ли, приглашая особъ прекраснаго пола „любить идею“, катались, какъ сыръ въ маслѣ, „на счетъ клубнички“; давно ли они врали, фразерствовали, нахальничали съ легкостью и беззаботностью истинныхъ Хлестаковыхъ революціи и встрѣчали въ разныхъ либеральныхъ „кружкахъ“ не только сочувствіе, но даже обожаніе. Но

вотъ Тургеневъ написалъ одну страничку объ этомъ своего рода типикѣ россійскаго „Лео“, и страничка эта разоблачила господъ Кисляковыхъ до нитки, уяснила ихъ суть, и теперь они уже не только никого не прельщаютъ, не только не фигурируютъ въ качествѣ выдающихся сыновъ „передовой молодежи“, но считаются пошлѣйшими пошляками и хлыщами, т. е. именно тѣмъ, чѣмъ они всегда были, есть и будутъ...

В. Буренинъ.

* * *

*) *Новь* вышла въ 1876 году, но Тургеневъ давно уже собиралъ матеріалы для этого романа. Увы!—для него ему приходилось собирать матеріалы. *Дворянское Гнѣздо*, *Рудинъ*, *Отцы и Дѣти*, *Наканунѣ*, *Дымъ*—были созданы имъ подъ непосредственными впечатлѣніями жизни, въ которой онъ принималъ участіе, которой радости и печали онъ раздѣлялъ, которую онъ переживалъ самъ, не только въ мысли и чувствѣ, но и въ дѣйствительности—не такъ было съ *Новью*. Этотъ романъ не вылился у него изъ души, какъ другія его произведенія, не былъ плодомъ „ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ“—въ этомъ романѣ дѣйствуетъ одинъ умъ, одна способность наблюдательности, безъ участія сердца, безъ участія другихъ сторонъ духа. Это романъ чисто головной, здѣсь видна работа ума, и только,—работа ума надъ составленіемъ сложной, красивой и изящной мозаики. Такая мозаичность замѣчается и въ другихъ романахъ Тургенева, особенно въ *Дымѣ*, но въ *Нови* мы видимъ почти ужъ одну мозаику—и больше ничего. Вотъ почему этотъ романъ, на который Тургеневъ особенно разсчитывалъ, не произвелъ почти никакого впечатлѣнія. Въ противоположность *Дворянскому Гнѣзду*, въ противоположность *Отцамъ и Дѣтямъ*, духомъ мертвымъ, а не живымъ, духомъ глухимъ и нѣмымъ вѣяло отъ него—и въ этомъ причина его неуспѣха.

*) Ю. Николаевъ (Говоруха-Отрокъ). „Тургеневъ“. Москва. 1894 г.

Дѣло въ томъ, что въ другихъ своихъ романахъ, изображая явленія миражныя, явленія, свидѣтельствовавшія только о болѣзни историческаго роста, Тургеневъ впадалъ въ ошибку, придавая этимъ явленіямъ положительное значеніе, но *самъ увлекался ими*, увлекался Рудиными и Базаровыми, а потому давалъ живыя и правдивыя изображенія, хотя эти изображенія имѣли не тотъ смыслъ, какой онъ имъ хотѣлъ придать,—но могъ ли онъ увлечься героями *Нови* до Соломина включительно? Они, эти герои, были чужды его душѣ, но даже умомъ своимъ онъ понималъ или все ихъ ничтожество или всю ихъ сухую черствость. Но, видя во всемъ движеніи, которое дало тему для его романа, явленіе прогресса, онъ никакъ не могъ правильно отнестись къ представителямъ этого, еще и еще новаго „прогресса“, онъ, во что бы то ни стало, хотѣлъ найти тутъ положительную сторону, признаки культурнаго роста, и нашелъ ихъ „уму и чувству вопреки“... въ Соломинѣ. Думая, что только и свѣту, что въ европейскомъ окошкѣ, онъ, глядя изъ этого окошка на Россію, только и увидѣлъ въ ней что Соломиныхъ. Ничего иного изъ этого окошка и нельзя было увидѣть, ибо то, что совершалось въ глубинѣ русской жизни, совершалось внѣ свѣта этого окошка. Вѣруя въ европейскую механическую идею безконечнаго прогресса и не понимая идеи органическаго развитія національностей, Тургеневъ, вопреки своимъ сердечнымъ сочувствіямъ, которыя онъ считалъ „отсталыми“, ищетъ явленій этого прогресса во всемъ, что имѣетъ видъ новизны. Рудины, Базаровы, казалось ему, потонули въ волнахъ этого прогресса, а на поверхности этихъ волнъ онъ видитъ революціонное движеніе, „хожденіе въ народъ“, политическіе процессы (Нечаевское дѣло и нѣсколько мелкихъ, послѣдовавшихъ за нимъ), въ которыхъ появляются люди непонятные для него, и онъ, привыкши все, что всплываетъ на поверхность, считать явленіемъ прогресса, считаетъ и это, для него непонятное, также явленіемъ прогресса. Онъ желаетъ понять это непонятное; собираетъ матеріалы—объ этомъ свидѣтельствуетъ его переписка,—присматривается къ этому новому явленію, и, чувствуя совер-

шенную антипатію къ героямъ еще новаго „прогресса“, все же не можетъ отдать себѣ отчета въ этой антипатіи, осмыслить ее. Базарова онъ боялся, и чтобъ объяснить самому себѣ свой страхъ, придалъ ему байроническія черты. Соломинъ ему не страшенъ, а просто антипатиченъ; не видя въ немъ явленія прогресса, онъ все-таки возводитъ его въ героя.

Его отношеніе къ молодежи семидесятыхъ годовъ, къ той части молодежи, изъ среды которой вышли герои *Нови*, ясно изъ его переписки. Онъ собираетъ матеріалы. Еще въ 1874 году одна дама прислала ему цѣлый портфель, наполненный „документами“, которые должны были пролить свѣтъ на „новыхъ людей“. Вотъ что̀ пишетъ ей Тургеневъ отъ 11 августа 1874 года:

„Цѣль ваша—при передачѣ означенныхъ документовъ—была, сколько я могу судить, познакомить меня съ образомъ мыслей вообще и съ личностями „новыхъ людей“, которыхъ я не могъ изучать, живя за границей. Экземпляры, съ которыми я долженъ былъ познакомиться, представлялись вамъ въ весьма выгодномъ, почти идеальномъ свѣтѣ, иначе вы не дали бы мнѣ того портфеля... но, представьте, все, что̀ я въ немъ нашелъ, за исключеніемъ дневника, поразившаго меня своею честною правдивостью и неподдѣльнымъ энтузіазмомъ (дневникъ принадлежалъ самой дамѣ...) — все можетъ служить матеріаломъ... только съ сатирической, юмористической точки зрѣнія! Эта точка зрѣнія особенно примѣняется къ „„молодому юношѣ““, къ русскому „„Лео““ (подразумѣвается романъ Шпильгагена, появившійся въ русскомъ переводѣ, подъ заглавіемъ *Одинъ въ полѣ не воинъ*) господину ***). Это опьяненіе самообожаніемъ, рядомъ съ поразительною бездарностью (я много читалъ плохихъ стиховъ на своемъ вѣку, но вирши г. ** — все превосходятъ!), этотъ догматическій тонъ при такомъ невѣжествѣ,—все это просится въ карикатуру. И, замѣтьте, меня нисколько не смущаетъ рѣзкость мнѣній; меня изумляетъ эта пустота, воображающая, что она „„на двадцатомъ году жизни уже разрѣшила всѣ вопросы науки и жизни““ (textuel). Прошу вашего извиненія, любезнѣйшая А. П., въ томъ, что такъ жестко выражаюсь о мо-

лодомъ человѣкѣ, въ которомъ вы принимаете такое живое участіе, но я не могу говорить иначе. Мнѣ кажется, что и тутъ ваше доброе сердце васъ обмануло; изъ молодыхъ людей, подобныхъ ***, никогда ничего не выходитъ. Откиньте всѣ его разноглагольствованія о собственной особѣ подъ предлогомъ *идеи*, и вы увидите, какой тамъ останется нуль".

Въ другомъ письмѣ къ той же дамѣ, отъ 18 августа 1874 года, читаемъ:

„Что касается до вашихъ новыхъ людей... какой я былъ бы художникъ (не говорю уже: человѣкъ), еслибъ я не понималъ, что самоувѣренность, преувеличеніе, извѣстнаго рода фраза и поза, даже нѣкоторый цинизмъ—составляютъ неизбѣжную принадлежность молодости? Не въ томъ я упрекаю вашихъ знакомыхъ, *а въ скудости мысли, въ отсутствіи познаній, а главное: въ бѣдности, въ нищенской бѣдности дарованія*. Не въ томъ бѣда, что *** подъ двѣнадцатью стишками („„Люби не меня, а идею"") съ одной стороны выставляетъ число, когда онъ задумалъ, а съ другой — число, когда онъ совершилъ это великое дѣло, а въ томъ, что стихи его вообще никуда не годятся, что они даже грамматически неправильны, и при всей кажущейся вольности — пошлы и холодны. Бѣда въ томъ, что *** не можетъ сдѣлать ни одной иностранной цитаты, не впавъ въ грубую ошибку. Не насмѣшку, какъ вы полагаете, вызываетъ подобная молодежь, а сожалѣніе". „Замѣчу кстати", продолжаетъ Тургеневъ,— что нѣкоторые изъ вашихъ знакомыхъ (особенно г. ***) производятъ впечатлѣніе болѣе выгодное, чѣмъ русскій „„Лео"", *но печать бездарности лежитъ на всѣхъ безъ исключенія*".

Въ этихъ отрывкахъ все очень характерно—характерна и дама, къ которой адресованы письма, характеренъ и тонкій юморъ, съ которымъ Тургеневъ къ ней относится, приводя въ кавычкахъ безграмотное выраженіе изъ ея письма: „молодой юноша". Предъ нами, въ этихъ отрывкахъ, собственно говоря, какъ бы весь остовъ тогдашняго петербургскаго броженія: съ одной стороны, „молодые юноши", поражающіе своею бездарностью и самоувѣреннымъ нахальствомъ, съ другой—свѣтскія дамы, видящія въ этихъ „молодыхъ юно-

шахъ“ русскихъ „Лео“ и поражающія безграмотностью и пустотой своей полурусской болтовни. Вотъ весь тотъ матеріалъ, изъ котораго Тургеневу пришлось собирать камушки для мозаики своей *Нови*. И дѣйствительно, въ *Нови* мы видѣли русскаго „Лео“, выведеннаго подъ именемъ Кислякова. Тургеневъ относится къ нему съ совершеннымъ пренебреженіемъ и насмѣшкой, онъ послужилъ ему для сатирическаго изображенія; но прочіе герои *Нови*, кромѣ Нежданова,—Остродумовъ, Машурина, Маркеловъ, относятся къ этому Кислякову совершенно серіозно, видятъ въ немъ одного изъ выразителей „движенія“. И Тургеневъ какъ бы не замѣчаетъ, что уже однимъ этимъ онъ характеризуетъ этихъ героевъ какъ безнадежныхъ глупцовъ и продолжаетъ относиться къ нимъ съ нѣкоторымъ почтительнымъ недоумѣніемъ.

Представлялась, однако, другая трудность, и столь очевидная, что ее нельзя было не замѣтить, нельзя было обойти. Тургеневъ видѣлъ въ средѣ „новыхъ людей“, имъ изображаемыхъ „скудость мысли, отсутствіе познаній, а главное нищенскую бѣдность дарованія“ — все это онъ и изобразилъ въ Маркеловѣ, Машуриной, Остродумовѣ; но, изображая „явленіе прогресса“, этимъ ограничиться было нельзя: какое же, въ самомъ дѣлѣ, „явленіе прогресса“ при подобныхъ его выразителяхъ? Надо было не отступая отъ жизненной правды, найти что-нибудь покрупнѣй. Инстинктъ художника подсказалъ ему, что если въ эту среду, въ среду Машуриныхъ, Остродумовыхъ, Маркеловыхъ, можетъ попасть что-нибудь покрупнѣе, то лишь благодаря стеченію какихъ-нибудь особенныхъ, исключительныхъ обстоятельствъ, что даже Маріанна и Неждановъ до того не подходятъ къ этой мелкой средѣ, что являются въ ней какъ бы случайно. И дѣйствительно, и Неждановъ и Маріанна соприкасаются съ этою средой совершенно случайно. Тургеневъ, для объясненія нѣкоторыхъ особенностей характера Нежданова, для объясненія того, какъ онъ попалъ въ среду Маркеловыхъ и Остродумовыхъ, дѣлаетъ его незаконнорожденнымъ. Это обстоятельство положило отпечатокъ на всю его жизнь, направило эту жизнь по тому пути, который привелъ его къ самоубій-

ству. Если бы не это обстоятельство, изъ Нежданова по складу его натуры, по его какой-то недоконченной даровитости, вышелъ бы не революціонеръ, а просто „лишній человѣкъ“, эстетикъ и изящный эпикуреецъ, словомъ, вышелъ бы одинъ изъ прежнихъ обыкновенныхъ героевъ Тургенева. Точно также, чтобы сдѣлать Нежданова человѣкомъ воспитаннымъ, съ нѣкоторыми познаніями, съ образованіемъ, понадобилось преодолѣть новую трудность, понадобилось внести новую случайность. Воспитаніе Нежданова иное, чѣмъ было обыкновенно воспитаніе тогдашнихъ молодыхъ людей, попадавшихъ въ революцію.

„Нежда новъ родился, какъ мы уже знаемъ, отъ князя Г.“, читаемъ въ романѣ, — „богача, генералъ-адъютанта, и отъ гувернантки его дочерей, хорошенькой институтки, умершей въ самый день родовъ. Первоначальное воспитаніе Нежда новъ получилъ въ пансіонѣ одного швейцарца, дѣльнаго и строгаго педагога, а потомъ поступилъ въ университетъ.

Вотъ этому-то швейцарцу Нежда новъ былъ обязанъ тѣмъ, что выдавался своимъ образованіемъ изъ среды тогдашнихъ молодыхъ людей, захваченныхъ пропагандой. „*По милости воспитателя—швейцарца*“, пишетъ Тургеневъ, — „онъ зналъ довольно много фактовъ и не боялся труда; онъ даже охотно работалъ, нѣсколько, правда, лихорадочно и непослѣдовательно“.

Итакъ, швейцарецъ педагогъ *случайно* далъ Нежданову преимущество, котораго не имѣли его товарищи, шедшіе обыкновеннымъ путемъ чрезъ гимназію и университетъ.

Такимъ образомъ, Нежда новъ въ массѣ тогдашней революціонной молодежи представляетъ собою совершенную случайность. Его толкаетъ въ революцію неудачно сложившаяся его жизнь. И, ухватившись за революціонную дѣятельность, какъ утопающій хватается за соломинку, онъ съ самаго начала до конца *не вѣритъ* въ революціонныя идеи, не вѣритъ потому, что даже онъ настолько уменъ и развитъ, что не можетъ въ нихъ вѣрить: онѣ ему смѣшны.

Въ своей предсмертной запискѣ къ Маріаннѣ онъ пишетъ: „Ба, ба, ба! Какъ же это я въ *предсмертномъ* письмѣ

ничего не сказалъ о нашемъ великомъ дѣлѣ? Значитъ, потому что предъ смертью лгать уже не приходится. Маріанна, прости мнѣ эту приписку... ложь была во мнѣ, а не въ томъ, чему ты вѣришь“.

Ю. Николаевъ (Говоруха-Отрокъ).

* * *

*) Новый романъ былъ написанъ необыкновенно быстро, какъ „ничто изъ моихъ большихъ произведеній“, замѣчаетъ Тургеневъ, „съ плеча“. Но эта быстрота окончательной работы свидѣтельствовала о продолжительномъ раннемъ процессѣ мысли, сосредоточенномъ на идеѣ романа. Это подтверждаетъ и самъ Тургеневъ. Романъ давно сложился въ головѣ автора,—не наступало только подходящаго момента, чтобы положить на бумагу давно надуманныя мысли и опредѣлившіеся образы.

Но никакія приготовленія не могли спасти Тургенева отъ мучительнаго безпокойства за свой трудъ. Письма, сопровождающія появленіе *Нови*, переполнены нервнымъ чувствомъ невольной боязни. Правда, авторъ спѣшитъ увѣрить себя и своихъ друзей въ полномъ равнодушіи къ мнѣніямъ критики и впечатлѣніямъ публики,—но на самомъ дѣлѣ равнодушія нѣтъ: иначе Тургеневъ не возвращался бы къ тому же вопросу почти въ каждомъ письмѣ, и не предупреждалъ бы Салтыкова на счетъ скромности своихъ ожиданій.

„Не о лаврахъ я мечтаю“, писалъ онъ, „а о томъ, чтобы не слишкомъ сильно треснуться физіономіей въ грязь.—А впрочемъ, будь что будетъ“ **).

Такъ думаетъ Тургеневъ, еще переписывая и исправляя романъ. Когда рукопись готова и уже отправлена предварительно на судъ неизмѣннаго перваго читателя — критика новыхъ произведеній Ивана Сергѣевича—Анненкова, авторъ пишетъ:

*) И. Ивановъ. „Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ“. Спб. 1896 г.
**) *Письма*, 301.

„Что изъ него вышло—неизвѣстно; намѣренія были хорошія—но каково исполненіе? Все это я теперь скоро узнаю“ *).

„Мы, конечно, должны ожидать, что Тургеневъ разсчитываетъ на самое худшее. Такова вѣчная психологія нервныхъ мнительныхъ натуръ. И дѣйствительно: немного спустя онъ заявляетъ:

„Никакого нѣтъ сомнѣнія, что если за *Отцовъ и Дѣтей* меня били палками, за *Новь* меня будутъ лупить бревнами—и точно также съ обѣихъ сторонъ... Думаю, что это все съ меня сойдетъ, какъ съ гуся вода“ **).

До появленія романа въ печати Тургеневъ, несомнѣнно, слышалъ многочисленные отзывы. Мы, къ сожалѣнію, не знаемъ, какъ эти отзывы отразились на послѣдней редакціи *Нови*. Можемъ указать только на два факта.

Неждановъ, отправляясь въ первый разъ „въ народъ“, одѣваетъ мѣщанское платье. Соломину это кажется забавнымъ, молодой дѣятель гнѣвается и быстро обрываетъ сцену:

„Я пойду,—сказалъ онъ,—теперь же; а то это все очень любезно—только слегка на водевиль съ переодѣваніемъ смахиваетъ“.

Послѣднія слова, можно думать, вставлены уже послѣ окончанія романа, и вставка вызвана отзывомъ одной дамы, обозвавшей *Новь* „водевилемъ съ переодѣваніемъ“. Авторъ, естественно, шелъ на встрѣчу такому же впечатлѣнію другихъ читателей и разсчитывалъ отразить его собственнымъ замѣчаніемъ. Можетъ быть, также объясняются и неоднократныя шутки Татьяны на счетъ „маскарада“, устраиваемаго молодыми „опростѣлыми“ героями.

Другой фактъ, за достовѣрность котораго трудно поручиться,—весьма прискорбнаго свойства. Есть извѣстіе, что уже послѣ напечатанія *Нови* въ *Вѣстникѣ Европы* изъ романа было выпущено нѣсколько сценъ и притомъ чрезвычайно важнаго содержанія. Въ одной сценѣ изображался разговоръ Маркелова съ губернаторомъ послѣ ареста и цѣлая глава, описывавшая „хожденіе въ народъ“ Маріанны.

*) *Письма*, 303.

**) *Іb.* 305.

Мы приведемъ буквальныя слова лица, слышавшаго разсказъ объ этомъ отъ самого Тургенева.

„Эта Маріанна, какъ женщина, оказалась болѣе способной подойти къ жизни крестьянъ, и возбудила къ себѣ симпатіи и довѣріе мужиковъ. Правда, они сразу догадались, что это барышня, однако толковали съ нею по душѣ, и одинъ старикъ сказалъ ей: „Это все правда, барышня, что ты говоришь о томъ, какъ насъ обижаютъ баре; мы это и сами знаемъ,— да ты научи, какъ намъ избавиться отъ всего этого и т. д...“

Дальше разсказчикъ прибавляетъ, что Тургеневъ самъ предложилъ пожертвовать этой главой и другою сценой, когда представился выборъ между гибелью нѣсколькихъ страницъ его романа или другой журнальной статьи... Мы знаемъ фактъ только изъ одного источника, и, слѣдовательно, не можемъ провѣрить его достовѣрность, но онъ совершенно въ характерѣ Ивана Сергѣевича: стоило ему почувствовать „не ловко“, какъ онъ самъ выразился своему собесѣднику по поводу даннаго случая, и онъ немедленно шелъ на уступки. Но прискорбнѣе всего, что пропущенныя мѣста Тургеневъ не счелъ нужнымъ и даже возможнымъ возстановить ни въ иностранныхъ переводахъ *Нови* ни въ отдѣльныхъ русскихъ изданіяхъ.

Безъ всякаго сомнѣнія, подобныя сокращенія вредили цѣльности и ясности новаго произведенія, и Тургеневъ самъ указывалъ, что смыслъ *Нови* пострадалъ отъ выпусковъ. Критика и публика, даже и не подозрѣвавшія факта, получили только новый поводъ недоумѣвать и подчасъ жестоко упрекать автора, а автору приходилось, скрепя сердце, расплачиваться за невольный грѣхъ.

Расплата оказалась необыкновенно тягостной. „Я никогда не подвергался такому единодушному порицанію въ журналахъ“, пишетъ Тургеневъ, вскорѣ послѣ напечатанія *Нови*. И въ результатѣ мы, конечно, слышимъ старое обѣщаніе больше не писать. Всѣ отзывы о *Нови* онъ считаетъ для себя „дѣломъ прошлымъ“, „такъ какъ“, увѣряетъ онъ, „я рѣшился болѣе не писать и положить перо, которое служило мнѣ болѣе 30 лѣтъ,—пора въ отставку, къ ветеранамъ“ *).

*) *Письма*, 314.

На этотъ разъ настроеніе, дѣйствительно, было рѣшительное, почти безнадежное. Его отмѣчаютъ даже иностранцы, сѣтуя на соотечественниковъ геніальнаго художника за безпощадность нападокъ *).

Но какъ бы нападки ни были рѣзки, сколько бы огорченій онѣ ни причиняли писателю на закатѣ его многотрудной и многострадальной жизни,—романъ, при самомъ хладнокровномъ и снисходительномъ отношеніи, не могъ не вызвать самыхъ страстныхъ сужденій. Мы здѣсь не станемъ разбирать старыхъ приговоровъ: общее настроеніе молодой критики мы уже знаемъ послѣ *Отцовъ и Дѣтей*. Мы подойдемъ къ роману съ исторической и психологической стороны, совершенно миновавъ личныя страсти и злобы минуты прошлаго.

Все произведеніе будто заранѣе было разсчитано на необыкновенно жгучій интересъ публики. Авторъ, прощаясь съ своей писательской дѣятельностью, представлялъ читателямъ настоящую личную исповѣдь въ художественной формѣ и открыто высказывалъ свои взгляды на важнѣйшіе наболѣвшіе вопросы современнаго молодого поколѣнія.

Рѣшеніе этихъ вопросовъ составлялось у Тургенева въ теченіи многихъ лѣтъ. Изъ заграничнаго далека онъ не упускалъ изъ виду ни одного явленія русской жизни и, по ископному своему влеченію, съ особеннымъ вниманіемъ слѣдилъ за нарожденіемъ и развитіемъ новыхъ идейныхъ теченій среди молодежи.

Мы могли по произведеніямъ и нѣкоторымъ чертамъ практической дѣятельности Туртенева видѣть, какое прочное и глубокое сочувствіе лучшіе русскіе люди питали къ народу наканунѣ и послѣ крестьянской реформы. Литература сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ усердно и самоотверженно распространяла въ обществѣ идеи гуманности и человѣческаго достоинства и постепенно воспитала поколѣніе, которое въ эпоху освобожденія сочло своимъ нравственнымъ долгомъ осуществить эти идеи въ жизни, придти на помощь народу на его новомъ трудномъ пути.

*) Пичъ. *Иностр. критика.* 179.

Тургеневъ лично поддался этимъ стремленіямъ, и мы видѣли его неоднократныя попытки—отдать свои силы и свой талантъ на просвѣщеніе народа. Именно въ просвѣщеніи, въ народной грамотности Тургеневъ и видѣлъ величайшую цѣль высшихъ культурныхъ сословій. Крестьяне должны прежде всего цивилизоваться, стать культурнымъ классомъ страны. Эта идея, мы знаемъ, была принята единодушно въ кружкѣ Станкевича, здѣсь каждый будущій дѣятель считалъ высокимъ назначеніемъ учить народъ, по просту сдѣлаться учителемъ даже при самыхъ скромныхъ условіяхъ. Подъ вліяніемъ юношескихъ стремленій Тургеневъ впослѣдствіи въ первыхъ своихъ романахъ выводитъ учителей и всегда въ идеальномъ свѣтѣ. Перерожденіе Рудина изъ байронствующаго краснобая въ положительнаго человѣка сороковыхъ годовъ увѣнчивается дѣятельностью въ качествѣ преподавателя гимназіи, восторженнаго наставника и друга подростающаго поколѣнія. Въ *Дворянскомъ Гнѣздѣ* ту же атмосферу неисправимаго идеализма, равнодушнаго ко всѣмъ превратностямъ жизни, приноситъ на сцену Михалевичъ. Онъ оканчиваетъ свою кипучую жизнь, неизмѣнно преисполненную благороднѣйшихъ стремленій, должностью старшаго надзирателя въ казенномъ заведеніи. Ее авторъ называетъ его „настоящимъ дѣломъ“. Михалевича и Рудина „обожаютъ“ воспитанники. Эта сердечная связь — единственная награда идеалистамъ, потерпѣвшимъ безконечный рядъ крушеній въ житейскомъ морѣ...

Очевидно, въ глазахъ Тургенева подобная награда являлась одной изъ самыхъ почетныхъ. Онъ до конца жизни оставался при этомъ убѣжденіи. Интеллигенція — призванный учитель и руководитель народа на одномъ и томъ-же пути общечеловѣческой культуры.

Но требовалась спокойная вдумчивая мысль и не малое самоотверженіе, чтобы ограничиться такой ролью. Крестьянская реформа вызвала преувеличенныя ожиданія, даже у крестьянъ. Среди наиболѣе восторженныхъ образованныхъ юношей, идеалистически мечтавшихъ о новыхъ гражданахъ новаго государства, та же реформа должна была произвести

настоящій нравственный и умственный переворотъ. Если крестьяне ждали разныхъ баснословныхъ, часто нелѣпыхъ благодѣяній, — молодые политики пускались въ самыя рѣшительныя предсказанія коренныхъ государственныхъ перемѣнъ, выспренніе планы всевозможныхъ вольностей и небывалаго всенароднаго движенія. Назначались даже точные сроки, когда этимъ планамъ предстояло осуществиться... Но сроки проходили, и политическіе мыслители оказывались въ положеніи самозванныхъ пророковъ, предсказывающихъ по временамъ свѣтопреставленіе. Русская революція, повидимому, являлась столь же невѣроятнымъ событіемъ, какъ и всемірная катастрофа.

Тургеневу не требовалось никакихъ выжиданій, чтобы заранѣе рѣшить вопросъ отрицательно. Ему неоднократно приходилось опровергать слишкомъ горячихъ реформаторовъ, предлагать даже „какое угодно пари“, и дѣйствительность, конечно, оправдывала писателя, превосходно знавшаго народъ.

Естественно, такое холодное отношеніе къ пламеннымъ надеждамъ извѣстной части молодежи могло только усилить непопулярность Тургенева. Къ мечтательнымъ юношамъ присоединились даже нѣкоторые „отцы“, и соперничали съ ними въ страшныхъ пророчествахъ и грандіозныхъ разсчетахъ на преобразованіе вѣкового строя Россіи. Относительно этихъ энтузіастовъ насмѣшки Тургенева часто становились рѣзкими, безпощадными.

И онъ былъ правъ. На несбыточную игру воображенія непроизводительно уходили лучшія силы и отвлекали ихъ отъ прямого разумнаго дѣла. Если молодежь не могла простить Тургеневу уступокъ Базарова презрѣнной эстетикѣ и аристократическимъ предразсудкамъ, еще менѣе она могла позволить писателю насмѣшки надъ героями народной свободы, законодателями будущаго государства. Для Тургенева эти герои были въ лучшемъ случаѣ достойны состраданія подобно слѣпцамъ и младенцамъ, и онъ, съ обычной искренностью, не скрывалъ своихъ взглядовъ ни въ письмахъ ни личныхъ бесѣдахъ, не побоялся, наконецъ, перенести ихъ и въ свой романъ.

Въ теченіи шестидесятыхъ годовъ Тургеневу приходилось безпрестанно касаться вопроса о народѣ и о роли образованнаго класса среди народа. Положеніе писателя, ознаменовавшаго свое раннее творчество *Записками Охотника*, было крайне затруднительно. Интересъ къ народу, въ высшей степени напряженный до реформы, у многихъ литераторовъ послѣ 19-го февраля быстро переродился въ безотчетный восторгъ передъ деревенской жизнью, крестьянскими характерами и воззрѣніями. Возникло лирическое народничество, настроенное на высокій тонъ независимо отъ уроковъ дѣйствительности, подъ вліяніемъ однихъ волшебныхъ звуковъ — народъ, деревня, община. Крайнія увлеченія всегда одновременно съ чувствами восторга вызываютъ вражду противъ даже мнимыхъ противниковъ, сколько-нибудь не похожихъ на предметъ фанатическаго поклоненія. Русскіе народники такого противника открыли въ цивилизованной Европѣ, въ Западѣ, т.-е. тамъ, гдѣ и старые славянофилы видѣли источники заразы и гнилья.

Народъ освобожденъ, и горячимъ политикамъ представился вопросъ, какимъ политическимъ путемъ пойдутъ эти новые граждане? Отвѣтъ былъ найденъ *у себя, дома*. Россіи не требуется западно-европейскихъ формъ государственной и общественной жизни. На Западѣ торжествуетъ буржуазія въ ущербъ народу,— въ Россіи народная жизнь создала основу будущаго строя, свободнаго отъ буржуазнаго владычества. Эта основа — крестьянская *община, міръ*. Она должна примирить всѣ противорѣчія, созданныя культурой Запада, и вообще упрочить идеальный порядокъ для народной массы.

Очевидно, Тургеневу приходилось вести тѣ же бесѣды, какія онъ когда-то велъ съ Аксаковыми незадолго до романа *Дворянское Гнѣздо*. Взгляды Тургенева на крестьянскую жизнь не измѣнились, онъ также остался прежнихъ убѣжденій и на счетъ Россіи, какъ государства европейскаго.

Противъ Тургенева стояло два противника — такъ называемая „молодая Россія“, — преобразователи изъ самыхъ юныхъ и горячихъ, и его давнишній другъ, Герценъ — когда-то весьма близкій ему по идеямъ, а теперь попавшій въ *славянофильскій* толкъ.

Главное оружіе Тургенева направлено именно противъ этого друга, въ высшей степени даровитаго публициста и, слѣдовательно, опаснаго для молодой и всякой другой публики.

Прежде всего Тургеневъ, опираясь на свое совершенное знаніе народной жизни, стремился охладить восторги своего друга предъ мужикомъ и доказать опрометчивость его нападокъ на Западъ съ его буржуазнымъ зломъ.

Герценъ возлагалъ особенныя надежды на идейную и нравственную отзывчивость крестьянъ, — Тургеневъ возражалъ: „Народъ, предъ которымъ вы преклоняетесь, консерваторъ par excellence и даже носитъ въ себѣ зародыши такой буржуазіи въ дубленомъ тулупѣ, теплой и грязной избѣ, съ вѣчно набитымъ до изжоги брюхомъ и отвращеніемъ ко всякой гражданской отвѣтственности и самодѣятельности, что даже оставитъ за собою всѣ мѣтко-вѣрныя черты, которыми ты изобразилъ западную буржуазію въ своихъ письмахъ. Далеко нечего ходить—посмотри на нашихъ купцовъ“ *).

Дальше Тургеневъ указывалъ на грозную дилемму, которую неминуемо предстоитъ разрѣшить беззавѣтнымъ поклонникамъ народа. Необходимо, или „низвергаться“ предъ нимъ, несмотря на многочисленныя темныя стороны его жизни и характера, воспитанныя многовѣковымъ рабствомъ, или „коверкать его“ по теоріи выработанной вдали отъ дѣйствительности. Придется чуть не одновременно признавать убѣжденія народа „святыми и высокими“ и „клеймить ихъ несчастными и безумными“.

И примѣръ подобнаго совпаденія Тургеневъ здѣсь же и приводилъ изъ брошюры одного народолюбца.

Ясно, слѣдовательно, народническій энтузіазмъ — непростительное заблужденіе и притомъ гибельное. Оно воспитываетъ безпочвенную національную гордость, укрѣпляетъ варварское чувство самообольщенія и ведетъ къ безчисленнымъ разочарованіямъ, лишь только энтузіастъ принимается за практическую дѣятельность.

Тургеневъ жестоко упрекаетъ своихъ противниковъ въ

*) Письмо помѣчено: *Баденъ-Баденъ, 8 октября 1862 г.*

совращеніи юнцовъ съ пути здравомыслія и вдумчиваго отношенія къ фактамъ.

„Наливъ молодыя головы вашей еще не перебродившей соціально-славянофильской брагой, пускаете ихъ хмѣльными и отуманенными въ міръ, гдѣ имъ предстоитъ споткнуться на первомъ шагу. Что вы все это дѣлаете добросовѣстно, честно, горестно, съ горячимъ и искреннимъ самоотверженіемъ—въ этомъ я несомнѣваюсь, и ты увѣренъ, что я не сомнѣваюсь... но отъ этого не легче“... *)

Рѣчь Тургенева становится особенно энергичной, когда онъ начинаетъ указывать на преднамѣренное пренебреженіе новыхъ реформаторовъ къ самымъ убѣдительнымъ даннымъ „исторіи, физіологіи, статистики“. Эти науки доказываютъ, что русскіе принадлежатъ „по языку и по породѣ къ европейской семьѣ, genus europaeum“, слѣдовательно, для нихъ не можетъ быть исключительнаго пути культурнаго развитія. Столь же убѣдительныя данныя показываютъ полнѣйшее несходство вкусовъ и идеаловъ крестьянина и его непризваннаго руководителя-славянофила и обожателя всего народнаго. При настоящихъ условіяхъ мужикъ и политикъ-народникъ прямо не поймутъ другъ друга: это два существа двухъ совершенно различныхъ міровъ, и единственное средство объединить ихъ—просвѣщеніе.

Тургеневъ безпрестанно повторяетъ эту мысль. Ему приходится выслушивать весьма рѣзкія укоризны за свою приверженность къ Европѣ. Онъ отвѣчаетъ спокойно и всегда въ одномъ и томъ же смыслѣ:

„Не изъ эпикуреизма, не отъ усталости и лѣни я удалился, какъ говоритъ Гоголь, подъ *сѣнь струй* европейскихъ принциповъ и учрежденій. Мнѣ было бы 25 лѣтъ — я бы не поступилъ иначе — не столько для собственной пользы, сколько для пользы народа. Роль *образованнаго* класса въ Россіи—быть передавателемъ цивилизаціи народу съ тѣмъ, чтобы онъ самъ уже рѣшилъ, что ему отвергать и принимать. Это въ сущности скромная роль, хотя въ ней подвизались Петръ Великій и Ломоносовъ“... **)

*) Письмо помѣчено: *Парижъ, 8 ноября 1862 г.*
**) Письмо отъ 8 октября 1862 г.

Въ этой программѣ слышались ясные отголоски стараго западничества Тургенева и тѣхъ самыхъ рѣчей, какими Лаврецкій поражалъ пылкаго канцелярскаго гения — Паншина. Во имя народа Тургеневъ требовалъ цивилизаціи и уваженія къ народной личности, какъ исторической силѣ. Онъ и теперь могъ искренно заговорить о „признаніи народной правды“, о „смиреніи предъ нею,“—не въ смыслѣ слѣпого культа, а неизмѣнно гуманнаго, вдумчиваго отношенія къ вѣковой исторіи народнаго быта и народнаго духа. Всякая ломка, производящая на народъ впечатлѣніе насилія и произвола, казалась Тургеневу одинаково тяжкимъ грѣхомъ и предъ европейской культурой и предъ народной правдой. Воспитать въ народѣ сознательную потребность гражданственныхъ благъ, изъ стихійной косной массы превратить его въ мыслящее человѣческое общество и достигнуть этого упорнымъ мирнымъ трудомъ, безграничнымъ терпѣніемъ, незамѣтной, менѣе всего героической работой — таковъ идеалъ Тургенева — и въ то время, когда онъ наканунѣ реформы замышлялъ „Общество для распространенія грамотности и первоначальнаго обученія“, и въ самый разгаръ его борьбы съ новымъ революціоннымъ славянофильствомъ и народническимъ идолопоклонствомъ.

Въ основныхъ идеяхъ Тургеневъ рѣзко расходился съ Герценомъ, но нѣкоторые частные вопросы рѣшались ими одинаково. И это особенно важно, потому что здѣсь на первомъ планѣ стоялъ вопросъ все о той же революціи, точнѣе—о революціонной пропагандѣ.

Мы видѣли, Тургеневъ безусловно не вѣрилъ въ подобную пропаганду среди народа, все равно, во имя чего бы она ни велась и какими бы путями не дѣйствовала. Его другъ не соглашался съ такимъ безусловнымъ отрицаніемъ, но и ему пришлось горячо опровергать цѣлую партію революціонеровъ. И это опроверженіе представляетъ для насъ особенный интересъ—именно въ виду тургеневской *Нови*.

Многимъ представителямъ „молодой Россіи“ казалось необыкновенно простымъ дѣломъ—вызвать переворотъ: стоило только заимствовать пути и цѣли европейскихъ революцій

и перенести ихъ на русскую почву. Въ результатѣ появились самые хитросплетенные девизы будущаго движенія, воскресла стародавняя реторика французскихъ гражданъ крайняго направленія, и русскому народу предстояло вести борьбу за „соціальную и демократическую русскую республику“.

Въ глазахъ изобрѣтателей этой республики казались отсталыми и консерваторами всѣ, кто не стремился облечься въ тогу трибуна и появиться среди крестьянъ во всеоружіи республиканскаго краснорѣчія. Въ число отсталыхъ попалъ и другъ Тургенева, чувствовавшій естественное недовѣріе и даже презрѣніе къ безплодной реторикѣ переряженныхъ „римскихъ гражданъ“. Ему пришлось тогда повторить почти съ буквальной точностью указанія Тургенева на отвлеченный азартъ юныхъ преобразователей, на ихъ незнаніе русской дѣйствительности и полное непониманіе русскаго народа. Его отзывъ о программѣ „молодой Россіи“ еще энергичнѣе, чѣмъ отповѣдь Тургенева ему самому:

„Ясно, что люди, писавшіе ее, больше жили въ мірѣ товарищей и книгъ, чѣмъ въ мірѣ фактовъ; больше въ алгебрѣ идей съ ея мелкими и всеобщими формулами и выводами, чѣмъ въ мастерской, гдѣ треніе и температура, дурной закалъ и раковина—мѣняютъ простоту механическаго закона и тормозятъ его быстрый ходъ. Рѣчь ихъ такою и вышла, въ ней нѣтъ той внутренней сдержанности, которую даетъ или свой опытъ, или строй организованной партіи... Каждое дѣло идетъ не по законамъ отвлеченной логики, а сложнымъ процессомъ эмбріогеніи...

„Говорить чужими образами, звать чужимъ кличемъ—это непониманіе ни дѣла ни народа, это неуваженіе ни къ нему ни къ народу“.

Далѣе авторъ горько смѣется надъ замысловатымъ девизомъ молодыхъ политиковъ, указываетъ, что даже слова этого девиза непонятны русскому народу. Вообще костюмъ европейскаго республиканца на плечахъ русскаго гражданина, проповѣдующаго на русской площади — „сбивается на маскарадное платье“, и не только не достигаетъ цѣли, но

даже навлекаетъ злѣйшія опасности на переряженныхъ трибуновъ.

Въ доказательство авторъ приводилъ случай изъ дѣйствительной жизни, напоминающій приключеніе тургеневскаго героя—Маркелова—во время его хожденія въ народъ.

„Народъ намъ не вѣритъ", заключаетъ авторъ, „и готовъ побить камнями тѣхъ, которые отдаютъ за него жизнь. Темной ночью, въ которой его воспитали, онъ готовъ, какъ великанъ въ сказкѣ, перебить своихъ дѣтей только потому, что на нихъ чужое платье" *).

Подъ этими разсужденіями могъ подписаться и Тургеневъ, но онъ къ послѣднимъ словамъ Герцена прибавилъ бы: „готовъ перебить своихъ дѣтей даже и одѣтыхъ въ русское платье, но говорящихъ съ нимъ не его языкомъ и призывающихъ его на безсмысленный и преступный, по его мнѣнію, путь". „Маскарадъ", по глубокому убѣжденію Тургенева, можно было устроить не только въ костюмѣ европейскаго революціонера, но и въ крестьянскомъ армякѣ или мѣщанской чуйкѣ: для народа и то и другое платье, надѣтое ради революціонной пропаганды, являлось жалкой или дерзкой поддѣлкой подъ его вкусы.

Мало этого. Не только платье и рѣчи, по мнѣнію Тургенева, не могутъ вызвать желательнаго впечатлѣнія въ народной средѣ, даже настоящія дѣла, страданія за народъ, при извѣстныхъ условіяхъ, не возбуждаютъ чувства состраданія у людей изъ народа. Немного позже *Нови* былъ написанъ діалогъ *Чернорабочій и бѣлоручка*. Здѣсь предъ нами роковое взаимное непониманіе различныхъ классовъ общества. На одной сторонѣ искреннія и самоотверженныя стремленія послужить благу народа, принести въ жертву этой цѣли лучшія силы, самую жизнь. На другой—непреодолимое недовѣріе и, что еще трагичнѣе, совершенное непониманіе самыхъ чистыхъ намѣреній „бѣлоручки"... Діалогъ оканчивается страшнымъ мотивомъ, заключающимъ въ себѣ безпощадную насмѣшку темной силы надъ идеализмомъ непризнаннаго борца за счастье чернорабочаго...

*) Статья относится къ іюлю 1862 г.

Это „стихотвореніе“ въ общихъ чертахъ излагаетъ исторію революціонныхъ предпріятій, какъ ее представлялъ Тургеневъ. Всего двѣ черты изъ діалога, и мы невольно вспомнимъ разсужденія въ письмахъ Тургенева и драму его послѣдняго романа.

Рабочій чувствуетъ запахъ желѣза отъ рукъ своего собесѣдника. Оказывается, тотъ шесть лѣтъ носилъ кандалы. Рабочему любопытно знать—за что?

Бѣлоручка. А за то, что я о вашемъ добрѣ заботился, хотѣлъ освободить васъ, сѣрыхъ, темныхъ людей, возставалъ противъ притѣсненій вашихъ, бунтовалъ... ну, меня и засадили.

На эту рѣчь слѣдуетъ краткая и сильная отповѣдь:

„Засадили? Вольно жъ тебѣ было бунтовать!“

И иного отвѣта быть не можетъ при тѣхъ культурныхъ отношеніяхъ, какія существуютъ между нашимъ героемъ и толпой. Бѣлоручка отъ начала до конца шелъ путемъ, совершенно чуждымъ и невѣдомымъ для чернорабочаго. И его страданія и его смерть остались для народа *внѣшними* явленіями, и только случайность избавила бѣлоручку отъ самаго горькаго разочарованія: чернорабочіе интересуются веревкой, на которой будутъ вѣшать ихъ печальника, — они столь же естественно могли сами приготовить для него орудіе казни...

Гдѣ же исходъ?

Отвѣтъ Тургенева ясенъ. Вмѣсто революціи — просвѣщеніе, цивилизація, постепенное нравственное сближеніе народа съ образованными классами. Тогда исчезнетъ двойное недоразумѣніе. Нынѣшніе революціонеры узнаютъ народъ и откажутся отъ несбыточной и пагубной мечты — на вѣковой исторической почвѣ во мгновеніе ока—путемъ зажигательныхъ рѣчей и брошюръ — создать новый идеальный строй жизни. Народъ, въ свою очередь, перестанетъ заявленія „бѣлоручекъ“: „Я вашъ, братцы!“ —встрѣчать или равнодушнымъ смѣхомъ, или въ дурной часъ даже злобой и презрѣніемъ. Къ такимъ взглядамъ на самые безпокойные вопросы современнаго общества Тургеневъ пришелъ задолго до того

дня, когда онъ рѣшилъ, наконецъ, написать *Новь*. Взгляды въ общихъ чертахъ опредѣлились очень давно, но частности и преимущественно художественные образы, поясняющіе идею, сложились постепенно, за все время спора Тургенева съ Герценомъ и съ представителями „молодой Россіи“. Такъ слѣдуетъ понимать выраженіе Тургенева, что идея романа у него „долго вертѣлась въ головѣ“. Осуществленіе идеи откладывалось въ теченіе многихъ лѣтъ, авторъ, очевидно, не чувствовалъ въ себѣ достаточно силъ и вдохновенія. Эта невольная отсрочка должна была неизбѣжно приподнять тонъ разсказа, лирическимъ, т.-е. субъективнымъ мѣстамъ романа сообщить особенное воодушевленіе, отмѣтить красными чертами лично-дорогія автору идеи. *Нови*, слѣдовательно, предстояло раздѣлить участь *Дыма*, явиться сатирой, элегіей, отчасти защитительнымъ словомъ, и менѣе всего спокойнымъ эпическимъ отраженіемъ дѣйствительности.

Мы знаемъ, въ чемъ могла состоять основная цѣль Тургенева, когда онъ обдумывалъ героевъ и факты своего будущаго произведенія. Письма шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ указываютъ эту цѣль безошибочно: революціонные разсчеты молодежи на русскій народъ—ослѣпленіе и безуміе, „хожденіе въ народъ“—трагикомическій фарсъ, стремленіе къ героической преобразовательной роли—преступленіе предъ духомъ и потребностями времени: нужна „мелкая, темная и даже жизненная работа“, т.-е. самая будничная и незамѣтная, въ родѣ обученія мужика грамотѣ, основанія больницъ...

Все это — подлинныя рѣчи самого Тургенева, и романъ послужилъ только иллюстраціей къ рѣчамъ.

Въ *Нови* два героя сосредоточиваютъ съ перваго взгляда все наше вниманіе: Нежановъ и Соломинъ. Вотъ они-то и должны будутъ въ лицахъ доказать извѣстный намъ общественно-просвѣтительный символъ Тургенева. Нежановъ долженъ представить банкротство революціи, какъ ее понимали политики „молодой Россіи“, Соломинъ—блистательно оправдать „жизненную работу“. Для автора, выдержавшаго столько сраженій съ представителями „прогрессивной моло-

дежи“ и даже съ нѣкоторыми увлекающимися отцами, важнѣе всего, конечно, было доказать безпочвенность прогресса, какъ его объясняли разные реальные Базаровы. Очевидно, Нежановъ долженъ очутиться въ особыхъ условіяхъ, которыя бы облегчили автору путь и совершенно естественно, въ силу логики событій, подсказали требуемый отвѣтъ на давнишній мучительный вопросъ.

Такъ это и происходитъ.

Нежданову предстоитъ идти въ народъ, тамъ его встрѣтитъ закоренѣлое невѣжество, нужда, равнодушіе къ величайшимъ лишеніямъ и, прежде всего, полное отсутствіе внѣшней культуры.

Послѣднее обстоятельство, конечно, краснорѣчивѣе всякой умственной темноты и нравственнаго отупѣнія, можетъ показать страшную пропасть между „бѣлоручками“ и „чернорабочими“, между непризванными реформаторами народной жизни и этой самой жизнью. Потомъ, именно внѣшнія условія будничнаго существованія и праздничнаго веселья мужика скорѣе всего могутъ оттолкнуть просвѣщеннаго горожанина, вызвать у него прямо физическое отвращеніе.

Представьте всѣ эти соображенія въ лицахъ и сценахъ, и вы сравнительно простыми и легкими средствами достигнете крупнаго результата: на большинство читающей публики произведете неотразимое впечатлѣніе, до какой степени безцѣльно и безсмысленно съ современнымъ мужикомъ толковать объ общественномъ переворотѣ.

Именно такое впечатлѣніе и требуется автору, и онъ совершенно послѣдовательно выбираетъ въ герои „хожденія“ юношу необыкновенно тонкой художественной организаціи, существо почти женственное, до болѣзненности впечатлительное и, въ заключеніе всего, безнадежно заѣдамое рефлексіей.

И. Ивановъ.

***

*)„Новь“ принадлежитъ къ числу наименѣе оцѣненныхъ—въ свое время—произведеній Тургенева. Правда, вслѣдъ за

*) Д. Н. Овсянико-Куликовскій. „Этюды о творчествѣ И. С. Тургенева“. *Харьковъ. 1896* г.

появленіемъ ея (1877), рядомъ съ отрицательными отзывами высказывались и хвалебные, даже восторженные, но въ общемъ, можно сказать, сумма недоразумѣній и нареканій, вызванныхъ „Новью“, не уступала таковой-же, вызванной „Отцами и Дѣтьми“, только тонъ нападокъ на автора на этотъ разъ не былъ такой страстный, какъ тогда.

Всякій читатель, не лишенный художественнаго чутья и достаточно вооруженный личнымъ опытомъ жизни (чрезвычайно важное условіе для пониманія произведеній искусства), не можетъ, читая „Новь“, не подчиниться обаянію этого чуднаго произведенія, блещущаго необыкновенной свѣжестью и яркостью красокъ, проникнутаго дивной поэзіею и въ цѣломъ представляющаго собою удивительную художественную композицію, мастерски сотканную изъ положительныхъ и отрицательныхъ (сатирическихъ) элементовъ („Новь“ на половину—сатира и очень злая).

О самомъ процессѣ творчества, создавшаго „Новь“, мы имѣемъ любопытное свидѣтельство Тургенева въ письмѣ къ Полонскому (отъ 22 января 1877 г. „Письма“ № 247): „Ты находишь, что въ „Нови“ чувствуется напряженіе, излишняя головная работа и нѣкоторая робость... можетъ быть; замѣчу только одно, что *ни одно изъ моихъ большихъ произведеній не писалось такъ скоро, легко (въ 3 мѣсяца) и съ меньшимъ количествомъ помарокъ*. Вотъ послѣ этого и суди! (Идея у меня долго вертѣлась въ головѣ, я нѣсколько разъ принимался за исполненіе—*но, наконецъ, написалъ всю штуку, какъ говорится, съ плеча)*. И выходитъ, что ничего нельзя знать напередъ“. Первыя впечатлѣнія бываютъ иногда обманчивы, и примѣръ Полонскаго показываетъ, какъ могутъ ошибаться въ этомъ отношеніи даже люди, сами одаренные поэтическимъ талантомъ, которымъ, казалось-бы, и книги въ руки. При первомъ чтеніи легко возникаютъ иллюзіи, въ зависимости отъ личнаго настроенія читателя. Вѣроятно, г. Полонскій, читая впервые „Новь“, находился въ такомъ состояніи духа, которое вызывало ощущеніе нѣкоторой напряженности при умственной работѣ. Усвоеніе-же художественнаго произведенія есть несомнѣнно умственная

работа: оно, въ извѣстныхъ границахъ, является повтореніемъ творчества автора. И вотъ, если „повторить“ это творчество, такъ сказать, на „свѣжую голову“, не будучи озабоченъ или занятъ постороннею мыслію, то, я увѣренъ, „Новь“ произведетъ прежде всего впечатлѣніе, вполнѣ согласное съ тѣмъ, что говоритъ Тургеневъ въ приведенномъ отрывкѣ, именно впечатлѣніе *легкости* творчества, увѣреннаго въ самомъ себѣ, отсутствія разсудочной работы, ведущей къ перемаркамъ и передѣлкамъ. „Новь“ является художественному чувству читателя въ видѣ вдохновенной импровизаціи, и въ ней незамѣтно и слѣда той „старательности“ или „копотливости“, которую отмѣтилъ Достоевскій въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ *). Въ „Нови“, такъ чувствуется, художникъ далъ волю своему дарованію, дошедшему здѣсь (употребляя выраженіе Тургенева въ письмѣ къ Салтыкову, „Письма“, стр. 508) до „рѣзвости“, и его скорѣе можно упрекнуть въ томъ, что онъ не подвергъ въ должной мѣрѣ свой вдохновенный трудъ контролю холодной разсудочности, которая, напр., воздержала-бы его отъ такого проявленія художнической „рѣзвости“, какъ Ѳомочка и Ѳимочка—явный анахронизмъ и, по признанію самого Тургенева, „капризъ“ художника („Письма“, № 247, стр. 310). И въ нѣкоторыхъ другихъ фигурахъ, напримѣръ, въ Паклинѣ, въ особенности же въ отрицательныхъ типахъ (въ Коломѣйцевѣ, Сипягинѣ) сказалась та же игривость творчества, на этотъ разъ, впрочемъ, упрека не заслуживающая.

Д. Н. Овсянико-Куликовскій.

***

**) Романъ „Новь“ затрагиваетъ собою одну изъ любопытнѣйшихъ эпохъ въ исторіи нашего общественнаго развитія; эта эпоха извѣстна подъ именемъ „шестидесятыхъ годовъ“.

*) См. „Письма Тургенева“, № 78, стр. 101.

**) К. Чернышовъ. „Лишніе люди и женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ И. С. Тургенева“. С.-Петербургъ. 1896 г.

Если вообще вѣрно то мнѣніе, что война даетъ толчокъ общественной жизни и общественному сознанію, то наши „шестидесятые годы“ какъ разъ слѣдовали за извѣстной одиннадцатимѣсячной геройской обороной Севастополя,—и, если не въ наукѣ, то по крайней мѣрѣ въ обществѣ укрѣпилось мнѣніе, что Крымская компанія возбудила въ русскомъ обществѣ тотъ подъемъ духа, которымъ характеризуются наши „шестидесятые годы“. Въ этомъ мнѣніи, конечно, есть извѣстная доля правды; но не нужно забывать и другого въ высшей степени важнаго событія — наступленія, какъ разъ наканунѣ этой эпохи, новаго царствованія: русскій престолъ занялъ Государь, имя котораго неизгладимыми золотыми буквами начертано на страницахъ нашей исторіи и, что еще важнѣе, — въ сердцахъ и въ благодарной памяти освобожденнаго имъ народа.

„Шестидесятые годы“ не были той неожиданной волной, которая иной разъ вдругъ набѣгаетъ, своею неожиданностью сразу захватываетъ васъ и обыкновенно производитъ цѣлый переполохъ во всемъ окружающемъ. Общественное движеніе 60-хъ годовъ подготавливалось постепенно, и его зародышей слѣдуетъ искать далеко-далеко позади такъ называемыхъ нигилистовъ, которые представляютъ собой дѣйствительно одну изъ наиболѣе характерныхъ чертъ этой эпохи. Въ художественной лѣтописи разбираемаго нами писателя мы уже не разъ отмѣчали тѣ моменты, въ которыхъ сказывалось поступательное движеніе нашей общественной мысли,—мы не разъ отмѣчали тѣ важнѣйшіе художественные типы, которые знаменовали собою послѣдовательные, правда иной разъ едва замѣтные, шаги нашего общественнаго развитія. И съ каждымъ новымъ изъ этихъ типовъ мы заполучали впечатлѣніе все болѣе и болѣе развивающейся напряженности общественной мысли, которая все замѣтнѣе и все сильнѣе какъ бы выбивается на свободу отъ многолѣтняго ига общественнаго застоя и ищетъ приложенія къ разумной, осмысленной, полезной дѣятельности. Къ 60-мъ годамъ эта напряженность общественной мысли, эта потребность молодыхъ общественныхъ силъ найти себѣ выходъ въ приложеніи къ

„настоящему“ дѣлу достигаетъ серьезнаго развитія, становится важнымъ явленіемъ общественной жизни, невольно и совершенно естественно находитъ себѣ отраженіе въ литературѣ.

Мы слишкомъ далеко отвлеклись бы отъ нашей главной задачи, если бы захотѣли разсмотрѣть со всѣхъ сторонъ эту оригинальную и богатую разнообразными чертами эпоху; мы остановимся лишь на одной, несомнѣнно наиболѣе важной сторонѣ, съ которой тѣсно связываются важнѣйшіе общественные типы, изображаемые нашимъ писателемъ въ занимающемъ насъ въ данную минуту романѣ—„Новь“.

Какъ только стихла памятная Севастопольская канонада, какъ только нѣсколько улеглась тревога, вызванная въ обществѣ естественнымъ напряженіемъ силъ въ виду угрожавшей опасности со стороны „союзниковъ“,—такъ все, что только было лучшаго на Руси, живо отликнулось на благодѣтельный призывъ Царя-Освободителя. И дѣйствительно, закипѣла работа среди лучшихъ русскихъ людей, и не только въ столицѣ, но и въ лучшихъ провинціальныхъ центрахъ: готовилась къ проведенію въ жизнь великая освободительная реформа. „Великое слово „свобода“,—говоритъ Литвиновъ въ „Дымѣ“,—„носилось, какъ духъ Божій надъ водами“,—и„ возбуждало“,—прибавимъ мы отъ себя,—„особенно въ восторженныхъ молодыхъ сердцахъ, преувеличенныя ожиданія по отношенію къ предстоящему свѣтлому будущему, идеалистическія мечтанія о новыхъ гражданахъ какъ бы совершенно новаго государства. Наконецъ, насталъ великій день 19-го февраля 1861 года, и новая величественная волна ворвалась въ доселѣ покойное, тинистое русло русской народной жизни,—и не столько самый освобожденный народъ захватила собою эта волна, сколько ту, особенно молодую часть нашего общества, которая видѣла въ освободительной крестьянской реформѣ начало новой эры въ русской жизни: молодыя сердца загораются особенной любовью къ „новымъ свободнымъ гражданамъ“ и чувствуютъ передъ ними долгъ прійти къ нимъ на помощь, помочь имъ сдѣлать первые шаги къ новой, свободной жизни.

Случилось при этомъ то, что бываетъ въ хорошей, дружной семьѣ, когда окончательно выздоравливаетъ и начинаетъ поправляться долго и опасно хворавшій ребенокъ: Митя или Маня дѣлается въ это время божкомъ для всѣхъ окружающихъ; лучше его, совершеннѣе его уже никого больше нѣтъ; всѣ остальные стараются какъ бы уподобиться ему, стараются поддѣлаться подъ его дѣтскую натуру: и говорятъ дѣтскимъ, полукартавымъ языкомъ, и дѣлаютъ разныя дѣтскія глупости; его буквально осыпаютъ заботами, искренними, горячими, любовными, но очень нерѣдко, такъ сказать, мало осмысленными,—хотя бы, напр., съ точки зрѣнія той же гигіены. И ребенокъ, этотъ идеализированный добрыми, любящими сердцами божокъ, нерѣдко по инстинкту, какъ можетъ, отражаетъ эти горячія, любовныя, но неразумныя заботы и даже, пожалуй, засмѣется надъ вами какъ разъ въ ту минуту, когда вы, именно отъ всей души, продѣлываете передъ нимъ какую-нибудь глупость. Васъ даже это можетъ удивить, пожалуй,— оскорбить, и вы, можетъ быть, отойдете отъ вашего божка съ чувствомъ разочарованія и какъ бы оскорбленія, нанесеннаго вашимъ добрымъ, искреннимъ, любовнымъ порывамъ.

Такимъ „выздоравливающимъ ребенкомъ“ въ 60-е года является освобожденный отъ крѣпостного ига простой русскій народъ. Онъ становится именно божкомъ въ глазахъ идеалистически отуманенныхъ освободительной реформой людей этой эпохи. Интересъ къ народу, достигшій значительнаго напряженія ко дню 19-го февраля,—въ первые годы послѣ этого дѣйствительно великаго дня перерождается въ безотчетный восторгъ передъ деревенской жизнью, крестьянскимъ характеромъ и крестьянскими воззрѣніями. „Возникло“, — говоритъ одинъ изъ новѣйшихъ изслѣдователей этой эпохи, — „лирическое народничество, настроенное на высокій тонъ независимо отъ уроковъ дѣйствительности, подъ вліяніемъ однихъ волшебныхъ звуковъ — народъ, деревня, община“. Подъ вліяніемъ этого крайняго увлеченія возникаетъ даже прямо-таки враждебное отношеніе ко всему,—особенно во внѣшней сторонѣ жизни,—что напоминало о ци-

вилизованномъ Западѣ. „Намъ не нужно западныхъ выдумокъ“,—какъ бы слышалось среди этихъ увлеченныхъ народничествомъ молодыхъ головъ: „у насъ свое, русское, гораздо лучшее: община, армякъ, гармоника“. Несмотря, однако, на это, между этими влюбленными этой отвлеченной любовью къ народу и предметомъ ихъ обожанія — самимъ народомъ лежала цѣлая пропасть.

Кто же были эти народолюбцы? на какой почвѣ они воспитались? съ чѣмъ они шли къ народу? чему и какъ они могли научить его?

Наши мечтатели-народники 60-хъ годовъ были питомцами культуры, науки, идей того самаго Запада, отъ котораго, какъ мы сейчасъ только говорили, они такъ старательно открещивались въ пользу національнаго армяка и національной гармоники. Они, вѣдь, прямые потомки Рудиныхъ и Лаврецкихъ, младшіе братья Базаровыхъ: несмотря на то, что они, повидимому, занимались въ большинствѣ случаевъ серьезнымъ дѣломъ—изслѣдованіемъ природы (область естествознанія была въ тѣ годы излюбленною и какъ бы единственно заслуживающею вниманія молодыхъ умовъ сферою положительнаго, полезнаго знанія), несмотря на то, что они не только были далеки отъ Рудинскаго барства, но всячески старались искоренить въ себѣ даже послѣдніе слѣды этой постыдной, оскорбительной слабости, тѣмъ не менѣе, та же самая исконная черта русскаго культурнаго человѣка—безпочвенность близко роднила ихъ съ Рудинымъ; къ нимъ не только безъ всякой ошибки, но и безъ всякой натяжки приложимы такъ знакомыя намъ слова: „Горе ихъ въ томъ, что они не знаютъ Россіи, и Россія не знаетъ ихъ“. Если и теперь еще наша народная масса живетъ какъ бы на другомъ берегу отъ насъ, и все еще плохой перевозъ, да при томъ еще черезъ широкую рѣку, соединяетъ съ нимъ насъ, культурныхъ людей, то во сколько же разъ глубже, непроходимѣе была въ 60-хъ годахъ та пропасть, которая отдѣляла прямыхъ наслѣдниковъ нашихъ русскихъ „гегельянцевъ“ отъ только-что и то еще только формально выведеннаго изъ вѣкового рабства простого русскаго народа.

Вѣдь, съ чѣмъ же другимъ могли подойти къ этому едва просыпающемуся народу его восторженные поклонники, какъ не съ тѣми же западными отвлеченными идеями о свободѣ, о прогрессѣ, о служеніи народу, которыя они, подобно Щигровскому Гамлету, вычитали изъ книжекъ оригинальныхъ или переводныхъ? Гдѣ же, когда и какъ могли эти любвеобильные и наивные руководители освобожденнаго народа изучить его жизнь, его характеръ, его нужды, когда и по своему общественному положенію, и по характеру образованія, и по своимъ взглядамъ, стремленіямъ и привычкамъ они совершенно расходились съ нимъ, — это во-первыхъ; а во-вторыхъ, самое рабское положеніе-то народа почти не давало возможности точно опредѣлить дѣйствительныя, настоящія его нужды, не изъ книжекъ почерпаемыя, а вытекающія изъ самой живой народной жизни. И. С. Тургеневъ въ своихъ письмахъ говоритъ по этому поводу: „Вѣдь, существуетъ полнѣйшее несходство вкусовъ и идеаловъ крестьянина и его непризваннаго руководителя и обожателя всего народнаго. При настоящихъ условіяхъ мужикъ и политикъ-народникъ прямо не поймутъ другъ друга: это два существа двухъ совершенно различныхъ міровъ“. Но мечтатели-руководители и влюбленные въ своего питомца — простого русскаго мужика восторженные народолюбцы не хотѣли, а вѣрнѣе—и не могли этого знать: переполненные своими туманными идеалами, охваченные тѣмъ представленіемъ о русской народной жизни, которое рисовало имъ ихъ развитое на отвлеченныхъ соціальныхъ идеяхъ воображеніе, они съ ревностью и настойчивостью, достойными лучшей участи, спѣшили къ народу и „въ народъ“,—какъ тогда говорили, —чтобы самоотверженно отдать ему всѣ свои силы, всѣ свои знанія, свою душу, свое сердце, всего себя. Что изъ всего этого выходило, намъ покажетъ „Новь“—И. С. Тургенева, къ которой мы теперь и переходимъ.

Сдѣлаемъ сначала два, такъ сказать, предупредительныхъ замѣчанія.

Первое замѣчаніе заключается въ слѣдующемъ. На цѣломъ рядѣ произведеній И. С. Тургенева мы успѣли доста-

точно убѣдиться, между прочимъ, въ томъ, что онъ тщательно слѣдилъ за всѣми вновь зарождавшимися теченіями среди русской образованной молодежи и наиболѣе характерныя, по его мнѣнію, струи этого теченія заносилъ въ свою поэтическую лѣтопись. Въ нашемъ поэтѣ все болѣе и болѣе крѣпло, опредѣлялось и, такъ сказать, просилось наружу свое, выработанное путемъ долгихъ, серьезныхъ художественныхъ наблюденій воззрѣніе на истинныя задачи русскаго культурнаго общества по отношенію къ народу; многолѣтняя работа его художественнаго творчества все болѣе и болѣе освѣщалась слѣдующимъ идеаломъ, который онъ страстно желалъ видѣть осуществленнымъ въ самой русской жизни: „Воспитать въ народѣ сознательную потребность гражданственныхъ благъ, изъ стихійной косной массы превратить его въ мыслящее человѣческое общество и достигнуть этого упорнымъ мирнымъ трудомъ, безграничнымъ терпѣніемъ, незамѣтной, менѣе всего героической работой, въ основѣ которой должна быть положена забота распространить просвѣщеніе“ — вотъ идеалъ Тургенева, — и мы чувствовали присутствіе этого идеала во всѣхъ его общественныхъ романахъ и повѣстяхъ. Русское общество, и въ особенности молодая его часть, раздражаясь отрицательнымъ изображеніемъ культурнаго русскаго человѣка въ каждомъ вновь выходившемъ произведеніи И. С. Тургенева, какъ бы не хотѣла понять этого идеала, а это, конечно, раздражало поэта, — и вотъ онъ, послѣ долгаго терпѣнія, захотѣлъ начистоту высказаться, пользуясь привычной для него формой общественной повѣсти. Разбираемая нами „Новь“ и имѣетъ именно это, такъ сказать, практическое назначеніе. Не художественные образы волновали поэта, когда онъ писалъ эту повѣсть, а скорѣе желаніе ясно, опредѣленно и рѣшительно высказать свой взглядъ на тѣ явленія русской общественной жизни, которыя онъ считалъ наиболѣе характерными для своей эпохи. Не живые художественные образы вели за собою, невольно, какъ бы сами собой приводили къ извѣстному выводу, къ извѣстному взгляду на теченіе общественной жизни, а именно этотъ заранѣе строго сложившійся и вполнѣ созрѣв-

шій взглядъ подчинялъ себѣ эти художественные образы, которые, такимъ образомъ, оказывались какъ бы съ умысломъ подобранными,—съ единственной заботой о томъ, чтобы они непремѣнно выражали собою взглядъ автора на интересующія его общественныя явленія.

Другое замѣчаніе необходимо вытекаетъ изъ только что сказаннаго. Разбирая „Новь“, вовсе не приходится говорить объ этой повѣсти, какъ о цѣльномъ законченномъ и именно художественномъ произведеніи,—и это чувствовалось съ первыхъ же минутъ появленія „Нови“ въ свѣтъ. И. С. Тургеневъ говоритъ въ одномъ изъ своихъ писемъ: „Я никогда не подвергался такому единодушному порицанію въ журналахъ“. И это совершенно заслуженно,—прибавимъ мы отъ себя: все произведеніе, и въ особенности главный типъ—Нежданова положительно производитъ впечатлѣніе чего-то искусственно подобраннаго или, по крайней мѣрѣ, до того исключительнаго, что не представляется никакой возможности смотрѣть на него, какъ на выраженіе преобладающаго общественнаго типа. Невольно чувствуется, что художникъ не воспроизводилъ безпристрастно жизнь такою, какою она есть, чтобы она сама, независимо отъ автора, говорила сама за себя и дѣйствительно раскрывала бы передъ нами господствующія въ ней теченія и окончательно сложившіеся типы новыхъ людей;—нѣтъ, видимо авторъ съ нетерпѣливой горячностью старается прежде всего высказать свой взглядъ,—и не только высказать, а главное—убѣдить, и съ этой именно цѣлью преднамѣренно выбираетъ изъ несущейся мимо него жизни только то, что болѣе подходитъ къ его преднамѣренной цѣли, при чемъ и это-то преднамѣренно отобранное онъ къ тому же еще освѣщаетъ именно такъ, какъ ему это необходимо для большей убѣдительности высказываемаго имъ взгляда. Обдумывая,—именно „обдумывая“, а не создавая, свою „Новь“, И. С. твердо рѣшилъ высказать, наконецъ, точно, опредѣленно и по-возможности убѣдительно слѣдующій свой взглядъ: „хожденіе въ народъ“ есть не больше, не меньше, какъ трагикомическій фарсъ; стремленіе къ героической преобразовательной роли есть не что

иное, какъ преступленіе передъ духомъ и потребностями времени: нужна мелкая, темная и даже жизненная работа, т. е. самая будничная и незамѣтная, вродѣ обученія мужика грамотѣ, основанія больницъ и т. п. И вотъ къ этой основной мысли, взгляду авторъ подбираетъ иллюстраціи,—и въ повѣсти ихъ главнымъ образомъ двѣ: *Неждановъ*, долженствующій, какъ теперь видимъ, доказать, что хожденіе въ народъ—трагикомическій фарсъ,—и *Соломинъ*, имѣющій своимъ назначеніемъ наглядно разъяснить собою русскому культурному человѣку, въ чемъ заключается его настоящее дѣло, его истинныя обязанности передъ народомъ. А разъ подбираются иллюстраціи, то, конечно, чѣмъ онѣ ярче, чѣмъ сильнѣе бьютъ въ глаза тѣми своими сторонами, на которыя, по замыслу ихъ автора, должно быть привлечено главное вниманіе зрителя, тѣмъ лучше. И именно такъ поступаетъ Тургеневъ: въ герои „хожденія въ народъ“ онъ выбираетъ именно Нежданова, человѣка съ необыкновенно тонкой, художественной организаціей, существо почти женственное, до болѣзненности впечатлительное и въ заключеніе всего безнадежно заѣдаемое рефлексіей. Опрятный до щепетильности, брезгливый до гадливости, онъ силился быть циничнымъ и грубымъ на словахъ; идеалистъ по натурѣ, страстный и цѣломудренный, смѣлый и робкій въ одно и то же время, онъ, какъ позорнаго порока, стыдился и этой робости своей и своего цѣломудрія, и считалъ долгомъ смѣяться надъ идеаломъ. И вотъ на такого-то человѣка,—вдобавокъ еще поставленнаго въ болѣе или менѣе исключительное по отношенію къ окружающему обществу положеніе незаконнаго сына, насильственно выброшеннаго изъ соотвѣтствующей ему общественной аристократической сферы,—возлагается бремя, именно бремя, тяжелое, неудобоносимое и совершенно несоотвѣтствующее ни силамъ, ни врожденнымъ склонностямъ, ни нравственной и умственной подготовкѣ: авторъ заставляетъ Нежданова быть нигилистомъ, въ не менѣе радикальномъ смыслѣ нежели Базаровъ,—да еще продѣлать трагикомическій фарсъ „хожденія въ народъ“, и все это съ тою цѣлью, чтобы на себѣ наглядно и блиста-

тельно доказать „банкротство молодой Россіи“, какъ удачно выражается одинъ изъ нашихъ молодыхъ критиковъ. Здѣсь, какъ видимъ, нѣтъ мѣста творчеству, а поэтому мы и не можемъ говорить о Неждановѣ, какъ о художественномъ типѣ, точно такъ же, какъ и о Соломинѣ.

Но все это нисколько намъ не мѣшаетъ воспользоваться въ повѣсти тѣмъ, что имѣетъ ближайшее отношеніе къ нашей задачѣ,—фактами, характеризующими собою новое теченіе въ общественной жизни, новое направленіе и, такъ сказать, приложеніе общественной мысли.

Остановимся сначала на самомъ заглавіи повѣсти, вызвавшемъ въ свое время въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже превратное толкованіе. Авторъ озаглавилъ свою повѣсть словомъ „Новь“. Въ прямомъ, буквальномъ смыслѣ, на языкѣ нашихъ обыкновенныхъ сельскихъ хозяевъ, этимъ именемъ называется обыкновенно новая, только-что призываемая къ дѣятельной жизни земля. И совершенно согласно именно съ этимъ смысломъ, И. С. и ставитъ эпиграфомъ къ своей повѣсти слѣдующія слова изъ записокъ какого-то хозяина агронома: „Поднимать слѣдуетъ новь не поверхностно-скользящей сохой, но глубоко забирающимъ плугомъ“. Раскрывая эту аллегорію, мы получаемъ слѣдующее: новь, т. е. новая, только-что призванная къ дѣятельной жизни земли, есть не что иное, по смыслу повѣсти, какъ только-что освобожденный, только-что призываемый къ дѣятельной жизни простой русскій народъ; пахари — это тѣ страстно, беззавѣтно, безъ всякихъ необходимыхъ и при томъ покойно-здравыхъ обсужденій отдающіеся дѣлу служенія народу мечтатели-идеалисты, которые, по выраженію автора, разыгрываютъ гибельный и для себя и для обожаемаго ими народа трагикомическій фарсъ; поверхностно скользящая соха—это тотъ легкій, съ точки зрѣнія практической дѣятельности, поверхностный, отвлеченно-идеальный запасъ средствъ, съ которыми пахари-народолюбцы выступаютъ на облюбованную ими новь; наконецъ, глубоко забирающій плугъ—это именно та мелкая, терпѣливая, незамѣтная, негероистическая, но зато жиз-

ненная, именно благотворная работа, къ которой такъ презрительно относятся трагикомическіе народолюбцы.

К. Чернышовъ.

***

*) Въ „Нови“ Тургеневъ вернулся къ темѣ, уже разработанной въ „Дымѣ“—къ сопоставленію двухъ противоположныхъ враждебныхъ общественныхъ слоевъ. Здѣсь только они встрѣчаются уже не въ заграничномъ курортѣ, а непосредственно соприкасаются на родной почвѣ. Съ одной стороны чиновная и помѣщичья Россія, олицетворенная въ Сипягинѣ и Коломѣйцевѣ, съ другой разнообразные центробѣжные элементы, набирающіеся изъ рядовъ общественныхъ классовъ. „Новь“ посвящена изображенію эпохи активной пропаганды и хожденія въ народъ, послѣдовавшей за временемъ громкихъ фразъ и рѣзкой непримиримости на словахъ. Строго говоря, и здѣсь прямая борьба между враждующими сторонами происходитъ больше на словахъ, и вся активная дѣятельность бунтарей сводится къ жалкой попыткѣ поднять мужиковъ какой-то саратовской деревни и не менѣе жалкой комедіи съ переодѣваніемъ, разыгранной пропагандистомъ Неждановымъ, когда онъ задумалъ „опроститься“, то есть жить и одѣваться по мужицкому. Развязка, правда, не столь безобидна, какъ въ прежнихъ тургеневскихъ романахъ, но такъ какъ она обусловливается появленіемъ deus ex machina въ образѣ полиціи, то усмотрѣть въ этомъ исходъ борьбы между противоположными классами или партіями довольно трудно. Нельзя не замѣтить, что Тургеневъ свою тему разработалъ очень мелко, далеко не захвативъ общественнаго движенія 70-хъ годовъ во всей его глубинѣ, ни съ соціальной, ни даже просто съ психологической точки зрѣнія. Правда, въ своемъ эпиграфѣ онъ самъ говоритъ, что „Новь“ можно поднимать не мелкою сохою, а лишь глубоко захватывающимъ плугомъ. Но вопросъ не исчерпывается вѣдь,

*) К. Головинъ. „Русскій романъ и русское общество“. 1897 г.

такъ сказать, технической стороной дѣла, то-есть пригодностью даннаго агитатора къ своей революціонной роли. Движеніе 70-хъ годовъ, какъ бы на него ни смотрѣли, было въ русской жизни очень крупнымъ явленіемъ, и если Тургеневъ поставилъ себѣ задачей раскрыть въ художественныхъ образахъ суть этого движенія, онъ цѣли своей не достигъ. Ни сторонники хожденія въ народъ, ни въ особенности ихъ преемники террористы не такъ пусты, дряблы и ничтожны, какъ студентъ Неждановъ, полупомѣшанный дворянинъ Маркеловъ и приставшій къ нимъ купчикъ Голушкинъ.

И дѣло, затѣянное нашими бунтарями, было посерьезнѣе какой-нибудь одинокой вспышки въ черноземномъ селѣ. Неждановъ — очень знакомая намъ фигура. Это все прежній идеалистъ, прикрывающій отъ собственныхъ глазъ слабонервный энтузіазмъ подъ шумихою матеріалистическихъ фразъ. Это вѣчный герой шестидесятниковъ-пессимистовъ, только облагороженный подъ перомъ Тургенева, и облагороженный, кстати сказать, не только въ отношеніи манеръ, но и по самому рожденію. Неждановъ — незаконный сынъ какого-то высокопоставленнаго лица. И здѣсь Тургеневъ, сознательно или нѣтъ, пошелъ по довольно-таки избитымъ слѣдамъ Шпильгагена и романистовъ молодой Германіи, такъ любившихъ выставлять въ роли коноводовъ революціи незаконныхъ отпрысковъ знати. По натурѣ своей онъ—запоздалый романтикъ, по характеру—совершенное ничтожество. Все поведеніе его въ помѣстьи Сипягина, гдѣ онъ безъ причины волнуется, чувствуетъ себя оскорбленнымъ безъ повода, откуда онъ безъ всякой надобности совершаетъ тайное бѣгство,— все его поведеніе—верхъ безсмыслія. А когда, поселившись на фабрикѣ вмѣстѣ съ Маріанной, онъ хочетъ себя передѣлать въ мужика, потомъ устраиваетъ неудачную попытку возстанія, окончившуюся тѣмъ, что мужики его подпоили въ трактирѣ,—онъ жалокъ и смѣшонъ до послѣдней степени.

И не искупаетъ всего этого и послѣдняя совершенная имъ нелѣпость—безпричинное самоубійство. Неждановъ отъ своей трагической смерти не выигрываетъ нисколько, но зато другія два главныхъ лица — Маріанна и Соломинъ получаютъ

вслѣдствіе этого въ высшей степени антипатичный оттѣнокъ черствости.

Маріанна—самая неудачная изъ всѣхъ женскихъ фигуръ Тургенева, и всѣ его старанія возбудить къ ней интересъ не приводятъ ни къ чему. Она озлобленная, желчная и вдобавокъ сухая натура, почему-то мстящая всѣмъ за то, что ея отца—администратора-взяточника—постигла заслуженная кара. Маріанна не только поставлена въ фальшивое положеніе у своей тетки Валентины Михайловны, фальшь есть въ ней самой, въ основномъ тонѣ, если можно такъ выразиться, ея природы, фальшь, отзывающаяся на всемъ, что говоритъ она и думаетъ. И хотя она и пристаетъ съ энтузіазмомъ къ революціонному кружку, чувствуешь какъ-то, что и къ этому дѣлу у нея не лежитъ сердце, именно потому, что сердца-то у нея никакого нѣтъ. А когда, послѣ смерти Нежданова, она хладнокровно переноситъ свою любовь на Соломина и уѣзжаетъ съ нимъ на уральскій заводъ, читателю невольно сдается, что тамъ они благоразумно отложатъ попеченіе о бредняхъ и заведутъ себѣ вдвоемъ прочную домовитость.

Соломинъ былъ третьею попыткою Тургенева создать положительный типъ въ духѣ новыхъ требованій, и эта фигура вышла у него чѣмъ-то вродѣ рѣшенія отвлеченной задачи: какъ найти равнодѣйствующую между справедливымъ негодованіемъ, вызываемымъ современными порядками, и очевидной невозможностью эти порядки разомъ замѣнить другими. Уже много лѣтъ сряду Тургеневъ пересталъ непосредственно наблюдать за русской жизнью. Его нелюбовь къ ея складу сдѣлалась чѣмъ-то столь же теоретичнымъ, какъ и его представленіе о людяхъ, силившихся этотъ складъ ниспровергнуть. При такой постановкѣ задачи, немудрено, что и рѣшеніе ея вышло отвлеченнымъ, что плоти и крови не чувствуется подъ блѣднымъ обликомъ Соломина,—этого представителя умѣренности и аккуратности въ революціонномъ дѣлѣ. Если въ этой китайской тѣни есть живая струна, то она какъ разъ сводится къ умѣренности и аккуратности, то есть къ чему-то очень похожему на кулачество. И если

въ Соломинѣ надо видѣть настоящій плугъ русской нови, то оборони ее Господь отъ такихъ плуговъ.

Не менѣе фальшивыми вышли и представители другого лагеря,—либеральный сановникъ Сипягинъ и представитель самой рѣшительной помѣщичьей реакціи—Коломѣйцевъ. Тургеневу захотѣлось одновременно показать несостоятельность офиціальнаго либерализма и уродливость помѣщичьей реакціи, и онъ вывелъ передъ нами лицемѣрнаго фанфарона съ одной стороны въ лицѣ Сипягина и комичнаго по своему дѣланному задору Коломѣйцева—съ другой. Въ результатѣ, вмѣсто живыхъ лицъ, оказались двѣ карикатуры, еще гораздо болѣе выдуманныя, чѣмъ генералы въ „Дымѣ“. Нельзя объяснить себѣ, какимъ образомъ такой всегда тонкій наблюдатель, какъ Тургеневъ, могъ надѣлить обоихъ представителей охранительныхъ началъ столькими нелѣпыми чертами, ничего общаго съ дѣйствительностью не имѣющими. Бываютъ, конечно, и сановники, выставляющіе на показъ небывалый либерализмъ, и помѣщики, хвастающіеся дикостью своихъ взглядовъ. Но и то и другое никогда не встрѣчается какъ разъ въ томъ сочетаніи мнимо бытовыхъ свойствъ, какими Тургеневу было угодно надѣлить эти двѣ фигуры. Трудно допустить въ самомъ дѣлѣ, чтобы высокопоставленное административное лицо испугалось мальчишескаго поступка Нежданова и въ своей растерянности подняло бы на ноги всѣ губернскія власти. Незачѣмъ въ особенности было заставлять его выдѣлывать цѣлый рядъ совершенно ненужныхъ глупостей. Настоящій сановникъ не отправился бы на квартиру Нежданова, не сталъ бы лебезить передъ нимъ, упрашивая поступить въ учителя къ своему восьмилѣтнему сыну. Не сталъ бы онъ также унижаться передъ Соломинымъ и въ день рожденія сына отправляться въ сельскую церковь въ камергерскомъ мундирѣ, а потомъ за обѣдомъ произносить витіеватый спичъ, заканчивающійся латинскимъ словомъ „laboremus“. Коломѣйцевъ, въ свою очередь, вовсе не принадлежитъ къ той средѣ захолустныхъ помѣщиковъ, отъ которыхъ можно, пожалуй, услышать тѣ дикія рѣчи, которыя произноситъ онъ за обѣдомъ у Сипягина. Самъ Тургеневъ

представляетъ его какъ человѣка образованнаго и свѣтскаго. Когда, напримѣръ, Коломѣйцевъ съ негодованіемъ разсказываетъ, въ видахъ обличенія земства, что проэкзаменованные имъ школьники не сумѣли отвѣтить на вопросъ, что есть „пиѳикъ“ и что есть „строфокамилъ“,—эта выходка не вызываетъ даже смѣха, такъ какъ ни одному реакціонеру и въ голову не придетъ задавать дѣтямъ столь нелѣпые вопросы. И съ какой стати приведенъ въ романѣ разсказъ Коломѣйцева о его знакомствѣ съ королемъ Миланомъ Обреновичемъ и заставилъ его авторъ перебѣжать черезъ дорогу, чтобы подойти подъ благословеніе случайно проходившаго сельскаго священника? Казалось бы, такой умный человѣкъ, какъ Тургеневъ, могъ подыскать болѣе типичныя черты, чтобы охарактеризовать крайнюю правую русскаго дворянства и несовсѣмъ искреннихъ въ своемъ либерализмѣ сановниковъ. Все, что онъ поставилъ имъ въ вину, въ томъ числѣ и плебейское происхожденіе Коломѣйцева—Тургеневъ вздумалъ почему-то произвести его по прямой линіи отъ коломенскаго огородника—свидѣтельствуетъ объ одномъ лишь,—о крайнемъ раздраженіи художника противъ нашихъ доморощенныхъ консерваторовъ, а при раздраженіи удары рѣдко бываютъ мѣткими.

Можно было бы предположить такимъ образомъ, что въ „Нови“ Тургеневъ рѣшительно перешелъ на сторону прогрессивнаго лагеря, до бунтарей включительно. Но и такое заключеніе было бы опрометчивымъ. И въ своихъ симпатіяхъ къ радикаламъ Тургеневъ и здѣсь не перестаетъ быть лицемѣрнымъ. Не говоря уже о полномъ ничтожествѣ его героя, Нежданова, о сумасбродствѣ Маркелова,—и всѣ второстепенные представители „безымянной Роси“, революціонный хоръ, окружающій Нежданова, обрисованы съ такою же хоть и не столь явной враждебностью, какъ кружокъ Губарева въ „Дымѣ“. Это сатира подъ сурдинку, положимъ, но все-таки сатира. И такимъ образомъ еще въ большей степени, чѣмъ въ „Дымѣ“, между двумя крайностями русскаго общества Тургеневъ ничего не видитъ, на чемъ можно было бы остановиться съ сочувствіемъ. Тамъ по крайней мѣрѣ

былъ Литвиновъ, блѣдный положимъ, но, все-таки, разумный Литвиновъ. Здѣсь и этого нѣтъ. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, признать за надежду Россіи сочиненнаго авторомъ русскаго оппортуниста Соломина.

К. Головинъ.

Критика дѣйствующихъ лицъ „Нови“ каждаго въ отдѣльности.

Нежданов ъ.

*) Нѣкоторые проницательные рецензенты усмотрѣли въ Неждановѣ тоже одного изъ представителей „Нови“, героя романа. Утвердившись на этой точкѣ зрѣнія, имъ нетрудно было показать, что въ этомъ героѣ нѣтъ рѣшительно ничего героическаго ни съ положительной ни съ отрицательной стороны, что это не болѣе, какъ одинъ изъ тѣхъ Гамлетовъ Щигровскаго уѣзда, которые, подъ тою или другою фирмою, неизмѣнно воспроизводились Тургеневымъ въ большей части его прежнихъ произведеній, и что поэтому видѣть въ немъ представителя современнаго молодого поколѣнія можетъ только человѣкъ, живущій старческими воспоминаніями и созерцающій любезное отечество изъ „прекраснаго далека“.

Все это было бы совершенно справедливо, если бы только дѣйствительно можно было доказать, что точка зрѣнія рецензентовъ на Нежданова есть въ то же время и точка зрѣнія Тургенева. Но изъ романа этого никакъ нельзя вывести. Напротивъ, устами „резонера“ Паклина, авторъ самымъ категорическимъ образомъ заявляетъ, что единственнымъ представителемъ „Нови“, настоящей нови, онъ считаетъ Соломина. Зачѣмъ же, въ такомъ случаѣ, понадобился ему Нежданов?

Достаточно самаго бѣглаго просмотра романа, чтобы отвѣчать на этотъ вопросъ. Нежданов, какъ воплощеніе „души

*) П. Никитинъ (П. Ткачовъ). „Дѣло“ 1877 г., № 2.

неуравновѣшенной“, былъ ему необходимъ для вящаго уясненія и болѣе рельефнаго оттѣненія всѣхъ достоинствъ и добродѣтелей „уравновѣшенной души“ Соломина. И дѣйствительно, безъ сопоставленія этихъ двухъ личностей невозможно сдѣлать вѣрной оцѣнки героя романа. Авторъ, повидимому, глубоко убѣжденъ, что изъ этого сопоставленія всякій читатель выведетъ именно то заключеніе, которое вывелъ Паклинъ, и отдастъ безусловное предпочтеніе „сѣрому, простому, хитрому Соломину“ передъ бѣлымъ, совсѣмъ не хитрымъ и не простымъ Нежда новымъ...

Тургеневъ сдѣлалъ Нежданова незаконнымъ сыномъ, рожденнымъ отъ преступной связи нѣкоего князя Г., „богача, генералъ-адъютанта“, и гувернантки княжескихъ дочерей, „хорошенькой институтки“, умершей въ самый день родовъ. Этою-то „незаконностью“ рожденія своего героя авторъ и старается объяснить всѣ странности и противорѣчія его характера. „Фальшивое положеніе, въ которое онъ (т.-е. Нежда новъ) былъ поставленъ съ самаго дѣтства, говоритъ авторъ,—развило въ немъ обидчивость и раздражительность, но прирожденное великодушіе не давало ему сдѣлаться подозрительнымъ и недовѣрчивымъ. Тѣмъ же самымъ фальшивымъ положеніемъ Нежданова объяснились и противорѣчія, которыя сталкивались въ его существѣ. Опрятный до щепетильности, брезгливый до гадливости, онъ силился быть циничнымъ и грубымъ на словахъ; идеалистъ по натурѣ, страстный и цѣломудренный, смѣлый и робкій въ одно и то же время, онъ, какъ позорнаго порока, стыдился и этой робости своей и своего цѣломудрія, и считалъ долгомъ смѣяться надъ идеалами. (Надъ какими идеалами? Ужъ, конечно, не надъ тѣми, которые онъ самъ исповѣдывалъ и во имя которыхъ дѣйствовалъ. Да и возможно ли представить себѣ мыслящаго человѣка, какимъ авторъ представляетъ Нежданова, который бы смѣялся надъ идеалами вообще! Вѣдь, это было бы чистымъ абсурдомъ! И Тургеневъ, очевидно, упомянулъ здѣсь объ идеалахъ просто ради красиваго словца, въ интересахъ риторическаго округленія фразы). Сердце онъ имѣлъ нѣжное и чуждался людей; легко озлоблялся и ни-

когда не помнилъ зла. Онъ негодовалъ на своего отца за то, что тотъ пустилъ его „по эстетикѣ“ (т.-е. по историко-философскому факультету; гораздо правильнѣе было бы сказать: „по классической части“); онъ явно, на виду у всѣхъ, занимался одними политическими и соціальными вопросами, и втайнѣ наслаждался художествомъ, поэзіей, красотою во всѣхъ ея проявленіяхъ, даже самъ писалъ стихи. Онъ тщательно пряталъ тетрадку, въ которую онъ заносилъ ихъ, и изъ петербургскихъ друзей только Паклинъ, и то по свойственному ему чутью, подозрѣвалъ ея существованіе. Ничто такъ не обижало, не оскорбляло Нежданова, какъ малѣйшій намекъ на его стихотворство, на эту его, какъ онъ полагалъ, непростительную слабость. По милости воспитателя—швейцарца, онъ зналъ довольно много фактовъ и не боялся труда; онъ даже охотно работалъ—нѣсколько, правда лихорадочно и непослѣдовательно. Товарищи его любили, ихъ привлекала его внутренняя правдивость, доброта и чистота; не легко ему жилось. Онъ самъ глубоко это чувствовалъ и сознавалъ себя одинокимъ, несмотря на привязанность друзей“.

И все это происходило будто бы оттого, что онъ былъ незаконнымъ сыномъ! И нашлись же, вѣдь, наивные рецензенты, которые повѣрили автору на слово, и тоже объясняютъ характеръ Нежданова незаконнорожденностью! Да если бы это дѣйствительно было такъ, какой же бы тогда интересъ могъ представлять для насъ господинъ Неждановъ, и какой бы смыслъ могло имѣть его сопоставленіе съ Соломинымъ? Ну, что же, Соломинъ—душа уравновѣшенная, Неждановъ—неуравновѣшенная, потому что первый родился въ бракѣ, второй—внѣ брака!

Не смѣшное ли это объясненіе? а между тѣмъ, согласитесь, съ точки зрѣнія этихъ рецензентовъ, оно было бы вполнѣ логично. Разумѣется, въ этомъ виноватъ прежде всего самъ Тургеневъ. Вѣрно понявъ и мастерски очертивъ характеръ Нежданова, онъ не сумѣлъ объяснить,—впрочемъ, пожалуй, это было и не его дѣло,—его происхожденія. Причину совершенно случайную и совсѣмъ неважную онъ принялъ за главную, за самую существенную. Очевидно, онъ

повторилъ здѣсь ту же ошибку, въ которую раньше его впалъ Достоевскій въ послѣднемъ своемъ романѣ „Подростокъ“. Достоевскій точно такимъ же образомъ объясняетъ странности и противорѣчія своего „подростка“ помѣсью благородной дворянской крови съ неблагородной кровью плебеевъ! Какъ будто ужъ и въ самомъ дѣлѣ между дворянской и плебейской кровью существуетъ такое рѣзкое различіе! И какъ будто гувернантка въ княжескомъ домѣ, „хорошенькая институтка“, такъ сильно отличалась по своимъ внутреннимъ качествамъ отъ своего сіятельнаго патрона, что отъ ея союза съ нимъ непремѣнно долженъ былъ произойти горькій плодъ, преисполненный всяческихъ противорѣчій. Нѣтъ, незаконность неждановскаго рожденія—это чистая случайность,—случайность, рѣшительно ничего необъясняющая.

П. Никитинъ (П. Ткачовъ).

* * *

*) Болѣе другихъ выдержаннымъ лицомъ въ романѣ показался намъ самъ Неждановъ, хотя, собственно говоря, это довольно фальшивое лицо—фальшивое въ томъ смыслѣ, что онъ очень несовременень, что его внутренній разладъ исходитъ отъ причинъ едва ли продолжающихъ дѣйствовать среди нынѣшняго поколѣнія революціонеровъ. Въ самомъ дѣлѣ, очень странно, что Неждановъ постоянно называетъ себя эстетикомъ, и что опыты хожденія въ народъ мучительны для него потому, что оскорбляютъ эстетическіе элементы его натуры. „И вотъ, я иду въ этотъ народъ... пишетъ онъ къ Силину.—О, какъ я проклинаю тогда эту нервность, чуткость, впечатлительность, брезгливость, все это наслѣдіе моего аристократическаго отца! Какое право имѣлъ онъ втолкнуть меня въ жизнь, снабдивъ меня органами, которые несвойственны средѣ, въ которой я долженъ вращаться? Создалъ птицу да и пихнулъ ее въ воду? Эстетика—да въ грязь? демократа,

*) Статья А. (В. Г. Авсѣенко). „Русскій Вѣстникъ“ 1877 г., № 2.

народолюбца, въ которомъ одинъ запахъ этой поганой водки — зелена вина — возбуждаетъ тошноту, чуть не рвоту?“ Такая натура, если угодно, не выходитъ изъ предѣловъ возможнаго, но она очень индивидуальна, а мы думаемъ, что слишкомъ индивидуальныя, исключительныя, случайныя личности менѣе годятся въ герои романа, чѣмъ характеры родовые, типовые, обобщающіе въ себѣ индивидуальности извѣстнаго поколѣнія. Притомъ, слишкомъ явно бросается въ глаза родство Нежданова съ прежними героями г. Тургенева — съ Рудинымъ, съ Гамлетомъ Щигровскаго уѣзда, съ Чулкатуринымъ. Это все то же раздвоенное, лишнее, „вывихнутое“ существо, какое мы знаемъ изъ литературы сороковыхъ годовъ и въ особенности отъ самого г. Тургенева — существо, обреченное томиться и страдать отъ противорѣчія грубой русской дѣйствительности съ идеалами, воспринятыми изъ европейской цивилизаціи. Безъ сомнѣнія, люди, болѣющіе внутреннимъ разладомъ есть и въ современномъ поколѣніи; но, во-первыхъ, идеалы ихъ значительно иные, а во-вторыхъ, дѣйствительность ненавистна имъ, конечно, не потому, что она слабо насыщена эстетическими элементами. Поэтому намъ кажется, что выраженіе „романтикъ реализма“, какимъ Паклинъ опредѣляетъ Нежданова, въ сущности есть только фраза. Но какъ характеръ случайный, исключительный, Нежданов до конца выдержанъ въ очень вѣрномъ тонѣ, хотя этотъ тонъ и отзывается стариной. Очень вѣрно и то, что въ своихъ стихахъ онъ колеблется, кому подражать — Пушкину или Добролюбову; и то, что его смущаетъ „этотъ ужасный, преданный, не противящійся взглядъ“ Маріанны, въ которомъ онъ читаетъ: „возьми-молъ меня, но *помни!*“; и то, что, задумавъ покончить съ собою, онъ доставляетъ себѣ болѣзненное удовольствіе поручить любимую дѣвушку тому самому Соломину, къ которому онъ ревнуетъ (эти черты, какъ вѣроятно припоминаютъ читатели, прямо повторены изъ прежнихъ, самыхъ раннихъ повѣстей г. Тургенева); и наконецъ, то, что, не вѣря ни въ революцію, ни въ народъ, ни въ свои личныя силы, онъ въ послѣдній разъ словно въ горячечномъ бреду кидается въ пропаганду, сознавая всю без-

смысленность своихъ поступковъ, но не умѣя противостоять неодолимой потребности—какъ-нибудь, однимъ разомъ, поскорѣе сжечь свою ненужную жизнь. Онъ сомнѣвается въ чистотѣ того огня, на которомъ собирается свершить это самосжиганіе, но онъ дошелъ уже до такого состоянія, что ему все равно—лишь бы огонь жегъ сильнѣе и скорѣе.

Впрочемъ, такъ какъ авторъ стоитъ къ Нежданову въ отношеніи скорѣе отрицательномъ, чѣмъ положительномъ, онъ, очевидно, хочетъ показать, что такіе люди не годятся для жизни и въ особенности для дѣла революціи,—то значеніе этого лица для „идеи“ романа не особенно важно.

В. Авсѣенко.

* * *

*) Неждановъ, въ котораго увѣровала Маріанна и еще раньше, а, можетъ быть, и крѣпче еще увѣровала болѣе простая, пожалуй, даже ограниченная, но за то никогда не барствовавшая Машурина,—этотъ Неждановъ—одинъ изъ тѣхъ, по словамъ Паклина, „*внезапныхъ исцѣлителей общественныхъ ранъ*“, одинъ изъ тѣхъ „*родящихся, чай, готовыми*“, какъ выражается о Маркеловѣ Соломинъ, „*освободителей*“ русскаго народа, которые на дѣлѣ оказываются все тѣми же Щигровскими Гамлетами, т. е. продуктами тепличной среды, вообразившими чисто по книжному, будто „дѣло вѣковъ поправляется такъ легко“. Онъ уже не относится къ народу высокомѣрно-холодно, какъ когда-то Базаровъ, говорившій Аркадію: „Я возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть и который мнѣ даже спасибо не скажетъ“. Тотъ, по словамъ Базарова, „романтизмъ“, который уцѣлѣлъ въ молодомъ Кирсановѣ, составляетъ, должно быть, одну изъ существенныхъ сторонъ природы, гонимой въ окно и входящей въ дверь. Романтизмъ этотъ ожилъ въ томъ по-

*) О. Миллеръ. „Русское Богатство“ 1883 г., № 12. Также „Русскіе писатели послѣ Гоголя“. Спб. 1890 г.

колѣніи, которое явилось со своими Неждановыми. Но отношенія народа и къ этимъ, простирающимъ ему объятія, новымъ романтикамъ—всѣ тѣ же старыя, недовѣрчиво сторонящіяся и отнѣкивающіяся. „Ты, восклицаетъ Нежда новъ, невѣдомый намъ, но любимый нами всѣмъ нашимъ существомъ, всею кровью нашего сердца, русскій народъ, прими насъ не слишкомъ безучастно и научи насъ, чего мы должны ждать отъ тебя!“ Тщетная, безотзывная мольба! То то и есть, что онъ нашъ *невѣдомый*, и мы въ нашей новой роли ему невѣдомы, и поздно, слишкомъ поздно вдругъ догадались, что надобно отъ него самого научиться...

О. Миллеръ.

* * *

*) Основная черта, указанная Тургеневымъ въ Неждановѣ—насильственное, формальное втягиваніе себя въ политическую дѣятельность, тогда какъ всѣ настоящія внутреннія душевныя его сочувствія направляются къ „художеству, поэзіи и красотѣ во всѣхъ ея проявленіяхъ“—эта черта подмѣчена глубоко, вѣрно и вполнѣ опредѣляетъ сущность ихъ порывовъ и порой комическія, порой трагическія перипетіи ихъ существованія. Такого сорта люди бросаются въ революціонную, агитаторскую „работу“ не потому собственно, что страстно, неумолимо ненавидятъ „существующій порядокъ“, страстно желаютъ для массы практическихъ результатовъ свободы и благосостоянія, а больше потому, что агитаторская дѣятельность кажется имъ интересной, „занимательной“, какъ бываетъ занимателенъ романъ, то есть, въ концѣ концовъ, красивой, удовлетворяющей ихъ артистическимъ наклонностямъ.

В. Буренинъ.

* * *

**) Замѣчательную, если можно такъ выразиться, увертку Тургенева составляетъ личность Нежданова. Это — старый

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.
**) Н. Михайловскій. „Отечественныя Записки“ 1877 г., № 2. Статья, подъ названіемъ: „Записки Профана“.

тургеневскій типъ; надломленная, „вывихнутая“, раздвоенная натура, изъ „самоѣдовъ, грызуновъ, гамлетиковъ“, какъ говоритъ объ этихъ людяхъ Шубинъ въ „Наканунѣ“ (не даромъ Паклинъ называетъ Нежданова „россійскимъ Гамлетомъ“). Онъ не можетъ сдѣлать ни одного шага безъ оглядки внутрь себя. Онъ всегда идетъ не туда, куда его тянетъ, и тянетъ его не туда, куда онъ идетъ. Онъ не можетъ ничему отдаться вполнѣ—ни любви, ни дѣятельности, ни искусству. Несчастный человѣкъ, для котораго мучительная, микроскопически-тщательная копотня въ самомъ себѣ, въ собственной душѣ есть нормальное состояніе. А для того, чтобы перестать прислушиваться къ шуму въ собственныхъ ушахъ и отдаться, хотя бы на самое короткое время, какой нибудь одной мысли, нераздвоенному чувству, онъ долженъ „взвинтить“ себя, искусственно придти въ состояніе нравственнаго опьяненія! Все—старыя, знакомыя черты, анализомъ которыхъ г. Тургеневъ стяжалъ свои наиболѣе заслуженные лавры. Вдобавокъ, подобно многимъ старымъ героямъ г. Тургенева, Неждановъ пасуетъ передъ любимой женщиной, оказывается много ниже и слабѣе ея. Мотивы эти изучены г. Тургеневымъ до тонкости, и надо удивляться той виртуозности, съ которой онъ ихъ разыгрываетъ. Въ изображеніи этихъ людей за г. Тургеневымъ всегда признавалась, кромѣ мастерства, еще одна особенная заслуга: въ нихъ онъ „поймалъ моментъ“ ни дальше ни ближе, какъ приснопамятныхъ сороковыхъ годовъ. Съ нихъ именно начинаются права и обязанности г. Тургенева, какъ ловителя моментовъ, и каковы бы ни были его послѣдующіе уловы, но этотъ первый былъ очень удаченъ... Само собою разумѣется, что типичнѣйшіе представители интеллигенціи сороковыхъ годовъ не могутъ быть такими же типичнѣйшими представителями семидесятыхъ: слишкомъ многое измѣнилось на Руси за эти три, четыре десятка лѣтъ. Слова нѣтъ, Неждановы возможны и теперь и даже навѣрное существуютъ. Но не все существующее можетъ занять центральное положеніе въ политическомъ романѣ. Скептикъ, да еще прирожденный скептикъ, не вѣрующій, здѣсь особенно неумѣстенъ, потому что онъ—

исключеніе. Можно, пожалуй, и исключеніемъ удовольствоваться, съ тѣмъ однако условіемъ, чтобы въ немъ какъ-нибудь отразилось общее правило. Напримѣръ, можно себѣ представить картину всемірнаго потопа, въ которой самаго потопа нѣтъ, а есть только обитатели спасеннаго ковчега. Но въ фигурахъ этихъ спасенныхъ должны отразиться, кромѣ радости спасенія, и ужасъ пережитой опасности, и ужасъ воспоминаній о погибшихъ, и сочувствіе жертвамъ, павшимъ на глазахъ спасенныхъ, и много еще другихъ чувствъ. Возможна ли подобная картина въ дѣйствительности, доступна ли она человѣческимъ силамъ?—пусть судятъ спеціалисты. Но, во всякомъ случаѣ, у г. Тургенева нѣтъ ничего подобнаго. Его Неждановъ—совсѣмъ исключительное исключеніе. Мы видимъ, что люди гибнутъ. Мы хотимъ знать, откуда у нихъ берется вѣра, гдѣ источникъ силы этой вѣры? Является г. Тургеневъ и съ граціозно-благосклоннымъ жестомъ говоритъ: я вамъ это съ удовольствіемъ покажу. И затѣмъ все наше вниманіе сосредоточиваетъ на душевныхъ мукахъ человѣка невѣрующаго, случайно попавшаго въ водоворотъ! Но мы сами виноваты, что хоть на минуту подумали, что онъ можетъ дать что-нибудь иное. Однако, виноватъ тоже, и больше даже нашего виноватъ, самъ г. Тургеневъ. Какъ психологическій типъ, гамлетики ему фактически знакомы и нравственно близки: онъ съ ними росъ. Онъ перепробовалъ, для изображенія различныхъ ихъ оттѣнковъ, много разныхъ обстановокъ. Что мудренаго, если онъ захотѣлъ окружить этотъ излюбленный имъ типъ обстановкой „Нови“? Но надо было сдѣлать это откровенно. Надо было оставить Остродумовыхъ, Машуриныхъ, Маркеловыхъ и особенно Соломина, по возможности, совсѣмъ въ сторонѣ. Маріанну, конечно, удалить нельзя, потому что Тургеневскій Неждановъ не мыслимъ безъ женщины, передъ которой онъ пасуетъ. Тогда дѣло было бы ясно: авторъ взялся разрѣшить частную задачу, элементы которой ему знакомы. Можно навѣрное сказать, что г. Тургеневъ написалъ бы на эту тему прекрасную, хотя подновленную вещь. И въ „Нови“ около Нежданова можно найти нѣсколько превосходныхъ страницъ. Но г. Тургеневъ посту-

пилъ какъ разъ наоборотъ. Онъ взялся разрѣшить общую задачу, а такъ какъ она ему не по силамъ, то онъ долженъ былъ прибѣгать къ разнаго рода уловкамъ: набрасывать вуаль на многое важное и рѣзко выпячивать впередъ многое неважное. Къ числу такихъ уловокъ относится и Неждановъ. Вмѣсто того, чтобы просто и скромно пополнить свою коллекцію гамлетиковъ—гамлетикомъ-революціонеромъ, онъ посадилъ его въ передній уголъ цѣлаго политическаго романа съ многозначительнымъ эпиграфомъ. Иначе онъ и не могъ поступить. Если человѣкъ взялся нарисовать лѣсъ, когда у него въ распоряженіи нѣтъ зеленой краски, такъ, конечно, въ картинѣ будутъ и красныя березы и синія ели. Но онъ могъ не браться...

Н. Михайловскій.

* * *

*) Главное лицо „Нови“—Неждановъ—человѣкъ умный, даже даровитый, симпатичный, но совершенно безвольный, безхарактерный, и потому блѣдный, мало привлекающій къ себѣ наше вниманіе. У него есть поэтическій талантъ, онъ сочиняетъ очень недурные стихи, напримѣръ:

Окружи меня цвѣтами,
Солнце въ комнату впусти, и т. д.

Но онъ не смѣетъ отдаться своему дарованію, влеченію своей природы, потому что это несогласно съ его отвлеченными, революціонными убѣжденіями. А въ эти убѣжденія, съ другой стороны, въ пропаганду въ народѣ и въ возмущеніе народа, онъ, „россійскій Гамлетъ“, по опредѣленію Паклина, скептикъ и чуткій душой человѣкъ, тоже не вѣритъ, не можетъ вѣрить. Очень художественно нарисованы въ романѣ сцены, гдѣ Неждановъ ходитъ въ народъ „въ костюмѣ“ и проповѣдуетъ, проповѣдуетъ вполнѣ неудачно, самъ это видя и потомъ почти смѣясь надъ собою, но не весе-

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

лымъ, а безотрадно горькимъ смѣхомъ.—Сознаніе своей полной несостоятельности приводитъ Нежданова къ самоубійству.

А. Незеленовъ.

* * *

*) Неждановъ—незаконный княжескій сынъ и одинъ изъ самыхъ блестящихъ примѣровъ вліянія наслѣдственности. Онъ отъ природы снабженъ всѣми признаками высшей экзотической культуры, начиная съ внѣшности. Чувство красоты въ немъ развито, какъ у истаго наслѣдника вѣковой эстетики „отцовъ"-романтиковъ. Предъ нимъ даже братья Кирсановы въ этомъ отношеніи созданія первобытныя и малоодаренныя. Тѣ только восхищаются произведеніями чужого поэтическаго генія,—Неждановъ самъ поэтъ и притомъ настоящій, чувствующій по временамъ непреодолимую потребность излить свои ощущенія и думы въ стихахъ. У него хранится завѣтная тетрадка, дневникъ, исторія сильнѣйшихъ моментовъ его жизни. У него, кромѣ того, есть другъ, повѣренный всѣхъ его тайнъ, „замѣчательно чистой души", Владиміръ Силинъ. Къ нему Неждановъ постоянно пишетъ письма, экзаменуя ими важныя событія своего внѣшняго и внутренняго міра. Эти письма—другой дневникъ, другой рядъ сердечныхъ изліяній...

Развѣ все это не напоминаетъ нѣчто институтское, немыслимое безъ стихотворнаго альбома и идеальной дружбы? Развѣ этотъ юноша съ нѣжнымъ цвѣтомъ лица и другими признаками „породы" — не герой какой-нибудь романтической идилліи, не прямой духовный потомокъ поколѣнія, много раньше осужденнаго авторомъ на немощное угасаніе среди новой реальной и органически-сильной жизни?

Теперь тотъ же авторъ вызываетъ изъ „царства мертвыхъ" юный образъ исключительно за тѣмъ, чтобы изобразить предъ нами давно извѣстную агонію—физическую и нравственную, точнѣе, чтобы разсказать жизнь, сплошь состоящую изъ одной агоніи.

*) И. Ивановъ. „Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ". Спб. 1896 г.

Если бы Неждановъ родился при вполнѣ благопріятныхъ условіяхъ, т. е. отъ родителей въ бракѣ, его біографія врядъ ли отличалась бы чѣмъ отъ тысячи другихъ біографій. Самое существенное отличіе состояло бы, вѣроятно, въ поэтическихъ занятіяхъ Нежданова. Воспитавшись въ аристократической обстановкѣ, на лонѣ „высшей культуры“, ежедневно вдыхая воздухъ романтизма и эстетики,—онъ, конечно, не считалъ бы своимъ нравственнымъ долгомъ скрывать свои стихотворческія упражненія. Они нисколько не нарушили бы общаго тона его существованія. Напротивъ, онъ могъ бы даже прослыть семейнымъ или салоннымъ геніемъ, и плоды его музы красовались бы не въ одномъ раздушенномъ альбомѣ мечтательной свѣтской красавицы.

На злосчастная судьба все устроила по-своему. Неждановъ—незаконный сынъ, и его даже не ожидали на свѣтъ божій. Прирожденный аристократъ, слѣдовательно, роковымъ образомъ очутился среди паріевъ, жертвой общественныхъ предразсудковъ и юридическихъ ограниченій. Драма въ высшей степени простая и безчисленное число разъ вдохновлявшая гуманныхъ поэтовъ и публицистовъ.

Въ восемнадцатомъ вѣкѣ существовалъ особый жанръ сценическихъ произведеній, посвященныхъ „незаконнымъ дѣтямъ“. *Le Fils Naturel*—такой же обычный герой просвѣтительной эпохи, какъ „добрый сеньеръ“, „крестьянинъ философъ“, „почтенный буржуа“. Естественно, незаконныя дѣти постоянно являлись дѣтьми отцовъ изъ высшихъ сословій, и для авторовъ служили краснорѣчивѣйшими застрѣльщиками въ борьбѣ противъ общественнаго неравенства, жестокихъ законовъ, обычаевъ и предразсудковъ. Въ видѣ примѣра, можно припомнить блестящія рѣчи героя Дидро изъ знаменитой когда-то драмы *Le Fils Naturel*. Въ этихъ монологахъ изображены подробно лишенія и обиды, которыя выпадаютъ на долю несчастнымъ отверженцамъ. Въ общихъ чертахъ Дидро написалъ превосходную біографію всѣхъ незаконныхъ дѣтей какой бы то ни было эпохи, въ томъ числѣ и нашего Нежданова. Разница только въ содержаніи протеста. Герой энциклопедиста ратовалъ за просвѣтительныя идеи своей эпохи,

присоединялъ свой голосъ къ голосамъ Вольтера и его сподвижниковъ, а Неждановъ засталъ крайній протестъ своихъ сверстниковъ въ формѣ нигилизма, и немедленно постарался пристать къ нимъ, свою аристократическую натуру вдвинуть въ рамки базаровскаго типа.

Этотъ процессъ *нравственной и внѣшней передѣлки* собственной жизни и личности мы должны прежде всего имѣть въ виду относительно Нежданова. Это — процессъ насильственный, преднамѣренный, мучительный, потому что природа всегда сильнѣе всякихъ ухищреній даже самой сильной воли,—не только неждановской,—дряблой и пугливой воли аристократическаго тепличнаго дѣтища.

Неждановъ попалъ въ нигилисты въ силу случайнаго стеченія обстоятельствъ, исторія его нигилизма—исторія незаконнаго сына на почвѣ русскихъ шестидесятыхъ годовъ.

Почему же Неждановъ сошелся съ нигилистами, а не иначе какъ сталъ мстить людской неправдѣ, — это дѣло автора, и здѣсь еще ничего нѣтъ невѣроятнаго и явно тенденціознаго. Неждановъ могъ самымъ обыковеннымъ путемъ превратиться въ нигилиста, но преднамѣренный разсчетъ автора въ томъ, что именно на *такомъ нигилистѣ* доказывается общее положеніе, именно Неждановъ долженъ посрамить молодыхъ защитниковъ извѣстнаго политическаго идеала.

До какой степени искусственно построенъ этотъ планъ посрамленія, особенно ясно станетъ, если Нежданова сопоставить съ Базаровымъ.

Мы указывали, какъ органически выросли и послѣдовательно развились отрицательныя идеи Базарова. Сила художественнаго созданія и общественное значеніе типа заключались въ его цѣльности, природной мощи. Базаровъ *не могъ не быть нигилистомъ* по своей натурѣ, по условіямъ всей своей жизни, по ходу своего духовнаго развитія и по многочисленнымъ вліяніямъ своей эпохи. Самыя заблужденія Базарова—логическія слѣдствія основной жизненной идеи, воплощаемой его личностью. Базаровъ—стихія, оригинальная и независимая отъ начала до конца, никому и ничему не подражающая и уступающая только вѣчнымъ законамъ человѣческой природы исторіи.

Нежданов рядомъ съ Базаровымъ то же самое, что сценическая декорація лѣса предъ настоящимъ лѣсомъ. У Нежданова все чужое, кромѣ оскорбленнаго самолюбія, кромѣ неизбывныхъ страданій за свое происхожденіе, стыда за свой неудавшійся аристократизмъ. Онъ болѣзненно чутокъ ко всякому намеку на его „исторію“. Это нѣчто „горькое“, по выраженію автора, „что онъ всегда носилъ, всегда ощущалъ на днѣ души“. Настоящій нигилистъ, Базаровъ, подобныя ощущенія съ глубочайшимъ презрѣніемъ обозвалъ бы романтизмомъ и насчетъ нервной системы повторилъ бы о Неждановѣ рѣчь, сказанную о братьяхъ Кирсановыхъ, „старенькихъ романтикахъ“. А для Нежданова мнѣніе перваго встрѣчнаго флигель-адъютанта—источникъ драмы: даже голосъ его начинаетъ звучать „глухо“.

Легко представить, какимъ неудобоносимымъ бременемъ окажется для него нигилизмъ.

Прежде всего, по нигилистическому уставу, Нежданов долженъ отвергать эстетику. Мы знаемъ, чего это стоило даже Базарову—его подражатель прямо изнемогаетъ въ сущности на первой только ступени нигилизма. Первобытному Остродумову легко презирать эстетику, по крайней мѣрѣ, въ формѣ статей или стиховъ. Для Нежданова это своего рода гамлетовскій вопросъ, и разрѣшаетъ онъ его столь же безславно, какъ и датскій принцъ мститъ за смерть отца. Украдкой пишутся стихи, лелѣется драгоцѣнная тетрадка, а на публикѣ—суровое лицо по поводу даже намековъ на „литературную жилку“, негодованіе на отца, что тотъ пустилъ будущаго нигилиста по „эстетикѣ“. Но нигилистъ на каждомъ шагу обязанъ враждовать съ изяществомъ и красотой, и—вотъ судьба Нежданова:

„Опрятный до щепетильности, брезгливый до гадливости, онъ силился быть циничнымъ и грубымъ на словахъ; идеалистъ по натурѣ, страстный и цѣломудренный, смѣлый и робкій въ одно и то же время, онъ, какъ позорнаго порока, стыдился и этой робости своей, и своего цѣломудрія, и считалъ долгомъ смѣяться надъ идеалами“.

Нежданов, слѣдовательно, нарядился въ маскарадное платье

и устроилъ изъ своей жизни „водевиль съ переодѣваніемъ“ гораздо раньше своего „хожденія въ народъ“. Но несчастіе не въ маскарадѣ собственно: есть много лицедѣевъ по натурѣ, и имъ тѣмъ легче чувствуется, чѣмъ искусственнѣе и эффектнѣе ихъ представленія. Неждановъ же отъ природы человѣкъ правдивый, искренній, даже наивно-непосредственный. Актерскій нарядъ, все равно изъ какой угодно пьесы, для него жестокое испытаніе. Въ то время, когда для другихъ истинное удовольствіе и даже потребность—притворяться и парадировать въ чужой шкурѣ, для Нежданова всякая ложь, недомолвка, передержка—личное оскорбленіе. Онъ—самый поучительный примѣръ для пословицы „не въ свои сани не садись“: болѣе трагической расплаты за „чужія сани“ трудно и представить, чѣмъ участь Нежданова.

Противъ врожденныхъ влеченій иной разъ можно вести борьбу съ великой рѣшительностью и даже наслажденіемъ, если есть сознаніе нравственной необходимости и разумной цѣлесообразности этой борьбы. Тогда борецъ становится героемъ принципа, рыцаремъ убѣжденій. Геній есть трудъ, любилъ говорить Гёте, а трудъ, создающій геніальную работу,—не что иное, какъ неустанная дисциплина личныхъ силъ ради идеальной цѣли. И Неждановъ могъ бы попасть въ число этихъ настоящихъ героевъ идеи, если бы нигилизмъ для него составлялъ признанную высокую цѣль умственной и практической дѣятельности, если бы „отрицаніе эстетики“ и „хожденіе въ народъ являлись для него незыблемыми основами будущаго общественнаго строя.

Но ничего подобнаго нѣтъ. Неждановъ *не вѣритъ и не можетъ вѣрить* ни въ разумность отрицанія эстетики ни въ плодотворность революціонныхъ предпріятій. Почему не вѣритъ?

Прежде всего, конечно, потому, что оба символа стихійно враждебны его натурѣ, а у него, какъ слабонервнаго романтика, нѣтъ достаточно нравственной силы—во что бы то ни стало пойти противъ своихъ аристократическихъ вкусовъ, а потомъ—все та же причина: автору требуется невѣрующій нигилистъ-дѣятель,—и, по его мнѣнію, всякій искрен-

ній, разумный юноша только подъ вліяніемъ привходящихъ обстоятельствъ, внѣшнихъ вліяній, несчастныхъ случайностей можетъ исповѣдывать эти символы, отнюдь не сливаясь съ ними всѣмъ своимъ нравственнымъ міромъ. Неждановъ именно искренній, разумный, эстетически и нравственно чуткій юноша, слѣдовательно, глубоко симпатичный автору, и онъ осужденъ на жесточайшую драму, какую только можно представить въ человѣческой жизни: защищать и даже приносить жертвы—дѣлу, не внушающему ему ни вѣры ни одушевленія.

Авторъ, весьма тщательно оттѣняя противорѣчія въ противоэстетическихъ усиліяхъ Нежданова, еще тщательнѣе подчеркиваетъ отсутствіе принципіальности въ его нигилизмѣ, недостатокъ вѣры вездѣ, гдѣ требуется оправдывать нигилизмъ на дѣлѣ.

Это невѣріе охватываетъ рѣшительно все, сколько-нибудь касающееся главной тяготы—нигилистическаго направленія. Оно простирается даже на любовь Нежданова къ Маріаннѣ, потому что любовь возникла на почвѣ общаго сочувствія революціонной пропагандѣ.

„Во имя дѣла? Да, во имя дѣла?“ твердитъ Неждановъ, размышляя о сближеніи съ Маріанной.

И эти слова оказались роковыми, они значили: „во имя того, во что я не вѣрю, что для меня *нравственно* не существуетъ, къ чему я привязалъ себя насильственно“... Во что́ же должна превратиться любовь, заключенная во имя призрака, въ лучшемъ случаѣ искусственнаго самовнушенія?...

Авторъ необыкновенно ясно разсказываемъ всѣ эти нравственныя треволненія. По поводу революціи читаемъ:

„Онъ вдругъ вообразилъ, что его призваніе—въ дѣлѣ пропаганды—дѣйствовать не живымъ, устнымъ словомъ, а письменнымъ; но задуманныя имъ брошюры не клеились. Все, что онъ пытался выводить на бумагѣ, производило на него самого впечатлѣніе чего-то фальшиваго, натянутаго, невѣрнаго въ тонѣ, въ языкѣ, и онъ раза два—о, ужасъ?—невольно сворачивалъ на стихи или на скептическія личныя изліянія“...

Таково положеніе Нежданова послѣ неудачныхъ попытокъ вообще сблизиться съ мужиками, не говоря уже о пріобщеніи ихъ къ революціоннымъ замысламъ.

Далѣе еще болѣе краснорѣчивое изліяніе—и на этотъ разъ революція идетъ рядомъ съ любовью.

Неждановъ послѣ знакомства съ Соломинымъ, Маркеловымъ, Голушкинымъ, слѣдовательно,—самыми разнообразными типами нигилистическаго толка, погружается въ раздумье:

„Странное было состояніе его души. Въ послѣдніе два дня сколько новыхъ ощущеній, новыхъ лицъ... Онъ въ первый разъ въ жизни сошелся съ дѣвушкой, которую по всей вѣроятности—полюбилъ; онъ присутствовалъ при начинаніяхъ дѣла, которому, по всей вѣроятности, посвятилъ всѣ свои силы. И что же?—Радовался онъ?—Нѣтъ.—Колебался онъ? Трусилъ? Смущался?—О, конечно, нѣтъ. Такъ чувствовалъ ли, по крайней мѣрѣ, то напряженіе всего мужества, которое вызывается близостью борьбы?—Тоже нѣтъ. Да вѣритъ ли онъ, наконецъ, въ это дѣло? Вѣритъ ли онъ въ свою любовь?—О, эстетикъ проклятый! Скептикъ! безвучно шептали его губы.—Отчего эта усталость, это нежеланіе даже говорить, какъ только онъ не кричитъ и не бѣснуется?—Какой внутренній голосъ желаетъ онъ заглушить въ себѣ этимъ крикомъ?..“

Размышленія прерываются такимъ восклицаніемъ:

„О, Гамлетъ, Гамлетъ, датскій принцъ, какъ выйти изъ твоей тѣни? Какъ перестать подражать тебѣ во всемъ, даже въ позорномъ наслажденіи самобичеванія?“

Намъ кажется, Нежданову не стоило такъ далеко искать своего первообраза, и Паклинъ, появляющійся именно въ эту минуту, будто Мефистофель къ Фаусту, вмѣсто своего восклицанія:

„Алексисъ! Другъ! россійскій Гамлетъ?“—

могъ воспользоваться другимъ, несравненно болѣе точнымъ и совершенно русскимъ:

Алексѣй! Другъ! тургеневскій Рудинъ!“

Рудинъ—первой части романа, не эпилога—и Паклинъ

оказалъ бы большую услугу своему пріятелю. Ему слѣдовало бы только сдѣлать одну оговорку: „Я тебя, Алексѣй, считаю человѣкомъ честнымъ и прямымъ, и не причисляю къ сонмищу байронствующихъ россіянъ“. А все остальное самъ Неждановъ воспроизведетъ въ своемъ романѣ, повторитъ и въ мысляхъ и въ дѣйствіяхъ рудинскую исторію.

Припомните одно изъ разсужденій Пигасова на счетъ особой человѣческой породы. „Куцыми бываютъ люди, говоритъ онъ, и отъ рожденія и по собственной волѣ. Куцымъ плохо: имъ ничего не удается—они не имѣютъ самоувѣренности“.

За этимъ разсужденіемъ слѣдуетъ вспышка Волынцева, направленная противъ Рудина. Герой не посмѣлъ дать отпоръ, и—

„Эге! да и ты куцъ!“ подумалъ Пигасовъ.

Въ одномъ изъ писемъ къ Владиміру Силину Неждановъ разсказываетъ свое трагическое положеніе незадолго до самоубійства и прибавляетъ замѣчательныя слова:

„Куда ни кинь, все клинъ! Окургузила меня жизнь, мой Владиміръ“...

Это отнюдь не случайное совпаденіе: кургузый и куцый—это Неждановъ-нигилистъ и Рудинъ-гегельянецъ.

Яснѣе всего это духовное родство обнаруживается въ романическихъ исторіяхъ обоихъ героевъ.

Намъ раньше приходилось рѣшать вопросъ, любитъ ли Рудинъ Наташу и указывать, что самъ герой менѣе всего знаетъ объ этомъ.

Не то же ли самое и съ Неждановымъ? Вы обратили вниманіе на его удивительную мысль: „сошелся съ дѣвушкой, которую—по всей вѣроятности—полюбилъ? Это—*по всей вѣроятности*—стоитъ цѣлаго психологическаго разсужденія. А потомъ усиліе Нежданова убѣдить себя, что Маріанну онъ полюбилъ дѣйствительно „во имя дѣла! да, во имя дѣла!“—и это немедленно послѣ перваго объясненія... Развѣ предъ нами не рудинское: „Я счастливъ! да, я счастливъ“, и замѣчаніе автора: „повторилъ онъ, какъ бы желая убѣдить самого себя“, цѣликомъ можно отнести къ рѣчи и настроенію Нежданова.

Дальше—вопросъ поднимается о побѣгѣ, и побѣгъ предлагаетъ Маріанна, все равно какъ Наташа—Рудину. Неждановъ восхищенъ и готовъ „на край свѣта“ за героиней. Но эта готовность весьма подозрительнаго свойства...

Неждановъ много моложе Рудина, а у Маріанны нѣтъ мамаши—свѣтской энергичной дамы. Обстоятельства для перваго восторга, слѣдовательно, благопріятны, но за-то и раскаяніе тяжелѣе, чѣмъ у Рудина. Тотъ, вѣроятно, не особенно тосковалъ послѣ разлуки съ Наташей, а Неждановъ не знаетъ, куда дѣваться отъ сомнѣній послѣ рѣшенія бѣжать. Предостереженіе Соломина, что молодой герой „долженъ беречь эту дѣвушку“, приводитъ его въ отчаяніе:

„Неждановъ постоялъ немного посреди комнаты и, прошептавъ: „ахъ! лучше не думать!“, бросился лицомъ въ постель“...

Но больнѣе всего достается Нежданову отъ самой Маріанны. Она инстинктивно чуетъ его „болѣзнь“, понимаетъ, что̀ за Гамлетъ передъ ней, и нѣсколько ея простыхъ словъ уничтожаютъ его.

Послѣ побѣга, на фабрикѣ у Соломина происходитъ слѣдующая сцена, изумительная по художественной силѣ и психологической правдѣ. Будто видишь предъ глазами двухъ собесѣдниковъ, улавливаешь выраженія ихъ лицъ, движенія, слышишь едва замѣтные, но полные смысла оттѣнки ихъ голосовъ.

Сначала бесѣда идетъ о безразличныхъ предметахъ, идетъ, ради разговора. Маріанна очень оживлена, Неждановъ, напротивъ, говоритъ вяло, прерывая рѣчь, впадаетъ въ задумчивость. Маріаннѣ приходится нарушать молчаніе.

„— Алеша!—промолвила она.

„— Что?

„— Мнѣ кажется, намъ обоимъ немножко неловко. Молодые—des nouveaux mariés,—пояснила она,—въ первый день своего брачнаго путешествія должны чувствовать нѣчто подобное. Они счастливы... имъ очень хорошо—и немножко неловко.

„Неждановъ улыбнулся принужденной улыбкой.

„— Ты очень хорошо знаешь, Маріанна, что мы не молодые въ твоемъ смыслѣ.

„Маріанна поднялась съ своего мѣста и стала прямо передъ Неждановымъ.

„— Это отъ тебя зависитъ.

„— Какъ?

„— Алеша, ты знаешь, что когда ты мнѣ скажешь, какъ честный человѣкъ — а я тебѣ вѣрю, потому что ты точно честный человѣкъ, — когда ты мнѣ скажешь, что ты меня любишь той любовью, которая даетъ право на жизнь другого, когда ты мнѣ это скажешь — я твоя.

„Неждановъ покраснѣлъ и отвернулся немного.

„— Да, тогда! Но, вѣдь, ты самъ видишь, ты мнѣ теперь этого не говоришь... О, да! Алеша, ты точно, честный человѣкъ. Ну, и давай толковать о вещахъ болѣе серьезныхъ.

„— Но, вѣдь, я люблю тебя, Маріанна!

„— Я въ этомъ не сомнѣваюсь... и буду ждать“.

Чего же?—спросите вы, разъ любовь уже есть, а, вѣдь, только о любви и говоритъ Маріанна. Любовь—но столь же мало похожая на сильное, цѣльное чувство, какъ Неждановъ въ мѣщанскомъ кафтанѣ на народнаго вожака, какъ философствующій Рудинъ на человѣка сороковыхъ годовъ. И оба героя въ минуты искренности признаются, что не стóятъ увлеченныхъ ими дѣвушекъ.

„Она стóитъ не такой любви, какую я къ ней чувствовалъ“,—говоритъ Рудинъ о Наташѣ.

То же и Неждановъ:

„— О, Маріанна,—шепнулъ онъ,—я тебя не стóю!“

Такія же слова и наканунѣ смерти.

И въ этой самой смерти сколько опять рудинскаго!

Неждановъ еще до „хожденія въ народъ“ доказалъ свою способность растеряться въ критическій моментъ. Маркеловъ его оскорбилъ еще больнѣе, чѣмъ Волынцевъ Рудина, и онъ не отвѣчалъ на обиду, какъ настоящій „кургузый“. Въ обоихъ случаяхъ мотивъ обиды—любовь къ дѣвушкѣ, и отвѣтъ былъ бы защитой этой любви. Но какъ защищать какое бы

то ни было чувство, когда нѣтъ настоящей воли жить дорогой идеей или слѣпой страстью? Неждановъ молчаливо разрѣшаетъ этотъ вопросъ скорѣе Рудина, но въ томъ же направленіи до буквальнаго сходства.

Въ его письмѣ къ Силину находится будто намѣренное объясненіе рудинской трагедіи:

„Право, мнѣ кажется,—пишетъ онъ,—что если бы гдѣнибудь теперь происходила народная война, я бы отправился туда не для того, чтобы освобождать кого бы то ни было (освобождать другихъ, когда свои несвободны!!), но чтобы покончить съ собою...“

Но немного раньше Неждановъ находитъ, что смерть при такихъ условіяхъ—„какое-то сложное самоубійство“, и предпочитаетъ *просто* покончить съ собой: „по крайней мѣрѣ, буду знать, когда и какъ, и самъ выберу, въ какое мѣсто выпалить“.

Ждать приходится недолго. Двойная агонія—жалкаго романическаго героя и непризнаннаго нигилиста-революціонера—кончилась. Неждановъ умеръ, заявляя въ предсмертномъ письмѣ, что онъ не вѣрилъ „въ дѣло“ и что его жизнь была „ложью“.

Ложь—здѣсь неумѣстное понятіе. Неждановъ отъ начала до конца—честный и правдивый человѣкъ. Онъ искренне, даже самоотверженно старается выполнить свою роль. Когда онъ чувствуетъ изнеможеніе подъ страшной тяготой, честность и правдивость вызываютъ у него сердечнѣйшія самопризнанія,—и ихъ мы можемъ принять за истинное изображеніе его личности и судьбы.

Этихъ самопризнаній множество. Недаромъ Неждановъ велъ поэтическій альбомъ и дружескую переписку.

Еще до „хожденія въ народъ“ онъ разсуждаетъ:

„Коли ты рефлектёръ и меланхоликъ,—какой же ты къ чорту революціонеръ? Ты пиши стишки, да книги, да возись съ собственными мыслишками и ощущеньицами, да копайся въ разныхъ непрактическихъ соображеніяхъ и тонкостяхъ, а главное—не принимая твоихъ болѣзненныхъ нервическихъ раздраженій и капризовъ за мужественное негодованіе, за честную злобу убѣжденнаго человѣка“...

Нервнымъ людямъ, особенно неудачникамъ свойственно громить самихъ себя жестокими укоризнами, часто несправедливыми и преувеличенными. Но слова Нежданова соотвѣтствуютъ дѣйствительности, потому что его устами самъ авторъ излагаетъ его психологію и характеризуетъ его практическое положеніе, какъ революціонера.

Эти характеристики становятся тѣмъ внушительнѣе, чѣмъ ближе сталкивается съ жизнью нигилизмъ Нежданова. Тогда, какъ бы унизительно ни было самообличеніе юнаго героя, оно всецѣло опирается на факты, иногда даже отстаетъ отъ нихъ. Напримѣръ, послѣ перваго революціонернаго опыта Неждановъ говоритъ о себѣ:

„Охъ, трудно, трудно эстетику соприкасаться съ дѣйствительной жизнью!“

Это слишкомъ много послѣ трагикомическихъ приключеній съ мужиками. Но правда беретъ свое. Дыханіе смерти уже начинаетъ вѣять надъ Неждановымъ. „Онъ хотѣлъ умереть, онъ зналъ, что умретъ скоро“.

„Хожденіе“ повторяется, и исповѣдь Нежданова становится все искреннѣе и страстнѣе, переходитъ минутами въ крикъ отчаянія.

Послѣ двухнедѣльнаго опыта онъ пишетъ Силину:

„О, какъ я проклинаю эту нервность, чуткость, впечатлительность, брезгливость, все это наслѣдіе моего аристократическаго отца! Какое право имѣлъ онъ втолкнуть меня въ жизнь, снабдивъ меня органами, которые несвойственны средѣ, въ которой я долженъ вращаться? Создалъ птицу—да и пихнулъ ее въ воду? Эстетика да въ грязь! Демократа, народолюбца, въ которомъ одинъ запахъ этой поганой водки—„зелена вина“—возбуждаетъ тошноту, чуть не рвоту?“...

Драгоцѣннѣйшія слова,—и не потому, что они превосходно изображаютъ неждановскую драму, а потому, что они—лучшая критика на самый романъ. Неждановъ сколько угодно можетъ обижаться на своего естественнаго отца, но главнѣйшая вина: толкнуть птицу въ воду—лежитъ не на совѣсти этого отца. Напротивъ, князь менѣе всего посовѣтовалъ бы своему даже незаконному сыну превратиться въ

нигилиста, и онъ существенно облегчилъ для него борьбу за существованіе капиталомъ въ 6.000 руб.,—не то, что̀ судьба Базарова,—„пустилъ его по эстетикѣ“, съ явнымъ намѣреніемъ создать полную гармонію практической дѣятельности сына съ его природными наклонностями. Гармонію эту разрушилъ самъ Нежданов въ союзѣ съ авторомъ. Идейный отецъ Нежданова несравненно больше естественнаго виноватъ во всѣхъ противорѣчіяхъ его судьбы.

Авторъ романа взялъ нервнаго аристократа, романтическаго эстетика, брезгливаго барина и стихотворца — и произвелъ надъ нимъ убійственный опытъ: „толкнулъ“ его въ самое пекло нигилизма, т. е. царство стихій, безпощадно уничтожающихъ и барство, и эстетику, и романтизмъ. Птица брошенная въ воду... Мы должны быть глубоко благодарны автору, съ обычнымъ художественнымъ талантомъ давшему намъ изумительно-вѣрный образъ, живую иллюстрацію къ своему роману. Всѣ психологическія изслѣдованія могутъ придти только къ такому же результату.

И. Ивановъ.

* * *

*) Нежданов — лицо не только не главное, не „герой“ романа, но все его назначеніе сводится къ тому, чтобы лучше оттѣнить Соломина. Соломинъ дорисованъ противопоставленіемъ Нежданову. Нервный, неровный, безъ выдержки, съ подкошенной жизненной энергіей, эстетикъ, поэтъ, жертва рефлексіи,—Нежданов есть самый, быть можетъ, *лишній* изо всѣхъ тургеневскихъ „лишнихъ“ людей,—и, поставленный рядомъ съ Соломинымъ, онъ отлично оттѣняетъ противоположныя черты послѣдняго. Благодаря этому сопоставленію, идея романа выступаетъ съ большой ясностью. Нежданов есть какъ-бы комментарій къ Соломину, и все, что я говорилъ о главномъ героѣ „Нови“ (Соломинѣ), о его умѣ, натурѣ, значеніи, призваніи, иначе уже сказано Тургене-

*) Д. Овсянико-Куликовскій. „Этюды о творчествѣ И. С. Тургенева“. Харьковъ. 1896 г.

вымъ—созданіемъ фигуры Нежданова. Въ этомъ смыслѣ Неждановъ сближается съ Аркадіемъ Кирсановымъ,—не самъ по себѣ (это люди—разные), а именно какъ образы, главное назначеніе которыхъ оттѣнять и дорисовывать личности главныхъ героевъ. Аркадій помогаетъ Базарову, какъ Неждановъ—Соломину, ярче выступать въ воображеніи читателя.

Въ силу *такого* значенія Нежданова въ романѣ, этотъ образъ не могъ служить тѣмъ импульсомъ, который направлялъ-бы мысль художника въ сторону апперцепціи „лишнихъ“ людей, суеты суетъ, „ничтожества“ и смерти. Движеніе пошло совсѣмъ въ другую сторону—отъ Соломина и ведетъ оно къ жизни, къ теплу и свѣту жизни, къ борьбѣ, труду, любви, идеалу. На этомъ пути лучезарной звѣздой свѣтитъ намъ чудный образъ Маріанны: не о самозакланіи Джагернауту говоритъ онъ намъ, онъ говоритъ о бодромъ, о славномъ, о любвеобильномъ дѣлѣ жизни, лозунгомъ котораго являются слова того-же Соломина къ Маріаннѣ: „нѣтъ, живите... живите! это главное“, и посмертный завѣтъ Нежданова: „живите счастливо, живите съ пользой для другихъ...“

Д. Овсянико-Куликовскій.

* * *

*) Первое привѣтствіе одного изъ присутствующихъ, обращенное къ Нежданову, сразу отмѣчаетъ дѣйствительно одну изъ наиболѣе характерныхъ чертъ въ его личности. Незадолго до Нежданова пришедшій Паклинъ обращается къ нему съ слѣдующимъ вопросомъ: „Что съ тобой, Алексѣй Дмитріевичъ, россійскій Гамлетъ?“ Эти два послѣднія слова невольно напоминаютъ намъ о нашемъ старомъ знакомцѣ — Щигровскомъ Гамлетѣ, а вслѣдъ за нимъ, конечно, и о его младшемъ двоюродномъ братѣ—Рудинѣ. И мы не ошибемся въ нашемъ предположеніи, что передъ нами одинъ изъ тѣхъ хорошо знакомыхъ намъ „лишнихъ людей“,—только, какъ

*) К. Чернышовъ. „Лишніе люди и женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ И. С. Тургенева“. Спб. 1896 г.

это чувствуемъ по окружающей обстановкѣ, поставленный въ иныя условія, нежели его близкіе предки. Неждановъ, дѣйствительно, погамлетовски подавленъ всѣмъ, что ему приходится видѣть вокругъ себя. Съ горячностью глубоко взволнованнаго человѣка указываетъ онъ на то, что̀ въ его время возбуждало молодежь его пошиба: „Полъ-Россіи съ голода помираетъ, „Московскія Вѣдомости“ торжествуютъ, классицизмъ хотятъ ввести, студенческія кассы запрещаютъ, вездѣ шпіонство, доносы, ложь и фальшь,—шагу намъ ступить некуда!..“ И, конечно, Неждановъ призванъ бороться со всѣмъ этимъ; въ этой борьбѣ онъ видитъ свое настоящее дѣло, и этому дѣлу онъ готовъ жертвовать всѣмъ: на заявленіе Остродумова и Машуриной, что имъ нужны деньги, чтобы ѣхать на опредѣленное мѣсто и дѣйствовать тамъ, Неждановъ говоритъ, что онъ съ этою цѣлью возьметъ впередъ часть пенсіи, которую онъ получаетъ отъ братьевъ по своему отцу. Съ этою же именно цѣлью онъ принимаетъ затѣмъ предложеніе Сипягина отправиться къ нему въ качествѣ домашняго учителя. И вотъ тамъ-то, въ деревнѣ, мы видимъ Нежданова на его настоящемъ,—по крайней мѣрѣ, съ его точки зрѣнія,—дѣлѣ.

Попробуемъ сначала хотя въ общихъ чертахъ опредѣлить, въ чемъ заключается то дѣло, которому съ такимъ самоотверженіемъ отдаются Неждановы; воспользуемся для этого собственными ихъ словами. Маркеловъ, котораго глава мечтателей-народолюбцевъ, Василій Николаевичъ, рекомендуетъ какъ человѣка, вполнѣ заслуживающаго довѣрія, какъ одного изъ „своихъ“, говоритъ между прочимъ Нежданову: „Народъ теменъ. Поучать надо. Бѣдность большая, а растолковать некому, отчего эта самая бѣдность происходитъ“. Гораздо позднѣе въ романѣ Соломинъ, этотъ, по замыслу автора, настоящій человѣкъ „почвы и дѣла“, на вопросъ Коломѣйцева, какъ смотритъ онъ на народъ, говоритъ: „Народъ—соня, и разбудить его было бы не худо“. Итакъ, разбудить народъ отъ вѣкового, глубокаго, тяжелаго сна, пробудить въ немъ сознательное отношеніе къ собственной жизни, къ настоящимъ своимъ нуждамъ, помочь ему разобраться въ

нихъ, растолковать ему ихъ и, конечно, вмѣстѣ съ этимъ именно помочь народу выйти на настоящую, свѣтлую дорогу и, какъ слѣдуетъ, по-человѣчески устроить свою жизнь — вотъ то дѣло, которому хотятъ самоотверженно служить Неждановы и Маріанны.

Какъ же мы, съ своей стороны, отнесемся къ этой цѣли? Да какъ же иначе отнестись, какъ не съ полнымъ сочувствіемъ? Мы-то всѣ развѣ не къ этому стремимся? Развѣ смыслъ всей нашей дѣятельности на разныхъ поприщахъ не заключается въ томъ, чтобы по мѣрѣ силъ содѣйствовать нравственному и экономическому поднятію нашего народа? Въ предѣлахъ именно этой, именно такъ опредѣленной цѣли, мы всѣ, конечно, отъ души протянемъ руку Неждановымъ и скажемъ имъ: „И мы къ тому же стремимся, и насъ волнуетъ то же, и мы иначе не понимаемъ смысла нашей жизни,—у насъ одна съ вами цѣль, цѣль высокая, благородная, для которой дѣйствительно отрадно хотя бы даже пожертвовать собою,—но мы въ то же время совершенно расходимся съ вами по многимъ другимъ вопросамъ, которые имѣютъ самое ближайшее отношеніе къ этой безспорно великой цѣли“. Въ чемъ же? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, необходимо выслушать опять-таки самихъ Неждановыхъ: спросить ихъ, какими способами они думаютъ достигнуть своей цѣли,—необходимо всмотрѣться въ нихъ самихъ, этихъ самоотверженныхъ дѣятелей, есть-ли въ нихъ то, что безусловно необходимо для успѣха дѣла, какъ они въ дѣйствительности поступаютъ, къ какимъ они приходятъ результатамъ.

Что Неждановы, Остродумовы и Маркеловы дѣйствительно съ самоотверженіемъ относятся къ осуществленію своей цѣли, въ этомъ, конечно, нельзя сомнѣваться. „Остродумовъ собой пожертвовать сумѣетъ“,—говоритъ про него Неждановъ: „если нужно, онъ и на смерть пойдетъ“. И это не фраза. Въ этомъ насъ убѣждаютъ факты сравнительно недавняго прошлаго, которое происходило на глазахъ многихъ изъ насъ. А вотъ что Неждановъ пишетъ своему другу Силину: „Другъ Владиміръ!.. мы съ Маріанной не ищемъ счастья; не наслаждаться мы хотимъ, а бороться вдвоемъ, рядомъ... Про-

тяни намъ обоимъ издалека руки и пожелай намъ терпѣнья, силы, самопожертвованія и любви... больше любви. А ты, невѣдомый намъ, но любимый нами всѣмъ нашимъ существомъ, всею кровью нашего сердца, русскій народъ, прими насъ!..“ И это опять не фраза. Съ нашей точки зрѣнія, безразсудно, даже нелѣпо было со стороны Нежданова окликать, останавливать по дорогѣ проходившихъ мужиковъ и держать имъ „несообразныя“,—какъ выражается авторъ,—рѣчи; еще нелѣпѣе было бросаться въ толпу и призывать „за свободу впередъ двинуться грудью“,—но въ данномъ случаѣ дѣло не въ нелѣпости самаго поступка, а въ томъ, что человѣкъ до полнаго самозабвенія дѣйствительно жертвуетъ собою, нисколько не заботясь о томъ, что можетъ ожидать его впереди. Этой способности беззавѣтно, самоотверженно отдаваться своему дѣлу мы, конечно, можемъ только позавидовать. Настоящее дѣло, несомнѣнно, требуетъ для себя всего человѣка,—и счастливъ тотъ, кто дѣйствительно отдаетъ любимому дѣлу всю свою душу: выигрываетъ и дѣло, въ которое какъ бы вливается сама жизнь; выигрываетъ и самъ человѣкъ, переживая дѣйствительно однѣ изъ лучшихъ минутъ разумнаго, истинно-человѣческаго существованія. Мы и въ этомъ пока не расходимся съ Неждановыми; теперь посмотримъ, съ чѣмъ и какъ они берутся за дѣло, и какъ они его дѣлаютъ.

Первый вопросъ, съ которымъ Маркеловъ обращается къ Нежданову, слѣдующій: „Вы съ здѣшними (т. е. въ имѣніи Сипягина) крестьянами успѣли уже сблизиться?“ Позднѣе Маріанна, наканунѣ своего бѣгства отъ Сипягиныхъ, проситъ пріѣхавшаго къ нимъ Соломина: „Вы только скажите намъ, куда намъ итти... Пошлите насъ... Вѣдь, вы пошлете насъ?“—Куда?—спросилъ Соломинъ. „Въ народъ... Куда же итти, какъ не въ народъ“. Но мы, съ своей стороны, спросимъ: съ чѣмъ же итти въ народъ? что вы, Маріанна и Неждановъ, можете дать, принести съ собой этому народу? кто вы сами? кто и что васъ подготовило къ этой сложной и серьезной дѣятельности? да, наконецъ, знаете-ли вы, къ кому вы идете?—это все важные и наиболѣе существенные по отношенію къ мечтателямъ-народолюбцамъ вопросы.

Сначала о томъ, кто сами Неждановы и Маріанны, и подъ вліяніемъ чего они готовились къ жизни. Оставляя въ сторонѣ исключительное положеніе незаконнаго сына, мы можемъ принять въ Неждановѣ типичными слѣдующія черты: онъ вышелъ не изъ народа,—онъ во всякомъ случаѣ баринъ, хотя бы даже въ самомъ лучшемъ смыслѣ этого слова. Маріанна тоже „господскаго“ происхожденія. Оба они—питомцы той же самой книжной науки, на которой воспитывались и Рудины, и Лаврецкіе, и даже Базаровы. Правда, они уже не ломаютъ головы надъ туманными измышленіями Гегеля: Маріанна, напр., „занимается естественными науками“,—какъ ее рекомендуетъ Коломѣйцеву г-жа Сипягина,—„и интересуется женскимъ вопросомъ“; но во всякомъ случаѣ они—люди книжки: изъ нея они почерпаютъ и свои цѣли и средства къ ихъ достиженію; не жизнь и, что самое главное,—не близкое съ нею знакомство, не изученіе жизни указываетъ имъ, что надо дѣлать и какъ дѣлать, а книжка, и только одна книжка, въ которую они такъ же крѣпко вѣруютъ и которой такъ же крѣпко подчиняются, какъ въ былое время Рудины. И Паклинъ тысячу разъ правъ, говоря Нежданову: „Въ томъ-то наша и бѣда, Алексѣй Дмитріевичъ, что мы никого не знаемъ! Хотимъ дѣйствовать, хотимъ цѣлый міръ кверху дномъ перевернуть, а живемъ въ сторонѣ отъ этого самаго міра... Въ 1862 году поляки уходили „до лясу“—въ лѣсъ;—и мы уходимъ теперь въ тотъ же лѣсъ, т. е. въ народъ, который для насъ глухъ и темнъ не хуже любого лѣса“.

Что же удивительнаго, что люди, воспитавшіеся на книжкѣ, ничего другого и дать не могутъ, какъ только то, что они вычитали изъ этихъ книжекъ, или самыя эти книжки,—можетъ быть, только нѣсколько приспособленныя для болѣе чѣмъ обыкновеннаго читателя. Отправляясь „на дѣло“, „въ народъ“, Нежданов запихиваетъ себѣ въ задній карманъ нѣсколько брошюръ, въ которыхъ развиваются идеи о безусловной народной свободѣ, о раздѣлѣ земли исключительно между крестьянами, о несправедливомъ распредѣленіи богатства и т. д. Нежданов раздаетъ затѣмъ эти брошюры пер-

вымъ встрѣчнымъ, тайкомъ оставляетъ ихъ въ горницахъ, засовываетъ въ крестьянскія телѣги. Мы видѣли уже, что́ и какъ говорилъ онъ въ толпѣ,—и ничего другого Неждановъ, конечно, и не могъ дать народу, который для него теменъ и глухъ не хуже любого лѣса.

Невольно сами чувствуя ту пропасть, которая отдѣляетъ ихъ отъ народа, Нежда́новы стараются хотя внѣшнимъ образомъ приблизиться къ народу, хоть своимъ внѣшнимъ обликомъ походить на него, наивно думая, что народъ, тотъ самый народъ, который, слава Богу, довольно имѣлъ времени, чтобы присмотрѣться къ барину и тотчасъ же признать его,—неправильно сочтетъ ихъ за „своихъ“. И вотъ Неждановъ и Маріанна разыгрываютъ „водевиль съ переодѣваньемъ“. Собираясь итти „въ народъ“, Неждановъ прежде всего совершенно преобразился по внѣшности. Когда Маріанна вышла къ нему, то невольно ахнула и въ первую минуту даже не узнала его: на немъ былъ истасканный, желтоватый, нанковый кафтанъ съ крошечными пуговками и высокой тальей; волосы онъ причесалъ по-русски, съ прямымъ проборомъ; въ рукѣ держалъ картузъ съ изломаннымъ козырькомъ; на ногахъ у него были нечищенные выростковые сапоги. „Все тутъ въ полномъ составѣ — ступай щеголять, народъ удивлять!—какъ выражается Татьяна,—и говоритъ она, дѣйствительно, умныя слова: несомнѣнно, Неждановъ въ этомъ такъ не идущемъ къ его барскому обличью костюмѣ, весьма естественно, долженъ былъ показаться заправскому мужику такъ же, какъ и Базаровъ показался въ свое время,—„чѣмъ-то въ родѣ шута гороховаго“. Снарядившись въ путь-дорогу, Неждановъ досталъ нѣсколько брошюръ, запихнулъ ихъ себѣ въ задній карманъ и произнесъ вполголоса: „Штошъ... робята... іефто... ничаво... потому-што...“,—и при этомъ подумалъ: „Кажется, похоже“.

— „Эхъ, голубчики мои! Берете вы на себя тяготу не въ моготу!“ восклицаетъ умная Татьяна, съ грустью посматривая на „тѣхъ, что опро́ститься хотятъ“. И глубокая правда заключена въ этихъ немногихъ простыхъ словахъ. Дѣло, которое берутъ на себя Неждановы и Маркеловы,

дѣйствительно оказывается болѣе чѣмъ не по силамъ для нихъ. Вотъ что разсказываетъ о своемъ „хожденіи въ народъ“ Маріаннѣ самъ Неждановъ: „Въ пропагандѣ я оказался швахъ... Четыремъ человѣкамъ предлагалъ брошюры. Одинъ спросилъ, божественная-ли эта книга,—и не взялъ; другой сказалъ, что не знаетъ грамотѣ,—и взялъ для дѣтей, потому что на обложкѣ есть рисунокъ; третій сперва мнѣ все поддакивалъ—„тэ-акъ, тэ-акъ“, потомъ вдругъ выругалъ меня самымъ неожиданнымъ образомъ,—и тоже не взялъ; четвертый, наконецъ, взялъ и много благодарилъ меня,—но, кажется, ни бельмеса не понялъ изъ того, что я говорилъ ему. Кромѣ того, одна собака укусила мнѣ ногу; одна баба съ порога своей избы погрозилась мнѣ ухватомъ, прибавивъ: „У! постылый! Шалопуты вы московскіе! Погибели на васъ нѣтути!“ А вотъ что пишетъ по тому же поводу Неждановъ своему другу: „Вотъ на какого я наскочилъ: „Ужъ ты“,—говоритъ,—„баринъ, не размазывай, а прямо скажи, отдаешь-ли ты всю свою землю, какъ есть, аль нѣтъ?—Что ты,—отвѣчаю я ему,—какой я баринъ!—„А коли ты изъ простыхъ“,—говоритъ,—„такъ какой въ тебѣ толкъ? И оставь ты меня, сдѣлай милость!“ Прекраснымъ дополненіемъ ко всему этому можетъ служить разсказъ Маркелова о томъ, какъ онъ тоже „ходилъ въ народъ“. Маркеловъ вздумалъ разъяснить крестьянамъ принципъ ассоціаціи и ввести ее у себя,—а они упирались. Одинъ изъ нихъ даже сказалъ по этому поводу: „Была яма глубока... а теперь и дна не видать...“,—а всѣ прочіе крестьяне испустили глубокій дружный вздохъ. Таковы результаты,—и чего-нибудь другого ожидать, конечно, было нельзя, потому что, говоря словами Паклина,—Нежановы и Маркеловы шли въ народъ, который „для нихъ былъ глухъ и теменъ не хуже любого лѣса“. Въ этомъ именно и заключается главная причина того, что безспорно искреннее, доброе, горячее намѣреніе ограничивается „водевилемъ съ переодѣваньемъ“, возбуждающимъ смѣхъ или по меньшей мѣрѣ недоумѣніе въ томъ самомъ народѣ, для котораго онъ предпринимается,—для самихъ же дѣйствующихъ лицъ этотъ водевиль заканчивается нерѣдко *и очень* трагично...

Вотъ относительно этого „водевиля съ переодѣваньемъ“ мы, несомнѣнно, расходимся съ Неждановыми. Мы возразимъ словами самого Нежданова: „Да, нашъ народъ спитъ; но намъ сдается, если что его разбудитъ,—это будетъ не то, что вы (т. е. Неждановъ) думаете“. Наши мечтатели-народолюбцы дѣлали именно не то, что дѣйствительно могло бы разбудить народъ, а разбудить его, несомнѣнно, есть долгъ, святой долгъ каждаго изъ насъ.

К. Чернышовъ.

Соломинъ.

*) Соломинъ... предназначенъ изображать настоящую, дѣйствительную, цѣльную силу, радикала pur sang, въ противоположность людямъ надломаннымъ, раздвоеннымъ, „романтикамъ реализма“, каковъ Неждановъ. Соломинъ—это очевидно тотъ „глубоко забирающій плугъ, который, по словамъ избраннаго авторомъ эпиграфа, долженъ вспахать русскую новь, едва тронутую „поверхностно-скользящею сохой“. Итакъ, что такое Соломинъ?

Съ наружностью его мы знакомы. Можно прибавить, что внѣшняя индивидуальность его выдержана въ романѣ довольно строго. Когда онъ „держитъ себя свободно“ въ Сипягинской гостиной, когда онъ покуриваетъ у себя дома или у Маркелова трубочку, когда онъ гладитъ по рукѣ Маріанну—читатель чувствуетъ въ немъ все того же смахивающаго на чухонца „ремесленника“, какимъ изобразилъ его авторъ при первомъ выходѣ на сцену. Нѣкоторое недоумѣніе можетъ возбудить лишь то обстоятельство, что на Маріанну и на Нежданова личность эта производитъ постоянно самое пріятное впечатлѣніе, но... о вкусахъ не спорятъ. Гораздо важнѣе опредѣлить, что такое представляетъ онъ собою какъ общественная сила? Въ этомъ смыслѣ указанія автора довольно скудны. Соломинъ не вѣритъ въ близость революціи въ Россіи, но не мѣшаетъ тѣмъ, кто хочетъ попытаться

*) Статья А. (В. Г. Авсѣенко). „Русскій Вѣстникъ“ 1877 г., № 2.

сдѣлать ее. По объясненію автора, онъ поступаетъ такимъ образомъ потому, что не желаетъ навязывать свое мнѣніе другимъ... Однако мы видѣли, что когда Маріанна хотѣла ѣхать съ Неждановымъ помогать Маркелову бунтовать крестьянъ, онъ не только не побоялся навязать ей свое мнѣніе, но прямо удержалъ ее отъ поѣздки. Затѣмъ г. Тургеневъ объясняетъ, что Соломинъ хорошо зналъ петербургскихъ революціонеровъ, и понималъ отсутствіе въ ихъ дѣятельности и планахъ того самаго народа, безъ котораго „ничего ты не подѣлаешь“, и котораго долго надо готовить, и не такъ и не къ тому, какъ тѣ. Тѣмъ не менѣе авторъ прибавляетъ, что Соломинъ до нѣкоторой степени сочувствовалъ петербургскимъ революціонерамъ, „ибо самъ былъ изъ народа“. Далѣе мы видимъ, что при всѣхъ разглагольствованіяхъ Нежданова, Маркелова, Голушкина—Соломинъ только слушаетъ, вникаетъ да покуриваетъ, не переставая улыбаться. Онъ продолжаетъ молчать и улыбаться даже во время безобразнаго набѣга къ Ѳомушкѣ и Фимушкѣ. За обѣдомъ у Голушкина онъ дѣлаетъ замѣчаніе, что есть, молъ, двѣ манеры выжидать: выжидать и ничего не дѣлать, и выжидать да подвигать дѣло впередъ; и когда Маркеловъ замѣтилъ на это, что постепеновцовъ имъ не нужно, то Соломинъ возразилъ, что постепеновцы до сихъ поръ шли сверху, а мы-молъ попробуемъ снизу. Неждановъ, отдавая себѣ отчетъ послѣ первой встрѣчи съ Соломинымъ, говоритъ о немъ мысленно: „уравновѣшенный характеръ, вотъ что̀; обстоятельный, свѣжій, какъ говорила Фимушка, крупный человѣкъ; спокойная, крѣпкая сила; знаетъ, что ему нужно, и себѣ довѣряетъ и возбуждаетъ довѣріе; тревоги нѣтъ... и равновѣсіе, равновѣсіе!“ Онъ охотно предлагаетъ пріютъ Нежданову и Маріаннѣ, но ни на минуту не упускаетъ изъ виду собственныхъ интересовъ: обязываетъ Нежданова не пускаться въ пропаганду на фабрикѣ, потому что она не его (мѣсто, молъ, потерять могу), и приставляетъ къ нему для контроля своего фактотума Павла. А что касается Маріанны... то на другой день ея пріѣзда онъ осматриваетъ, запирается ли дверь изъ комнаты Нежданова въ ея комнату, и дѣлаетъ это при ней,

нисколько не скрывая смысла этого изслѣдованія и очевидно не подозрѣвая грубой наглости такого поступка. Когда приходятъ слухи, что Маркеловъ бунтуетъ крестьянъ, Соломинъ говоритъ Маріаннѣ, что онъ, Маркеловъ, погибъ, потому что въ подобныхъ предпріятіяхъ первые всегда погибаютъ—„а въ томъ дѣлѣ, что *онъ* затѣялъ, не только первые и вторые погибнутъ, но и десятые и двадцатые“... И когда разочарованная Маріанна спрашиваетъ: такъ мы и не дождемся? онъ отвѣчаетъ съ убѣжденіемъ: „Того, что вы думаете? Никогда. Глазами мы этого не увидимъ; вотъ этими живыми глазами. Ну, духовными—это другое дѣло. Любуйся хоть теперь, сейчасъ; тутъ контроля нѣтъ“ (прелестно это любованье тѣмъ, какъ десятые и двадцатые погибнутъ...).

Вотъ все, что даетъ авторъ для опредѣленія нравственной личности Соломина. Не очень много, однако достаточно, чтобъ эта личность могла получить оцѣнку независимо отъ того, какъ относится къ ней самъ авторъ и какое мѣсто занимаетъ она въ романѣ. Паклинъ говоритъ: „сѣрые, простые, хитрые Соломины“. Намъ кажется, этимъ не опредѣляется главная черта такихъ людей, не говоря уже о противорѣчіи, заключающемся въ двухъ послѣднихъ эпитетахъ. Мы думаемъ, что преобладающее свойство Соломиныхъ—самоувѣренное, самодовольное, наглое бездушіе,—бездушіе грубой натуры, надѣленной здоровыми кулаками и захватившей коекакое значеніе въ своемъ тѣсномъ околоткѣ; бездушіе человѣка, съ наслажденіемъ повторяющаго себѣ каждую минуту: „я, молъ, не пропаду; всѣ вы пропадете, а я пробьюсь, потому кулачищи у меня вона какіе, и плевать мнѣ на всѣ ваши церемоніи“; наконецъ, бездушіе человѣка, который по натурѣ и образованію неизмѣримо ниже другихъ людей, но который схватилъ практическую сторону жизни и, въ силу этого единственнаго превосходства, дѣйствуетъ такъ, какъ будто будущее принадлежало ему. Обратите прежде всего вниманіе на отношеніе Соломина къ пресловутой русской революціи. Онъ не вѣритъ въ нее, но сочувствуетъ революціонерамъ, потому что „самъ изъ народа“. Да развѣ это

возможно? Если онъ сохранилъ связь съ народомъ—хотя бы въ томъ смыслѣ, въ какомъ сохраняютъ ее деревенскіе кулаки и мастаки—то развѣ можетъ онъ сочувствовать тому, гдѣ нѣтъ народа, тому, чего не хочетъ и не понимаетъ народъ? Да онъ въ сущности и не сочувствуетъ, онъ просто поглядываетъ сбоку, какъ молъ оно происходитъ. Дѣла своего вы не сдѣлаете—какъ бы говоритъ онъ Нежданову и Маркелову—и погибнете не только вы, но и десятые и двадцатые, но попытаться я вамъ не мѣшаю, потому что со стороны это любопытно; да притомъ вы мнѣ не нужны, а вотъ Маріанна мнѣ нужна, и я ее не пущу, и она мнѣ послѣ васъ достанется—„не тронутая“, какъ выражается о ней передъ смертью Неждановъ. Страсти въ этомъ человѣкѣ нѣтъ никакой, а есть только самодовольный аппетитъ практическаго хищника: вотъ-молъ эта дѣвушка была-бы мнѣ на руку, славная такая да повадная, совсѣмъ мнѣ по вкусу! Къ увлеченію политической идеей онъ еще менѣе способенъ, да вѣроятно за это-то именно онъ такъ себя и любитъ, такъ и гордится собою. Увлекаться могутъ Неждановъ, Маркеловъ—но вѣдь за то онъ и считаетъ ихъ неизмѣримо ниже себя—и можетъ-быть онъ правъ, потому что они погибаютъ, пришибленные и разочарованные, а ему погибать не за что и разочароваться не въ чемъ. Одинъ гамлетъ, другой—Донъ-Кихотъ революціи, а онъ—просто двужильная натура, наслаждающая увѣренностью, что переживетъ ихъ обоихъ. Одно, въ чемъ онъ несомнѣнно имъ сочувствуетъ—это ихъ ненависть къ Сипягинымъ, къ Калломѣйцеву, вообще ко всему, что, по ихъ мнѣнію, представляетъ старую барскую Русь.

В. Авсѣенко.

* * *

*) Въ противоположность Нежданову, не удавшемся претенденту на „вожака“ и направителя „внутренняго хорового

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

сложенія и разложенія народной жизни", Тургеневъ въ Соломинѣ, очевидно, хотѣлъ намѣтить типическій образъ „помощника" движенія этой жизни, „только полезнаго" и потому наиболѣе соотвѣтствующаго этому движенію человѣка. Соломинъ во всѣхъ отношеніяхъ антитеза Нежданова. Тамъ талантъ—тутъ характеръ; тамъ болѣзненная нервность, броженіе не установившихся силъ, артистичность, романтическая закваска, невыдержанность; тутъ здоровая положительность, уравновѣшенность, дѣловитость, закваска вполнѣ реалистическая, твердая выдержка; тамъ ложное положеніе, оторванность отъ блестящей барской среды, съ которой сродство сказывается въ невольныхъ инстинктахъ изящнаго, въ брезгливости ко всему грубому, къ грязи, къ сѣрой безцвѣтности плебейства; тутъ положеніе самое устойчивое, близость къ народной средѣ уже по одному происхожденію (Соломинъ—сынъ дьячка), кровное, инстиктивное сочувствіе хотя жесткимъ и темнымъ, но тѣмъ не менѣе трудовымъ качествамъ „чернаго" народа. Ту же проницательность, какую обнаружилъ Тургеневъ въ основной мотивировкѣ противорѣчій натуры Нежданова его косвеннымъ барскимъ происхожденіемъ, онъ обнариживаетъ и въ указаніи происхожденія Соломина изъ низшихъ слоевъ духовенства. Среда нашего сельскаго духовенства, особенно низшаго, очень близка къ народной средѣ, кровно соприкасается съ ея бытовымъ строемъ, и, какъ извѣстно, изъ этой среды выдвинулось не мало дѣятелей, отличавшихся именно положительностію, дѣловитостью, разсудочностью, практичностью, очень часто практичностью въ самомъ узкомъ, даже въ жестокомъ смыслѣ—въ смыслѣ кулачества, деспотической эксплоатаціи слабости ближняго. При всей честности и разсудительности своихъ стремленій, Соломинъ не лишенъ эксплоататорской сноровки, и не церемонясь пускаетъ ее въ ходъ, гдѣ нужно и когда это удобно. Вспомните, какъ онъ обработалъ Нежданова, въ сущности помогая ему, услуживая, какъ ловко онъ вырвалъ у него, что называется изъ-подъ носа, любовь красивой и умной Маріанны. Вспомните, какъ ловко онъ вывернулся изъ сѣтей агитаціи, съ которой былъ въ близкихъ, но осторож-

ныхъ сношеніяхъ, какъ ловко отдѣлался отъ безполезныхъ и опасныхъ ея предпріятій, какъ ловко перенесъ свою полезную дѣятельность на положительную и вполнѣ самостоятельную почву, переманивъ лучшихъ рабочихъ съ фабрики, гдѣ онъ служилъ механикомъ, на собственную фабрику, устроенную гдѣ-то въ Перми на „артельныхъ началахъ“. Вспомните, какъ ловко, спокойно и хладнокровно онъ, почти еще у теплаго трупа своего сотоварища, приглашаетъ невѣсту этого сотоварища „исполнить его волю“, то есть обвѣнчаться съ нимъ, Соломинымъ, и чрезъ два дня дѣйствительно обвѣнчивается съ нею. Вспомните, наконецъ, еще одну маленькую детальную черточку, но черточку чрезвычайно характеризующую положительную и хитрую практичность Соломина, предусмотрительность въ жизненныхъ мелочахъ, свойственную такъ называемымъ „тертымъ“ людямъ, предусмотрительность, посредствомъ которой такіе люди выигрываютъ всякаго рода житейскія ставки, начиная отъ денежныхъ и кончая любовными. Любопытная черточка, о которой я говорю, указана Тургеневымъ въ XXIX главѣ „Нови“, гдѣ онъ описываетъ, какъ Соломинъ устроилъ у себя на фабрикѣ въ двухъ комнатахъ влюбленную парочку—Нежданова и Маріанну. Размѣстивъ молодыхъ людей, Соломинъ подходитъ къ двери, раздѣляющей комнату Нежданова отъ комнаты Маріанны, и осматриваетъ замокъ.—Что вы тамъ смотрите? спрашиваетъ Маріанна.—А запираетъ ли ключъ? отвѣчаетъ онъ, и при этомъ бросаетъ на нее взглядъ, который заставляетъ ее потупиться. Затѣмъ Соломинъ проникается веселостью, потому что изъ отвѣта Маріанны онъ догадывается, что ея отношенія къ Нежданову платоническія, и къ тому же убѣждается, что исправность замка очень хорошая предохранительная штука на будущее время. Не правда ли, эта почти циническая предусмотрительность въ самыхъ, повидимому, мелкихъ мелочахъ, въ сущности же очень важныхъ, оттѣняетъ необыкновенно рельефно одно изъ коренныхъ свойствъ соломинской натуры: не плошать тамъ, гдѣ есть надежда самому ухватить что-либо. Да, Соломинъ типъ положительнаго „молодца“, какъ выражается о немъ съ во-

сторгомъ Паклинъ, прибавляющій, что клювъ у него тонкій, да крѣпкій за то: онъ продолбитъ".

Дѣйствительно—это типъ съ тонкимъ и крѣпкимъ клювомъ, т. е. типъ отчасти хищный, и онъ со временемъ все продолбитъ въ нашей жизни, заберется во всѣ ея сферы, а главное, въ близкую ему сферу народную и, крѣпко опираясь на нее, начнетъ ту положительную дѣятельность, которая, быть можетъ, если не въ окончательномъ результатѣ, то въ ближайшихъ своихъ практическихъ стремленіяхъ будетъ разрушительнѣе пресловутаго отрицанія, пресловутаго нигилизма, такъ ужаснувшихъ почтеннѣйшую россійскую публику въ базаровскомъ типѣ... Въ Соломинѣ невозможно отыскать ни одного малѣйшаго признака идеализма и эстетическаго начала. Соломинъ смотритъ и на жизнь, и на природу, и на любовь, и на народъ, и даже на политическую агитацію во имя свободы и пользы народа, какъ практикъ-дѣлецъ, смотритъ холодно, разсудочно, безъ всякихъ сомнѣній и отвлеченныхъ тревогъ объ общемъ значеніи всего этого. У него нѣтъ и не можетъ быть такихъ сомнѣній и тревогъ просто потому, что онъ и не заботится ни малѣйшимъ образомъ вникать въ общее значеніе вещей, а исключительно устремляется на ихъ ближайшее практическое отношеніе къ своей ближайшей дѣятельности. Его пріуроченность къ агитаціонному движенію очень мало выяснена въ романѣ, да и самая его роль какая-то наблюдательная, сторонняя, хотя онъ и „рекомендованъ" таинственнымъ главнымъ воротилою всей агитаціи, „самимъ" Василіемъ Николаевичемъ. „Соломинъ—говоритъ авторъ объ этой роли своего героя—не вѣрилъ въ близость революціи въ Россіи; но, не желая навязывать свое мнѣніе другимъ, не мѣшалъ имъ попытаться, и посматривалъ на нихъ издали, сбоку. Онъ хорошо зналъ петербургскихъ революціонеровъ—и до нѣкоторой степени сочувствовалъ имъ—ибо самъ изъ народа; но онъ понималъ невольное отсутствіе этого самаго народа, безъ котораго „ничего не подѣлаешь". Увернувшись отъ опасныхъ послѣдствій сношеній съ агитаторами, Соломинъ основываетъ свою фабрику на „артельныхъ началахъ", стало быть, онъ не

чуждъ нѣкоторыхъ „идейныхъ“ стремленій. Да, разумѣется, не чуждъ, но только стремленій чисто экономическаго характера, то есть все-таки же практическихъ, такихъ, которыя онъ называетъ „правильными предпріятіями“. „Артельное начало“ вовсе не какая-нибудь отвлеченная теорія: этимъ практическимъ началомъ могутъ пользоваться въ равной степени и самый узкій односторонній кулакъ, имѣющій въ виду только свою выгоду и не помышляющій о благѣ народа, и самый идеалистическій фантазеръ о будущемъ соціальномъ устройствѣ массъ. О наукѣ, о самоотверженномъ служеніи ей, о базаровской вѣрѣ въ нее Соломинъ не проговаривается ни однимъ словомъ. Для него, кажется, не существуетъ науки, а только техника, у которой наука должна находиться въ услуженіи. Увлеченіе любовью въ Соломинѣ отсутствуетъ. Онъ, какъ положительный человѣкъ, подыскиваетъ себѣ умную и въ мѣру красивую подругу жизни, и, усмотрѣвъ такую подходящую подругу въ Маріаннѣ, очень спокойно и хладнокровно, съ замѣчательной выдержкою и даже ловкостью отманиваетъ ее отъ Нежданова къ себѣ и достигаетъ своей, основательно задуманной цѣли...

В. Буренинъ.

* * *

*) Соломинъ—совершенная противоположность Нежданова, хотя, какъ и онъ, не вѣритъ въ планы своихъ товарищей. Онъ—натура цѣльная, здоровая, спокойная, „уравновѣшенная“. Онъ любитъ народъ, болитъ его болями, скорбитъ его скорбями; но, будучи увѣренъ, что увлечь народъ планами насильственнаго переворота невозможно, довольствуется „школами и прочимъ“ на фабрикѣ, гдѣ служитъ, а, въ концѣ концовъ, „свой заводъ имѣетъ небольшой, гдѣ-то тамъ въ Перми, на какихъ-то артельныхъ началахъ“. Въ общей картинѣ, этотъ человѣкъ, какъ частность, могъ бы занять подобающее ему мѣсто. Такіе люди бываютъ. Ихъ душевная

*) Н. Михайловскій. „Отечественныя Записки“ 1887 г., № 2. Статья, подъ названіемъ: „Записки Профана“.

жизнь представляетъ значительный интересъ. Посмотрите же, что сдѣлалъ изъ Соломина г. Тургеневъ. Желая придать его дѣятельности, очень простой и очень скромной (какъ долженъ сознавать самъ Соломинъ, если онъ, дѣйствительно, „уменъ какъ день"), многозначительный и даже нѣсколько таинственный характеръ, онъ дѣлаетъ изъ него туманную фигуру, какой-то ходячій, олицетворенный совѣтъ. Соломинъ берется всѣмъ совѣтовать, и всѣ его совѣтовъ слушаются. Самъ авторъ устами Паклина совѣтуетъ слушаться совѣтовъ Соломина. Но, вѣдь, чтобы совѣтовать, надо знать дѣло, а г. Тургеневъ его не знаетъ, слѣдовательно, и подсказать Соломину можетъ только очень немногое. Оттого и туманна фигура Соломина и даже совершенно неправдоподобна. Онъ, по рекомендаціи автора, человѣкъ честный, прямой, не виляющій, а между тѣмъ постоянно виляетъ, то есть его заставляетъ вилять самъ же авторъ—стоящій въ фальшивомъ положеніи.

Н. Михайловскій.

* * *

*) Соломинъ, сынъ дьячка, благодаря своему трудолюбію и настойчивости вышедшій въ люди. Имѣя душу мелочно-злобную, неблагородную, невеликодушную, онъ, выйдя въ люди, сохранилъ ненависть ко всему, что́ выше его, по уму ли, по образованію ли, по общественному ли положенію. Онъ ненавидитъ дворянъ не за ихъ дурныя качества, а за то, что они дворяне; онъ хорошій спеціалистъ, но круглый невѣжда во всемъ остальномъ, и это остальное, ему неизвѣстное и недоступное, онъ считаетъ ненужнымъ и безполезнымъ. Онъ революціонеръ, но революціонеръ потому, что русская жизнь оскорбляетъ его не только своими отрицательными сторонами, а всѣмъ своимъ духовныхъ складомъ, невыносимымъ и оскорбительнымъ для его мелкозлобной, черствой души. Но какъ всегда, такъ и въ дѣлѣ революціи онъ

*) Ю. Николаевъ. (Говоруха-Отрокъ). „Тургеневъ". Москва 1894 г.

остается „себѣ на умѣ“. Онъ удачно проплываетъ между Сциллой благонамѣренности и Харибдой революціи—и всегда выходитъ сухимъ изъ воды, когда другіе, болѣе экспансивные, идутъ въ тюрьму и на каторгу. Будучи революціонеромъ, онъ въ то же время и двужильный кулакъ. Онъ, какъ и Чичиковъ, „пріобрѣтатель“, „плутоватый человѣкъ“, но уже новаго, современнаго склада. Ему нуженъ не только матеріальный комфортъ, но и комфортъ нравственный: ему нужно считать себя человѣкомъ убѣжденій—и вотъ для этого-то онъ исподтишка революціонеръ, и вотъ для этого-то онъ заводитъ фабрику на „артельныхъ началахъ“. Эти „артельныя начала“—дешевая цѣна, которою онъ оплачиваетъ свой нравственный комфортъ и свои революціонныя убѣжденія. Какъ прирожденный двужильный кулакъ, онъ и здѣсь выгадалъ, и здѣсь ухитрился купить по грошевой цѣнѣ право на самоуваженіе. Онъ и въ интимныхъ дѣлахъ своихъ — тотъ же кулакъ: и Маріанну—дворянскую барышню—онъ пріобрѣтаетъ себѣ въ жены по дешевой цѣнѣ, и здѣсь, во всемъ этомъ любовномъ дѣлѣ, онъ маклеруетъ, какъ на биржѣ. Онъ не хочетъ „упустить своего“ и принимаетъ весьма реальныя мѣры, клонящіяся къ тому, чтобы интимная близость между Маріанной и Неждановымъ не зашла слишкомъ далеко. Онъ образумливаетъ барышню—Маріанну, слишкомъ уже кокетничавшую съ „революціей“—и она, такъ же, какъ и онъ, не имѣя въ душѣ своей ни великодушія ни благородства, сразу усваиваетъ его точку зрѣнія, и остается „революціонеркой“ про себя и для себя—такъ, чтобы начальство не догадалось. Соломинъ—это нѣкоторая разновидность Базарова — но въ немъ нѣтъ той грубой прямоты и грубаго самолюбія, которыя не позволяютъ Базарову хитрить и изворачиваться. Онъ умѣетъ уже совмѣстить самомнѣніе и самодовольство со всякимъ плутовствомъ, съ лукавствомъ и изворотливостью пронырливаго „идейнаго“ кулака.

Таковъ Соломинъ—и все искусство Тургенева въ банальныхъ пріемахъ идеализированія не могло придать ему иного облика. Несмотря ни на что, онъ ясенъ, и никого не ввелъ въ заблужденіе,—и вотъ Соломина-то Тургеневъ хочетъ вы-

ставить „настоящимъ героемъ“, въ противоположность своимъ прежнимъ героямъ, Лаврецкимъ, Рудинымъ, Гамлетамъ, „лишнимъ людямъ“. Но, не говоря уже о Лаврецкомъ, не говоря даже о Рудинѣ—въ Чулкатуринѣ, и въ томъ больше великодушія, благородства, возвышенности чувства и мысли, чѣмъ въ Соломинѣ. Вѣдь, предъ Лаврецкимъ и Рудинымъ Соломинъ покажется *хамомъ* и ничѣмъ больше, вѣдь, Лаврецкому и Рудину онъ годится въ расторопные управляющіе — и только, вѣдь, въ Левинѣ (*Анна Каренина*) онъ, вѣроятно, сразу бы возбудилъ то гадливое чувство, которое возбуждаетъ въ немъ кулакъ, пріѣзжающій покупать лѣсъ у Стивы Облонскаго. Такая фигура не могла плѣнить никого—и *Новь* не имѣла успѣха.

Очень понятно, какимъ процессомъ пришелъ Тургеневъ къ изображенію Соломина, какъ героя.

Въ продолженіе всей своей литературной дѣятельности, онъ искалъ „героевъ“ въ томъ броженіи, которое совершалось на поверхности русской жизни. Это западническое броженіе, совершавшееся еще подъ вліяніемъ высоко-настроеннаго нѣмецкаго идеализма, сперва давало „лишнихъ людей“ — Рудиныхъ, Шубиныхъ, Берсеневыхъ, но все мельчая и мельчая, оно, наконецъ, дало Неждановыхъ и Маріаннъ, Маркеловыхъ и Соломиныхъ. И Тургеневъ, продолжая искать своихъ „героевъ“ въ этомъ броженіи, думая, что все-таки здѣсь бьется пульсъ русской жизни, по необходимости остановился на Соломинѣ. Онъ и самому ему не симпатиченъ, у него нѣтъ къ нему сердечнаго сочувствія, какое было къ Рудину,—но что дѣлать?—изъ своего окошка онъ увидѣлъ только Соломина, и, думая, что только и свѣту, что въ окошкѣ, произвелъ его въ „героя“ и въ будущаго вершителя судебъ Россіи. Къ изображенію Соломина, какъ „героя“, привелъ Тургенева весь роковой ходъ его литературной дѣятельности,—но изображая его, какъ и другихъ героевъ *Нови*, безъ сердечнаго сочувствія, онъ написалъ романъ холодный, разсудочный, составленный изъ мозаики банальныхъ пріемовъ—и очень понятно, что такой романъ, стоящій неизмѣримо ниже таланта автора, не могъ имѣть успѣха,

не произвелъ никакого впечатлѣнія, совершенно заслоненный прежними *творческими* созданіями художника.

Ю. Николаевъ (Говоруха-Отрокъ).

* * *

*) Соломинъ вышелъ изъ народа. Писатель разсказываетъ намъ про него, что „онъ сынъ дьячка; у него было пять сестеръ—всѣ замужемъ за попами и дьяконами; съ согласія отца, степеннаго и трезваго человѣка, онъ бросилъ семинарію, сталъ заниматься математикой и особенно пристрастился къ механикѣ; попалъ на заводъ къ англичанину, который полюбилъ его, какъ сына, и далъ ему средства съѣздить въ Англію, гдѣ онъ пробылъ два года и выучился англійскому языку. Возвратившись изъ-за границы, онъ поступилъ на бумагопрядильную фабрику одного купца“.—„Да“,—скажемъ мы:—„этотъ человѣкъ не изъ московской или берлинской студенческой говорильни вышелъ, не изъ однѣхъ отвлеченно-философскихъ книжекъ уму-разуму научился: онъ, во-первыхъ, спеціальную теоретическую подготовку получилъ, а во-вторыхъ, самъ цѣлыхъ два года на станкахъ работалъ дѣло, на немъ самомъ, на самомъ живомъ дѣлѣ изучалъ,—и, конечно, не только само дѣло изучилъ, но и тѣ живыя машины, въ рукахъ которыхъ кипитъ это дѣло, и съ которыми нужно умѣть жить и работать“. И писатель по этому поводу прибавляетъ: „Хотя Соломинъ съ подчиненныхъ и взыскивалъ, потому что въ Англіи на эти порядки насмотрѣлся, но пользовался ихъ расположеніемъ: свой, дескать, человѣкъ!“ Они уважали его, какъ старшаго, и обходились съ нимъ, какъ съ равнымъ, какъ съ своимъ. А это, конечно, значитъ: Соломинъ самъ можетъ стать наравнѣ съ каждымъ рабочимъ у станка и помочь еще ему осмыслить его трудъ. Когда посѣтившій Соломинскую фабрику англійскій мануфактуристъ пришелъ въ восторгъ отъ знаній Соломина и на глазахъ рабочихъ восклицалъ: „Ка-

*) К. Чернышовъ. „Лишніе люди и женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ И. С. Тургенева“. Спб. 1896 г.

раша оу васъ эта! Оу! караша!“—рабочіе не безъ гордости говорили между собою про Соломина: „Вотъ нашъ-то каковъ! нашъ-то!“

Почти съ перваго же знакомства своего съ Соломинымъ еще у Сипягиныхъ, Неждановъ думаетъ про него: „Уравновѣшенный характеръ; обстоятельный, свѣжій, крупный человѣкъ; спокойная, крѣпкая сила; знаетъ, что ему нужно,—и себѣ довѣряетъ, и въ другихъ возбуждаетъ довѣріе“. И дѣйствительно, Соломинъ знаетъ, что ему нужно,—онъ знаетъ дѣло. Припомнимъ, какъ Соломинъ, по просьбѣ Сипягина, осматривалъ его писчебумажную фабрику. Авторъ говоритъ намъ по этому поводу: „Не только Сипягинъ, даже Коломѣйцевъ чувствовалъ, что Соломинъ на фабрикѣ, какъ дома, что ему тутъ все извѣстно и знакомо, до послѣдней мелочи, что онъ тутъ хозяинъ. Онъ клалъ руку на машину, какъ ѣздокъ на шею лошади, тыкалъ пальцемъ колесо,—и оно останавливалось или начинало вертѣться; бралъ на ладонь изъ чана того мѣсива, изъ котораго выдѣлывается бумага,—и оно тотчасъ показывало всѣ свои недостатки“. При этомъ мы должны сказать, что Соломинъ не узкій спеціалистъ механикъ-фабрикантъ,—нѣтъ: онъ заводитъ на фабрикѣ школы, больницы, онъ входитъ въ жизнь рабочаго.

Какъ все это насъ радуетъ!—„Вотъ“,—готовы мы сказать,—„настоящій, не самоломанный, не вывихнутый человѣкъ,—и человѣкъ не фразы, а дѣла, не выдуманнаго какого-нибудь дѣла, а настоящаго, жизненнаго дѣла!“

Еще больше возбуждаетъ въ насъ къ себѣ сочувствіе Соломинъ, когда мы прислушаемся къ его взгляду на Нежда-новское дѣло. Авторъ говоритъ: „Соломинъ не вѣрилъ въ близость революціи въ Россіи. Онъ хорошо зналъ петербургскихъ революціонеровъ и до нѣкоторой степени сочувствовалъ имъ, ибо былъ самъ изъ народа, но онъ понималъ, что еще долго надо готовить народъ,—да и не такъ и не тому, какъ тѣ“, т. е. революціонеры. Когда Неждановъ и Маріанна заявили ему, что они хотятъ бѣжать отъ Сипягиныхъ, чтобы скорѣе приняться за дѣло, Соломинъ говоритъ имъ: „Послушайте: если у васъ нѣтъ другой причины, то бѣжать вамъ

отсюда еще не для чего. Дѣло это еще не такъ скоро начнется, какъ вы думаете. Тутъ нужно еще нѣкоторое благоразуміе. Нечего соваться впередъ зря. Повѣрьтѣ мнѣ“. Позднѣе, уже у себя на фабрикѣ, когда Неждановъ и Маріанна преобразились въ пригородныхъ мѣщанъ, Соломинъ посмотрѣлъ на нихъ, слегка прищурясь, и вдругъ захохоталъ. Изъ всего этого достаточно ясно, что Соломинъ, строго говоря, не сочувствуетъ Неждановымъ, не сочувствуетъ ихъ способу дѣйствій, и поэтому держится въ сторонѣ,—„не какъ хитрецъ и виляка“,—говоритъ авторъ,—а какъ малый со смысломъ, который не хочетъ даромъ губить ни себя ни другихъ“. Онъ хорошо понимаетъ, что Неждановы не знаютъ истинной сущности настоящаго дѣла, совершенно не подготовлены къ нему, не умѣютъ взяться за него. Его въ особенности возмущаетъ, что они „зря суются“, вѣрнѣе: „рвутся“ впередъ, наивно думая все передѣлать въ какіе-нибудь два-три года. Въ разговорѣ съ Маркеловымъ и Неждановымъ Соломинъ замѣтилъ между прочимъ, что „есть двѣ манеры выжидать: выжидать и ничего не дѣлать,—и выжидать, да подвигать дѣло впередъ“. А когда Маркеловъ на это возразилъ: „Намъ не надо „постепеновцевъ“,—Соломинъ прямо заявилъ о себѣ, что онъ именно постепеновецъ,—но „постепеновцы до сихъ поръ шли сверху“,—прибавилъ онъ,—„а мы попробуемъ снизу“. Въ самомъ концѣ романа авторъ, устами Паклина, самъ дѣлаетъ какъ бы общее заключеніе о характерѣ и личности Соломина слѣдующими словами: „Такіе, какъ Соломинъ, они то вотъ и есть настоящіе. Это не герои: это крѣпкіе, сѣрые, одноцвѣтные, народные люди. „Теперь только такихъ и нужно! Вы смотрите на Соломина: уменъ, какъ день,—и здоровъ, какъ рыба. Какъ же не чудно! Вѣдь, у насъ до сихъ поръ на Руси какъ было: коли ты живой человѣкъ, съ чувствомъ, съ сознаніемъ,—такъ непремѣнно больной! А у Соломина сердце то, пожалуй, тѣмъ же болѣетъ, чѣмъ и наше,—и ненавидитъ онъ то же, что мы ненавидимъ,—да нервы у него молчатъ, и все тѣло повинуется, какъ слѣдуетъ... значитъ: молодецъ! Помилуйте: человѣкъ съ идеаломъ,—и безъ фразы; образованный,—и изъ народа; *простой,—и себѣ* на умѣ... Какого вамъ еще надо?..“

Не правда-ли, — лучшаго аттестата и выдать нельзя. Остается только запаковать его въ конвертъ и надписать: „Г. русскому Инсарову—Вас. Ѳедот. Соломину,—человѣку почвы и дѣла, безъ фразы и молодцу“. Но мы еще не подписали этого аттестата; подписать же его по-Фамусовски у насъ рука не поднимается: мы непремѣнно должны разсмотрѣть и сличить съ тѣмъ, кому онъ выдается.

Если мы сами подведемъ итогъ тому, что мы успѣли на протяженіи всего романа узнать о Соломинѣ, то окажется, что,—по увѣренію автора,—школа, больницы, нравственное сближеніе съ народомъ, черная работа культуры, вродѣ расчесыванія волосъ шелудивому мальчику—вотъ практическія стремленія Соломина, а то, о чемъ мечтаютъ герои-народолюбцы, вызываетъ у Соломина одно лишь чувство состраданія. Авторъ говоритъ намъ, что Соломинъ просвѣщаетъ народъ, облегчаетъ ему условія труда, лѣчитъ его отъ нравственныхъ и физическихъ недуговъ. Онъ превосходно знаетъ крестьянъ, и въ то же время онъ выученикъ европейской цивилизаціи. Однимъ словомъ,—какого же еще вамъ надо?“—повторимъ мы восклицаніе Паклина.

— Конечно, конечно. Но слѣдуетъ обратить вниманіе вотъ на что: собирая на страницахъ романа характерныя черты Соломина, мы неоднократно употребляли выраженія: „по увѣренію автора“,—„какъ говоритъ намъ авторъ“,—и это очень важное обстоятельство. Въ романѣ мы не находимъ положительно ни одной сцены, въ которой мы могли бы видѣть почтеннѣйшаго Василія Ѳедотыча неговорящимъ только, а дѣйствительно дѣлающимъ то, что онъ самъ говоритъ о себѣ, а еще больше—что говорить о немъ самъ авторъ. Мы, искушенные горькимъ опытомъ судьбы нашихъ Рудиныхъ, окончательно, вѣдь, извѣрились въ слова, какъ бы они просто и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокомысленно ни были сказаны. Мы невольно готовы сказать Соломину: „Василій Ѳедотычъ! мы не имѣемъ основанія вамъ не довѣрять, но все-таки позвольте взглянуть, какъ это у васъ выходитъ на дѣлѣ,—и прежде всего ради того, чтобы поучиться у васъ уму-разуму“. Соломинъ же,—по крайней мѣрѣ, на страницахъ романа,—не

въ состояніи удовлетворить наше вполнѣ законное желаніе. За него какъ бы выступаетъ впередъ авторъ и говоритъ намъ: „Смѣю васъ увѣрить, господа, что мой Вас. Ѳедот. именно таковъ и именно все такъ и дѣлаетъ, какъ я вамъ докладываю“. Но, вѣдь, этими авторскими увѣреніями мы удовлетвориться не можемъ и въ отвѣтъ на нихъ все же скажемъ: „Вы намъ на дѣлѣ все покажите, и тогда мы не только признаемъ вашего Соломина настоящимъ человѣкомъ, но и пойдемъ за нимъ“. Еще больше укрѣпляется въ насъ сомнѣніе относительно художественной правдивости Соломина, какъ общественнаго типа, когда мы обратимъ вниманіе хотя бы на слѣдующіе два факта: во-первыхъ, какъ это Соломинъ,—такой, какимъ его старается отрекомендовать авторъ,—можетъ серьезно слушать, даже какъ бы съ уваженіемъ, по истинѣ дѣтски-наивные разговоры Нежданова и Маріанны; во-вторыхъ, какъ это онъ не удерживаетъ Нежданова отъ рискованной, а главное—безцѣльной пропаганды въ народѣ?

Все это, конечно, происходитъ оттого, что, подобно Нежданову, образъ Соломина не данъ въ своемъ цѣломъ самою жизнью, а созданъ,—если не сказать: сочиненъ,—писателемъ по заранѣе обдуманному плану. А замыселъ автора намъ уже извѣстенъ: Неждановъ своей печальной судьбой, во что бы то ни стало, долженъ посрамить молодыхъ мечтателей-народолюбцевъ, какъ защитниковъ извѣстнаго политическаго идеала; Соломинъ же, въ противоположность Нежданову, долженъ воплотить въ своей личности „положительныя стремленія сильнѣйшей и разумнѣйшей части русской молодежи“. Съ такимъ именно заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ и приступилъ нашъ писатель не „къ созданію“,—скажемъ мы,—а „къ искусственной формировкѣ,—и не общественныхъ типовъ, а только героевъ своей заранѣе обдуманной, а не изъ жизни выхваченной картины. И получилось то, что должно было въ подобномъ случаѣ получиться: въ Соломинѣ, какъ и въ Неждановѣ, мы не можемъ признать жизнью даннаго человѣка,—по крайней мѣрѣ, въ томъ смыслѣ, какъ напр., Рудина.

К. Чернышовъ.

*
* *

*) Ни въ Соломинѣ ни въ Маріаннѣ нѣтъ ничего трагическаго потому, что это натуры ясныя, уравновѣшенныя, чистыя души, золотыя сердца,—что ни въ запросахъ ихъ ума, ни въ глубинѣ ихъ души нѣтъ внутренняго разлада, нѣтъ ничего „самоломаннаго". Цѣль жизни имъ ясна. Они знаютъ, чего хотятъ, что имъ нужно, и будутъ вполнѣ счастливы, если имъ удастся устроить свою жизнь въ духѣ своихъ завѣтныхъ стремленій. Но они счастливы и въ самыхъ поискахъ, и если бы имъ пришлось среди этихъ исканій погибнуть, они бы умерли съ покойной совѣстью, съ отраднымъ сознаніемъ, что хотѣли добра, стремились къ хорошему и—зла не дѣлали. Внутренній миръ—вотъ то, довольно рѣдкое для людей неограниченныхъ, счастье, которымъ, по самой натурѣ своей, обладаютъ и Соломинъ и Маріанна, и котораго лишенъ Базаровъ.

И вотъ почему въ „прохладной" и мужественной душѣ Соломина—нѣтъ трагедіи, какъ нѣтъ ея и въ страстной женственной душѣ Маріанны...

Созерцаніе этого художественнаго образа должно было доставлять Тургеневу большое душевное удовлетвореніе, все равно какъ если бы онъ въ самомъ дѣлѣ встрѣтилъ такого человѣка. Ибо это—тотъ самый человѣкъ, котораго Тургеневъ искалъ и для себя лично и для Россіи. Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что Тургеневъ въ самомъ дѣлѣ былъ убѣжденъ въ необходимости для Россіи дѣятелей соломинскаго типа... Соломина нашелъ, полюбилъ и оцѣнилъ Тургеневъ-гражданинъ. Но и *лично*, какъ человѣкъ, Тургеневъ *нуждался* въ Соломинѣ; онъ находилъ въ немъ гармоническое восполненіе себѣ. Дворянинъ и баринъ, немножко баловень, немножко диллетантъ, Тургеневъ встрѣчалъ въ Соломинѣ лучшій образецъ „народнаго" человѣка, закаленнаго въ суровой школѣ трудовой жизни. Самъ умница, но умница—художникъ, теоретикъ, идеалистъ, Тургеневъ находилъ

*) Д. Овсянико-Куликовскій. „Этюды о творчествѣ И. С. Тургенева". Харьковъ. 1896 г.

въ Соломинѣ умницу-практика, реалиста, представителя прикладного—въ обширномъ смыслѣ—труда. Самъ лишенный инициативы и неспособный къ дѣйствію, натура по преимуществу созерцательная, художникъ видѣлъ въ Соломинѣ отрадный примѣръ дѣятеля-нефантазера, который не только знаетъ, что можно и должно дѣлать, но и умѣетъ дѣлать это. Наконецъ, художникъ-мыслитель съ душою, столь доступною міровой скорби, съ умомъ, терзаемымъ противорѣчіями бытія, находилъ душевное успокоеніе въ общеніи съ натурою, которая, при своеобразной возвышенности и глубинѣ, чужда этимъ вопросамъ и скорбямъ, и беретъ жизнь, какъ она есть, не мудрствуя лукаво и сама ничуть не становясь оттого пошлою. Пессимисту отрадно было отдохнуть отъ своихъ душевныхъ мукъ на созерцаніи,—на усвоеніи себѣ здороваго, свѣтлаго оптимизма, представляемаго Соломинымъ.

Не знаю, имѣлъ ли Тургеневъ для изображенія Соломина въ своемъ распоряженіи „натуру“ (какъ для Базарова),—встрѣчалъ-ли онъ людей соломинскаго типа. Но несомнѣнно одно: отдѣльныя, разрозненныя черты этого типа хорошо были извѣстны ему: онъ ихъ неоднократно могъ наблюдать въ великорусскомъ народѣ. Такъ-называемая „сметка“ и „себѣ на умѣ“, характерная черта великорусса, немного идеализированная, расширенная, облагороженная образованіемъ, легко претворяется въ умъ Соломина. Способность и любовь ко всему прикладному, техническому, практическій смыслъ, наконецъ, своеобразный дѣловой идеализмъ—все это народныя великорусскія черты, и Соломинъ—вѣрный ихъ представитель.

Первыя впечатлѣнія и наблюденія, которыя впослѣдствіи должны были дать матеріалъ или отправныя точки для созданія Соломина, были собраны Тургеневымъ еще въ раннюю пору его творчества, когда онъ присматривался къ народнымъ типамъ и старался уловить характерную складку великорусскаго народнаго ума. Нѣкоторыя изъ этихъ наблюденій и пригодились ему—когда онъ впервые обдумывалъ типъ Соломина. Такимъ образомъ, я склоненъ думать, что

между „Записками Охотника“, этой по преимуществу народной великорусской книгою, и созданіемъ фигуры Соломина есть нѣкоторая связь, хотя, быть можетъ, самъ художникъ и не сознавалъ ея. Если бы у Тургенева было такое пристрастіе къ генеалогіямъ, какъ у Золя, и онъ, подобно послѣднему, устанавливалъ бы родственныя связи между своими героями съ цѣлью показать передачу наслѣдственныхъ чертъ, то онъ могъ бы смѣло вывести Соломина изъ рода однодворца Овсянникова, сдѣлавъ его, напр., внукомъ его племянника—Мити.

Д. Овсянико-Куликовскій.

* * *

*) Великое значеніе, какое Тургеневъ придаетъ личности Соломина, ясно съ перваго же появленія этого героя на сцену. Это впечатлѣніе—силы и неотразимой привлекательности. Отъ насмѣшника и скептика Паклина до убогой Ѳимушки всѣ чувствуютъ, что предъ ними существо высшей породы. Фабричные искренно любятъ его и глубоко уважаютъ и въ то же время считаютъ своимъ. Его личность до такой степени внушительна и могущественна, что даже сановникъ Сипягинъ и необыкновенно ловкая барыня—его супруга—теряются предъ „этимъ фабричнымъ“, а язвительный и примѣрно нахальный Коломѣйцевъ рядомъ съ Соломинымъ напоминаетъ какого-то жалкаго, придавленнаго гада. Самый честный и сердечный человѣкъ въ романѣ—Маріанна—съ первой же минуты безсознательно подчиняется обаянію нравственной мощи, душевной простоты и яснаго спокойнаго ума этого удивительнаго самородка. Нежданову, всегда въ душѣ искреннему и правдивому, ничего не остается, какъ самому же раздѣлять чувства Маріанны къ Соломину, указывать ей на него, какъ на достойнаго спутника ея жизни.

„Честь и мѣсто!“ шепчетъ онъ про себя, когда Соломинъ проходитъ въ комнату Маріанны.

*) И. Ивановъ. „Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ“. Снб. 1896 г.

Эти слова относятся къ побѣдѣ Соломина надъ Неждановымъ не только въ *романѣ*, но, что гораздо важнѣе, и въ *революціи*. Нежданов долженъ отступить „на всѣхъ пунктахъ“ и дать мѣсто дѣйствительной нравственной силѣ и настоящему политическому уму.

Романическая роль Соломина не представляетъ психологическаго интереса. Доброе сердце, ясная энергическая мысль, непреодолимая сила воли,—все это основныя черты идеальнаго героя для тургеневской женщины, и Маріанна совершенно естественно идетъ за Соломинымъ, какъ Елена пошла за Инсаровымъ.

Гораздо сложнѣе вопросъ о Соломинѣ, какъ общественномъ дѣятелѣ, какъ о выразителѣ извѣстныхъ общественныхъ политическихъ взглядовъ. На этой сторонѣ прежде всего была сосредоточена творческая работа автора, потому что Соломинъ долженъ воплотить въ своей личности *положительныя стремленія* сильнѣйшей и разумнѣйшей части русской молодежи.

Что именно Соломину, по замыслу автора, предназначена эта роль, ясно изъ самыхъ краснорѣчивыхъ сопоставленій.

Мы знаемъ жестокія нападки Тургенева на геніальничающихъ юношей, на самообожателей-фразеровъ и его напутствія подвижникамъ будничнаго труда. Въ концѣ „Нови“ тѣ же рѣчи говорятся по поводу Соломина. Говоритъ ихъ Паклинъ, играющій въ романѣ роль шута въ старинномъ смыслѣ слова, т.-е. высказывающій многіе личные взгляды автора.

Машурина не понимаетъ натуры Соломина, чуждой всякаго внѣшняго эффекта и шума, и Паклинъ горячо протестуетъ. Рѣчь его достойна полнаго вниманія: каждое выраженіе въ ней соотвѣтствуетъ открытымъ личнымъ заявленіямъ самого автора.

„Вы вотъ о Соломинѣ отозвались сухо. А знаете ли, что я вамъ доложу? Такіе, какъ онъ—они-то вотъ и суть настоящіе. Ихъ сразу не раскусишь, а они настоящіе, повѣрьте, и будущее имъ принадлежитъ. Это—не герои; это даже не тѣ „герои труда“, о которыхъ какой-то чудакъ, американецъ или англичанинъ, написалъ книгу для назиданія насъ, убо-

гихъ; это — крѣпкіе, сѣрые, одноцвѣтные, народные люди. Теперь только такихъ и нужно! Вы смотрите на Соломина: уменъ, какъ день, и здоровъ, какъ рыба... Какъ же не чудно! Вѣдь, у насъ до сихъ поръ ни души не было: коли ты живой человѣкъ, съ чувствомъ, съ сознаніемъ, такъ непремѣнно ты больной! А у Соломина сердце-то, пожалуй, тѣмъ же болѣетъ, чѣмъ и наше, и ненавидитъ онъ то же, что мы ненавидимъ, да нервы у него молчатъ, и все тѣло повинуется; какъ слѣдуетъ... значитъ: молодецъ! Помилуйте: человѣкъ съ идеаломъ—и безъ фразы; образованный—и изъ народа; простой—и себѣ на умѣ... какого вамъ еще надо“...

Слѣдовательно, Соломинъ идеальная противоположность излюбленныхъ тургеневскихъ отрицательныхъ типовъ изъ образованнаго класса—лишнихъ людей и краснобаевъ на идейныя темы, жертвъ среды и героевъ эффекта.

Практическія стремленія Соломина, дѣйствительно, совершенно другія, чѣмъ русскихъ Гамлетовъ и преобразователей. Мы слышали объ этихъ стремленіяхъ отъ автора задолго до появленія *Нови:* школа, больница, нравственное сближеніе съ народомъ, черная работа культуры, вродѣ расчесыванья волосъ шелудивому мальчику... А то, о чемъ мечтаютъ герои, вызываетъ у Соломина одно лишь чувство состраданія, и здѣсь его рѣчь будто продолженіе рѣчей Потугина.

Соломинъ говоритъ о Маркеловѣ:

„Въ этомъ дѣлѣ, что *онъ* затѣялъ, не только первые и вторые погибнутъ, но и десятые... и двадцатые...“

Потугинъ возводитъ эту мысль въ общій принципъ современной общественной дѣятельности.

„Въ томъ-то и штука,—говоритъ онъ,—что нынѣшняя молодежь ошиблась въ разсчетѣ. Она вообразила, что время прежней темной подземной работы прошло, что хорошо было старичкамъ отцамъ рыться на подобіе кротовъ, а для насъ-де эта роль унизительна, мы на открытомъ воздухѣ дѣйствовать будемъ... Голубчики! и ваши дѣтки еще дѣйствовать не будутъ; и вамъ не угодно ли въ норку, въ норку, опять по слѣдамъ старичковъ“.

Старичками, конечно, Потугинъ называетъ людей своего

поколѣнія, т. е. дѣятелей, работавшихъ ради великихъ реформъ. Соломинъ идетъ по слѣдамъ этихъ дѣятелей: онъ просвѣщаетъ народъ, облегчаетъ ему условія труда, лечитъ его отъ нравственныхъ и физическихъ недуговъ. Онъ превосходно знаетъ крестьянъ и въ то же время самъ выученикъ европейской цивилизаціи, готовъ, гдѣ требуетъ практическая польза и нравственный долгъ, свое дурное замѣнить европейскимъ хорошимъ и разумнымъ.

И этотъ фактъ вполнѣ соотвѣтствуетъ личному идеалу Тургенева. Для него опытъ европейской культуры—неизбѣжная школа русскаго просвѣщеннаго человѣка и всего общества. Народность и цивилизація—два краеугольныхъ тургеневскихъ понятія — въ совершенной гармоніи воплощаются Соломинымъ, и ему „честь и мѣсто“...

Но всѣ наши указанія до сихъ поръ только черты извѣстнаго міросозерцанія, отдѣльные параграфы общественной программы. Для выясненія теоріи этого достаточно, но для героя художественнаго романа безусловно мало: помимо идей, требуется *личность*, плоть и кровь, облекающія отвлеченное содержаніе цѣльной реальной жизнью.

Когда вышла первая часть романа, Тургеневъ писалъ: „въ этой первой части Соломинъ—*главное* лицо, едва очерченъ“ *). Слѣдовало ожидать, что во второй части будетъ восполненъ пробѣлъ. Но драма Неждановa занимаетъ всю сцену, на долю Соломина остается весьма мало „мѣста“, хотя и много „чести“: его всѣ слушаютъ и всѣ предъ нимъ благоговѣютъ. Не за идеи, конечно: Павелъ, Татьяна въ идеяхъ неповинны, Маріанна ихъ пока не знаетъ вполнѣ, Неждановъ съ ними не согласенъ. Слѣдовательно, *личность* Соломина производитъ такое волшебное дѣйствіе, но ея-то мы и не видимъ. Она нѣчто въ родѣ луннаго притяженія. О силѣ его можно судить только по морскимъ приливамъ, т.-е. по *отраженному дѣйствію*, а собственно на луну сколько угодно можно смотрѣть и не подозрѣвать ея могущества у насъ на землѣ. То же самое и Соломинъ.

*) *Письма*, 309.

„Отчего ему люди такъ преданы?“ —спрашиваетъ Маріанна у Нежданова, и не получаетъ отвѣта. Не получаемъ и мы— не отъ Нежданова, а отъ самого автора, хотя для насъ дѣло не въ прямомъ, словесномъ отвѣтѣ, а въ *общемъ психологическомъ впечатлѣніи*.

Оно—тревожно, смутно и безжизненно. Соломина мы видимъ будто въ перспективѣ, по тѣни, которая падаетъ отъ его мощной личности. И происходитъ это отъ очень простой причины.

Мы не видимъ Соломина живущимъ и дѣйствующимъ, а только говорящимъ—и то крайне мало. Правда, такіе люди неразговорчивы, но отчего бы намъ, напримѣръ, не знать со всѣми подробностями сцены, описанной въ слѣдующихъ лаконическихъ словахъ?

Соломинъ у Маркелова „почти все молчалъ“ —„разъ только разсердился не на шутку и такъ ударилъ своимъ могучимъ кулакомъ по столу, что все на немъ подпрыгнуло, не исключая пудовой гирьки, пріютившейся возлѣ чернильницы. Ему разсказали о какой-то несправедливости на судѣ, о притѣсненіи рабочей артели“...

Со стороны человѣка „прохладнаго“ этотъ эпизодъ довольно неожиданенъ,—и врывается онъ въ разсказъ какъ-то странно, оставляетъ впечатлѣніе штриха, искусственно придуманнаго „для оживленія картины“. И такое впечатлѣніе объясняется тѣмъ, что мы не знаемъ Соломина, авторъ не раскрылъ намъ его души настолько, чтобы мы могли сразу освоиваться съ его дѣйствіями и рѣчами. Въ теченіе всего романа мы только наблюдаемъ, *какъ* проявляется Соломинъ, но *что* именно проявляется въ Соломинѣ — мы не знаемъ до конца, и отзывъ Паклина о немъ читаемъ почти съ тѣмъ же впечатлѣніемъ новизны, съ какимъ встрѣтили впервые самого Соломина. Прошла по нашему горизонту какая-то громадная тѣнь, бросилъ её на насъ человѣкъ будущаго, представитель цѣлой общественной полосы, которой и конца не видно; такъ насъ увѣряетъ авторъ... И могъ ли онъ послѣ этого отдать сцену своего романа другому, заранѣе осужденному на безпомощную гибель, т. е. агоніи и смерти,

и человѣка жизни и побѣды показать только въ видѣ контраста жалкому мечтателю?

Это могло произойти отчасти по обстоятельствамъ, не имѣющимъ ничего общаго съ намѣреніями и творческой силой автора, но, несомнѣнно, есть и другія причины.

Мы только-что указали на сцену, повергающую насъ въ нѣкоторое недоумѣніе. Такихъ сценъ въ романѣ не одна. Напримѣръ, какъ объяснить слѣдующее: Соломинъ—дѣятель съ прямыми и окончательно опредѣлившимися взглядами — можетъ слушать „даже съ уваженьемъ“ разговоры такихъ глубокомысленныхъ революціонеровъ, какъ Нежлановъ и Маркеловъ, и о чемъ же?—„какъ приступить, какъ привести планъ въ дѣйствіе!..“ Молчать еще возможно изъ вѣжливости, или—съ совершенно естественной соломинской точки зрѣнія—изъ сострадательнаго пренебреженія, но—чувствовать уваженіе! И это при умѣ Соломина, при его способности въ одно мгновеніе понимать людей и обстоятельства!..

Очевидно, авторъ грѣшитъ въ сторону излишняго добросердечія Соломина, доходя до предѣловъ комической наивности.

Дальше. Соломинъ съ перваго взгляда чувствуетъ „участіе, почти нѣжность“ къ Нежданову, отлично знаетъ весь безумный и безцѣльный рискъ его пропаганды, не можетъ не видѣть и своего авторитета надъ нимъ, и все-таки, безъ малѣйшихъ возраженій, совѣтовъ—допускаетъ его продѣлывать водевильные, но по существу трагическіе опыты въ теченіе нѣсколькихъ недѣль. Положимъ, слѣдуетъ дать возможность молодому человѣку поучиться, „понюхать немножко воздуха,“ но за чѣмъ же изъ науки дѣлать своего рода крестный путь? Маріанну, вѣдь, убѣждаетъ Соломинъ и съ ней онъ очень „разговорчивъ“—не потому ли, что ее „очень любитъ“, а къ Нежданову только чувствуетъ „участіе?“ Относительно разговорчивости, впрочемъ, это подтверждаетъ и самъ Соломинъ. Слѣдовательно, выводъ ясенъ: у Соломина отнюдь не такая высокая душа, какъ это кажется большинству героевъ романа и самому автору. На такой выводъ авторъ, конечно, не разсчитавалъ. Не погрѣшилъ ли онъ

слишкомъ относительно соломинскаго „уравновѣшеннаго характера“, „спокойной крѣпкой силы“, доведя ее почти до предѣловъ безчувствія или очень тонкой политики?

Въ самомъ дѣлѣ,—если Тургенева обвиняли за карточныя неудачи Базарова, насколько же естественнѣе можно заподозрить Соломина въ разсчетѣ путемъ невмѣшательства, или, по современному, „непротивленія злу“—отдѣлаться отъ Неждановa и пріобрѣсти себѣ невѣсту въ лицѣ дѣвушки, которую онъ „очень любитъ“?

При нѣкоторомъ желаніи доказать эту мысль, можно набрать не мало фактовъ. Прежде всего Неждановъ прямо говоритъ Маріаннѣ: „Я мѣшаю тебѣ... ему“... Потомъ Соломинъ, едва скончался Неждановъ, немедленно приглашаетъ Маріанну:

„Все готово, Маріанна; поѣдемъ. Надо исполнить его волю“...

И свадьба совершается.

А потомъ такія художественно отмѣченныя авторомъ мелочи какъ, напримѣръ, осмотръ Соломинымъ замка у двери Маріанны и вопросъ: „Запираетъ ли ключъ“,—вопросъ настолько многозначительный, что заставляетъ Маріанну прошептать отвѣтъ и долго не поднимать глазъ...

Все это при обычной сдержанности и джентльменствѣ Соломина выходитъ очень краснорѣчиво и даже эффектно, и искусному адвокату не стоило бы большого труда обвинить Соломина въ трагической участи Нежданова.

Мы отнюдь не имѣемъ въ виду этой цѣли, потому что твердо убѣждены въ идеальной роли Соломина, какъ героя романа, и какъ человѣка, по представленію автора. Мы только хотимъ указать, на какой шаткой почвѣ построена роль, какъ не опредѣленны и часто двусмысленны черты, составляющія замѣчательную личность „*главнаго* героя“. Таковъ можетъ быть результатъ двухъ причинъ: или авторъ, всегда творившій на основаніи наблюденій, не имѣлъ предъ глазами достаточно яркаго и совершеннаго прототипа, или не успѣлъ свои наблюденія и идеи слить въ цѣльный живой образъ.

П. Ивановъ.

Маріанна.

*) Героиня „Нови“ Маріанна „сдѣлана“ Тургеневымъ и притомъ сдѣлана въ прикрашенномъ видѣ, кажется, не соотвѣтствующемъ той дѣйствительности и той средѣ, типическою представительницею которыхъ она, по замыслу автора, должна служить. Какъ и въ компановкѣ образа Елены, нашъ художникъ для созданія или, скорѣе, сочиненія образа Маріанны, прихватилъ много красокъ у иностранныхъ беллетристовъ. Точно такъ же, какъ и героиня романа „Наканунѣ“, Маріанна, если разсмотрѣть повнимательнѣе ея сущность, представляетъ собою очень сомнительную гражданку, тѣмъ болѣе революціонерку. Всѣ ея циническіе замыслы сводятся на то, что она порываетъ связь съ барской средой, въ которой находилась въ зависимомъ и тяжеломъ положеніи, и уходитъ за агитаторомъ, къ которому почувствовала влеченіе. Всѣ ея стремленія къ „опрощенію“ и всѣ ея агитаторскіе подвиги исчерпываются тѣмъ, что она переодѣвается въ простонародный костюмъ да, въ качествѣ мнимой „чумички“, „моетъ горшки и шиплетъ куръ“, какъ посовѣтовалъ ей это дѣлать Соломинъ, въ видѣ подготовки къ „спасенію отечества“. Все это, конечно, скорѣй забавно, чѣмъ героично.

В. Буренинъ.

* * *

**) Отецъ Маріанны былъ сосланъ за позаимствованіе изъ казеннаго сундука въ Сибирь. Дядя Сипягинъ пріютилъ Маріанну у себя, но она всегда тяготилась этимъ покровительствомъ, съ болью помнила, что она—„дочь обезчещеннаго отца“, что она живетъ изъ милости, и что госпожа Сипягина есть ея „покровительница“, хотя и „невольная“. И вотъ эта гордая, оскорбленная, озлобленная дѣвушка, представля-

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.
**) Н. Михайловскій. „Отечественныя записки“. 1877 г., № 2. Статья подъ названіемъ: „Записки Профана“.

ющая нѣчто въ родѣ кучи горючаго матеріала, которая ждетъ только искры со стороны, чтобы вспыхнуть— сталкивается съ Неждановымъ, тоже гордымъ, оскорбленнымъ и озлобленнымъ. Въ одну изъ своихъ свѣтлыхъ минутъ, Неждановъ, подмываемый любовью къ Маріаннѣ и вообще „взвинченный“, какъ выражается объ немъ г. Тургеневъ, краснорѣчиво, съ жаромъ раскрываетъ свои революціонные тайны и планы... Съ этой минуты Маріанна становится ревностнымъ адептомъ ученій кружка Нежданова, доходя при этомъ даже до совершенной глупости, потому что впослѣдствіи постоянно пристаетъ къ Соломину: когда же вы насъ пошлете? да скоро ли вы намъ прикажете идти? А тому и посылать некуда и приказывать нечего! Какъ бы то ни было, но вотъ единственное мѣсто во всемъ романѣ, гдѣ г. Тургеневъ пытается выяснить интересный моментъ пробужденія извѣстныхъ стремленій. Не много. Но и это немногое сводится, въ концѣ концовъ, къ случайнымъ обстоятельствамъ личной жизни Маріанны, къ ея несчастной семейной обстановкѣ.

Н. Михайловскій.

*
* *

*) Въ „Нови“ мы опять встрѣчаемъ излюбленный типъ Тургенева,—типъ русской женщины, рвущейся въ широкій и дальній кругъ дѣятельности, видимъ новую Елену, какъ будто бы отыскавшую себѣ русскаго Инсарова... Маріанна вмѣстѣ съ Неждановымъ надѣваетъ народное платье, чтобы въ самомъ дѣлѣ совсѣмъ *опроститься*, а этотъ неблагодарный народъ видитъ въ нихъ только ряженыхъ! Остается только ожесточиться противъ этого низкаго народа вмѣстѣ съ „великимъ“ Губаревымъ, вмѣстѣ съ нимъ завопить: „мужичье поганое!.. бить ихъ надо!“—Да, надо бить, тузить—за то, что они не осмѣливаются идти за нами. Но на это, разумѣется, неспособна Маріанна, неспособенъ и ея бѣдный

*) О. Миллеръ. „Женскіе образы у Тургенева“. „Русское Богатство“ 1883 г. № 12. Также „Русскіе писатели послѣ Гоголя“. Спб. 1890 г.

радикальный Гамлетъ. Напрасно онъ увѣряетъ ее, что „ложь была въ немъ (въ его, какъ выражается онъ, *эстетикѣ*), а не въ томъ, чему она вѣритъ“. Нѣтъ, ложь и въ томъ, во что вѣритъ она, во что вѣрилъ, но пересталъ уже вѣрить и онъ—во всей постановкѣ ихъ отношеній къ народу. А вѣрить онъ пересталъ потому, что это ихъ *то*—не инсаровское. Оно не придаетъ крѣпости, почерпнутой Инсаровымъ лишь въ увѣренности, что „послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Болгаріи и онъ—желаютъ одного и того же“.

Со смертью Нежданова Маріаннѣ остается Соломинъ — указавшій ей на „шелудиваго мальчика“. Самъ же онъ — артельный дѣятель на фабрикѣ, т. е. своего рода, только съ русской фамиліей, Гончаровскій Штольцъ, въ то же время однако заигрывающій съ „пропагандою“. Но если онъ все же Штольцъ,—т. е. въ немъ слишкомъ уже выдается практическая жилка, то не должна ли Маріанна оказаться новою, цѣлою головою его переросшею, Ольгою? Не даромъ же самъ Соломинъ говоритъ Маріаннѣ: „Всѣ вы, русскія женщины, дѣльнѣе и выше насъ мужчинъ“.

Въ этомъ случаѣ устами его говоритъ, конечно, самъ Тургеневъ. Но—странное дѣло—онъ постоянно заставляетъ русскую женщину искать себѣ опоры въ какомъ-нибудь Онѣгинѣ! Правда, Одинцова въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ слишкомъ горда, чтобы искать себѣ въ комъ-нибудь опоры, но за то, вѣдь, у нея, по ея словамъ, и „цѣли нѣтъ“; ей за то „и не хочется идти“, въ ней „нѣтъ желанія, охоты жить“, до того она „себя заморозила“, по словамъ Базарова.

О. Миллеръ.

* * *

*) Такъ же, какъ Неждановъ, случайнымъ явленіемъ въ массѣ революціонной молодежи оказывается и Маріанна. Напрасно Тургеневъ противопоставляетъ Маріанну ея теткѣ, Валентинѣ Михайловнѣ Синягиной,—онѣ обѣ сдѣланы изъ

*) Ю. Николаевъ. (Говоруха-Отрокъ). „Тургеневъ“. Москва 1894 г.

одного тѣста, обѣ движутся пружинами мелочнаго самолюбія и тщеславія, обѣ болѣе всего дорожатъ всяческимъ комфортомъ. И если Маріанна увлекается новыми идеями и новыми людьми, то лишь потому, что ея эгоизмъ, тщеславіе и самолюбіе, вслѣдствіе особенныхъ обстоятельствъ ея жизни, получили направленіе въ эту сторону. Тургеневъ совершенно понималъ, что дѣвушку, воспитанную въ атмосферѣ Сипягинскаго дома, могли толкнуть въ революцію только особыя обстоятельства. Особыми обстоятельствами онъ и объясняетъ исторію Маріанны.

„Положеніе Сенецкой (фамилія Маріанны) въ домѣ Сипягиныхъ было довольно тяжелое“, читаемъ мы въ романѣ.— „Ея отецъ, очень умный и бойкій человѣкъ полупольскаго происхожденія, дослужился до генеральскаго чина, но сорвался вдругъ, уличенный въ громадной казенной кражѣ; его судили... осудили, лишили чиновъ, дворянства, сослали въ Сибирь. Потомъ простили... вернули. Но онъ не умѣлъ выкарабкаться вновь, и умеръ въ крайней бѣдности. Его жена, родная сестра Сипягина, мать Маріанны (кромѣ нея у нея не было дѣтей)—не перенесла удара, разгромившаго все ея благосостояніе, и умерла вскорѣ послѣ мужа. Дядя Сипягинъ пріютилъ Маріанну у себя въ домѣ. Но жить въ зависимости было ей тошно; она рвалась на волю всѣми силами неподатливой души—и между ея теткою и ею кипѣла постоянная хотя скрытая борьба“.

Маріанна — дѣвица недалекая, умственно-ограниченная, но себѣ на умѣ, натура бездарная, вся проѣденная насквозь тупымъ самолюбіемъ, тщеславная до болѣзненности, завистливая и мелочно-злобная: это нѣкоторая разновидность Елены изъ *Наканунѣ*—но совершенно уже противная. Пококетничавъ съ революціей, она „пристраивается“, выйдя замужъ за Соломина—такъ что въ картинѣ „хожденій въ народъ“ не играетъ почти никакой роли.—

Ю. Николаевъ (Говоруха-Отрокъ).

* * *

*) Въ Маріаннѣ изъ „Нови“ мы видимъ то же стремленіе къ широкой альтрюистической дѣятельности, ту-же жажду дѣятельнаго добра, передъ которой смолкаетъ все личное эгоистическое. Маріанна смѣшна въ своемъ нарядѣ „опростѣлой“ женщины,—она наивна въ своемъ незнаніи народа и во взглядѣ на тѣ средства, которыми она намѣрена пользоваться, идя на служеніе народу, — но она, несомнѣнно, возвышается надъ всѣми нашими россійскими гамлетами, начиная съ Нежданова, той вѣрой, съ которой она отдается своему дѣлу, той цѣльностью стремленій, которая не знаетъ колебаній, той стойкостью убѣжденій и намѣреній, которая отражается въ каждомъ ея отдѣльномъ поступкѣ.

К. Чернышовъ.

Сипягинъ.

**) Какъ живой встаетъ передъ вами этотъ „важный сановникъ“, съ виду такой благовоспитанный, приличный, такой гумманный и краснорѣчиво-либеральный, а въ сущности сухой и безсердечный эгоистъ, влюбленный въ себя Нарциссъ, вѣчно позирующій,—позирующій даже за семейными обѣдами съ глазу на глазъ съ своей Мадонной, свободный отъ всякихъ идей и убѣжденій, безъ всякаго внутренняго содержанія, заискивающій передъ „власть имѣющими“, лицемѣрно-льстивый съ нужными людьми и нахально-грубый съ низшими или съ тѣми, кто пересталъ быть ему нужнымъ. Онъ воображаетъ себя образцовымъ хозяиномъ и въ то же время не имѣетъ о хозяйствѣ ни малѣйшаго понятія, и думаетъ только о томъ, какъ бы загрести жаръ чужими руками. Онъ считаетъ себя хорошимъ отцомъ, но въ сущности всѣ его отеческія отношенія сводятся къ пустозвоннымъ фразамъ о „пользѣ науки“ и о необходимости служенія, „во-

*) К. Чернышовъ. „Лишніе люди и женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ И. С. Тургенева“. Спб. 1896 г.

**) П. Никитинъ (П. Ткачовъ). „Дѣло“ 1887 г., № 2.

первыхъ, семьѣ, во-вторыхъ,—сословію, въ третьихъ,—народу, въ-четвертыхъ,—правительству". Онъ твердо убѣжденъ въ своей политической и административной мудрости, но вся эта мудрость состоитъ въ умѣньи городить чепуху, не запинаясь и съ апломбомъ. Изолгавшійся лицемѣръ, онъ, смотря по обстоятельствамъ, то разыгрываетъ изъ себя роль будирующаго либерала, то полицейскаго сыщика. Въ одно и то же время онъ кокетничаетъ съ Неждановымъ и пріятельски жметъ руку своему вѣрному другу Коломѣйцеву.

П. Никитинъ (П. Ткачовъ).

* * *

*) Г. Сипягинъ просто великолѣпенъ въ своемъ благонамѣренномъ либерализмѣ. Это олицетвореніе петербургскаго прогрессиста, у котораго барскія, аристократическія стремленія соединяются съ канцелярскимъ „просвѣщеніемъ". Онъ воображаетъ, что обладаетъ необыкновенной проницательностью и сочувствіемъ прогрессивнымъ идеямъ времени, и между тѣмъ ничего не видитъ дальше своего носа, дальше канцелярскаго прогресса, и сочувствуетъ только звону умѣренно-либеральныхъ фразъ. Какъ хорошъ господинъ Сипягинъ, какъ онъ весь выливается въ своей рѣчи за обѣдомъ, когда желаетъ порисоваться передъ Соломинымъ, въ лучахъ своей прогрессивности, своего просвѣщеннаго либерализма и въ то же время желаетъ „положить предѣлъ" крайностямъ радикаловъ. „Съ одной стороны, онъ похвалилъ консерваторовъ,—а съ другой, одобрилъ либераловъ, отдавая симъ послѣднимъ преферансъ и причисляя себя къ ихъ разряду; превознесъ народъ, но указалъ на нѣкоторыя его слабыя стороны; выразилъ полное довѣріе къ правительству—но спросилъ себя: исполняютъ ли всѣ подчиненные его благія предначертанія? Призналъ пользу и важность литературы, но объявилъ, что безъ крайней осторожности она немыслима!

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева". Спб. 1884 г.

Взглянулъ на Западъ: сперва порадовался — потомъ усомнился; взглянулъ на Востокъ: сперва отдохнулъ — потомъ воспрянулъ! И, наконецъ, предложилъ выпить тостъ за процвѣтаніе тройственнаго союза: религіи, земледѣлія и промышленности“. И когда болѣе его укоренившійся въ формальной благонамѣренности г. Коломѣйцевъ считаетъ нужнымъ строго прибавить, что религія, земледѣліе и промышленность должны процвѣтать не иначе, какъ „подъ эгидой власти“, прогрессивный г. Сипягинъ поправляетъ его такъ: „подъ эгидой мудрой и снисходительной власти“, однимъ изъ великолѣпнѣйшихъ представителей которой, онъ считаетъ самого себя. Въ этомъ затрапезномъ спичѣ передъ вами является если не превосходный типъ, то превосходный образчикъ тѣхъ „почти государственныхъ“ фразеровъ, которыхъ развелось въ новѣйшія времена у насъ такъ много и которые, благодаря своему фразерству и главнымъ образомъ „чистотѣ своей совѣсти“, вылощенной и покрытой, по выраженію одного изъ радикаловъ „Нови“, петербургскимъ лакомъ, столь увѣренно созидаютъ свои карьеры и столь безмятежно наслаждаются своимъ благонамѣреннымъ благополучіемъ... пока не попадутъ въ просакъ или не запутаются въ какомъ-нибудь хищеніи. „Чистая совѣсть“ господъ Сипягиныхъ не препятствуетъ имъ эксплуатировать въ свою пользу и казну и народъ, въ познаніи котораго они такъ сильны, что петербургскія высокопоставленныя, вліятельныя дамы восклицаютъ про господъ сипягинскаго жанра: „Comme il connait bien les moeurs de notre peuple“, а петербургскіе высокопоставленные, вліятельные чиновники прибавляютъ: „les moeurs et les besoins“. Чистая совѣсть этихъ господъ не мѣшаетъ имъ, будучи слугами „власти“, заигрывать „на всякій случай“ съ радикалами, въ родѣ того, какъ у насъ разные доморощенные атеисты „на всякій случай“ вѣрятъ въ будущую жизнь. Заигрываніе это, впрочемъ, остается „въ предѣлахъ“, и когда радикализмъ слишкомъ уже компрометируетъ себя, Сипягины первые спѣшатъ распорядиться доставленіемъ „куда слѣдуетъ“ скомпрометированныхъ радикаловъ, спѣшатъ это сдѣлать, конечно, столько

же изъ чувства долга, сколько ради того, чтобы ихъ „благородные поступки были доведены до свѣдѣнія министра", какъ говоритъ губернаторъ, которому Сипягинъ самолично доставляетъ одну изъ „вѣтвей" заговора, раскрытаго имъ, злосчастную и невинную „вѣтвь", въ лицѣ резонера романа Паклина.

В. Буренинъ.

* * *

*) Сипягинъ, по рѣзкому, но въ-сущности справедливому слову Маріанны,—не человѣкъ, а чиновникъ; а по остроумному опредѣленію Нежданова въ письмѣ къ Силину, онъ—баринъ учтивый и либеральный: „все снисходитъ, все снисходитъ—а то вдругъ возьметъ и воспаритъ: преобразованный мужчина!"—Сипягинъ играетъ въ либерализмъ, и на этомъ, а также на псевдо-народности своихъ стремленій и вкусовъ строитъ свою карьеру.—Зная о взглядахъ Нежданова, онъ пригласилъ его, однако, въ учителя къ своему сыну, и въ спорѣ Нежданова съ Коломѣйцевымъ, также какъ и послѣдняго съ Соломинымъ, старается показать себя стоящимъ выше крайностей, воображаетъ себя примиряющимъ непримиримое и пугающимъ противниковъ силою своего авторитета:

„Онъ зналъ латинскій языкъ (говоритъ поэтъ), и Виргиліевское: Quos ego! (я васъ!) не было ему чуждымъ. Сознательно онъ не сравнивалъ себя съ Нептуномъ; но какъ-то сочувственно вспоминалъ о немъ".

Когда пренія Коломѣйцева и Соломина приняли рѣзкій характеръ,—Сипягинъ

„понялъ (разсказываетъ Тургеневъ), что наступила минута положить, такъ-сказать, предѣлъ... остановить! И онъ положилъ предѣлъ; онъ остановилъ! Помахивая кистью правой руки, локоть которой оставался опертымъ о столъ, онъ произнесъ длинную, обстоятельную рѣчь...

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ". Спб. 1885 г.

Сипягинъ вообще охотникъ произносить „спичи“ и претендуетъ на краснорѣчіе.

Поддѣлываясь къ духу времени, Сипягинъ любилъ „щегольнуть нѣкоторыми изреченіями, долженствовавшими доказать, что и онъ самъ—не только русскій человѣкъ, но „русакъ“, и близко знакомъ съ самой сутью народной жизни! Такъ, напримѣръ, на замѣчаніе Коломѣйцева, что дождь можетъ помѣшать уборкѣ сѣна, онъ немедленно отвѣчалъ, что „пусть будетъ сѣно черно—за то греча бѣла“; употребилъ также поговорки, вродѣ: „товаръ безъ хозяина сирота“, „десять разъ примѣрь, одинъ разъ отрѣжь“; „когда хлѣбъ, тогда и мѣра“... Правда, иногда съ нимъ случалось, что онъ вдругъ промахнется и скажетъ, напримѣръ: „знай куликъ свой шестокъ!“ или „красна изба углами!“ Но общество, въ средѣ котораго эти бѣды съ нимъ случались, большею частью и не подозрѣвало, что тутъ „notre bon русакъ“ далъ промахъ...

А. Незеленовъ.

* * *

*) Сипягины, Коломѣйцевъ... что о нихъ сказать? Несмотря на огромное мѣсто, занимаемое ими въ романѣ, они лишь на половину живые люди, а на половину фикція, изображающая старую барскую Русь, ненавистникомъ которой авторъ непремѣнно желаетъ заявить себя. Какъ типы, они удачно схвачены съ внѣшней стороны; какъ фикція—они, такъ сказать, памфлетны и въ общемъ довольно ничтожны, чтобы служить вмѣстилищемъ столь необъятной антипатіи, какую обнаруживаютъ къ нимъ остальныя дѣйствующія лица романа. Во всякомъ случаѣ они очень не новы, они уже фигурировали въ сотняхъ повѣстей и въ тысячахъ петербургскихъ фельетоновъ, начиная съ фельетоновъ покойнаго „Новаго Поэта“.

Едва ли, впрочемъ, они и могли быть другими, при той странной обстановкѣ, въ которой они являются въ „Нови“.

*) Статья А. (В. Г. Авсѣенко). „Русскій Вѣстникъ“. 1877 г., № 2.

Они живутъ въ совершенной, въ невѣроятной пустотѣ. Масса провинціальнаго люда, которая въ дѣйствительности должна бы была окружать ихъ, куда-то совсѣмъ исчезла. Читая романъ, можно подумать, что нынѣшнее провинціальное общество наше состоитъ только изъ „гранжанровъ“ петербургской бюрократіи, наѣзжающихъ туда лѣтомъ, изъ губернатора съ адъютантомъ (?) и членовъ тайнаго революціоннаго общества. Затѣмъ, ни между этими двумя враждебными лагерями, изъ которыхъ въ воображеніи г. Тургенева состоитъ нынѣшняя Россія, ни вокругъ нихъ — нѣтъ ровно ничего. Ни одна изъ живыхъ, дѣйствующихъ силъ современнаго русскаго общества не присутствуетъ въ романѣ. Авторъ какъ будто намѣренно избѣгаетъ имѣть дѣло съ живыми людьми.

В. Авсѣенко.

Коломѣйцевъ.

*) Господинъ Коломѣйцевъ тоже въ своемъ родѣ не менѣе Сипягина интересный представитель новыхъ вѣяній въ сферѣ россійской благонамѣренности. Это по-просту одинъ изъ прилизанныхъ и приглаженныхъ, трусливыхъ въ душѣ, но нелишенныхъ наглости хлыщей, которые, по его собственному игривому выраженію, признаютъ единственные два принципа „кнутъ и редереръ“, и имѣютъ одно несомнѣнное стремленіе „пугнуть и поприжать“. Какъ живая выходитъ у Тургенева эта гладенькая фигурка „великосвѣтскаго чиновника“ и „высокообразованнаго дворянина“ новѣйшаго покроя, считающаго Наполеона III „молодцомъ“, гордящагося подлымъ „патріотизмомъ“ бонапартистскаго закала и громко изъявляющаго желаніе „раздробить, превратить въ прахъ всѣхъ тѣхъ, которые сопротивляются чему бы и кому бы то ни было“, а главное сопротивляются негодяйству, хищенію, жадной эксплоатаціи, подлости и пошлости господъ Коломѣйцевыхъ. Подобнаго рода „призванные“, безцеремонные ретрограды изъ юныхъ администраторовъ, гордящіеся ретроградствомъ, ставящіе его себѣ въ честь, народились у насъ.

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

лѣтъ пятнадцать назадъ. Въ періодъ конца шестидесятыхъ годовъ, когда происходитъ дѣйствіе тургеневскаго романа, они еще были въ зачаточномъ состояніи, мелькали довольно рѣдко и не проявляли себя съ надлежащею искренностью и безшабашностью. Но уже и въ то время опытный и проницательный глазъ художника прозрѣлъ эту новую тлю русской жизни, намѣтилъ всѣ основные признаки ея вида и присоединилъ ее къ своей превосходной и разнообразной коллекціи для изученія будущимъ поколѣніямъ. Теперь господа Коломѣйцевы разродились во множествѣ и, право, въ нашей интеллигентной средѣ едва ли отыщется типъ противнѣе этихъ молодыхъ лакеевъ ретроградства, плотоядныхъ, наглыхъ, проникнутыхъ ненавистью и злостью ко всему, что носитъ въ себѣ стремленія честнаго демократизма, въ чемъ сказывается возрождающая сила жизни. Теперь они, по извѣстной поговоркѣ, до того разваливаются ногами на столъ, что завели даже себѣ въ журналистикѣ весьма характерный органъ самаго прямолинейнаго ретроградства, органъ немножко юродивый, однако, не лишенный усердія, если не въ политическомъ, то въ полицейскомъ смыслѣ...

В. Буренинъ.

* * *

*) Въ качествѣ чистокровнаго аристократа, а больше, впрочемъ, по другимъ причинамъ, Коломѣйцевъ считалъ себя призваннымъ безсмѣнно стоять якобы на стражѣ всѣхъ великихъ принциповъ, охранять и защищать ихъ даже въ томъ случаѣ, когда никто не просилъ его объ этомъ,—однимъ словомъ, ежеминутно устремляться на спасеніе отечества отъ какихъ-то „внутреннихъ враговъ“. Разумѣется, онъ пользовался репутаціею „надежнаго и преданнаго“, хотя, какъ выражалось о немъ одно изъ свѣтилъ петербургскаго чиновничьяго міра, „un peu trop... féodal dans ses opinions“... Къ земству онъ относился весьма неодобрительно.

*) П. Никитинъ (П. Ткачовъ). „Дѣло“ 1877 г., № 2.

„Это земство, восклицалъ онъ,—къ чему оно? Только ослабляетъ администрацію и возбуждаетъ... лишнія мысли и несбыточныя надежды“... Когда же ему замѣчали, что, высказывая подобныя идеи, онъ становится въ оппозицію съ начальствомъ, онъ говорилъ: „Я? Въ оппозицію? Никогда! Ни за что! Mais j'ai mon franc parler. Я иногда критикую, но покоряюсь всегда!“ Для разрѣшенія женскаго вопроса предлагалъ назначить при министерствѣ особую комиссію, но говорить о немъ, и въ особенности говорить печатно, по его мнѣнію, слѣдовало бы „воспретить, безусловно воспретить“. Вполнѣ сочувствовалъ онъ тосту, произнесенному однимъ его пріятелемъ за именинным банкетомъ: „Пью за единственные принципы, которые признаю: за кнутъ и за редереръ“! И дѣйствительно, на практикѣ онъ никакихъ другихъ принциповъ и не признавалъ.

П. Никитинъ (П. Ткачовъ).

* * *

*) Безподобно обрисована въ романѣ комическая фигура Коломѣйцева. Какъ Сипягинъ рисуется своимъ либерализмомъ, такъ этотъ своимъ мнимымъ консерватизмомъ, за которымъ кроется простое себялюбіе, тщеславіе и боязнь убытковъ.

Стоило (разсказываетъ поэтъ) кому-нибудь чѣмъ-нибудь задѣть Семена Петровича, задѣть его консерваторскіе, патріотическіе и религіозные принципы,—о! тогда онъ дѣлался безжалостнымъ! Все его изящество испарялось мгновенно; нѣжные глазки зажигались недобрымъ огонькомъ; красивый ротикъ выпускалъ некрасивыя слова — и взывалъ, съ пискомъ взывалъ къ начальству“.

Коломѣйцевъ очень недоволенъ, какъ и генералы „Дыма“, реформами императора Александра.

„Это земство! Къ чему оно? (разсуждаетъ онъ съ Валентиной Михайловной). Только ослабляетъ администрацію и

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

возбуждаетъ... лишнія мысли... (Коломѣйцевъ поболталъ въ воздухѣ обнаженной лѣвой рукой, освобожденной отъ давленія перчатки)... и несбыточныя надежды (Коломѣйцевъ подулъ себѣ на руку). Я говорилъ объ этомъ въ Петербургѣ... mais, bah! Вѣтеръ не туда тянетъ“.

Коломѣйцевъ — и противъ народнаго образованія, народныхъ школъ. Онъ разсказалъ за обѣдомъ у Сипягиныхъ,

„какъ, посѣтивъ однажды народную школу, онъ поставилъ ученикамъ вопросъ: Что есть строфокамилъ? И такъ какъ никто не умѣлъ отвѣтить, ни даже самъ учитель, то онъ, Коломѣйцевъ, поставилъ другой вопросъ: Что есть пиѳикъ?—при чемъ привелъ стихъ Хемницера: „И Пиѳикъ слабоумъ, списатель звѣрскихъ лицъ!“ И на это ему никто не отвѣтилъ.— Вотъ вамъ и народная школа!“ побѣдоносно заключилъ онъ.

Ретроградство Коломѣйцева доходитъ до цинизма:

„онъ договорился, наконецъ, до того (разсказываетъ поэтъ), что привелъ — правда въ видѣ шутки—тостъ одного знакомаго ему барина, за нѣкоторымъ именинным банкетомъ: „Пью за единственные принципы, которые признаю — воскликнулъ этотъ разгоряченный помѣщикъ — за кнутъ и за Рёдереръ!“

Въ другой разъ Коломѣйцевъ, за обѣдомъ,

„обхвативъ, по-модному, большой бѣлый хлѣбъ обѣими руками и переламывая его пополамъ надъ тарелкой супа, какъ это дѣлаютъ завзятые парижане въ Café Riche“, изъявилъ желаніе

„раздробить, превратить въ прахъ всѣхъ тѣхъ, которые сопротивляются—чему-бы и кому-бы то ни было!“

Коломѣйцевъ хвалится своимъ чуткимъ носомъ:

„Я еще въ бытность мою чиновникомъ по особымъ порученіямъ у московскаго генералъ-губернатора — avec Ladislas — навострился на этихъ господъ — на красныхъ, да вотъ еще на раскольниковъ. Чутьемъ, бывало, беру верхнимъ. Тутъ Коломѣйцевъ „кстати“ разсказалъ, какъ онъ однажды, въ окрестностяхъ Москвы, поймалъ за клобукъ старика-раскольника, на котораго нагрянулъ съ полиціей и

„который едва было не выскочилъ изъ окна избы... И такъ до той минуты смирно сидѣлъ на лавкѣ, бездѣльникъ!“

Коломѣйцевъ забылъ прибавить (говоритъ поэтъ), что этотъ самый старикъ, посаженный въ тюрьму, отказался отъ всякой пищи—и уморилъ себя голодомъ“.

Неспособный уважать чужія религіозныя убѣжденія, Коломѣйцевъ считаетъ нужнымъ, однако, для виду, и конечно не искренно, для манифестаціи передъ Соломинымъ, смутить встрѣтившагося сельскаго священника, звучно поцѣловавъ (послѣ благословенія) его потную, красную руку.

Ladislas, упомянутый Коломѣйцевымъ, какъ его товарищъ по службѣ, не сходитъ у него съ языка. Этотъ пресловутый Ladislas, по его словамъ,

„собирается написать романъ изъ большого свѣта... Это будетъ прелесть!

говоритъ великосвѣтскій чиновникъ:

„Nous aurons enfin le grand monde russe peint par lui même“.

Не одна смерть раскольника лежитъ на душѣ Коломѣйцева: когда онъ пріѣхалъ къ губернатору съ Сипягинымъ, по дѣлу арестованнаго Маркелова, и сталъ не въ мѣру и не кстати усердствовать, такъ что вызвалъ ядовитый вопросъ Маркелова:

„что это у васъ, ваше превосходительство, чиновникъ по тайной полиціи, что-ли? такой усердный?“

тогда и самъ губернаторъ почелъ нужнымъ остановить расходившагося франта:

„Кстати, мнѣ нужно переговорить съ вами, Семенъ Петровичъ (сказалъ онъ).

— А что?

— Да такъ; нехорошо.

— А именно?

— Да, знаете, вашъ должникъ-то, мужикъ этотъ, что ко мнѣ жаловаться приходилъ...

— Ну?

— Вѣдь, онъ повѣсился.

— Когда?

— Это все равно—когда; а только нехорошо.

Коломѣйцевъ пожалъ плечами и отошелъ, щегольски покачиваясь, къ окну“.

А. Незеленовъ.

Маркеловъ.

*) Маркеловъ (фигура едва ли не самая яркая и законченная) воспитывался въ артиллерійскомъ училищѣ, откуда вышелъ офицеромъ; но уже въ чинѣ поручика онъ подалъ въ отставку, по непріятности съ командиромъ-нѣмцемъ. *Съ тѣхъ поръ онъ возненавидѣлъ нѣмцевъ, особенно русскихъ нѣмцевъ.* Отставка разстроила его съ отцомъ, съ которымъ онъ такъ и не видѣлся до самой его смерти, а, унаслѣдовавъ отъ него деревню, поселился въ ней. *Въ Петербургѣ онъ часто сходился съ разными умными, передовыми людьми, передъ которыми благоговѣлъ; они окончательно опредѣлили его образъ мыслей.* Читалъ Маркеловъ немного и больше все книги, идущія къ дѣлу: Герцена въ особенности. Онъ сохранилъ военную выправку, жилъ спартанцемъ и монахомъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, онъ страстно влюбился въ одну дѣвушку, но та измѣнила ему самымъ безцеремоннымъ манеромъ, и вышла за адъютанта — тоже изъ нѣмцевъ. Маркеловъ *возненавидѣлъ также и адъютантовъ.* Онъ пробовалъ писать спеціальныя статьи о недостаткахъ нашей артиллеріи, но у него *не было никакого таланта изложенія: ни одной статьи онъ не могъ даже довести до конца... Ему вообще не везло — никогда и ни въ чемъ, въ корпусѣ онъ носилъ названіе „неудачника“.* Ясно, что Маркелова толкнули на дорогу революціи личныя неудачи. Не поссорься онъ съ командиромъ-нѣмцемъ, онъ продолжалъ бы себѣ служить, какъ слѣдуетъ; не отбей у него невѣсту адъютантъ—онъ былъ бы, можетъ быть, прекраснымъ семьяниномъ и заботился бы о созданіи себѣ уют-

*) Н. Михайловскій. „Отечественныя Записки“ 1877 г., № 2. Статья подъ названіемъ: „Записки Профана“.

наго гнѣздышка; имѣй онъ литературный талантъ, онъ писалъ бы спеціальныя статьи для военныхъ изданій и, можетъ быть, оказалъ бы существенныя услуги отечественной артиллеріи. Но такъ какъ онъ былъ „неудачникъ“, то изъ него вышелъ революціонеръ. На отвратительномъ пиршествѣ у отвратительнаго Голушкина, Маркеловъ „забарабанилъ глухимъ, злобнымъ голосомъ, настойчиво, однообразно („ни дать ни взять — капусту рубитъ“, замѣтилъ Паклинъ). О чемъ собственно онъ говорилъ, не совсѣмъ было понятно; слово „артиллерія“ послышалось изъ его устъ въ моментъ затишья... онъ, вѣроятно, вспомнилъ тѣ недостатки, которые открылъ въ ея устройствѣ. Досталось также нѣмцамъ и адъютантамъ“.

Н. Михайловскій.

* * *

*) Живѣе и правдоподобнѣе другихъ вышелъ Маркеловъ, этотъ, какъ мы сказали, Донъ-Кихотъ революціи. Желчевикъ по натурѣ, онъ вѣритъ въ революцію, потому что эта вѣра необходима для накипѣвшаго въ немъ озлобленія; притомъ онъ явно глупъ и неспособенъ ни къ какой другой дѣятельности. Выданный тѣми самыми мужиками, которыхъ онъ такъ рекомендовалъ Нежданову и Соломину, онъ все-таки не теряетъ вѣры и приписываетъ неудачу только собственной своей неумѣлости. „Больше всего его грызло и мутило то, что выдалъ его—кто же? Голоплёцкій Еремѣй! Тотъ Еремѣй, въ котораго онъ такъ слѣпо вѣрилъ! Что Менделѣй Дутикъ не пошель за нимъ, это его въ сущности не удивляло: Менделѣй былъ пьянъ и потому струсилъ. Но Еремѣй!! „Для Маркелова Еремѣй былъ какъ бы олицетвореніемъ русскаго народа. И онъ ему измѣнилъ! Стало-быть все, о чемъ хлопоталъ Маркеловъ, все было не то, не такъ? И Кисляковъ вралъ, а Василій Николаевичъ приказывалъ пустяки—и всѣ эти статьи, книги, сочиненія соціалистовъ, мыслителей, каждая буква которыхъ являлась

*) Изъ статьи А. (В. Г. Авсѣенко). „Русскій Вѣстникъ“ 1877 г., № 2.

ему чѣмъ-то несомнѣннымъ и несокрушимымъ, все это — пуфъ? Неужели? И это прекрасное сравненіе назрѣвшаго вереда, ожидавшаго удара ланцета — тоже фраза? Нѣтъ, нѣтъ! шепталъ онъ про себя, и на его бронзовыя щеки набѣгала слабая краска кирпичнаго цвѣта; — нѣтъ; то все правда, все..., а это *я* виноватъ, *я* не сумѣлъ; не то *я* сказалъ, не такъ принялся! — Вотъ что собственно его грызло и мучило; а что онъ самъ попалъ подъ колесо, это была его личная бѣда: она не касалась общаго дѣла—ее бы можно было перенести... но Еремѣй! Еремѣй!“ Эти люди неисправимы и убѣждены, что они „съ народомъ“, даже въ то время, когда народъ крутитъ имъ руки, чтобы сдать ихъ въ полицію.

В. Авсѣенко.

* * *

*) Фигура Маркелова обрисована Тургеневымъ съ большимъ стараніемъ и принадлежитъ къ числу наиболѣе выработанныхъ фигуръ романа. Такихъ раздражительныхъ неудачниковъ, бросившихся въ агитаціонную дѣятельность вслѣдствіе жизненныхъ обидъ, ударовъ ихъ болѣзненному самолюбію, а также вслѣдствіе ограниченнаго и упрямаго фанатизма, на Руси всегда встрѣчалось и встрѣчается до сихъ поръ много. Ихъ судьба трагична только на половину: они возбуждаютъ одно состраданіе. Впечатлѣнія силы, впечатлѣнія героизма имъ не дано возбуждать, потому что по своему нравственному складу даже наиболѣе честные и высокіе ихъ подвиги, наиболѣе фанатическія убѣжденія исходятъ изъ безхарактерности и личнаго раздраженія. Маркеловы, несмотря на свой фанатизмъ, вовсе не представители идеи; они идутъ не за ней и гибнутъ не для нея: „они идутъ, куда ихъ поведетъ случайность“, какъ говоритъ поэтъ.

В. Буренинъ.

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

* * *

*) Маркеловъ — угрюмый тупица, неудачникъ всегда и во всемъ, неудачникъ даже и въ революціи. Какъ и откуда онъ напитался революціонными идеями?

„Въ Петербургѣ онъ часто сходился съ разными умными передовыми людьми", читаемъ мы въ романѣ,—„предъ которыми благоговѣлъ; они окончательно опредѣлили его образъ мыслей. Читалъ Маркеловъ немного и больше все книги идущія къ дѣлу". „Маркеловъ", продолжаетъ авторъ далѣе,— „былъ человѣкъ упрямый, неустрашимый до отчаянности, не умѣющій ни прощать, ни забывать, постоянно оскорбляемый за себя, за всѣхъ угнетенныхъ — и на все готовый. Его ограниченный умъ билъ въ одну и ту же точку: чего онъ не понималъ, то для него не существовало; но презиралъ онъ и ненавидѣлъ фальшь и ложь".

Такова эта жалкая фигура. Тургеневъ забылъ только прибавить, что, презирая и ненавидя фальшь и ложь, Маркеловъ, по своей умственной и нравственной ограниченности, граничащей съ тупоуміемъ, не способенъ былъ даже различить фальши и лжи въ явленіяхъ жизни, какъ не способенъ былъ увидѣть ту ложь, которая свила гнѣздо въ его собственной душѣ—ложь личныхъ чувствъ раздраженія, зависти и злобы ко всему и ко всѣмъ, которыя онъ принималъ чуть только не за „міровую скорбь".

Ю. Николаевъ (Говоруха-Отрокъ).

* * *

**) Разница между Маркеловымъ съ одной стороны и Остродумовымъ и Машуриной съ другой въ томъ, что послѣдніе, хотя и носятъ въ себѣ внутреннее противорѣчіе, но не сознаютъ его, и потому нѣтъ никакой „драмы" въ ихъ душѣ; Маркеловъ же несомнѣнно мучится сознаніемъ, что онъ не-

*) Ю. Николаевъ (Говоруха-Отрокъ). „Тургеневъ". Москва 1894 г.
**) Д. Овсянико-Куликовскій. „Этюды о творчествѣ И. С. Тургенева". Харьковъ. 1896 г.

удачникъ, что счастье ему недоступно, вообще это фигура мрачная, почти зловѣщая, натура озлобленная и по-своему сильная. Но въ немъ, еще въ большей степени, чѣмъ у Нежданова, эта внутренняя драма развѣнчана и убита ироніей художника. Чтобы лицо вышло истинно-трагическимъ, художникъ, рисуя его, отнюдь не долженъ смотрѣть на него сверху внизъ.

Д. Овсянико-Куликовскій.

Паклинъ.

*) Какъ въ нѣкоторыхъ прежнихъ романахъ Тургенева, въ „Нови“ есть также лицо, представляющее нѣчто въ родѣ резонера комедій добраго стараго времени. Такого резонера представляетъ Паклинъ. Но резонеръ „Нови“ имѣетъ, однакоже, нѣкоторое отличіе отъ резонеровъ прочихъ тургеневскихъ романовъ: онъ исполняетъ какъ бы стороннюю роль, приклеенъ къ фабулѣ романа искусственно, такъ сказать, съ боку. Роль Паклина даже жалка, и въ своихъ резонерныхъ репликахъ онъ является далеко не такимъ идейнымъ гоголемъ, какимъ, напримѣръ, выступаетъ въ „Дымѣ“ пресловутый Потугинъ; самая его личность далеко не такъ симпатична, какъ, напримѣръ, личность Лежнева, резонирующаго въ „Рудинѣ“. Наконецъ, въ резонерствѣ Паклина очень часто недостаетъ тѣхъ мѣткихъ, рѣзко опредѣляющихъ, отмѣчающихъ какъ бы клеймомъ, словечекъ и приговоровъ, какими блестятъ прежніе тургеневскіе резонеры. Словомъ, фигура этого комментатора главныхъ героевъ, объяснителя смысла тѣхъ сложныхъ жизненныхъ явленій, которыя проходятъ въ романѣ передъ читателями, недостаточно жизненна, недостаточно типична и недостаточно выполняетъ свое назначеніе.

В. Буренинъ.

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

* * *

*) Паклинъ лицо, которое больше всѣхъ другихъ имѣло бы права на трагизмъ: онъ уменъ и крѣпокъ мыслью, но слабъ духомъ; онъ все отлично понимаетъ и ничего не можетъ; въ немъ много интереса къ жизни—и никакой жизнеспособности. Строго говоря, то, что происходитъ въ душѣ Силы Самсоныча Паклина,—по существу трагично, но всѣ мы такъ уже устроены, что никакъ не можемъ признать это „трагедіей“, и съ жестокостью, свойственной всему живущему и пользующемуся жизнью, относимъ маленькаго, хроменькаго, слабенькаго Паклина, вмѣстѣ, напр., со старой дѣвой,—къ области комическаго.

Д. Овсянико-Куликовскій.

Сипягина.

**) Валентина Михайловна Сипягина, супруга почтеннаго сановника, вполнѣ его стоила. Она съ успѣхомъ могла бы состязаться съ нимъ по части безсердечія, эгоизма и самаго возмутительнаго лицемѣрія. Лицомъ она напоминала Мадонну сикстинскую; вся ея наружность, ея манеры, походка, обращеніе отличались какою-то неуловимою граціею, мягкостью, прелестью. Но подъ этою очаровательною внѣшностью скрывалось самое мизерное содержаніе. „Она вся ложь, говоритъ о ней Маріанна,— она комедіантка, она позерка, она хочетъ, чтобы всѣ ее обожали, какъ красавицу, и благоговѣли передъ нею, какъ передъ святой! Она придумаетъ задушевное слово, скажетъ его одному, а потомъ повторяетъ это слово и другому, и третьему, и все съ такимъ видомъ, какъ будто она сейчасъ это слово придумала, и тутъ же кстати играетъ своими чудесными позами. Она никого не любитъ.

*) Д. Н. Овсянико-Куликовскій. „Этюды о творчествѣ И. С. Тургенева“. Харьковъ. 1896 г.

**) П. Никитинъ (П. Ткачовъ). „Дѣло“ 1877 г., № 2.

Притворяется, что все возится съ Колею (своимъ сыномъ), а только всего и дѣлаетъ, что говоритъ о немъ съ умными людьми. Сама она никому зла не желаетъ. Она вся благоволеніе! Но пускай вамъ въ ея присутствіи всѣ кости переломаютъ — ей ничего! Она пальцемъ не пошевельнетъ, чтобы васъ избавить“. Подобно своему мужу, она одарена способностью, совершая самые неблаговидные поступки (подслушивая, напр., у дверей, шпіонничая), сохранять въ то же время видъ величаваго достоинства и неприступной добродѣтели. Вообще характеръ этой сикстинской Мадонны, въ рангѣ тайной совѣтницы, очерченъ Тургеневымъ съ неподражаемымъ мастерствомъ тонкаго знатока женской натуры. По нашему мнѣнію, это одна изъ самыхъ живыхъ, самыхъ реальныхъ личностей въ цѣломъ романѣ. Ея внутренній міръ или, лучше сказать, внутренняя пустота, ея отношенія къ мужу, брату и въ особенности къ яко бы „облагодѣтельствованной“ ею мужниной племянницѣ, проанализированы авторомъ такъ всесторонне и съ такою художественною объективностью, что, конечно, никому и на умъ не придетъ упрекнуть его въ пристрастіи или утрировкѣ. Но именно благодаря этой-то объективности, образъ госпожи Сипягиной производитъ на васъ тяжелое впечатлѣніе, какъ по своему нравственному убожеству, такъ и по своей типичной конкретности.

П. Никитинъ (П. Ткачовъ).

Голушкинъ.

*) Отрицателямъ изъ высшаго свѣта совершенно соотвѣтствуютъ въ романѣ отрицатели-революціонеры: Кисляковъ, Маркеловъ, кунецъ Голушкинъ и другіе. — Эти лица раздѣляются на пошляковъ, говорящихъ съ чужого голоса, и на искренно увлеченныхъ революціей, заговоромъ. Но и тѣ и другіе вызываютъ въ душѣ поэта и читателя главнымъ образомъ—смѣхъ и сожалѣніе.

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

Представителемъ первыхъ служитъ купецъ Голушкинъ, человѣкъ лѣтъ сорока, „сынъ разбогатѣвшаго торговца москательнымъ товаромъ изъ старовѣровъ-ѳедосѣевцевъ“.

„Самъ онъ (разсказываетъ поэтъ) не увеличилъ отцовскаго состоянія, ибо былъ, какъ говорится, жуиръ, эпикуреецъ на русскій ладъ — и никакой въ торговыхъ дѣлахъ сообразительности не имѣлъ“. Онъ вообще производилъ впечатлѣніе парня дурковатаго, избалованнаго и крайне самолюбиваго. Самъ онъ почиталъ себя человѣкомъ образованнымъ, потому что одѣвался по-нѣмецки и жилъ хотя грязненько, да открыто, зналъ съ людьми богатыми и въ театръ ѣздилъ, и протежировалъ каскадныхъ актрисъ... Жажда популярности была его главною страстью: греми молъ, Голушкинъ, по всему свѣту! То Суворовъ или Потемкинъ—а то Капитонъ Голушкинъ!—Эта же самая страсть, побѣдившая въ немъ прирожденную скупость, бросила его, какъ онъ не безъ самодовольства выражался, въ оппозицію (прежде онъ говорилъ просто „въ позицію“, но потомъ его научили), свела его съ нигилистами: онъ высказывалъ самыя крайнія мнѣнія, трунилъ надъ собственнымъ старовѣрствомъ, ѣлъ въ постъ скоромное, игралъ въ карты—а шампанское пилъ какъ воду. И все сходило ему съ рукъ; потому,—говорилъ онъ,—у меня всякое, гдѣ слѣдуетъ, начальство закуплено, всякая прорѣха зашита, всѣ рты заткнуты, всѣ уши завѣшены“.

Очень живыми чертами нарисованъ обѣдъ у этого Голушкина, гдѣ онъ и его приказчикъ Васька, преданный, по его словамъ, революціи, выказываются во всей красѣ. Этотъ Васька, „прилизанный, чахоточный человѣчекъ съ кувшиннымъ рыльцемъ“, съ такимъ видомъ „скалилъ зубы“, что нельзя было понять—

„что онъ такое: пошлый ли дурачекъ, или, напротивъ, всесовершеннѣйшій выжига и плутъ“.

На пресловутомъ обѣдѣ шелъ дѣловой разговоръ въ такомъ родѣ:

„Намъ не нужно постепеновцевъ, сумрачно проговорилъ Маркеловъ.

— Постепеновцы до сихъ поръ шли сверху, замѣтилъ Соломинъ,—а мы попробуемъ снизу.

— Не нужно, къ черту! не нужно, рьяно подхватилъ Голушкинъ: надо разомъ, разомъ!

— То-есть, вы хотите въ окно прыгнуть!

— И прыгну! завопилъ Голушкинъ.—Прыгну! и Васька прыгнетъ! Прикажу—прыгнетъ! А? Васька? Вѣдь прыгнешь?

Приказчикъ допилъ стаканъ шампанскаго.

— Куда вы, Капитонъ Андреичъ, туда и мы. Развѣ мы разсуждать смѣемъ?

— А! то-то! Въ бараній рогъ согну!

А. Незеленовъ.

Машурина и Остродумовъ.

*) Машурина доброе, ограниченное и честное существо, грубое и невзрачное по наружности, таящее въ душѣ нераздѣленное чувство любви къ Нежданову и размыкивающее свое сердечное горе преданностью тому призраку революціонной дѣятельности, за которымъ она слѣдуетъ, покорно и скромно исполняя всякую, не только „черную“, но и опасную работу, возлагаемую на нее вожаками. Машурина одна изъ самыхъ обыкновенныхъ и самыхъ живыхъ и правдивыхъ лицъ русской недавней дѣйствительности, одна изъ невзрачныхъ, но не лишенныхъ внутренняго трагизма жертвъ нашей кружковщины.

В. Буренинъ.

* * *

**) Машурина — самое симпатичное изъ всѣхъ лицъ романа. Она тупа, ограничена, но у нея есть преданное сердце. Ея любовь къ Нежданову—трогательна, ибо это любовь, переходящая въ преданность. Она вѣрна его памяти—у нея

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.
**) Ю. Николаевъ (Говоруха-Отрокъ). „Тургеневъ“. Москва. 189[illegible] г.

есть „память сердца“. Какъ ни страннымъ это покажется, но если мы забудемъ грубую оболочку Машуриной, ея некрасивое лицо, ея вульгарную рѣчь и ухватки, ея красныя руки, то ея отношеніе къ Нежданову можетъ быть охарактеризовано этими стихами Пушкина:

Но Эдмонда не забудетъ
Дженни—даже въ небесахъ...

Вотъ это-то преданное сердце ея подкупаетъ въ ея пользу, и становится безконечно жаль эту простую, нехитрую, простодушную дѣвушку, захваченную нигилизмомъ, которая такъ же простодушно повѣрила въ революцію, какъ бы, можетъ-быть, прежде и съ тѣмъ же простодушіемъ вѣрила, что земля на трехъ китахъ стоитъ. И разъ предавшись революціи, она уже покорно, какъ вѣрная собака, идетъ, куда пошлетъ ее господинъ, и ляжетъ у его порога, и умретъ, если понадобится, за этого господина, будь то Василій Николаевичъ или какой-нибудь „безымянный“ — умретъ, сама не зная за что, повинуясь лишь своему сердцу, жаждущему кому-нибудь предаться.

Ю. Николаевъ (Говоруха-Отрокъ).

* * *

*) Остродумовъ и Машурина являютъ собою типичный образчикъ сочетанія ограниченности ума съ несомнѣнной честностью души, безкорыстіемъ побужденій, самоотверженіемъ, сочетанія, которое нерѣдко наблюдается въ дѣйствительности, проявляется и на исторической аренѣ, и въ искусствѣ со временъ Сервантеса совершенно правильно квалифицировано, какъ „комическое“. Въ дѣйствительности участь такихъ людей бываетъ часто трагична. Они нерѣдко страдаютъ и гибнутъ. Но если художникъ вздумаетъ изобразить ихъ, какъ героевъ трагическихъ, то выйдетъ мелодрама. По той же причинѣ не трагиченъ и Маркеловъ.

Д. Овсянико-Куликовскій.

*) Д. Овсянико-Куликовскій. „Этюды о творчествѣ И. С. Тургенева“. Харьковъ. 1896 г.

Ѳомушка и Фимушка.

*) О Ѳомушкѣ и Фимушкѣ можно сказать опредѣленно, что авторъ сшутилъ надъ ними неудачную шутку. По всѣмъ признакамъ, глава, гдѣ выступаютъ эти старички, вставлена въ романъ изъ тетрадки долго залежавшейся въ бумагахъ автора: и по манерѣ, и по слогу, и по тщательной обработкѣ нѣкоторыхъ подробностей отрывокъ этотъ, вѣроятно, принадлежитъ къ той эпохѣ, когда написаны „Бригадиръ“ и „Живыя Мощи“. Но дѣло въ томъ, что въ сороковыхъ годахъ этотъ этюдъ, пожалуй, имѣлъ бы смыслъ, потому что въ тѣ времена въ иныхъ захолустьяхъ не въ диковину было встрѣтить подобныхъ антиковъ. Представьте же себѣ, что этимъ вымирающимъ послѣдкамъ XVIII вѣка авторъ продлилъ жизнь на цѣлыхъ тридцать лѣтъ, искусственно, но не искусно приладивъ ихъ къ современному роману! Швы, которыми онъ вставилъ эту тетрадку въ рукопись „Нови“, такъ плохо замаскированы, что ихъ различитъ мало-мальски опытный глазъ. И между тѣмъ правдоподобность все-таки не достигнута, хотя авторъ рѣшается даже на такую смѣлую реставрацію, что заставляетъ дворецкаго въ 1868 году отвѣчать на вопросъ, не слыхалъ ли онъ, что для всѣхъ крѣпостныхъ вышла воля—такимъ образомъ: „мало ли кто какія мелетъ враки; это, молъ, у Турковъ бываетъ воля, а его, слава Богу, она миновала“.

В. Авсѣенко.

„РАЗСКАЗЪ ОТЦА АЛЕКСѢЯ“.

**) Впечатлѣніе, производимое этимъ разсказомъ, мѣстами ужасно, но въ то же время тамъ, гдѣ поэтъ, кажется, приводитъ насъ уже къ безотрадному отчаянью, вдругъ начинаетъ блестѣть передъ читателемъ лучъ надежды и свѣтлой вѣры.

---

*) Изъ статьи А. (В. Г. Авсѣенко). „Русскій Вѣстникъ“ 1877 г., № 2.
**) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

Въ разсказѣ этомъ—глубокая психологическая задача: въ личности Якова, сына отца Алексѣя, изображено душевное раздвоеніе, возникшее подъ вліяніемъ сомнѣній, скептицизма,—передъ нами разложеніе человѣка на духовное и матерьяльное начало, при чемъ послѣднее олицетворяется въ образѣ дьявола, являющагося больному духомъ Якову.—Должно быть, первые приступы сомнѣнія были у Якова еще въ дѣтствѣ, потому что ему тогда уже было страшное видѣніе. Вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ отецъ Алексѣй (человѣкъ простодушный, добрый и скорбный): „смиренникъ былъ“ (замѣчаетъ онъ про сына);

„только иногда задумывался не по лѣтамъ, и здоровьемъ былъ слабенекъ. Разъ съ нимъ чудное нѣчто произошло. Десять лѣтъ тогда ему минуло. Отлучился онъ изъ дому—подъ самый Петровъ день — на зорькѣ, да почти цѣлое утро пропадалъ. Наконецъ, воротился. Мы съ женой спрашиваемъ его — гдѣ былъ. Въ лѣсъ, говоритъ, гулять ходилъ, да встрѣтилъ тамъ нѣкоего зеленаго старичка, который со мною много разговаривалъ, и такіе мнѣ вкусные орѣшки далъ! — „Какой такой зеленый старичокъ?“ спрашиваемъ мы.— Не знаю, говоритъ, никогда его доселѣ не видывалъ. Маленькій старичокъ, съ горбиною, ножками все семенитъ и посмѣивается—и весь, какъ листъ зеленый.—„Какъ, говоримъ мы, — и лицо зеленое?“ — И лицо, и волосы, и самые даже глаза.—Никогда нашъ сынъ не лгалъ; но тутъ мы съ женой усомнились“.

Затѣмъ, однако, все пошло спокойно; учился Яковъ въ семинаріи, и учился хорошо. Но только на 19-мъ году, передъ окончаніемъ уже курса, сталъ онъ просить отца—разрѣшить ему „идти по-свѣтскому“:

„не лежитъ сердце мое (писалъ онъ) къ духовному званію, ужасаюсь я отвѣтственности, боюсь грѣха—сомнѣнія во мнѣ возродились“.

Отецъ погоревалъ, но—человѣкъ разумный, сердечный и любящій—благословилъ сына оставить одну дорогу и пойти по другой: Яковъ поступилъ въ университетъ. Здѣсь дѣло опять пошло хорошо: онъ и самъ учился, и сталъ уроки

давать, и отцу деньги даже задумалъ высылать. Отецъ Алексѣй повеселѣлъ. Но не долго длилось его веселье: вскорѣ все оборвалось. Якова одолѣли сомнѣнія; внутри его какъ бы что́-то раздвоилось, и ему сталъ представляться дьяволъ. Это обнаружилось на первыхъ же вакаціяхъ, когда онъ пріѣхалъ къ отцу.

„Да ты, Яковъ, боленъ, что-ли? (спрашивалъ тотъ). — Нѣтъ, говоритъ, батюшка, я не боленъ: а только вы, батюшка, меня не тревожьте и не разспрашивайте; а то я отсюда уйду — и только вы меня и видали. Говоритъ мнѣ Яковъ — не боленъ (продолжаетъ старикъ), а у самого лицо такое, что я даже ужаснулся! Страшное, темное, нечеловѣческое словно! — Щеки этта подтянуло, скулы выпятились, кости да кожа, голосъ какъ изъ бочки... а глаза... Господи Владыко! Что это за глаза! Грозные, дикіе, — все по сторонамъ мечутся — и поймать ихъ нельзя; брови сдвинуты, губы тоже какъ-то на-бокъ скрючены... Что сталось съ моимъ Іосифомъ Прекраснымъ, съ тихоней моимъ? Ума не приложу. Ужъ не рехнулся-ли онъ? — думаю я такъ-то. Скитается какъ привидѣніе, по ночамъ не спитъ, — а то вдругъ возьметъ да уставится въ уголъ и словно весь окаменѣетъ... Жутко таково!“

Старикъ разжалобилъ сына своею печалью, — и тотъ открылъ ему свою страшную тайну.

„Яковъ, Яковъ, ты бы попробовалъ помолиться (просилъ отецъ Алексѣй): навожденіе это-бы разсѣялось. Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его! — Пробовалъ, говоритъ, да ничего не дѣйствуетъ. — Постой, постой, Яковъ: не малодушествуй; я ладономъ покурю, молитву почитаю, святой водой кругомъ тебя окроплю. — Яковъ только рукой махнулъ. — Ни въ ладонъ я твой не вѣрю ни въ воду святую; не помогаютъ они ни на грошъ“.

И потекли безотрадные, тяжелые дни. — Два раза, однако, являлась надежда исцѣлить Якова отъ страшныхъ видѣній. Одинъ разъ онъ поддался было вліянію доброй женской души, познакомившись съ сосѣдкой Маѳой Савишной, — и сомнѣнія готовы были оставить его. Другой разъ его растрогала

весна да мысль о богомольи, о путешествіи съ отцомъ къ святынѣ Воронежской, къ ракѣ св. угодника Митрофанія,— великія, цѣльныя, поэтическія и святыя впечатлѣнія залѣчили-было душевное раздвоеніе, душевный разладъ. Но въ самую рѣшительную минуту дѣло кончилось, однако, опять побѣдой сомнѣнія, видѣньями, — душа человѣческая опять смутилась (на этотъ разъ почти до отчаянья) передъ дьяволомъ, передъ олицетворенною фантазіей Якова грозною силою грубоматерьяльной природы: онъ не смогъ повѣрить въ побѣду духа надъ нею.

Яковъ, какъ Валерія въ „Пѣсни торжествующей любви“,— существо прекрасное, симпатичное; онъ уменъ, добръ, искренъ и чистъ душою. Онъ ненавидитъ своего демона, и боится его, какъ та ненавидитъ свою мутную страсть къ Муцію и боится ея. И какъ Валерія безсильна передъ этой страстью, такъ не можетъ одолѣть своего демона, успокоить свои сомнѣнія и Яковъ.

Но далѣе начинаются различія двухъ повѣстей: Валерія осталась во власти матерьяльнаго начала, внезапно, противъ ея ожиданія воскресшаго въ ней. Яковъ, считавшій себя погибшимъ, отданнымъ своему демону, самъ того не зная, оказался освобожденнымъ отъ него смертью.

„Передъ смертью онъ нѣсколько дней не пилъ, не ѣлъ (разсказываетъ отецъ Алексѣй),—все по комнатѣ взадъ и впередъ бѣгалъ, да твердилъ, что грѣху его не можетъ быть отпущенія... но е-г-о уже онъ больше не видѣлъ“.

Въ этихъ послѣднихъ словахъ (словахъ объ отсутствіи видѣнія) слышится какая-то надежда. Нравственный судъ Якова надъ собою отогналъ сомнѣнія. Эта надежда подтверждается тѣмъ обстоятельствомъ—каковъ былъ Яковъ мертвый:

„ужъ очень онъ хорошъ лежалъ въ гробу (разсказываетъ старикъ отецъ): совсѣмъ словно помолодѣлъ и сталъ на прежняго похожъ Якова. Лицо такое тихое, чистое, волосы колечками завились — а на губахъ улыбка. Марѳа Савишна приходила смотрѣть на него и то-же самое говорила. Она же его обставила всего цвѣтами и на сердце ему цвѣты положила — и камень надгробный на свой счетъ поставила“.

Надежда закралась, при этомъ отрадномъ видѣ, и въ сердце скорбнаго старика,—и потому

„не хочу я вѣрить (говоритъ отецъ Алексѣй), чтобы Господь сталъ судить его своимъ строгимъ судомъ“.

Такимъ отраднымъ религіознымъ заключеніемъ завершается страшная, всю глубину души читателя потрясающая вѣсть.

Невыразимо тяжела, но возможна побѣда безсмертнаго духа человѣческаго надъ матеріей, надъ природой, побѣда вѣры и душевной гармоніи надъ сомнѣніемъ и раздвоеніемъ—вотъ высокая мысль „Разсказа отца Алексѣя“ — проявленіе затаеннаго религіознаго идеала тургеневскаго творчества.

А. Незеленовъ.

„ПѢСНЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ ЛЮБВИ“.

*) „Пѣснь торжествующей любви“ по необыкновенно художественной обработкѣ обращаетъ на себя особенное вниманіе: подобнаго рода изящныхъ новеллъ немного отыщется даже и въ европейской литературѣ, не только въ русской. Вещь эта, помимо ея высокаго художественнаго изящества, имѣетъ еще и особенный, частный интересъ въ томъ отношеніи, что, за исключеніемъ драматической пьесы „Неосторожность“, она представляется единственнымъ произведеніемъ Тургенева, которое взято не изъ русской жизни. Въ „Пѣсни торжествующей любви“ художникъ переноситъ насъ въ Италію временъ Возрожденія и создаетъ странную, фантастическую исторію въ романтическо-мистическомъ жанрѣ, полную поэтической прелести и обнаруживающую такія глубины психическихъ тайнъ, погрузившись въ которыя, иной нѣмецкій критикъ могъ бы написать цѣлый томъ толкованій. Не имѣя ни желанія ни мѣста для подобнаго рода толкованій, я ограничусь только замѣчаніемъ, что, по способности сообщить произведенію изъ чужой для насъ жизни

*) В. Буренинъ „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

яркій мѣстный колоритъ, по способности всецѣло перенестись воображеніемъ въ данную страну и данную эпоху и воспроизвести ихъ съ удивительной живостью, наконецъ, по точности и законченности отдѣлки—нашъ художникъ превосходитъ въ своемъ маленькомъ шедеврѣ такихъ мастеровъ, какъ Бейль и Мериме, новеллы которыхъ прославлены на цѣлый свѣтъ.

В. Буренинъ.

* * *

По поводу этого безтенденціознаго произведенія, произведенія, такъ сказать, чистаго искусства, много говорилось въ публикѣ и въ печати о „законныхъ предѣлахъ искусства", о „служеніи чистой красотѣ", при чемъ не одинъ разъ упоминалась пресловутая фраза: „такъ по вашему сапоги выше Шекспира?" Такъ, между прочимъ, въ „Отечественныхъ Запискахъ" г. Михайловскій говоритъ:

*) „Чистое искусство есть созданіе фантазіи, въ дѣйствительности не существующее. Это, пожалуй—идолъ, передъ которымъ вѣрующіе, а иногда и невѣрующіе молятся, у котораго есть жрецы, но который, какъ всякій идолъ, есть ложь. Въ дѣйствительности, никто чистому искусству не служитъ, а оно, наоборотъ, всегда и непремѣнно кому-нибудь или чему-нибудь служитъ. Пустая фраза (все равно прекрасная или безобразная), форма безъ содержанія немыслима. Содержаніе можетъ быть мелко и крупно, вложено въ художественную форму сознательно или попасть туда помимо воли и сознанія художника, но оно, во всякомъ случаѣ, непремѣнно есть. Есть оно и въ „Пѣсни торжествующей любви", разумѣется. Меня поразило одно словесное возраженіе, полученное въ разговорѣ о законности произведеній типа „Пѣсни торжествующей любви". Мнѣ было сказано: „такъ вы хотите оставить человѣчество при однихъ низменныхъ, животныхъ инстинктахъ?"—Но развѣ только и свѣту, что въ окошкѣ? Пожалуйте на улицу, пожалуйте въ

*) Н. Михайловскій. „Отечественныя Записки" 1881 г., № 12.

поле—тамъ солнце сіяетъ съ небесъ. Если бы я отрицалъ даже всю область поэзіи, во всѣхъ ея видахъ и формахъ (чего я, разумѣется, не дѣлаю),такъ и то осталось бы на свѣтѣ добро, правда-истина и правда-справедливость, вовсе не мирящіяся съ низменными, животными инстинктами. Что касается этихъ инстинктовъ, то художественныя произведенія, въ родѣ „Пѣсни торжествующей любви“, не только не отодвигаютъ ихъ въ задній уголъ, а, напротивъ, ставятъ на пьедесталъ. Wage du zu träumen, такъ, помнится, гласитъ эпиграфъ къ фантастическому разсказу И. С. Тургенева. О, да! wage. Отнять мечту у человѣка было бы слишкомъ безжалостно. Но замѣтьте, что весь Traum, вся мечта уходитъ въ разсказѣ на фантастическую обстановку, представляющую смѣсь „Тысячи и одной ночи“ съ гипнотическими сеансами Ганзена. Въ этомъ направленіи Traum заходитъ дѣйствительно далеко. Но относительно внутренняго содержанія, неужели надо быть очень смѣлымъ мечтателемъ, чтобы представить себѣ, какъ молодой человѣкъ и молодая женщина, влекомые чисто физическою страстью (въ духовномъ отношеніи чувства Валеріи къ Муцію даже непріязненны), сходятся, производятъ ребенка и затѣмъ расходятся, чтобы никогда больше не увидаться? Право же, это—очень скудная исторія изъ области именно низменныхъ инстинктовъ, поль-де-коковскій анекдотъ, который рѣшительно не стоило вставлять въ такую блистающую роскошью фантазіи рамку. Не стоило и, смѣю сказать, не слѣдовало. Я слышалъ мнѣніе, что „Пѣснь торжествующей любви“ есть художественная иллюстрація къ метафизикѣ любви Шопенгауера. По этой метафизикѣ, міровая воля обманываетъ людей всею чарующею прелестью любви единственно въ интересахъ вида homo sapiens, единственно для того, чтобы любящія сердца произвели на свѣтъ новаго человѣка. А такъ какъ, дескать, супружество Фабія и Валеріи было безплодно, то и явился на сцену Муцій. Не знаю, имѣлъ ли что-нибудь подобное въ виду И. С. Тургеневъ, но знаю, что это—невѣрное или, по крайней мѣрѣ, неполное толкованіе теоріи Шопенгауера, которая требуетъ отъ любви пополненія кон-

трастовъ между любящими и всей тонкой игры чувствъ, возникающей при такомъ пополненіи, а не мистически грубаго и голаго взаимнаго влеченія какого-нибудь Муція и какой-нибудь Валеріи. Разскажите этотъ самый анекдотъ во всей его нагой правдѣ, безъ всѣхъ этихъ скрипокъ, нѣмыхъ малайцевъ, змѣй и яшмовыхъ чашечекъ, и если ваши слушатели не скажутъ, что это—мерзость, такъ только потому, что это—слишкомъ ужъ вульгарная, пріѣвшаяся исторія. А въ фантастической рамкѣ, совершаясь подъ звуки какой-то необыкновенной музыки, и вообще въ обстановкѣ мечты, идеала, Traum'а, анекдотъ получаетъ, повидимому, совсѣмъ другой характеръ. Но это только повидимому, а на дѣлѣ ничего, кромѣ низменныхъ инстинктовъ, анекдотъ не затрогиваетъ.

Вы можете придать какому-нибудь сосуду форму красивую или безобразную, можете влить въ него ядъ или лекарство, ширазское вино, которымъ Муцій опоилъ Валерію, или очищенную водку. Но вы очень ошибетесь, если подумаете, что, не наливъ въ него ничего, вы такъ его пустымъ и оставили: въ крайнемъ случаѣ, въ немъ окажется воздухъ и, по всей вѣроятности, болѣе или менѣе испорченный. Такъ и въ поэзіи. Художникъ можетъ вдвинуть въ художественную форму очень разнообразное содержаніе и, слѣдовательно, заставить свое искусство служить очень разнообразнымъ цѣлямъ. Но если онъ захочетъ служить именно чистой красотѣ, именно формѣ, то, помимо его воли и сознанія, въ эту форму вкрадется, по всей вѣроятности, очень низменное содержаніе, а слѣдовательно, и искусство будетъ служить очень низменнымъ цѣлямъ.

Дѣло въ томъ, что чистая красота есть лишь отвлеченная категорія, созданіе анализа, необходимое при извѣстныхъ логическихъ операціяхъ, но въ дѣйствительности, какъ нѣчто живое, совсѣмъ не существующее. Ничего просто прекраснаго въ жизни нѣтъ, и въ понятіе о прекрасномъ непремѣнно входятъ сознаваемые или не сознаваемые вами, положительные или отрицательные, возвышенные или низменные элементы добра и правды. А потому искусство для

искусства руководящимъ принципомъ быть не можетъ. Столь гордое своею отрѣшенностью отъ всѣхъ земныхъ скорбей и радостей, витающее въ надзвѣздныхъ сферахъ отвлеченной красоты, чистое искусство на дѣлѣ оказывается всегда и непремѣнно чьимъ-нибудь покорнѣйшимъ слугой. Чьимъ?—это опредѣлится условіями жизни художника. Если онъ своими личными условіями опредѣлитъ для себя отношенія прекраснаго къ истинному, доброму, справедливому, онъ сдѣлаетъ искусство орудіемъ для достиженія тѣхъ или другихъ сознательно выбранныхъ цѣлей. Если же онъ захочетъ отдаться исключительно на волю своего влеченія къ прекрасному, то нравственный элементъ все-таки безсознательно войдетъ въ его работу, но войдетъ въ томъ грубомъ, сыромъ видѣ, въ какомъ онъ носится въ окружающей художника средѣ, въ томъ общественномъ слоѣ, къ которому художникъ принадлежитъ. Въ концѣ концовъ, такимъ образомъ, гордое, чистое искусство окажется на службѣ интересовъ даннаго общественнаго слоя.

Н. Михайловскій.

* * *

*) Содержаніе „Пѣсни торжествующей любви“ взято изъ итальянской жизни. Молодую красавицу Валерію, существо прекрасное и чистое, любятъ два друга — Фабій и Муцій. Чувство перваго — свѣтлое; второго — мутное, нечистое.— Фабій женится на Валеріи, полюбившей его,—и супруги живутъ счастливо. Муцій, затаивъ въ душѣ злое чувство, ѣдетъ въ Азію, страну подчиненія человѣка природѣ, его сближенія съ нею и проникновенія, какъ говорятъ, въ ея тайны, въ ея чары. Онъ возвращается оттуда окончательно чувственнымъ, животнымъ существомъ, овладѣвъ тайнами грубаго матерьяльнаго волшебства, приворотовъ, магнетизма, съ запасомъ опьяняющихъ зелій, напитковъ, куреній. Съ нимъ пріѣзжаетъ еще болѣе его сильный во всемъ этомъ лишившійся языка малаецъ.

Муцій поселяется въ саду бывшаго друга своего Фабія,

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

въ павильонѣ, и начинаетъ дѣйствовать на Валерію чувственнымъ и злымъ очарованіемъ своихъ снадобій и обольстительно-животненными звуками своей скрипки и пѣсни, вывезенныхъ изъ Азіи.

Въ Валеріи начинается раздвоеніе, начинается безсознательная, неясная для нея самой борьба противоположныхъ стихій: духа и чувственности. Въ этомъ—смыслъ повѣсти, и фигура Валеріи—центральная фигура въ ней. Валерія—это человѣкъ съ его вѣчнымъ внутреннимъ противорѣчіемъ, въ его борьбѣ духа съ матеріей.

Любя мужа своего, оставаясь въ душѣ чистой и свѣтлой, Валерія не можетъ, однако, противиться властнымъ призывамъ чувственныхъ звуковъ, чувственной грубой страсти: сонная, страдая и мучась и въ то же время страстно желая, она ходитъ на свиданія съ Муціемъ и даетъ ему, сама того не зная, право пѣть „пѣснь торжествующей любви“.—Тогда помутился самый источникъ ея чистоты:

„за нѣсколько недѣль до возвращенія Муція (говорится въ повѣсти), Фабій началъ портретъ своей жены, изобразивъ ее съ атрибутами святой Цециліи“.

Теперь она не можетъ больше быть моделью для такой картины. Вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ поэтъ: „отпустивши Муція въ Феррару“, Фабій

„отправился въ свою студію, гдѣ Валерія обыкновенно его ожидала; но онъ не нашелъ ее тамъ; кликнулъ ее—она не отозвалась. Фабіемъ овладѣло тайное безпокойство; онъ принялся ее отыскивать. Въ домѣ ея не было; Фабій побѣжалъ въ садъ—и тамъ, въ одной изъ отдаленнѣйшихъ аллей, онъ увидѣлъ Валерію. Съ опущенной на грудь головой, со скрещенными на колѣняхъ руками, она сидѣла на скамьѣ,—а за ней, выдѣляясь изъ темной зелени кипариса, мраморный сатиръ, съ искаженнымъ злорадной усмѣшкой лицомъ, прикладывалъ къ свирѣли свои заостренныя губы. Валерія замѣтно обрадовалась появленію мужа—и на его тревожные вопросы отвѣтила, что у ней немного болитъ голова, но что это ничего не значитъ—и что она готова пойти на сеансъ. Фабій привелъ ее въ студію, усадилъ, взялся за кисть; но,

къ великой своей досадѣ, никакъ не могъ кончить лица такъ, какъ бы онъ того желалъ. И не потому, что оно было нѣсколько блѣдно и казалось утомленнымъ... нѣтъ, но того чистаго, святого выраженія, которое такъ ему въ немъ нравилось, и которое навело его на мысль представить Валерію въ образѣ святой Цециліи—онъ сегодня не находилъ“.

Когда истина, наконецъ, раскрылась,—и Муцій умеръ, пораженный кинжаломъ Фабія, Валерія (вскрикнувшая сама отъ того же удара въ своемъ очарованномъ чувственномъ снѣ) проснулась радостная, облегченная, свѣтлая. Они зажили съ мужемъ по-прежнему, — Фабій снова принялся за ея портретъ, и опять

„нашелъ въ ея чертахъ то чистое выраженіе, мгновенное затменіе котораго такъ смутило его...“

Но свѣтлая радость продолжалась недолго:

„Въ одинъ прекрасный осенній день Фабій оканчивалъ (разсказываетъ поэтъ) изображеніе своей Цециліи; Валерія сидѣла передъ органомъ, и пальцы ея бродили по клавишамъ... Внезапно, помимо ея воли, подъ ея руками зазвучала та пѣснь торжествующей любви, которую нѣкогда игралъ Муцій—и въ тотъ же мигъ, въ первый разъ послѣ ея брака, она почувствовала внутри себя трепетъ новой, зарождающейся жизни... Валерія вздрогнула, остановилась...

Что это значитъ? Неужели же“...

Невыразимо тяжелое впечатлѣніе производитъ это окончаніе повѣсти, свидѣтельствующее о побѣдномъ воскресеніи въ Валеріи той мутной чувственной страсти, которая, казалось, совсѣмъ покинула ее со смертью Муція.—Вообще повѣсть „Пѣснь торжествующей любви“ пробуждаетъ въ душѣ нашей чувство мрачнаго ужаса, ибо ея основная идея есть безотрадная мысль о торжествѣ въ человѣкѣ животнаго начала надъ духовнымъ, о побѣдѣ грубой матерьяльной природы надъ благороднымъ стремленіемъ человѣка къ духовному безсмертію.

А. Незеленовъ.

* * *

*) Послѣдніе свои годы Тургеневъ еще болѣе прежняго отдался овладѣвавшему имъ страху передъ смертью, и страхъ этотъ навѣвалъ на него все болѣе фантастическія грезы. Не только область сверхъестественнаго наполняетъ собою предсмертныя вещи Тургенева,—сама обстановка, среди которой возникаютъ передъ нимъ странные загадочные образы, дѣлается все болѣе вычурною, скажу прямо — болѣзненною. Фантазія его, если можно такъ выразиться, утрачиваетъ все болѣе реальную почву, и все мрачнѣе ощущается въ его творчествѣ холодное дуновеніе могилы. Въ его двухъ послѣднихъ повѣстяхъ—въ „Пѣсни торжествующей любви“ и въ „Кларѣ Миличъ“—фантастическая струя не только проникаетъ извнѣ, какъ было прежде, въ область дѣйствительнаго,—сама эта область исчезаетъ, чтобы уступить мѣсто чему-то уродливо-сказочному, чему-то напоминающему знаменитыя сказки Гофмана. Всѣ художники, обращавшіеся за вдохновеніемъ къ сверхъестественному міру, либо погружались въ него окончательно, настраивая себя на искреннюю вѣру въ этотъ міръ, либо, напротивъ, сопоставляли намѣренно фантастическія явленія съ реальными образами. Тургеневъ не дѣлаетъ ни того ни другого. Скептицизмъ, по прежнему, чувствуется какъ затаенная струна въ его мысли, и все-таки онъ приглашаетъ читателя вслѣдъ за нимъ вступить въ таинственную область, гдѣ для скептика нѣтъ мѣста, гдѣ призраки исчезаютъ передъ невѣрующими глазами. Оттого и получается раздвоенно-докучливое впечатлѣніе, свидѣтельствующее о томъ, что для самого Тургенева до послѣдней минуты великій вопросъ стоялъ впереди и что таинственную загадку смерти онъ не въ силахъ былъ разгадать до конца.

К. Головинъ

---

*) К. Головинъ. „Русскій романъ и русское общество“. Спб. 1897 г.

„СТИХОТВОРЕНІЯ ВЪ ПРОЗѢ“.

*) „Стихотворенія въ прозѣ“ представляютъ маленькіе этюды иногда въ нѣсколько строкъ, иногда въ цѣлую страницу. Тургеневъ набрасывалъ въ нихъ мелькавшіе образы, чувства, идеи. Конечно, эти наброски имѣютъ извѣстное художественное достоинство; они сдѣланы рукой опытной, сдѣланы эффектно, съ привычнымъ умѣньемъ въ двухъ-трехъ словахъ отчеканить мысль, чувство, образъ.

Вопросъ, значитъ, въ томъ, каковы эти мысли и чувства.

Прежде всего, чуть не въ каждомъ отрывкѣ, авторъ вспоминаетъ о своей грядущей близкой смерти. Эта мысль наполняетъ всецѣло всю его душу и заставляетъ ежеминутно трепетать: смерть то гонится за нимъ въ видѣ страшной старухи, то надвигается въ видѣ разверстой могилы; онъ видитъ ее и во снѣ и на яву. Въ концѣ концовъ, это производитъ особое, не совсѣмъ лестное для автора, впечатлѣніе на душу читателя, сколько-нибудь мыслящаго. Конечно, подъ старость, да еще человѣку больному, мысль о смерти должна приходить часто, но... сдѣлать мысль о смерти своей idée fixe, такъ конвульсивно, такъ судорожно трепетать отъ ужаса при ея приближеніи, это—явленіе вовсе не нормальное, это характеризуетъ особый типъ душевнаго склада, особую нравственную консистенцію, не возбуждающую черезчуръ глубокаго эстетическаго впечатлѣнія въ читателяхъ. Особенно это непріятно въ старцѣ, долго жившемъ, который не могъ же, наконецъ, въ свою долгую жизнь не чувствовать и не мыслить много, много,— не могъ же, наконецъ, не придти къ нѣкоторому философскому примиренію съ этой естественной, нормальной обязанностію каждаго— умереть. Посмотрите, какъ умираетъ старикъ крестьянинъ: посмотрите, какъ умираетъ мудрецъ. Для многихъ смерть— тихое пристанище отъ разочарованій и тяжелой жизненной борьбы, когда такъ охотно уступается мѣсто молодымъ и свѣ-

*) „Русское Богатство“ 1883 г., № 1. Статья Созерцателя (Л. Е. Оболенскаго).

жимъ силамъ и, уходя изъ міра, всю свою душу, всѣ свои завѣтныя чаянія завѣщаютъ грядущимъ поколѣніямъ, живутъ въ нихъ, любятъ ихъ и съ любовью ихъ благославляютъ. Ничто подобное не сквозитъ въ предсмертныхъ корчахъ нашего талантливаго художника. Онъ мучится, точно преступникъ передъ казнью, да, вѣдь, и преступники не всѣ такъ судорожно мучатся, а тѣ, которые мучатся, вызываютъ далеко не нравственное и не эстетическое впечатлѣніе. И невольно приходитъ вопросъ: да отчего же такъ безъ достоинства думаетъ о смерти нашъ великій художникъ? Неужели такой ужасъ смерти есть удѣлъ художника вообще, какъ существа, наиболѣе страстно обожающаго жизнь? Нѣтъ, намъ невольно припоминается, какъ контрастъ, образъ другого нашего великаго художника, графа Толстого, который еще на дняхъ повѣдалъ міру свою душевную исповѣдь. Какая безконечная разница! Какая противоположность! Этотъ человѣкъ былъ пораженъ мыслью о смерти въ самый расцвѣтъ молодыхъ силъ и таланта, и страхъ смерти сказался въ немъ вопросомъ: „зачѣмъ я жилъ? Зачѣмъ живу? Для чего и зачѣмъ жизнь вообще? Стоитъ ли жить?" Такіе вопросы, какъ извѣстно, приходили и Джону Стюарту Миллю. И тамъ и тутъ они привели, путемъ мучительной рефлексіи, убійственной логической и нравственной ломки, къ убѣжденію, что жить не стоитъ, что нужно скорѣе кончить эту шутку. И графъ Толстой долженъ былъ прятать отъ себя ружье, чтобы не привести это рѣшеніе въ исполненіе. Но и у него, какъ и у Милля, скоро нашлось примиреніе: англійскій мыслитель нашелъ его въ своемъ знаменитомъ утилитаріанизмѣ, русскій геніальный художникъ отыскалъ его тамъ, гдѣ ожидалъ менѣе всего: пройдя черезъ горнило положительной науки и философскихъ системъ величайшихъ европейскихъ мыслителей, его душа не нашла въ нихъ ничего, что бы давало цѣну жизни. Тогда-то его поразилъ вопросъ: если я, обставленный такъ хорошо во внѣшнемъ отношеніи,—я, человѣкъ богатый, ученый, знаменитый, окруженный семьей и заботами прекрасной любящей жены,—если я не нахожу въ себѣ силъ дольше жить, потому что не вижу цѣли въ жизни,

считаю все это мучительнымъ миражемъ и самообманомъ, то какая же сила удерживаетъ въ жизни простой народъ, крестьянина, вѣчно голоднаго и холоднаго, вѣчно борящагося съ нуждой и не видящаго никакой радости? И онъ сталъ искать въ народѣ отвѣта на свою загадку о цѣляхъ жизни. И онъ нашелъ ее въ народномъ чувствѣ вѣры и христіанской братской любви. Да, вотъ гдѣ разгадка жизни. Любовь, любовь, завѣщанная Христомъ, вотъ что даетъ безсмертіе и снимаетъ страхъ смерти. Умирая, я люблю остающихся, я живу въ нихъ и ихъ жизнью; но это возможно только любя. У кого есть семья, тотъ умирая живетъ въ дѣтяхъ, въ ихъ будущемъ видитъ продолженіе своей жизни, своей борьбы; у кого нѣтъ семьи, но есть любовь къ человѣчеству, тому все человѣчество замѣняетъ семью, и онъ покойно уходитъ изъ міра, любуясь и любя новыя волны жизни, которыя сомкнутся надъ его могилой. Но для этого нужно любить не одинъ внѣшній міръ, а его внутреннюю сущность; любить человѣка и его душу, вѣрить въ нее.

Изъ остальныхъ „Стихотвореній въ прозѣ“ мы видимъ, что Тургеневъ не вѣритъ въ будущее родной страны и родного народа. Здѣсь, у насъ на Руси, все возбуждаетъ въ немъ только желчь и отрицаніе: и народъ и критики, обидѣвшіе его, и всякіе дураки, которые, по его словамъ, прославились тѣмъ, что кричали о новизнѣ, и молодежь, которая не оцѣнила его. Невольно удивляешься этому нравственному противорѣчію: человѣкъ не вѣритъ въ жизнь, и все жъ съ ужасомъ цѣпляется за нее холодѣющими руками. Но на самомъ дѣлѣ, тутъ нѣтъ противорѣчія, а, напротивъ, тутъ-то и разгадка. Нельзя оторваться отъ народной жизни, отъ народной души и сохранить свою душу и сердце! Нельзя всю жизнь питаться только обожаніемъ чуждой, чисто внѣшней цивилизаціи. Все *внѣшнее* измѣнитъ, когда придетъ послѣдній расчетъ, измѣнитъ и самая внѣшняя оболочка, это тѣло— не измѣнитъ только внутреннее, не измѣнитъ любовь. И вотъ, передъ нами два типа, два полюса: одинъ не вѣритъ въ жизнь и другой не вѣрилъ въ нее, но первый страстно цѣпляется за жизнь, какъ сибаритъ, для котораго все во внѣш-

немъ, въ тѣлѣ, — другой самъ добровольно ищетъ смерти, разъ онъ не нашелъ въ ней внутренняго смысла, разъ онъ призналъ, что въ ней нѣтъ нравственной цѣли. Внѣшнее счастье, обставляющее его, для него ничто: ни семья, ни богатство, ни слава, ни любящая красавица-жена — не могутъ его заставить жить, если въ жизни нѣтъ нравственнаго смысла! И человѣкъ ищетъ смерти самъ, добровольно, пока не находитъ нравственнаго смысла въ жизни, тогда какъ первый трепещетъ этой самой смерти и конвульсивно отбивается отъ нея.

Вотъ два полюса! Вотъ два противоположныхъ нравственныхъ типа! И такъ понятно становится, что у перваго нѣтъ никакой общей, высшей, синтетической идеи въ жизни, въ міросозерцаніи, идеи, которая бы на склонѣ жизни примиряла для него все законное и нормальное... Да и быть такой идеи у этого типа не можетъ, ибо нельзя ее имѣть, не имѣя въ душѣ главнаго, что носитъ каждый человѣкъ, какъ основной душевный фонъ, какъ почву душевныхъ явленій. Эта почва у каждаго, у француза, у англичанина, у нѣмца — родной народъ, вѣра въ него, любовь къ нему, не барская, не съ высоты „европейски-образованнаго“ барина, а любовь всецѣло охватывающая народное сердце и душу, сливающаяся съ ними, питающаяся надеждами, вѣрованіями, чаяніями этой святой, труженической, всепрощающей души.

Тургеневъ тоже любитъ народъ, жалѣетъ его бѣдность, но посмотрите, какая это жалкая, высокомѣрная любовь, съ высоты своего европейскаго величія, когда человѣкъ, даже умирая, не въ силахъ понять всего ничтожества этого эфемернаго, внѣшняго величія. Вотъ баба и мужикъ. Онъ желаетъ принять въ домъ пріемышемъ сироту. Она говоритъ, что теперь хоть соль у нихъ въ щахъ есть, а тогда и соли не будетъ. Онъ отвѣчаетъ: и безъ соли похлебаемъ.

Вотъ у бабы умеръ единственный сынъ. Барыня бѣжитъ въ ея избу съ утѣшеніями и видитъ, что баба, стоя передъ столомъ, быстро хлебаетъ щи, а слезы катятся у нея изъ глазъ. „Какъ! восклицаетъ барыня: ты можешь ѣсть!“ — „Да, вѣдь, щи-то посоленыя“, отвѣчаетъ баба.

Такъ и кажется, что вы эти анекдоты, „сочувственные мужичку“, слышали ужъ гдѣ-то въ богатомъ барскомъ домѣ, послѣ роскошнаго обѣда, за дорогимъ кофе и душистой сигарой, изъ устъ гуманнаго, европейски-образованнаго, либеральнаго помѣщика. И тяжело и противно!

Изъ „Русскаго Богатства“ за 1883 г. Статья Созерцателя (Л. Е. Оболенскаго).

„КЛАРА МИЛИЧЪ“.

*) „Клара Миличъ“ также полуфантастическаго характера и преисполнена романтическаго мистицизма. Струя романтизма, такъ замѣтная въ первыхъ работахъ нашего художника, какъ будто вновь, послѣ долгаго изсякновенія, просочилась съ замѣчательною настойчивостью и силою въ послѣдніе годы его творчества. Три произведенія: „Сонъ“, „Пѣснь торжествующей любви“ и „Клара Миличъ“ свидѣтельствуютъ объ этомъ, какъ бы подтверждая старую истину, что въ преклонномъ возрастѣ обыкновенно возрождаются тѣ душевныя впечатлѣнія, подъ господствующимъ вліяніемъ которыхъ складывалась ранняя юность человѣка. „Клара Миличъ“—къ слову сказать—была навѣяна Тургеневу трагической исторіей извѣстной пѣвицы и впослѣдствіи драматической артистки Кадминой, отравившейся и умершей за кулисами, во время представленія пьесы, въ которой она участвовала. Объ этомъ обстоятельствѣ упоминали въ печати, когда появилась повѣсть. Но слѣдуетъ, однако, замѣтить, что, судя по тѣмъ разсказамъ, какіе извѣстны о покойной Кадминой, въ характерѣ этой артистки не было ничего сходнаго съ характеромъ героини повѣсти Тургенева. Художникъ заимствовалъ изъ дѣйствительной исторіи только два внѣшнихъ факта: фактъ отравленія и фактъ принадлежности отравившейся театральному міру. Мотивы, по которымъ такъ трагически окончила свою жизнь Кадмина, не имѣютъ, кажется, ничего об-

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

щаго съ мотивами, обусловливающими печальную развязку любви героини повѣсти Тургенева. Дѣлаю это указаніе здѣсь въ тѣхъ видахъ, чтобы еще разъ подтвердить, что нашъ художникъ никогда не былъ „протоколистомъ“, списывавшимъ голую дѣйствительность, какъ это старались распространить о немъ нѣкоторые усердные не по разуму поклонники протоколизма въ искусствѣ: онъ всегда возводилъ голую дѣйствительность, говоря извѣстнымъ затертымъ выраженіемъ Гоголя, „въ перлъ созданія“, и въ этомъ отношеніи былъ живымъ укоромъ бѣдному и жалкому сочинительству „протоколистовъ“ и европейскихъ и нашихъ доморощенныхъ.

В. Буренинъ.

* * *

*) Повѣсть г. Тургенева („Клара Миличъ“) показываетъ, что жизнь вовсе не такъ уже пріѣлась автору, какъ онъ это намъ когда-то красиво расписывалъ. Напротивъ, ему хотѣлось бы жить, жить, вѣчно жить, и не только жить, но и любить; а дѣло извѣстное, чего страстно хочется, въ то невольно и вѣрится, на этомъ весь такъ называемый спиритизмъ построенъ. Подъ именемъ Клары Миличъ г. Тургеневъ изорбазилъ, какъ выяснили рецензенты, умершую пѣвицу Кадмину, но для насъ это обстоятельство не имѣетъ ни малѣйшаго значенія. До Кадминой намъ дѣла нѣтъ, но большое дѣло до г. Тургенева, который на трехъ печатныхъ листахъ дурманитъ читателя чисто-спиритскимъ угаромъ. Высказывая это совершенно открыто, мы не чувствуемъ себя погрѣшившими ни передъ какой pietas. Дружба дружбой, а служба службой... Мы нисколько не возстаемъ противъ фантастическаго элемента въ искусствѣ. Онъ имѣетъ свою, хотя и незначительную роль, и очень удобенъ, напримѣръ, для аллегоріи. Но развѣ аллегорію разсказываетъ намъ г. Тургеневъ? Онъ совершенно серьезно разсказываетъ намъ спиритскія нелѣпости, съ чувствомъ, съ толкомъ и съ разстановкой описываетъ намъ любовное свиданіе съ тѣнью

*) „Дѣло“ 1883 г., № 2. Статья М. П. (М. А. Протопопова?).

умершей женщины. Вѣритъ или не вѣритъ г. Тургеневъ въ возможность подобныхъ явленій—это какъ ему угодно. Но мы не можемъ оставаться равнодушными при видѣ его стараній склонить и читателей къ своей вѣрѣ, нездоровой вѣрѣ, представляющей собою продуктъ ума усталаго и омраченнаго. Мы отказываемся понимать поведеніе „Вѣстника Европы“ въ этомъ случаѣ. Этотъ почтенный журналъ со стойкостью, дѣлающей ему честь, постоянно возставалъ противъ вредоносной пропаганды гг. Бутлеровъ и Вагнеровъ, отказывался, сколько помнимъ, печатать ихъ статьи, но г. Тургеневу отказать не могъ. Да развѣ повѣсть г. Тургенева не вреднѣе самыхъ умопомрачительныхъ статей нашихъ спиритовъ-профессоровъ? Безъ всякаго сравненія вреднѣе, потому что безъ всякаго сравненія популярнѣе. Повѣсть г. Тургенева прочтутъ всѣ, туманныя разглагольствованія г. Бутлерова о какомъ-нибудь четвертомъ измѣреніи прочтутъ два съ половиной человѣка. Но таковы наши журнальные нравы и обычаи. Мы уважаемъ идеи менѣе, нежели громкія и популярныя имена. Мы возстаемъ въ теоріи противъ всякаго рода мистицизма, но если мистицизмомъ заразится *свой*, и при томъ крупный человѣкъ—мы возьмемъ его подъ защиту. Г. Тургеневъ, печатая свои „Призраки“, извинялся передъ читателемъ и просилъ не судить его строго. Нынѣ онъ не только не извиняется, но имѣетъ даже нѣкоторый побѣдоносный видъ, какъ человѣкъ, овладѣвшій высшей истиной.

Изъ „Дѣла“ за 1883 годъ. Статья М. П.(М. А. Протопопова?).

* * *

*) „Клара Миличъ“ И. С. Тургенева имѣла несчастіе навлечь на себя сильный гнѣвъ критиковъ „Русскаго Богатства“ и „Дѣла“. Первый, передавъ содержаніе разсказа въ стилѣ сценъ г. Лейкина, изображаетъ ужасъ „купеческихъ дѣвицъ“ при чтеніи написанныхъ Тургеневымъ „ужастей“, и не колеблясь причисляетъ „Клару“ къ „петрушкиной“ ли-

*) „Недѣля“ 1883 г., № 10. Статья П. М.

тературѣ, на томъ основаніи, что она будто бы возбуждаетъ въ читателѣ только нелѣпое, дѣтски-сказочное волненіе и не даетъ никакой „идеи“. Другой критикъ обрушивается на бѣдную „Клару“ съ еще большимъ ожесточеніемъ. Тургеневъ, говорится въ „Дѣлѣ“, „дурманитъ читателя чистоспиритскимъ угаромъ, старается склонить къ своей вѣрѣ, нездоровой вѣрѣ, представляющей собою продуктъ ума усталаго и помраченнаго“; его разсказъ „вреднѣе самыхъ умопомрачительныхъ статей Бутлерова и Вагнера“ и т. д. (Далѣе слѣдуютъ уже совсѣмъ не умные личные намеки на Тургенева, которыхъ мы здѣсь, конечно, повторять не станемъ).

Признаемся, читая „Клару Миличъ“, мы никакъ не могли представить себѣ, что она вызоветъ столь яростную отповѣдь,—можетъ быть, потому, что не могли вообразить себя въ положеніи „купеческой дѣвицы“, какъ это вздумалось одному изъ критиковъ. Мы видѣли въ новомъ разсказѣ Тургенева дальнѣйшее развитіе темы, взятой имъ изъ „Пѣсни торжествующей любви“, и не думали, что любовь Аратова къ Кларѣ, вполнѣ сознанная имъ только послѣ утраты этой женщины, до тѣхъ поръ любимой безсознательно,—то же торжествующее чувство, всецѣло захватывающее человѣка, съ какимъ мы встрѣтились въ первой новеллѣ. Въ поэмѣ гр. Голенищева-Кутузова, о которой мы говорили въ прошлый разъ, смерть своею силою устраняетъ любовь; у Тургенева, наоборотъ, любовь является сильнѣе смерти и до такой степени овладѣваетъ всѣмъ существомъ человѣка, что тотъ уже не въ силахъ сознавать, что любимаго существа нѣтъ болѣе въ живыхъ, а напротивъ, такъ сказать, внѣдряетъ въ себя сознаніе противоположнаго. Въ разсказѣ Тургенева, если судить его строго съ точки зрѣнія художественной, есть, конечно, недостатки, и, пожалуй, даже крупные, не не тамъ, гдѣ ихъ указываютъ критики. „Чтобы быть художественнымъ, говорится въ „Р. Богатствѣ“, произведеніе искусства должно волновать наши чувства явленіями живой дѣйствительности“. Какой-то ученый, когда-то, говаривалъ: „Господа, я ничего такъ не боюсь, какъ простыхъ и немно-

госложныхъ опредѣленій“. Этотъ афоризмъ, требующій, можетъ быть, цѣлыхъ страницъ для своего поясненія, годится и въ нашемъ дѣлѣ. Мы хотимъ все упрощать, все популяризировать и, сверхъ того, озадачивать публику такими простыми истинами, подъ простотой которыхъ кроется цѣлое море безтолковости. Кажется, какъ просто и хорошо! Какой рѣшительный разрывъ съ эстетическими тонкостями! Будьте вѣрны дѣйствительности,— и вы художникъ; чуть отклонитесь въ сторону—и вы „дурманистъ“... Но позвольте, однако: какую же дѣйствительность вамъ нужно, и какъ вы понимаете слово дѣйствительность? Развѣ вселенная, говоритъ великій мыслитель, не вмѣщается въ головѣ человѣка? Развѣ милліоны ея дѣйствительностей, внѣшнихъ и внутреннихъ, душевныхъ, одна другую отрицающихъ, недоступны нашему разуму? Что же значитъ ваша формула: „будьте вѣрны дѣйствительности? Не то-ли-же самое, что „пишите хорошо“ или „не сочиняйте нелѣпыхъ сочиненій?“ Гдѣ критерій, гдѣ путеводная нить? Въ нашихъ личныхъ воззрѣніяхъ? Но какое же мы имѣемъ право дѣлать наши личныя воззрѣнія общеобязательными? Вѣдь, „купеческая дѣвица“, во имя которой вы изрекаете свой приговоръ надъ Тургеневымъ, разахается еще больше, ежели увидитъ, напримѣръ, на сценѣ тѣнь Гамлетова отца или прочтетъ у Гете разсказъ о томъ, какъ коринфская невѣста, *мертвая* (!!), приходитъ къ своему жениху и говоритъ: „...Меня изъ тѣсноты могильной нѣкій рокъ къ живущимъ шлетъ назадъ... Молодую страсть никакая власть, ни земля ни гробъ не охладятъ. Знай, что смерти роковая сила не могла сковать мою любовь“... А суровый критикъ-позитивистъ отвернется и отъ Шекспира, и отъ Гете, и отъ сотни другихъ, и презрительно скажетъ: это—не художники, они не вѣрны дѣйствительности, они дурманятъ читателя спиритскимъ угаромъ, развращаютъ юношество... Вонъ ихъ!

Тургеневъ—не Шекспиръ и не Гете, да мы и не думаемъ ихъ сравнивать; мы хотѣли только показать, вопервыхъ, что личныя воззрѣнія могутъ быть очень разнообразны (намъ самимъ не разъ случалось, напримѣръ, слышать вопросы въ

родѣ того, почему Гете, человѣкъ несомнѣнно просвѣщенный, построилъ „Фауста“ на чертовщинѣ), а во-вторыхъ, поставить общій, принципіальный вопросъ: свободенъ ли художникъ въ выборѣ формы для выраженія своихъ идей, или онъ долженъ непремѣнно рабски подчиняться тому, что читателю (хотя бы изъ лейкинскихъ героевъ) угодно будетъ признавать за дѣйствительность! Вы съ особеннымъ удовольствіемъ напираете на злополучный „клокъ волосъ“, будтобы (по вашему толкованію) вырванный Аратовымъ изъ головы „духа“ Клары; но если вы, кромѣ этого „клока“, ничего не можете разсмотрѣть, такъ, пожалуй, не далеко ушли вы отъ тѣхъ, кто въ „Фаустѣ“ ничего не видитъ, кромѣ чертовщины.

Изъ „Недѣли“ за 1883 г. Статья П. М.

***

*) Мы получили упрекъ за нашъ разборъ „Клары Миличъ“ Тургенева отъ литературнаго обозрѣвателя „Недѣли“. Считаемъ нужнымъ отвѣтить ему, потому что придаемъ нашему мнѣнію о „Кларѣ Миличъ“ серьезное значеніе и глубоко сожалѣемъ, что шутливая форма изложенія могла породить недоразумѣніе. А, между тѣмъ, все дѣло, кажется, произошло отъ этой шутливой формы. Между тѣмъ, намъ казалось, что трудно найти лучшій способъ указать на неестественность характеровъ, чувствъ и образовъ въ „Кларѣ Миличъ“, какъ передавая ихъ въ юмористическомъ видѣ. Мы надѣялись, что дальнѣйшія, совершенно серьезныя страницы нашего разбора уяснятъ сущность нашей мысли, составляющей наше глубокое убѣжденіе, а именно мысли объ орудіяхъ искусства, объ эффектѣ и о назначеніи искусства. Мы ошиблись. Шутливое изложеніе все испортило, и мы торопимся исправить ошибку и еще разъ серьезно мотивировать наше отрицательное отношеніе къ новому произведенію знаменитаго писателя.

*) „Русское Богатство“ 1883 г., № 3. Статья Созерцателя (Л. Е. Оболенскаго).

Г. П. М. сопоставилъ нашъ разборъ съ разборомъ, напечатаннымъ въ журналѣ „Дѣло“, гдѣ на Тургенева напали за то, что онъ будто бы проповѣдуетъ въ своей повѣсти спиритизмъ. Нашъ критикъ вообразилъ, что мы точно также напали на Тургенева за, что онъ вывелъ на сцену фантастическій элементъ. Критикъ или не прочелъ нашего разбора до конца, гдѣ мы хвалимъ „Фауста“—старый разсказъ Тургенева съ той же темой, или онъ забылъ этотъ разсказъ, гдѣ выводится также фантастическій элементъ и даже гораздо болѣе фантастическій, а именно: авторъ разсказа, въ своей деревнѣ, за нѣсколько верстъ отъ любимой женщины, слышитъ ея предсмертный вопль. Если бы критикъ помнилъ содержаніе „Фауста“, ему бы не пришлось возражать намъ, защищая присутствіе фантастическаго элемента въ искусствѣ,—не пришлось бы ссылаться на гетевскаго Мефистофеля и на тѣнь отца Гамлета и Шекспира. Мы вовсе не объ этомъ говорили, а только о ложномъ эффектѣ, производимомъ ложными, не художественными средствами. Развѣ Гете вывелъ Мефистофеля ради эффекта? Развѣ у Шекспира сущность Гамлета и эффекты драмы построены на появленіи тѣни? А у Тургенева весь эффектъ разсказа построенъ именно на чувствѣ ужаса отъ появленія мертвеца. Это мы и сравнили съ пріемами Дюма-père'а, Габоріо и др. того же рода писателей, которые достигаютъ своихъ цѣлей, напр., не психическимъ анализомъ, гдѣ, если и получается эффектъ, то совсѣмъ иного типа,—а эффектами внѣшними, играющими или на чувствѣ страха, или, еще хуже, не сенсуальномъ волненіи. Вотъ почему мы и заставили восторгаться разсказомъ именно купчиху, а никого другого, ибо въ каждомъ человѣкѣ (какъ казалось намъ) съ неугасшимъ эстетическимъ чутьемъ и мало-мальски образованной мыслію такіе эффекты производятъ, наоборотъ, или смѣхъ или брезгливость, благодаря нечистоплотности деталей въ самыхъ подробностяхъ галлюцинацій несчастнаго героя. Эта нечистоплотность, эти намеки на „полное“ обладаніе героемъ умершей показались намъ до-нельзя противны. Критикъ „Недѣли“, наоборотъ, говоритъ, будто идея Тургенева состояла въ томъ,

чтобы показать, что любовь (?!) переживаетъ тѣло, и что мы этой идеи не замѣтили. И нельзя ее замѣтить, ибо во всемъ разсказѣ любви-то и нѣтъ. А если это—любовь, то любовь обезьяны, заключенной въ одиночную клѣтку и умирающей отъ болѣзни, порождаемой этимъ одиночествомъ. Немногіе, по примѣру критика, назовутъ такую болѣзнь любовію! Нужно дойти до значительнаго ослабленія эстетическаго и вообще свѣжаго человѣческаго чувства любви, чтобы смѣшать одно съ другимъ, а нашъ нѣкогда великій романистъ это смѣшалъ, да еще такъ эффектно подкрасилъ свою смѣсь, что вводитъ въ заблужденіе даже вполнѣ почтенныхъ критиковъ. Смѣшно намъ здѣсь разсуждать о любви, но приходится напомнить, что человѣческая любовь, (что бы то ни лежало въ ея основѣ, въ ея субстанціи) отличается отъ простой физіологической и животной функціи высшей степенью идеализаціи и индивидуализаціи чувства. По поводу „Пѣсни торжествующей любви" мы также слышали мнѣніе, что Тургеневъ популяризировалъ шопенгауэровскую идею о любви, а нашъ критикъ видитъ въ „Кларѣ Миличъ" продолженіе того же мотива. Но что же говорилъ Шопенгауэръ? Онъ говорилъ то же, что скажетъ и всякій любой физіологъ, а именно, что въ любви мы имѣемъ „видовое" (species) стремленіе, а не индивидуальное; но ни кто лучше Шопенгауэра не показалъ, что это видовое стремленіе прикрывается индивидуализаціей. Это-то забылъ Тургеневъ: его любовь—чисто половая любовь, безъ иллюзій, безъ идеализаціи, а въ „Пѣснѣ торжествующей любви" даже безъ *индивидуализаціи* (героинѣ тамъ все равно, съ кѣмъ бы не сойтись: она любитъ мужа, а сходится съ его другомъ, а потому герои этихъ его повѣстей не люди, а обезьяны, которымъ мѣсто въ зоологическомъ саду или клиникѣ нервныхъ болѣзней извѣстнаго типа. Такихъ людей нѣтъ, а если они есть, и притомъ здоровые, то они должны бичеваться сатирой, а не идеализироваться поэтической оболочкой. Намъ могутъ сказать, отчего же не рисовать и обезьянъ. Отчего не изображать и патологическихъ явленій вырожденія, атавизма? У Достоевскаго всѣ герои больные, у Гоголя Поприщинъ

совсѣмъ сумасшедшій... Намъ опять, пожалуй, сдѣлаютъ упрекъ въ томъ, что мы цѣлый классъ явленій выбрасываемъ изъ искусства, какъ насъ упрекнулъ критикъ за то, что мы будто бы лишаемъ художника свободы выбрать ту или иную форму для своей идеи.

Отвѣтимъ и на это новое обвиненіе: не одинъ Достоевскій бралъ типы душевнаго разстройства для того, чтобы анализировать ихъ — и путемъ ихъ анализа указывать многое болѣзненное и въ насъ самихъ, считающихся здоровыми. Выводитъ больныхъ и Шекспиръ. Напримѣръ, Реньяръ, въ своей извѣстной лекціи о сомнамбулизмѣ, анализируетъ поведеніе леди Макбетъ и указываетъ поразительное совпаденіе всѣхъ ея дѣйствій и представленій съ чисто научными признаками извѣстнаго психическаго разстройства. Такія изображенія и такой анализъ иногда предваряютъ науку, разсказываютъ намъ невѣдомыя глубины человѣческой психики, но вы въ нихъ и видите ясно стремленіе нарисовать, анализировать *типичный*, т. е. стоющій вниманія, патологическій случай или моментъ. У Тургенева, наоборотъ, нѣтъ ничего подобнаго, ибо, въ 1-хъ, случай взятъ не бывающій невозможный или такъ рѣдко встрѣчающійся, что быть предметомъ типическаго анализа онъ не можетъ: гдѣ же вы видѣли такихъ больныхъ, которые, ни разу не говоривши съ предметомъ любви, влюбились до помѣшательства и даже до смерти? Это—фантазія, и довольно старая фантазія старыхъ романистовъ. Но не въ томъ одномъ дѣло: Тургеневу не важенъ былъ анализъ душевнаго состоянія героя, а важенъ былъ только эффектъ, производимый на читателя галлюцинаціями или видѣніями больного. Мы готовы даже признать, что и на это имѣетъ право художникъ: онъ долженъ быть свободенъ. Но художникъ вводитъ еще клокъ волосъ для усиленія эффекта. Допустимъ на минуту, что онъ или вѣритъ въ спиритизмъ или просто хотѣлъ поиграть на нашихъ душахъ. Мы готовы и тутъ признать его право: вѣрьте, молъ, во что вамъ нравится, играйте нашими чувствами, какъ хотите, — прекрасно! Но, въ концѣ концовъ, мы не можемъ же отдѣлаться отъ вопроса: чѣмъ же мы волновались? Что пережили?

Какого рода чувствами увлекались и какой осадокъ остался? Какія идеи или стремленія, или потребности возникли изъ этихъ чувствъ? Эти-то вопросы мы и поставили. Нашъ критикъ говоритъ, что эти вопросы касаются будто бы только формы, въ которую Тургеневъ облекъ свою идею. Но въ такого рода расказахъ—форма и идея тѣсно слиты. Формой, въ данномъ случаѣ, вызываются волненія довольно низменныя и ничтожныя, и если за этой формой критикъ усмотрѣлъ идею о прочности любви, переживающей даже смерть, то, конечно, это дѣлаетъ только честь его проницательности и умѣнью видѣть то, чего никто не видитъ; мы же думаемъ, что эта идея такъ сама по себѣ мизерна и такъ извѣстна даже ребенку, который знаетъ, что, даже если кукла разобьется, то любовь и жалость могутъ къ ней остаться, что Тургеневу напрасно было ради нея городить такой удивительный художественный огородъ, а критику упрекать насъ въ непроницательности.

Изъ „Русскаго Богатства“ за 1883 г. Статья Созерцателя (Л. Е. Оболенскаго).

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ КЪ СОЧИНЕНІЯМЪ И. С. ТУРГЕНЕВА.

*) Первый трудъ, которымъ Иванъ Сергѣевичъ открылъ свою дѣятельность, появился въ видѣ критической статьи о книгѣ: „Путешествіе по святымъ мѣстамъ русскимъ“, изданной А. Н. Муравьевымъ. Эта статья, помѣщенная въ „Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія“ (1836 г., т. XI, кн. 8, отд. IV, стр. 391—410), ровно черезъ сорокъ лѣтъ вызвала изъ-подъ пера своего автора неблагосклонный отзывъ (см. „Вѣстникъ Европы“ 1876 г., кн. I, стр. 430): онъ считалъ ее „незначительной работой“, „грѣхомъ своей юности“. Между тѣмъ, эта „проба пера“ отличалась почти тѣми же привлекательными чертами, какія мы привыкли встрѣчать въ каждомъ произведеніи Тургенева: она заключала въ себѣ *художественный разсказъ* о появленіи русскихъ монастырей, *мастерское изображеніе характера* ихъ первыхъ основателей (напримѣръ, патріарха Никона) и, наконецъ, *живой, увлекательный стиль*. Напримѣръ, эта рецензія заключалась такими прекрасными строками: „Пустыня, уединеніе, гдѣ, казалось бы, должно вянуть воображеніе, возбуждаютъ его въ высокой степени, и мы съ живымъ удовольствіемъ внимаемъ автору, когда онъ плыветъ черезъ Ладожское озеро, ночью, при духовномъ пѣніи кормчаго-инока, или когда слушаетъ трогательный разсказъ игумена о св. царевичѣ Іосафѣ, оставившемъ царство земное для небеснаго, и, умиляясь мысленнымъ зрѣлищемъ смиреннаго пріюта отшельниковъ, невольно повторяемъ съ авторомъ стихи, которые желаетъ онъ вложить въ ихъ уста:

---

*) „Литературная дѣятельность Тургенева“. Библіографическій очеркъ Д. Языкова. „Историческій Вѣстникъ“ 1883 г., № 11.

Моря житейскаго шумныя волны
Мы протекли.
Пристань надежную утлые челны
Здѣсь обрѣли.
Здѣсь невечернею радостью полны,
Слышимъ вдали —
Моря житейскаго шумныя волны...“

Такія заключительныя строки рецензіи заставляли ожидать отъ Тургенева самостоятельныхъ поэтическихъ трудовъ. И дѣйствительно, черезъ два года, въ одной изъ книжекъ „Современника“ уже виднѣется стихотвореніе недавняго критика, подъ заглавіемъ „Старый Дубъ“ (1838 г., т. X). Это былъ „первый лепетъ младенческой музы“, за которымъ, въ теченіе сороковыхъ годовъ, потянулась длинная вереница стиховъ, то напечатанныхъ въ журналахъ или сборникахъ, то изданныхъ отдѣльными брошюрами.

Такъ, прежде всего, на страницахъ „Отечественныхъ Записокъ“ появились слѣдующія стихотворенія: „Старый Помѣщикъ“ (1841 г., кн. 9), „Баллада“ (кн. 11) „Похищеніе“ (1842 г., кн. 3), „Цвѣтокъ“ (1843 г., кн. 8), „Нева“ (кн. 9), „Весенній Вечеръ“ (кн. 10), „Когда съ тобой разстался я“ и „Человѣкъ, какихъ много“ (кн. 11), „Толпа“, „Когда давно забытое названье“ и „Конецъ Жизни“ (1884 г., кн. 1), „Ѳедя“, „Я васъ зналъ тому давно“ и „Въ ночь лѣтнюю, когда тревожной грустью полный“ (кн. 3), „Послѣдняя сцена первой части Фауста: „Тюрьма“ (кн. 6), „Къ....“ (кн. 11), „Признаніе“ (кн. 12), „Откуда вѣетъ тишиной“ (1845 г.. кн. 2) и поэма въ двухъ частяхъ „Андрей“ 1846 г., кн. 1.

Затѣмъ, въ тотъ же періодъ времени, и „Современникъ“ продолжалъ помѣщать такія произведенія тургеневской музы. „В. П. Б.“ (должно быть Боткину). „Замѣтила ли ты“, „Осень“ и „Гроза промчалась“ (1844 г., т. 31), „Люблю я вечеромъ къ деревнѣ подъѣзжать“, „На охотѣ лѣтомъ“, „Безлунная Ночь“, „Дѣдъ“, „Гроза“, „Другая Ночь“, „Кроткіе льются лучи“, „Передъ Охотой“, „Первый Снѣгъ“ (1847 г., кн. 1) и „Одинъ, опять одинъ я“....(1850 г., кн. 1).

Наконецъ, безъ стиховъ Тургенева не обошлись и два литературные сборника сороковыхъ годовъ: первый изъ нихъ,

подъ названіемъ: „Вчера и Сегодня“ (Спб. 1845—1846 гг.), заключалъ шесть стихотвореній, а именно: „Когда такъ радостно, такъ нѣжно“, „Ахъ, давно ли гулялъ я съ тобой“, „Въ дорогѣ“, „Утро туманное, утро сѣдое“, „Къ чему твержу я стихъ унылый“ и „Брожу подъ озеромъ“; во второмъ же „Петербургскомъ Сборникѣ“ (Спб. 1846 г.) находятся стихи: „Помѣщикъ“, „Тьма“ изъ Байрона и „Римская Элегія“ изъ Гете. Если къ названнымъ трудамъ прибавить двѣ отдѣльно напечатанныя поэмы: „Параша“ (Спб. 1843 г., 46 стр.) и „Разговоръ“ (Спб. 1845 г., 39 стр.), то можно съ большою вѣроятностію сказать: вотъ все, что нашъ писатель напечаталъ въ стихотворной формѣ.

Въ одно время со стихами, изъ-подъ пера Тургенева стали выходить драматическія сочиненія, повѣсти, разсказы и критическія статьи. Всѣ эти произведенія, сначала помѣщены въ журналахъ, а потомъ лишь частію перепечатанныя въ „Собраніи Сочиненій“, появились передъ публикой въ такомъ хронологическомъ порядкѣ:

1843 г. **Неосторожность**, драматическій очеркъ въ одномъ дѣйствіи („Отеч. Зап.“, кн. 10).

1844 г. **Андрей Колосовъ**, повѣсть („Отеч. Зап.“, кн. 11).

1845 г. **Фаустъ, сочиненіе Гете, переводъ М. Вронченко.** Критическая статья („Отеч. Зап.“, кн. 2).

1846 г. **Три Портрета**, разсказъ („Петербургск. Сборникъ“, изд. Н. Некрасовымъ).

Смерть Ляпунова, драма Гедеонова, критическая статья („Отеч. Зап.“, кн. 8).

Безденежье, сцены изъ Петербургской жизни молодого дворянина („Отеч. Зап.“, кн. 10).

1847 г. **Бреттеръ**, повѣсть („Отеч. Зап.“, кн. 1).

Генералъ-поручикъ Паткуль, трагедія Кукольника, критическая статья „Современ.“ кн. 1).

Записки Охотника: Хорь и Калинычъ („Современ.“, кн. 1).

Петръ Петровичъ Каратаевъ, разсказъ („Современ.“, кн. 2).

Лисьмо изъ Берлина, („Соврем.“, кн. 2).

Записки Охотника: Ермолай и Мельничиха, Мой сосѣдъ Радиловъ, Однодворецъ Овсянниковъ, Льговъ („Современ.“, кн. 5).

Записки Охотника: Бурмистръ, Контора („Современ.“, кн. 10).

Жидъ, разсказъ („Современ.“, кн. 11).

1848 г. **Записки Охотника:** Малиновая Вода, Уѣздный Лѣкарь, Бирюкъ, Лебедянь, Татьяна Борисовна и ея племянникъ („Современ.“, кн. 2).

Пѣтушковъ, повѣсть („Современ.“, кн. 9).

Гдѣ тонко, тамъ и рвется, комедія въ одномъ дѣйствіи („Современ.“, кн. 11).

1849 г. **Записки Охотника:** Смерть, Гамлетъ Щигровскаго уѣзда, Чертопхановъ и Недопюскинъ, Лѣсъ и Степь („Современ.“, кн. 2).

Холостякъ, комедія въ трехъ дѣйств. („Отеч. Зап.“, кн. 9). Эта комедія вышла и въ отдѣльномъ изданіи. Спб. 1860 г.

1850 г. **Дневникъ лишняго человѣка** („Отеч. Зап.“, кн. 4). Потомъ это произведеніе перепечатано въ сборникѣ „Для легкаго чтенія“, Спб. 1850 г., ч. 1).

Записки Охотника: Пѣвцы, Свиданіе („Соврем.“, кн. 11).

1851 г. **Разговоръ на большой дорогѣ** („Комета“, ученолитературный альманахъ, изд. К. Щепкинымъ въ Москвѣ).

Провинціалка, комедія въ одномъ дѣйствіи („Отеч. Зап.“, кн. 1)

Есть и отдѣльное изданіе этой комедіи. Спб. 1860 г.

Записки Охотника: Бѣжинъ Лугъ („Современ.“, кн. 2) и Касьянъ съ Красивой Мечи (кн. 4).

1852 г. **Племянница, романъ Евгеніи Туръ**, критическая статья („Современ.“, кн. 1).

Три Встрѣчи, разсказъ („Современ.“, кн. 1).

Письмо изъ Петербурга, по поводу смерти Гоголя („Московск. Вѣдом.“, № 32).

Нѣсколько словъ о новой комедіи Островскаго: „Бѣдная Невѣста“ („Современ.“, кн. 3).
Въ этомъ же году были изданы отдѣльно и „Записки Охотника“ (М., двѣ части).

1853 г. **Письмо къ одному изъ издателей „Современника“**, о книгѣ Аксакова: „Записки ружейнаго охотника“ („Современ.“, кн. 1).

1854 г. **Два Пріятеля**, повѣсть („Современ.“, кн. 1).
Муму, разсказъ („Современ.“. кн. 3).
О стихотвореніяхъ г. Тютчева, критическая статья („Современ.“, кн. 4).
Затишье, повѣсть („Современ.“, кн. 9).

1855 г. **Мѣсяцъ въ Деревнѣ**, комедія въ пяти дѣйствіяхъ („Соврем.“, кн. 1).
Эта комедія напечатана въ журналѣ съ большими измѣненіями по требованію цензуры; но въ своемъ первоначальномъ видѣ она появилась только на страницахъ „Собранія Сочиненій“ (М., 1869 г.).
Яковъ Пасынковъ, изъ воспоминаній человѣка въ отставкѣ („Отеч. Зап.“, кн. 4).
Постоялый Дворъ, повѣсть („Современ.“, кн. 11).
Названная повѣсть отдѣльно издана Санкт-петербургскимъ Комитетомъ грамотности (Спб. 1881 г.).
Два слова о Грановскомъ („Соврем.“, кн. 11).
О Соловьяхъ, (приложеніе къ книгѣ Аксакова: „Разсказъ и воспоминанія охотника“).

1856 г. **Переписка**, повѣсть („Отеч. Зап.“, кн. 1).
Рудинъ. повѣсть („Современ.“, кн. 1 и 2).
Завтракъ у Предводителя, комедія въ одномъ дѣйствіи („Современ.“, кн. 8).
Фаустъ, разсказъ въ девяти письмахъ („Современ.“, кн. 10). Въ этомъ же году были изданы Анненковымъ „Повѣсти и разсказы И. С. Тургенева“ (Спб. 1856 г., три тома).

1857 г. **Чужой Хлѣбъ**, комедія въ двухъ дѣйствіяхъ („Современ.“, кн. 3). Эта комедія шла на сценѣ и напечатана въ „Собраніи сочиненій И. С. Турге-

нева“ подъ другимъ названіемъ—„Нахлѣбникъ“.

Поѣздка въ Полѣсье („Библ. для Чтенія“, кн. 10).

1858 г. **Ася**, повѣсть („Современ.“, кн. 1).

Изъ-за Границы, письмо („Атеней“, кн. 6).

1859 г. **Собственная господская контора**, отрывокъ изъ неизданнаго романа („Московскій Вѣстн.“, № 1).

Дворянское Гнѣздо, романъ („Современ.“, кн. 1). Въ этомъ же году романъ изданъ отдѣльно Н. Основскимъ (Москва, 1859 г.).

Обѣдъ въ обществѣ англійскаго литературнаго фонда, письмо къ автору статьи: „О литературномъ фондѣ“ („Библіот. для Чтенія“, кн. 1). Въ концѣ этого года появилось *второе изданіе* „Записокъ Охотника“ (Спб.).

1860 г. **Наканунѣ**, повѣсть („Русск. Вѣстникъ“, кн. 1).

Гамлетъ и Донъ-Кихотъ, рѣчь, произнесенная 10 января 1860 года на публичномъ чтеніи въ пользу общества для вспомоществованія нуждающимся литераторамъ и ученымъ („Современ.“, кн. 1).

Встрѣча моя съ Бѣлинскимъ („Московскій Вѣстникъ“, кн. 3).

Первая Любовь, повѣсть („Библіот. для Чтенія“, кн. 3).

Въ этомъ году, съ именемъ Тургенева появился переводъ „Украинскихъ народныхъ разсказовъ“ Марка Вовчка (Спб.) и „*Сочиненія* И. С. Тургенева“, изд. Н. Я. Основскимъ (М., четыре тома).

1861 г. **Поѣздка въ Альбано и Фраскати**, воспоминанія объ А. А. Ивановѣ („Вѣкъ“), № 15).

1862 г. **Отцы и Дѣти**, повѣсть (Русскій Вѣстникъ“, кн. 2). Отдѣльно эта повѣсть была издана К. Т. Солдатенковымъ въ томъ же году (М.).

Предисловіе къ сочиненію Буткевичъ: „Дневникъ Дѣвочки“ (Сбп.).

Эта книга, съ тѣмъ же предисловіемъ, издана вторично. (М. 1881 г.).

1864 г. **Призраки**, фантазія, („Эпоха“, кн. 1—2).

Рѣчь о Шекспирѣ, („Санктпетерб. Вѣдомости“, № 89).

1865 г. **Собака.** разсказъ („Санктпетерб. Вѣд.“, № 85). Въ этомъ же году вышло *третье изданіе* „Сочиненій И. С. Тургенева“, напечатанное Ѳ. И. Салаевымъ въ Карлсруэ (пять томовъ); на страницахъ этого изданія въ первый разъ появился „Отрывокъ изъ записокъ умершаго художника“, подъ названіемъ: **„Довольно“.**

1866 г. **Переводъ съ французскаго** „Волшебныхъ Сказокъ“, изд. Перро (Спб.).

1867 г. **Дымъ,** повѣсть („Русск. Вѣстн.“, кн. 3). Эта повѣсть выдержала два отдѣльныя изданія: М. 1868 и Лейпцигъ 1876 г.

1868 г. **Бригадиръ.** разсказъ („Вѣстн. Европы“, кн. 1).
Исторія лейтенанта Ергунова („Русск. Вѣстн.“, кн. 1).
По поводу смерти Артура Бенни („Санктпетерб. Вѣдомости“, № 52).
Письмо по поводу „Записокъ кн. П. Долгорукаго“ („Санктпетерб. Вѣдомости“, № 186).
Литературный вечеръ у П. А. Плетнева („Русск. Архивъ“, кн. 10).

1869 г. **Несчастная.** разсказъ („Русск. Вѣстн.“. кн. 1).
Воспоминанія о Бѣлинскомъ („Вѣстн. Европ.“, кн. 4). Въ этомъ году вышло *четвертое* изданіе „Сочиненій И. С. Тургенева“, напечатанное Ѳ. И. Салаевымъ въ Москвѣ (семь томовъ).

1870 г. **Странная Исторія.** разсказъ („Вѣстн. Европ.“, кн. 1). Въ той же книжкѣ журнала (стр. 509—510) Тургеневъ помѣстилъ письмо, въ которомъ упрекаетъ газету „Голосъ“ за неудачный переводъ **„Странной Исторіи“** изъ нѣмецкаго журнала „Salon“, гдѣ впервые появился этотъ разсказъ.
Образчикъ старинnаго крючкотворства („Русскій Арх.“, кн. 1)
Письмо по поводу критики на „Сочиненія Полонскаго“ („Санктпет. Вѣдом.“, № 8).

Степной король Лиръ („Вѣстн. Европ.“, кн. 10).
Предисловіе къ роману Ауэрбаха: „Дача на Рейнѣ“ (Спб.).

1871 г. **Стукъ!.... Стукъ!.... Стукъ!....** студія („Вѣстникъ Европы“, кн. 1).
Saltykoff's history of a town — о сочиненіи Щедрина: „Исторія одного города“ (The Academy, № 19).
Рецензія на изданіе Фонъ-Больца: „Lehrgang der Russischen Sprache für den Schul — Privat und Selbst Unterricht („Санктпетерб. Вѣдом.“, № 276).
Николай Ивановичъ Тургеневъ, некрологъ („Вѣстникъ Европы“, кн. 12).
Въ этомъ году вышелъ *восьмой* (дополнительный) томъ *четвертаго* изданія „Сочиненій И. С. Тургенева“ (М.).

1872 г. **Вешнія Воды**, повѣсть („Вѣстн. Евр.“, кн. 1).
Записки Охотника: Конецъ Чертопханова („Вѣстникъ Европы“, кн. 11).

1874 г. **Наши Послали**, эпизодъ изъ исторіи іюньскихъ дней 1848 года въ Парижѣ („Недѣля“, № 1).
Пунинъ и Бабуринъ, разсказъ („Вѣстн. Евр.“, кн. 4).
Живыя Мощи, разсказъ („Складчина“, учено-литературн. сборникъ). Этотъ разсказъ отдѣльно изданъ обществомъ распространенія полезныхъ книгъ. М. 1876 г.
Пегасъ, изд. П. Васильевымъ, Казань.
Въ этомъ году вышло *пятое* изданіе „Сочиненій И. С. Тургенева“ (М., восемь томовъ) и три разсказа, отдѣльно напечатанные Московскимъ Комитетомъ грамотности: **Бирюкъ, Однодворецъ Овсянниковъ** и **Пѣвцы**.

1875 г. **Стучитъ!..** Изъ „Записокъ Охотника“, перев. съ французскаго изъ газеты „Temps“, изд. А. Михайлова (М.).
Письмо о переводѣ Демона на англійскій языкъ („С.-Петерб. Вѣдом.“, № 208).

Письмо по поводу смерти графа А. К. Толстого („Вѣстн. Евр.“, кн. 11).

1876 г. **Часы**, разсказъ старика („Вѣстн. Евр.“, кн. 1).

Письмо о журналѣ „Охота“ („Биржевыя Вѣдом.“, № 267).

Въ этомъ же году М. Стасюлевичемъ изданъ шестой томъ „Русской Библіотеки“ съ портретомъ и библіографіей Тургенева, при чемъ были перепечатаны въ отрывкахъ: „Записки Охотника“, „Рудинъ“, „Ася“, „Дворянское Гнѣздо“, „Дымъ“, „Отцы и Дѣти“.

1877 г. **Новь**, романъ („Вѣстн. Европы“, кн. 1 и 2). Въ слѣдующемъ году этотъ романъ изданъ отдѣльно Θ. Салаевымъ (М., двѣ части).

Сонъ, разсказъ („Новое Время“, № 1 и 2).

Католическая легенда объ Юліанѣ Милостивомъ, перев. съ французскаго („Вѣстн. Евр.“, кн. 4).

Разсказъ отца Алексѣя („Вѣстн. Евр.“, кн. 5). По поводу этого разсказа, сначала помѣщеннаго на французскомъ языкѣ въ изданіи: „La République des Lettres“, подъ заглавіемъ—„Le fils du pope“, авторъ написалъ въ „Санктпетербугскія Вѣдомости“ (№ 109) письмо, въ которомъ упрекалъ газету „Новое Время“ за напечатаніе перевода, подъ названіемъ „Сынъ Попа“.

Иродіада, вторая легенда, перев. съ французкаго („Вѣстн. Евр.“, кн. 5).

Письмо по поводу смерти С. К. Брюловой („Вѣстн. Евр.“, кн. 11).

1878 г. **Письмо въ редакцію** газеты „Правда“ („Голосъ“ № 55). Въ этомъ году вышло *первое* стереотипное изданіе „Записокъ Охотника“, напечатанное въ Лейпцигѣ.

1880 г. **Письмо къ редактору** о клеветѣ иногороднаго обывателя—Болеслава Маркевича („Вѣстн. Европ.“, кн. 2).

Пергамскія Раскопки, письмо („Вѣтн. Евр.“, кн. 4).

Рѣчь при открытіи памятника Пушкину („Вѣстн. Евр.“, кн. 7). Въ этомъ году вышло *второе* стереотипное изданіе „Записокъ Охотника“ (Спб.) и *шестое* изданіе „Сочиненій И. С. Тургенева“ (М., десять частей).

1881 г. **Отрывки изъ воспоминаній своихъ и чужихъ** („Порядокъ“, № 1). Въ этомъ же году эти „Отрывки изъ воспоминаній“ вышли отдѣльно (Спб., вып. 1, 34 стр.).

Крокетъ въ Виндзорѣ, стихотвореніе („Слово“, кн. 3).

Пѣснь торжествующей любви (Вѣстн. Евр.“, кн. 11). Въ этомъ году вышло *третье* стереотипное изданіе „Записокъ Охотника“ (Спб.).

1882 г. **Отчаянный**, изъ воспоминаній своихъ и чужихъ („Вѣстн. Евр.“, кн. 1).

Стихотворенія въ прозѣ („Вѣстн. Евр.“, кн. 12). Въ этомъ же году вышло *четвертое* стереотипное изданіе „Записокъ Охотника“ (Спб.)

1883 г. **Клара Миличъ**, повѣсть („Вѣстн. Евр.“, кн. 1). Въ этомъ же году появились „*Разсказы для дѣтей* И. С. Тургенева“, изданные вмѣстѣ съ разсказами гр. Л. Н. Толстого (М.) и *пятое* стереотипное изданіе „Записокъ Охотника“ (Спб.)*)

Д. Языковъ.

*) Въ этомъ же году вышло первое посмертное изданіе „Сочиненій И. С. Гургенева“ (Изд. Глазунова, Спб.).

И. С. ТУРГЕНЕВЪ.

(НЕКРОЛОГЪ).

*) Телеграфъ принесъ извѣстіе, что въ понедѣльникъ, 22 августа (1883 г.) русская литература понесла невознаградимую потерю. Въ Буживалѣ, возлѣ Парижа, на 65 г. отъ роду, послѣ продолжительной тяжкой болѣзни, скончался извѣстнѣйшій русскій писатель, Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.

Иванъ Сергѣевичъ родился 28 октября 1818 г. въ Орлѣ. Родъ Тургеневыхъ происходилъ изъ старинной дворянской фамиліи, вышедшей изъ золотой орды. Многіе изъ членовъ фамиліи Тургенева служили воеводами въ XVII вѣкѣ. Изъ числа историческихъ лицъ его фамиліи особенно замѣчательны двое: Петръ Тургеневъ, обличавшій лже-Дмитрія и за это обличеніе казненный въ тотъ же день на лобномъ мѣстѣ въ Москвѣ, и Яковъ Тургеневъ, извѣстный шутъ Петра Великаго, которому въ новый 1700 годъ пришлось обрѣзывать ножницами бороды бояръ.

Отецъ Ивана Сергѣевича, Сергѣй Николаевичъ Тургеневъ, служилъ въ Елисаветградскомъ кирасирскомъ полку, квартировавшемъ тогда въ Орлѣ. Въ этомъ же городѣ онъ женился на Варварѣ Петровнѣ Лутовиновой. Сергѣй Николаевичъ вышелъ въ отставку полковникомъ и скончался въ 1835 г., когда Ивану Сергѣевичу пошелъ 17 годъ. Мать Ивана Сергѣевича дожила до глубокой старости и скончалась на 70 году отъ роду въ 1850 году.

---

*) Н. Г. „Русскій Курьеръ“.

Иванъ Сергѣевичъ—средній изъ 3-хъ сыновей Сергѣя Николаевича. Въ раннемъ дѣтствѣ и въ юности, жизнь его подвергалась неоднократно большимъ опастностямъ. Когда въ 1820 г. все семейство Тургеневыхъ отправилось за границу и посѣтило между прочимъ Швейцарію, 4-хъ лѣтній Иванъ Сергѣевичъ, при осмотрѣ извѣстной Бернской медвѣжьей ямы, чуть было не упалъ туда,—отецъ едва успѣлъ вытащить его оттуда, во-время ухвативъ за ногу. Въ другой разъ отправляясь за границу уже 20 лѣтнимъ юношей, Иванъ Сергѣевичъ чуть не погибъ во время пожара парохода „Николай I“ близъ Травемунде.

Дѣтство свое И. С. Тургеневъ провелъ въ орловскомъ имѣніи своей матери, селѣ Спасскомъ, гдѣ росъ вмѣстѣ съ старшимъ братомъ. Первыми наставниками Тургенева были гувернеры французы и нѣмцы, что дало ему возможность выучиться въ дѣтствѣ иностраннымъ языкамъ. Что касается русскаго языка и литературы, то знакомство съ ними началось съ „Россіады“, поэмы Хераскова, которую камердинеръ его матери читалъ ему украдкою, повторяя, по выраженію самого Ивана Сергѣевича, „каждый стихъ сперва начерно, потомъ набѣло“. По достиженіи 12-ти лѣтняго возраста Тургеневъ былъ отвезенъ въ Москву и помѣщенъ тамъ въ одномъ изъ частныхъ пансіоновъ, откуда былъ вскорѣ взятъ и порученъ попеченію директора Лазаревскаго института Краузе, благодаря настойчивости котораго, Тургеневъ на 15 году выучился англійскому языку, а на 16-мъ вступилъ въ число студентовъ московскаго университета по словесному факультету. Смерть отца, послѣдовавшая 30-го октября того же года, принудила его оставить Москву и перейти въ петербургскій университетъ, въ которомъ онъ пробылъ еще два года; послѣ чего, въ 1837 году, былъ выпущенъ дѣйствительнымъ студентомъ, а черезъ годъ по выдержаніи надлежащаго экзамена удостоенъ степени кандидата. Затѣмъ въ томъ же 1838 году Тургеневъ отправился въ Берлинъ для довершенія своего образованія въ тамошнемъ университетѣ. Здѣсь онъ прожилъ около двухъ лѣтъ и въ теченіе трехъ семестровъ прослушалъ лекціи профессоровъ: Вердера, Ранке, Ганса, Цумпта и Бока,

именами которыхъ справедливо гордился тогдашній берлинскій университетъ.

„Около Пасхи 1843 года“, писалъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ, въ Петербургѣ произошло событіе, само по себѣ крайне незначительное и давнымъ-давно поглощенное общимъ забвеніемъ, а именно: появилась небольшая поэма нѣкоего Т. Л. подъ названіемъ „Параша“. Этотъ Т. Л. былъ я; этой поэмой я вступилъ на литературное поприще“. Поэма эта вызвала восторженный отзывъ Бѣлинскаго. Но послѣ перваго привѣтствія Тургеневу, Бѣлинскій охладѣлъ къ автору „Параши“; „не могъ же онъ поощрять меня“, писалъ Тургеневъ, „въ сочиненіи тѣхъ стихотвореній и поэмъ, которымъ я тогда предавался. Впрочемъ, я скоро догадался самъ, что не предстояло никакой надобности продолжать подобныя упражненія,—и возымѣлъ твердое намѣреніе вовсе оставить литературу; только вслѣдствіе просьбы И. И. Панаева, не имѣвшаго чѣмъ наполнить отдѣлъ смѣси въ 1-мъ нумерѣ „Современника“, я оставилъ ему (уѣзжая въ концѣ 1846 г. изъ Петербурга) очеркъ, озаглавленный „Хорь и Калинычъ“. (Слова „Изъ записокъ охотника“ были придуманы и прибавлены тѣмъ же И. И. Панаевымъ, съ цѣлью расположить читателя къ снисхожденію). Успѣхъ сего очерка побудилъ меня написать другіе, и я возвратился къ литературѣ“.

Имя Тургенева, впрочемъ, сдѣлалось извѣстнымъ публикѣ нѣсколько ранѣе появленія въ печати перваго очерка „Изъ записокъ охотника“. Изъ первыхъ прозаическихъ произведеній Тургенева „Неосторожность“ (драматическій очеркъ въ 1 дѣйствіи, напечатанный въ 10 книжкѣ „Отеч. Записокъ“ за 1843 г.), „Андрея Колосовъ“ (11-я книжка того же года). „Три Портрета“ (въ Петербургскомъ сборникѣ 1846 г.) и „Бреттеръ“ (въ 1 кн. „Отеч. Зап.“ за 1847 г.),—послѣднія двѣ повѣсти возбудили всеобщее любопытство и были прочитаны всѣми съ жадностью. Все заговорило о новыхъ произведеніяхъ неизвѣстнаго автора. Каждый захотѣлъ узнать имя писателя, скрывавшагося подъ двумя таинственными буквами Т. Л., означавшими: Тургеневъ-Лутовиновъ. Таинственный псеводнимъ не могъ долго оставаться неизвѣстнымъ: онъ

скорѣ былъ разоблаченъ, и имя Тургенева стало дорогимъ для каждаго русскаго. Съ этого времени начинается тотъ громадный успѣхъ произведеній Тургенева, который сразу поставилъ его на первое мѣсто среди цѣлой плеяды нашихъ превосходныхъ беллетристовъ сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, которыми Россія можетъ заслуженно гордиться передъ цѣлой Европой. Съ появленія же разсказа „Хорь и Калинычъ, проникнутаго глубокой симпатіей къ крестьянскому быту, талантъ Тургенева принимаетъ, такъ сказать, новое направленіе: предметомъ своего повѣствованія онъ избралъ правдивое изображеніе крестьянскаго житья-бытья съ его нуждою, горемъ и рѣдкими радостями. За этимъ первымъ разсказомъ изъ „Записокъ Охотника“, пріятно поразившимъ читающую публику, послѣдовалъ цѣлый рядъ еще болѣе прелестныхъ разсказовъ, напечатанныхъ въ томъ же „Современникѣ“ за 1847—1851 годы и встрѣченныхъ единодушными и восторженными похвалами критики и публики. Собранные въ одну книгу и изданные въ 1852 году, разсказы эти окончательно упрочили литературную извѣстность Тургенева и утвердили за нимъ мѣсто перваго русскаго беллетриста.

Въ самомъ началѣ 50-хъ годовъ, слѣдовательно около того времени, когда Тургеневъ успѣлъ уже вполнѣ развиться и окрѣпнуть, а литературная извѣстность его упрочиться, ему пришлось, какъ и Пушкину, провести два года въ деревенскомъ уединеніи, которое, по его собственному сознанію, принесло ему свою долю пользы. Поводомъ къ удаленію въ деревню было „Письмо о Гоголѣ“, напечатанное въ 32 № „Московскихъ Вѣдомостей“ за 1852 г. Эта коротенькая замѣтка, не заключавшая въ себѣ ничего противоцензурнаго, тѣмъ не менѣе была признана таковою, и обрушила на голову Ивана Сергѣевича цѣлую кучу непріятностей. Онъ былъ арестованъ и подвергнутъ заключенію при полиціи, послѣ чего былъ высланъ на житье въ Орловскую деревню, гдѣ и прожилъ безвыѣздно до конца 1854 года. „Но все къ лучшему“, писалъ Иванъ Сергѣевичъ въ своихъ воспоминаніяхъ, „пребываніе подъ арестомъ и въ деревнѣ принесло мнѣ несомнѣнную пользу: оно сблизило меня съ такими сторонами

русскаго быта, которыя при обыкновенномъ ходѣ вещей, вѣроятно, ускользнули бы отъ моего вниманія".

Дѣйствительно, двухлѣтнее пребываніе Тургенева въ деревнѣ придало еще болѣе зрѣлости и силы таланту Тургенева, и было далеко не безплодно для русской литературы. Здѣсь была написана повѣсть „Два Пріятеля", прелестный разсказъ „Муму", критическія статьи на книгу С. Т. Аксакова „Записки ружейнаго охотника" и „О стихотвореніяхъ Тютчева", повѣсть „Затишье" и начало комедіи „Мѣсяцъ въ Деревнѣ". Тотчасъ по возвращеніи въ Петербургъ появляется въ 4-мъ № „Отечественныхъ Записокъ" за 1855 годъ повѣсть Тургенева „Яковъ Пасынковъ". Слѣдующія затѣмъ крупныя произведенія Тургенева: „Рудинъ" (1856), „Ася" (1858), „Дворянское Гнѣздо" (1859), „Наканунѣ" (1860), „Первая Любовь" (1860) и многія другія доставили ему въ короткій промежутокъ времени такое положеніе въ средѣ нашихъ писателей, какого не многимъ до него удавалось достичь. Но какъ ни громаденъ былъ успѣхъ, встрѣчавшій каждую изъ послѣднихъ повѣстей и романовъ Тургенева, успѣхъ, выпавшій на долю его новаго романа „Отцы и Дѣти", появившагося въ февральской книжкѣ „Русскаго Вѣстника" за 1862 годъ, превзошелъ далеко все доселѣ совершившееся въ русскомъ литературномъ мірѣ. Какъ публика, такъ и критика раздѣлились на два враждебные лагеря, слово *нигилистъ* было произнесено и получило право гражданства; каждый журналъ, каждая газета поспѣшила заявить свое мнѣніе о новомъ произведеніи, сказать свое *новое слово*. Какъ ни были разнообразны эти отзывы о новомъ романѣ Тургенева, несомнѣннымъ являлось то, что Тургеневъ съ поразительной вѣрностью угадалъ „вѣянья новой эпохи", представилъ „новаго человѣка въ самый моментъ его появленія". Типъ этотъ не былъ понятъ, и поднялъ страшную бурю противъ автора во всѣхъ самыхъ противоположныхъ литературныхъ лагеряхъ. „Я испытывалъ тогда впечатлѣнія, писалъ Тургеневъ, хотя разнородныя, но одинаково тягостныя. Я замѣчалъ холодность, доходившую до негодованія, во многихъ мнѣ близкихъ и симпатичныхъ людяхъ; я получалъ поздравленія, чуть не лобы-

занія, отъ людей противнаго мнѣ лагеря, отъ враговъ. Меня это конфузило, огорчало, но совѣсть не упрекала меня, я хорошо зналъ, что я честно отнесся къ выведенному мною типу". Хотя въ своемъ отвѣтѣ на критики по поводу „Отцовъ и Дѣтей" Тургеневъ и замѣчалъ, что „точное и сильное воспроизведеніе истины, реальности жизни, есть высочайшее счастіе для литератора, даже если эта истина не совпадаетъ съ его собственными симпатіями"; однакоже, по замѣчанію г. П. Полевого, впечатлѣніе, произведенное на общество „Отцами и Дѣтьми", различныя болѣе или менѣе кривыя истолкованія этой повѣсти и все то, что такъ громко и многословно писалось и высказывалось въ обществѣ по поводу новаго типа (Базарова), созданнаго Тургеневымъ, подѣйствовало на него очень неблагопріятно и, какъ кажется, въ значительной степени способствовало поселенію Ивана Сергѣевича за границей.

Въ 1863 году Тургеневъ купилъ себѣ участокъ земли въ Баденъ-Баденѣ, построилъ на немъ домъ и прожилъ тамъ до 1870 г. По окончаніи прусско-французской войны Тургеневъ покинулъ Баденъ-Баденъ, продалъ свое тамошнее владѣніе и временно основался въ Парижѣ. Всѣ послѣдующія за „Отцами и Дѣтьми" произведенія Тургенева писаны были за границей. Долговременное пребываніе Тургенева за границей и его обширныя литературныя связи въ Германіи и Франціи много способствовали тому, чтобы имя его, какъ писателя, пріобрѣло въ большей части Европы такую же громкую и почетную извѣстность, какою оно пользуется въ Россіи. Сочиненія его почти всѣ переведены на французскій, нѣмецкій и англійскій языки. Можно съ увѣренностью сказать, что не одна Россія горько пожалѣетъ о кончинѣ знаменитаго писателя... Угасли великія силы...

При открытіи памятника Пушкину Тургеневъ былъ избранъ почетнымъ членомъ московскаго университета.

Во время своей заграничной жизни, Тургеневъ, страстно любившій родину, ежегодно пріѣзжалъ въ Россію и восторженно встрѣчался всегда съ молодежью.

Передъ своей кончиной Иванъ Сергѣевичъ выражалъ желаніе быть похороненнымъ въ Петербургѣ, на Волковомъ кладбищѣ, рядомъ съ могилою Бѣлинскаго, съ которымъ покойный Тургеневъ былъ связанъ узами дружбы въ послѣдніе годы жизни знаменитаго критика.

„*Русскій Курьеръ*“—*Н. Г.*

ОТЗЫВЫ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ О ТУРГЕНЕВѢ ПО ПОВОДУ ЕГО СМЕРТИ*).

**) „Daily News“, первая изъ иностранныхъ газетъ, которая откликнулась по поводу утраты, понесенной русскимъ обществомъ въ лицѣ Тургенева. „Смерть Тургенева, говоритъ она, потеря не для одной только Россіи, но и для всей Европы вообще. Онъ единственный русскій писатель, сочиненія котораго нашли себѣ массу читателей и за предѣлами его родины и, пожалуй, единственный русскій, обладавшій въ теченіе долгихъ годовъ обширнымъ кругомъ личныхъ друзей во Франціи, Англіи и Германіи, но преимущественно въ Парижѣ и Лондонѣ. Его пребываніе за границей до нѣкоторой степени повліяло на уничтоженіе многихъ изъ крайне невыгодныхъ для Россіи предубѣжденій, которыя питались противъ нея Европой. Ибо не могла же быть объятой безнадежнымъ мракомъ страна, которая произвела Тургенева. Помимо своего чисто литературнаго значенія, это былъ человѣкъ высокихъ достоинствъ. Крайне обходительный и вѣжливый, какъ и всѣ русскіе, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ былъ искренній, душевный и въ высшей степени простосердечный человѣкъ,—качества, ко-

*) Смерть Тургенева породила обширную скорбную литературу о немъ. Не говоря уже о русской печати, мѣсяца два со дня смерти Тургенева буквально неумолкавшей о немъ, иностранная печать также не могла остаться пассивною къ утратѣ образованнымъ міромъ этого великаго, популярнѣйшаго художника. Къ сожалѣнію, размѣръ настоящей книги не позволяетъ намъ помѣстить здѣсь, хотя бы въ болѣе или менѣе законченныхъ выдержкахъ, иностранные критическіе этюды о произведеніяхъ Тургенева (напр., Юліана Шмидта, Георга Брандеса, Мельхіора де-Вогюэ и друг.). Ограничиваясь здѣсь небольшими отзывами иностранной печати о Тургеневѣ, мы можемъ указать на книгу: „Иностранная критика о Тургеневѣ“, въ которой интересующіеся найдутъ подробный разборъ произведеній Тургенева лучшими представителями европейской мысли. Также рекомендуемъ вниманію читателей критическій очеркъ Поля Бурже („Русскій Курьеръ“ 1884 г. съ № 182).

**) „Русскія Вѣдомости“. *Примѣч.* В. Зелинскаго.

торыми русскіе вообще не отличаются. Горячій цѣнитель чужихъ заслугъ, онъ былъ болѣе чѣмъ скроменъ относительно своихъ. Всѣмъ извѣстенъ фактъ, что когда лѣтъ 25 тому назадъ, впервые познакомившись съ Текереемъ, онъ долго пробесѣдовалъ съ нимъ, послѣдній, по уходѣ гостя, и не зналъ, что говорилъ съ однимъ изъ величайшихъ писателей". Въ заключеніе своего отзыва, газета указываетъ на тотъ фактъ, что Тургеневу вообще посчастливилось въ переводчикахъ. Во Франціи у него ихъ было не мало и въ томъ числѣ такіе выдающіеся писатели, какъ Проспферъ Меримэ и Луи Віардо. Первымъ его сочиненіемъ, появившимся во французскомъ переводѣ, были, какъ извѣстно, „Записки Охотника", изданныя въ 1858 г. подъ заглавіемъ: „Récits d'un chasseur". Положимъ, „Записки Охотника" были еще раньше переведены на французскій языкъ, а именно въ 1852 г. Только переведены онѣ были подъ совершенно неподходящимъ заглавіемъ: „Mémoires d'un seigneur russe", да и самый переводъ оказался крайне неудачнымъ. Англійскую публику впервые познакомилъ съ русскимъ писателемъ Рольстонъ, извѣстный своими переводами басенъ Крылова и сочиненіемъ „Пѣсни русскаго народа"; затѣмъ Тургеневъ нашелъ среди англійскихъ литераторовъ второго себѣ переводчика, въ лицѣ Аштона Дилька, а теперь готовится къ изданію уже третій переводъ—Эвелина Джеррольда.

Изъ „Русскихъ Вѣдомостей".

***

*) „Neues Wiener Tageblatt" слѣдующимъ образомъ высказывается о покойномъ поэтѣ: „Тургеневъ показываетъ намъ Россію въ ея умственномъ и нравственномъ заблужденіи, въ ея неспособности избрать себѣ твердый и ясный путь, его романы заканчиваются робкимъ вопросомъ, обращеннымъ къ будущему. Политическая атмосфера Россіи не прояснилась съ тѣхъ поръ; Тургеневъ также узналъ, что истина не всегда можетъ пробить себѣ путь. Но для русскаго народа соста-

*) „Новости".

вляетъ все-таки утѣшеніе, что онъ имѣлъ Тургенева, и что истина возвѣщалась на русскомъ языкѣ. Тургеневъ возбуждалъ удивленіе и поклоненіе. Въ другихъ странахъ заходятъ даже дальше, чѣмъ въ Россіи, въ искуствѣ скрывать истину; въ другихъ странахъ, вообще, не допускаютъ изображать вещи въ ихъ истинномъ свѣтѣ, и всякая свободная мысль, всякое свободное толкованіе событій клеймятся, какъ преступленіе. Люди совершенно отвыкаютъ отъ трезваго мышленія и находятъ удовольствіе только въ звучныхъ фразахъ, лишенныхъ всякой мысли. Если кто-нибудь дерзнетъ сказать правду, то тотчасъ же поднимаютъ шумъ, чтобъ пробудить общественное негодованіе противъ такой безпримѣрной дерзости. Созывались даже народныя собранія только для того, чтобъ произнести приговоръ противъ истины и здраваго человѣческаго разсудка. Ивана Тургенева постигла, все-таки, лучшая участь; въ концѣ-концовъ, ему простили, что его произведенія дышали правдой. Слѣдуетъ отмѣтить еще одно обстоятельство: Россія имѣла поэта и писателя, всегда прозрѣвавшаго правду. Въ германской литературѣ мы тщетно ищемъ романовъ, отличающихся независимостью мысли и свободою сужденія. Въ нѣмецкихъ романахъ писатель вообще является рабомъ публики или извѣстныхъ общественныхъ кружковъ. Въ ихъ предразсудкамъ поблажаютъ, истина прикрывается, происшествія изображаются въ искаженномъ свѣтѣ, заблужденія идеализируются. Поэтому не удивительно, если писатели, въ лучшемъ случаѣ, достигаютъ только литературнаго значенія, такъ какъ истинная жизнь недоступна ихъ вліянію. Сами писатели боятся соприкосновенія съ дѣйствительностью, и хотя ихъ вездѣ можно встрѣтить, однако, на пути къ истинѣ ихъ искать не приходится. Это только затрудняетъ политическую борьбу. Современный романъ на нѣмецкомъ языкѣ не оказываетъ никакой услуги истинѣ. Извиненіемъ, конечно, можетъ служить то, что газеты отвлекаютъ много силъ, и что люди, посвящающіе себя беллетристикѣ, не расположены заниматься серьезно явленіями дѣйствительной жизни. Но, все-таки, произведеніе, высказывающее правду, остается необходимостью, если слово истины должно оказывать свое дѣйствіе.

Иванъ Тургеневъ явилъ великій примѣръ, подражать которому было бы весьма полезно, въ интересахъ литературы, равно какъ и въ интересахъ соціальнаго и политическаго прогресса.

* * *

Въ пражской „Politik“ Іосифъ Пенижекъ пишетъ о Тургеневѣ: „Чего мы давно боялись, — то случилось. Съ лаконической краткостью телеграфъ сообщаетъ изъ столицы на Сенѣ печальное извѣстіе, что скончался Несторъ русскихъ романистовъ, великій повѣствователь настоящаго; скончался онъ на чужой, но гостепріимной почвѣ, вдали отъ своего великаго отечества, которое онъ горячо любилъ; послѣ продолжительныхъ и тяжкихъ страданій онъ испустилъ послѣдній вздохъ вблизи Парижа, въ прелестной мѣстности Буживаль, которая ему была мила.

Не одна только Россія, литература которой причисляетъ сочиненія Тургенева къ своимъ самымъ драгоцѣннымъ сокровищамъ, и не одни только славяне, но и вся Европа, весь цивилизованный міръ опечаленъ его смертью. Тургеневъ былъ не только патріотъ и великій писатель, онъ былъ высшимъ жрецомъ въ храмѣ человѣколюбія, ревностнымъ поборникомъ правды и свободы. На Шпрее его такъ же любятъ, какъ и на Сенѣ, гдѣ онъ нашелъ свое второе отечество, и гдѣ его высоко цѣнятъ лучшіе писатели; на Темзѣ его любятъ такъ же, какъ и на Невѣ, гдѣ въ аристократическихъ кругахъ нерѣдко бывали имъ недовольны, но читали его сочиненія усерднѣе, нежели кого либо другого. Если теперь Европа внимательнѣе относится къ русской литературѣ, нежели двадцать или тридцать лѣтъ назадъ, если теперь убѣдились, что новѣйшая литература „варварскаго“ царства заслуживаетъ стать на ряду съ французской,—этимъ обязаны, главнымъ образомъ, Тургеневу, который, такъ сказать, заставилъ Европу заняться Россіею и читать ея литературныя произведенія ранѣе, нежели критика выскажетъ о нихъ сужденіе. Если теперь за границей читаютъ Пушкина, Лермонтова, Достоевскаго и Писемскаго, то это вслѣдствіе того, что

сочиненія Тургенева проложили путь за границу его предшественникамъ и преемникамъ.

Тургеневъ пролагалъ путь не только за границей, но и въ области русской литературы. „Записки Охотника“ составляютъ въ русской литературѣ новую эпоху, которую Гоголь подготовилъ, а Тургеневъ открылъ. Стремленія современной общественной жизни ясно изобразить въ беллетристической формѣ необходимость уравненія правъ, прогресса, свободы и просвѣщенія—задача нелегкая, и только геній Тургенева могъ ее разрѣшить. Онъ былъ учителемъ, благодѣтелемъ и любимцемъ своей націй; онъ доводилъ до свѣдѣнія общества страданія крѣпостныхъ и возбуждалъ къ нимъ сочувствіе и сожалѣніе. Его воззваніе къ человѣколюбію и справедливости не остались безъ отголоска; они достигли до царскаго трона и содѣйствовали упраздненію крѣпостного права.

Нынѣшнимъ годомъ должна исполниться сорокалѣтняя годовщина сорокалѣтней дѣятельности Тургенева, но онъ до нея не дожилъ.

Изъ „Новостей“.

* * *

*) Извѣстіе о смерти Тургенева произвело глубокое впечатлѣніе и въ Италіи. Даже небольшія газеты, издающіяся во второстепенныхъ итальянскихъ городахъ, посвятили Тургеневу нѣсколько теплыхъ словъ. Что же касается главныхъ органовъ итальянской печати, то, кромѣ подробнаго некролога, они помѣстили на своихъ столбцахъ прочувственныя статьи о горестной утратѣ, которую весь литературный міръ понесъ въ лицѣ великаго русскаго поэта. Особенно горячо отозвалась о Тургеневѣ римская газета „Fanfulla“. „Тургеневъ, говоритъ, между прочимъ, „Fanfulla“, былъ глубокимъ знатокомъ человѣческаго сердца и первостатейнымъ художникомъ (un artista di primo ordine). Онъ любилъ истину вѣчною, безпредѣльною любовью, его описанія природы всегда отличаются живостью, изяществомъ, проникаютъ до глубины

*) „Новое Время“.

сердца. Когда онъ описываетъ русскую деревню, то проливаетъ на нее какой-то меланхолическій, но въ то же время ласкающій свѣтъ".

* * *

Весьма распространенная миланская газета „Secolo", издаваемая извѣстною книгопродавческою фирмою *Сонцоньо*, помѣстила на первомъ мѣстѣ портретъ Тургенева и воспоминанія о немъ одного изъ главныхъ ея сотрудниковъ. „Это было въ 1878 году въ Парижѣ, говоритъ сотрудникъ „Secolo". Въ залѣ улицы Cadet происходило засѣданіе международнаго литературнаго конгресса. Викторъ Гюго оставилъ залу, и мѣсто его занялъ старецъ высокого роста, съ сѣдыми и лоснящимися, какъ серебро, волосами и длинною бородою. Черты лица его выражали какую-то особенную доброту. Это былъ Тургеневъ!" Перечисливъ затѣмъ заслуги Тургенева не только передъ Россіей, но и передъ всей Европой, авторъ восклицаетъ: „Русскіе правы, отдавая предпочтеніе этому писателю, ибо всѣ его сочиненія проникнуты лучезарнымъ свѣтомъ честной мысли!"

* * *

Туринская „Gazetta Piemontese" выставляетъ на видъ вліяніе Тургенева на русское общество и говоритъ, что онъ не мало содѣйствовалъ развитію среди послѣдняго чувства самосознанія".

Изъ „Новаго Времени".

* * *

*) Въ рущукской газетѣ „*Славянинъ*" напечатаны воспоминанія объ И. С. Тургеневѣ болгарской переводчицы „Отцовъ и Дѣтей", г-жи Живковой, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ представляющія интересъ не для однихъ болгаръ, особенно же съ точки зрѣнія даннаго момента нашихъ отношеній къ Болгаріи.

*) „Русскій Курьеръ".

Авторъ этой статьи съ чисто женской восторженностью набрасываетъ портретъ и характеристику незабвеннаго свѣточа мысли и слова, упоминаетъ о литературномъ вечерѣ 1878 года, на которомъ столь ярко и трогательно заявила интеллигентная русская женщина о своемъ отношеніи къ великому писателю родной земли, проводитъ довольно удачную параллель между Д. С. Миллемъ и И. С. Тургеневымъ, съ точки зрѣнія „женскаго вопроса“, отдавая явное предпочтеніе послѣднему, говорившему образами и языкомъ, ясными и понятными множеству, массѣ, а не небольшой кучкѣ ученыхъ и публицистовъ, и переходитъ затѣмъ къ своимъ личнымъ воспоминаніямъ.

„И. С. Тургеневъ—продолжаетъ г. Живкова,—принималъ живѣйшее участіе въ судьбѣ болгаръ“, какъ онъ самъ выражается въ письмѣ изъ Буживаля. Что онъ дѣйствительно интересовался ходомъ нашего возрожденія, въ этомъ я могла убѣдиться лишній разъ зимою 1879 года, когда мнѣ представился случай видѣться и бесѣдовать съ И. С. Онъ съ особеннымъ любопытствомъ разспрашивалъ меня о нашихъ литературѣ и языкѣ, о нашемъ маститомъ поэтѣ Славейковѣ, о многихъ другихъ, извѣстныхъ ему молодыхъ интеллигентныхъ болгарахъ; между прочимъ, И. С. сообщилъ мнѣ изложенное имъ впослѣдствіи въ новомъ изданіи, что Инсаровъ—не вымышленная личность: герой „Наканунѣ“ не кто иной, какъ одинъ изъ проживающихъ въ Москвѣ знакомыхъ И. С. болгаръ, вдобавокъ, вовсе неидеализированный И. С. освѣдомился, много ли у насъ такихъ патріотовъ, и затѣмъ (указывая на конкретные случаи) замѣтилъ, что, къ сожалѣнію, многія недостойныя личности занимаютъ въ Болгаріи очень выгодныя мѣста, но что все это неизбѣжное зло въ молодыхъ, начинающихъ жить странахъ. Въ письмѣ ко мнѣ онъ, между прочимъ, говоритъ: „я надѣюсь, что трудъ вашъ будетъ оцѣненъ вашими соотечественниками, и послужитъ однимъ изъ звеньевъ той связи, которая должна установиться между Болгаріей и нами“. *Нравственная* связь была дорога И. С., и онъ зналъ, что начатое оружіемъ должно быть завершено элементами культуры и общностью идеаловъ и стремленій“.

* * *

Оцѣнкѣ значенія Тургенева посвящаетъ большую статью „Times“. Первенствующій органъ англійской печати проводитъ параллель о положеніи писателя, желающаго быть въ Россіи вполнѣ искреннимъ и независимымъ...

* * *

Морисъ Гильомэ, авторъ статьи о Тургеневѣ въ „Figaro. говоритъ по поводу его смерти:

„Иванъ Тургеневъ, романистъ только-что скончавшійся. былъ русскимъ по происхожденію, парижаниномъ de facto. Онъ долго жилъ среди насъ, въ Буживалѣ, на виллѣ г-жи Віардо, и былъ лицомъ, извѣстнымъ всему Парижу...

„Великъ, добръ и прекрасенъ“,—вотъ въ трехъ словахъ характеристика Тургенева.

Описавъ затѣмъ домъ И. С. и особенно рабочій кабинетъ его, Морисъ Гильомэ продолжаетъ:

„Обожая свою страну, онъ былъ всегда удивительнымъ энтузіастомъ и могучимъ истолкователемъ ея холодной природы, являвшейся украшеніемъ его произведеній; романистъ въ его лицѣ соединялся съ поэтомъ, и такъ удачно, что онъ понималъ вѣчную гармонію въ природѣ; для него не заключали въ себѣ ничего таинственнаго: шумъ вѣтра въ вѣткахъ, журчаніе ручейковъ, бѣгущихъ по камнямъ, пѣнье птицъ, крики животныхъ; онъ въ этомъ отношеніи подобенъ своему другу, Виктору Гюго...

„Живя во Франціи, онъ познакомился со всѣми ея литературными знаменитостями: Альфонсомъ Додэ, Гонкуромъ, Золя и т. д.“.

* * *

Нельзя не привести при этомъ интересную статью Гюи-де-Мопассана. Молодой писатель заставляетъ насъ проникнуть въ одно изъ воскресеній въ квартиру автора „Саламбо“. Раздается звонокъ, и Густавъ Флоберъ встаетъ изъ-за стола

и идетъ встрѣчать гостя. „Онъ испускаетъ крикъ радости, какъ только открылась дверь, поднимаетъ руки, какъ большая птица распустила бы крылья, и падаетъ въ объятія друга старца, смѣющагося въ свою бѣлую бороду. У этого послѣдняго голова еще лучше и бѣлѣе, чѣмъ у тѣхъ святыхъ отцовъ, которыми украшаютъ церкви. Онъ еще выше ростомъ, и его голосъ мягкаго тэмбра, ласковый, почти робкій, какъ бы затрудняется надъ отыскиваніемъ слова. Это русскій и притомъ знаменитый русскій; это всѣми чтимый и могучій романистъ, это одинъ изъ величайшихъ писателей-наставниковъ всего свѣта—Иванъ Тургеневъ".

* * *

„3-го сентября,—говоритъ „Post"—скончался человѣкъ, признававшійся величайшимъ геніемъ поэзіи во всей европейской литературѣ, со времени смерти Гете. Мы займемся имъ здѣсь, на этомъ мѣстѣ (руководящая статья), потому что его появленіе и его дѣйствія имѣютъ политическое значеніе, и оцѣнимъ его въ качествѣ художника лишь постольку, поскольку это послѣднее связано съ первымъ.

„Въ теченіе послѣднихъ пятидесяти лѣтъ, были поэты, оставившіе Тургенева далеко позади себя въ области широкихъ художественныхъ формъ, въ сенсаціонности своихъ произведеній, въ возбужденіи соціальной и національной лихорадки и т. п. Тургеневъ только обладалъ даромъ разсказа и притомъ въ его самой маленькой формѣ, онъ остался новеллистомъ и бытописателемъ; но ни одинъ поэтъ своего времени не обладаетъ, подобно ему, нѣкоторыми изъ тѣхъ качествъ, которыя присущи лишь царственнымъ умамъ.

„Эти умы — не творцы эффектовъ, а лишь простые повѣствователи, и такъ какъ они слѣдуютъ всегда за истиной, то они и пользуются самыми скромными средствами. Всѣми этими качествами обладаетъ Тургеневъ и, благодаря имъ, онъ занимаетъ мѣсто среди идеалистовъ. Идеальны его средства представленія, идеаленъ его внутренній масштабъ, идеаленъ не міръ, который онъ описываетъ, но этотъ міръ управляется законами идеала, двигающими фигуры...

„Слѣдуетъ считать положительно психологическимъ чудомъ, что, во время крайней незрѣлости и неустройства умственной и нравственной жизни, русскій народъ могъ обладать такимъ писателемъ, которому удалось замѣчательно вѣрно обрисовать тѣ патологическія явленія, которыя жили въ немъ и вокругъ него; нѣтъ, Тургеневъ обладалъ силой и смѣлостью нарисовать объективно тотъ ужасный міръ, въ который онъ проникъ до мельчайшихъ его фибръ. Пусть даже русскій народъ рано или поздно выйдетъ изъ этихъ условій здоровымъ и великимъ,—для человѣчества эти творенія, независимо отъ своего художественнаго значенія останутся драгоцѣннымъ памятникомъ того переходнаго періода, періода броженія, которое имѣло свои аналогіи, но еще никогда не вставало передъ человѣческимъ взоромъ въ такой обстановкѣ. Въ произведеніяхъ Тургенева этотъ періодъ отмѣченъ съ замѣчательной точностью и правдой—великаго ума...

„Историкъ литературы удивляется тому, что Шекспиръ имѣлъ такое разнообразное представленіе о глупости и о всякихъ человѣческихъ порокахъ. Такое же удивленіе возбуждаетъ и Тургеневъ...

Образованное человѣчество останется благодарнымъ писателю, который открылъ ему чуждый міръ и показалъ, что природа человѣка всегда и вездѣ одна и та же, хотя бы болѣзненныя явленія мѣнялись до неузнаваемости.

* * *

Въ „Temps“ весьма симпатичную статью объ И. С. Тургеневѣ помѣстилъ Кларси: „Ужасный вихрь, какъ говоритъ магометанское пророчество, унесъ уже не одну высокую душу. Ив. Тургеневъ умеръ на 66-мъ году жизни. Я до сихъ поръ еще вижу этого человѣка, столь удивительно прекраснаго и сильнаго, съ его бородой, бѣлаго или точнѣе сѣроватаго цвѣта, хотя ему не было 48-ми лѣтъ, когда я видѣлся съ нимъ въ первый разъ. Это было въ Баденѣ, и нашъ другъ Депре, юмористъ въ „C'est la Vie“, писавшій о Тургеневѣ точно такъ же, какъ писалъ о Лонгфелло и Диккенсѣ. Мы глубоко уди-

влялись автору „Отцы и Дѣти“, который былъ извѣстенъ тогда во Франціи лишь очень немногимъ“. Затѣмъ Кларси рисуетъ рядъ сценъ, дѣйствующимъ лицомъ которыхъ былъ Тургеневъ, и дѣлаетъ краткія выдержки изъ нѣкоторыхъ его романовъ и новеллъ.

* * *

„Трудно себѣ представить, насколько мучительны были тѣ страданія, говоритъ „Berliner Börsen Courier“, которыя переносилъ въ теченіе нѣсколькихъ недѣль и отъ которыхъ скончался И. С. Тургеневъ. Его болѣзнь была совершенно особенной болѣзнью, и искусство и наука знаменитыхъ врачей спасовали передъ ней. Они не могли съ точностью опредѣлить ни мѣста страданій ни ихъ характера. Они знали отдѣльныя болѣзненныя явленія, но они не знали ихъ причины или, можетъ быть, они скрывали ихъ и отъ паціента и отъ всего міра. Конечно, если бы даже они и узнали ихъ, они не могли бы ихъ устранить: противъ той ужасной болѣзни, жертвой которой палъ геніальный русскій,—медицина пока безсильна. Вскрытіе тѣла Тургенева показало, что покойный страдалъ ракомъ спиннаго мозга. Но что должна означать эта болѣзнь? Мысль объ ужасныхъ страданіяхъ усопшаго еще болѣе увеличиваетъ скорбь, которую она вызвала какъ на его родинѣ, такъ и у насъ въ Германіи, на этой и на той сторонѣ Атлантическаго океана... Сильно было впечатлѣніе, которое производили на читателей его произведенія, не менѣе сильное впечатлѣніе оставляла и его личность. „Великаномъ,—говоритъ Гюи де-Монассанъ въ „Gaulois“,—великаномъ съ серебряной бородой, точно явленіемъ изъ какой-нибудь фантастической сказки—представлялся онъ людямъ, не знающимъ его... Длинные волнистые бѣлые волосы, густыя бѣлыя рѣсницы, густая бѣлая борода придавали его доброму спокойному лицу, съ нѣсколько рѣзкими чертами, своеобразный блескъ. Эта голова покоилась на высокомъ, широкомъ и полномъ туловищѣ, но особенно удивительно—этотъ колоссъ дѣлалъ жесты такъ же робко и нерѣшительно, какъ ребенокъ. Онъ говорилъ тихимъ, мягкимъ голосомъ; по

временамъ онъ затруднялся, точно отыскивая подходящее французское выраженіе для своей мысли, но онъ скоро находилъ его, и это затрудненіе придавало его рѣчи особую прелесть. Онъ превосходно умѣлъ разсказывать и придавать самымъ мелкимъ вещамъ особое значеніе и содержательность, но еще болѣе его блестящаго ума любили въ немъ его сердечную простоту. Этотъ человѣкъ, видѣвшій собственными глазами полміра, встрѣчавшійся въ теченіе своей жизни съ величайшими умами, выказывалъ нескрываемое удивленіе относительно такихъ вещей, которыя зналъ каждый парижскій школьникъ. Въ своемъ образѣ мыслей и дѣйствій Тургеневъ былъ простымъ, хорошимъ, прямымъ человѣкомъ, относился къ каждому откровенно и участливо и былъ вѣренъ своимъ друзьямъ. Несмотря на свои преклонныя лѣта, въ своихъ произведеніяхъ онъ держался передовыхъ взглядовъ".

„*Изъ Русскаго Курьера*".

* * *

Приводимъ полную статью Гюи де-Монассана.

*) „Великій романистъ русскій былъ однимъ изъ замѣчательныхъ писателей настоящаго столѣтія и въ то же время человѣкомъ честнѣйшимъ, прямымъ, искреннѣйшимъ во всемъ и экспансивнымъ. Простирая свою скромность даже до самоуничтоженія, онъ не желалъ, чтобъ печать говорила о немъ, и не разъ статьи, наполненныя похвалами, уязвляли его, какъ оскорбленія, ибо онъ не допускалъ, чтобъ писали что-нибудь иное, кромѣ произведеній литературныхъ. Даже критика литературныхъ произведеній казалась ему чистой болтовней, и если когда-нибудь журналистъ, говоря по поводу какого-нибудь изъ его произведеній, сообщалъ подробности о немъ и его жизни, онъ испытывалъ чувство гнѣва, смѣшанное съ какой-то неловкостью, переходившею у него въ стыдливость. Теперь, когда отошелъ въ вѣчность этотъ великій человѣкъ, скажемъ вкратцѣ, кѣмъ онъ былъ. Въ первый разъ я встрѣ-

*) „Иностранная критика о Тургеневѣ". Сбп. 1884 г.

тился съ Тургеневымъ у Густава Флобера. Отворилась дверь— явился гигантъ. Гигантъ съ серебряной головой, какъ гласилось бы въ сказкѣ фей. У него были длинные сѣдые волосы, густыя сѣдыя брови и большая сѣдая борода, настоящей бѣлизны серебра, отливающей блескомъ, сіяніемъ и окруженное этой бѣлизной доброе, спокойное лицо; съ чертами нѣсколько крупными онъ былъ. И у этого колосса были жесты дѣтскіе, боязливые и сдержанные. Онъ говорилъ очень тихо, голосъ былъ нѣсколько мягокъ. Иногда онъ испытывалъ нерѣшительность, подыскивая точное французское слово для выраженія своей мысли, но онъ всегда находилъ его съ удивительнымъ чутьемъ, и эта легкая нерѣшительность придавала его рѣчи особенную прелесть. Онъ умѣлъ разсказывать восхитительно, придавая малѣйшимъ фактамъ художественное значеніе и забавный колоритъ; но онъ нравился не столько силой своего ума, сколько своей простотой добродушной и всегда съ выраженіемъ какого-то удивленія. Да, онъ былъ невѣроятно наивенъ, этотъ геніальный романистъ, побывавшій во всей Европѣ, знавшій всѣхъ великихъ людей своего времени, перечитавшій все, что въ состояніи перечесть человѣческое существо, и говорившій на всѣхъ европейскихъ языкахъ, какъ на своемъ. И онъ удивлялся, поражался вещами, которыя казались простыми ученикамъ парижскихъ коллегій. Можно сказать, что обнаженная дѣйствительность его поражала, ибо умъ его не дивился ничему въ написанномъ, тогда какъ онъ возмущался малѣйшими житейскими явленіями. Быть можетъ, его инстинктивное крайнее прямодушіе и его широкое благодушіе задѣвались соприкосновеніемъ съ жестокостью, порочностью и двоедушіемъ человѣческой природы, тогда какъ, напротивъ, въ минуты его творчества, въ тиши кабинета, за письменнымъ столомъ, умъ его понималъ и проникалъ въ самыя темныя тайны жизни, точно онъ смотрѣлъ въ окно на улицу на происшествіе, въ которомъ самъ не принималъ участія. Его литературныя мнѣнія имѣли тѣмъ большее значеніе и цѣну, что онъ судилъ не съ исключительной и узкой точки зрѣнія, какъ всѣ мы, но отыскивалъ сравненія въ литературахъ всѣхъ народовъ,

которыя зналъ основательно, расширяя такимъ образомъ область своихъ наблюденій, дѣлая сопоставленія между книгами, появившимися на двухъ концахъ свѣта, на различныхъ языкахъ. Несмотря на свой возрастъ и свою почти завершившуюся карьеру, онъ имѣлъ самые прогрессивные взгляды на литературу, отвергая устарѣлыхъ формъ романы съ комбинаціями драматическими и учеными, требуя, чтобъ они воспроизводили „жизнь“, ничего, кромѣ жизни, безъ интригъ и запутанныхъ приключеній. „Романъ“, говоритъ Тургеневъ, „есть самая новѣйшая форма художественной литературы. Въ настоящее время, когда вкусъ очищается, надо отбросить всѣ низшія средства, упростить и возвысить это искусство жизни, которое должно быть исторіей жизни“. Если ему говорили о бойкой продажѣ разныхъ книгъ плѣнительнаго жанра, Тургеневъ замѣчалъ: „людей зауряднаго ума гораздо больше, чѣмъ одаренныхъ тонкимъ умомъ. Все зависитъ отъ сорта интеллигенціи, къ какому вы обращаетесь. Книга, которая нравится массѣ, намъ весьма часто не нравится вовсе. И если она нравится и намъ и массѣ, будьте увѣрены, что въ обоихъ случаяхъ мотивы совершенно различные“. Во Франціи Тургеневъ былъ другомъ Густава Флобера, Эдмонда де-Гонкура, Виктора Гюго, Эмиля Зола и Альфонса Додэ. Онъ любилъ музыку и живопись, жилъ въ атмосферѣ искусства. Ни у кого не было такой открытой души, болѣе чуткой и доступной дружбѣ, ни у кого талантъ не былъ такъ увлекателенъ, никто не имѣлъ сердца болѣе безупречнаго и добраго“.

Гюи де-Мопассанъ.

* * *

*) Можно сказать безъ преувеличенія, что ни одинъ русскій писатель не пользовался такою извѣстностью въ польскомъ обществѣ, не пользовался такою симпатіею польской интеллигенціи, какъ покойный Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Эту извѣстность и симпатію покойный пріобрѣлъ себѣ, незави-

*) „Иностранная Критика о Тургеневѣ“. Спб. 1884 г.

симо отъ своихъ произведеній, сочувственнымъ, безпристрастнымъ отношеніемъ къ полякамъ, ихъ литературѣ и языку, которое онъ высказалъ между прочимъ въ своемъ письмѣ къ Крашевскому во время юбилея послѣдняго. Неудивительно поэтому, что кончина Ивана Сергѣевича Тургенева вызвала неподдѣльную скорбь среди здѣшней польской интеллигенціи, что здѣшняя польская печать почтила память усопшаго рядомъ прочувствованныхъ некрологовъ, какіе едва ли приходились въ удѣлъ русскимъ писателямъ на страницахъ варшавскихъ газетъ. Примѣру здѣшнихъ ежедневныхъ газетъ, помѣстившихъ болѣе или менѣе подробныя біографіи, послѣдовали здѣшнія ежедневныя иллюстрированныя изданія, удѣляющія вообще очень мало мѣста явленіямъ русской жизни и помѣщающія весьма рѣдко портреты замѣчательныхъ русскихъ людей. Два лучшія здѣшнія иллюстрированныя еженедѣльныя изданія „Tygodnik Illustrowany“ („Иллюстрированный Еженедѣльникъ“) и „Klosy“ („Колосья“) помѣстили на видныхъ мѣстахъ портреты Ивана Сергѣевича съ подробными біографическими свѣдѣніями и критическою оцѣнкою его писательской дѣятельности. Въ первомъ изъ этихъ изданій, кромѣ некролога, помѣщено письмо Крашевскаго, въ которомъ онъ сообщаетъ подробности своего знакомства въ Тургеневымъ и посвящаетъ его памяти нѣсколько теплыхъ, прочувствованныхъ словъ...

Вотъ это письмо:

„Нѣтъ уже среди насъ—пишетъ Крашевскій—этого великаго артиста, золотого сердца, благороднаго и симпатичнаго человѣка. Тургеневъ скончался. Всѣ, знавшіе его лично или знавшіе его только по произведеніямъ, исполненнымъ оригинальности и величайшаго обаянія, почувствуютъ эту не вознаградимую утрату!

Только однажды въ жизни мы имѣли удовольствіе встрѣтиться съ нимъ въ Парижѣ. Это было... въ году (увы, съ нѣкотораго времени память къ числамъ, относящимся къ моей жизни, рѣшительно мнѣ измѣняетъ) кажется въ 1860 году. Въ Парижѣ находился въ то время общій нашъ пріятель Антонъ Сова (Желиговскій), и его посредничеству обязанъ

я знакомствомъ съ Тургеневымъ. Обрадовавшись такой счастливой случайности и желая продлить бесѣду, я уговорилъ Сову склонить Тургенева отобѣдать со мною въ „Taverne Anglaise“, находившейся въ улицѣ Rivoli. Желиговскій обѣщалъ и увѣрилъ меня, что прибудетъ вмѣстѣ. Я уже предвкушалъ удовольствіе, какъ вдругъ на слѣдующій день утромъ ко мнѣ врывается Сова, не то испуганный, не то смущенный. „Я забылъ тебѣ сказать“—заговорилъ онъ, переступая порогъ, „что Тургеневъ un grand seigneur, обѣдъ долженъ быть весьма изысканъ и согласно всѣмъ требованіямъ и обычаямъ большого свѣта“.

Я улыбнулся этому опасенію Желиговскаго, чтобы польскій дворянинъ не скомпрометировалъ себя излишнею простотою и бережливостью передъ большимъ бариномъ, — и успокоилъ его, что обѣдъ будетъ по всѣмъ правиламъ. Въ назначенный часъ прибыли оба. Я ихъ ожидалъ. Мы сѣли къ столу въ сумерки и проболтали до поздней ночи. Тургеневъ, несмотря на казавшуюся холодность и на то, что не отличался большою разговорчивостью, былъ однимъ изъ самыхъ пріятныхъ собесѣдниковъ. Въ обхожденіи его, дѣйствительно, не проглядывалъ большой баринъ, но манеры его изобличали принадлежность къ самому лучшему обществу.

Уже тогда въ немъ былъ виденъ человѣкъ, который много пережилъ, нѣсколько поостылъ, и изъ жизни вынесъ какое-то тоскливое разочарованіе.

На другой день послѣ проведеннаго въ „Taverne Anglaise“ вечера, во время котораго мы много говорили о литературѣ и тогдашнихъ ея теченіяхъ, Тургеневъ принесъ мнѣ на память свою фотографію, сохраняемую мною, какъ дорогое воспоминаніе.

Много лѣтъ спустя, получилъ я отъ него, по поводу моего юбилея 1879 года, любезное письмо, глубоко меня тронувшее.

Превозносить произведенія Тургенева и ихъ значеніе въ литературѣ — трудъ излишній. Рѣдко кто изъ писателей можетъ похвалиться такимъ всеобщимъ признаніемъ. Впрочемъ, весьма немногіе, подобно ему, заслужили такую всеобщую дань дивною артистическою художественностью, своеобразіемъ

и прелестью картинъ, въ которыхъ дѣйствительность и истина сочетаются съ фантазіею и идеализмомъ. Онъ былъ поэтомъ и артистомъ до мозга костей. Все, что онъ писалъ, имѣло свой собственный, рельефный, индивидуальный и не поддававшійся подражанію отпечатокъ. Самая маленькая вещица, вышедшая изъ-подъ пера его, не пускалась имъ въ свѣтъ безъ обработки, съ небрежностью. Все имъ написанное было выняньчено, строго обдумано и облечено въ ту изящную форму, которая сообщала прелесть каждому его произведенію. Поразительный артистическій инстинктъ указывалъ ему прежде всего границы художественнаго творчества. Никто лучше его не постигалъ тайны покрытія тѣнью нѣкоторыхъ частей творенія съ тѣмъ, чтобы остальныя предстали тѣмъ въ большемъ блескѣ. Почти всегда Тургеневъ представляется намъ черезчуръ сжатымъ, никогда растянутымъ. Это поэтъ и мастеръ формы, хотя въ немъ нѣтъ и малѣйшаго усилія или напряженія, а все, что онъ пишетъ, выливается, кажется, изъ-подъ его пера съ легкостью необычайною. Какъ точные снимки съ общества и вѣка, произведенія его единственныя въ своемъ родѣ. Истина проявляется въ нихъ всегда именно тамъ, гдѣ она очерчивается наиболѣе рельефно! Будучи до нѣкоторой степени реалистомъ, Тургеневъ оставался вѣренъ природѣ, но свѣтъ, который онъ бросаетъ на своихъ героевъ, дѣлаетъ ихъ идеальными. Не теряя самообладанія, Тургеневъ никогда не переступалъ границъ, за которыми реализмъ становится отталкивающимъ. Въ его герояхъ всегда есть нѣчто, что ихъ возвышаетъ, облагораживаетъ, къ нимъ манитъ и дѣлаетъ ихъ интересными. Каждое изъ тургеневскихъ дѣйствующихъ лицъ имѣетъ свою собственную мысль, языкъ и свой родной оттѣнокъ. У него нѣтъ двухъ одинаковыхъ лицъ или ординарныхъ или же просто вставленныхъ, чтобы занять пустое мѣсто.

Независимо отъ нѣкоторыхъ общихъ признаковъ, напоминающихъ немъ порою Эдгара Поэ, Бретгарта и даже фантазіи Гофмана—онъ остается всегда самимъ собою и вполнѣ оригинальнымъ. То, что въ немъ можно отыскать общаго съ другими, является просто знаменемъ вѣка.

Литература не только русская, но и европейская утрачиваетъ въ немъ несравненнаго новеллиста, или вѣрнѣе долженъ былъ бы я сказать—поэта и художника.

Во Франціи дружескія отношенія связывали его прежде съ Флоберомъ, а впослѣдствіи съ корифеями реалистической школы. Въ Германіи онъ былъ хорошо знакомъ съ Линдау и видѣлся съ нимъ каждый разъ, когда бывалъ въ Берлинѣ. Когда Тургеневъ лежалъ уже на смертномъ одрѣ, Ожье читалъ ему свое новѣйшее произведеніе. Все прекрасное онъ умѣлъ оцѣнить, какова бы ни была школа и люди, ее представляющіе. Сужденія его были трезвы и здравы, и скорѣе снисходительны, нежели строги. Ему приписали созданіе слова—„нигилизмъ“. Быть можетъ, онъ былъ первымъ крестнымъ отцомъ этого термина, но фактъ онъ засталъ уже совершившимся, и указалъ лишь на характерную черту, обнаруживающую его сущность. Какъ всѣ вообще дѣти переживаемаго вѣка, Тургеневъ страдалъ неизлѣчимою тоскою. Онъ чувствовалъ увлекающія теченія, не зная, куда они приведутъ насъ. Скорбь о мірѣ, распадающемся въ развалинахъ, боролась въ немъ съ опасеніемъ, что должно было возникнуть на этихъ развалинахъ. Послѣдній день жизни не разрѣшилъ для него этой загадки.

Какъ человѣкъ, Тургеневъ, въ сердцахъ всѣхъ знавшихъ его, оставляетъ неизгладимую печаль и память. Кроткій добрый, крайне простой и естественный въ общеніи съ людьми, онъ самъ не придавалъ себѣ значенія и добровольно умалялъ свои заслуги—но будущность сдѣлаетъ его исполиномъ.

I. Крашевскій.

* * *

*) Вотъ что сказалъ, между прочимъ, Эдмонъ Абу передъ гробомъ Тургенева на Сѣверномъ вокзалѣ въ Парижѣ: „Иванъ Сергѣевичъ пересталъ страдать, но онъ не умеръ весь: его

*) „Новости“. Рѣчь Эдмона Абу.

горячая, великодушная кровь и теперь продолжаетъ циркулировать въ его чудныхъ твореніяхъ,—въ этихъ „книгахъ добра". Онѣ, эти книги, запечатлѣлись въ благодарной памяти цѣлаго народа прочнѣе и неизгладимѣе, чѣмъ надпись на какомъ-нибудь твердомъ металлѣ. И такъ, проводимъ этотъ прахъ безъ слезъ: оплакивать можно лишь то, что смертно, что исчезаетъ безъ слѣда. Тургеневъ — безсмертенъ, и потому мы проводимъ его какъ дорогого друга, отправляющагося въ далекій послѣдній путь. Его незабвенный образъ останется въ нашемъ сердцѣ такимъ, какимъ мы видѣли его въ послѣдній разъ. Мы не забудемъ никогда эту старческую голову, окруженную ореоломъ генія, покоющуюся на могучихъ плечахъ, эти волосы и бороду, покрытые преждевременной сѣдиной, тихую прелесть его меланхолической улыбки, тонкую старческую красоту его выразительнаго лица. Мы не забудемъ, что ты, геніальный человѣкъ, провелъ среди насъ около 20-ти лѣтъ, почти цѣлую треть своей жизни. Ты сжился съ нами: наша жизнь, наша литература, наше искусство пришлись тебѣ по душѣ. Ты полюбилъ Францію, полюбилъ ее, такъ же какъ и она любила тебя, полюбилъ ее такъ, какъ она хочетъ быть любима. Но эта любовь не заставила тебя измѣнить отчизнѣ, и ты всю жизнь былъ вѣренъ всей душой своей Россіи, и благо тебѣ за то, потому что тотъ, кто не любитъ своего отечества, не любитъ его слѣпо и беззавѣтно, тотъ только на „половину человѣкъ!..."

Рѣчь Абу продолжалась около часу. Онъ заключилъ ее словами:

„Какой же памятникъ воздвигнетъ тебѣ благодарность твоихъ соотчичей? Великіе государственные люди страны, сосѣдней съ нами, знаютъ, какой монументъ ихъ ожидаетъ по смерти. Надъ ихъ могилой воздвигнутъ величественныя статуи, которыя будутъ опираться на плечи скованныхъ плѣнниковъ, насильно влекомыхъ въ неволю. Для твоего памятника достаточно будетъ обрывка цѣпи, брошеннаго на мраморную плиту. Твое скромное и честное самолюбіе было бы удовлетворено такимъ мавзолеемъ, а этотъ символъ говорилъ бы о твоей славѣ. Иванъ Сергѣевичъ, ты насъ хорошо зналъ,

понималъ и любилъ. Доведи же до конца твое благое дѣло. Повѣдай оплакивающимъ тебя согражданамъ, какъ мы любили тебя; скажи имъ, что мы очистились теперь въ горнилѣ тяжкихъ испытаній, и стали лучше; что новая мудрость осѣнила насъ, что мы умѣемъ любить тѣхъ, кто насъ любитъ; что мы никогда не были неблагодарными и всегда готовы до послѣдней капли крови служить тѣмъ, кто оказалъ намъ какую-нибудь услугу".

Э. Абу.

* * *

Въ то же самое время, т.-е. 2-го октября (20-го сентября) 1883 года, когда съ Сѣверной станціи желѣзной дороги отправляли тѣло покойнаго И. С. Тургенева въ Петербургъ. Ренанъ сказалъ:

„Мы не отпустимъ безъ прощальнаго слова этотъ гробъ, возвращающій отчизнѣ геніальнаго гостя, котораго мы знали и любили въ теченіе долгихъ лѣтъ. Тотъ, кто умѣетъ цѣнить произведенія ума, откроетъ вамъ тайну его чудныхъ твореній, очаровавшихъ наше поколѣніе. Тургеневъ былъ не только знаменитымъ писателемъ: онъ былъ и великимъ человѣкомъ. Я буду говорить лишь о его чудной душѣ, которая открылась мнѣ въ тихомъ уединеніи, гдѣ онъ жилъ между нами.

Тургеневу данъ былъ таинственнымъ предопредѣленіемъ, управляющимъ человѣческими призваніями, высокій, благородный даръ: онъ былъ рожденъ, такъ сказать, отрѣшеннымъ отъ личныхъ вкусовъ. Душа его не была душой отдѣльной личности, болѣе или менѣе богато одаренной природой, то была, нѣкоторымъ образомъ, совѣсть цѣлаго народа. Прежде, чѣмъ родиться на свѣтъ, онъ уже жилъ въ продолженіе тысячелѣтій: безконечный рядъ поэтическихъ образовъ сосредоточивался въ глубинѣ его сердца. Ни одинъ человѣкъ не воплощалъ въ себѣ такъ полно цѣлой народности. Въ немъ жилъ цѣлый міръ и говорилъ его устами; цѣлыя поколѣнія предковъ, безмолвныя, затерянныя въ забвеніи вѣковъ, черезъ его посредство обрѣли жизнь и слово.

Молчаливый геній коллективныхъ массъ—источникъ всего великаго. Но у массы нѣтъ голоса. Она умѣетъ лишь чувствовать и лепетать. Ей нуженъ выразитель, пророкъ, который говорилъ бы за нее. Кто будетъ этимъ пророкомъ? Кто выразитъ ея страданія, отрицаемыя тѣми, которымъ выгодно не видѣть этихъ тайныхъ стремленій, нарушающихъ блаженный оптимизмъ довольныхъ? Ихъ выразитъ великій человѣкъ, если онъ въ то же время человѣкъ геніальный и человѣкъ съ сердцемъ. Вотъ почему великій человѣкъ наименѣе свободный изъ людей. Онъ дѣлаетъ и говоритъ не то, что хочетъ. Его устами глаголетъ Богъ; десять вѣковъ страданій и надеждъ тяготѣютъ надъ нимъ и руководятъ имъ. Иной разъ съ нимъ случается то же, что съ библейскимъ пророкомъ: призванный проклинать, онъ благословляетъ, его языкъ повинуется духу свыше.

Честь и слава великой славянской расѣ, появленіе которой на авансценѣ исторіи—есть самый поразительный феноменъ нашего вѣка; честь и слава ей, что она такъ рано нашла выразителя въ такомъ несравненномъ художникѣ. Никогда тайны народнаго сознанія, еще темнаго и полнаго противорѣчій, не были раскрыты съ такой удивительной проницательностью. Тургеневъ чувствовалъ и творилъ непосредственно и въ то же время сознавалъ себя; онъ былъ вмѣстѣ и народомъ и избранникомъ народа. Онъ чувствителенъ, какъ женщина, и невозмутимъ, какъ анатомъ; чуждъ предразсудковъ, какъ философъ, и нѣженъ, какъ ребенокъ. Счастлива та народность, которая на первыхъ порахъ своей сознательной жизни могла быть представлена въ такихъ образахъ, въ одно и то же время наивныхъ и глубокомысленныхъ, реальныхъ и мистическихъ. Когда будущее покажетъ намъ мѣрку для оцѣнки того, что дастъ намъ этотъ удивительный славянскій геній, съ его пылкой вѣрой, съ его глубокимъ чутьемъ, съ его особыми воззрѣніями на жизнь и смерть, съ его потребностью мученичества, съ его жаждой идеала—тогда картины Тургенева будутъ безцѣнными документами, чѣмъ-то въ родѣ портрета геніальнаго человѣка въ его дѣтствѣ. Тургеневъ сознавалъ трудность этой роли—выразителя одной изъ

великихъ семей человѣчества. Онъ чувствовалъ, что на немъ лежитъ отвѣтственность за много душъ, и, какъ честный человѣкъ, онъ взвѣшивалъ каждое слово, онъ дрожалъ за все, что говорилъ и чего не говорилъ.

Его миссія была вполнѣ умиротворяющей. Онъ былъ, какъ Богъ въ книгѣ Іова, „творящій миръ на высяхъ“. То, что у другихъ производило разладъ, у него становилось основой гармоніи. Въ его широкой груди примирялись противорѣчія: проклятія и ненависть обезоруживались волшебнымъ обаяніемъ его искусства.

Вотъ почему онъ—общая слава и гордость всѣхъ партій, между которыми господствуетъ рознь. Эта великая раса, разъединенная именно потому, что она такъ велика, находитъ въ немъ снова свое единство. Братья, враги, раздѣляемые столь различнымъ пониманіемъ идеала, придите всѣ къ его могилѣ! Вы всѣ имѣете право любить его, ибо онъ принадлежалъ всѣмъ, всѣхъ васъ онъ вмѣщалъ въ своемъ сердцѣ! Чудное преимущество генія! Отталкивающія стороны вещей не существуютъ для него. Въ немъ все примиряется: партіи самыя враждебныя сходятся, чтобы сообща восхвалять его и восхищаться имъ. Въ той области, куда онъ переноситъ насъ, слова, раздражительныя для обыденнаго міра, теряютъ свой ядъ. Геній совершаетъ въ одинъ день то, надъ чѣмъ работаютъ цѣлые вѣка. Онъ создаетъ атмосферу высшаго мира, гдѣ и тѣ, кто были противниками, въ концѣ концовъ находятъ, что они были лишь сотрудниками; онъ открываетъ эру великаго всепрощенія, гдѣ враждовавшіе между собою на аренѣ прогресса успокоиваются рядомъ, поднявъ другу другу руки.

И дѣйствительно, выше племени стоитъ человѣчество, или, если хотите, разумъ. Тургеневъ принадлежалъ одному племени по чувству и по творчеству; но онъ принадлежитъ всему человѣчеству силою высшей философіи, смотрящей яснымъ взоромъ на человѣческую жизнь и старающейся безъ предвзятой мысли познать дѣйствительность. Эта философія соединялась въ немъ съ кротостью, съ любовью къ жизни, съ состраданіемъ къ живымъ существамъ, въ особенности, къ жертвамъ несчастія. Онъ горячо любилъ это бѣдное человѣчество,

часто слѣпое, конечно, но и такъ часто обманываемое своими вождями. Онъ сочувствовалъ его стремленію къ добру и къ истинѣ. Онъ не преслѣдовалъ его иллюзій, онъ не сѣтовалъ на его жалобы. Желѣзная политика, издѣвающаяся надъ страждущими, не была его политикой. Никакое разочарованіе не останавливало его. Подобно вселенной, онъ готовъ былъ тысячу разъ начинать снова неудавшееся дѣло; онъ зналъ, что справедливость можетъ ждать: въ концѣ концовъ всегда обратятся къ ней. Онъ по истинѣ обладалъ словомъ вѣчной жизни, словомъ мира, справедливости, любви и свободы.

Прости же, великій и дорогой другъ! Удалится отъ насъ лишь одинъ прахъ твой. Но то, что было въ тебѣ безсмертнаго, твой духовный образъ останется съ нами. Да будетъ гробъ твой для тѣхъ, кто придетъ цѣловать его,—залогомъ единенія въ одной и той же вѣрѣ въ свободный прогрессъ! И когда ты будешь покоиться въ твоемъ отечествѣ, пусть всѣ, кто придетъ поклониться твоей могилѣ, вспомнятъ съ симпатіей о той далекой землѣ, гдѣ ты находилъ столько сердецъ, умѣвшихъ понимать и любить тебя!

Ж. Ренаръ.

ПОХОРОНЫ И. С. ТУРГЕНЕВА.

*) Собственно говоря, похоронная процессія началась въ понедѣльникъ, 19 сентября, въ Парижѣ, rue Daru, гдѣ помѣщается наша церковь, а закончилась черезъ недѣлю, во вторникъ, 27-го сентября, въ Петербургѣ, на Волковомъ кладбищѣ. Начало и конецъ этой процессіи, въ Парижѣ и въ Петербургѣ, со всѣмъ великолѣпіемъ ея внѣшней обстановки, рѣчами и пр. — очень хорошо извѣстны во всѣхъ подробностяхъ изъ описаній газетъ парижскихъ и петербургскихъ. Затѣмъ, извѣстно только то, что вечеромъ въ 9 ч., въ понедѣльникъ, 19 сентября (1-го октября), тѣло И. С. Тургенева было отправлено изъ Парижа съ пассажирскимъ поѣздомъ; приготовленная встрѣча и проводы въ Берлинѣ, которые могли бы послужить, въ среду или въ четвергъ, непосредственнымъ продолженіемъ печальной и вмѣстѣ торжественной парижской церемоніи въ понедѣльникъ—почему-то не состоялись; тѣло прибыло прямо въ Вержболово, въ пятницу (23 сентября) рано утромъ; оттуда выѣхало въ понедѣльникъ (26 сентября) также рано утромъ — и, на слѣдующій день, во вторникъ, 27 сентября, въ 10 ч. 20 м. утра, подошло къ платформѣ варшавской станціи въ Петербургѣ. Подробности этого послѣдняго переѣзда отъ Вержболова до Петербурга, въ видѣ отрывочныхъ свѣдѣній, переданы въ иностранныхъ газетахъ, и притомъ не всегда вѣрно, а въ нашихъ—явились по этому поводу случайныя и весьма краткія корреспонденціи, доставленныя случайными пассажирами поѣзда, отмѣтившими только то, что имъ удалось видѣть на пути—изъ окошка вагона. О проѣздѣ тѣла изъ Парижа чрезъ Германію до нашей границы

*) „Вѣстникъ Европы“ 1883 г., № 11. „Похороны И. С. Тургенева“. Статья М. С. (Стасюлевича).

въ Вержболовѣ—я слышалъ отъ провожавшихъ гробъ Тургенева; свидѣтелемъ же прибытія тѣла, его трехдневнаго пребыванія въ Вержболовѣ и 24-хъ часового съ небольшимъ переѣзда отъ границы до Петербурга—мнѣ довелось быть одному. Корреспондентовъ отъ нашихъ газетъ въ Вержболовѣ не было, а потому многое, что послѣ писалось, было писано наугадъ; такъ въ одной петербургской газетѣ разсказывалось, что будто тѣло Тургенева въ Вержболовѣ—„было встрѣчено священникомъ Александро-Невской церкви (въ Кибартахъ, посадѣ Вержболова), делегаціей с.-петербургской думы, владиславовскимъ русскимъ обществомъ и многими другими лицами", въ дѣйствительности, разумѣется, не было ничего подобнаго, и, очевидно, писавшій все это не былъ на мѣстѣ, и рискнулъ угадать то, что могло быть, — и рискнулъ неудачно. Въ виду такихъ неточностей, къ которымъ присоединилось еще много другихъ,—необходимо возстановить фактическую сторону всего переѣзда тѣла Тургенева изъ Парижа до Петербурга, хотя бы и въ самомъ сжатомъ очеркѣ. Наше общество такъ дорожитъ памятью незабвеннаго Ивана Сергѣевича, что не сочтетъ излишнимъ восполненіе пробѣла въ хроникѣ послѣдняго земного странствованія его тѣла по Германіи и по родной землѣ.

23-го августа (4 сентября н. с.), я въ послѣдній разъ поклонился праху Тургенева въ Буживалѣ, а 23 сентября, въ 6 час. утра, мнѣ пришлось встрѣтить его тѣло въ Вержболовѣ: оно прибыло одно, безъ провожатыхъ и безъ документовъ. Вотъ какъ это случилось.

На слѣдующій день послѣ отправленія гроба изъ Парижа, во вторникъ, 20-го сентября, я получилъ въ Петербургѣ депешу, въ отвѣтъ на мой вопросъ, а именно, мнѣ отвѣчали, что тѣло прибудетъ на русскую границу 23-го, въ пятницу, рано утромъ; значитъ, оно могло бы прибыть въ Петербургъ не ранѣе утра субботы, 24-го сентября, когда могли бы совершиться и похороны. Но наша похоронная комиссія, избравшая меня для встрѣчи тѣла въ Вержболовѣ и смѣны иностранныхъ провожатыхъ въ пути по Россіи, весьма справедливо опасалась назначить субботу днемъ погребенія, въ виду

возможныхъ задержекъ въ пути; заблаговременное назначеніе такого ближайшаго дня могло бы ввести публику въ невольный обманъ. Отложить день погребенія на воскресенье признано было неудобнымъ; по той же причинѣ оказалось невозможнымъ назначить такимъ днемъ и понедѣльникъ, 26-е сентября, какъ день праздничный. Принимая все это въ соображеніе, комиссія назначила встрѣчу тѣла и погребеніе во вторникъ, 27-го сентября; но такъ какъ прибытіе тѣла въ Вержболовѣ, судя по вышеупомянутой депешѣ, ожидалось въ пятницу, 23-го сентября, то, чтобы не задерживать тѣла въ Вержболовѣ въ теченіе трехъ сутокъ, предположено было ѣхать изъ Вержболова только днемъ, а на ночь останавливаться въ пути, такъ чтобы пріѣздъ тѣла въ Петербургъ послѣдовалъ во вторникъ утромъ. Чтобы встрѣтить тѣло на границѣ въ пятницу рано утромъ, мнѣ слѣдовало пріѣхать туда не позже четверга вечеромъ, а, слѣдовательно, выѣхать изъ Петербурга не позже вечера среды, съ пассажирскимъ поѣздомъ. Вслѣдствіе того, комиссія не могла успѣть дать мнѣ никакихъ инструкцій относительно вышеупомянутаго плана возвращенія съ тѣломъ; мнѣ было объявлено только, что инструкція будетъ передана по телеграфу, и при пріѣздѣ въ Вержболово я найду тамъ все, что мнѣ нужно знать. По пути къ границѣ меня осаждали на всѣхъ сколько-нибудь значительныхъ станціяхъ вопросами, когда проѣдетъ тѣло Тургенева, и разсказывали о приготовленіяхъ, какія дѣлались ко времени его проѣзда; не зная самъ ничего, я на всѣ просьбы отвѣчалъ обѣщаніями — увѣдомить тогда, когда буду самъ знать что-нибудь.

Въ Вержболово я пріѣхалъ въ четвергъ, въ восьмомъ часу вечера. Оказалось, что траурный вагонъ, уступленный обязательно Главнымъ Обществомъ, уже прибылъ изъ Вильны на границу, согласно данному мнѣ обѣщанію; но тутъ же мнѣ сообщили, что о времени моего обратнаго пути съ тѣломъ я буду извѣщенъ въ свое время; кстати, мнѣ подали тутъ же депешу изъ Берлина отъ провожатыхъ, что *ихъ* задержала тамъ таможня, и *они* вмѣсто утра, явятся на границу въ пятницу же, но вечеромъ. Я мысленно одобрялъ осторожность

нашей комиссіи, не назначавшей субботы днемъ погребенія: очевидно, съ тѣломъ опоздали, и если бы мы выѣхали изъ Вержболова даже въ пятницу вечеромъ (я имѣлъ, на всякій случай, разрѣшеніе везти тѣло и съ почтовымъ поѣздомъ, если-бы въ томъ оказалась надобность),—то и тогда мы пріѣхали бы въ Петербургъ уже вечеромъ въ субботу. Я поспѣшилъ сообщить это извѣстіе въ Петербургъ, а также далъ знать о томъ и на станціи, гдѣ прежде предполагалось встрѣтить тѣло, сопровождаемое иностранцами, съ подобающею религіозною церемоніею и тѣмъ скромнымъ почетомъ, какой возможенъ маленькому вержболовскому посаду Кибартамъ. Такъ какъ прахъ покойнаго вступалъ тутъ впервые на родную землю,—то мѣстное русское общество, состоящее большею частью изъ однихъ служащихъ, желало показать иностраннымъ провожатымъ, что оно, не споря съ Парижемъ въ средствахъ къ великолѣпію, сдѣлаетъ однако все для него возможное, чтобы достойно почтить усопшаго. Это предположеніе не могло осуществиться по различнымъ причинамъ, да и то, что случилось затѣмъ совершенно неожиданно, сдѣлало бы напрасными всѣ приготовленія къ встрѣчѣ.

На слѣдующій день рано утромъ, въ 6 часовъ, къ самому окошку моего номера на станціи, гдѣ я провелъ ночь, подошелъ тотъ самый прусскій пассажирскій поѣздъ, съ которымъ должно было прибыть тѣло Тургенева, а черезъ нѣсколько минутъ ко мнѣ вбѣжалъ служитель съ извѣстіемъ, что тѣло Тургенева прибыло, одно, безъ провожатыхъ и безъ документовъ, по багажной накладной, гдѣ написано: „1 — покойникъ“ — ни имени ни фамиліи! Мы только догадались, что это—Тургеневъ, но собственно не могли знать того навѣрное. Тѣло прибыло въ простомъ багажномъ вагонѣ, и гробъ лежалъ на полу, задѣланный въ обыкновенномъ дорожномъ ящикѣ для клади; около него, по стѣнкамъ вагона стояло еще нѣсколько ящиковъ, очевидно, съ вѣнками, оставшимися отъ парижской церемоніи. Предоставляя времени выяснить послѣ, какъ все это могло случиться, мы занялись тотчасъ же вопросомъ, что дѣлать въ эту минуту, такъ какъ нельзя было долго задерживать прусскаго поѣзда съ прусской при-

поѣздку—и черезъ часъ послѣ того, они уже выѣхали изъ Вержболова съ вечернимъ почтовымъ поѣздомъ въ Петербургъ. Собственно говоря, ихъ могли бы и въ Вержболовѣ задержать по той же причинѣ, по какой задержала ихъ берлинская таможня: досмотръ ящиковъ съ вѣнками и формами маски лица и руки покойнаго потребовалъ бы слишкомъ много времени; но я принялъ всѣ эти ящики на себя, такъ какъ я и безъ того оставался на мѣстѣ; по отходѣ же поѣзда въ Петербургъ, таможня будетъ имѣть все время для исполненія своихъ обязанностей. Почтовый поѣздъ, какъ извѣстно, стоитъ въ Вержболовѣ болѣе часа, а потому иностранные провожатые выразили желаніе—поклониться гробу. Всѣ, даже и тѣ, которые утромъ не раздѣляли моего мнѣнія, были очень теперь довольны, что намъ пришлось отвести иностранныхъ провожатыхъ не въ товарный складъ, а въ церковь. Было около 6 часовъ вечера; смеркалось; подъ проливнымъ дождемъ мы перешли не большую аллею, отдѣлявшую станцію отъ церкви. Такъ какъ, въ видахъ санитарныхъ, церковныя двери оставались съ утра открытыми настежь, то церковь никогда не оставалась безъ посѣтителей: многіе пріѣзжали изъ окрестностей Вержболова и Эйдткунена, услышавъ, что тѣло Тургенева остается на границѣ нѣсколько дней. Мы также нашли въ церкви посторонняхъ; въ углу помѣщался, повидимому, художникъ, и снималъ внутренній видъ храма съ гробомъ на катафалкѣ, покрытомъ золотою парчей, окруженномъ теплящимися свѣчами и со всѣхъ сторонъ обстановленномъ вѣнками. Иностранные гости, очевидно, не ожидали встрѣтить въ нашей сельской церкви такую обстановку, и были видимо тронуты представившимся имъ зрѣлищемъ Тургенева, мирно почивающаго вѣчнымъ сномъ въ скромномъ деревенскомъ храмѣ, среди любимыхъ имъ безбрежныхъ полей, окружающихъ Вержболово со всѣхъ сторонъ.

Въ 6 часовъ вечера почтовый поѣздъ увезъ иностранныхъ гостей въ Петербургъ. Я ожидалъ къ ночи получить отвѣтъ отъ комиссіи на мой вопросъ: когда можно будетъ выѣхать въ обратный путь?—но такъ и не получилъ никакого отвѣта. Отвѣтъ пришелъ въ субботу, одновременно съ газетами, гдѣ

находилось объявленіе о назначеніи вторника днемъ похоронъ, и повторялъ то же самое; это значило только то, что я не могу выѣхать позже понедѣльника утра; но я могъ получить разрѣшеніе выѣхать въ воскресенье и ночевать въ дорогѣ. Вотъ почему я не зналъ, что отвѣчать на многочисленныя телеграммы, съ оплаченнымъ отвѣтомъ, а, слѣдовательно, обязательныя для меня,—со всѣхъ главныхъ станцій по линіи отъ Вержболова до Петербурга. Впрочемъ, понедѣльникъ былъ также не далекъ, а потому все равно слѣдовало готовиться къ пути, чтобъ не было никакихъ задержекъ въ послѣднюю минуту. Въ субботу мы занялись въ таможнѣ очисткою вѣнковъ пошлиною, такъ какъ нѣкоторые изъ нихъ были сдѣланы въ Парижѣ, и сдѣланы превосходно, изъ искусственныхъ цвѣтовъ, а такіе цвѣты, какъ извѣстно, обложены у насъ довольно высокою пошлиною. Послѣ всенощной, въ субботу же, была отслужена вторая панихида, и рѣшено — на слѣдующій день, въ воскресенье, до обѣдни, отслужить послѣднюю панихиду и вынести гробъ въ траурный вагонъ, чтобы имѣть время въ теченіе дня прочно уставить гробъ на катафалкѣ и убрать его вѣнками. Другіе думали, что лучше было бы просто перенести гробъ въ 7 час. утра; но первое мнѣніе было одобрено и самимъ настоятелемъ церкви, а потому, въ воскресенье, въ $8^1/_2$ часовъ утра, отслужена была панихида, какъ то предполагалось, и о. Николай Петровичъ Кладницкій произнесъ при этомъ краткое, тронувшее всѣхъ присутствовавшихъ слово. Оно было первымъ русскимъ голосомъ, привѣтствовавшимъ дорогой прахъ на далекомъ западномъ рубежѣ родной ему земли...“ (См. 268 стр.).

„Послѣ панихиды и поклоненія тѣлу, явилась та же самая таможенная артель, одѣтая, по случаю воскресенья, по праздничному, въ суконныхъ полукафтанахъ, перехваченныхъ темнозеленымъ поясомъ. Холодная и дождливая ночь къ утру смѣнилась теплой и ясной погодой, такъ что ничто не помѣшало торжественной и вмѣстѣ скромной процессіи перенесенія гроба изъ церкви въ траурный вагонъ, поставленный заблаговременно тутъ же по близости. Почти все дообѣденное время ушло на установку гроба на высокомъ катафалкѣ

внутри траурнаго вагона и убранство вѣнками какъ самаго катафалка, такъ и стѣнъ его, обтянутыхъ черпымъ сукномъ. Между тѣмъ я получилъ и формальное извѣстіе о томъ, что могу завтра утромъ, въ понедѣльникъ, отправиться въ путь съ пассажирскимъ поѣздомъ съ тѣмъ, чтобы, слѣдуя непрерывно, прибыть въ Петербургъ, по расписанію, во вторникъ утромъ. До поздняго вечера вагонъ съ тѣломъ оставался на рельсахъ въ виду церкви; нанятый мною сторожъ долженъ былъ безотлучно находиться при вагонѣ.

Рано утромъ, въ седьмомъ часу, въ понедѣльникъ, прибылъ на станцію тотъ пассажирскій поѣздъ изъ Берлина, который долженъ былъ взять съ собою траурный вагонъ, и въ 8 часовъ выйти, направляясь прямо въ Петербургъ. Толпа изъ пассажировъ поѣзда и служащихъ обступала траурный вагонъ, когда появился и настоятель церкви, отправлявшійся вмѣстѣ съ нами по своимъ дѣламъ въ Вильно. Отслужить предъ отъѣздомъ литію оказалось неудобнымъ, и священникъ одинъ поднялся въ траурный вагонъ, тихо помолился надъ гробомъ, и, отдавъ усопшему земной поклонъ, приложился къ прикрѣпленному на гробѣ образу Христа, которому Тургеневъ посвятилъ одно изъ лучшихъ своихъ „Стихотвореній въ прозѣ“.

Весь понедѣльникъ и всю ночь до утра вторника, когда мы подъѣзжали уже къ г. Лугѣ, свирѣпствовалъ холодный вѣтеръ съ безпрерывнымъ дождемъ: и несмотря ни на что, несмотря на позднее ночное время, а также и на то, что по дорогѣ узнали о предстоящемъ проѣздѣ тѣла почти въ то время, когда оно уже вышло изъ Вержболова,—на всѣхъ сколько-нибудь крупныхъ станціяхъ, мы встрѣчали болѣе или менѣе значительную массу людей, терпѣливо ожидавшихъ часами прибытія поѣзда. Въ Ковно и въ Вильнѣ общество русскихъ приготовило все необходимое для литіи, во время десяти минутъ остановки поѣзда; но я успѣлъ только принять вѣнки на гробъ. Такъ какъ въ Вильнѣ необходимо было при этомъ открыть самый вагонъ, чтобы освидѣтельствовать веревки, которыми былъ укрѣпленъ гробъ на катафалкѣ, то громадная толпа обступила вагонъ, съ выраженіемъ величайшаго благоговѣнія и въ глубокой тишинѣ, сохраняя при этомъ стро-

гій порядокъ; всѣ какъ бы замерли, въ виду зрѣлища, котораго, конечно, ожидали, и тѣмъ не менѣе были видимо тронуты и взволнованы, когда увидѣли въ двухъ-трехъ шагахъ отъ себя ясеневый гробъ, высившійся на черномъ катафалкѣ и заключавшій въ себѣ бренные останки того, чье имя наполняло собою въ это послѣднее время весь образованный міръ. Прислуга между тѣмъ успѣла укрѣпить вытянувшіяся отъ чрезвычайной тяжести гроба и толчковъ паровоза веревки; вагонъ былъ закрытъ, и въ два часа пополудни поѣздъ отошелъ изъ Вильны.

Въ седьмомъ часу вечера мы подъѣзжали къ Динабургу. Было уже темно; на платформѣ станціи насъ ожидала и встрѣтила густая толпа народа, далеко превышавшая ту, какую мы нашли въ Вильнѣ; ко мнѣ обратился городской голова съ просьбою дать возможность городскому обществу, прибывшему на станцію издалека, поклониться гробу; литіи не успѣли отслужить и здѣсь. Принимая вѣнки, между которыми выдавался вѣнокъ „отъ города Динабурга“, „отъ Динабургской женской гимназіи“ и отъ почитателей Тургенева, — я замѣтилъ, что, вслѣдствіе темноты, задніе ряды, стараясь приблизиться къ гробу, слабо освѣщенному фонаремъ кондуктора, до такой степени прижали къ борту вагона стоявшихъ впереди, что имъ ничего не оставалось бы для своей безопасности, какъ подняться въ вагонъ, а это могло бы повлечь за собою полный безпорядокъ. Въ первый разъ моя просьба отступить не подѣйствовала, такъ какъ стоявшіе близъ вагона, при всей ихъ доброй волѣ, не могли подвинуться назадъ. Тогда я обратился къ публикѣ съ предложеніемъ: такъ какъ я не могу помѣстить въ вагонѣ всю толпу, это — очевидно, то прошу подать мнѣ кого-нибудь изъ дѣтей,— пусть ребенокъ простится за всѣхъ съ покойнымъ. Мое предложеніе было принято, и публика спокойно отошла отъ вагона.

Отъ Динабурга началось ночное время поѣздки, сопровождаемое холоднымъ дождемъ и вѣтромъ. Несмотря однако на то, и въ г. Островѣ въ первомъ часу ночи, и въ Псковѣ, въ два часа пополуночи, публика сидѣла на станціи и терпѣливо ждала прибытія поѣзда. Какъ видно изъ псковской кор-

респонденціи въ одну изъ московскихъ газетъ, „нѣсколько недѣль приготовлялись псковичи достойно почтить память незабвеннаго И. С. Тургенева, при провозѣ его чрезъ Псковъ изъ-за границы въ Петербургъ; городской думой было постановлено отслужить въ вокзалѣ надъ гробомъ панихиду въ присутствіи всѣхъ гласныхъ и возложить на гробъ отъ города вѣнокъ... Однакожъ, несмотря на самое горячее желаніе псковичей почтить усопшаго великаго писателя, все вышло далеко не такъ торжественно, какъ предполагалось“... Но зато нигдѣ на пути встрѣча тѣлу Тургенева, можно сказать, не была сдѣлана столь усердно,—если подумать о времени встрѣчи, отчаянной погодѣ, отдаленіи города отъ станціи версты на двѣ, и наконецъ, если принять въ соображеніе и то, что на вопросъ городского головы въ Вержболово о днѣ проѣзда я могъ отвѣчать ему только наканунѣ. Замѣститель городского головы съ гласными поднесъ къ вагону большой вѣнокъ съ надписью: „отъ города Пскова“; затѣмъ явились вѣнки отъ псковскихъ періодическихъ изданій („Земскій Вѣстникъ“, „Городской Листокъ“, и журналъ „Истина“), отъ классической гимназіи и реальнаго училища. „Ни псковскій кадетскій корпусъ,—замѣчаетъ тотъ же корреспондентъ,—ни духовная и учительская семинарія, ни землемѣрное училище ничѣмъ не почтили память незабвеннаго писателя; женская гимназія приготовила вѣнокъ, но почему-то не доставила его въ вокзалъ. Изъ частныхъ лицъ на гробъ Тургенева возложилъ вѣнокъ А. П. Яхонтовъ, предсѣдатель псковской уѣздной земской управы, довольно извѣстный поэтъ, стихотворенія котораго часто встрѣчались на страницахъ „Отечественныхъ Записокъ“. Интересно еще и то, что какъ отъ реальнаго училища, такъ и отъ классической гимназіи возлагали вѣнки на гробъ Ивана Сергѣевича инспектора этихъ заведеній; директора же всѣхъ псковскихъ гимназій, училищъ и семинарій даже не были въ числѣ публики. Не знаемъ—говоритъ корреспондентъ,—занимаемые ими посты или несочувствіе къ таланту и направленію покойнаго писателя помѣшали имъ присутствовать на его проводахъ чрезъ Псковъ. Это тѣмъ болѣе бросалось въ глаза, что представители мѣст-

ной администраціи, городского и земскаго самоуправленія всѣ сочли долгомъ присутствовать въ вокзалѣ и поклониться праху Тургенева. Отъ завѣдомаго отсутствія директоровъ приключилось нѣчто грустное: на проводахъ Тургенева городовыхъ было больше, чѣмъ представителей отъ учебныхъ заведеній". — Во всякомъ случаѣ, справедливость требуетъ признать, что ни одинъ городъ на пути не былъ поставленъ въ такое невыгодное для встрѣчи положеніе, какъ Псковъ, — именно, вслѣдствіе вышеуказанныхъ причинъ: поздній часъ ночи, холодъ, дождь, отдаленіе отъ станціи и т. д. — и тѣмъ не менѣе, въ вокзалѣ оказалось весьма большое число усердныхъ почитателей памяти Тургенева; по всему было видно, что мы находимся уже въ самыхъ нѣдрахъ Россіи, гдѣ языкъ Тургенева считаетъ за собою цѣлую тысячу лѣтъ.

Въ два часа ночи мы тронулись въ путь, а въ шестомъ утра подъѣзжали къ г. Лугѣ. О дождѣ не было больше и помину; на востокѣ узкою, но чрезвычайно яркою полосою горѣла заря, предвѣщая конецъ бѣдственной погоды. Ровно въ 6 ч. утра мы подошли къ станціи, наполненной уже народомъ; впереди стояло въ траурномъ облаченіи духовенство, и послѣ краткаго разговора одного изъ священниковъ съ кѣмъ-то изъ начальствующихъ, — содержаніе самаго разговора я разслышать не могъ, такъ какъ былъ занятъ приведеніемъ въ порядокъ внутренности траурнаго вагона, — была совершена первая литія въ пути. Когда послѣ литіи я возвращался на свое мѣсто, ко мнѣ обратился кто-то изъ служащихъ при желѣзной дорогѣ; онъ только что получилъ изъ Гатчины вопросъ: можетъ ли быть отслужена литія во время остановки поѣзда? Я отвѣчалъ, что это отъ меня вовсе не зависитъ, но онъ можетъ телеграфировать то, что онъ сейчасъ видѣлъ самъ; признанное возможнымъ въ Лугѣ, вѣроятно, будетъ возможно и въ Гатчинѣ. Не доѣзжая до Гатчины, на Сиверской станціи, я долженъ былъ еще разъ открыть траурный вагонъ, уступая просьбамъ собравшейся тутъ публики; въ числѣ прочихъ оказался и художникъ И. Н. Крамской, ѣхавшій въ городъ; я пригласилъ его съ собою въ траурный вагонъ, гдѣ мы и остались на полчаса между двухъ небольшихъ станцій, съ

цѣлью внутри вагона устроить на ходу поѣзда все такъ, чтобы въ Петербургѣ можно было, не теряя времени, вынуть гробъ и вѣнки изъ вагона.

Къ Гатчинѣ мы подъѣхали около 9 ч. утра: вся платформа была густо заставлена народомъ, а въ томъ мѣстѣ, гдѣ долженъ остановиться траурный вагонъ, были поставлены въ порядкѣ воспитанники гатчинскаго института и воспитанницы одного изъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній. Впереди всѣхъ стояло, какъ и въ Лугѣ, духовенство въ облаченіи и съ хоромъ пѣвчихъ. Духовенство выразило желаніе подняться внутрь вагона—и затѣмъ немедленно началась литія. Къ сожалѣнію, времени, вѣроятно, было такъ мало, что опять скоро раздался одинъ за другимъ второй и третій звонокъ, и священники, продолжая службу, должны были начать одинъ за другимъ спускаться на платформу. Я едва успѣлъ задвинуть дверь траурнаго вагона, и могъ благополучно попасть въ свой уже на ходу поѣзда, благодаря ловкости кондуктора, ожидавшаго меня на ступенькѣ съ открытою дверью вагона. На послѣдней, Александровской станціи, у Царскаго Села, мы оставались цѣлыхъ восемь минутъ. Тамъ я успѣлъ прикрѣпить къ внѣшней сторонѣ вагона вѣнокъ, по которому на петербургской станціи распорядители могли бы издалека отличить траурный вагонъ отъ багажныхъ вагоновъ, между которыми онъ помѣщался, и такимъ образомъ направиться прямо туда, куда слѣдовало.

Во вторникъ, 27 сентября, утромъ въ 10 ч. 20 м.—нормальное время прибытія заграничнаго пассажирскаго поѣзда—траурный вагонъ вошелъ на станцію. Вся лѣвая платформа, у которой остановился поѣздъ, была очищена отъ публики, а на правой помѣщалось духовенство и небольшая группа лицъ, допущенныхъ распорядителями похоронной комиссіи, такъ что, при громадномъ пространствѣ платформы, и правая сторона казалась почти пустою. Не прошло и минуты, какъ траурный вагонъ былъ отстегнутъ отъ прочихъ вагоновъ, и послѣ небольшого маневра перешелъ на другіе рельсы; машина дала задній ходъ, и мы подошли вплотную къ противоположной платформѣ. Началась торжественная литія—третья

въ это утро; затѣмъ были вынуты всѣ вѣнки, перенесенъ гробъ и установленъ на катафалкѣ; около 11 часовъ утра тронулась въ стройномъ порядкѣ печальная процессія, ярко освѣщенная неожиданно появившимся въ этотъ день солнцемъ— въ послѣдній путь, далекимъ началомъ котораго была, за недѣлю предъ тѣмъ, процессія въ Парижѣ. Звеномъ, соединяющимъ обѣ эти процессіи, парижскую и петербургскую, должна была служить торжественная встрѣча тѣла И. С. Тургенева въ Берлинѣ, отъ лица нѣмецкой литературы, и проводы въ русскихъ городахъ, лежавшихъ по пути отъ границы до Петербурга; по разсказамъ иностранныхъ провожатыхъ, подтвержденнымъ на дѣлѣ, я объяснилъ, почему не могла состояться встрѣча тѣла въ Берлинѣ, несмотря на то, что все было приготовлено для нея; будучи же самъ очевидцемъ встрѣчи тѣла на русской границѣ и проводовъ его до Петербурга, я счелъ долгомъ извлечь изъ моихъ воспоминаній все то, что можетъ дать хотя бы слабое понятіе о признательномъ вниманіи и благоговѣйномъ отношеніи русской провинціи къ памяти и литературнымъ заслугамъ почившаго. Тутъ нельзя даже было замѣтить различія между окраинами и коренною Россіей: всѣ сошлись въ глубокомъ уваженіи къ имени того, кто силою одного таланта поставилъ русскій языкъ и русскую мысль на новую для нихъ высоту.—Вотъ, великій руссификаторъ,—думалось мнѣ въ то время, когда я стоялъ у гроба въ Ковнѣ и Вильнѣ, а предо мною далеко въ обѣ стороны простиралась толпа людей, черты которыхъ въ большинствѣ говорили объ ихъ далеко не великорусскомъ происхожденіи и въ рѣчи слышался посторонній акцентъ.

М. С. (Стасюлевичъ).

* * *

*) Тѣло И. С. Тургенева прибыло въ Вержболово 23-го сентября, въ пятницу, рано утромъ, и оставалось въ церкви до утра воскресенья. Въ воскресенье надобно было собираться въ путь, чтобы выѣхать утромъ въ понедѣльникъ и прибыть

*) „Новости“.

во вторникъ въ Петербургъ, а потому проводы тѣла изъ церкви въ траурный вагонъ, ставшій по близости на рельсахъ, назначены были предъ обѣднею. Населеніе Вержболова, безъ сомнѣнія, долго не забудетъ этого дня. Дождливая и холодная погода предыдущей ночи внезапно смѣнилась теплымъ и яркимъ солнечнымъ утромъ. Въ 8 час. 15 мин.. по утру, отошелъ изъ Вержболова обычный пассажирскій поѣздъ въ Петербургъ; всѣ служащіе сдѣлались на время свободными, а потому въ $8^1/_2$ часовъ назначены были послѣдняя панихида и прощаніе съ дорогимъ гостемъ нашего небольшого пограничнаго посада. Затѣмъ явилась таможенная артель, одѣтая попраздничному, въ темно-зеленыхъ кафтанахъ съ свѣтло-зеленымъ поясомъ; одни понесли вѣнки, которыми былъ окруженъ катафалкъ; за ними выступалъ псаломщикъ съ большимъ старинымъ крестомъ; настоятель церкви, съ кадиломъ въ рукахъ, шелъ впереди гроба, несомаго тою же артелью, и, наконецъ, за гробомъ попарно тянулись мѣстная публика и нѣкоторые изъ служащихъ въ таможнѣ и на станціи. Похоронный звонъ колоколовъ и голоса пѣвчихъ дополняли эту трогательную картину послѣднихъ проводовъ тѣла Тургенева въ сельской ея обстановкѣ.

Послѣ панихиды настоятель церкви обратился къ присутствовавшимъ съ теплымъ, задушевнымъ словомъ, которое было, въ дѣйствительности, первымъ русскимъ привѣтомъ усопшему на его родной землѣ. Постараемся передать, какъ можно ближе, содержаніе этого слова:

„О славныхъ мужахъ древности,—такъ началъ почтенный настоятель,—сказалъ Премудрый: „Тѣлеса ихъ въ мирѣ погребены быша, а имена ихъ живутъ въ родѣ: премудрость ихъ повѣдятъ людіе и похвалу ихъ исповѣсть Церковь“. Предъ нами бренные останки великаго нашего соотечественника, прославившаго и себя и свою родину своими дивными твореніями; они стяжали ему вѣнецъ неувядаемой славы и поставили его, а вмѣстѣ съ нимъ и наше родное слово, на ряду съ величайшими современными писаніями и писателями не только у насъ въ Россіи, но и далеко за ея предѣлами. Кто изъ васъ, читая его дивныя творенія, не восхищался

свѣжестью, легкостью, изяществомъ и, такъ сказать, благоуханіемъ его слова, а вмѣстѣ и его свѣтлою, незлобивою душою, его добрымъ, кроткимъ сердцемъ и вообще его высокою, симпатичною личностью, которая вся отражалась въ его твореніяхъ? Кому изъ васъ неизвѣстно также, съ какимъ лестнымъ для нашей національности сочувствіемъ отнеслись къ покойному всѣ лучшіе и просвѣщеннѣйшіе люди Запада, поставившіе Тургенева на ряду съ величайшими современными поэтами! Итакъ, слава Тургенева есть слава нашей родины, и потому она не можетъ быть чужда никому изъ насъ. Такіе люди не умираютъ въ памяти потомства: „имена ихъ живутъ въ родѣ, премудрость ихъ повѣдятъ людіе и похвалу ихъ исповѣсть церковь“.

„Слава и честь всякому дѣлающему благое“—учитъ насъ св. вѣра; — слава и честь нашему незабвенному соотечественнику, за всю ту славу, за все то добро, какое онъ совершилъ для родной земли. А для васъ да будетъ величайшимъ утѣшеніемъ то, что что вы на рубежѣ отечества сподобились встрѣтить и въ своемъ скромномъ, сельскомъ храмѣ молиться надъ прахомъ дорогого вамъ лица. Да воздастъ ему Господь Вседержитель вѣнецъ правды за всѣ добрыя его дѣла и да не помянетъ ему грѣховъ и слабостей, столь свойственныхъ каждому человѣческому естеству.

„Вѣчная память да будетъ тебѣ отъ всѣхъ насъ, твоихъ скорбящихъ о тебѣ, соотчичей, доблестнѣйшій мужъ земли русской!“

Все воскресенье ушло на изготовленіе траурнаго вагона въ дорогу, а въ понедѣльникъ утромъ, какъ то было назначено, пассажирскій поѣздъ отошелъ, ожидаемый нетерпѣливо всѣми городами, лежащими на пути, какъ о томъ можно было судить по многочисленнымъ телеграммамъ, полученнымъ на станціи отовсюду, съ вопросомъ о времени проѣзда тѣла.

Изъ „Новостей“.

ПОРЯДОКЪ ШЕСТВІЯ НА ПОХОРОНАХЪ И. С. ТУРГЕНЕВА.

1. Крестьяне И. С. Тургенева.
2. С.-Петербургское ремесленное общество.
3. С.-Петербургское мѣщанское общество.
4. Общество распространенія просвѣщенія между евре въ Россіи.
5. С.-Петербургская еврейская община.
6. Общество покровительства животныхъ.
7. Мастерская учебныхъ пособій.
8. С.-Петербургскіе типографы.
9. Вспомогательная касса наборщиковъ.
10. Книгопродавцы и издатели.
11. Книгопродавческая складчина.
12. С.-Петербургская врачебная община.
13. Общество охраненія народнаго здравія.
14. Женщины-врачи.
15. Общество русскихъ врачей.
16. Комитетъ грамотности.
17. Комиссія народныхъ чтеній.
18. Комиссія по техническому образованію.
19. Бакинское отдѣленіе техническаго общества.
20. Отъ русскихъ женщинъ-почитательницъ поэта.
21. Отъ Императорскаго общества поощренія художес
22. Товарищество передвижныхъ художественныхъ вы вокъ.
23. Академисты академіи художествъ.
24. Императорская Академія художествъ.
25. Лѣсное общество.
26. Общество архитекторовъ.
27. Императорское вольное экономическое общество.
28. С.-Петербургское юридическое общество.
29. Земская учительская школа.
30. Отъ новгородской александровской земской учитель школы.
31. Учителя и учительницы начальныхъ городскихъ лищъ.

32. Учителя и ученики воздвиженскаго городского училища.
33. Преподаватели гатчинскаго института.
34. Бывшіе ученики с.-петербургскаго реформатскаго училища.
35. Реформатское церковное училище.
36. Училище церкви св. Анны.
37. Нѣмецкій историко-филологическій институтъ.
38. Драматическая школа с.-петербургскаго общества любителей сценическаго искусства.
39. Рисовальная школа барона Штиглица.
40. Рисовальная школа Императорскаго общества поощренія художествъ.
41. Петербургскій учительскій институтъ.
42. Отъ гимназіи Императорскаго человѣколюбиваго общества.
43. Новгородское реальное училище.
44. Студенты харьковскаго ветеринарнаго института.
45. 1-е с.-петербургское реальное училище.
46. 2-е с.-петербургское реальное училище.
47. Мужская гимназія Гуревича.
48. Рижская александровская гимназія.
49. Введенская гимназія.
50. Гимназія филологическаго института (Васильевскій островъ).
51. Счетоводные курсы.
52. Первая гимназія.
53. Вторая гимназія.
54. Третья гимназія.
55. Ларинская гимназія.
56. Пятая гимназія.
57. Шестая гимназія.
58. Седьмая гимназія.
59. Десятая гимназія.
60. Реальный лицей Стокальскаго.
61. Императорскій Александровскій лицей.
62. Императорское училище правовѣдѣнія.
63. Лѣсной институтъ.

64. Московская Петровская Академія.
65. Отъ технологическаго института.
66. Студенты горнаго института.
67. Студенты института гражданскихъ инженеровъ.
68. Студенты института путей сообщенія императора Александра I.
69. Императорская военно-медицинская академія.
70. Совѣтъ дерптскаго университета.
71. Кіевскій университетъ св. Владимира.
72. Совѣтъ кіевскаго университета св. Владимира.
73. Студенты Императорскаго филологическаго института.
74. Студенты казанскаго университета.
75. Студенты новороссійскаго университета.
76. Студенты с.-петербургскаго университета.
77. Кіевская женская гимназія Ващенко-Захарченко.
78. Одесская женская гимназія.
79. Орловская женская гимназія.
80. Женская гимназія княгини Оболенской.
81. Женская гимназія г-жи Гедда.
82. Женская гимназія г-жи Стоюниной.
83. Маріинская женская гимназія.
84. Васильевская женская гимназія.
85. Литейная женская гимназія.
86. Александровская женская гимназія.
87. Петровская женская гимназія.
88. Екатерининская женская гимназія.
89. Рождественская женская гимназія.
90. Коломенская женская гимназія.
91. Высшіе женскіе курсы.
92. Слушательницы кіевскихъ женскихъ курсовъ.
93. Бестужевскіе курсы.
94. Педагогическіе женскіе курсы.
95. Женскіе врачебные курсы.
96. Женскіе врачебные курсы николаевскаго госпиталя.
97. Отъ жителей Стрѣльны.
98. Николаевское городское управленіе.
99. Отъ поляковъ.

100. Новгородское земство.
101. Петербургское уѣздное земство.
102. Новгородская земская губернская управа.
103. Славянское общество.
104. Отъ курсовъ музыки Рангофа.
105. Самарское музыкально-драматическое общество.
106. С.-Петербургское общество камерной музыки.
107. Императорское русское музыкальное общество (московское отдѣленіе).
108. Московская консерваторія.
109. Императорское русское музыкальное общество (с.-петербургское отдѣленіе).
110. С.-петербургская консерваторія.
111. Харьковская оперная труппа.
112. Артисты Императорской нѣмецкой труппы.
113. Артисты Императорскаго французскаго театра.
114. Артисты русской оперы.
115. Артисты петербургскихъ Императорскихъ театровъ.
116. Артисты московскихъ Императорскихъ театровъ.
117. Эстонское литературное общество.
118. Пушкинскій кружокъ.
119. Общество любителей русской словесности.
120. Корреспонденты иностранныхъ газетъ.
121. „Petersbourger Zeitung“.
122. „Herold“.
123. „Journal de „St.-Petersbourg“.
124. Сибирскія газеты.
125. „Край“.
126. „Арцагангъ“.
127. „Мшакъ“.
128. Кавказская печать: „Бакинскія Извѣстія“, „Каспій“, „Терекъ“, Кавказъ“.
129. Одесскія газеты.
130. „Московскій Листокъ“.
131. „Газета Гатцука“.
132. „Другъ женщинъ“.
133. „Юридическій Вѣстникъ“.

134. „Русская Мысль“.
135. „Народная Школа“.
136. „Игрушечка“.
137. „Здоровье“.
138. „Осколки“.
139. „Стрекоза“.
140. „Петербургская Газета“.
141. „Петербургскій Листокъ“.
142. „Искусство“.
143. „Портретная галлерея“.
144. „Художественный Журналъ“.
145. „Всемірная Иллюстрація“.
146. „Иллюстрированный Міръ“.
147. „Нива“.
148. „Россія“.
149. „Русскій Курьеръ“.
150. „Русскія Вѣдомости“.
151. „Восточное Обозрѣніе“.
152. „Минута“.
153. „Эхо“.
154. „Сынъ Отечества“.
155. „С.-Петербургскія Вѣдомости“.
156. „Новости“.
157. „Наблюдатель“.
158. „Дѣло“.
159. „Недѣля“.
160. „Отечественныя Записки“.
161. „Историческій Вѣстникъ“.
162. „Новое Время“.
163. Отъ города Баку.
164. Отъ восточныхъ сибиряковъ.
165. Отъ болгаръ.
166. Отъ Ташкента.
167. Отъ одесской городской думы.
168. Новгородская городская управа.
169. Отъ самарскаго городского общества.
170. Отъ г. Тифлиса.

171. Общество русскихъ драматическихъ писателей.
172. Общество пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ.
173. Императорская академія наукъ.
174. Предводитель дворянства С.-Петербургской губерніи.
175. Московская городская дума.
176. С.-Петербургское городское управленіе *).

Участвовавшій въ процессіи похоронъ корреспондентъ „Русскаго Курьера“ (К. С.) говоритъ: „Сегодня (27 сентября 1883 г.) состоялись похороны И. С. Тургенева. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что проводить знаменитаго русскаго писателя явилось до 400.000 человѣкъ, т. е. несравненно болѣе, чѣмъ на проводы праха Ѳ. М. Достоевскаго. Согласно расписанію, я къ 9-ти часамъ явился на варшавскій вокзалъ, получилъ билетъ (№ 129-й) и затѣмъ сталъ дожидаться прибытія тѣла И. С. Тургенева. Ровно въ 25 минутъ одиннадцатаго раздался свистокъ и поѣздъ подошелъ къ станціи, на которую, неизвѣстно въ силу какихъ соображеній, были допущены только распорядители и власти (къ слову сказать, на проводы праха нашего геніальнаго писателя явился и одинъ изъ иностранныхъ пословъ—посланникъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ). Въ одиннадцать часовъ кончилась литія, въ спеніально убранной по этому случаю залѣ вокзала, и процессія выстроилась въ должномъ порядкѣ. Въ это же время, незадолго до окончанія литіи, изъ вокзала были вынесены вѣнки, прибывшіе изъ-за границы или положенные по пути; часть ихъ присоединилась укрытымъ образомъ къ намъ, часть же была расположена на самомъ гробѣ; въ числѣ первыхъ не можемъ не упомянуть о вѣнкѣ, возложенномъ на гробъ Тургенева тотчасъ по его прибытіи на русскую границу отъ перваго встрѣтившагося по пути русскаго училища, именно Кибарскаго (по имени станціи) изъ живыхъ цвѣтовъ, и затѣмъ о вѣнкѣ отъ „Русскихъ Вѣдомостей“, возложенномъ въ Парижѣ; изъ вторыхъ хороши были вѣнки отъ русскихъ,

*) Въ процессіи замѣтно было нѣсколько депутацій, не вошедшихъ въ этотъ списокъ.

проживающихъ въ Парижѣ, отъ русскихъ . . . . . (слова вытерты) проживающихъ въ Парижѣ и отъ Владиславлева. Затѣмъ процессія тронулась впередъ и растянулась на огромное пространство крайне красивой лентой. Путь, который намъ пришлось пройти, былъ страшно длиненъ, и тѣмъ не менѣе въ какую улицу мы ни вступали, мы встрѣчали массы народа по тротуарамъ и на мостовой съ обѣихъ сторонъ, массы народа на балконахъ, массы народа во всѣхъ окнахъ; часть этихъ зрителей, по проходѣ процессіи, расходилась по домамъ, часть присоединялась къ процессіи, и отсюда получилось то неимовѣрное количество провожатыхъ. Не можемъ не отмѣтить весьма похвальнаго примѣра: директоръ 2-го реальнаго училища нашелъ возможнымъ освободить учениковъ отъ занятій на этотъ день и выстроить ихъ шеренгой по пути слѣдованія процессіи на Загородномъ проспектѣ, его примѣру послѣдовалъ петербургскій университетъ и нѣкоторыя другія высшія учебныя заведенія — лекцій въ нихъ не было. Процессія шла превосходно, торжественно, красиво вплоть до Разстанной улицы, гдѣ въ шествіе и его порядокъ вздумалось вмѣшаться г. Грессеру и произвести тѣмъ самымъ безпорядки. Дѣло въ томъ, что въ виду узкости улицы и тѣсноты помѣщенія на кладбищѣ, здѣсь предполагалось каждую депутацію ограничить лишь 6-ю лицами, но тутъ къ процессіи и къ депутаціямъ примѣшалось много постороннихъ лицъ, и вслѣдствіе этого простые любопытные проходили въ видѣ депутатовъ, а истинные депутаты отстранялись; понятно, что отсюда возникли пререканія, кончившіяся, конечно, не въ пользу распорядителей... Но вотъ, наконецъ, мы и на Волковомъ кладбищѣ; снова мы выстроились шпалерами по обоимъ бокамъ кладбища и мимо насъ прослѣдовалъ катафалкъ въ шесть лошадей съ гробомъ И. С. Тургенева; съ одной стороны (лѣвой) шли гг. Краевскій и Стасюлевичъ, съ другой—гг. Бекетовъ, Таганцевъ и Шамеро, придерживая кисти; на верху балдахина находился прелестный лавровый вѣнокъ присяжныхъ повѣренныхъ петербургскихъ (опять замѣтимъ въ скобкахъ, что неизвѣстно почему и московскимъ и петербургскимъ присяжнымъ повѣреннымъ было запрещено нести вѣнокъ);

затѣмъ отъ казанской духовной академіи, студентовъ кіевскаго университета и вышеупомянутые заграничные вѣнки. Началась заупокойная служба въ церкви: она продолжалась недолго, потому что назначенная по расписанію рѣчь священника Соколова не состоялась; но вотъ гробъ вынесли изъ церкви почитатели таланта И. С. и поставили его на помостѣ надъ могилой, находящейся очень близко отъ церкви, даже рядомъ съ нею. Когда гробъ И. С. уже былъ опущенъ въ могилу, начались рѣчи. Лучшею рѣчью была рѣчь С. А. Муромцева, который въ крайне прочувствованныхъ выраженіяхъ очертилъ личность нашего почившаго генія. Приводимъ ее цѣликомъ:

„Въ ряду представителей русской мысли московскій университетъ отдастъ послѣднюю дань праху великаго писателя родины. Съ гордостью вспоминаетъ онъ, что считалъ Ивана Сергѣевича въ числѣ своихъ учениковъ, что первыя стремленія Тургенева, остановленныя не по его волѣ, были направлены къ научной дѣятельности въ стѣнахъ родного университета. Еще съ большею гордостью вспоминаемъ мы, что въ этихъ самыхъ стѣнахъ великій писатель нашелъ нравственную поддержку тогда, когда онъ наиболѣе нуждался въ ней, и съ тѣхъ поръ московскій университетъ признавалъ для себя за особую честь считать Тургенева въ ряду своихъ почетныхъ членовъ. Великій представитель высочайшаго творчества въ области мысли — творчества художественнаго, Тургеневъ былъ дорогъ русской наукѣ. Но намъ, москвичамъ, онъ былъ дорогъ еще и потому, что въ творческой дѣятельности его сказывалась та самая живительная струя, которая, въ свое время, дала новую силу наукѣ. Идеи гуманности и справедливости, которыя одушевляли людей каѳедры, Тургеневъ выражалъ съ несравненною силою и съ несравненнымъ вліяніемъ въ своихъ художественно-поэтическихъ произведеніяхъ. И эту сторону своей дѣятельности сознавалъ самъ Иванъ Сергѣевичъ, когда, отвѣчая на московскій привѣтъ, онъ, какъ всегда, скромный въ оцѣнкѣ своихъ заслугъ, приписывалъ сочувствіе къ нему, главнымъ образомъ, тому обстоятельству, что до послѣднихъ лѣтъ своей жизни онъ сумѣлъ остаться вѣренъ убѣ-

жденіямъ своей молодости. Въ этомъ—источникъ благотворнаго вліянія Тургенева до послѣднихъ дней его, въ этомъ—залогъ того, что его вліянію послѣ смерти суждено расти и расти. Спасибо, глубокое, сердечное спасибо шлетъ великому ученику своему его alma mater,—спасибо и вѣчная память!"

Затѣмъ слѣдовало стихотвореніе А. Н. Плещеева. Въ заключеніе не можемъ не упомянуть, что въ теченіе хода процессіи мы замѣтили много новыхъ вѣнковъ, такъ, напримѣръ, былъ очень недурненькій вѣнокъ отъ ново-торжскаго земства, затѣмъ отъ дворянъ города Выборга и т. д. Только въ 5 часовъ разошлись мы всѣ, страшно усталые, съ кладбища.

*) Рѣчь, произнесенная ректоромъ Петербургскаго университета г. Бекетовымъ, на могилѣ Тургенева.

„Я приблизился къ этой дорогой могилѣ, говоритъ Бекетовъ, для того, чтобы сказать послѣднее „прости" отъ лица своихъ товарищей и всего нашего университетскаго юношества. Но, прощаясь съ успокоившимся поэтомъ, не могу говорить о немъ, какъ о почившемъ навѣки, ибо никогда еще не былъ онъ такъ могучъ, какъ теперь. Силы, какія онъ въ себѣ хранилъ, передавая ихъ по временамъ въ своихъ произведеніяхъ, не только не погибли, но развились еще съ большею энергіею, потрясая сильнѣе, чѣмъ когда-либо сердца всѣхъ способныхъ чувствовать и мыслить. У гроба Тургенева, въ умѣ, постоянно занятомъ изученіемъ природы, невольно и съ особою яркостью возникаютъ великія представленія о вѣчности силъ и о преемственности жизни.

„Въ небесныхъ вышинахъ есть столь отдаленныя отъ насъ свѣтила, что свѣтъ, ими изливаемый несмотря на едва вообразимую быстроту своего движенія, доходитъ до насъ только черезъ сотни тысячъ лѣтъ. Свѣтъ этихъ міровъ поражаетъ нашъ взоръ въ то время, когда они сами давно исчезли въ недосягаемыхъ наблюденію пространствахъ, а можетъ и вовсе перестали существовать. Тѣмъ не менѣе, мы не хотимъ считать тѣ свѣтила погибшими, ибо волны, эѳира, поражающія наше зрѣніе, всколеблены ими. Матерія распалась, но силы,

*) „Новости".

ее оживляющія, продолжаютъ дѣйствовать, потрясая эѳиръ въ безпредѣльныхъ и безвременныхъ пространствахъ.

„Воспринятый свѣтъ, въ свою очередь, не пропадаетъ, онъ только превращается въ новыя силы, переходящія опять въ другія,—такъ безъ конца.

„Такое физическое представленіе о безсмертіи. Не то ли являютъ намъ силы духовныя, которыя колеблютъ милліоны сердецъ долго и долго послѣ распаденія сдерживавшей ихъ матеріальной оболочки?

„Если бы даже имя нашего поэта перестало когда-либо повторяться, то поэтическіе аккорды, внесенные имъ въ психическую жизнь человѣчества, никогда не минутъ; развиваясь, входя въ составъ болѣе сложныхъ симфоній, пропасть они не могутъ никогда. Таковы послѣдствія великаго закона силъ, и въ немъ, наряду съ утѣшеніями, предлагаемыми намъ религіей, мыслящій человѣкъ можетъ искать утѣшенія, провожая въ послѣднее земное жилище останки великаго таланта.

„Отвлекаясь еще и еще отъ заботъ суетнаго свѣта, мы усматриваемъ приложеніе закона сохраненія силъ и въ величавомъ явленіи преемственной жизни, дающемъ намъ опять возможность схватываться за край ризы удаляющагося отъ насъ поэта.

„Свѣтовая солнечная энергія, передаваясь матеріи, даетъ толчокъ органической жизни, на полѣ которой возникло и само человѣчество. Всѣ живыя творенія, Божіей волею, давшей первый импульсъ всемірному движенію, связаны между собою непрерывною цѣпью. Отъ зеленѣющаго растительнаго покрова, черезъ длинный рядъ движущихся и чувствующихъ организмовъ, солнечный огонь, все болѣе и болѣе концентрируясь и усложняясь, передается человѣчеству. Оно составляетъ послѣднее звено жизни, собравшее въ себѣ сумму энергіи всего прошедшаго бытія.

„Та же преемственность, то же постепенное пополненіе и совершенствованіе усматриваются и въ развитіи духа человѣчества. Священное пламя науки и искусства все ярче и ярче пылаетъ на землѣ, а собирателями и настоящими хра-

нителями драгоцѣннаго наслѣдія являются избранники Божества, одаренные геніальнымъ умомъ и талантомъ. Однимъ изъ такихъ избранниковъ былъ и тотъ, котораго мы теперь оплакиваемъ. Ввѣренная ему частица божественнаго огня теперь освободилась отъ своихъ оковъ и вольными струями будетъ разливаться между людьми. Не мнѣ, естествоиспытателю, браться за характеристику дѣятельности Тургенева. Въ надгробныхъ рѣчахъ и заявленіяхъ печати всѣхъ просвѣщенныхъ странъ, нашъ поэтъ оцѣненъ по достоинству.

„Прибавлю только одно. Если бы всѣ такъ чувствовали и мыслили, какъ чувствовалъ И. С. Тургеневъ, то мирное теченіе нашихъ судебъ по пути къ прогрессу не было бы прерываемо ни на одинъ мигъ, ибо его произведенія отличаются спокойствіемъ, рѣдкою объективностью и здравомысліемъ въ оцѣнкѣ всякаго рода соціальныхъ явленій. Покойся въ мирѣ, и пусть твоя кончина побудитъ насъ обратиться съ новою силой къ наукѣ, передъ которой ты такъ благоговѣлъ, къ искусству, которому ты служилъ съ такимъ самоотверженіемъ. Въ этомъ находимъ мы настоящее утѣшеніе въ скорби, причиненной твоею утратою“.

Изъ воспоминаній о послѣднихъ дняхъ И. С. Тургенева *).

Нынѣшнимъ лѣтомъ, въ теченіе іюня и августа, я былъ три раза въ Буживалѣ. Выѣхавъ въ концѣ іюня изъ Петербурга въ Карлсбадъ, я, опасаясь отлагать и на одинъ день свиданіе съ Тургеневымъ, направился изъ Берлина сначала въ Парижъ, и уже оттуда, проведя въ первыхъ числахъ іюля два утра въ Буживалѣ у постели больного, вернулся въ Богемію. Окончивъ курсъ лѣченія, я поѣхалъ вторично въ первыхъ числахъ августа въ Парижъ, и проѣздомъ на морской берегъ въ Динаръ, опять навѣдалъ больного въ Буживалѣ. Ровно три недѣли спустя, 22-го августа, я спѣшилъ, вслѣдствіе полученной мною телеграммы, изъ Динара въ Парижъ—

*) „Вѣстникъ Европы“ 1883 г., № 10. Статья М. С. (Стасюлевича).

въ то самое время, когда, какъ оказалось, Иванъ Сергѣевичъ уже отходилъ; рано утромъ 23-го августа я стоялъ у постели уже усопшаго, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ, такъ недавно, Иванъ Сергѣевичъ, почувствовавъ небольшое облегченіе послѣ тяжелаго кризиса, говорилъ мнѣ, прощаясь: „теперь мѣсяца три могу еще прожить“;—такъ онъ чувствовалъ себя сравнительно хорошо въ тотъ день,—но на этотъ разъ его силъ въ борьбѣ съ отчаянною болѣзнью достало только ровно на три недѣли: въ понедѣльникъ, 22-го августа (3 сентября), въ два часа пополудни, Тургеневъ, находясь уже болѣе 24-хъ часовъ въ совершенно безсознательномъ состояніи, скончался спокойно, безъ агоніи *).

Въ первый мой пріѣздъ въ Парижъ, я былъ у Тургенева два дня сряду. 1-го (13) іюля, я нашелъ его въ постели; это было довольно рано утромъ, часу въ одиннадцатомъ. Мы не видѣлись съ нимъ съ сентября прошедшаго года: разница за эти 10 мѣсяцевъ въ его положеніи была громадная, но въ то же время я былъ очень доволенъ найти его и въ такомъ состояніи, въ какомъ засталъ послѣ всего того, что онъ перенесъ зимою и весною нынѣшняго года.

Въ этотъ день, какъ говорили мнѣ и его домашніе, онъ былъ особенно хорошъ и въ отличномъ настроеніи духа. Болѣе часа я просидѣлъ у его постели, и онъ почти не давалъ мнѣ говорить,—такъ ему хотѣлось описать мнѣ во всѣхъ подробностяхъ все, что онъ испыталъ во время припадковъ болѣзни; разсказывалъ свои галлюцинаціи, и все это онъ отлично помнилъ;—многіе изъ его живописныхъ фантастическихъ разсказовъ могли бы идти въ параллель съ его знаменитой „старухой“ изъ „Стихотвореній въ прозѣ“. Я ему замѣтилъ это, и мы невольно перешли на разговоръ о нашемъ послѣднемъ свиданіи въ прошедшемъ году, тѣсно связанномъ съ исторіею его „Стихотвореній“. Это было 5-го сентября, почти наканунѣ моего отъѣзда въ Петербургъ, когда окон-

*) Посланная мною телеграмма изъ Буживаля въ Петербургъ, утромъ 23-го августа, явилась въ печати искаженною, а именно: Т., сказано въ ней, умеръ въ полномъ сознаніи; на основаніи того и въ нашемъ извѣщеніи о смерти Т. въ сентябрьской книгѣ эта ошибка была повторена.

чательно рѣшилась судьба „Стихотвореній“. Исторія же ихъ, совершенно случайная, началась нѣсколько раньше,—когда я заѣхалъ къ Т., въ началѣ августа, при первомъ моемъ проѣздѣ чрезъ Парижъ. Какъ теперь помню, входя къ нему въ кабинетъ (ровно за годъ передъ его смертью), я по обычаю, постучалъ; незадолго передъ тѣмъ онъ жестоко страдалъ, и я думалъ встрѣтить его разслабленнымъ,-на костыляхъ, а потому я былъ пріятно удивленъ, услышавъ громко произнесенное имъ: entrez! Онъ сидѣлъ за своимъ кабинетнымъ столомъ, въ обычной его вязаной курткѣ и что-то писалъ; увидѣвъ меня, онъ очень быстро всталъ и пошелъ ко мнѣ навстрѣчу.— Э! да вы притворялись больнымъ,—замѣтилъ я ему, шутя— да развѣ такіе бываютъ больные! — А вотъ вы увидите, — отвѣтилъ онъ мнѣ:—такимъ молодцомъ я могу быть не болѣе пяти минутъ; а затѣмъ раздается боль въ лопаткахъ, и я долженъ буду поспѣшить сѣсть; мнѣ теперь придумали машинку, которая нажимаетъ мнѣ съ одной стороны грудь, а съ другой — лопатку, и я могу даже спускаться внизъ по лѣстницѣ—въ домъ.—Вообще, я думалъ тогда, что Т., какъ это бываетъ, находится болѣе подъ сильнымъ впечатлѣніемъ пройденной имъ болѣзни и подъ страхомъ ея возвращенія; но въ настоящую минуту его здоровье весьма удовлетворительно. Среди разговора, я спросилъ Т., не читалъ ли онъ въ англійскихъ газетахъ пріятное извѣстіе, будто онъ дописываетъ большой романъ. Онъ энергически отрицалъ этотъ слухъ:—А дописываю я, какъ вы знаете, „Послѣ Смерти“*), и когда вы поѣдете назадъ, рукопись будетъ готова.—Впрочемъ, прибавилъ онъ, подумавъ,—хотите, я докажу вамъ на дѣлѣ, что я не только не пишу романа, но и никогда не буду писать?— Затѣмъ онъ наклонился и досталъ изъ бокового ящика письменнаго стола портфель, откуда вынулъ большую пачку написанныхъ листковъ, различнаго формата и цвѣта. На выраженіе моего удивленія: что это такое можетъ быть?—

*) Тургеневъ, въ это же наше свиданіе, самъ отказался отъ этого заглавія, усиливавшаго, противъ его намѣренія, мистическій характеръ пьесы, чего авторъ вовсе не имѣлъ въ виду: онъ обѣщалъ подумать, и при возвращеніи корректуры назвалъ разсказъ просто: „Клара Милічъ“.

онъ объяснилъ, что это нѣчто въ родѣ того, что художники называютъ эскизами, этюдами съ натуры, которыми они потомъ пользуются, когда пишутъ большую картину. Точно также и Тургеневъ, при всякомъ выдающемся случаѣ, подъ живымъ впечатлѣніемъ факта или блеснувшей мысли, писалъ на первомъ попавшемся клочкѣ бумаги и складывалъ все въ портфель.—Это мои матеріалы,—заключилъ онъ;—они пошли бы въ дѣло, если бы я взялся за большую работу; такъ вотъ, чтобы доказать вамъ, что я ничего не напишу, я запечатаю все это и отдамъ вамъ на храненіе до моей смерти.—Я признался ему, что я все-таки не хорошо понимаю, что это такое за „матеріалы“, и просилъ его, не прочтетъ ли онъ мнѣ хоть что-нибудь изъ этихъ листковъ. — Онъ и прочелъ сначала „Деревню“, а потомъ и „Машу“. Мастерское его чтеніе послѣдней подѣйствовало на меня такъ, что мнѣ не нужно было ничего къ этому присоединять; онъ прочелъ еще двѣ-три пьесы.—Нѣтъ, П. С., — сказалъ я ему: — я не согласенъ на ваше предложеніе; если публика должна ждать вашей смерти для того, чтобы познакомиться съ этою прелестью, то, вѣдь, придется пожелать, чтобы вы скорѣй умерли; на это я не согласенъ; а мы просто напечатаемъ все это теперь же.—Тутъ онъ мнѣ объяснилъ, что между этими фрагментами есть такіе, которые никогда или очень долго еще не должны увидать свѣта: они слишкомъ личнаго и интимнаго характера. Пренія наши кончились тѣмъ, что онъ согласился переписать только тѣ, которые онъ считаетъ возможными для печати; и, дѣйствительно, недѣли черезъ двѣ прислалъ мнѣ листковъ 50, тщательно и собственноручно переписанныхъ имъ, какъ это всегда бывало съ его рукописями. При обратномъ моемъ проѣздѣ, когда я былъ у него 5 сентября въ послѣдній разъ, Т. выразилъ сомнѣніе относительно только одной пьесы, особенно замѣчательной, и потомъ кончилъ тѣмъ, что въ корректурѣ вынулъ ее и замѣнилъ другою.

Вспоминая теперь объ этомъ послѣднемъ нашемъ свиданіи, Т. печально замѣтилъ, что какъ ни плохо было годъ тому назадъ, все же онъ тогда стоялъ на ногахъ.—Но за то вы не страдаете такъ, какъ страдали зимой и весной,—утѣшалъ

я его,—значитъ болѣзнь отступаетъ.—Мы условились повидаться на слѣдующій же день, 2 іюля. Оказалось, что вчерашнее оживленіе Т. было одною счастливою случайностью: я нашелъ его не въ спальнѣ и не въ постели; его перенесли, по его желанію, въ кабинетъ въ креслѣ; онъ полулежалъ у самаго камина; день былъ холодный и сырой; каминъ топился. Я не узналъ И. С. такъ измѣнилось его лицо за эти 24 часа; ночью возобновились страданія, и онъ, измученный физическою болью, сидѣлъ съ опущенной головой на груди. Не было никакой возможности говорить съ нимъ; я оставался нѣкоторое время нѣмымъ свидѣтелемъ тѣхъ самыхъ нѣжныхъ заботъ, какими былъ окруженъ нашъ больной; мученія и боли дѣлали его, естественно, нетерпѣливымъ и въ высшей степени раздражительнымъ, и надобно было имѣть неистощимый запасъ терпѣнія и спокойствія, а вмѣстѣ и привязанности къ страдальцу, чтобы охотно и безъ утомленія слѣдить за каждымъ его движеніемъ, уступать его желаніямъ и вмѣстѣ настаивать на исполненіи предписаній доктора, рѣдко пріятныхъ больному. Его унесли скоро обратно въ спальню и положили въ постель; припадокъ прошелъ, больной нѣсколько успокоился, и меня впустили проститься съ нимъ. Онъ, видимо, больше не страдалъ, но за то пришелъ въ полнѣйшее разслабленіе. Едва слышнымъ голосомъ сказалъ онъ, завидѣвъ меня: — Ну вотъ вы сами видѣли — каково мнѣ! — И тутъ же съ добродушною улыбкой прибавилъ: —однако я помучилъ ихъ порядочно! —Онъ, очевидно, вспомнилъ капризную сцену, которой я былъ только свидѣтелемъ въ кабинетѣ, когда онъ ни за что не хотѣлъ принять лѣкарство въ молокѣ. Я поспѣшилъ оставить его и взялъ его за руку.—Простимся хорошенько! — сказалъ онъ мнѣ; мы поцѣловались, и, безъ сомнѣнія, онъ въ эту минуту думалъ одно со мною, а именно, что мы прощаемся навсегда.

Ровно черезъ мѣсяцъ, однако, мы увидѣлись снова, и даже при несравненно лучшихъ условіяхъ, сравнительно съ тѣмъ, чего можно было ожидать по тому, что я видѣлъ самъ мѣсяцъ тому назадъ, и что мнѣ писали послѣ о немъ. Я пріѣхалъ въ Парижъ вечеромъ 31 іюля, и нашелъ въ своемъ

отелѣ, между прочимъ, записку А. П. Боголюбова, отъ утра того же дня; онъ извѣщалъ меня о новомъ, страшномъ припадкѣ съ Тургеневымъ, и сомнѣвался, чтобы я могъ застать его живымъ на слѣдующій день. Но я засталъ его не только живымъ, но и благополучно вышедшимъ изъ тяжелаго кризиса, постигшаго его наканунѣ—по крайней мѣрѣ, такъ мнѣ казалось. Онъ, правда, былъ крайне слабъ, но тѣмъ не менѣе потомъ оживился въ разговорѣ до того, что голосъ у него сдѣлался довольно звучнымъ, и надобно было умѣрять его порывы; онъ даже дѣлалъ попытку слегка приподниматься на локтяхъ. На этотъ разъ, оказалось, его интересовалъ, главнымъ образомъ, одинъ вопросъ: о продажѣ права литературной собственности, и онъ почти ни о чемъ другомъ не говорилъ: разговоръ былъ потому чисто дѣловой. Покойный былъ мнѣ хорошо извѣстенъ, какъ своимъ полнѣйшимъ равнодушіемъ къ своимъ же собственнымъ дѣламъ, такъ и крайнею наивностью, по поводу которой ходятъ безчисленные анекдоты; мнѣ самому извѣстенъ курьезный случай, гдѣ онъ, ясно видя обманъ, самъ оказывалъ ему съ своей стороны посильное содѣйствіе, изъ опасенія, что противная сторона можетъ причинить ему какую-нибудь непріятность или введетъ его въ хлопоты. Но на этотъ разъ онъ меня удивилъ серьезностью своихъ сужденій и даже признаками твердой воли; быть можетъ, предъ нимъ носилось воспоминаніе о печальной судьбѣ проданнаго Пушкина. Среди всѣхъ этихъ разговоровъ, одинъ разъ только онъ прервалъ самъ себя громкими выраженіями острой боли, но тотчасъ же оправился, замѣтивъ мое безпокойство:—Это вздоръ, вовсе не болѣзнь; это отъ пролежня;—вотъ и ничего!—заключилъ онъ, придя опять въ нормальное положеніе.

Къ концу нашей бесѣды, я ему замѣтилъ, что нынѣшній разъ я съ нимъ вовсе не прощаюсь, такъ какъ буду цѣлый мѣсяцъ почти его сосѣдомъ; стоитъ ему къ вечеру послать мнѣ телеграмму—и въ 7 часовъ утра на слѣдующій день я подлѣ него; черезъ мѣсяцъ я во всякомъ случаѣ буду опять въ Буживалѣ.—О, теперь,—отвѣчалъ онъ мнѣ,—я самъ увѣренъ, что проживу еще мѣсяца три; только все же я вамъ

теперь скажу то, что говорилъ многимъ,—и вотъ, на дняхъ еще, передалъ и князю Орлову (русскому посланнику въ Парижѣ): я желаю, чтобъ меня похоронили на Волковомъ кладбищѣ, подлѣ моего друга Бѣлинскаго; конечно, мнѣ прежде всего хотѣлось бы лечь у ногъ моего „учителя“ Пушкина; но я не заслуживаю такой чести.—Я старался отклонить его отъ подобной печальной темы, и отвѣчалъ ему сначала шуткой, что я, какъ гласный думы, долгомъ считаю его предупредить, что это кладбище давно осуждено на закрытіе, и ему придется путешествовать и въ загробной жизни.—Ну, когда-то еще это будетъ, — отвѣчалъ онъ также шутя; — до того времени успѣю належаться. — Тогда я ему напомнилъ, что могила Бѣлинскаго давно обставлена со всѣхъ сторонъ. — Ну, да я не буквально, — возразилъ онъ мнѣ, — все равно будемъ вмѣстѣ, на одномъ кладбищѣ.

Вскорѣ затѣмъ мы простились, но вовсе не такъ, какъ мѣсяцъ тому назадъ, а какъ будто мы увидимся опять завтра: пожавъ ему руку, я сказалъ: „Помните же, И. С., что у васъ на постели лежитъ одинъ конецъ нитки, а другой ея конецъ привязанъ мнѣ къ ногѣ; стоитъ вамъ вечеромъ дернуть нитку отъ Динара до Парижа 10—12 часовъ—и утромъ въ 7 часовъ я у васъ.—Выйдя однако изъ спальни, я просилъ его домашнихъ, въ случаѣ чего-нибудь неожиданнаго, дать мнѣ знать своевременно, что они и исполнили гораздо скорѣе, нежели я ожидалъ.

Почти ровно за недѣлю до смерти, я писалъ Тургеневу изъ Динара, что имѣю извѣстіе о томъ, что четвертое его стереотипное изданіе „Записокъ Охотника“ все распродано, а новое уже отпечатано; что деньги по обычаю, внесены въ его Петербургскую кассу, и онъ можетъ ихъ тотчасъ же получить въ Парижѣ. При этомъ, я, въ видѣ шутки, напомнилъ ему тотъ забавный анекдотъ, которому было обязано своимъ существованіемъ это стереотипное изданіе, и въ которомъ онъ самъ былъ героемъ. Отвѣтъ на это мое послѣднее письмо я получилъ отъ его домашнихъ 20 августа, въ субботу (за два дня до смерти); они меня извѣщали, что мое письмо не мало позабавило больного, но здоровье его опять плохо; о дѣлахъ

съ нимъ говорить нѣтъ никакой возможности; все сдѣланное мною онъ вполнѣ одобряетъ; на вопросъ же ихъ, не желаетъ ли меня видѣть—онъ отвѣчалъ, что ему вовсе не такъ худо, и что онъ не хочетъ даромъ тревожить меня преждевременной поѣздкой въ Парижъ. Это было въ субботу. Поздно вечеромъ, часу въ 12-мъ, въ воскресенье, 21 августа, мнѣ была послана депеша съ извѣщеніемъ, что „доктора находятъ положеніе больного весьма серьезнымъ". Такъ какъ въ маленькомъ городкѣ Динарѣ уже въ 9 час. вечера запирается телеграфное бюро до 9 час. утра, то эта депеша пришла только утромъ въ понедѣльникъ и не застала меня дома; я прочелъ ее только въ 12-мъ часу дня, когда утренній поѣздъ въ Парижъ уже ушелъ. Ничего не оставалось какъ ѣхать съ вечернимъ поѣздомъ, въ 5 часовъ, а въ ожиданіи того, я послалъ депешу въ Буживаль съ вопросомъ. Моя депеша пришла въ самый часъ смерти Тургенева, и потому я уѣхалъ изъ Динара, не зная, что найду завтра утромъ. Рано, въ 5 часовъ, я былъ въ Парижѣ, прямо переѣхалъ со станціи Montparnasse на St.-Lazare, и съ первымъ утреннимъ поѣздомъ отправился въ Буживаль. При перемѣнѣ вагона на станціи Rueil, насъ оказалось всего два пассажира; другой вовсе незнакомый мнѣ господинъ обратилъ на себя мое вниманіе глубокимъ трауромъ на шляпѣ. Онъ первый обратился ко мнѣ съ вопросомъ: „кажется, вы — русскій; въ такомъ случаѣ я имѣлъ бы къ вамъ просьбу". Я отвѣчалъ ему вопросомъ съ своей стороны, и онъ объяснилъ мнѣ, что онъ—русскій консулъ.—Вы ѣдете такъ рано, вѣроятно, по обязанностямъ службы?—Да,—отвѣчалъ онъ мнѣ,—мнѣ нужно имѣть свидѣтелей на актѣ, по случаю смерти Т., и я очень кстати встрѣчаю соотечественника.—Я сказалъ ему мою фамилію, и онъ самъ понялъ, что я не откажусь сопровождать его до конца. Консулу была послана депеша тотчасъ же послѣ смерти Т., но его не было въ Парижѣ до вечера, и вотъ почему онъ счелъ своею обязанностью выѣхать въ Буживаль съ самымъ раннимъ поѣздомъ, въ седьмомъ часу утра.

Въ половинѣ восьмого мы были въ Châlet Тургенева, гдѣ встрѣтили все семейство Віардо и князя А. А. Мещерскаго,

пріѣхавшаго въ Буживаль изъ Версаля еще наканунѣ, въ воскресенье утромъ, и остававшагося тамъ до самой смерти Т. Тотчасъ послѣ смерти были посланы депеши ко всѣмъ близкимъ людямъ покойнаго: къ П. В. Анненкову, въ Баденъ, но онъ оказался уѣхавшимъ въ Кіевъ; къ А. П. Боголюбову, въ Шато-д'Э, но онъ переѣхалъ, какъ послѣ узнали, въ Трепоръ; депеша къ г. Хорламову была пущена на удачу въ Швейцарію, и хотя нашла его, но съ потерею времени; депеша ко мнѣ также опоздала, но я ее и не ждалъ, а потому изъ дальнихъ я пріѣхалъ одинъ; кромѣ меня, явился нѣсколько позже старый пріятель покойнаго, П. П. Аранетовъ, изъ Парижа. Къ вечеру, часа въ четыре, прибылъ изъ Парижа князь П. А. Орловъ съ сыномъ, молодымъ человѣкомъ, и его воспитателями, а вслѣдъ за нимъ и о. Васильевъ; къ панихидѣ, въ 5 ч. вечера, пріѣхали сосѣди покойнаго, семейство Тургеневыхъ (однофамильцы), дѣти давно уже умершаго Николая Ивановича. Такимъ образомъ, на этой первой и вмѣстѣ послѣдней панихидѣ—такъ какъ на слѣдующій же день, 24 августа, рано утромъ сдѣлано было вскрытіе тѣла, и оно было уложено въ свинцовый гробъ — насъ, русскихъ, собралось около 10 человѣкъ.

Весь этотъ день, съ утра до вечера, мы всѣ проводили время почти безвыходно въ комнатѣ усопшаго. Онъ никогда при жизни не былъ такъ красивъ, — можно даже сказать, такъ величественъ; слѣды страданія, бывшіе еще замѣтными вчера, на второй день исчезли совсѣмъ, распустились, и лицо приняло видъ глубоко-задумчивый, съ отпечаткомъ необыкновенной энергіи, какой никогда не было замѣтно и тѣни при жизни, на вѣчно-добродушномъ, постоянно готовомъ къ улыбкѣ лицѣ покойнаго. Одинъ мертвенно-блѣдный цвѣтъ кожи и мраморная неподвижность чертъ лица говорили о смерти. Воспоминанія свидѣтелей его послѣднихъ дней составляли исключительный предметъ нашего разговора.

За недѣлю до смерти, припадки болѣзни начали возобновляться съ прежнею силою. Въ четвергъ обнаружился бредъ; въ этотъ день къ нему пріѣхалъ П. П. Аранетовъ — навѣстить его; больной встрѣтилъ его громкимъ крикомъ и вы-

раженіемъ неудовольствія; послѣ объяснилось, какъ онъ самъ разсказалъ, что онъ радъ былъ бы видѣться съ А., но съ нимъ вошло еще нѣсколько человѣкъ, которыхъ онъ вовсе не желалъ бы видѣть и которые его только тревожатъ. Это былъ бредъ, далекое начало агоніи. Въ субботу онъ пожелалъ проститься со всѣми домашними, но при этомъ снова впалъ въ безсознательное состояніе, которое и продолжалось уже почти безпрерывно все воскресенье и понедѣльникъ. Во все это время, умирающій ничего не сознавалъ; только процессъ дыханія, по временамъ дѣлавшійся прерывистымъ и шумнымъ, говорилъ о томъ, что жизнь въ немъ еще не совсѣмъ погасла. Въ понедѣльникъ утромъ онъ сталъ дышать какъ будто ровнѣе, такъ что около часу всѣ домашніе, не отходившіе все это время ни на минуту отъ его постели, удалились завтракать, не подозрѣвая крайней близости фатальной развязки: при немъ остались на это время два лица, бывшіе при немъ безотлучно, независимо отъ постояннаго дежурства и днемъ и ночью кого-нибудь изъ членовъ семейства Віардо. Незадолго до двухъ часовъ, Т., оставаясь по прежнему неподвижнымъ и спокойнымъ, началъ дышать съ необычайною силою и хрипомъ; всѣ бросились въ спальню: онъ, видимо, отходилъ. Одинъ изъ членовъ семейства осторожно взялъ его руки въ свои; руки были теплы, и онъ продолжалъ лежать по прежнему спокойно; такъ прошло нѣсколько минутъ, какъ вдругъ руки его вытянулись съ послѣднимъ глубокимъ вздохомъ. Это было ровно въ 2 часа дня.

Такъ кончились великія, длившіяся безконечно страданія всеобщаго любимца, и съ той же минуты началось такое же безконечное горе для тѣхъ, которые пережили эту драгоцѣнную, исполненную добра и славы жизнь. Жить и помнить Тургенева для насъ всѣхъ сдѣлалось теперь одно и то же.

М. С. (Стасюлевичъ).

ПЕРЕПИСКА ТУРГЕНЕВА СЪ В. В. СТАСОВЫМЪ И СЕМЬЕЙ АКСАКОВЫХЪ.

Двадцать писемъ Тургенева и мое знакомство съ нимъ *).

I.

Приступая къ печатанію писемъ Тургенева, сколько у меня ихъ уцѣлѣло, я вначалѣ думалъ ограничиться, со своей стороны, лишь нѣсколькими небольшими примѣчаніями, но потомъ убѣдился, что мнѣ необходимо войти въ нѣкоторыя подробности, иначе будутъ непонятны тѣ мои отношенія къ Тургеневу и его ко мнѣ, которыя рисуются въ этихъ письмахъ, а также будетъ непонятно, почему впродолженіи цѣлыхъ 15 лѣтъ мы были съ нимъ, и при личныхъ свиданіяхъ, и въ перепискѣ—въ сношеніяхъ самыхъ дружескихъ, но вмѣстѣ и въ постоянномъ антагонизмѣ. Всѣ наши сношенія имѣли, въ большинствѣ случаевъ, предметомъ искусство—живопись, скульптуру и музыку. Искусство намъ обоимъ было равно дорого и интересно, но взгляды наши на него были совершенно противоположны. Тургеневъ, по своимъ вкусамъ и взглядамъ на искусство, былъ классикъ и идеалистъ, а я не былъ ни тѣмъ, ни другимъ. Но именно эта-то діаметральная противоположность направленія и дѣлала для насъ обмѣнъ мыслей объ искусствѣ въ высшей степени интереснымъ и притягательнымъ. Намъ приходилось вѣчно спорить, при этомъ мы иногда даже сильно раздражались, становились чуть не врагами, много разъ закаявались когда-нибудь еще снова вступать въ споръ, даже увѣряли иногда, сердитые при разставаньи, что никогда-никогда не станемъ

*) Статья Владиміра Васильевича Стасова. „Сѣверный Вѣстникъ", 1888 г., № 10.

даже начинать разговора объ искусствѣ — и все-таки, при первой оказіи, снова спорили съ ожесточеніемъ, чуть не съ пѣной у рта. Въ 1878 году, въ одномъ изъ своихъ „Стихотвореній въ прозѣ", Тургеневъ говоритъ:

„Спорь съ человѣкомъ умнѣе тебя: онъ тебя побѣдитъ. Но изъ самаго твоего пораженія ты можешь извлечь пользу для себя.

„Спорь съ человѣкомъ ума равнаго: за кѣмъ бы ни осталась побѣда — ты, по крайней мѣрѣ, испытаешь удовольствіе борьбы.

„Спорь съ человѣкомъ ума слабѣйшаго, спорь не изъ желанія побѣды—но ты можешь быть ему полезнымъ.

„Спорь даже съ глупцомъ! Ни славы, ни выгоды ты не добудешь... Но отчего иногда не позабавиться.

„Не спорь только съ Владиміромъ Стасовымъ!"

Не смотря однако же на такой строгій приказъ другимъ, самъ Тургеневъ никогда его не исполнялъ, въ отношеніи къ самому себѣ, и много лѣтъ своей жизни проспорилъ со мною и *до* и *послѣ* этого своего „Стихотворенія въ прозѣ". Наши письма служатъ тому доказательствомъ. И что за истины тутъ проповѣдуетъ Тургеневъ! „Изъ пораженія ты извлечешь пользу", „испытаешь удовольствіе борьбы", „ты можешь быть полезенъ", „отчего не позабавиться". Но неужели спорятъ для пользы или забавы? Неужели споръ не есть нечаянное, неожиданное слѣдствіе обмѣна мыслей у людей съ противоположными понятіями и вкусами? Развѣ можно споръ предвидѣть, развѣ можно впередъ знать, когда и съ кѣмъ онъ случится? Чтобы его избѣжать, что́ надо сдѣлать? Надо не думать? или, по крайней мѣрѣ, не говорить—надо упорно молчать. Но кому же охота? Ни Тургеневу, ни мнѣ молчаніе вовсе не казалось великимъ благомъ — и мы при каждомъ новомъ случаѣ, почти при каждомъ новомъ свиданіи или письмѣ втягивались въ ярые, долгіе споры. Худого отъ этого для насъ не вышло.

Я въ первый разъ увидалъ Тургенева въ 1865 году. Это было въ залѣ Благороднаго собранія, у Полицейскаго моста. Тургеневъ немного опоздалъ въ концертъ Русскаго Музы-

кальнаго общества, который въ этотъ вечеръ тамъ давался, и, войдя въ залу, разсказывалъ какой-то знакомой своей дамѣ, рядомъ со мною, отчего опоздалъ. „Je viens d'entendre pour la première fois le quintetto de Schumann... J'ai l'âme tout en feu“, говорилъ онъ своимъ мягкимъ и тихимъ голосомъ, немного пришепетывая. Я въ первый разъ видѣлъ эту крупную, величавую, немного сутуловатую фигуру, его голову съ густой гривой тогда еще не сѣдыхъ волосъ вокругъ, его добрые, немножко потухшіе глаза. Шумана страстно любилъ тогда весь нашъ музыкальный кружокъ, я тоже, и мнѣ было пріятно вдругъ узнать, что и такой талантливый человѣкъ, какъ Тургеневъ, пораженъ Шуманомъ, какъ мы. Навряд-ли кто-нибудь еще, изъ всѣхъ нашихъ литераторовъ, зналъ тогда что-нибудь о Шуманѣ, и тѣмъ болѣе — способенъ былъ бы понимать его. Но началась новая пьеса. Тургеневъ пошелъ впередъ, на свое мѣсто, и я его въ тотъ вечеръ болѣе не видалъ и не слыхалъ.

Года два спустя, въ 1867 году, мнѣ привелось снова увидѣть Тургенева, и опять въ концертѣ, но на этотъ разъ въ залѣ дворянскаго собранія. И тутъ мы уже познакомились. Это было 6-го марта, — день мнѣ очень памятенъ, — шелъ концертъ Безплатной Музыкальной школы, подъ управленіемъ Балакирева. Въ антрактѣ между 1-ю и 2-ю частью подошелъ ко мнѣ Вас. Петр. Боткинъ, старинный мой знакомый, и сказалъ мнѣ: „Тургеневъ здѣсь. Ему хотѣлось бы съ вами познакомиться. Хотите?“ А надо сказать, что Боткинъ уже задолго передъ тѣмъ, за годъ или больше, разсказывалъ мнѣ, что Тургеневъ, еще когда въ первый разъ прочиталъ мою статью о Брюловѣ, напечатанную въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ въ концѣ 1861 года, былъ ею очень восхищенъ, и потомъ много разъ говорилъ Боткину, что желаетъ со мной однажды познакомиться. Оно и понятно: мои мнѣнія о Брюловѣ почти совершенно сходились съ его собственными. Мнѣ, конечно, было очень пріятно познакомиться съ такимъ знаменитымъ человѣкомъ, какъ Тургеневъ, да еще, кромѣ того, съ тѣмъ, кто былъ авторъ давнишняго предмета моего обожанія, романа „Отцы и Дѣти“. Я выждалъ, пока оркестръ кончилъ

увертюру „Король Лиръ“ Балакирева, и потомъ пошелъ и пробрался, между рядами стульевъ, въ самую середину залы, гдѣ сидѣлъ Тургеневъ рядомъ съ Боткинымъ. Подлѣ нихъ не было пустого мѣста, и мнѣ пришлось сѣсть сзади нихъ, въ слѣдующемъ ряду. Какъ странно долженъ былъ происходить нашъ первый разговоръ! Я говорилъ съ Тургеневымъ сзади, наклоняясь къ нему впередъ, а онъ долженъ былъ въ пол-тѣла оборачиваться ко мнѣ назадъ, чтобы слышать меня или сказать мнѣ что-нибудь. Первый заговорилъ Тургеневъ и прежде всего повторилъ мнѣ еще новый разъ, какое впечатлѣніе произвела на него моя статья о Брюловѣ. Приэтомъ, я ему сказалъ то, чего онъ, конечно, не зналъ: что Катковъ выбросилъ у меня, ничего впередъ не сказавши, цѣлую главу, *вторую*, гдѣ я говорилъ о Рубенсѣ, Вандикѣ и другихъ живописцахъ, и отношеніи къ нимъ Брюлова; что Катковъ только лишь позже, по напечатаніи статьи, написалъ мнѣ, а немного спустя и самъ лично пріѣхалъ ко мнѣ извиняться, увѣряя, что такъ лучше, какъ онъ теперь устроилъ. Что тутъ дѣлать? Конечно, пришлось молчать. Но эта санфасонная расправа, вмѣстѣ съ нѣсколькими другими такими же, была первою причиною, заставившею меня подумать о томъ, что надо уходить изъ „Русскаго Вѣстника“. Направленіе Каткова въ 1862 году только окончательно рѣшило меня. Тургеневъ, въ отвѣтъ мнѣ, тоже жаловался на деспотизмъ и своевольство Каткова, разсказывалъ, какъ онъ урѣзалъ и измѣнилъ многое у него въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“. Но Тургеневъ на этомъ не остановился, онъ опять воротился къ Брюлову, и спросилъ меня: читалъ ли я его статью объ Ивановѣ, гдѣ говорится тоже и о Брюловѣ? Но я этой статьи не зналъ; она была напечатана въ журналѣ „Вѣкъ“, очень мало распространенномъ и о которомъ мнѣ ни отъ кого не приходилось слышать. „Жаль, сказалъ Тургеневъ, тамъ я высказываю о Брюловѣ почти то же, что и вы.—только у васъ на сценѣ вся его жизнь, критика всѣхъ его произведеній, большая работа, а у меня только говорится о Брюловѣ вообще“. Но тутъ я заговорилъ про его романъ „Дымъ“, только что всего за нѣсколько дней передъ тѣмъ напечатанный (мартовская книжка „Русскаго Вѣстни-

ка“), и про который я уже и раньше того подробно зналъ отъ Боткина. „Вотъ вы и здѣсь тоже, Иванъ Сергѣевичъ, довольно сильно отозвались про Брюлова“, сказалъ я *). „Конечно, конечно, отвѣчалъ Тургеневъ... Мы съ вами оба одинаково не выносимъ его, сказалъ онъ. Иначе и быть не должно. Рано или поздно, всѣ у насъ будутъ то же думать...“ Но я тотчасъ же, по поводу „Дыма“, перешелъ къ Глинкѣ, и спросилъ Тургенева, неужели онъ и самъ думаетъ о Глинкѣ то самое, что его Потугинъ. „Вѣдь это ужасно!“ говорилъ я.—„Ну, Потугинъ не Потугинъ, возразилъ Тургеневъ, тутъ есть маленькая charge, я хотѣлъ представить совершеннаго *западника*, однако я и самъ многое такъ же думаю...“—„Какъ! Глинка только *самородокъ*, и больше ничего?“—„Ну, да, конечно, онъ былъ талантливый человѣкъ, но вѣдь не былъ же онъ тѣмъ, чѣмъ вы всѣ здѣсь въ Петербургѣ вообразили, и что проповѣдуете у насъ теперь въ газетахъ...“ И у насъ сію же секунду завязался споръ, горячій, сердитый, первый изъ тѣхъ споровъ, какіе мнѣ суждено было вести съ Тургеневымъ впродолженіи столькихъ еще лѣтъ впереди. Но мы не долго остановились на одномъ Глинкѣ. Тургеневъ перешелъ къ новѣйшимъ русскимъ композиторамъ, которыхъ сильно не долюбливалъ, и съ порядочнымъ презрѣніемъ отзывался о нихъ. „Что я о нихъ думаю, вы видѣли въ „Дымѣ“, сказалъ онъ, сильно уже волнуясь.—„Но скажите, Иванъ Сергѣевичъ, спросилъ я: много ли вы ихъ знаете, да даже много ли вы могли ихъ и слышать-то въ Парижѣ?“—„Когда я бываю въ Петербургѣ, я непремѣнно стараюсь услышать все новое, что у васъ тутъ дѣлается... Это ужасно... Да вотъ, чего далеко ходить, стоитъ только послушать, что сегодня вечеромъ здѣсь подаютъ. Въ первой части намъ пѣли какой-то „волшебный хоръ“ господина Даргомыжскаго...—„Изъ „Рогданы“?..“—„Ну да, изъ „Рогданы“, или откуда тамъ ни есть... Волшебный хоръ? Ха, ха, ха! Прекрасное волшебство! И что это за музыка ужасная! Само ничтожество,

*) У Тургенева было сказано въ „Дымѣ“: „Двадцать лѣтъ сряду поклонялись этакой пухлой ничтожности, Брюлову...“.

сама ординарность. Не стоитъ въ Россію ѣздить для такой „русской школы!“ Это вамъ вездѣ гдѣ угодно покажутъ, въ Германіи, во Франціи, въ любомъ концертѣ... и никто никакого вниманія не обратитъ... Но у васъ тутъ, сейчасъ— великое созданіе, самобытная русская школа! Русская, самобытная! А потомъ еще этотъ „Король Лиръ“ господина Балакирева. Балакиревъ—и Шекспиръ, что между ними общаго? Колоссъ поэзіи и пигмей музыки, даже вовсе не музыкантъ. Потомъ... потомъ еще этотъ „хоръ Сеннахериба“ господина Мусоргскаго... Что за самообманъ, что за слѣпота, что за невѣжество, что за игнорированіе Европы...“ Въ этомъ тонѣ продолжалась наша бесѣда до конца концерта. Правда, мы уже не слушали ни хора изъ „Демона“ барона Шеля, ни „Прощальной пѣсни Даніи“, Афанасьева. Тургеневъ вздумалъ-было и на нихъ напасть, но я его остановилъ, объявивъ, что *эти* вовсе уже не принадлежатъ къ новой русской школѣ; и тогда мы, перешагнувъ черезъ этихъ композиторовъ, продолжали свою музыкальную дуэль. Я до того дня, или точнѣе, до „Дыма“, не зналъ, до какой степени Тургеневъ терпѣть не можетъ новую русскую музыку и какъ мало въ ней разумѣетъ. Но съ этихъ поръ у насъ пренія о ней уже и не прекращались. Развѣ въ одномъ только мы сходились: въ нелюбви къ сочиненіямъ Сѣрова. Тургеневъ, какъ и я, мало находилъ у него дарованія, и признавалъ его музыку высиженною, вовсе не оригинальною. Однако же, концертъ кончился, и мы такъ много наспорились, что хотя на разставаньи жали другъ другу руку, но разошлись изрядно окрысившіеся одинъ на другого, и уже совершенно въ другомъ расположеніи духа, чѣмъ въ началѣ разговора, часъ или $1^1/_2$ раньше.

Послѣ этого перваго свиданія, прошелъ антрактъ въ цѣлыхъ два года. Лѣтомъ 1869 года въ Мюнхенѣ происходила всемірная художественная выставка, въ „Хрустальномъ дворцѣ“, и я на ней былъ. Для меня накопилось въ это время много пріятнаго. Я въ первый еще разъ видѣлъ тогда Мюнхенъ, его старую и новую картинную галлерею, его скульптурный музей, его улицы съ исторіей архитектуры въ лицахъ,

по фантазіи короля Людвига,—было тутъ на что подивиться даже и помимо всемірной выставки; наконецъ, мнѣ привелось, въ тѣ же дни, повидаться въ Мюнхенѣ съ Листомъ, котораго я не видалъ съ 1843 года, въ Петербургѣ, и котораго встрѣтилъ теперь старикомъ, аббатомъ, но все тѣмъ же увлекающимся великимъ художникомъ, какимъ зналъ его цѣлыхъ четверть столѣтія раньше, полнымъ энергіи, душевной красоты, поэзіи, интереса ко всему, все съ прежними огненными глазами, все съ прежней густой гривой на плечахъ. Но мнѣ предстояло еще одно неожиданное удовольствіе — встрѣча съ Тургеневымъ. Я путешествовалъ тогда со своимъ братомъ Дмитріемъ; мы остановились въ Мюнхенѣ въ „Bayrischer Hof“. Какъ-то разъ мы остались обѣдать дома. Часу въ 6-мъ входимъ въ огромную столовую, съ золотыми хорами вверху, направо и налѣво. Мѣста намъ были отмѣчены, но рядомъ съ нами было оставлено еще нѣсколько мѣстъ, со стульями, наклоненными къ столу, чтобы никто ихъ не трогалъ. „Какіе-то будутъ тутъ у насъ сосѣди? Англичане или французы, итальянцы или нѣмцы?“ говоримъ мы одинъ другому, и въ это самое время отворяется дверь залы, и вдали показывается Тургеневъ: онъ направлялся къ намъ, степенно и торжественно ведя мадамъ Віардо подъ руку; ея мужъ и какіе-то еще ихъ знакомые шли сзади. И надо же было быть такому случаю: Тургеневу отведено было мѣсто именно тамъ, гдѣ были опрокинуты къ столу стулья; онъ сѣлъ черезъ мѣсто отъ меня; насъ раздѣлялъ мосье Віардо. Но что же произошло изъ нашей встрѣчи? То, что ни я, ни Тургеневъ, мы вовсе не обѣдали въ тотъ день, и проворные учтивые кельнеры уносили у насъ изъ-подъ носу одну тарелку за другою. У насъ сразу затѣялся такой оживленный разговоръ, что намъ было не до ѣды. Оно было не очень-то учтиво, особливо въ нашей тогдашней огромной и аристократической столовой залѣ, биткомъ набитой, провести весь обѣдъ въ какомъ-то горячемъ спорѣ, иной разъ даже съ прорывавшимися довольно громкими словами и фразами, да еще такъ, что весь разговоръ происходилъ за спиной мосье Віардо,— но что же дѣлать,—дѣло шло о слишкомъ интересныхъ уже

предметахъ. Мадамъ Віардо, сидѣвшая противъ насъ черезъ столъ, съ удивленіемъ на насъ поглядывала, и, ничего не понимая по русски, только изрѣдка перебрасывалась коротенькими фразами со своимъ мужемъ. Въ 1883 году, не задолго до смерти Тургенева, я былъ въ Парижѣ у мадамъ Віардо, и, припоминая старинныя времена, напомнилъ ей тоже и про этотъ мюнхенскій знаменитый нашъ обѣдъ,—она его живо вспомнила. „Еще бы! Онъ былъ такой курьезный, совершенно необыкновенный!“ сказала она. Предметовъ для спора у насъ тогда накопилось пропасть. Конечно, были пункты, гдѣ мы съ Тургеневымъ сходились; напримѣръ, мы оба одинаково терпѣть не могли и Корнеліуса, и Каульбаха, которыми такъ торжественно парадируетъ Мюнхенъ, и которые такъ дороги каждому нѣмецкому сердцу, а намъ были несносны по своей деревянности, педантству и условности; мы сходились также въ нелюбви ко множеству другихъ нѣмецкихъ художниковъ,—но въ то же время не сходились во множествѣ другихъ вещей. Тургеневъ былъ великій поклонникъ всей новой французской школы, я—далеко не безусловно признавалъ ее, и это тотчасъ вело къ безконечнымъ преніямъ pro и contra. Но, сверхъ того, у насъ рѣчь шла также и о Листѣ. Для меня Листъ былъ великимъ представителемъ великаго движенія въ современной музыкѣ, и я, полный присутствіемъ Листа въ Мюнхенѣ, съ жаромъ разсказывалъ Тургеневу про геніальныя его созданія „Mephisto-Walzer“ и „Danse macabre“, съ которыми, въ концѣ 60-хъ годовъ, стала ревностно знакомить петербургскую публику Безплатная школа. Тургеневъ ихъ не зналъ, да и знать не желалъ; онъ застылъ на Бетховенѣ и Шуманѣ, и дальше въ музыкѣ ничего не признавалъ. Такъ мы и проговорили съ Тургеневымъ впродолженіи всего обѣда, то споря, то соглашаясь, то совершенно расходясь, то восторгаясь вмѣстѣ тѣмъ, что обоимъ намъ одинаково нравилось.

Спустя немного мѣсяцевъ, мы встрѣтились съ Тургеневымъ—уже въ Петербургѣ. Весной 1870 года открылась въ Соляномъ городкѣ всероссійская выставка. Я такъ восхищался всею выставкою вообще и, еще болѣе, талантливыми попытками

молодого Гартмана создать что-то новое и оригинальное въ русскомъ архитектурномъ стилѣ, что бывалъ на выставкѣ рѣшительно всякій день. Но однажды, въ концѣ мая, я вдругъ повстрѣчался на выставкѣ съ Тургеневымъ, который только что пріѣхалъ въ Петербургъ изъ Парижа, и мы, какъ встрѣтились въ большой крайней залѣ направо, такъ остановились тутъ, и не трогаясь съ мѣста, проговорили другъ съ другомъ добрыхъ часа полтора или два. Въ разговорѣ съ Тургеневымъ для меня было всегда столько обаятельнаго, прелестнаго, хотя-бы даже онъ на меня нападалъ и сердился. Онъ былъ такъ образованъ по-европейски, онъ столькимъ интересовался, его разговоръ былъ всегда такъ далекъ отъ всего поверхностнаго, ничтожнаго, его рѣчь была иной разъ такъ художественна и талантлива—что невольно онъ къ себѣ притягивалъ. На этотъ разъ я заговорилъ съ нимъ про новый, столько дорогой для меня, шагъ русской архитектуры, начинающей выходить изъ постылой европейской рутины и поплой подражательности. Еще всего за нѣсколько минутъ вступивъ въ домъ выставки, Тургеневъ не успѣлъ еще даже осмотрѣться вокругъ; онъ еще ничего не видѣлъ. Но я тотчасъ обратилъ его вниманіе на то, что стояло и разстилалось вокругъ насъ, стоило только поднять глаза,— и Тургеневъ, столько художественный, не могъ не сознаться со мной, что въ самомъ дѣлѣ что-то новое, талантливое, оригинальное и изящное начинается въ нашей архитектурѣ. Однако, онъ гораздо менѣе восхищался, чѣмъ я. Потомъ я разсказывалъ ему про торжество, которое мы собирались сдѣлать Балакиреву 30 мая, и поднести ему, въ залѣ городской думы, въ самый Троицынъ день, большой серебряный вѣнокъ и адресъ. Это былъ протестъ всѣхъ приверженцевъ новой музыкальной русской школы противъ ретроградовъ Русскаго Музыкальнаго общества, только что радостно вытѣснившихъ Балакирева изъ своей среды и отнявшихъ у него дирижированіе концертами этого общества. Но Тургеневъ мало сочувствовалъ новой русской музыкѣ, и событія тогдашней ожесточенной борьбы двухъ лагерей оставляли его равнодушнымъ. И, поговоривъ еще немного про всероссійскую выставку, главныя художественныя примѣча-

тельности которой я разсказалъ ему, второпяхъ, всѣ цѣликомъ, такъ какъ зналъ всю выставку наизусть, какъ свои пять пальцевъ,—мы перешли къ Франціи, Парижу, Наполеону III и Виктору Гюго. Послѣдняго Тургеневъ терпѣть не могъ, и не могъ удержаться, чтобы не напасть сейчасъ же на его послѣднія стихотворенія, гремѣвшія повсюду въ Европѣ, передъ самымъ взрывомъ прусской войны. Мы немного поспорили о Викторѣ Гюго, но за то остались совершенно одного мнѣнія про Наполеона III и оподленную имъ Францію, среди которой Тургеневъ принужденъ былъ жить. Тургеневъ говорилъ про Наполеона III съ безконечнымъ негодованіемъ и злобой. Разошлись мы въ самомъ дружескомъ расположеніи духа.

Въ слѣдующемъ, 1871 году, Тургеневъ былъ въ Петербургѣ въ мартѣ и апрѣлѣ. Мы видѣлись съ нимъ нѣсколько разъ, и тутъ я получилъ отъ него первое письмо ко мнѣ. Онъ приглашалъ меня, отъ имени распорядителей, пріѣхать 4 марта въ гостиницу Демута на большое собраніе всѣхъ нашихъ литераторовъ, художниковъ и музыкантовъ. Это была затѣя Рубинштейна, вознамѣрившагося устроить въ Петербургѣ нѣчто въ родѣ художественнаго клуба. Въ большой залѣ Демута собралось нѣсколько сотъ человѣкъ; произносились рѣчи—всего болѣе и длиннѣе говорили литераторъ графъ Соллогубъ и скульпторъ Микѣшинъ, говорили много и долго, хотя безъ особеннаго склада, о необходимости „единенія“ художниковъ, объ океанѣ, солнцѣ и многомъ другомъ, столько же подходящемъ къ дѣлу; произнесъ нѣсколько словъ и самъ Рубинштейнъ, а въ концѣ вечера сыгралъ ко всеобщему удовольствію увертюру „Эгмонтъ“. Но изъ всего собранія этого, гдѣ всѣ мы простояли цѣлый вечеръ на ногахъ, шумя и волнуясь—и изъ всей его безтолковщины и сумятицы ровно ничего не вышло. Черезъ недѣлю снова собрались въ той же залѣ, опять одни говорили рѣчи, другіе слушали, а Рубинштейнъ игралъ,—но народу было гораздо меньше, всѣ разошлись—и на томъ все дѣло и покончилось: никакого художественнаго клуба и общества не склеилось. Должно быть, въ немъ и не было никакой потребности.

Но спустя нѣсколько недѣль произошло событіе, которое глубоко поразило насъ обоихъ, — и Тургенева и меня. Въ академіи художествъ, въ одной изъ скульптурныхъ мастерскихъ, была выставлена статуя Антокольскаго „Иванъ Грозный“. На этотъ разъ мы уже не думали съ Тургеневымъ врозь; мы одинаково были восхищены, удивлены. Тургеневъ еще вовсе не зналъ Антокольскаго, не видалъ ни одного его произведенія; я же зналъ и его самого еще съ конца 60-хъ годовъ, а про первое его произведеніе „Еврей-портной“ писалъ въ газетахъ еще въ 1864 году (это выпало мнѣ на долю раньше всѣхъ), какъ про такое произведеніе, которое много обѣщаетъ. Но я никакъ не ожидалъ такъ скоро увидать у Антокольскаго такое высокое и оригинальное произведеніе, какъ „Иванъ Грозный“. Я тотчасъ же напечаталъ въ „Спб. Вѣдомостяхъ“ статью, которою старался обратить вниманіе нашей публики на крупное новое художественное явленіе. Тотчасъ же, съ перваго дня, толпа повалила въ академію. Одна особа, очень интеллигентная и интересующаяся русскимъ искусствомъ, сказала мнѣ: „Посмотрите, В. В., вы пригнали сюда весь Петербургъ“. Спустя недѣлю Тургеневъ напечаталъ въ той же газетѣ превосходную статью про Антокольскаго. И съ тѣхъ поръ, самое глубокое и симпатичное чувство къ таланту Антокольскаго никогда не прекращалось у Тургенева. Онъ много разъ говорилъ мнѣ про него въ своихъ письмахъ. Когда, впослѣдствіи, спустя лѣтъ 10, французскій Институтъ принялъ Антокольскаго въ число своихъ членовъ, Тургеневъ съ радостнымъ восхищеніемъ разсказывалъ всѣмъ своимъ знакомымъ въ Парижѣ, какое это было необыкновенное избраніе, и какъ Антокольскаго Институтъ утвердилъ *единогласно*, par acclamation.

Почти въ тѣ же самые дни, весной 1871 г., появилась на выставкѣ картина Рѣпина „Дочь Іаирова“, за которую академія дала автору большую золотую медаль, и Тургеневъ писалъ мнѣ въ томъ же году: „Мнѣ очень было пріятно узнать изъ вашей статьи, что этотъ молодой мальчикъ такъ бодро и быстро подвигается впередъ. Въ немъ талантъ большой и несомнѣнный, „темпераментъ“ живописца“. Съ этихъ поръ

у насъ съ Тургеневымъ много и часто рѣчь шла о Рѣпинѣ, хотя наша оцѣнка не всегда была одинакова. Намъ не разъ приходилось спорить.

Но гдѣ мы всего болѣе расходились, это по части музыки. Тургеневъ очень мало зналъ и еще менѣе понималъ русскую школу, но нелюбовь къ ней была у него очень сильна. Онъ много лѣтъ своей жизни провелъ въ Парижѣ, въ кругу г-жи Віардо, артистки, безспорно очень образованной и высоко талантливой, но давно уже остановившейся на вкусахъ и понятіяхъ временъ своей юности и ничѣмъ не приготовленной къ уразумѣнію тѣхъ стремленій, которыя одушевляли новую русскую школу. Тургеневъ вмѣстѣ съ нею продолжалъ восхищаться только Моцартомъ и Глюкомъ (которыхъ оперы мадамъ Віардо сама въ прежнее время съ громаднымъ успѣхомъ пѣвала на театрахъ Европы), Бетховеномъ и Шуманомъ, которыхъ онъ слыхалъ въ парижскихъ и петербургскихъ концертахъ, но дальше уже не шелъ, и относился съ самымъ враждебнымъ пренебреженіемъ къ русской школѣ, которая не успѣла еще получить обще-европейскаго патента, и перевоспитываться въ пользу которой ему уже было не въ пору. Еще въ „Дымѣ“ Тургеневъ, устами своего Потугина, самымъ непріязненнымъ образомъ отзывался о новыхъ русскихъ музыкантахъ, и увѣрялъ, что „у послѣдняго нѣмецкаго флейтщика, высвистывающаго свою партію въ послѣднемъ нѣмецкомъ оркестрѣ, въ двадцать разъ больше идей, чѣмъ у всѣхъ нашихъ самородковъ; только флейтщикъ хранитъ про себя эти идеи и не суется съ ними впередъ въ отечествѣ Моцартовъ и Гайдновъ; а нашъ братъ-самородокъ „тренькренькъ“ вальсикъ или романсикъ, и, смотришь—уже руки въ панталоны и ротъ презрительно искривленъ: я, молъ, геній...“ Непочтеніе къ старшимъ (Моцарту и Гайдну) было тутъ для Тургенева всего нестерпимѣе; онъ не желалъ, чтобы какіе-то трень-брень „совались впередъ“, всякъ-дескать сверчокъ знай свой шестокъ, и вотъ онъ писалъ мнѣ однажды, въ 1872 году, что весь „Каменный Гость“ Даргомыжскаго—ничтожный писк, собраніе вялыхъ, безцвѣтныхъ, старчески-безсильныхъ речитативовъ; что, кромѣ Чайковскаго да Римскаго-Кор-

сакова (которыхъ онъ зналъ, впрочемъ, всего только по нѣсколькимъ *романсамъ*), всѣхъ остальныхъ новыхъ русскихъ музыкантовъ стоило бы—въ куль да въ воду! „Египетскій Фараонъ“ Рампсинитъ XXIX (прибавлялъ Тургеневъ въ комическомъ азартѣ) такъ не забытъ теперь, какъ они будутъ забыты черезъ 15—20 лѣтъ. Это одно меня утѣшаетъ!“ Пророчество Тургенева о полной погибели новой русской школы—не оправдалось, да и самъ онъ, повидимому, сознавая, какъ его изреченія были поверхностны и какъ онъ мало, въ сущности или, точнѣе сказать, почти вовсе не зналъ новую русскую музыку,—просилъ меня, въ первый же пріѣздъ его въ Россію, устроить такъ, чтобы ему можно было послушать новую русскую музыку, и не одни только *романсы*, но и оперы, и инструментальныя сочиненія. Онъ зналъ отъ меня, что нашъ музыкальный кружокъ часто собирается и что на этихъ собраніяхъ выполняютъ, въ пѣніи съ фортепіано, цѣлые акты и сцены изъ новыхъ русскихъ оперъ: „Каменнаго Гостя“, „Псковитянки“, „Бориса Годунова“, „Ратклиффа“, а въ 4-ручномъ исполненіи—цѣлыя симфоніи, увертюры и другія инструментальныя созданія новой нашей школы. Но товарищи-композиторы долго отказывались что-нибудь исполнять для Тургенева. Всѣ восхищались его романами, повѣстями, всѣ были искренніе поклонники его таланта, но были возмущены его презрѣніемъ къ новой нашей музыкальной школѣ; они думали, что нечего хлопотать о просвѣщеніи человѣка слишкомъ мало музыкальнаго по натурѣ, да вдобавокъ слишкомъ застывшаго, за границей, въ старыхъ классическихъ предразсудкахъ. Поэтому всѣ рѣшительно отказались исполнять для Тургенева „Каменнаго Гостя“, который въ началѣ 70-хъ годовъ исполнялся въ нашихъ маленькихъ собраніяхъ очень часто. Всѣхъ болѣе противъ этого былъ—Мусоргскій. Тургеневъ такъ никогда и не слыхалъ „Каменнаго Гостя“. Пока его давали у насъ зимой на театрѣ, Тургенева не бывало въ Петербургѣ; въ нашемъ кружкѣ онъ его также не услышалъ; а какъ эта столько новая по всѣмъ формамъ музыка исполнялась въ домѣ у г-жи Віардо—отгадать нельзя, но сомнительно, чтобъ способны были исполнить эту новую, эту со-

вершенно оригинальную музыку такъ, какъ желалъ самъ авторъ, и какъ исполнялась она по его указаніямъ въ нашемъ кружкѣ,—французскіе пѣвцы и пѣвицы, возросшіе только на Глюкѣ, Моцартѣ и преданіяхъ классической и итальянской школы. Новая музыка требовала и новаго исполненія, а ни о томъ, ни о другомъ Тургеневъ такъ никогда и не получилъ настоящаго понятія. Изъ новыхъ русскихъ оркестровыхъ сочиненій онъ, кромѣ „Садки“ Римскаго-Корсакова, кажется, почти ничего не слыхалъ. За то и вражда его къ новому, невѣдомому ему музыкальному направленію никогда не измѣнилась.

Но, въ маѣ 1874 года, когда Тургеневъ былъ снова въ Петербургѣ и снова просилъ меня дать ему послушать новой русской музыки, мнѣ удалось устроить у себя музыкальное собраніе, гдѣ присутствовалъ весь нашъ музыкальный кружокъ и гдѣ былъ также Рубинштейнъ, въ тѣ годы иногда насъ посѣщавшій. Вся первая половина вечера была наполнена игрой Рубинштейна. Онъ, по всегдашнему, великолѣпно исполнилъ нѣсколько пьесъ Шопена и Шумана,—всего изумительнѣе по таланту и поэтичности большія варіаціи Шумана и его же „Карнавалъ“. Мы всѣ были на седьмомъ небѣ; Тургеневъ вмѣстѣ со всѣми нами. Онъ былъ полонъ невыразимаго энтузіазма и восхищенія. Но, когда Рубинштейнъ уѣхалъ въ 10-мъ часу вечера, торопясь застать поѣздъ въ Петергофъ, и мы остались одни—Тургеневъ и наша музыкальная компанія, съ которою онъ только что успѣлъ перезнакомиться — съ нимъ сдѣлался припадокъ, который насъ всѣхъ перепугалъ. Онъ стоялъ посреди комнаты, держа чашку чаю въ рукахъ, и разговаривалъ со своими новыми знакомыми, приготовляясь слушать послѣдній актъ „Анджело“ Кюи, по его словамъ, очень его интересовавшій, какъ вдругъ онъ почувствовалъ нестерпимыя боли въ поясницѣ и въ боку. Сначала онъ только стоналъ, но скоро потомъ не могъ болѣе сдерживаться, и громко кричалъ. Мы Тургенева увели въ кабинетъ, раздѣли и уложили; около него сталъ хлопотать Бородинъ, онъ самъ былъ когда-то врачъ, прежде чѣмъ сдѣлаться профессоромъ химіи, Тургеневу закутали поясницу горячими

салфетками, и это его немного успокоило, но онъ продолжалъ стонать, и по временамъ громко вскрикивать отъ острой боли. Сначала онъ приписывалъ свое нездоровье русскому завтраку, которымъ его угостили въ тотъ день въ „колоніи малолѣтнихъ преступниковъ“, которую онъ въ тотъ день посѣтилъ. „Это проклятое русское кушанье! восклицалъ онъ страдальческимъ голосомъ, эти жирные пироги, отъ которыхъ я отвыкъ въ Европѣ! И надо же мнѣ было ѣздить въ эту колонію“! Однако, онъ скоро убѣдился, что боль — не желудочнаго свойства, и что это только мучительный, громадно разросшійся припадокъ той самой болѣзни, которая такъ давно ему была знакома—подагра. Нашъ вечеръ разстроился. Всѣ ходили на цыпочкахъ подлѣ комнаты, гдѣ лежалъ Тургеневъ, всѣ говорили шепотомъ; о музыкѣ не было и помину. Когда прошелъ страшный острый припадокъ и боль немного пріутихла, мы бережно проводили Тургенева по лѣстницѣ, и его повезъ въ гостиницу Демута, гдѣ онъ тогда жилъ, В. П. Опочининъ, который тоже долженъ былъ исполнять у насъ въ тотъ вечеръ нѣсколько романсовъ „новой русской школы“ для Тургенева. Про этотъ самый припадокъ болѣзни онъ писалъ, спустя нѣсколько дней, 16 мая, своему пріятелю Я. П. Полонскому: „Со мною произошло пакостное дѣло. Нежданно-негаданно пагрянула подагра—да такая, какой отъ роду не бывало: разомъ въ обѣихъ ногахъ, въ обѣихъ колѣняхъ, просто всѣ онёры. Мучился я сильно, и теперь едва начинаю поло́зить по комнатѣ на костыляхъ; однако, докторъ обнадеживаетъ, что въ субботу можно будетъ уѣхать, такъ какъ мнѣ все-таки нужно попасть въ Карлсбадъ. Рвеніе мое къ родинѣ эта штука несомнѣнно охладила: три раза сряду пріѣзжаю я сюда— и три раза уѣзжаю съ подагрой, и всякій разъ въ сильнѣйшей прогрессіи“... Но этотъ мучительный приступъ подагры, кромѣ всего остального, имѣлъ результатомъ также и то, что намъ такъ и не удалось показать Тургеневу новыя русскія оперы, симфоніи, совершенно оригинальную, во всей музыкѣ, „Дѣтскую“ Мусоргскаго, русскую декламацію. Другого случая со всѣмъ этимъ познакомить Тургенева такъ больше никогда и не представилось.

Еще дня за два, за три до этого неудавшагося вечера, Тургеневъ былъ у меня въ публичной библіотекѣ. Мы по всегдашнему много разговаривали съ нимъ о разныхъ художественныхъ дѣлахъ, по всегдашнему много тоже и спорили объ иныхъ вопросахъ искусства, и когда коснулась какъ-то случайно рѣчь и нѣкоторыхъ произведеній самого Тургенева, я ему сказалъ: „Да, вотъ, Иванъ Сергѣевичъ, я давно хотѣлъ вамъ сказать одну вещь. Вы знаете, какъ я глубоко чту многія изъ вашихъ созданій, конечно, всего болѣе „Отцовъ и Дѣтей“—мы столько разъ уже о нихъ говорили; мнѣ кажется, я никогда довольно не наговорюсь о Базаровѣ, объ Аннѣ Павловнѣ... Помните, сколько я вамъ тоже говорилъ и про мои восхищенія иными, даже маленькими, вашими вещами... „Муму“, „Разсказъ о Соловьяхъ“—мало-ли чѣмъ еще. Но вотъ чего я не могу понять въ вашей натурѣ. Какъ это, вѣчно писавши о любви, рисовавши сотни любовныхъ сценъ, вы въ романахъ и повѣстяхъ никогда не дошли до изображенія—страсти. Одна только сцена Базарова съ Анной Павловной дошла до этого градуса бѣлокаленія. Вездѣ въ другихъ мѣстахъ страсть, чувство—очень умѣренныя, скромныя. Конечно, тутъ вездѣ и всегда много граціи, прелести — но и только. Дѣло дальше никогда не шло ни въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ“, ни въ „Дымѣ“, да просто—нигдѣ, нигдѣ. Что это за чудо?“ Тургеневъ отвѣчалъ мнѣ: „Всякій дѣлаетъ, что можетъ. Видно я больше не могъ. Да что объ этомъ говорить—что есть, то есть. Давайте лучше говорить о Пушкинѣ. Вотъ это настоящій великій человѣкъ, а я—я дѣлалъ, что могъ...“ И мы дѣйствительно принялись говорить въ сотый разъ о Пушкинѣ. Но и тутъ я не разъ спорилъ съ Тургеневымъ, и, какъ ни восхищался „Каменнымъ Гостемъ“, „Сценами изъ рыцарскихъ временъ“, „Борисомъ Годуновымъ“ и множествомъ другихъ великихъ созданій, я постоянно указывалъ моему собесѣднику, что не могу же я восхищаться, при всемъ великолѣпіи стиха, такими фальшивыми и кривыми вещами, какъ „Изба“, „Радищевъ“ и т. д. Развѣ это не пятна на чудесной, могучей и поэтической личности Пушкина, точь въ точь какъ „Переписка съ Друзьями“ и множество всяческаго піетистическаго сора

и отребья на памяти другого русскаго великаго писателя—Гоголя? Но Тургеневъ не хотѣлъ ничего этого знать и отстаивалъ своего обожаемаго любимца Пушкина, цѣликомъ находилъ все у него удивительнымъ. Можетъ быть, и онъ самъ думалъ, какъ его Потугинъ: „Нѣтъ, будемте посмирнѣе, да потише: хорошій ученикъ видитъ ошибки своего учителя, но молчитъ о нихъ почтительно; ибо самыя эти ошибки служатъ ему въ пользу и наставляютъ его на прямой путь...“ Вотъ именно подобнаго „молчанія“ и „лже-почтенія“ я никогда и не признавалъ. Къ чему они? Неужели выиграетъ что-нибудь великій талантъ, великій человѣкъ, когда станутъ почтительно замалчивать его заблужденія, его ошибки, его фальшивый, иногда, образъ мыслей; когда станутъ бережно утаивать ихъ, какъ что-то запрещенное и непозволительное? Какая близорукость, какое невинное фарисейство! На эту тему мы много разъ спорили съ Тургеневымъ. Но онъ былъ безпредѣльный фанатикъ и Пушкина, и Гоголя. На эту же тему мы снова спорили и въ одинъ изъ тѣхъ дней, въ концѣ мая, когда Тургеневъ поправился послѣ страшнаго своего приступа подагры. Я тогда часто посѣщалъ его въ гостинницѣ Демутъ, и бесѣды наши длились по многу часовъ. Въ этотъ вечеръ Тургеневъ былъ особенно оживленъ, даже почти раздраженъ, не знаю какими „непріятностями“ (какъ онъ говорилъ) въ продолженіи дня. Я этого вначалѣ не замѣчалъ. Разговоръ съѣхалъ незамѣтно на Пушкина, и мы снова спорили съ большимъ жаромъ. Однако, когда мы сошлись на которомъ-то мнѣніи, я съ удивленіемъ указалъ на это Тургеневу: мы рѣдко были согласны. Онъ расхохотался, зашагалъ быстро по комнатѣ, въ своей толстой мохнатой курточкѣ и плисовыхъ сапогахъ и, размахивая руками, громовымъ голосомъ и комично продекламировалъ: „Согласны?! Да если бъ пришла такая минута, когда бы я почувствовалъ, что въ чемъ-нибудь съ вами согласенъ, я побѣжалъ бы къ окну, растворилъ бы его и закричалъ бы на улицу проходящимъ (онъ въ эту минуту подковылялъ все еще больными своими ногами къ окну, на Мойку, и дѣлалъ жестъ, будто отворяетъ его и высовывается на набережную): „Возьмите меня, возьмите меня, и свезите меня

въ сумасшедшій домъ, я со Стасовымъ согласенъ!!!“ Я долго хохоталъ до слезъ, чуть не до истерики отъ восхищенія отъ этой талантливой комической выходки. Тургеневъ долго хохоталъ вмѣстѣ со мною, просто до упаду, и вечеръ кончился у насъ въ такомъ счастливомъ и веселомъ расположеніи духа, какъ рѣдко случалось. Скоро потомъ Тургеневъ уѣхалъ изъ Петербурга. Я тогда же разсказывалъ эту прелестную комическую сцену всѣмъ знакомымъ, нѣсколько разъ напоминалъ потомъ о ней и Тургеневу. Послѣ того, онъ нѣсколько разъ въ письмахъ и ко мнѣ, и къ другимъ своимъ знакомымъ, высказывалъ ту же самую мысль, но уже далеко не въ такой картинной, талантливой и комической формѣ. Мнѣ онъ писалъ въ апрѣлѣ 1875 года: „То, что вы говорите о Харламовѣ, меня не удивило; это въ порядкѣ вещей, зная радикальное, можно сказать, антиподное противорѣчіе нашихъ воззрѣній въ дѣлѣ искусства и литературы, и я скорѣе удивлялся случайному ихъ совпаденію въ отношеніи къ „Аннѣ Карениной“. Господи! думалось мнѣ, неужели я потерялъ столь до сихъ поръ мнѣ вѣрный критеріумъ того, что я люблю и что я ненавижу, а именно: абсолютно-противуположное мнѣніе В. В. Стасова. Но я подумалъ, что вы обмолвились...“ Въ февралѣ 1882 года онъ писалъ Д. В. Григоровичу, что я очень полезенъ ему, избавляя его часто отъ труда собственной критики: „Когда ему (В. В. Стасову) что нравится, я уже навѣрное напередъ знаю, что это мнѣ противно, и наоборотъ...“ Отъ этого всего далеко-далеко до веселаго, свѣтлаго комизма демутовской сцены.

Въ началѣ 1875 года Тургеневъ очень сильно разсердился на меня за напечатаніе въ „Пчелѣ“ отрывковъ изъ нѣкоторыхъ писемъ ко мнѣ Рѣпина, находившагося тогда за границей. Все преступленіе Рѣпина состояло въ томъ, что онъ осмѣливался судить о картинахъ и фрескахъ Рафаэля въ Римѣ (далеко, впрочемъ, не лучшихъ его созданіяхъ) со своей собственной точки зрѣнія, не по общепринятому издревле шаблону, а о новомъ французскомъ искусствѣ—тоже не по общепринятой мѣркѣ и масштабу. И то, и другое было невыносимо Тургеневу, это нарушало всѣ его привычки, весь,

давно установившійся, художественный его культъ. Онъ и самъ, въ дѣлѣ искусства, былъ совершенный классикъ, а долгое житье въ Парижѣ, въ ежедневномъ общеніи художественныхъ взглядовъ и понятій съ мужемъ мадамъ Віардо, художественнымъ критикомъ, для насъ, русскихъ, заурядным, но высоко чествуемымъ въ Парижѣ, а Тургеневу очень важнымъ и значительнымъ, въ добавокъ ко всему, по семейнымъ отношеніямъ—все это дѣлало Тургенева мало воспріимчивымъ для всякаго новаго взгляда на искусство, старое и новое. Смѣлая рѣчь и мысль молодого, страстнаго, рвущагося впередъ Рѣпина должна была звучать для него какъ преступленіе, какъ святотатство. Онъ, къ тому же, вовсе не зналъ, что́ многіе новые художники и критики Европы, помимо нашихъ, начинаютъ думать и иногда высказывать объ иныхъ созданіяхъ прежняго искусства. Это все еще до него не доходило въ блаженный его домикъ rue de Douai, 50. Рѣпинъ долженъ былъ представляться ему непростительнымъ смѣльчакомъ, дерзкимъ выскочкой. Еще болѣе казался ему преступенъ — я, осмѣлившійся печатать такія преступныя мысли, такую заносчивую критику. Мнѣ самъ Тургеневъ ничего не написалъ вначалѣ, но до меня доходили слухи, выдержки изъ его писемъ. Въ мартѣ 1875 года онъ писалъ въ Петербургъ: „Стасовъ какъ обухомъ съѣздилъ бѣднаго Рѣпина: онъ ходилъ здѣсь (въ Парижѣ) какъ ошеломленный. Вотъ чисто медвѣжья услуга. Кто не писалъ глупостей на своемъ вѣку... Теперь это понемногу забывается; но Рѣпину здѣсь не ужиться: ему, говорю это съ сожалѣніемъ, мѣсто въ Москвѣ, гдѣ въ его лицѣ прибавится одинъ новый непризнанный геній. Малый очень хорошій, но страстный, нервный и съ талантомъ очень умѣреннымъ...“ Тургеневъ пересталъ уже, такимъ образомъ, находить, какъ за четыре года прежде, въ 1871 году, что у Рѣпина *талантъ большой и несомнѣнный темпераментъ живописца*: ему несравненно выше казался Харламовъ за свой „европеизмъ“, за отсутствіе національности и личной оригинальности. Онъ его признавалъ „первымъ современнымъ портретистомъ Европы“. Впрочемъ, въ 1882 г., въ письмѣ къ Крамскому Тургеневъ опять съ большимъ по-

четомъ говоритъ про Рѣпина, какъ про художника, произведшаго большое впечатлѣніе въ Европѣ.

Лѣтомъ 1875 года я былъ въ Парижѣ, на большой международной географической выставкѣ, и желая разъяснить хоть послѣднія наши недоразумѣнія съ Тургеневымъ, я просилъ его назначить мнѣ свиданіе, гдѣ-бы намъ можно было объ многомъ и подольше поговорить. Онъ охотно принялъ мое предложеніе, и мы цѣлой компаніей завтракали и провели полъ-дня, въ августѣ мѣсяцѣ, въ одномъ ресторанѣ на бульварѣ Гаусманъ. Тургеневъ привезъ съ собою нѣсколько знакомыхъ (помню только гг. Жуковскаго и Колбасина). День былъ такой жаркій, и мы такъ разгорячились въ спорѣ, что сняли, наконецъ, свои сюртуки, и послѣ завтрака спорили, расхаживая по комнатѣ. На мѣстѣ не сидѣлось. Много спорили и о Рѣпинскихъ письмахъ, но еще болѣе о проектѣ памятника Пушкину, Антокольскаго, надъ которымъ тогда не мало потѣшалась, кромѣ Тургенева, почти и вся русская пресса, съ фельетонистами во главѣ. Тургеневъ, врагъ всякой новизны въ искусствѣ, всего болѣе нападалъ на пьедесталъ, состоящій изъ скалы, вокругъ которой шли, по крутой дорожкѣ вверхъ, къ Пушкину, сидящему на верху горы, всѣ главныя дѣйствующія лица его созданій: Борисъ Годуновъ, Мазепа, Русалка, и т. д. Тургеневъ находилъ это смѣшнымъ, карикатурнымъ. *Нигдѣ въ Европѣ такихъ пьедесталовъ не дѣлаютъ*. Что за „шествіе типовъ! ха-ха-ха-ха-ха-ха!!“. Я отстаивалъ Антокольскаго и его поэтичную, оригинальную идею, ссылался на самого Пушкина и его чудное стихотвореніе „Осень“ *),—Тургеневъ ни съ чѣмъ не соглашался, и только много разъ, сердито насмѣхаясь, повторялъ: „Шествіе типовъ, шествіе типовъ!“ Наконецъ, онъ до того разсердился, до того разгорячился, что, надѣвая снова

*) ... И забываю міръ, и въ сладкой тишинѣ
Я сладко усыпленъ моимъ воображеньемъ,
И пробуждается поэзія во мнѣ:
... И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей,
Знакомцы давніе, плоды мечты моей,
И мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ.
... Минута, и стихи свободно потекутъ...

сюртукъ и прощаясь со мною, весь раскраснѣвшійся и пламенѣющій, онъ, хотя и смѣясь и пожимая мнѣ руку, нѣсколько разъ прокричалъ мнѣ: „Врагъ, врагъ, врагъ!“

Послѣ этого, мы номѣнялись нѣсколькими письмами, очень дружелюбными, но когда, годъ съ небольшимъ спустя, появился его новый романъ „Новь“, тамъ оказался выставленнымъ въ карикатурномъ видѣ „нашъ всероссійскій критикъ, и эстетикъ, и энтузіастъ Скоропихинъ“. „Что за несносное созданіе, говоритъ про него Паклинъ. Вѣчно закипаетъ и шипитъ, ни дать ни взять, бутылка дрянныхъ кислыхъ щей. Половой на бѣгу заткнулъ ее пальцемъ вмѣсто пробки, въ горлышкѣ застрялъ пухлый изюмъ—она все брызжетъ и свиститъ; а какъ вылетитъ изъ нея вся пѣна—на днѣ остается всего нѣсколько капель прескверной жидкости, которая не только не утоляетъ ничьей жажды, но причиняетъ одну лишь рѣзь. Превредный для молодыхъ людей индивидуумъ...“ Въ концѣ романа этотъ-же самый Скоропихинъ, „знаете, нашъ исконный Аристархъ“,—хвалитъ плохихъ, безобразныхъ пѣвцовъ—„это, молъ, не то, что западное искусство! Онъ-же и нашихъ паскудныхъ живописцевъ хвалитъ. Я, молъ, прежде самъ приходилъ въ восторгъ отъ Европы, да итальянцевъ, а услышалъ Россини и подумалъ: э! э! Увидѣлъ Рафаэля: э! э! И этого э! э! нашимъ молодымъ людямъ совершенно достаточно, и они за Скоропихинымъ повторяютъ: э! э! и довольны, представьте!..“ Спустя годъ или полтора, при личномъ свиданіи въ Петербургѣ, я спрашивалъ, смѣясь, Тургенева: „Меня увѣряютъ многіе, что Скоропихинъ, это у васъ—я. Правда, Иванъ Сергѣевичъ?—Онъ въ отвѣтъ тоже смѣялся, и сказалъ: „Да, конечно, отчасти и вы, но тоже и многіе другіе...“—Ну хорошо; но неужели, Иванъ Сергѣевичъ, вы у меня только и нашли, что нѣсколько дрянныхъ капель на днѣ, отъ которыхъ только животъ рѣжетъ?—Онъ въ отвѣтъ тоже только улыбался и кое-какъ отбоярывался. Это было въ мартѣ 1879 года, когда я пришелъ посѣтить Тургенева, страдавшаго отъ подагры и лежавшаго на диванѣ въ меблированныхъ комнатахъ, на углу малой Морской и Невскаго. Мы въ это свиданіе, опять, по всегдаш-

нему, много наговорились и наспорились. Тургеневъ былъ очень оживленъ, не смотря на болѣзнь, и, по всегдашнему, утверждалъ, что русское искусство куда не далеко ушло, и далеко-далеко ему до европейскаго, особенно до французскаго искусства, его фаворита. Но это свиданіе наше кончилось совсѣмъ не такъ, какъ началось. Пришелъ навѣстить Тургенева М. Е. Салтыковъ, котораго я тутъ видѣлъ первый разъ въ жизни. Скоро рѣчь пошла о Золà и послѣднемъ его романѣ „Нанà“, о которомъ тогда такъ много вездѣ говорили. Я уже раньше слышалъ отъ В. В. Верещагина, какъ этотъ романъ не нравится М. Е. Салтыкову—и у насъ тутъ-же пошелъ о немъ горячій споръ. Мой оппонентъ ничего не находилъ въ романѣ, кромѣ цинизма и непристойностей. Я, напротивъ, находилъ въ немъ много таланта и художественности; я ссылался, какъ на судью, на самого Тургенева; я спрашивалъ его, неужели не талантлива и не художественна, напримѣръ, хоть сцена старухъ, играющихъ въ кухнѣ въ карты, въ ту минуту, когда Нана должна идти, съ отвращеніемъ, на „проклятую работу“; или, напримѣръ, сцена обѣда отставныхъ куртизанокъ, за городомъ. Тургеневъ, потягиваясь на своемъ диванѣ, соглашался со мною, что это все дѣйствительно и талантливо, и художественно. Но ему гораздо еще интереснѣе былъ нашъ оживленный споръ о Золà, и онъ, просто, точно смаковалъ какое-то пріятное кушанье. Ему было очень забавно, очень потѣшно, точно пѣтушиный бой передъ нимъ происходитъ.

Въ слѣдующемъ, 1880 году, Тургеневъ пріѣхалъ ко мнѣ въ гости, въ Парижѣ, какъ разъ въ самыя мои именины, 15 іюля, вмѣстѣ съ В. П. Гаевскимъ. Они у меня пробыли нѣсколько часовъ. Я ему рекомендовалъ молодого нашего гравера, В. В. Маттэ, только что присланнаго, для усовершенствованія въ своемъ дѣлѣ, академіей художествъ, и просилъ его позволить Маттэ снять съ себя и награвировать портретъ. Я ручался, что портретъ выйдетъ очень даровитъ и изященъ. Тургеневъ согласился, и скоро потомъ начались сеансы, на дачѣ у Тургенева, въ Буживалѣ. Но на этотъ разъ бесѣда шла у насъ всего болѣе о Пушкинскомъ торжествѣ въ Москвѣ,

откуда Тургеневъ только незадолго передъ тѣмъ воротился. Сначала ему не хотѣлось объ этомъ распространяться, такъ досадно было; но когда онъ потомъ услыхалъ, что я думаю о всемъ, происходившемъ на открытіи памятника, судя по русскимъ газетамъ, онъ мало по малу разговорился и разсказалъ, какъ ему была противна рѣчь Достоевскаго, отъ которой сходили у насъ съ ума тысячи народа, чуть не вся интеллигенція, какъ ему была невыносима вся ложь и фальшь проповѣди Достоевскаго, его мистическія разглагольствованія о „русскомъ все-человѣкѣ“, о русской „все-женщинѣ Татьянѣ“, и обо всемъ остальномъ трансцендентальномъ и завиральномъ сумбурѣ Достоевскаго, дошедшаго тогда до послѣднихъ чортиковъ своей россійской мистики. Тургеневъ былъ въ сильной досадѣ, въ сильномъ негодованіи на изумительный энтузіазмъ, обуявшій не только всю русскую толпу, но и всю русскую интеллигенцію.

Это было послѣднее личное мое свиданіе съ Тургеневымъ. Переписка между нами еще продолжалась, но мы уже больше не видались. Въ 1881 и 1882 годахъ Тургеневъ былъ сильно возбужденъ противъ меня, и это вслѣдствіе сплетенъ услужливыхъ друзей, усердно сообщавшихъ ему, что я не доволенъ послѣдними его произведеніями, каковы, напр. „Пѣснь торжествующей любви“, „Отчаянный“, „Клара Миличъ“ и проч. Не знаю, на что этимъ людямъ нужно было такое сплетничество, но сообщаемыя извѣстія сердили и раздражали Тургенева, и онъ награждалъ меня, въ письмахъ къ близкимъ, не разъ очень бранчивыми эпитетами. Все это можно найти въ напечатанномъ томѣ „Писемъ Тургенева“. Но въ концѣ 1882 и въ началѣ 1883 г. письма Тургенева ко мнѣ были полны прежней симпатіи и пріязни. Въ 1883 г., лѣтомъ, я было думалъ посѣтить его, но узналъ отъ мадамъ Віардо, въ ту минуту находившейся въ Парижѣ, что, по словамъ докторовъ, Тургеневу спасенія уже нѣтъ, и онъ доживаетъ послѣдніе свои дни. Я такъ и не рѣшился ѣхать къ нему въ Буживаль.

Послѣднее, что Тургеневъ писалъ на своемъ вѣку объ искусствѣ, это была его статья, напечатанная въ 1880 году въ „Вѣстникѣ Европы“: „Пергамскія Раскопки“. Здѣсь онъ

явился, какъ и всегда прежде, истымъ классикомъ. Его ревность къ античному искусству и скульптурѣ, однажды уже очень ярко высказанная, еще въ 1859 г., въ „Накануѣ“, въ рѣчахъ и созданіяхъ скульптора Шубина, дошла въ „Пергамскихъ Раскопкахъ“ до того, что онъ восклицалъ, въ концѣ: „Какъ я счастливъ, что я не умеръ, не доживъ до послѣднихъ впечатлѣній, что я видѣлъ все это!“ Счастье—видѣть пергамскіе мраморы! Но какое-же это счастье? Вѣдь пергамскія скульптуры—это есть только рококо́ греческаго искусства, вѣдь это давно говорятъ и пишутъ самые классики изъ классиковъ между нѣмецкими учеными и археологами. Только Тургеневу это не было извѣстно, и онъ только по напрасну усердствовалъ, наивно воображая, что эти мраморы — самая что ни есть высота и глубина греческаго искусства.

За то, онъ тоже слишкомъ усердствовалъ и въ противоположную сторону: онъ никогда не узналъ и не полюбилъ новаго русскаго искусства. Онъ слишкомъ относился къ нему какъ иностранецъ, какъ чужакъ—съ презрѣніемъ и высокомѣріемъ. Онъ никогда не уразумѣлъ ни его стремленій, ни его успѣховъ и побѣдъ. Это доказываютъ и его романы и его многочисленныя письма. Правъ былъ Крамской, говоря въ 1876 году: „Тургеневъ совершенно не виноватъ, и даже невиненъ, въ своихъ художественныхъ симпатіяхъ, такъ какъ онѣ у него вытекаютъ изъ его иностранно-французскаго склада понятій, благопріобрѣтенныхъ имъ въ послѣдніе годы жизни...“. Правда, въ 1882 году Тургеневъ писалъ именно этому же Крамскому, въ виду устройства русскихъ выставокъ въ Парижѣ: „Французское общество заинтересовалось русскимъ художествомъ *именно съ тѣхъ поръ, какъ оно получило самостоятельность* и выказало оригинальность, стало русскимъ, народнымъ“—и это уже признаніе, съ его стороны важное: вѣдь раньше Тургеневъ всегда проповѣдывалъ, что русское искусство только еще *въ будущемъ*. Но тутъ же рядомъ былъ нынче у него и коррективъ. Онъ прибавлялъ, что съ будущихъ русскихъ выставокъ въ Парижѣ должны быть удалены всѣ тѣ „произведенія нашей школы, гдѣ высказывается тенденціозность, *подчеркиванье* (обыкновенно признакъ всего

еще молодого, *незрѣлаго*), какъ несвободныя воспроизведенія народной жизни, какъ обремененныя заднею мыслью. Это козырянье, это щеголяніе самобытностью, большей частью сопряженное съ слабостью техники, и долженствующее служить ей замѣною, немедленно бросается въ глаза и охлаждаетъ, особенно людей европейскихъ, у которыхъ долгій опытъ развилъ вкусъ и чутье фальши“. Что больше могъ бы сказать противъ русскихъ художниковъ и русскаго искусства любой враждебный европеецъ? „Тенденція“—это то словечко, которымъ отмѣчаются всѣ антипатіи, всѣ непониманія; это мѣшокъ, куда можно упрятать все, что тому или другому человѣку непріятно въ искусствѣ, что стремится къ выраженію правдивой жизни, все, что гнушается условности и льстивой прилизанной фальши. Тургеневъ, великій писатель, былъ въ своихъ романахъ и повѣстяхъ по-русски реаленъ и правдивъ, но въ своихъ вкусахъ и сужденіяхъ объ искусствѣ, былъ, какъ слишкомъ многіе изъ западно-европейцевъ—врагъ реализма и жизненной правды. Съ такими понятіями, съ такими изумительными противорѣчіями онъ прожилъ весь свой вѣкъ.

II.

Письма Тургенева.

1.

Гостинница Демутъ, № 7, четвергъ, 4 марта 1871 года.

Любезнѣйшій г. Стасовъ, я боюсь, что вслѣдствіе какого-либо недоразумѣнія вы не получили пригласительнаго листа на сегодняшній вечеръ, затѣянный Рубинштейномъ, и потому, на всякій случай, увѣдомляю васъ, что сегодня, въ 10-мъ часу, собираются въ большой залѣ у Демута, и что мы надѣемся, что и вы пріѣдете.

Примите увѣреніе въ совершенномъ моемъ уваженіи.

Ив. Тургеневъ.

2.

Баденъ-Баденъ. Thiergartenstrasse, 3.
Пятница, $^{15}/_{27}$ октября 1871 г.

Почтеннѣйшій Владиміръ Васильевичъ, ваше письмо, сейчасъ мною полученное, наполнило меня точно такимъ же

безпокойствомъ на счетъ Антокольскаго, какое вы сами испытываете. Онъ дѣйствительно обѣщалъ погостить у меня здѣсь въ Баденѣ, но съ тѣхъ поръ какъ я оставилъ Петербургъ, я не имѣю о немъ никакихъ свѣдѣній. Мѣсяца два тому назадъ, или даже больше, мнѣ П. В. Анненковъ написалъ, что онъ пріѣзжалъ въ Петербургъ для наблюденія за отливкой своей статуи *) и только!.. Я боюсь, не занемогъ ли онъ гдѣ-нибудь—чего добраго—здоровье его слабое, но какъ же онъ не написалъ никому? Все это очень загадочно и, страшно думать, какая можетъ быть этому всему разгадка!

Я выѣзжаю отсюда черезъ нѣсколько дней въ Парижъ; вотъ мой адресъ: Paris, chez m-me Viardot, rue de Douai, № 48. Я сохраню ваше письмо до моего отъѣзда, на случай маловѣроятнаго прибытія Антокольскаго въ Баденъ, а самъ на всякій случай оставлю ему записку.

Я только-что прочелъ комедію Островскаго въ „Отечественныхъ Запискахъ“ **) и вынесъ изъ этого чтенія впечатлѣніе весьма подобное вашему. Причину этого и однородныхъ ему явленій въ немногихъ, да и во многихъ словахъ уяснить нелегко. Тутъ, кромѣ недостатка образованія, дѣйствуетъ и однообразность (у насъ), замкнутость исключительно литературной жизни. Островскій, напримѣръ, никогда, ни на одинъ мигъ, не выходитъ изъ круга собственной атмосферы. Мастерство зрѣетъ въ уединеніи, пріемы и формы усовершенствуются, а содержаніе чахнетъ и скудѣетъ. Даже у тѣхъ писателей русскихъ, которые, какъ говорится, слѣдятъ за „идеями“, за „вѣяніями“, это дѣлается — если не книжно, то журнально, что едва-ли не хуже.

Объ искусствѣ я судить не берусь; его часъ—мнѣ сдается—еще не наступилъ на Руси: жизнь закопошилась, да крови въ этой жизни еще нѣтъ.

Надѣюсь свидѣться съ вами зимою въ Петербургѣ, а до тѣхъ поръ будьте здоровы и примите увѣреніе въ моей преданности.

Ив. Тургеневъ.

*) „Иванъ Грозный“.

**) „Не все коту масляница“. *В. С.*

3.

Парижъ, 48, rue de Douai. Воскресенье, 25 декабря (10 ноября) 1871 г.

Мнѣ бы давно слѣдовало отвѣчать на ваше письмо, любезный Владиміръ Васильевичъ, но то хлопоты переселенія, то подагра, то работа литературная—времени и не отыскалось. Я теперь основался въ Парижѣ мѣсяца на два, въ половинѣ нашего генваря я въ Петербургѣ, если буду живъ и здоровъ.

Очень радъ я, что Антокольскій отыскался (отсылаю вамъ, кстати, ваше письмо къ нему). Брака я для него боюсь болѣе съ физической, чѣмъ съ нравственной точки зрѣнія: люди съ слабой грудью всѣ ужасные охотники, и истощаютъ себя не на художественныя произведенія. Съ вашимъ воззрѣніемъ на бракъ я—en gros—согласенъ; я бы даже расширилъ это воззрѣніе и примѣнилъ бы ко всякому постоянному общенію съ женщиной: вы знаете, браки бываютъ неоффиціальные: эта форма даже иногда является болѣе ядовитой, чѣмъ общепринятая. Вопросъ этотъ мнѣ, точно, хорошо извѣстенъ и изученъ мною основательно. Если я до сихъ поръ не коснулся его въ моихъ литературныхъ попыткахъ, такъ это просто потому, что я всегда избѣгалъ слишкомъ субъективныхъ сюжетовъ: они меня стѣсняютъ. Когда все это еще дальше отодвинется отъ меня, я, пожалуй, подумаю и постараюсь, если только охота къ писанію не пропадетъ. Очень ужъ трудно становится возиться съ этимъ кропотливымъ дѣломъ, да и удовлетворить себя съ каждымъ днемъ не легче. Я вотъ только что окончилъ большую повѣсть (для „Вѣстника Европы“), которую переписывалъ *три* раза—это своего рода Сизифова работа! Но французы говорятъ—„qui a bu, boira“. и невозможнаго нѣтъ ничего.

Въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ я прочелъ вашу статью объ академическомъ конкурсѣ и о Рѣпинѣ *). Мнѣ очень было пріятно узнать, что этотъ молодой мальчикъ такъ бодро и быстро подвигается впередъ. Въ немъ талантъ большой и несомнѣнный *темпераментъ* живописца: что важнѣе

*) Рѣчь идетъ здѣсь о картинѣ Рѣпина „Воскрешеніе дочери Іаировой“, за которую авторъ, одинъ изъ конкуррентовъ, получилъ отъ академіи художествъ 1-ю золотую медаль. *В. С.*

всего. Нельзя не порадоваться прекращенію у насъ противной Брюловщины: только тогда забьютъ у насъ живыя воды, когда эта мертвечина соскочитъ—свалится какъ струпъ.

Я здѣсь еще не осмотрѣлся, ничего и никого не видѣлъ, и потому ничего вамъ сообщить не могу. Республика очень хвораетъ — вся нація хвораетъ. Что изъ этого всего выйдетъ—извѣстно единому Богу.

Поклонитесь отъ меня Антокольскому и примите увѣреніе въ совершенномъ моемъ уваженіи и преданности.

Ив. Тургеневъ.

4.

Парижъ, 48, rue de Douai. Середа, $^{13}/_{1}$ марта 1872 г

Обращаюсь къ вамъ съ слѣдующей просьбой, почтеннѣйшій Владиміръ Васильевичъ. На-дняхъ вы получите книгу нашего добраго Ральстона: „The songs of the Russian people“. Составлена она очень добросовѣстно, по источникамъ, и мы, русскіе, обязаны всячески поощрить этотъ трудъ. Ничего подобнаго ни на одномъ европейскомъ языкѣ еще не являлось, и Ральстонъ стоитъ того, чтобы такой компетентный судья, каковъ вы, погладилъ его по головкѣ. И онъ вамъ за это спасибо скажетъ, и вашъ покорный слуга. Я полагаю, статейка въ „Вѣстникѣ Европы“ самая будетъ лучшая штука. Съ своей стороны, я напишу Стасюлевичу. Книга издана роскошно, какъ всѣ англійскія изданія.

Мой отъѣздъ изъ Парижа затянулся, такъ что раньше конца апрѣля я въ Петербургъ не попаду и пробуду тамъ недѣли три-четыре. Надѣюсь увидѣться и беззлобиво поспорить съ вами.

Извѣстите меня, пожалуйста: что Антокольскій, въ Петербургѣ? Женился? Какъ его здоровье, и что онъ дѣлаетъ?

Желаю вамъ всего хорошаго и остаюсь преданный вамъ

Ив. Тургеневъ.

5.

Парижъ, 48, rue de Douai.—Середа, $^{27}/_{15}$ Марта 1872.

Изъ письма Стасюлевича я узналъ, любезный Владиміръ Васильевичъ, что статью о Ральстонѣ будетъ писать Ны-

пинъ, а изъ вашего письма я вижу, что между вами дѣйствительно проскочила кошка, что очень сожалительно для „Вѣстника Европы“; но тутъ ничего не подѣлаешь.—Я знаю, что Ральстонъ хотѣлъ послать вамъ экземпляръ, и я полагаю, что вы его скоро получите; впрочемъ, я еще разъ извѣщу его.

Спасибо за подробности объ Антокольскомъ: онѣ очень любопытны. Надѣюсь, что онъ справился со своей задачей *), лишь-бы здоровье его не выдало.

Что-же касается до Рѣпина, то откровенно вамъ скажу, что хуже сюжета я для картины и придумать не могу **)—и искренно объ этомъ сожалѣю: тутъ какъ разъ впадешь въ казенщину, въ ходульность, „многозначительность и знаменательность“—словомъ Каульбаховщину... Бѣда! Гемициклъ Делароша ***)—на что мертвененъ,—но такъ какъ темперамента живописнаго у Делароша было столько-же, сколько у Краевскаго, то портить было нечего.

Вы напрасно воображаете, что я „недолюбливаю“ Глинку: это былъ очень крупный и оригинальный человѣкъ. Ну, остальные господа—дѣло другое, особенно Даргомыжскій—съ его „Каменнымъ Гостемъ“. Это такъ и останется однимъ изъ величайшихъ недоумѣній моей жизни, какъ могли такіе умные люди, какъ, напр. вы и Кюи, въ этихъ вялыхъ, безцвѣтныхъ, безсильныхъ—безсильныхъ—извините! до старческаго .....—речитативахъ, кое-гдѣ тоскливо пересыпанныхъ мучительными подвываніями *„для ради“* фантастичности и колорита—какъ могли вы, повторяю, въ этомъ ничтожномъ нискѣ открыть—что-же? не только музыку, но даже геніальную, новую, „дѣлающую эпоху музыку“!!?!! — Неужто это безсознательный патріотизмъ? Я, признаюсь, кромѣ святотатственнаго посягновенія на одно изъ красивѣйшихъ созданій

*) Верховыя группы: „Иванъ III“, „Ярославъ Мудрый“, „Дмитрій Донской“, „Петръ I“, для Александровскаго моста на Невѣ. *В. С.*

**) Рѣчь идетъ здѣсь о картинѣ, заказанной И. Е. Рѣпину для концертной залы „Славянскаго Базара“ въ Москвѣ: „Русскіе и славянскіе музыканты“. *В. С.*

***) Hémicycle—фрескъ Делароша въ полукруглой нишѣ актовой залы парижской „Ecole des Beaux-Arts“; здѣсь изображены, въ группахъ, знаменитѣйшіе художники Европы, за послѣднія 500 лѣтъ. *В. С.*

Пушкина — въ *этомъ* „Каменномъ Гостѣ“ — ничего не нашелъ.—Ну, а теперь можете хоть голову мнѣ рубить!

Изо всѣхъ „молодыхъ“ русскихъ музыкантовъ только у двухъ есть талантъ положительный: у Чайковскаго и у Римскаго-Корсакова. А остальныхъ всѣхъ—не какъ людей, разумѣется (какъ люди они прелестны—а какъ художниковъ)—въ куль да въ воду! Египетскій король Рампсинитъ XXIX такъ не забытъ теперь, какъ они будутъ забыты, черезъ 15 — 20 лѣтъ. Это одно меня утѣшаетъ.

Я выѣзжаю отсюда черезъ четыре недѣли, и въ концѣ апрѣля буду въ Петербургѣ, гдѣ я надѣюсь увидѣть васъ и всласть съ вами поспорить, если только вы захотите бесѣдовать съ такимъ еретикомъ, какъ я.

Дружески жму вамъ руку. Преданный вамъ

Ив. Тургеневъ.

P. S. Вы, какъ всѣ русскіе, не выставляете своего адреса—и я цѣлыхъ два часа долженъ былъ рыться въ старыхъ письмахъ и бумагахъ.

6.

Москва. На Пречистенскомъ бульварѣ, д. Удѣльной конторы. Середа $^{26}/_{14}$ Мая 1872.

Я получилъ ваше письмо отъ 17 мая только на дняхъ и здѣсь, любезный Владиміръ Васильевичъ. Когда вы его писали, я самолично былъ въ Петербургѣ (въ гостинницѣ Демута), но мнѣ сказали, что вы въ отсутствіи, и я васъ не отыскивалъ, о чемъ я теперь очень жалѣю. Впрочемъ, я въ Петербургѣ пробылъ всего нѣсколько дней. Я выѣзжаю отсюда въ Воскресенье, если позволитъ мнѣ припадокъ подагры, которому я неожиданно подвергся, но въ Петербургѣ останусь всего 24 часа,—и потому наврядъ-ли васъ увижу, тѣмъ болѣе, что и вы, можетъ быть, находитесь теперь въ Москвѣ, а я объ этомъ ничего не знаю. Приходится поспорить на бумагѣ, не на словахъ.

Почему вы полагаете, что я—не музыкантъ и не живописецъ, да сверхъ того уже и старый человѣкъ, которому

всякая фальшь наскучила, и который слушается только собственныхъ впечатлѣній, почему вы полагаете, что я заражепъ фетишизмомъ и преклоняюсь передъ европейскими авторитетами? Да провались они совсѣмъ! Я восторгаюсь отъ Глюковскихъ речитативовъ и арій не потому, что авторитеты ихъ хвалятъ, а потому, что у меня отъ первыхъ ихъ звуковъ навертываются слезы. И не авторитеты заставляютъ меня относиться съ полнымъ пренебреженіемъ къ „Каменному Гостю“, котораго я имѣлъ терпѣніе выслушать два раза не въ *сомнительномъ*, а вполнѣ мастерскомъ дешифрированіи Klavierauszug'a. Вы даже невѣрно ставите эти авторитеты. Вы, напр., полагаете, что Ари Шефферъ для французовъ (я говорю не о филистерахъ, а о художественныхъ натурахъ) и Каульбахъ для нѣмцевъ что-нибудь значатъ, тогда какъ они давно сданы въ архивъ и серьезно *никто* не говоритъ о нихъ. Что-же касается до Делакруа, то я бы пожелалъ нашей школѣ такой неправильной, неровной, но высоко геніальной натуры!

Рѣпина картину *) я видѣлъ, и съ истиннымъ соболѣзнованіемъ призналъ въ этомъ холодномъ винегретѣ живыхъ и мертвыхъ — извините — натянутую чушь, которая могла родиться только въ головѣ какого-нибудь Хлестакова... съ его „Славянскимъ Базаромъ“. И это мнѣніе мое раздѣляетъ — самъ авторъ, который просидѣлъ у меня часа два и съ сердечнымъ сокрушеніемъ говорилъ о навязанной ему темѣ, и даже сожалѣлъ, что я ходилъ смотрѣть его произведеніе, въ которомъ все-таки видѣнъ замѣчательный талантъ, но которое въ эту минуту претерпѣваетъ заслуженное фіаско. Дай Богъ, чтобы другія его темы не были такія мертворожденныя, какъ эта!

Нѣтъ, любезный Владиміръ Васильевичъ, родному художеству радоваться я буду первый, но я не могу уподобиться тому Вагнеру, о которомъ говоритъ Гете, что онъ

Mit gierger Hand nach Schätzen gräbt—
Und froh ist, wenn er Regenwürmer findet.

*) „Русскіе и славянскіе музыканты“ въ „Славянскомъ Базарѣ“, въ Москвѣ. *В. С.*

Нашелъ самородокъ—Глинку и радуйся, и гордись имъ... а этихъ всѣхъ Даргомыжскихъ, да Балакиревыхъ, да Брюловыхъ—волна смоетъ и унесетъ вмѣстѣ съ пескомъ и всяческой пылью.

Все это можетъ показаться вамъ святотатствомъ, ахинеей... Но я помню людей, которые также считали меня чуть не преступникомъ за то, что я не признавалъ Кукольника, этого *юнаго генія*... Впрочемъ, довольно.

Ни Антокольскаго здѣсь нѣтъ, ни объ его статуѣ *) не слышно ни слова. Вотъ *этого* я бы посмотрѣлъ охотно,— и въ его вещи я вѣрю, потому что у него есть *темпераментъ*, а не одно литературствующее пруженіе.

Ну, однако, въ самомъ дѣлѣ, довольно, а то что это, мы все только землю подъ собою роемъ. Не выѣдете ли въ Европу и не завернете-ли въ Парижъ? Я буду тамъ съ первыхъ чиселъ октября, и уже теперь можете, если хотите, писать мнѣ по адресу: 48, rue de Douai.

Прощайте и будьте здоровы. Преданный вамъ

Ив. Тургеневъ.

7.

Парижъ. 50, rue de Douai. Середа.
4-го ноября (25 окт.) 1874 г.

Любезный Владиміръ Васильевичъ, мнѣ очень пріятно было узнать, что г. Брюхановъ съ точностью исполнилъ мое порученіе **). Пересланный вамъ экземпляръ „Иліады“ дѣйствительно находился въ числѣ книгъ, составлявшихъ библіотеку В. Г. Бѣлинскаго. Кто могъ быть тотъ *Александръ Ивановичъ*, къ кому не однажды обращается Гнѣдичъ, и замѣтки котораго попадаются неоднократно на поляхъ? По почерку— похоже на А. И. Тургенева. Но онъ по-гречески зналъ плохо;

*) Петръ I, назначенный на всероссійскую выставку 1872 г., въ Москвѣ. *В. С.*

**) Въ 1874 г. Тургеневъ принесъ въ Даръ Императорской публичной библіотекѣ (черезъ посредство г. Брюханова) корректурный экземпляръ „Иліады“ въ переводѣ Гнѣдича, съ его поправками, а также съ поправками А. И. Красовскаго и М. Е. Лобанова. Этотъ экземпляръ принадлежалъ въ прежнее время Бѣлинскому. *В. С.*

какъ стилистъ, онъ тоже не имѣлъ особаго авторитета. Было бы интересно это разъяснить.

Хоть я и не слыву завзятымъ патріотомъ, однако, всякое проявленіе поэзіи и искусства на Руси меня глубоко радуетъ. И посему съ особымъ удовольствіемъ привѣтствую вашу двойную новость. Вы мнѣ не пишете—напечатанъ-ли „Гашишъ“ Кутузова *), или еще существуетъ только въ рукописи. Очень бы хотѣлось мнѣ его прочесть. Сюжетъ мнѣ нравится — отличная рама для разнообразныхъ картинъ. — Второе: Щербачевъ, дѣйствительно, какъ человѣкъ, производитъ впечатлѣніе невыгодное; но это ничего общаго съ талантливостью не имѣетъ, и я былъ бы весьма вамъ обязанъ, если бы вы выслали мнѣ его произведенія, какъ только они выйдутъ въ свѣтъ **). Кстати, вы напрасно полагаете, что Рубинштейнъ отзывается объ нихъ съ пренебреженіемъ; мнѣ, по крайней мѣрѣ, онъ говорилъ о г. Щербачевѣ, какъ о талантливомъ молодомъ человѣкѣ.

Здѣсь Харламовъ написалъ изумительный портретъ г-жи Віардо. Никакого нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что равнаго ему портретиста теперь въ цѣломъ мірѣ нѣтъ, и французы начинаютъ это утверждать сами.

Я все по-прежнему — да, кажется, уже и не перестану хворать.

За симъ желаю вамъ всего хорошаго; остаюсь преданный вамъ

Ив. Тургеневъ.

8.

Парижъ. 50, rue de Douai. Середа $^{25}/_{13}$ ноября 1874 г.

Любезный Владиміръ Васильевичъ, сожалѣю о невозможности (надѣюсь, временной) выслать мнѣ произведенія гг. Щербачева и Кутузова, и прошу васъ не забыть меня, когда придется.

*) Поэма графа А. А. Кутузова, написанная на тему, мною ему данную. *В. С.*

**) Рѣчь идетъ о двухъ пьесахъ для ф.-п., сочиненныхъ П. В. Щербачевымъ въ 1873—74 годахъ, и напечатанныхъ лишь позже. *В. С.*

Поступокъ Каткова достоинъ его *); этому человѣку слѣдовало бы быть бонапартистомъ,—до такой степени онъ ... . Когда печатались „Отцы и Дѣти“, меня совсѣмъ не было въ Москвѣ—я находился въ Парижѣ, а рукопись романа была передана мною г. Z., который изъ Москвы извѣщалъ меня о требованіяхъ и опасеніяхъ редакціи. Присылаю вамъ записочку этого самаго Z., который находится теперь въ Парижѣ, и прочитавъ заявленіе „Московскихъ Вѣдомостей“, пожелалъ возстановить факты. Но, *во-первыхъ*, самъ-то онъ достаточно .... человѣкъ, съ которымъ мнѣ не желательно знаться; а *во-вторыхъ*, у меня ко всякимъ литературнымъ дрязгамъ, объясненіямъ и кляузамъ — положительное отвращеніе. Чортъ ихъ совсѣмъ побери! Я все-таки виноватъ былъ въ томъ, что согласился на урѣзыванія „Русскаго Вѣстника“, но крайней мѣрѣ, не протестовалъ противъ нихъ, и еще больше въ „Дымѣ“, чѣмъ въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“. Надо было знать, съ какими ..... я имѣлъ дѣло. Вотъ ужъ точно: .....

Что сказать о г. Тютрюмовѣ **)? Самъ публично ошельмовалъ себя человѣкъ. Вотъ, никто бы его имени не помнилъ, а теперь всякій разъ, когда оно кому придетъ на память, непремѣнно къ нему присоединитъ восклицаніе: ..... или дуракъ! И, какъ подумаешь, что дуракомъ будутъ вели-

*) Въ 1865 году, императорской Публичной библіотекѣ былъ принесенъ въ даръ М. В. Трубниковой печатный экземпляръ „Отцовъ и Дѣтей“, съ дополненіями на поляхъ собственною рукою Тургенева тѣхъ мѣстъ, которыя были измѣнены или выпущены вонъ М. Н. Катковымъ, при напечатаніи этого романа въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Во время пребыванія Тургенева въ Петербургѣ, въ маѣ 1874 года, я попросилъ его засвидѣтельствовать на томъ экземплярѣ, что всѣ вставки на поляхъ писаны дѣйствительно его собственною рукою,—что онъ и сдѣлалъ. Я объ этомъ напечаталъ небольшую замѣтку въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ 1874 г., № 299. На это Катковъ отвѣчалъ, въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, № 273, что въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ всѣ измѣненія сдѣланы съ согласія самого автора, въ то время еще, когда онъ былъ на верху своего таланта и умственнаго развитія. *В. С.*

**) Извѣстная исторія живописца Тютрюмова съ В. В. Верещагинымъ, по поводу отказа этого послѣдняго отъ званія профессора, предложеннаго ему академіей художествъ. Тютрюмовъ печатно увѣрялъ нашу публику, что Верещагинъ писалъ свои картины не самъ, а нанималъ мюнхенскихъ живописцевъ. *В. С.*

чать г. Тютрюмова люди добрые и снисходительные... Постарался о себѣ человѣкъ—нечего сказать!

Здоровье мое все еще не совсѣмъ удовлетворительно: вотъ уже скоро три недѣли, какъ я не выхожу изъ комнаты.

Дружески жму вашу руку и желаю всего хорошаго. Преданный вамъ

Ив. Тургеневъ.

9.

Парижъ. rue de Douai, 50. Четвергъ, $^{24}/_{12}$ декабря 1874 г.

Любезнѣйшій Владиміръ Васильевичъ, третьяго дня получилъ я пакетецъ съ двумя экземплярами „Зигзаговъ“, и немедленно прослушалъ ихъ два раза сряду, весьма внимательно, въ отличномъ исполненіи. Къ искреннему моему сожалѣнію, мнѣ не удалось открыть въ нихъ тѣ достоинства, о которыхъ вы мнѣ писали. Не могу сказать, разовьется ли въ г. Щербачевѣ самостоятельный талантъ со временемъ, но теперь я въ немъ, кромѣ „плѣнной мысли раздраженія“, ничего не вижу. Все это навѣяно „Карнаваломъ“ Шумана, съ примѣсью Листовскихъ ничѣмъ не мотивированныхъ bizarreries; все это бѣдно мыслью, страдаетъ натугой, и скучно, и безжизненно. Первая страница мнѣ больше всего понравилась: тема казенная, но интересно разработана.

За симъ, можете, если хотите, снять мнѣ голову съ плечъ: а я все-таки благодарю васъ за вашу любезность.

Изъ послѣдняго фельетона Буренина я могъ усмотрѣть, что вы сообщили ему мое письмо къ вамъ, гдѣ я упоминалъ объ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ и Катковѣ *). Нѣтъ сомнѣнія, что это подастъ поводъ этому господину клеветать и ругаться и лгать снова; но вѣдь это спеціальный симптомъ ....., и я все-таки радъ, что Буренинъ упомянулъ объ этомъ дѣлѣ. Кто захочетъ мнѣ повѣрить, милости просимъ; а кто не захочетъ—убѣждать я того не стану.

У насъ здѣсь зима не хуже петербургской; но здоровье

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1874 г., 6 декабря, № 336.

мое поправилось—и предлога уже нѣтъ, чтобы не работать. Однако, я за работу принимаюсь плохо.

Я изрѣдка вижу Рѣпина; онъ прекрасный малый — и съ несомнѣннымъ талантомъ. Картина его подвигается *). Харламова я продолжаю считать величайшимъ современнымъ портретистомъ; придетъ время—и я надѣюсь, вы въ этомъ также убѣдитесь.

За симъ дружески жму вамъ руку и остаюсь преданный вамъ

Ив. Тургеневъ.

10.

Парижъ. 50, rue de Douai. Середа, $^{27}/_{15}$ янв. 1875.

Любезнѣйшій В. В.! Въ отвѣтъ на ваше письмо имѣю сказать одно: я могу ошибаться въ моихъ сужденіяхъ о новомъ русскомъ художествѣ, и вы имѣете полное право упрекать мое невѣжество или непониманіе; но почему вы воображаете, что я говорю такъ не въ силу собственнаго убѣжденія, или чувства, а потому, что преклоняюсь передъ чужими авторитетами? Съ какого дьявола я, уже старый человѣкъ, который всю жизнь свою ничѣмъ такъ не дорожилъ, какъ своей собственною независимостью, буду преклоняться или заискивать??! Если не чего другого, то хоть самолюбія предположите во мнѣ настолько, насколько его нужно для того, чтобы совершенно равнодушно относиться ко всяческому „qu'en dira-t-on?“ Я навѣрное на своемъ вѣку посылалъ не меньше вашего авторитетныхъ знаменитостей въ „Желтыя ворота“ — только имена имъ другія—столько же, если не болѣе громкія, чѣмъ цитированныя вами. Но то же самое чувство внутренней свободы, которое я постоянно сознаю въ себѣ — „каждый мигъ минуты“—не позволяетъ мнѣ признавать прекраснымъ то, что мнѣ не по сердцу. Въ отместку вамъ, я бы тоже могъ сказать, что и вы преклоняетесь передъ авторитетами, только эти авторитеты сочинены вами самими; но я поставилъ себѣ за правило—въ спорѣ никогда не приписы-

*) „Садко у подводнаго царя“. *В. С.*

вать противнику другихъ поводовъ и побужденій, какъ только тѣ, которые онъ самъ высказываетъ.

Словомъ, прошу васъ вѣрить, что если я нахожу Моцартовскаго „Донъ-Жуана“ геніальнымъ произведеніемъ,—а Даргомыжскаго „Донъ-Жуана“ несуразной чепухой, такъ это вовсе не потому, что Моцартъ авторитетъ и что другіе такъ думаютъ, Даргомыжскій же внѣ своего кружка никому не извѣстенъ, а просто потому, что Моцартъ мнѣ нравится, а Даргомыжскій не нравится. И „Зигзаги“ мнѣ не нравятся. Вотъ и все! По вашему, Харламовъ потому уже навѣрно плохъ, что пишетъ французской манерой, а именно французскаго то въ немъ ничего и нѣтъ—и въ его правдивости, искренности и реалистическомъ писаніи сказывается русскій человѣкъ и русскій художникъ. Когда вы съѣздите въ Москву—посмотрите на недавно конченный и выставленный имъ портретъ жены Третьякова (Сергѣя)—и скажите, было ли у насъ что-либо подобное до сихъ поръ?

Исторія съ „С.-Петербургскими Вѣдомостями“ изумительна и плачевна *); то-же вѣроятно повторится и съ „Вѣстникомъ Европы“. Воздухъ становится такой же скверный, какъ и во время нашей молодости.

Самъ я ничего не дѣлаю—хоть и поправился въ своемъ здоровьѣ—нѣтъ охоты; изъ чего-же себя насиловать!

Съ нетерпѣніемъ жду появленія романа Льва Толстого въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ **). Я вамъ еще не сказалъ спасибо за присылку мнѣ „Вальса“ Щербачева. Онъ не измѣнилъ моего мнѣнія о немъ, но я не могу не быть благодарнымъ вамъ за вашу любезность.

Желаю вамъ всего хорошаго и остаюсь преданный вамъ

Ив. Тургеневъ.

P. S. Есипова и Давыдовъ имѣли здѣсь большой успѣхъ.

---

*) Прекращеніе редакторской дѣятельности В. Ѳ. Корша. *В. С.*
**) Анна Каренина.

11.

Парижъ. 50, rue de Douai. $^{3}/_{15}$ апр. 1875 г.

Я получилъ ваше письмо, любезный Владиміръ Васильевичъ, и не замедлю исполнить ваше порученіе на счетъ Зола, котораго, дѣйствительно, довольно коротко знаю (адресъ его — Paris, 21, rue St. Georges, Batignolles). За успѣхъ, однако, не ручаюсь. Работая съ утра до вечера какъ волъ, онъ едва сводитъ концы съ концами—и на безнадежную корреспонденцію тратить время не станетъ. Если вы точно собираетесь въ Парижъ, то вотъ вамъ самый удобный случай переговорить съ нимъ.

То, что вы говорите о Харламовѣ, меня не удивило. Это въ порядкѣ вещей, зная радикальное, можно сказать антиподное, противорѣчіе нашихъ воззрѣній въ дѣлѣ искусства и литературы, и я скорѣе удивился случайному ихъ совпаденію въ отношеніи къ роману Л. Толстого.

Господи! думалось мнѣ, неужели я потерялъ столь до сихъ поръ мнѣ вѣрный критеріумъ того, что я люблю, и что я ненавижу—а именно: абсолютно-противуположное мнѣніе В. В. Стасова. Но я подумалъ, что вы вѣроятно обмолвились. И потому я ни на минуту не сомнѣваюсь въ негодности (на мои глаза) картины г. Максимова *), котораго тотчасъ же причислилъ къ списку излюбленныхъ вами гг. Даргомыжскихъ, Щербачевыхъ, Рѣпиныхъ и tutti quanti; всѣхъ этихъ полубездарностей съ пряненькой начинкой, въ которыхъ вы видите „самую суть“.

Кстати о Рѣпинѣ. Вы, по вашимъ словамъ, посмѣивались **)—а онъ здѣсь ходилъ—да и до сихъ поръ ходитъ,—какъ огорошенный: до того ловко пришлась по его темени публикація его писемъ въ „Пчелѣ!“ Просто, взвылъ чело-

*) „Приходъ колдуна на свадьбу“, картина, находившаяся на передвижной выставкѣ 1875 г., о которой я тогда-же писалъ Тургеневу, какъ о произведеніи высоко замѣчательномъ. *В. С.*

**) По поводу многочисленныхъ нападокъ на Рѣпина, въ Петербургѣ и Парижѣ, за письма его ко мнѣ о Рафаэлѣ, о старомъ итальянскомъ и новомъ французскомъ искусствѣ. *В. С.*

вѣкъ! Впрочемъ, онъ и безъ того здѣсь бы не ужился: пора ему подъ ваше крылышко — или, еще лучше, въ Москву! Тамъ настоящая его почва и среда.

Вы видите, что и я не стѣсняюсь высказывать вамъ мой настоящій образъ мыслей, какъ не стѣсняетесь и вы.

А за симъ желаю вамъ лично всего хорошаго, начиная со здоровья, и прошу вѣрить въ искренность моихъ чувствъ.

Ив. Тургеневъ.

12.

Буживаль (Boujival). Les Frênes
Понедѣльникъ, 26 іюля 1875 г.

Ваше письмо застало меня здѣсь, Владиміръ Васильевичъ— вотъ уже скоро двѣ недѣли, какъ я выѣхалъ изъ Карлсбада. Надѣюсь, что и поэму „Гашишъ“ мнѣ сюда перешлютъ. Спасибо вамъ за то, что вы меня не забываете, хотя вы правы, говоря, что ни изъ переписки нашей, ни изъ личныхъ свиданій никакого толку не выходитъ. Очень ужъ мы стоимъ на различныхъ пунктахъ.

Я остаюсь здѣсь до конца октября; въ Парижъ буду ѣздить часто—тамъ у меня постоянная квартира, rue de Douai, 50. Вы, если хотите, можете оставить тамъ свой парижскій адресъ. Можно было-бы гдѣ-нибудь позавтракать, или пообѣдать вмѣстѣ.

Мнѣ никогда и въ голову не приходило винить Рѣпина въ „*дерзости*“. Боже мой, да именно отсутствіемъ настоящей *дерзости* и страдаютъ наши полуталантики. Самъ онъ плохъ— вотъ бѣда. Будь онъ молодецъ—да ругай съ Богомъ кого хочешь! Харламовъ уже тѣмъ хорошъ, что никогда никого не ругаетъ и не хвалитъ, а дерзко *дѣлаетъ* самъ — худо ли, хорошо ли—это другой вопросъ. А то наши критиканчики, принимаясь за собственное дѣло, либо впадаютъ въ самую мизерную подражательность, либо высидятъ какую-нибудь головную придумочку — въ родѣ шествія типовъ къ Пушкину (!!!) *)—да и думаютъ, что Бога слопали! Это все—тля

*) Проектъ памятника Пушкину (въ Москвѣ) Антокольскаго. *В. С.*

и прахъ, то же старье—только съ виду молодое, а за симъ до свиданія, т. е. до новой схватки.

Примите увѣреніе въ моемъ уваженіи.

Ив. Тургеневъ.

13.

Буживаль. Les Frênes. Пятница, 6 августа 1875 г.

Владиміръ Васильевичъ, ваше желаніе повидаться со мною выражено такими любезными словами, что и я съ своей стороны спѣшу сказать, что подобная встрѣча будетъ мнѣ пріятна, хотя, конечно, дѣло безъ спора не обойдется. Если васъ это не стѣснитъ, пріѣзжайте во вторникъ, въ 11 часовъ съ $^1/_4$-ю въ Restaurant du Nouvel Opéra, 31, Boulevard Haussmann, Adolphe & Pellé (противъ задней стороны Новой оперы)—мы тамъ отлично позавтракаемъ въ отдѣльной комнаткѣ, и накричимся вдоволь.

Имѣю благодарить васъ за присланіе „Гашиша". Вещица недурная—но только. Непріятно дѣйствуетъ (особенно въ такомъ сюжетѣ!) скудость воображенія и красокъ. Перенесъ ты меня на Востокъ, да еще опьянѣлый, такъ удивляй и кружи меня до самозабвенія, а тутъ ты съ усиліемъ выдавливаешь изъ себя какія-то блѣдноватыя капельки. Описаніе *моря* недурно—и то не стоитъ двухъ тютчевскихъ стиховъ:

„Болѣзненно-яркій (сонъ) волшебно нѣмой,
Онъ вѣялъ легко надъ гремящею тьмой".

И того особеннаго *сонно*-фантастическаго нѣтъ слѣда въ этой поэмкѣ.

Дѣйствительно жаль, что вы не попали на концертъ *), хоть г-жа Віардо спѣла всего одну шубертовскую вещь (Гретхенъ).

И такъ, до свиданія во вторникъ. Преданный вамъ

Ив. Тургеневъ.

*) Концертъ съ благотворительною цѣлью, въ которомъ принимала участіе и г-жа Віардо. *В. С.*

14.

Boujival (prés Paris). Les Frênes.
Суббота, 28 августа 1875 г.

Къ сожалѣнію, Владиміръ Васильевичъ, желаемыхъ вами книгъ не могу вамъ доставить—именно онѣ-то и разобраны у меня. Я же не живу въ Парижѣ и не могу ихъ отыскивать теперь, къ тому же я на 5 дней ѣду на охоту.

Что касается до „тысячи ладовъ“ *), то приводимая вами цитата изъ Крылова говоритъ именно въ мою пользу. Что общаго, Господи, между Крыловымъ и поэзіей? Его талантъ и заслуги совсѣмъ не въ ту сторону повернуты. А вѣдь г. Кутузовъ только на то и бьетъ, чтобы говорить образно и красиво. Поищите-ка у Теофила Готье, спеціалиста по этой части, нѣчто въ родѣ „en cent façons“. Впрочемъ, къ чему спорить? У меня до сихъ поръ краска стыда жжетъ лицо, когда я вспоминаю, что мы, старые сѣдые люди, могли до крику, до изнеможенія спорить — о чемъ? О пьедесталѣ! **). Одни русскіе въ цѣломъ мірѣ способны впасть въ такое тупое младенчество! Сошлись, и давай жевать сухую траву, да еще и задыхаться, и сверкать глазами во время жеванія. Вотъ ужъ точно: „печего собакѣ дѣлать...“ Вы знаете конецъ поговорки.

Засимъ желаю вамъ всего хорошаго въ Парижѣ и на родинѣ. Преданный вамъ

Ив. Тургеневъ.

15.

Boujival (Les Frênes). Воскресенье,
5 сентября 1875 г.

Отвѣчаю на ваши вопросы, Владиміръ Васильевичъ:

1) Архитектора ***) я знаю лично только одного, m-r Poit-

*) Тургеневу не нравилось выраженіе: „карлы кувыркаются на тысячу ладовъ“, гр. Кутузова. Въ защиту, я приводилъ стихъ Крылова (Оселъ и Соловей): „на тысячу ладовъ тянулъ, переливался“. *В. С.*

**) Рѣчь идетъ о спорѣ Тургенева со мною, по поводу проекта памятника Пушкину, сочиненнаго Антокольскимъ для Москвы. *В. С.*

***) Я просилъ Тургенева порекомендовать надежнаго архитектора въ Парижѣ — для В. В. Верещагина, который въ это время намѣревался строить себѣ домъ съ мастерской въ окрестностяхъ Парижа, и просилъ меня (письмомъ изъ Индіи) заблаговременно справиться. *В. С.*

rineau, который выстроилъ мой „châlet“ здѣсь. Человѣкъ онъ честный и дѣльный, безъ особенной силы воображенія. Живетъ онъ лѣтомъ здѣсь, т. е. въ Croissy; контора его въ городѣ, Rue de Clichy, 58.

2) Сен-Санъ вернулся въ Парижъ; но жена его должна родить на дняхъ—и онъ вѣроятно въ хлопотахъ. Его адресъ: 168, Rue du faubourg St.-Honoré.

3) Вы напрасно удивляетесь и даже „ужасно“. Такъ какъ я не раболѣпствую передъ авторитетомъ современнымъ и послѣдней новой новинкой, то считаю вопросъ о „піэдесталѣ“— мизерабельнымъ, дрянной схоластикой эпигоновъ—словомъ, не стоющимъ того, чтобъ на нихъ останавливались больше минуты. Сдѣлай прежде хорошую статую; а то—ничтожнѣйшіе пустяки.

Теофилю Готье я *никакой* важности не придаю, какъ поэту; но вѣдь и г. Кутузовъ не претендуетъ на этотъ титулъ,— а какъ виртуозъ языка — (въ этомъ смыслѣ я говорилъ)— французы считаютъ его первымъ; а вѣдь въ этомъ вопросѣ— они лучшіе судьи.

4) „Rappel“ я читаю, и новыя статьи В. Гюго тоже прочелъ. Сожалѣю о томъ, что не владѣю достаточной силой выраженія, чтобы сказать до какой степени ихъ презираю—какъ и вообще *всю* его *прозу*. Радуюсь также вашему сужденію о Пушкинѣ, Гете и Моцартѣ; оно въ порядкѣ вещей. Еще бы вы ихъ любили! Вотъ ужъ тутъ бы я „ужасно“ удивился.

Желаю вамъ всего хорошаго и остаюсь преданный вамъ

Ив. Тургеневъ.

16.

Boujival Les Frênes. Châlet. Четвергъ.
$^{29}/_{17}$ іюля 1880 г.

Любезный Владиміръ Васильевичъ, со мной въ день нашего свиданія въ Парижѣ произошелъ необычайный анекдотъ: вмѣсто коробочки съ пилюлями, которую я васъ просилъ переслать Тихонравову *), я вынулъ изъ мѣшка и пер

5.

*) Профессоръ московскаго университета.

какъ стилистъ, онъ тоже не имѣлъ особаго авторитета. Было бы интересно это разъяснить.

Хоть я и не слыву завзятымъ патріотомъ, однако, всякое проявленіе поэзіи и искусства на Руси меня глубоко радуетъ. И посему съ особымъ удовольствіемъ привѣтствую вашу двойную новость. Вы мнѣ не пишете—напечатанъ-ли „Гашишъ“ Кутузова *), или еще существуетъ только въ рукописи. Очень бы хотѣлось мнѣ его прочесть. Сюжетъ мнѣ нравится — отличная рама для разнообразныхъ картинъ. — Второе: Щербачевъ, дѣйствительно, какъ человѣкъ, производитъ впечатлѣніе невыгодное; но это ничего общаго съ талантливостью не имѣетъ, и я былъ бы весьма вамъ обязанъ, если бы вы выслали мнѣ его произведенія, какъ только они выйдутъ въ свѣтъ **). Кстати, вы напрасно полагаете, что Рубинштейнъ отзывается объ нихъ съ пренебреженіемъ; мнѣ, по крайней мѣрѣ, онъ говорилъ о г. Щербачевѣ, какъ о талантливомъ молодомъ человѣкѣ.

Здѣсь Харламовъ написалъ изумительный портретъ г-жи Віардо. Никакого нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что равнаго ему портретиста теперь въ цѣломъ мірѣ нѣтъ, и французы начинаютъ это утверждать сами.

Я все по-прежнему — да, кажется, уже и не перестану хворать.

За симъ желаю вамъ всего хорошаго; остаюсь преданный вамъ

Ив. Тургеневъ.

8.

Парижъ. 50, rue de Douai. Середа $^{25}/_{13}$ ноября 1874 г.

Любезный Владиміръ Васильевичъ, сожалѣю о невозможности (надѣюсь, временной) выслать мнѣ произведенія гг. Щербачева и Кутузова, и прошу васъ не забыть меня, когда придется.

*) Поэма графа А. А. Кутузова, написанная на тему, мною ему данную. *В. С.*

**) Рѣчь идетъ о двухъ пьесахъ для ф.-п., сочиненныхъ Н. В. Щербачевымъ въ 1873—74 годахъ, и напечатанныхъ лишь позже. *В. С.*

Поступокъ Каткова достоинъ его *); этому человѣку слѣдовало бы быть бонапартистомъ,—до такой степени онъ ... . Когда печатались „Отцы и Дѣти“, меня совсѣмъ не было въ Москвѣ—я находился въ Парижѣ, а рукопись романа была передана мною г. Z., который изъ Москвы извѣщалъ меня о требованіяхъ и опасеніяхъ редакціи. Присылаю вамъ записочку этого самаго Z., который находится теперь въ Парижѣ, и прочитавъ заявленіе „Московскихъ Вѣдомостей“, пожелалъ возстановить факты. Но, *во-первыхъ*, самъ-то онъ достаточно .... человѣкъ, съ которымъ мнѣ не желательно знаться; а *во-вторыхъ*, у меня ко всякимъ литературнымъ дрязгамъ, объясненіямъ и кляузамъ — положительное отвращеніе. Чортъ ихъ совсѣмъ побери! Я все-таки виноватъ былъ въ томъ, что согласился на урѣзыванія „Русскаго Вѣстника“, по крайней мѣрѣ, не протестовалъ противъ нихъ, и еще больше въ „Дымѣ“, чѣмъ въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“. Надо было знать, съ какими ..... я имѣлъ дѣло. Вотъ ужъ точно: .....

Что сказать о г. Тютрюмовѣ **)? Самъ публично ошельмовалъ себя человѣкъ. Вотъ, никто бы его имени не помнилъ, а теперь всякій разъ, когда оно кому придетъ на память, непремѣнно къ нему присоединитъ восклицаніе: ..... или дуракъ! И, какъ подумаешь, что дуракомъ будутъ вели-

*) Въ 1865 году, императорской Публичной библіотекѣ былъ принесенъ въ даръ М. В. Трубниковой печатный экземпляръ „Отцовъ и Дѣтей“, съ дополненіями на поляхъ собственною рукою Тургенева тѣхъ мѣстъ, которыя были измѣнены или выпущены вонъ М. Н. Катковымъ, при напечатаніи этого романа въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Во время пребыванія Тургенева въ Петербургѣ, въ маѣ 1874 года, я попросилъ его засвидѣтельствовать на томъ экземплярѣ, что всѣ вставки на поляхъ писаны дѣйствительно его собственною рукою,—что онъ и сдѣлалъ. Я объ этомъ напечаталъ небольшую замѣтку въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ 1874 г., № 299. На это Катковъ отвѣчалъ, въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, № 273, что въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ всѣ измѣненія сдѣланы съ согласія самого автора, въ то время еще, когда онъ былъ на верху своего таланта и умственнаго развитія. *В. С.*

**) Извѣстная исторія живописца Тютрюмова съ В. В. Верещагинымъ, по поводу отказа этого послѣдняго отъ званія профессора, предложеннаго ему академіей художествъ. Тютрюмовъ печатно увѣрялъ нашу публику, что Верещагинъ писалъ свои картины не самъ, а нанималъ мюнхенскихъ живописцевъ. *В. С.*

какъ стилистъ, онъ тоже не имѣлъ особаго авторитета. Было бы интересно это разъяснить.

Хоть я и не слыву завзятымъ патріотомъ, однако, всякое проявленіе поэзіи и искусства на Руси меня глубоко радуетъ. И посему съ особымъ удовольствіемъ привѣтствую вашу двойную новость. Вы мнѣ не пишете—напечатанъ-ли „Гашишъ“ Кутузова *), или еще существуетъ только въ рукописи. Очень бы хотѣлось мнѣ его прочесть. Сюжетъ мнѣ нравится — отличная рама для разнообразныхъ картинъ. — Второе: Щербачевъ, дѣйствительно, какъ человѣкъ, производитъ впечатлѣніе невыгодное; но это ничего общаго съ талантливостью не имѣетъ, и я былъ бы весьма вамъ обязанъ, если бы вы выслали мнѣ его произведенія, какъ только они выйдутъ въ свѣтъ **). Кстати, вы напрасно полагаете, что Рубинштейнъ отзывается объ нихъ съ пренебреженіемъ; мнѣ, по крайней мѣрѣ, онъ говорилъ о г. Щербачевѣ, какъ о талантливомъ молодомъ человѣкѣ.

Здѣсь Харламовъ написалъ изумительный портретъ г-жи Віардо. Никакого нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что равнаго ему портретиста теперь въ цѣломъ мірѣ нѣтъ, и французы начинаютъ это утверждать сами.

Я все по-прежнему — да, кажется, уже и не перестану хворать.

За симъ желаю вамъ всего хорошаго; остаюсь преданный вамъ

Пв. Тургеневъ.

8.

Парижъ. 50, rue de Douai. Середа $^{25}/_{13}$ ноября 1874 г.

Любезный Владиміръ Васильевичъ, сожалѣю о невозможности (надѣюсь, временной) выслать мнѣ произведенія гг. Щербачева и Кутузова, и прошу васъ не забыть меня, когда придется.

*) Поэма графа А. А. Кутузова, написанная на тему, мною ему данную. *В. С.*

**) Рѣчь идетъ о двухъ пьесахъ для ф.-п., сочиненныхъ Н. В. Щербачевымъ въ 1873—74 годахъ, и напечатанныхъ лишь позже. *В. С.*

Поступокъ Каткова достоинъ его *); этому человѣку слѣдовало бы быть бонапартистомъ,—до такой степени онъ . . . . . Когда печатались „Отцы и Дѣти“, меня совсѣмъ не было въ Москвѣ—я находился въ Парижѣ, а рукопись романа была передана мною г. Z., который изъ Москвы извѣщалъ меня о требованіяхъ и опасеніяхъ редакціи. Присылаю вамъ записочку этого самаго Z., который находится теперь въ Парижѣ, и прочитавъ заявленіе „Московскихъ Вѣдомостей“, пожелалъ возстановить факты. Но, *во-первыхъ*, самъ-то онъ достаточно . . . . человѣкъ, съ которымъ мнѣ не желательно знаться; а *во-вторыхъ*, у меня ко всякимъ литературнымъ дрязгамъ, объясненіямъ и кляузамъ — положительное отвращеніе. Чортъ ихъ совсѣмъ побери! Я все-таки виноватъ былъ въ томъ, что согласился на урѣзыванія „Русскаго Вѣстника“, но крайней мѣрѣ, не протестовалъ противъ нихъ, и еще больше въ „Дымѣ“, чѣмъ въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“. Надо было знать, съ какими . . . . . я имѣлъ дѣло. Вотъ ужъ точно: . . . . . .

Что сказать о г. Тютрюмовѣ **)? Самъ публично ошельмовалъ себя человѣкъ. Вотъ, никто бы его имени не помнилъ, а теперь всякій разъ, когда оно кому придетъ на память, непремѣнно къ нему присоединитъ восклицаніе: . . . . . или дуракъ! И, какъ подумаешь, что дуракомъ будутъ вели-

---

*) Въ 1865 году, императорской Публичной библіотекѣ былъ принесенъ въ даръ М. В. Трубниковой печатный экземпляръ „Отцовъ и Дѣтей“, съ дополненіями на поляхъ собственною рукою Тургенева тѣхъ мѣстъ, которыя были измѣнены или выпущены вонъ М. Н. Катковымъ, при напечатаніи этого романа въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Во время пребыванія Тургенева въ Петербургѣ, въ маѣ 1874 года, я попросилъ его засвидѣтельствовать на томъ экземплярѣ, что всѣ вставки на поляхъ писаны дѣйствительно его собственною рукою,—что онъ и сдѣлалъ. Я объ этомъ напечаталъ небольшую замѣтку въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ 1874 г., № 299. На это Катковъ отвѣчалъ, въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, № 273, что въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ всѣ измѣненія сдѣланы съ согласія самого автора, въ то время еще, когда онъ былъ на верху своего таланта и умственнаго развитія. *В. С.*

**) Извѣстная исторія живописца Тютрюмова съ В. В. Верещагинымъ, по поводу отказа этого послѣдняго отъ званія профессора, предложеннаго ему академіей художествъ. Тютрюмовъ печатно увѣрялъ нашу публику, что Верещагинъ писалъ свои картины не самъ, а нанималъ мюнхенскихъ живописцевъ. *В. С.*

чать г. Тютрюмова люди добрые и снисходительные... Постарался о себѣ человѣкъ—нечего сказать!

Здоровье мое все еще не совсѣмъ удовлетворительно: вотъ уже скоро три недѣли, какъ я не выхожу изъ комнаты.

Дружески жму вашу руку и желаю всего хорошаго. Преданный вамъ

Ив. Тургеневъ.

9.

Парижъ. rue de Douai, 50. Четвергъ, $^{24}/_{12}$ декабря 1874 г.

Любезнѣйшій Владиміръ Васильевичъ, третьяго дня получилъ я пакетецъ съ двумя экземплярами „Зигзаговъ“, и немедленно прослушалъ ихъ два раза сряду, весьма внимательно, въ отличномъ исполненіи. Къ искреннему моему сожалѣнію, мнѣ не удалось открыть въ нихъ тѣ достоинства, о которыхъ вы мнѣ писали. Не могу сказать, разовьется ли въ г. Щербачевѣ самостоятельный талантъ со временемъ, но теперь я въ немъ, кромѣ „плѣнной мысли раздраженія“, ничего не вижу. Все это навѣяно „Карнаваломъ“ Шумана, съ примѣсью Листовскихъ ничѣмъ не мотивированныхъ bizarreries; все это бѣдно мыслью, страдаетъ натугой, и скучно, и безжизненно. Первая страница мнѣ больше всего понравилась: тема казенная, но интересно разработана.

За симъ, можете, если хотите, снять мнѣ голову съ плечъ: а я все-таки благодарю васъ за вашу любезность.

Изъ послѣдняго фельетона Буренина я могъ усмотрѣть, что вы сообщили ему мое письмо къ вамъ, гдѣ я упоминалъ объ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ и Катковѣ *). Нѣтъ сомнѣнія, что это подастъ поводъ этому господину клеветать и ругаться и лгать снова; но вѣдь это спеціальный симптомъ ....., и я все-таки радъ, что Буренинъ упомянулъ объ этомъ дѣлѣ. Кто захочетъ мнѣ повѣрить, милости просимъ; а кто не захочетъ—убѣждать я того не стану.

У насъ здѣсь зима не хуже петербургской; но здоровье

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1874 г., 6 декабря, № 336.

мое поправилось—и предлога уже нѣтъ, чтобы не работать. Однако, я за работу принимаюсь плохо.

Я изрѣдка вижу Рѣпина; онъ прекрасный малый — и съ несомнѣннымъ талантомъ. Картина его подвигается *). Харламова я продолжаю считать величайшимъ современнымъ портретистомъ; придетъ время—и я надѣюсь, вы въ этомъ также убѣдитесь.

За симъ дружески жму вамъ руку и остаюсь преданный вамъ

Ив. Тургеневъ.

10.

Парижъ. 50, rue de Douai. Середа, $^{27}/_{15}$ янв. 1875.

Любезнѣйшій В. В.! Въ отвѣтъ на ваше письмо имѣю сказать одно: я могу ошибаться въ моихъ сужденіяхъ о новомъ русскомъ художествѣ, и вы имѣете полное право упрекать мое невѣжество или непониманіе; но почему вы воображаете, что я говорю такъ не въ силу собственнаго убѣжденія, или чувства, а потому, что преклоняюсь передъ чужими авторитетами? Съ какого дьявола я, уже старый человѣкъ, который всю жизнь свою ничѣмъ такъ не дорожилъ, какъ своей собственною независимостью, буду преклоняться или заискивать??! Если не чего другого, то хоть самолюбія предположите во мнѣ настолько, насколько его нужно для того, чтобы совершенно равнодушно относиться ко всяческому „qu'en dira-t-on?“ Я навѣрное на своемъ вѣку посылалъ не меньше вашего авторитетныхъ знаменитостей въ „Желтыя ворота“— только имена имъ другія—столько же, если не болѣе громкія, чѣмъ цитированныя вами. Но то же самое чувство внутренней свободы, которое я постоянно сознаю въ себѣ — „каждый мигъ минуты“—не позволяетъ мнѣ признавать прекраснымъ то, что мнѣ не по сердцу. Въ отместку вамъ, я бы тоже могъ сказать, что и вы преклоняетесь передъ авторитетами, только эти авторитеты сочинены вами самими; но я поставилъ себѣ за правило—въ спорѣ никогда не приписы-

*) „Садко у подводнаго царя“. *В. С.*

вать противнику другихъ поводовъ и побужденій, какъ только тѣ, которые онъ самъ высказываетъ.

Словомъ, прошу васъ вѣрить, что если я нахожу Моцартовскаго „Донъ-Жуана“ геніальнымъ произведеніемъ,—а Даргомыжскаго „Донъ-Жуана“ несуразной чепухой, такъ это вовсе не потому, что Моцартъ авторитетъ и что другіе такъ думаютъ, Даргомыжскій же внѣ своего кружка никому не извѣстенъ, а просто потому, что Моцартъ мнѣ нравится, а Даргомыжскій не нравится. И „Зигзаги“ мнѣ не нравятся. Вотъ и все! По вашему, Харламовъ потому уже навѣрно плохъ, что пишетъ французской манерой, а именно французскаго то въ немъ ничего и нѣтъ—и въ его правдивости, искренности и реалистическомъ писаніи сказывается русскій человѣкъ и русскій художникъ. Когда вы съѣздите въ Москву—посмотрите на недавно конченный и выставленный имъ портретъ жены Третьякова (Сергѣя)—и скажите, было ли у насъ что-либо подобное до сихъ поръ?

Исторія съ „С.-Петербургскими Вѣдомостями“ изумительна и плачевна *); то-же вѣроятно повторится и съ „Вѣстникомъ Европы“. Воздухъ становится такой же скверный, какъ и во время нашей молодости.

Самъ я ничего не дѣлаю—хоть и поправился въ своемъ здоровьѣ—нѣтъ охоты; изъ чего-же себя насиловать!

Съ нетерпѣніемъ жду появленія романа Льва Толстого въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ **). Я вамъ еще не сказалъ спасибо за присылку мнѣ „Вальса“ Щербачева. Онъ не измѣнилъ моего мнѣнія о немъ, но я не могу не быть благодарнымъ вамъ за вашу любезность.

Желаю вамъ всего хорошаго и остаюсь преданный вамъ

Ив. Тургеневъ.

P. S. Есипова и Давыдовъ имѣли здѣсь большой успѣхъ.

---

*) Прекращеніе редакторской дѣятельности В. Ѳ. Корша. *В. С.*
**) Анна Каренина.

11.

Парижъ. 50, rue de Douai. $^{3}/_{15}$ апр. 1875 г.

Я получилъ ваше письмо, любезный Владиміръ Васильевичъ, и не замедлю исполнить ваше порученіе на счетъ Золя, котораго, дѣйствительно, довольно коротко знаю (адресъ его — Paris, 21, rue St. Georges, Batignolles). За успѣхъ, однако, не ручаюсь. Работая съ утра до вечера какъ волъ, онъ едва сводитъ концы съ концами—и на безнадежную корреспонденцію тратить время не станетъ. Если вы точно собираетесь въ Парижъ, то вотъ вамъ самый удобный случай переговорить съ нимъ.

То, что вы говорите о Харламовѣ, меня не удивило. Это въ порядкѣ вещей, зная радикальное, можно сказать антиподное, противорѣчіе нашихъ воззрѣній въ дѣлѣ искусства и литературы, и я скорѣе удивился случайному ихъ совпаденію въ отношеніи къ роману Л. Толстого.

Господи! думалось мнѣ, неужели я потерялъ столь до сихъ поръ мнѣ вѣрный критеріумъ того, что я люблю, и что я ненавижу—а именно: абсолютно-противуположное мнѣніе В. В. Стасова. Но я подумалъ, что вы вѣроятно обмолвились. И потому я ни на минуту не сомнѣваюсь въ негодности (на мои глаза) картины г. Максимова *), котораго тотчасъ же причислилъ къ списку излюбленныхъ вами гг. Даргомыжскихъ, Щербачевыхъ, Рѣпиныхъ и tutti quanti; всѣхъ этихъ полубездарностей съ пряненькой начинкой, въ которыхъ вы видите „самую суть“.

Кстати о Рѣпинѣ. Вы, по вашимъ словамъ, посмѣивались **)—а онъ здѣсь ходилъ—да и до сихъ поръ ходитъ,—какъ огорошенный: до того ловко пришлась по его темени публикація его писемъ въ „Пчелѣ!“ Просто, взвылъ чело-

*) „Приходъ колдуна на свадьбу“, картина, находившаяся на передвижной выставкѣ 1875 г., о которой я тогда-же писалъ Тургеневу, какъ о произведеніи высоко замѣчательномъ. *В. С.*

**) По поводу многочисленныхъ нападокъ на Рѣпина, въ Петербургѣ и Парижѣ, за письма его ко мнѣ о Рафаэлѣ, о старомъ итальянскомъ и новомъ французскомъ искусствѣ. *В. С.*

вѣкъ! Впрочемъ, онъ и безъ того здѣсь бы не ужился: пора ему подъ ваше крылышко — или, еще лучше, въ Москву! Тамъ настоящая его почва и среда.

Вы видите, что и я не стѣсняюсь высказывать вамъ мой настоящій образъ мыслей, какъ не стѣсняетесь и вы.

А за симъ желаю вамъ лично всего хорошаго, начиная со здоровья, и прошу вѣрить въ искренность моихъ чувствъ.

Ив. Тургеневъ.

12.

Буживаль (Boujival). Les Frênes
Понедѣльникъ, 26 іюля 1875 г.

Ваше письмо застало меня здѣсь, Владиміръ Васильевичъ— вотъ уже скоро двѣ недѣли, какъ я выѣхалъ изъ Карлсбада. Надѣюсь, что и поэму „Гашишъ“ мнѣ сюда перешлютъ. Спасибо вамъ за то, что вы меня не забываете, хотя вы правы, говоря, что ни изъ переписки нашей, ни изъ личныхъ свиданій никакого толку не выходитъ. Очень ужъ мы стоимъ на различныхъ пунктахъ.

Я остаюсь здѣсь до конца октября; въ Парижъ буду ѣздить часто—тамъ у меня постоянная квартира, rue de Douai, 50. Вы, если хотите, можете оставить тамъ свой парижскій адресъ. Можно было-бы гдѣ-нибудь позавтракать, или пообѣдать вмѣстѣ.

Мнѣ никогда и въ голову не приходило винить Рѣпина въ „*дерзости*“. Боже мой, да именно отсутствіемъ настоящей *дерзости* и страдаютъ наши полуталантики. Самъ онъ плохъ— вотъ бѣда. Будь онъ молодецъ—да ругай съ Богомъ кого хочешь! Харламовъ уже тѣмъ хорошъ, что никогда никого не ругаетъ и не хвалитъ, а дерзко *дѣлаетъ* самъ — худо ли, хорошо ли—это другой вопросъ. А то наши критиканчики, принимаясь за собственное дѣло, либо впадаютъ въ самую мизерную подражательность, либо высидятъ какую-нибудь головную придумочку — въ родѣ шествія типовъ къ Пушкину (!!!) *)—да и думаютъ, что Бога слопали! Это все—тля

*) Проектъ памятника Пушкину (въ Москвѣ) Антокольскаго. *В. С.*

и прахъ, то же старье—только съ виду молодое, а за симъ до свиданія, т. е. до новой схватки.

Примите увѣреніе въ моемъ уваженіи.

Ив. Тургеневъ.

13.

Буживаль. Les Frênes. Пятница, 6 августа 1875 г.

Владиміръ Васильевичъ, ваше желаніе повидаться со мною выражено такими любезными словами, что и я съ своей стороны спѣшу сказать, что подобная встрѣча будетъ мнѣ пріятна, хотя, конечно, дѣло безъ спора не обойдется. Если васъ это не стѣснитъ, пріѣзжайте во вторникъ, въ 11 часовъ съ $^1/_4$-ю въ Restaurant du Nouvel Opéra, 31, Boulevard Haussmann, Adolphe & Pellé (противъ задней стороны Новой оперы)—мы тамъ отлично позавтракаемъ въ отдѣльной комнаткѣ, и накричимся вдоволь.

Имѣю благодарить васъ за присланіе „Гашиша". Вещица недурная—но только. Непріятно дѣйствуетъ (особенно въ такомъ сюжетѣ!) скудость воображенія и красокъ. Перенесъ ты меня на Востокъ, да еще опьянѣлый, такъ удивляй и кружи меня до самозабвенія, а тутъ ты съ усиліемъ выдавливаешь изъ себя какія-то блѣдноватыя капельки. Описаніе *моря* недурно—и то не стоитъ двухъ тютчевскихъ стиховъ:

„Болѣзненно-яркій (сонъ) волшебно нѣмой,
Онъ вѣялъ легко надъ гремящею тьмой".

И того особеннаго *сонно*-фантастическаго нѣтъ слѣда въ этой поэмкѣ.

Дѣйствительно жаль, что вы не попали на концертъ *), хоть г-жа Віардо спѣла всего одну шубертовскую вещь (Гретхенъ).

И такъ, до свиданія во вторникъ. Преданный вамъ

Ив. Тургеневъ.

*) Концертъ съ благотворительною цѣлью, въ которомъ принимала участіе и г-жа Віардо. *В. С.*

14.

Boujival (prés Paris). Les Frênes.
Суббота, 28 августа 1875 г.

Къ сожалѣнію, Владиміръ Васильевичъ, желаемыхъ вами книгъ не могу вамъ доставить—именно онѣ-то и разобраны у меня. Я же не живу въ Парижѣ и не могу ихъ отыскивать теперь, къ тому же я на 5 дней ѣду на охоту.

Что касается до „тысячи ладовъ“ *), то приводимая вами цитата изъ Крылова говоритъ именно въ мою пользу. Что общаго, Господи, между Крыловымъ и поэзіей? Его талантъ и заслуги совсѣмъ не въ ту сторону повернуты. А вѣдь г. Кутузовъ только на то и бьетъ, чтобы говорить образно и красиво. Поищите-ка у Теофила Готье, спеціалиста по этой части, нѣчто въ родѣ „en cent façons“. Впрочемъ, къ чему спорить? У меня до сихъ поръ краска стыда жжетъ лицо, когда я вспоминаю, что мы, старые сѣдые люди, могли до крику, до изнеможенія спорить — о чемъ? О пьедесталѣ! **). Одни русскіе въ цѣломъ мірѣ способны впасть въ такое тупое младенчество! Сошлись, и давай жевать сухую траву, да еще и задыхаться, и сверкать глазами во время жеванія. Вотъ ужъ точно: „печего собакѣ дѣлать...“ Вы знаете конецъ поговорки.

Засимъ желаю вамъ всего хорошаго въ Парижѣ и на родинѣ. Преданный вамъ

Ив. Тургеневъ.

15.

Boujival (Les Frênes). Воскресенье,
5 сентября 1875 г.

Отвѣчаю на ваши вопросы, Владиміръ Васильевичъ:

1) Архитектора ***) я знаю лично только одного, m-r Poit-

*) Тургеневу не нравилось выражаніе: „карлы кувыркаются на тысячу ладовъ“, гр. Кутузова. Въ защиту, я приводилъ стихъ Крылова (Оселъ и Соловей): „на тысячу ладовъ тянулъ, переливался“. *В. С.*

**) Рѣчь идетъ о спорѣ Тургенева со мною, по поводу проекта памятника Пушкину, сочиненнаго Антокольскимъ для Москвы. *В. С.*

***) Я просилъ Тургенева порекомендовать надежнаго архитектора въ Парижѣ — для В. В. Верещагина, который въ это время намѣревался строить себѣ домъ съ мастерской въ окрестностяхъ Парижа, и просилъ меня (письмомъ изъ Индіи) заблаговременно справиться. *В. С.*

rineau, который выстроилъ мой „châlet“ здѣсь. Человѣкъ онъ честный и дѣльный, безъ особенной силы воображенія. Живетъ онъ лѣтомъ здѣсь, т. е. въ Croissy; контора его въ городѣ, Rue de Clichy, 58.

2) Сен-Санъ вернулся въ Парижъ; но жена его должна родить на дняхъ—и онъ вѣроятно въ хлопотахъ. Его адресъ: 168, Rue du faubourg St.-Honoré.

3) Вы напрасно удивляетесь и даже „ужасно“. Такъ какъ я не раболѣпствую передъ авторитетомъ современнымъ и послѣдней новой новинкой, то считаю вопросъ о „піэдесталѣ“— мизерабельнымъ, дряннои схоластикой эпигоновъ—словомъ, не стоющимъ того, чтобъ на нихъ останавливались больше минуты. Сдѣлай прежде хорошую статую; а то—ничтожнѣйшіе пустяки.

Теофилю Готье я *никакой* важности не придаю, какъ поэту; но вѣдь и г. Кутузовъ не претендуетъ на этотъ титулъ,— а какъ виртуозъ языка — (въ этомъ смыслѣ я говорилъ)— французы считаютъ его первымъ; а вѣдь въ этомъ вопросѣ— они лучшіе судьи.

4) „Rappel“ я читаю, и новыя статьи В. Гюго тоже прочелъ. Сожалѣю о томъ, что не владѣю достаточной силой выраженія, чтобы сказать до какой степени ихъ презираю—какъ и вообще *всю* его *прозу*. Радуюсь также вашему сужденію о Пушкинѣ, Гете и Моцартѣ; оно въ порядкѣ вещей. Еще бы вы ихъ любили! Вотъ ужъ тутъ бы я „ужасно“ удивился.

Желаю вамъ всего хорошаго и остаюсь преданный вамъ

Ив. Тургеневъ.

16.

Boujival Les Frênes. Châlet. Четвергъ.
$^{29}/_{17}$ іюля 1880 г.

Любезный Владиміръ Васильевичъ, со мной въ день нашего свиданія въ Парижѣ произошелъ необычайный анекдотъ, вмѣсто коробочки съ пилюлями, которую я васъ просилъ переслать Тихонравову *), я вынулъ изъ мѣшка и пер

6.

*) Профессоръ московскаго университета.

вамъ круглый японскій ящичекъ, въ которомъ находятся мои визитныя карточки!! — Хорошо, если вы догадались посмотрѣть, а то, пожалуй, вы такъ и пошлете этотъ ящичекъ Тихонравову, который ужъ совершенно ничего не поймет! Надѣюсь, что настоящее письмо придетъ еще во время: въ такомъ случаѣ я попрошу васъ визитныя карточки бросить, ящичекъ оставить у себя на память, а письма къ Тихонравову не посылать. Я уже распорядился на счетъ пилюль—и вручилъ ихъ Н. Рубинштейну, который теперь въ Парижѣ и черезъ недѣлю ѣдетъ обратно въ Москву.

Надѣюсь, что вы добрались благополучно до Питера, жму вамъ руку и остаюсь преданный вамъ

Ив. Тургеневъ.

17.

(Seine et Oise). Bougival. Les Frênes Châlet. Пятница $^{13}/_{1}$ августа 1880 г.

Любезный Владиміръ Васильевичъ, я получилъ ваше письмо, а днемъ спустя и коробочку съ карточками. Благодарю, хотя очень совѣстно, что я вамъ навязалъ такія хлопоты. Письмо къ Тихонравову истребите, такъ какъ оно теперь уже не нужно. Маттэ *) былъ у меня; онъ очень милый малый—художническая душа—но о портретѣ еще не было рѣчи. Полагаю, что послѣ-завтра (въ воскресенье) онъ опять ко мнѣ завернетъ.

Примите увѣреніе въ совершенномъ уваженіи преданнаго вамъ

Ив. Тургенева.

18.

Парижъ, 50, rue de Douai. $^{21}/_{9}$ января 1882 г.

Очень меня удивило ваше письмо, любезный г. Стасовъ. Но такъ какъ я готовъ вѣрить, что оно было вамъ внушено не столько энтузіазмомъ, возбужденнымъ въ васъ Саррою Бернаръ, сколько участіемъ ко мнѣ, то я и отвѣчу вамъ вкратцѣ. Осель **) ы упрекаете меня въ томъ, что я какъ будто подаю руку ника

*) Молодой граверъ, посланный академіею художествъ за границу на Парижскій счетъ и въ это время работавшій въ Парижѣ, въ мастерской строитъ ркера. Я представилъ его Тургеневу, и мы условились, что онъ меня (пи уетъ портретъ Тургенева съ натуры. *В. С.*

г. * и что это марает мою репутацію. Г. *, какъ человѣкъ, извѣстенъ мнѣ не хуже вашего, и руки я ему никогда не подалъ и не подамъ, какъ не подалъ ея г. Каткову; а репутацію человѣка можетъ замарать только онъ самъ, какимъ нибудь дурнымъ поступкомъ, а не первый попавшійся сплетникъ. Мнѣніе мое о статьяхъ г. * по поводу Сарры Бернаръ я высказалъ въ частномъ письмѣ къ г. ** и, конечно, не могъ ожидать, что оно станетъ публично извѣстнымъ; сожалѣю объ этомъ. Но я не привыкъ отказываться отъ своихъ мнѣній, даже тогда, когда высказанныя въ дружеской бесѣдѣ, они, противъ моей волй, становятся гласными. Да, я нахожу оцѣнку Сарры Бернаръ, сдѣланную г. *, совершенно вѣрной и справедливой. Это женщина умная, ловкая, знающая свой métier до тонкости, одаренная прелестнымъ голосомъ, съ хорошей школой, но безо всякой натуры, безъ темперамента художественнаго (который она старается замѣнить парижской похотливостью), вся прогнившая шикомъ (pourrie de chic), рекламой и позой, однообразная, холодная, сухая,— словомъ безъ искры того, что называется талантомъ въ высшемъ смыслѣ. Походка какъ у курицы, нѣмой игры никакой, движенія рукъ намѣрено-угловато-пикантныя: все это воняетъ бульваромъ, „Фигаро“ и пачули.

Вы видите, что, по моему мнѣнію, г. * еще очень снисходителенъ. Вы мнѣ цитируете Э. Зола, какъ авторитетъ, хоть и возстаете вообще противъ авторитетовъ; позвольте же и мнѣ сослаться на Э. Ожье, который сказалъ мнѣ буквально слѣдующее: „Cette femme n'a aucun talent; on dit d'elle que c'est un paquet de nerfs—c'est un paquet de ficelles“. Но отчего же, скажете вы, такая всесвѣтная репутація? А мнѣ что за дѣло? Я говорю, соображаясь съ *своимъ* чувствомъ, — и очень радъ, когда нахожу въ чувствѣ другого подтвержденіе моего. Что же касается до другого предмета, то я даже недоумѣваю, какимъ это образомъ я буду оказывать давленіе на г. N и на планъ обоихъ его изданій? И вы сами, не участвуете ли вы и въ томъ и въ другомъ?

Примите увѣреніе въ моемъ уваженіи.

Ив. Тургеневъ.

19.

Парижъ. 50, rue de Douai. $^{16}/_{4}$ декабря 1882 г.

Любезный Владиміръ Васильевичъ. Письмо ваше служитъ новымъ доказательствомъ вашей постоянно радушной готовности оказать услугу. Но я бы посовѣстился возложить на васъ такой хлопотливый трудъ. Англійскій редакторъ вполнѣ удовлетворится краткимъ указаніемъ на два, три болѣе вѣскихъ сочиненій (или статей по вопросу о русскомъ искусствѣ. Если вы полагаете, что „*Иллюстрированный каталогъ художественнаго отдѣла всероссійской выставки въ Москвѣ*“ (на французскомъ языкѣ), составленный Собко, изданный М. Боткинымъ, можетъ быть полезенъ, то попросите М. М. Стасюлевича пріобрѣсть его (на мой счетъ, конечно) и выслать его мнѣ сюда. Во всякомъ случаѣ, заранѣе благодарю васъ.

Анекдотъ, сообщенный г. Буренинымъ, совершенно выскочилъ у меня изъ головы *); я бы удивился безцеремонности господъ фельетонистовъ, если бы давно не пересталъ удивляться подобнымъ продѣлкамъ съ ихъ стороны. Все-таки прошу у васъ извиненія, хотя ужъ точно могу прибавить, что—безъ вины виноватъ.

Примите увѣреніе въ совершенномъ моемъ уваженіи.

Ив. Тургеневъ.

20.

Paris. 50, rue de Douai **). 18 января 1883 г.

Любезнѣйшій Владиміръ Васильевичъ. Виноватъ передъ вами, что не тотчасъ же далъ вамъ знать о полученіи мною списка сочиненій о русскомъ художествѣ и альбома москов-

*) „Новое Время“ 1882, 12 ноября, № 2410. Здѣсь переданъ былъ разговоръ мой съ Тургеневымъ въ Демутовой гостиницѣ, въ маѣ 1874 г., вовсе не назначавшійся для печати. Я разсказываю его выше, въ своемъ вступленіи. *В. С.*

**) Письмо это писано, подъ диктовку Тургенева, чужою рукою, и только подписано имъ самимъ. *В. С.*

ской выставки. И за то, и за другое шлю вамъ искреннее спасибо, и уже распорядился ими, какъ слѣдовало. Писать я не могъ, сперва по болѣзни, а теперь вслѣдствіе операціи, которая повергла меня въ постель, гдѣ я пролежу воронкой кверху еще дней десять.

За симъ, желая вамъ всего хорошаго, остаюсь преданнымъ

Ив. Тургеневъ.

III.

Впродолженіе моего знакомства съ Тургеневымъ мнѣ много разъ приходило въ голову сравненіе его, относительно художественныхъ вкусовъ и взглядовъ, съ другими значительнѣйшими нашими писателями. Между нимъ и остальными есть не мало, въ этомъ отношеніи, сходства, но также есть и крупная разница. Сходство состоитъ въ томъ, что всѣ они, какъ и онъ, слѣпо, не разсуждая и не разбирая, преклонялись передъ „классическимъ“ искусствомъ древняго міра, и, конечно, отдавали ему рѣшительное предпочтеніе. Что было повсюду и съ давнихъ поръ признано безусловно великимъ, то и они всѣ такимъ же признавали. Оно и понятно. Занятые спеціально своимъ собственнымъ крупнымъ дѣломъ, какую же имѣли они возможность, да и время, предаваться долгимъ и пристальнымъ изученіямъ, разборамъ, сравненіямъ? Достаточно было и того, что они къ общепринятымъ, общераспространеннымъ взглядамъ прибавляли выраженіе своей собственной талантливой натуры, высказывали на свой живописный и поэтическій ладъ то, что по преданію уже давно повторялось повсюду. Но у нихъ, при такомъ классическомъ направленіи, не было антипатіи и презрѣнія къ національному русскому искусству, какое было у Тургенева. Относительно искусства, Тургеневъ былъ образованъ и зналъ гораздо болѣе всѣхъ своихъ товарищей. Гораздо болѣе ихъ онъ видѣлъ на своемъ вѣку великихъ художественныхъ произведеній стараго и новаго времени, потому что много путешествовалъ и долго проживалъ въ Европѣ; гораздо болѣе ихъ ему случилось быть въ общеніи съ художниками, на-

шими и иностранными; гораздо болѣе ихъ онъ читалъ изъ того, что писано объ искусствѣ. Любви и интереса къ искусству у него было всегда также много. Все это вмѣстѣ навело на него отличный лоскъ европейской художественной образованности. Съ нимъ можно было, и съ великимъ наслажденіемъ, бесѣдовать о какомъ угодно художественномъ произведеніи, художникѣ, художественномъ стилѣ, школѣ. Но все это прекрасно до тѣхъ поръ, пока дѣло не касалось самыхъ корней предмета. Художественная внѣшняя образованность оказала Тургеневу въ одномъ отношеніи и плохую услугу. Она его обезличила. По своему собственному творчеству, Тургеневъ былъ коренной русскій оригинальный художникъ, характерный и самостоятельный, и всю жизнь оставался человѣкомъ со своимъ собственнымъ, ни откуда не заимствованнымъ вглядомъ на литературное творчество другихъ народовъ. Въ дѣлѣ искусства Тургеневъ являлся совсѣмъ инымъ человѣкомъ. Здѣсь онъ потерялъ самостоятельность и типичность. Долго проживъ въ Германіи и Франціи, онъ примкнулъ къ обще-европейскимъ, преимущественно французскимъ взглядамъ; и, не разбирая уже ничего самъ собою, только повторялъ, что другіе говорили около него. Всего болѣе это относилось къ новому европейскому искусству. Собственно же на русское искусство у него былъ такой взглядъ, какой бываетъ обыкновенно у француза, много видѣвшаго, но всего болѣе восхищающагося всѣмъ своимъ и высокомѣрнаго ко всему чужому, особливо къ русскому. Вотъ именно такого страннаго отношенія къ національному нашему искусству и не было у большинства другихъ нашихъ значительнѣйшихъ писателей. Какъ ни высоко, какъ ни преувеличенно иной разъ цѣнили они „классическое“ искусство, все-таки они съ извѣстной симпатіей относились и къ нашему собственному искусству. Иные даже, не взирая на свою меньшую, противъ Тургенева, художественную образованность, на меньшую свою приготовленность, вообще не взирая на всѣ внѣшнія обстоятельства, несравненно менѣе благопріятныя,—иногда гораздо болѣе Тургенева приближались къ вѣрному и глубокому пониманію даже и вообще художниковъ и художества. При-

родный свѣтлый взглядъ, инстинктивное чувство художественной правды иногда важнѣе всякой внѣшней образованности и дрессировки.

Разница между той и другой стороной казалась мнѣ такъ замѣчательна, что я подумалъ, будетъ кстати представить въ печати взгляды на искусство нашихъ крупнѣйшихъ писателей, во всемъ ихъ разнообразіи и противоположеніи.

Въ первое время молодости Пушкина, у него были самыя невысокія и самыя ординарныя требованія отъ искусства. Они не отличались ничѣмъ отъ тѣхъ требованій, какія существовали тогда у всей массы нашей малообразованной публики. Такъ, напримѣръ, въ 1825 году, когда рѣчь шла объ изданіи собранія его сочиненій, Пушкинъ писалъ своему брату Льву и своему пріятелю Плетневу: „Виньетку бы не худо, даже можно, даже нужно, даже ради Христа сдѣлайте; именно: „Психея, которая задумалась надъ цвѣткомъ“. Что, если бы волшебная кисть О. Толстого?

Нѣтъ, слишкомъ дорого!
А ужасть какъ мила!“

Графъ Ѳедоръ Толстой, авторъ сантиментально-академической „Душеньки“, казался еще Пушкину высокимъ художникомъ, его кисть—волшебною, его банальныя композиціи въ лже-классическомъ родѣ—чѣмъ-то ужасно милымъ! „Психея надъ цвѣткомъ“ казалась еще Пушкину чѣмъ-то интереснымъ и нужнымъ при его собственныхъ сочиненіяхъ, уже давно носившихъ совершенно иной характеръ, принадлежавшихъ совершенно иному міру, полныхъ жизни, правды, національности, истиннаго и высокаго таланта.

Но спустя лишь немного лѣтъ, въ 1829 году, Пушкинъ уже не „Психей“ требуетъ отъ искусства, онъ требуетъ отъ него изображеній существующаго, изображенія жизненной правды, и радуется, когда встрѣчаетъ ее у художника „....У калмыцкихъ кибитокъ пасутся уродливыя, косматыя козы, знакомыя вамъ по прекраснымъ рисункамъ Орловскаго...“ („*Путешествіе въ Арзрумъ*“). Разсматривая бюстъ императора Александра, работы Мартоса, тогда славившійся, онъ не про

совершенства скульптуры думалъ, а лишь про сущую правду изображенія:

Напрасно видятъ тутъ ошибку:
Рука искусства навела
На мраморъ этихъ устъ улыбку
И гнѣвъ на хладный лоскъ чела.
Не даромъ ликъ сей двуязыченъ,
Таковъ и былъ сей властелинъ...
(Собр. сочин., т. II, 82).

Когда, въ 1835 году, появилась въ Петербургѣ картина Брюлова „Послѣдній день Помпеи“, Пушкинъ былъ увлеченъ, какъ и всѣ. Оно и понятно. Брюловъ былъ талантъ совсѣмъ иной, чѣмъ всѣ бывшіе у насъ до него живописцы. Какое сравненіе его живая, кипучая натура, или прежніе сонные, замерзлые Егоровы и Шебуевы. У него являлось нѣчто совершенно новое, у насъ еще неслыханное и никогда еще не пробованное нашими василеостровскими полумертвыми профессорами. Пушкинъ тотчасъ нарисовалъ свое впечатлѣніе отъ „Помпеи“ въ стихотвореніи, которое, къ несчастію, осталось неоконченнымъ, но которое, даже судя по одному началу, было бы гораздо талантливѣе и поэтичнѣе, чѣмъ вся „Помпея“:

Везувій зѣвъ открылъ—дымъ хлынулъ клубомъ; пламя
Широко развилось, какъ боевое знамя... и т. д.

Въ этомъ стихотвореніи не было, какъ у Брюлова, никакой условности, ни академичности, и гораздо больше живого таланта. Но Пушкинъ былъ восхищенъ всею личностью, всею натурою Брюлова, и тотчасъ сблизился съ нимъ. „Мнѣ очень хочется привезти Брюлова въ Петербургъ, писалъ онъ женѣ. Онъ настоящій художникъ, добрый малый, и готовъ на все...“ Пушкинъ искренно восхищался не только „Помпеей“ Брюлова, но и его „Распятіемъ“ и другими его картинами и картинками, акварелями и рисунками. Сохранился разсказъ очевидца о томъ, какъ Пушкинъ сталъ однажды на колѣни, и просилъ Брюлова уступить ему одну юмористическую акварель. Все это понятно: послѣ сухости и мертвечины прежнихъ нашихъ художниковъ Александровскаго времени, Брю-

ловъ являлся какимъ-то совершенно инымъ художникомъ, живымъ, подвижнымъ, бойкимъ, берущимъ темы изъ того, что въ самомъ дѣлѣ видѣлъ собственными глазами, съ комизмомъ, ироніей или серьезностью. Что было въ Брюловѣ академическаго и итальянскаго, фальшиваго и бардачнаго, того Пушкинъ не видалъ, да и не могъ еще понимать, потому что мало видѣлъ, мало былъ знакомъ съ искусствомъ, но его восхищала уже и одна та идея, что вмѣстѣ съ Брюловымъ начинается національная, своя собственная школа. У Пушкина, кажется, вообще не слишкомъ-то лежала душа къ созданіямъ искусства прежнихъ временъ. Въ нашемъ Зимнемъ дворцѣ портреты фельдмаршала Барклая-де Толли и генераловъ 12-го г., работы ловкаго, живого, мастерского практика, но ничуть не великаго портретиста Доу, болѣе его интересовали своими историческими воспоминаніями, чѣмъ созданія прежнихъ великихъ мастеровъ. Въ своемъ высокохудожественномъ стихотвореніи „Полководецъ“, онъ говоритъ:

Тутъ нѣтъ ни сельскихъ нимфъ, ни дѣвственныхъ мадоннъ,
Ни фавновъ съ чашами, ни полногрудыхъ женъ,
Ни плясокъ, ни охотъ; а все плащи да шпаги,
Да лица, полныя воинственной отваги...
....Спокойный и угрюмый,
Онъ (*Барклай-де-Толли*), кажется, глядитъ съ презрительною думой.
Свою-ли точно мысль художникъ обнажилъ,
Когда онъ таковымъ его изобразилъ,
Или невольное то было вдохновенье,
Но Доу далъ ему такое выраженье.

Никакого „вдохновенья“ и глубины выраженія у Доу не было, и Пушкинъ изящно и поэтично фантазировалъ тутъ столько же, какъ по поводу „Послѣдняго дня Помпеи“—въ обоихъ случаяхъ его вдохновляло присутствіе въ картинѣ дыханія исторіи живой, не выдуманной, эхо когда-то дѣйствительно совершавшейся жизни. Точно также, въ своей красавицѣ-женѣ онъ видѣлъ живую Мадонну, „чистѣйшей прелести чистѣйшій образецъ“, которой портрета онъ желалъ для „простого угла своего“ болѣе, чѣмъ всѣхъ созданій прежнихъ великихъ мастеровъ въ музеѣ.

„Не множествомъ картинъ старинныхъ мастеровъ
Украсить я желалъ свою обитель,
Чтобъ суевѣрно имъ дивился посѣтитель,
Внимая важному сужденью знатоковъ.
Въ простомъ углу моемъ, средь медленныхъ трудовъ,
Одной картины я желалъ быть вѣчно зритель“ и т. д.

Картины музеевъ, пускай и высоко талантливыя—что-то еще для него далекое, сочиненное; всѣ эти „сельскія нимфы, дѣвственныя мадонны, фавны съ чашами, полногрудыя жены, пляски, охоты“—все это еще лишь предметы для суевѣрнаго дивованья посѣтителя и важнаго сужденія знатоковъ. Въ обоихъ стихотвореніяхъ живыя или историческія личности живой русской дѣйствительности кажутся ему дороже и ближе всѣхъ созданій чуждаго древняго творчества. Такъ точно и въ скульптурѣ. Онъ всегда высоко цѣнилъ античныя созданія, въ чудныхъ стихахъ рисовалъ „Аполлона — идеалъ“, „Ніобею—печаль“, исподлобья глядящаго, дуя въ цѣвницу сатира“, „Зевса-громовержца“; когда же два молодыхъ скульптора, Пименовъ и Логановскій, вылѣпили своихъ „Бабочника“ и „Свачника“, Пушкинъ въ восторгѣ воскликнулъ: „Слава Богу! Наконецъ, и скульптура въ Россіи явилась народная!“, и въ чудесномъ „экспромтѣ“ тутъ же написанномъ, картинно нарисовалъ фигуру „Бабочника“, а въ другомъ стихотвореніи, столько же изящномъ, говоря про „Свачника“, сказалъ:

„Вотъ товарищъ тебѣ, Дискоболъ! онъ достоинъ, клянуся,
Дружно обнявшись съ тобой, послѣ игры отдыхать...“

Конечно, Пушкинъ во многомъ тутъ ошибался: ни та, ни другая статуя не были еще высокими художественными созданіями, и никогда не могли равняться съ превосходнѣйшими античными созданіями: статуи Пименова и Логановскаго были еще совершенно академичны. Но драгоцѣнны и симпатичны тутъ самый энтузіазмъ и вдохновеніе Пушкина, его восхищеніе отъ новыхъ произведеній, казавшихся ему представителями новаго русскаго искусства, самостоятельнаго и національнаго; дорого намъ то чувство Пушкина, которое учило

его не быть раболѣпнымъ только поклонникомъ стараго и чужого искусства, но смѣть чего-то талантливаго, высокаго и значительнаго ожидать также и отъ своего собственнаго національнаго искусства.

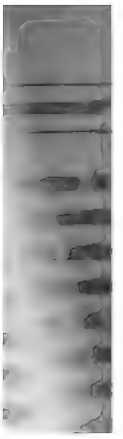
Точно такъ было для Пушкина и въ музыкѣ. Въ молодыхъ годахъ своихъ онъ только съ почтеніемъ повторялъ знаменитыя имена старинныхъ авторовъ, которыхъ сочиненій онъ вовсе не зналъ. Онъ говоритъ сестрѣ:

...Иль звучнымъ фортепьяно,
Подъ бѣглою рукой,
Моцарта оживляешь?
Иль тоны повторяешь
Пиччини и Рамо?

Въ 20-хъ годахъ онъ приходилъ, какъ и всѣ, въ великое восхищеніе отъ плохихъ итальянскихъ, модныхъ тогда оперъ и плохихъ итальянскихъ пѣвцовъ, слышанныхъ имъ въ Одессѣ. „Одесская ресторація и итальянская опера напомнили мнѣ старину, и, ей-Богу, обновили мнѣ душу“, пишетъ онъ въ 1823 г. брату Льву, хотя Вигель разсказываетъ, что тогда въ Одессѣ пѣвцы были все „народъ кочевой“, и „что за исполненіе! А всѣ согласно хвалили, хлопали—такъ ужъ было принято: обычай, мода...“ Но скоро, среди безцвѣтнаго итальянизма, владѣвшаго въ ту пору всѣми вкусами и помышленіями публики, Пушкинъ какъ-то инстинктивно сталъ по-немногу обращаться къ элементу „національности“ и характерности въ музыкѣ. Въ 1828 году онъ пришелъ въ восхищеніе отъ характерной восточной мелодіи, записанной Глинкой, и написалъ на нее свое поэтическое стихотвореніе:

„Не пой, красавица, при мнѣ
Ты пѣсенъ Грузіи печальныхъ...“

Невольно вспоминаешь при этомъ Байрона, приходящаго въ восторгъ отъ „еврейскихъ мелодій“ и пишущаго на нихъ цѣлый рядъ своихъ знаменитыхъ стихотвореній. Но когда, въ 1836 г., Глинка выступилъ съ первою *русскою* оперою, Пушкинъ приходилъ отъ нея въ великое восхищеніе, и въ экспромтѣ говорилъ:



„Пой въ восторгѣ, русскій хоръ:
Вышла новая новинка,
Веселися Русь, нашъ Глинка,
Ужъ не глинка, а фарфоръ".

Всѣ эти примѣры, вмѣстѣ взятые, показываютъ, жется, довольно ясно, какъ сильно Пушкинъ былъ кнутъ идеею національнаго русскаго искусства, какъ жадно ждалъ, какъ твердо на него надѣялся и какъ восхищался каждымъ его, иногда даже обманчивым блескомъ. Мнѣ кажется, проживи Пушкинъ гораздо и увидь онъ новое, здоровое, оригинальное, могучее, нальное развитіе нашего искусства 60-хъ годовъ, он боко сочувствовалъ бы ему, и никогда не стоялъ бы в презирателей и гонителей его.

Совсѣмъ другое явленіе представляетъ собою современ товарищъ и другъ Пушкина—Жуковскій. Онъ относил русскому искусству лишь со стороны почтительнаго евр ства, оффиціальнаго патріотизма и сентиментальнаго піэт. Жуковскій безмѣрно восхищался Брюловымъ и его „Помп признавалъ его величайшимъ геніемъ, называлъ его „В Божіей Матери на небо"—богоноснымъ видѣніемъ (точ точь какъ раньше того называлъ „видѣніемъ" и „откр ніемъ"—Сикстинскую Мадонну Рафаэля), и проводилъ ми часовъ въ энтузіастномъ нѣмомъ созерцаніи передъ его „І пятіемъ". Однако онъ все-таки писалъ въ письмѣ къ ве кой княгинѣ Маріи Николаевнѣ, что сильно побанвается, „геній Брюлова погаснетъ, не оставивъ ничего, что прос вило бы его отечество"; что какъ ни хороши отдѣльныя час „Помпеи", но все это „еще не историческія картины", Брюлову „не дать ничего подобнаго цвѣту канувшихъ въ вѣ ность XV и XVI вѣковъ"; что онъ желалъ бы Брюлову тог чтобы онъ къ своему *итальянскому мастерству* присоеди нилъ и идеальность, и глубокое чувство религіозности гер манскихъ живописцевъ" (Овербека и Корнеліуса онъ признавалъ, за ихъ ханжество, „первыми живописцами нашего вѣка"). Но въ концѣ концовъ онъ вѣрилъ, что императоръ Николай своимъ „приказомъ" можетъ заставить Брюлова со-

имъ помышленія.
Гоголь отозвался
музыку русскихъ
это было одинъ
ни про какую
улся. Для него
овременника-
ской народной

за мы не имѣ-
еніямъ. Лишь
„неконченной
ртретовъ съ
вѣсти „Пор-
у него ка-
го исключи-
вской" раз-
всякаго ис-
ть сверху.
иво; каза-
глазахъ и
вѣ что-то
али тѣмъ
ые глаза
зненный
ы ком-
ла бо-
орымъ
ли ее
ѣсти"
ни-
уки.
же-
что
не-
ла-
а-

витіе вкуса, и незнающій, что такое искусство. Они *первыя*, которымъ сужденъ завидный удѣлъ пользоваться всемірною славою...“ Про Иванова онъ писалъ: „Картина его—явленіе небывалое... Подобнаго явленія еще не показывалось отъ временъ Рафаэля и Леонарда-да-Винча...“ Какъ разобраться тутъ, въ этомъ восторженномъ, совершенно равномъ, восхваленіи личностей и созданій, рѣшительно противоположныхъ и исключающихъ одни другихъ? Вообще-же говоря, живопись казалась Гоголю, какъ и другія искусства, небеснымъ даромъ, „посланнымъ Зиждителемъ міріадъ, изъ благости и состраданія къ людямъ, для того, чтобъ украсить міръ...“ Задача ея — „быть выраженіемъ всего того, что имѣетъ таинственно-высокій міръ христіанства...“ „Намекъ о божественномъ, небесномъ раѣ заключенъ для человѣка въ искусствѣ, и по тому одному оно уже выше всего...“ При этомъ Гоголь проповѣдывалъ безпредѣльное раболѣпіе передъ итальянскими классиками XVI вѣка,—раболѣпіе слѣпое и неразсуждающее—и ставилъ въ величайшую заслугу своему идеально-превосходному молодому художнику (въ „Портретѣ“), что „ничего онъ не оканчивалъ безъ того, чтобъ не провѣрить себя нѣсколько разъ съ великими учителями прежняго времени, и чтобы не прочесть въ ихъ созданіяхъ безмолвнаго и краснорѣчиваго себѣ совѣта...“ О русской національной школѣ, о современныхъ сюжетахъ для живописи у Гоголя и помышленія не было. Его живописцы все еще пишутъ святыхъ да „Психей“, все остальное казалось Гоголю мелкимъ, низкимъ, недостойнымъ. Какъ это все было непохоже на Гоголя, правдиваго художника-реалиста въ его собственныхъ великихъ созданіяхъ! Музыка казалась Гоголю точно также созданною только для всего божественнаго, религіознаго, безпредѣльно-идеальнаго: „Она отрываетъ человѣка отъ земли его, оглушаетъ его громомъ могучихъ звуковъ и разомъ погружаетъ его въ свой міръ. Невидимая, сладкогласная, она проникла весь міръ. Она томительна и мятежна, но могущественнѣе и восторженнѣе подъ безконечными, темными сводами катедрали, гдѣ тысячи поверженныхъ на колѣни молельщиковъ стремитъ она въ одно согласное

движеніе, обнажаетъ до глубины сердечныя имъ помышленія, кружитъ и несется съ ними горѣ...“ Правда Гоголь отозвался однажды съ энтузіазмомъ, сверхъ того, и про музыку русскихъ и малороссійскихъ пѣсенъ („Арабески“), но это было одинъ единственный разъ во всю жизнь, а затѣмъ ни про какую другую музыку онъ уже никогда и не заикнулся. Для него точно никогда не бывало даже великаго его современника— Глинки, создателя цѣлаго новаго міра: русской народной музыки.

Про симпатіи Лермонтова въ дѣлѣ искусства мы не имѣемъ почти вовсе никакого извѣстія по его твореніямъ. Лишь въ отрывкахъ изъ „неконченнаго романа“ и „неконченной повѣсти“ Лермонтовъ описываетъ нѣсколько портретовъ съ натуры, немного на манеръ Гоголя въ его повѣсти „Портретъ“. Вездѣ, какъ и тамъ, на первомъ планѣ у него какое-то необыкновенное выраженіе глазъ какого-то исключительнаго, страннаго оригинала. Въ „Княгинѣ Лиговской“ разсказывалось: „Лицо было написано прямо, безо всякаго искусственнаго наклоненія или оборота; свѣтъ падалъ сверху, платье было набросано грубо, темно и безотчетливо; казалось, вся мысль художника сосредоточивалась въ глазахъ и улыбкѣ. Лобъ, казалось, имѣлъ въ своемъ устройствѣ что-то необыкновенное. Глаза, устремленные впередъ, блистали тѣмъ страшнымъ блескомъ, которымъ иногда блещутъ живые глаза сквозь прорѣзи черной маски. Испытующій и укоризненный лучъ ихъ, казалось, слѣдовалъ за вами во всѣ углы комнаты, и улыбка, растягивая узкія и старыя губы, была болѣе презрительная, чѣмъ насмѣшливая. Товарищи, которымъ Жоржъ съ восторгомъ показывалъ эту голову, называли ее порядочной картинкой...“ Въ „Отрывкѣ изъ начатой повѣсти“ Лермонтовъ разсказываетъ: „Казалось, этотъ портретъ писанъ несмѣлой ученической кистью; платье, волосы, руки, перстни—все было очень плохо сдѣлано; за то въ выраженіи лица, особенно губъ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глазъ оторвать; въ линіи рта былъ какой-то неправильный изгибъ, недоступный искусству, и, конечно, начертанный безсознательно, придававшій лицу выраженіе на-

смѣшливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случалось-ли вамъ на замороженномъ стеклѣ, или въ зубчатой тѣни, случайно наброшенной на стѣнѣ какимъ-нибудь предметомъ, различать профиль человѣческаго лица, профиль иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить ихъ на бумагу — вамъ не удастся; попробуйте на стѣнѣ обрисовать карандашомъ силуэтъ, васъ такъ сильно поразившій, и очарованіе исчезаетъ. Рука человѣка никогда съ намѣреніемъ не произведетъ этихъ линій; математически малое отступленіе—и прежнее выраженіе погибло невозвратно. Въ лицѣ портрета дышало именно то неизъяснимое, возможное только генію или случаю...“ Эти разсказы о необыкновенныхъ портретахъ съ поразительнымъ сверхъестественнымъ выраженіемъ, удавшимся художникамъ вовсе не особенно талантливымъ — только что фантастичны и ничего болѣе, и еще ничего не говорятъ о художественныхъ вкусахъ и понятіяхъ Лермонтова. Но можно предполагать, что проживи онъ дольше, онъ жадно искалъ-бы народности въ искусствѣ. По крайней мѣрѣ, относительно музыки мы можемъ это заключить по слѣдующимъ строкамъ изъ его рукописныхъ замѣтокъ: „Когда я былъ трехъ лѣтъ, то была пѣсня, отъ которой я плакалъ; я не могу теперь ее вспомнить, но увѣренъ, что еслибъ услыхалъ ее, она-бы произвела прежнее дѣйствіе. Ее пѣвала мнѣ покойная мать... Если захочу вдаться въ поэзію народную, то вѣрно нигдѣ больше не буду ее искать, какъ въ русскихъ пѣсняхъ. Какъ жалко, что у меня была мамушка нѣмка, а не русская—я не слыхалъ сказокъ народныхъ: въ нихъ вѣрно больше поэзіи, чѣмъ во всей французской словесности...“ Когда такой могучій и великолѣпный талантъ, какъ Лермонтовъ, съ такою страстною симпатіею смотритъ на проявленія хоть нѣкоторыхъ сторонъ народнаго искусства, мудрено думать, чтобъ не были ему дороги и другія его проявленія. Мнѣ представляется, что доживи Лермонтовъ до лѣтъ зрѣлости, онъ столько же мало, какъ Пушкинъ, способенъ былъ-бы много лѣтъ прожить въ Парижѣ, или гдѣ-нибудь въ Германіи, и, прильнувъ всей душою къ иностранному искусству, съ презрѣніемъ смотрѣть на свое народное.

Г—ъ не былъ ни знатокъ, ни особенный любитель искусства, однако, при всякомъ представившемся случаѣ онъ бросался къ нему съ искреннею горячностью. Мысль объ исключительномъ значеніи собственно русскихъ художниковъ всегда играла у него преобладающую роль. Въ молодыхъ своихъ годахъ, живя въ Вяткѣ, онъ сблизился съ Витбергомъ, художественнымъ фантазеромъ, мечтавшимъ, при Александрѣ I, создать такой храмъ въ Москвѣ, который долженъ былъ даже „перевѣсить славу храма св. Петра въ Римѣ“. Выслушавъ всѣ разсказы сосланнаго по интригѣ и клеветѣ Витберга, проглядѣвъ его рисунки, Г—ъ пришелъ въ великій энтузіазмъ, и проповѣдывалъ потомъ, что онъ былъ „великій талантъ среди мелочнаго времени“ и невинная страдальческая жертва; старался убѣдить своихъ современниковъ, что храмъ Витберга, будь онъ сооруженъ, былъ былъ бы несравненнымъ созданіемъ русскаго художества. Г—ъ ошибался, у Витберга никакого таланта не было, онъ былъ только дилетантъ съ академическими вкусами стариннаго времени, и это, въ настоящее время, уже достаточно доказано. Но убѣжденіе его въ возможности русскаго великаго художественнаго созданія, не уступающаго величайшимъ созданіямъ другихъ европейскихъ народовъ, сознаніе нашей національной самостоятельности въ искусствѣ, глубокое сочувствіе ей — вотъ что важно было и драгоцѣнно въ настроеніи и проповѣди Г—а. Впослѣдствіи, когда нашъ великій художникъ, живописецъ Ивановъ, пріѣхалъ къ нему, въ 1857 году, въ Лондонъ, чтобы „зачерпнуть разъясненіе мыслей своихъ“ на счетъ необходимости обновленія современнаго искусства, Г—ъ, послѣ долгой и важной бесѣды, весь въ слезахъ, бросился обнимать Иванова и сказалъ ему: „Не знаю, сыщете-ли вы формы вашимъ идеаламъ, но вы подаете не только великій примѣръ художникамъ, но даете свидѣтельство о той непочатой, цѣльной натурѣ русской, которую мы знаемъ чутьемъ, о которой догадываемся сердцемъ, и за которую, вопреки всему дѣлающемуся у насъ, мы такъ страстно любимъ Россію, такъ горячо надѣемся на ея будущность“... Вѣра въ будущую художественную Россію была тѣмъ глубже и сильнѣе у Г—а,

совершенства скульптуры думалъ, а лишь про сущую правду изображенія:

Напрасно видятъ тутъ ошибку:
Рука искусства навела
На мраморъ этихъ устъ улыбку
И гнѣвъ на хладный лоскъ чела.
Не даромъ ликъ сей двуязыченъ,
Таковъ и былъ сей властелинъ...
(Собр. сочин., т. II, 82).

Когда, въ 1835 году, появилась въ Петербургѣ картина Брюлова „Послѣдній день Помпеи“, Пушкинъ былъ увлеченъ, какъ и всѣ. Оно и понятно. Брюловъ былъ талантъ совсѣмъ иной, чѣмъ всѣ бывшіе у насъ до него живописцы. Какое сравненіе его живая, кипучая натура, или прежніе сонные, замерзлые Егоровы и Шебуевы. У него являлось нѣчто совершенно новое, у насъ еще неслыханное и никогда еще не пробованное нашими василеостровскими полумертвыми профессорами. Пушкинъ тотчасъ нарисовалъ свое впечатлѣніе отъ „Помпеи“ въ стихотвореніи, которое, къ несчастію, осталось неоконченнымъ, но которое, даже судя по одному началу, было бы гораздо талантливѣе и поэтичнѣе, чѣмъ вся „Помпея“:

Везувій зѣвъ открылъ—дымъ хлынулъ клубомъ; пламя
Широко развилось, какъ боевое знамя... и т. д.

Въ этомъ стихотвореніи не было, какъ у Брюлова, никакой условности, ни академичности, и гораздо больше живого таланта. Но Пушкинъ былъ восхищенъ всею личностью, всею натурою Брюлова, и тотчасъ сблизился съ нимъ. „Мнѣ очень хочется привезти Брюлова въ Петербургъ, писалъ онъ женѣ. Онъ настоящій художникъ, добрый малый, и готовъ на все...“ Пушкинъ искренно восхищался не только „Помпеей“ Брюлова, но и его „Распятіемъ“ и другими его картинами и картинками, акварелями и рисунками. Сохранился разсказъ очевидца о томъ, какъ Пушкинъ сталъ однажды на колѣни, и просилъ Брюлова уступить ему одну юмористическую акварель. Все это понятно: послѣ сухости и мертвечины прежнихъ нашихъ художниковъ Александровскаго времени, Брю-

ловъ являлся какимъ-то совершенно инымъ художникомъ, живымъ, подвижнымъ, бойкимъ, берущимъ темы изъ того, что въ самомъ дѣлѣ видѣлъ собственными глазами, съ комизмомъ, ироніей или серьезностью. Что было въ Брюловѣ академическаго и итальянскаго, фальшиваго и бардачнаго, того Пушкинъ не видалъ, да и не могъ еще понимать, потому что мало видѣлъ, мало былъ знакомъ съ искусствомъ, но его восхищала уже и одна та идея, что вмѣстѣ съ Брюловымъ начинается національная, своя собственная школа. У Пушкина, кажется, вообще не слишкомъ-то лежала душа къ созданіямъ искусства прежнихъ временъ. Въ нашемъ Зимнемъ дворцѣ портреты фельдмаршала Барклая-де Толли и генераловъ 12-го г., работы ловкаго, живого, мастерского практика, но ничуть не великаго портретиста Доу, болѣе его интересовали своими историческими воспоминаніями, чѣмъ созданія прежнихъ великихъ мастеровъ. Въ своемъ высокохудожественномъ стихотвореніи „Полководецъ“, онъ говоритъ:

Тутъ нѣтъ ни сельскихъ нимфъ, ни дѣвственныхъ мадоннъ,
Ни фавновъ съ чашами, ни полногрудыхъ женъ,
Ни плясокъ, ни охотъ; а все плащи да шпаги,
Да лица, полныя воинственной отваги...
....Спокойный и угрюмый,
Онъ (*Барклай-де-Толли*), кажется, глядитъ съ презрительною думой.
Свою-ли точно мысль художникъ обнажилъ,
Когда онъ таковымъ его изобразилъ,
Или невольное то было вдохновенье,
Но Доу далъ ему такое выраженье.

Никакого „вдохновенья“ и глубины выраженія у Доу не было, и Пушкинъ изящно и поэтично фантазировалъ тутъ столько же, какъ по поводу „Послѣдняго дня Помпеи“—въ обоихъ случаяхъ его вдохновляло присутствіе въ картинѣ дыханія исторіи живой, не выдуманной, эхо когда-то дѣйствительно совершавшейся жизни. Точно также, въ своей красавицѣ-женѣ онъ видѣлъ живую Мадонну, „чистѣйшей прелести чистѣйшій образецъ“, которой портрета онъ желалъ для „простого угла своего“ болѣе, чѣмъ всѣхъ созданій прежнихъ великихъ мастеровъ въ музеѣ.

„Не множествомъ картинъ старинныхъ мастеровъ
Украсить я желалъ свою обитель,
Чтобъ суевѣрно имъ дивился посѣтитель,
Внимая важному сужденью знатоковъ.
Въ простомъ углу моемъ, средь медленныхъ трудовъ,
Одной картины я желалъ быть вѣчно зритель“ и т. д.

Картины музеевъ, пускай и высоко талантливыя—что-то еще для него далекое, сочиненное; всѣ эти „сельскія нимфы, дѣвственныя мадонны, фавны съ чашами, полногрудыя жены, пляски, охоты“—все это еще лишь предметы для суевѣрнаго дивованья посѣтителя и важнаго сужденія знатоковъ. Въ обоихъ стихотвореніяхъ живыя или историческія личности живой русской дѣйствительности кажутся ему дороже и ближе всѣхъ созданій чуждаго древняго творчества. Такъ точно и въ скульптурѣ. Онъ всегда высоко цѣнилъ античныя созданія, въ чудныхъ стихахъ рисовалъ „Аполлона — идеалъ“, „Ніобею—печаль“, исподлобья глядящаго, дуя въ цѣвницу сатира“, „Зевса-громовержца“; когда же два молодыхъ скульптора, Пименовъ и Логановскій, вылѣпили своихъ „Бабочника“ и „Сваечника“, Пушкинъ въ восторгѣ воскликнулъ: „Слава Богу! Наконецъ, и скульптура въ Россіи явилась народная!“, и въ чудесномъ „экспромтѣ“ тутъ же написанномъ, картинно нарисовалъ фигуру „Бабочника“, а въ другомъ стихотвореніи, столько же изящномъ, говоря про „Сваечника“, сказалъ:

„Вотъ товарищъ тебѣ, Дискоболъ! онъ достоинъ, клянуся,
Дружно обнявшись съ тобой, послѣ игры отдыхать...“

Конечно, Пушкинъ во многомъ тутъ ошибался: ни та, ни другая статуя не были еще высокими художественными созданіями, и никогда не могли равняться съ превосходнѣйшими античными созданіями: статуи Пименова и Логановскаго были еще совершенно академичны. Но драгоцѣнны и симпатичны тутъ самый энтузіазмъ и вдохновеніе Пушкина, его восхищеніе отъ новыхъ произведеній, казавшихся ему представителями новаго русскаго искусства, самостоятельнаго и національнаго; дорого намъ то чувство Пушкина, которое учило

его не быть раболѣпнымъ только поклонникомъ стараго и чужого искусства, но смѣть чего-то талантливаго, высокаго и значительнаго ожидать также и отъ своего собственнаго національнаго искусства.

Точно такъ было для Пушкина и въ музыкѣ. Въ молодыхъ годахъ своихъ онъ только съ почтеніемъ повторялъ знаменитыя имена старинныхъ авторовъ, которыхъ сочиненій онъ вовсе не зналъ. Онъ говоритъ сестрѣ:

...Иль звучнымъ фортепьяно,
Подъ бѣглою рукой,
Моцарта оживляешь?
Иль тоны повторяешь
Пиччини и Рамо?

Въ 20-хъ годахъ онъ приходилъ, какъ и всѣ, въ великое восхищеніе отъ плохихъ итальянскихъ, модныхъ тогда оперъ и плохихъ итальянскихъ пѣвцовъ, слышанныхъ имъ въ Одессѣ. „Одесская ресторація и итальянская опера напомнили мнѣ старину, и, ей-Богу, обновили мнѣ душу“, пишетъ онъ въ 1823 г. брату Льву, хотя Вигель разсказываетъ, что тогда въ Одессѣ пѣвцы были все „народъ кочевой“, и „что за исполненіе! А всѣ согласно хвалили, хлопали—такъ ужъ было принято: обычай, мода...“ Но скоро, среди безцвѣтнаго итальянизма, владѣвшаго въ ту пору всѣми вкусами и помышленіями публики, Пушкинъ какъ-то инстинктивно сталъ по-немногу обращаться къ элементу „національности“ и характерности въ музыкѣ. Въ 1828 году онъ пришелъ въ восхищеніе отъ характерной восточной мелодіи, записанной Глинкой, и написалъ на нее свое поэтическое стихотвореніе:

„Не пой, красавица, при мнѣ
Ты пѣсенъ Грузіи печальныхъ...“

Невольно вспоминаешь при этомъ Байрона, приходящаго въ восторгъ отъ „еврейскихъ мелодій“ и пишущаго на нихъ цѣлый рядъ своихъ знаменитыхъ стихотвореній. Но когда, въ 1836 г., Глинка выступилъ съ первою *русскою* оперою, Пушкинъ приходилъ отъ нея въ великое восхищеніе, и въ экспромтѣ говорилъ:

„Пой въ восторгѣ, русскій хоръ:
Вышла новая новинка,
Веселися Русь, нашъ Глинка,
Ужъ не глинка, а фарфоръ“.

Всѣ эти примѣры, вмѣстѣ взятые, показываютъ, мнѣ кажется, довольно ясно, какъ сильно Пушкинъ былъ проникнутъ идеею національнаго русскаго искусства, какъ онъ его жадно ждалъ, какъ твердо на него надѣялся и какъ глубоко восхищался каждымъ его, иногда даже обманчивымъ, проблескомъ. Мнѣ кажется, проживи Пушкинъ гораздо дольше и увидь онъ новое, здоровое, оригинальное, могучее, національное развитіе нашего искусства 60-хъ годовъ, онъ глубоко сочувствовалъ бы ему, и никогда не стоялъ бы въ ряду презирателей и гонителей его.

Совсѣмъ другое явленіе представляетъ собою современникъ, товарищъ и другъ Пушкина—Жуковскій. Онъ относился къ русскому искусству лишь со стороны почтительнаго европейства, оффиціальнаго патріотизма и сентиментальнаго піэтизма. Жуковскій безмѣрно восхищался Брюловымъ и его „Помпеей“, признавалъ его величайшимъ геніемъ, называлъ его „Взятіе Божіей Матери на небо“—богоноснымъ видѣніемъ (точь въ точь какъ раньше того называлъ „видѣніемъ“ и „откровеніемъ“—Сикстинскую Мадонну Рафаэля), и проводилъ много часовъ въ энтузіастномъ нѣмомъ созерцаніи передъ его „Распятіемъ“. Однако онъ все-таки писалъ въ письмѣ къ великой княгинѣ Маріи Николаевнѣ, что сильно побаивается, что „геній Брюлова погаснетъ, не оставивъ ничего, что прославило бы его отечество“; что какъ ни хороши отдѣльныя части „Помпеи“, но все это „еще не историческія картины“. и Брюлову „не дать ничего подобнаго цвѣту канувшихъ въ вѣчность XV и XVI вѣковъ“; что онъ желалъ бы Брюлову того, чтобы онъ къ своему *итальянскому мастерству* присоединилъ и идеальность, и глубокое чувство религіозности германскихъ живописцевъ“ (Овербека и Корнеліуса онъ признавалъ, за ихъ ханжество, „первыми живописцами нашего вѣка“). Но въ концѣ концовъ онъ вѣрилъ, что императоръ Николай своимъ „приказомъ“ можетъ заставить Брюлова со-

здать великія произведенія. Такая же ординарная, казенная точка зрѣнія была у Жуковскаго и относительно музыки. Львову, для „народнаго гимна“, онъ далъ текстъ, не отличающійся никакой поэзіей и художественностью. Глинкѣ же, для его оперы, присовѣтовалъ только сюжетъ преимущественно патріотическаго характера, а когда надо было писать либретто, то остановился только на плаксивой аріи кисленькаго Вани: „Ахъ, не мнѣ, бѣдному, вѣтру буйному...“

Про отношеніе Грибоѣдова къ искусству ничего до сихъ поръ неизвѣстно. Знаемъ только, что онъ очень любилъ играть и импровизировать на фортепіано, и что былъ въ большой дружбѣ съ Алябьевымъ и Варламовымъ, авторами плохихъ „русскихъ“ романсовъ. Этого еще слишкомъ мало.

Гоголь очень мало разумѣлъ и въ живописи и музыкѣ, но любилъ о нихъ распространяться, особливо о первой. Насколько были правдивы и талантливы набросанные его великою кистью, съ живой натуры, фигуры и типы художниковъ, истинно дышащіе жизнью—настолько разсужденія его о художествѣ почти всегда бывали фальшивы, кривы. Извѣстны его безконечно-восторженныя, страстныя и краснорѣчивыя статьи про Брюлова и про Иванова, но Тургеневъ глубоко былъ правъ, когда писалъ: „Гоголь нисколько не понималъ Иванова, хотя превозносилъ его „Явленіе Христа“; вѣдь тотъ-же Гоголь приходилъ въ восхищеніе отъ „Послѣдняго дня Помпеи“, а любить эти двѣ картины въ одно и то же время—невозможно“. И въ самомъ дѣлѣ, что такое писалъ Гоголь про ту и про другую картину? Про первую—что это „свѣтлое воскресеніе живописи, пребывавшей долгое время въ полу-летаргическомъ состояніи“, что она можетъ назваться полнымъ, всемірнымъ созданіемъ и въ ней все заключилось, такъ какъ она захватила въ область свою столько разнороднаго, сколько до него никто не захватывалъ... Брюловъ первый изъ живописцевъ, у котораго пластика достигла верховнаго совершенства. Скульптура древнихъ перешла у него, наконецъ, въ живопись и сверхъ того проникнулась какой-то тайной музыкой... Произведенія Брюлова *первыя*, которыя могутъ понимать и художникъ, имѣющій высшее раз-

витіе вкуса, и незнающій, что такое искусство. Они *первыя*, которымъ сужденъ завидный удѣлъ пользоваться всемірною славою...“ Про Иванова онъ писалъ: „Картина его—явленіе небывалое... Подобнаго явленія еще не показывалось отъ временъ Рафаэля и Леонарда-да-Винча...“ Какъ разобраться тутъ, въ этомъ восторженномъ, совершенно равномъ, восхваленіи личностей и созданій, рѣшительно противоположныхъ и исключающихъ одни другихъ? Вообще-же говоря, живопись казалась Гоголю, какъ и другія искусства, небеснымъ даромъ, „посланнымъ Зиждителемъ міріадъ, изъ благости и состраданія къ людямъ, для того, чтобъ украсить міръ...“ Задача ея — „быть выраженіемъ всего того, что имѣетъ таинственно-высокій міръ христіанства...“ „Намекъ о божественномъ, небесномъ раѣ заключенъ для человѣка въ искусствѣ, и по тому одному оно уже выше всего...“ При этомъ Гоголь проповѣдывалъ безпредѣльное раболѣпіе передъ итальянскими классиками XVI вѣка,—раболѣпіе слѣпое и неразсуждающее—и ставилъ въ величайшую заслугу своему идеально-превосходному молодому художнику (въ „Портретѣ“), что „ничего онъ не оканчивалъ безъ того, чтобъ не провѣрить себя нѣсколько разъ съ великими учителями прежняго времени, и чтобы не прочесть въ ихъ созданіяхъ безмолвнаго и краснорѣчиваго себѣ совѣта...“ О русской національной школѣ, о современныхъ сюжетахъ для живописи у Гоголя и помышленія не было. Его живописцы все еще пишутъ святыхъ да „Психей“, все остальное казалось Гоголю мелкимъ, низкимъ, недостойнымъ. Какъ это все было непохоже на Гоголя, правдиваго художника-реалиста въ его собственныхъ великихъ созданіяхъ! Музыка казалась Гоголю точно также созданною только для всего божественнаго, религіознаго, безпредѣльно-идеальнаго: „Она отрываетъ человѣка отъ земли его, оглушаетъ его громомъ могучихъ звуковъ и разомъ погружаетъ его въ свой міръ. Невидимая, сладкогласная, она проникла весь міръ. Она томительна и мятежна, но могущественнѣе и восторженнѣе подъ безконечными, темными сводами катедрали, гдѣ тысячи поверженныхъ на колѣни молельщиковъ стремитъ она въ одно согласное

движеніе, обнажаетъ до глубины сердечныя имъ помышленія, кружитъ и несется съ ними горѣ...“ Правда Гоголь отозвался однажды съ энтузіазмомъ, сверхъ того, и про музыку русскихъ и малороссійскихъ пѣсенъ („Арабески“), но это было одинъ единственный разъ во всю жизнь, а затѣмъ ни про какую другую музыку онъ уже никогда и не заикнулся. Для него точно никогда не бывало даже великаго его современника— Глинки, создателя цѣлаго новаго міра: русской народной музыки.

Про симпатіи Лермонтова въ дѣлѣ искусства мы не имѣемъ почти вовсе никакого извѣстія по его твореніямъ. Лишь въ отрывкахъ изъ „неконченнаго романа“ и „неконченной повѣсти“ Лермонтовъ описываетъ нѣсколько портретовъ съ натуры, немного на манеръ Гоголя въ его повѣсти „Портретъ“. Вездѣ, какъ и тамъ, на первомъ планѣ у него какое-то необыкновенное выраженіе глазъ какого-то исключительнаго, страннаго оригинала. Въ „Княгинѣ Лиговской“ разсказывалось: „Лицо было написано прямо, безо всякаго искусственнаго наклоненія или оборота; свѣтъ падалъ сверху, платье было набросано грубо, темно и безотчетливо; казалось, вся мысль художника сосредоточивалась въ глазахъ и улыбкѣ. Лобъ, казалось, имѣлъ въ своемъ устройствѣ что-то необыкновенное. Глаза, устремленные впередъ, блистали тѣмъ страшнымъ блескомъ, которымъ иногда блещутъ живые глаза сквозь прорѣзи черной маски. Испытующій и укоризненный лучъ ихъ, казалось, слѣдовалъ за вами во всѣ углы комнаты, и улыбка, растягивая узкія и старыя губы, была болѣе презрительная, чѣмъ насмѣшливая. Товарищи, которымъ Жоржъ съ восторгомъ показывалъ эту голову, называли ее порядочной картинкой...“ Въ „Отрывкѣ изъ начатой повѣсти“ Лермонтовъ разсказываетъ: „Казалось, этотъ портретъ писанъ несмѣлой ученической кистью; платье, волосы, руки, перстни—все было очень плохо сдѣлано; за то въ выраженіи лица, особенно губъ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глазъ оторвать; въ линіи рта былъ какой-то неправильный изгибъ, недоступный искусству, и, конечно, начертанный безсознательно, придававшій лицу выраженіе на-

смѣшливое, грустное, злое и ласковое поперемѣнно. Не случалось-ли вамъ на замороженномъ стеклѣ, или въ зубчатой тѣни, случайно наброшенной на стѣнѣ какимъ-нибудь предметомъ, различать профиль человѣческаго лица, профиль иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить ихъ на бумагу — вамъ не удастся; попробуйте на стѣнѣ обрисовать карандашомъ силуэтъ, васъ такъ сильно поразившій, и очарованіе исчезаетъ. Рука человѣка никогда съ намѣреніемъ не произведетъ этихъ линій; математически малое отступленіе—и прежнее выраженіе погибло невозвратно. Въ лицѣ портрета дышало именно то неизъяснимое, возможное только генію или случаю...“ Эти разсказы о необыкновенныхъ портретахъ съ поразительнымъ сверхъестественнымъ выраженіемъ, удавшимся художникамъ вовсе не особенно талантливымъ — только что фантастичны и ничего болѣе, и еще ничего не говорятъ о художественныхъ вкусахъ и понятіяхъ Лермонтова. Но можно предполагать, что проживи онъ дольше, онъ жадно искалъ-бы народности въ искусствѣ. По крайней мѣрѣ, относительно музыки мы можемъ это заключить по слѣдующимъ строкамъ изъ его рукописныхъ замѣтокъ: „Когда я былъ трехъ лѣтъ, то была пѣсня, отъ которой я плакалъ; я не могу теперь ее вспомнить, но увѣренъ, что еслибъ услыхалъ ее, она-бы произвела прежнее дѣйствіе. Ее пѣвала мнѣ покойная мать... Если захочу вдаться въ поэзію народную, то вѣрно нигдѣ больше не буду ее искать, какъ въ русскихъ пѣсняхъ. Какъ жалко, что у меня была мамушка нѣмка, а не русская—я не слыхалъ сказокъ народныхъ: въ нихъ вѣрно больше поэзіи, чѣмъ во всей французской словесности...“ Когда такой могучій и великолѣпный талантъ, какъ Лермонтовъ, съ такою страстною симпатіею смотритъ на проявленія хоть нѣкоторыхъ сторонъ народнаго искусства, мудрено думать, чтобъ не были ему дороги и другія его проявленія. Мнѣ представляется, что доживи Лермонтовъ до лѣтъ зрѣлости, онъ столько же мало, какъ Пушкинъ, способенъ былъ-бы много лѣтъ прожить въ Парижѣ, или гдѣ-нибудь въ Германіи, и, прильнувъ всей душою къ иностранному искусству, съ презрѣніемъ смотрѣть на свое народное.

Г—ъ не былъ ни знатокъ, ни особенный любитель искусства, однако, при всякомъ представившемся случаѣ онъ бросался къ нему съ искреннею горячностью. Мысль объ исключительномъ значеніи собственно русскихъ художниковъ всегда играла у него преобладающую роль. Въ молодыхъ своихъ годахъ, живя въ Вяткѣ, онъ сблизился съ Витбергомъ, художественнымъ фантазеромъ, мечтавшимъ, при Александрѣ I, создать такой храмъ въ Москвѣ, который долженъ былъ даже „перевѣсить славу храма св. Петра въ Римѣ“. Выслушавъ всѣ разсказы сосланнаго по интригѣ и клеветѣ Витберга, проглядѣвъ его рисунки, Г—ъ пришелъ въ великій энтузіазмъ, и проповѣдывалъ потомъ, что онъ былъ „великій талантъ среди мелочнаго времени“ и невинная страдальческая жертва; старался убѣдить своихъ современниковъ, что храмъ Витберга, будь онъ сооруженъ, былъ былъ бы несравненнымъ созданіемъ русскаго художества. Г—ъ ошибался, у Витберга никакого таланта не было, онъ былъ только дилетантъ съ академическими вкусами стариннаго времени, и это, въ настоящее время, уже достаточно доказано. Но убѣжденіе его въ возможности русскаго великаго художественнаго созданія, не уступающаго величайшимъ созданіямъ другихъ европейскихъ народовъ, сознаніе нашей національной самостоятельности въ искусствѣ, глубокое сочувствіе ей — вотъ что важно было и драгоцѣнно въ настроеніи и проповѣди Г—а. Впослѣдствіи, когда нашъ великій художникъ, живописецъ Ивановъ, пріѣхалъ къ нему, въ 1857 году, въ Лондонъ, чтобы „зачерпнуть разъясненіе мыслей своихъ“ на счетъ необходимости обновленія современнаго искусства, Г—ъ, послѣ долгой и важной бесѣды, весь въ слезахъ, бросился обнимать Иванова и сказалъ ему: „Не знаю, сыщете-ли вы формы вашимъ идеаламъ, но вы подаете не только великій примѣръ художникамъ, но даете свидѣтельство о той непочатой, цѣльной натурѣ русской, которую мы знаемъ чутьемъ, о которой догадываемся сердцемъ, и за которую, вопреки всему дѣлающемуся у насъ, мы такъ страстно любимъ Россію, такъ горячо надѣемся на ея будущность“... Вѣра въ будущую художественную Россію была тѣмъ глубже и сильнѣе у Г—а,

что онъ не былъ связанъ никакими предразсудками и фетишизмами школы, и смѣло подступалъ къ самымъ знаменитымъ художественнымъ именамъ Западной Европы, и признавалъ великими для себя художниками лишь тѣхъ, которые были ему близки по душѣ, а не всѣхъ, кого признавали академіи. Независимость его сужденій поразила даже Иванова, когда они вмѣстѣ обходили лондонскую картинную галлерею. Гаевскій, присутствовавшій при свиданіи, разсказываетъ: „Я помню, съ какимъ недоумѣніемъ Ивановъ отскочилъ отъ насъ, услыхавши (слова Г—а), что отъ Тиціана, при всѣхъ достоинствахъ письма и колорита, вѣетъ скукою и холодомъ. Ивановъ не вѣрилъ своимъ ушамъ... Съ другой стороны, онъ очень сдержанно выслушивалъ наши восторги отъ произведеній Рубенса и другихъ фламандцевъ“... Вообще, Г—ъ не вѣрилъ никакимъ художественнымъ авторитетамъ; ему болѣе всего дорогъ былъ, по его собственнымъ словамъ, „эпикуреизмъ искусствомъ“, т. е. наслажденіе тѣмъ, что непосредственно нравится, а не тѣмъ, что *учатъ* любить. Такіе люди — всегда истинные и вѣрные сторонники національности въ искусствѣ. Симпатія къ нему всегда врождена имъ уже по натурѣ.

Гончаровъ—великій поклонникъ искусства, но у него вкусы были, впродолженіи всей почти его жизни—эклектическіе, и нигдѣ не выразилось исключительныхъ, характеристичныхъ симпатій. Его художественной мягкой натурѣ одинаково дороги всѣ великія художественныя личности прежняго и новаго времени. Съ величайшимъ талантомъ начерченный имъ дилетантъ-художникъ Райскій, въ минуты своего влюбленнаго экстаза „написалъ бы Рафаэлеву Мадонну, еслибъ она не была уже написана, изваялъ-бы Милосскую Венеру, Аполлона Бельведерскаго, создалъ бы снова храмъ Петра“... Во время писанія портрета Вѣры, Райскій чувствовалъ, что „здѣсь самъ Грёзъ положилъ бы кисть“. Принявшись за скульптуру, Райскій восклицалъ: „Увезите меня съ собой, помогите мнѣ стать на новый путь, на путь Фидіасовъ, Праксителей, Кановы...“, но вмѣстѣ „замиралъ отъ удивленія передъ работами Витали въ Исаакіевскомъ соборѣ“. Пустившись въ Европу,

онъ раньше всего „поѣхалъ на поклонъ Сикстинской Мадоннѣ, „Ночи“ Корреджіо, Тиціану, Поль-Веронезу и прочимъ, прочимъ“... Когда-же онъ ревностно бродилъ по музеямъ, „сѣдая голова бабушки выглядывала изъ портретовъ старухъ Веласкеса, Жераръ-Дова,—какъ Вѣра изъ фигуръ Мурильо, Марѳинька изъ головокъ Грёза, иногда Рафаэля“... И такъ, полный художественный пантеонъ стараго времени, всѣ славы, всѣ имена—кромѣ русскихъ, кромѣ нынѣшнихъ, современныхъ. Но Гончаровъ проповѣдуетъ, въ позднѣйшее свое время, въ своемъ глубоко-интересномъ „Литературномъ Вечерѣ“, что „художникъ-писатель долженъ быть объективенъ, т. е. безпристрастенъ; долженъ писать, какъ, наприм., графъ Левъ Толстой, всякую жизнь, какая попадется ему подъ руку, потому что жизнь всего общества—смѣшанна и слита. У него всѣ слои перетасованы, какъ оно и есть въ дѣйствительности. Рядомъ съ лицомъ изъ высшаго круга, онъ пишетъ и мужика, и бабу-клюшницу, и даже взбѣсившуюся собаку. Изъ столичныхъ салоновъ онъ переноситъ читателя въ избу домовитаго крестьянина, на пчельники, на охоту, и съ такою же артистическою любовью рисуетъ—и военныхъ, и статскихъ, и баръ, и слугъ, кучера и лошадей, лѣсъ, траву, пашню...“ Ничего нѣтъ вѣрнѣе и глубже, для опредѣленія стремленій современнаго русскаго искусства, какъ всѣ эти золотыя слова, и этотъ такъ рѣшительно и вѣрно высказанный законъ: *„художникъ долженъ писать всякую жизнь, какая попадется ему подъ руку“*. А что этотъ законъ касается, по мысли Гончарова, не до одного только художника-писателя, но и до художника-живописца, то намъ доказываютъ вотъ какія слова въ статьѣ Гончарова (тамъ-же): „Новые художники не смѣшиваютъ никакихъ школъ и стилей, а просто знать ихъ не хотятъ. Всѣ, и Юпитеры, и Венеры, ваши *„ангелы у вратъ Эдема“* и *„черти надъ бездной“* отжили свой вѣкъ и ничего не говорятъ болѣе представленію артиста. Новые художники пишутъ, что видятъ и знаютъ въ природѣ и въ жизни, и если заглядываютъ въ исторію, то и библейскія событія угадываютъ и пишутъ, какъ они случались, а не какъ смотрятъ на нихъ идеалисты въ свои очки, сквозь тысячелѣтія“...

Гончаровъ выступаетъ здѣсь, такимъ образомъ, уже не прежнимъ только „эклектикомъ“, но истиннымъ защитникомъ и оправдателемъ новаго русскаго искусства, съ его глубокимъ и страстнымъ стремленіемъ къ реализму и правдѣ.

Достоевскій требовалъ отъ искусства только—идеальности и нравственнаго вліянія. Въ „Критическихъ статьяхъ“ онъ является защитникомъ теоріи „искусства для искусства“, т. е. проповѣдникомъ того художества, которое назначено только для празднаго, сибаритскаго, безцѣльнаго, эстетическаго, апатичнаго любованья. Онъ говоритъ (статья: „Добролюбовъ и вопросъ объ искусствѣ“): „Искусство должно дѣйствовать тихо, ясно, не торопясь, не увлекаясь по сторонамъ, имѣя себя цѣлью“... При такомъ взглядѣ, Достоевскій былъ, конечно, величайшимъ поклонникомъ классическаго искусства. Глядя на Аполлона Бельведерскаго, онъ думаетъ: „Мраморъ сей вѣдь богъ“, и вы сколько ни плюйте на него, никогда у него не отнимете его божественности; пробовали отнять, да ничего не вышло...“ Увидавъ снова, во снѣ, картину Клодъ-Лоррена „Ацисъ и Галатея“, въ дрезденской галлереѣ, онъ начинаетъ фантазировать о „Золотомъ вѣкѣ“, когда человѣчество не сѣяло, не жало, а только было невинно и блаженно на берегу лазурныхъ волнъ. „Здѣсь былъ земной рай человѣка: „боги сходили съ небесъ и роднились съ людьми. О, тутъ жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные, луга и рощи наполнялись ихъ пѣснями и веселыми криками... Все это ощущеніе я какъ будто прожилъ въ своемъ снѣ; скалы и море, и косые лучи заходящаго солнца—все это я какъ будто еще видѣлъ, когда проснулся и раскрылъ глаза, буквально смоченные слезами“... („Подростокъ“). Вотъ для какихъ трансцендентальныхъ идеальностей, вотъ для ощущенія какой небывальщицы только и нужно было Достоевскому искусство. Реализмъ искусства—тотъ самый, который такими огненными, геніальными чертами запечатлѣлъ его „Мертвый Домъ“, не нуженъ ему былъ въ живописи и скульптурѣ. Онъ здѣсь только фантазировалъ на старо-классическій видъ. Въ „Дневникѣ Писателя“ (1873) онъ нападаетъ на „Тайную вечерю“ Гé, какъ на нѣчто со-

вершенно фальшивое, именно за ея „реализмъ“. Онъ говоритъ тутъ же, что „всякое художественное произведеніе, безъ предвзятаго направленія, исполненное *изъ одной художественной потребности и даже на сюжетъ совсѣмъ посторонній*, совсѣмъ и не намекающій на что-нибудь „направительное“ окажется гораздо полезнѣе для цѣлей критика (по мнѣнію Достоевскаго — критика тенденціознаго), чѣмъ всѣ пѣсни о рубашкѣ, хотя бы съ виду и походило на то, что называютъ „удовлетвореніемъ празднаго любопытства...“ Достоевскій нападаетъ также, при этомъ случаѣ, на темы, удовлетворяющія „общему, мундирному, либеральному и соціальному мнѣнію...“ Ни либеральности, ни соціальнаго содержанія быть въ художественномъ созданіи не должно. Должно процвѣтать одно искусство для искусства. Впрочемъ, въ этой же статьѣ („По поводу Выставки“) Достоевскій сочувственно отзывается о картинахъ Куинджи („Видъ на Валаамѣ“), „Охотникахъ“ Перова, „Любителяхъ соловьинаго пѣнія“ Влад. Маковскаго и др. Всего больше онъ хвалилъ „Бурлаковъ“ Рѣпина, говорилъ, что тутъ просто „фигуры Гоголевскія“, хотя Рѣпинъ „вовсе еще не Гоголь, и до него ему еще ужасно высоко“, но вообще говоря, хотя „нашъ жанръ на хорошей дорогѣ и таланты есть, *но чего-то недостаетъ ему, чтобы раздвинуться и расшириться*. Вѣдь и Диккенсъ—жанръ, не болѣе; но Диккенсъ создалъ „Пиквика“, „Оливера Твиста“ и „Дѣдушку и Внучку“; нѣтъ, нашему жанру до этого еще далеко...“ Впослѣдствіи, Достоевскій относился къ новой нашей школѣ живописи съ еще большимъ высокомѣріемъ. Однажды, въ своемъ „Дневникѣ Писателя“ (1876), говоря про разныя „важныя“ вещи, онъ восклицалъ: „Вѣдь это важно, наконецъ, вѣдь это не какая-нибудь картинка Передвижной выставки!“. Крамской приходилъ отъ такихъ словъ въ глубокое негодованіе. „Наше искусство, писалъ онъ тогда же, если оно искусство, творчество, все-таки стоитъ того, чтобъ его хоть сапогомъ-то въ носъ не били, оставили-бы хотя въ покоѣ“...

У Некрасова—я нигдѣ не нахожу почти ровно ничего объ искусствѣ. Лишь въ путешествіи княгини Трубецкой, еще

молодой и съ молодымъ мужемъ, по чужимъ краямъ („Русскія Женщины“) есть нѣсколько словъ о томъ, какъ они посѣщали и разсматривали въ Римѣ „чудеса искусства“. Но это до того вскользь, что нельзя получить никакого представленія о вкусахъ и симпатіяхъ автора. О русскомъ искусствѣ—нигдѣ ни слова.

У Салтыкова-Щедрина мы встрѣчаемъ, правда, подтруниванье (веселое и забавное) надъ „передвижными выставками“, въ провинціи, когда онѣ начаты были Товариществомъ передвижныхъ выставокъ, подтруниванье надъ „аборигенами Чухломскаго, Наровчатскаго, Тетюшскаго и другихъ уѣздовъ, надъ обывателями чебоксарскими, хотьмыжскими, пошехонскими и другими, которыхъ „сердца смягчатся, конечно, отъ выставокъ“,—но тутъ же выражена у него величайшая симпатія къ новымъ русскимъ художникамъ, къ выдающимся картинамъ Гѣ, Перова, Прянишникова, Крамского, Саврасова. Авторъ признаетъ, что новые русскіе художники „преслѣдуютъ идею трезвости, простоты и естественности въ искусствѣ...“, онъ смотритъ съ антипатіей на „ослѣпительныя“ созданія г. Микѣшина („Отеч. Записки“, 1871, т. 199). Такимъ образомъ, Салтыковъ — *первый* изъ крупныхъ русскихъ писателей, съ истинной симпатіей отнесся къ новой русской художественной школѣ. Съ такой искренней симпатіей (да еще большей) относился къ ней впослѣдствіи, изъ всѣхъ нашихъ новыхъ писателей, развѣ одинъ Всеволодъ Гаршинъ. Но Салтыкова не хватило на пониманіе новой музыкальной русской школы, и онъ надъ нею только весело и забавно—глумился. Всего болѣе онъ обрушился, со своимъ комизмомъ, на Мусоргскаго, который въ своихъ стремленіяхъ за реализмомъ, сочинятъ пьесу на тотъ сюжетъ, что „извозчикъ, въ темную ночь, ищетъ своего потеряннаго кнута“ („Отеч. Зап.“, 1874, т. 217).

Наконецъ, Тургеневъ, образованный, много видѣвшій всего созданнаго искусствомъ, много разъ выражалъ свои великія симпатіи къ отличнѣйшимъ произведеніямъ живописи, скульптуры, музыки стараго и новаго европейскаго искусства. Онъ благоговѣлъ передъ ними, какъ толпа, какъ масса. Но онъ

имѣлъ непобѣдимую антипатію къ большинству созданій новаго искусства, и — просто не вѣрилъ въ нихъ. „Русское художество, русское искусство! Русское пруженье я знаю, и русское безсиліе знаю тоже, а съ русскимъ художествомъ, виноватъ, не встрѣчался, восклицаетъ Потугинъ, на три-четверти самъ Тургеневъ. Вообразили, что и у насъ, молъ, завелась школа, и что она даже почище будетъ всѣхъ другихъ. Русское художество, ха-ха-ха! хо-хо! Сказать бы, напримѣръ, что Глинка былъ дѣйствительно замѣчательный музыкантъ, которому обстоятельства, внѣшнія и внутреннія, помѣшали сдѣлаться основателемъ русской оперы, никто-бы спорить не сталъ; но нѣтъ, какъ можно! Сейчасъ надо его произвести въ генералъ-аншефы, въ оберъ-гофмаршалы по части музыки, да другіе народы кстати оборвать: ничего, молъ, подобнаго у нихъ нѣту... Ничего подобнаго? О, убогіе дурачки-варвары, для которыхъ не существуетъ преемственности искусства, и художники нѣчто въ родѣ Рапнѣ: чужакъ, молъ, шесть пудовъ одной рукой поднимаетъ, а нашъ—цѣлыхъ двѣнадцать! Ничего подобнаго?“ Мнѣнія Тургенева про отдѣльныхъ новѣйшихъ русскихъ художниковъ мы видѣли уже выше. И все это имѣло корнемъ тотъ несчастный, но сильно распространенный, особенно въ западной Европѣ, взглядъ, что „въ дѣлѣ искусства вопросъ: какъ? — важнѣе вопроса: что „?“ (Подлинныя слова Тургенева въ его автобіографіи 1880 года.

Но, среди всей этой разнохарактерной и разноголосой толпы мнѣній нашихъ значительнѣйшихъ писателей, раздался, наконецъ, однажды голосъ, который, какъ звонъ Ивана Великаго, покрылъ всѣ остальные колокола. Это—голосъ Льва Толстого. Геніальный этотъ человѣкъ высказалъ вдругъ и объ искусствѣ и его назначеніи то, чего не высказывалъ въ такой правдѣ и полнотѣ никакой другой у насъ писатель (кромѣ художниковъ Иванова и Крамского, и критика, автора „Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности“). Сначала, онъ нарисовалъ въ „Аннѣ Карениной“ въ лицѣ живописца Михайлова, такой правдивый, вѣрный и пластичный образъ одного изъ новыхъ русскихъ художниковъ, который

равняется совершеннѣйшимъ изображеніямъ нѣсколькихъ разнообразныхъ художниковъ въ „Невскомъ Проспектѣ“ и въ „Портретѣ“ у Гоголя. Но потомъ, въ статьѣ: „О назначеніи науки и искусства“ онъ намѣтилъ цѣли и задачи искусства съ такою глубиной, вѣрностью и мѣткостью, передъ которыми блѣднѣетъ все, высказанное раньше него всѣми остальными талантливѣйшими и значительнѣйшими нашими писателями. Онъ говорилъ: „Наука и искусство также необходимы для людей, какъ пища и питье, и одежда, даже необходимѣе; но они дѣлаются таковыми не потому, что мы рѣшимъ, что то, что мы называемъ наукой и искусствомъ,—необходимо, а только потому, что они дѣйствительно необходимы людямъ... Съ тѣхъ поръ, какъ есть люди, были тѣ особенно чуткіе и отзывчивые на ученіе о благѣ и назначеніи человѣка, которые на гусляхъ и тимпанахъ, въ изображеніяхъ и словами, выражали свою и людскую борьбу съ обманами, отвлекавшими ихъ отъ ихъ назначенія, свои страданія въ этой борьбѣ, свои надежды на торжество добра, свое отчаяніе о торжествѣ зла, и свои восторги въ сознаніи этого наступающаго блага. Съ тѣхъ поръ, какъ были люди—истинное искусство,—то, которое высоко цѣнилось людьми — не имѣло другого назначенія, какъ выраженіе науки о назначеніи и благѣ человѣка. Всегда, и до послѣдняго времени, искусство служило ученію о жизни—только тогда оно было тѣмъ, что́ такъ высоко цѣнили люди... Когда египетскіе или греческіе жрецы производили свои, никому неизвѣстныя таинства, и говорили объ этихъ таинствахъ, что въ нихъ заключается вся наука и искусство, я не могъ, на основаніи пользы, приносимой ими народу, провѣрить дѣйствительность ихъ науки, потому что наука, по ихъ утвержденію, была—сверхъестественное. Но теперь у всѣхъ насъ есть очень ясное, простое опредѣленіе дѣятельности науки и искусства, исключающее все сверхъестественное: наука и искусство обѣщаются исполнять мозговую дѣятельность человѣчества для блага общества или всего человѣчества... Мыслитель и художникъ никогда не будутъ спокойно сидѣть на олимпійскихъ высотахъ, какъ мы привыкли воображать. Мыслитель и художникъ дол-

женъ страдать вмѣстѣ съ людьми, для того, чтобы найти спасеніе или утѣшеніе... Не тотъ будетъ мыслителемъ и художникомъ, кто воспитается въ заведеніи, гдѣ будто бы дѣлаютъ ученаго и художника (собственно же дѣлаютъ губителя науки и искусства) и получитъ дипломъ и обезпеченіе, а тотъ, кто и радъ бы не мыслить и не выражать того, что заложено ему въ душу, но не можетъ не дѣлать того, къ чему влекутъ его двѣ непреодолимыя силы: внутренняя потребность и требованіе людей...“

Вотъ, наконецъ, тотъ благовѣстъ призывный къ настоящему, истинному искусству, въ которомъ такъ долго нуждались мы, и котораго лишь первыя, слабыя и рѣдкія ноты изрѣдка слышались съ разсѣянныхъ по землѣ нашей колоколенъ. Изъ нашего отечества вознесся, наконецъ, громогласный, полный и могучій глаголъ, и, конечно, онъ уже болѣе не замолкнетъ. Послѣ всего, что отрывками, бѣдными и неполными, часто невѣрными, говорили объ искусствѣ до сихъ поръ наши совершеннѣйшіе и даровитѣйшіе писатели, эти передовые наши застрѣльщики просвѣщенія и движенія впередъ, самое правдивое и вѣрное слово послышалось впервые изъ устъ того писателя, который далъ нашему отечеству „Власть Тьмы“ и „Смерть Ивана Ильича“, и навѣрное наше народное, глубоко національное искусство, вотъ уже цѣлую четверть столѣтія ставшее на свои собственныя ноги, пойдетъ вслѣдъ за этимъ словомъ. Для многихъ, разумѣющихъ только дармоѣдствующее, праздное, потѣшающее искусство, оно долго еще будетъ, конечно, казаться проповѣдью „тенденціознаго искусства“; для другихъ, болѣе взрослыхъ, оно будетъ—призывомъ къ единственно нужному и возможному искусству, искусству правды и глубоко человѣчественнаго, жизненнаго содержанія. „Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма“!

В. Стасовъ.

ПЕРЕПИСКА И. С. ТУРГЕНЕВА СЪ СЕМЬЕЙ АКСАКОВЫХЪ *).

Къ письмамъ И. С. Тургенева предпослано редакціей „Вѣстника Европы“ слѣдующее предисловіе:

) „Ольга Григорьевна Аксакова, внука Сергѣя Тимоѳеевича, автора „Семейной Хроники“ и „Записокъ ружейнаго охотника“, отца Ивана, Константина и Григорія *) Сергѣевичей, весьма обязательно доставила намъ для напечатанія сохранившуюся переписку И. С. Тургенева, за цѣлыхъ пять лѣтъ, 1852—1857 гг., какъ съ дѣдомъ ея, такъ и съ обоими дядями. Всѣхъ писемъ—сорокъ-два; нѣкоторыя изъ нихъ адресованы лично къ тому или другому изъ вышеупомянутыхъ лицъ, нѣкоторыя же писаны всѣмъ тремъ вмѣстѣ,—и наоборотъ: письмо къ Тургеневу съ ихъ стороны бывало коллективное. Извѣстное „Собраніе писемъ И. С. Тургенева, 1840—1883 г.“, изданное въ 1884 г. Обществомъ для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ, весьма скудно въ отношеніи тѣхъ пяти лѣтъ, къ которымъ относится настоящая переписка, и вообще не содержитъ въ себѣ ни одного письма къ Аксаковымъ; такъ, отъ 1852 и 1853 гг. встрѣчается всего одинъ документъ: прошеніе на имя Государя Наслѣдника Цесаревича Александра Николаевича (27 апрѣля 1852 г.) и коротенькая записка къ дядѣ И. И. Тургеневу (23-го ноября 1853 г.). Немного болѣе богаты сохранившимися письмами и послѣдующіе три года (1855—57 гг.),—

---

*) Письма И. С. Тургенева къ Аксаковымъ перепечатаны сюда изъ „Вѣстника Европы“ за 1894 г., №№ 1 и 2, а письма Аксаковыхъ къ Тургеневу, вмѣстѣ съ объясненіями ихъ академикомъ Л. Майковымъ, взяты изъ „Русскаго Обозрѣнія“ за 1894 г. №№ 8—12. Принятый въ настоящей книгѣ порядокъ расположенія писемъ Тургенева къ Аксаковымъ и послѣднихъ къ Тургеневу появляется въ печати первый разъ.

Примѣч. В. Зелинскаго.

**) „Вѣстникъ Европы“ 1894 г., № 1. „Изъ переписки И. С. Тургенева съ семьею Аксаковыхъ“.

***) Бывшій уфимскій губернаторъ; скончался года три тому назадъ, (въ 1890 или 1891 году), будучи самарскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства“.

всего 24 письма, и притомъ, за небольшими исключеніями, мало интересныя; почти половина ихъ (11) адресована Д. Я. Колбасину и носитъ на себѣ чисто-пріятельскій характеръ, съ различными порученіями, денежными расчетами, шутками, куплетами и т. п. Переписка И. С. Тургенева съ такими выдающимися лицами нашего вѣка, какъ отецъ и братья Аксаковы, должна была имѣть и дѣйствительно имѣетъ уже совершенно иной характеръ, а потому является важнымъ и серьезнымъ источникомъ не для одной біографіи Тургенева; весьма жаль, конечно, что въ бумагахъ Тургенева не сохранились отвѣтныя письма Аксаковыхъ: тогда въ нашихъ рукахъ была бы полная картина того дружескаго обмѣна мыслей между замѣчательными личностями двухъ противоположныхъ направленій, еще далекихъ отъ разрыва, но уже вступающихъ въ борьбу—западниковъ и славянофиловъ.

Въ 1852-мъ году, до половины апрѣля этого года, Тургеневъ пишетъ Аксаковымъ изъ Петербурга; съ половины апрѣля до первыхъ чиселъ іюня того же года переписка прерывается на два мѣсяца и возобновляется въ іюнѣ—уже изъ с. Спасскаго. Причиной перерыва былъ извѣстный эпизодъ въ жизни Тургенева, вслѣдствіе его статьи по поводу смерти Гоголя, запрещенной въ Петербургѣ и разрѣшенной въ Москвѣ, гдѣ она и была напечатана, а авторъ ея посаженъ подъ арестъ. По освобожденіи отъ ареста, благодаря обращенію къ покойному Государю, тогда Наслѣднику Цесаревичу, Тургеневу было назначено мѣстомъ жительства его имѣніе Спасское, гдѣ онъ и жилъ безвыѣздно отъ начала іюня 1852 г. до 6-го декабря 1853 года, когда запретъ былъ съ него снятъ. Въ эту эпоху жизни Тургенева переписка его съ Аксаковыми была особенно оживленная и представляетъ много интереснаго въ литературномъ отношеніи; но и независимо отъ того сама эпоха,—какъ эпоха переходная не только отъ одного царствованія, но и отъ одного порядка вещей къ другому,—увеличиваетъ интересъ дружеской переписки между такими лицами, какъ И. С. Тургеневъ, и члены знаменитой семьи Аксаковыхъ. При началѣ этой переписки Тургеневу было 34 года отъ рожденія.

Изъ „Вѣстника Европы“.

* * *

Письма же Аксаковыхъ къ Тургеневу въ „Русскомъ Обозрѣніи“ начинаются слѣдующей замѣткой академика Л. Майкова:

*) „Въ первыхъ двухъ книжкахъ *Вѣстника Европы* за 1894 годъ напечатаны письма И. С. Тургенева къ семейству Аксаковыхъ, и въ редакціонной замѣткѣ, предпосланной изданію этихъ писемъ, сказано: „Переписка И. С. Тургенева съ такими выдающимися людьми нашего вѣка, какъ отецъ и братья Аксаковы, является важнымъ и серьезнымъ источникомъ не для одной біографіи Тургенева; весьма жаль, конечно, что въ бумагахъ Тургенева не сохранились отвѣтныя письма Аксаковыхъ; тогда въ нашихъ рукахъ была бы полная картина того дружескаго обмѣна мыслей между замѣчательными личностями противоположныхъ направленій, еще далекихъ отъ разрыва, но уже вступающихъ въ борьбу — западниковъ и славянофиловъ“. Въ приведенныхъ словахъ есть нѣкоторая неточность: письма Аксаковыхъ къ Тургеневу сохранились въ бумагахъ послѣдняго, но только въ той ихъ части, которая послѣ его кончины перешла въ собственность П. В. Анненкова, а нынѣ находится въ распоряженіи Г. А. Анненковой. Многоуважаемая вдова покойнаго біографа Пушкина благосклонно представила намъ эти документы для изданія ихъ въ свѣтъ. Письма Аксаковыхъ дѣйствительно представляютъ большой интересъ въ разныхъ отношеніяхъ; печатаемъ ихъ цѣликомъ, снабдивъ необходимыми объясненіями“.

Л. Майковъ.

Вслѣдъ за приведенной вступительной замѣткой къ письмамъ Аксаковыхъ къ Тургеневу, академикъ Л. Майковъ говоритъ:

„Какъ извѣстно, московскіе западники и московскіе славянофилы сороковыхъ годовъ, при всемъ различіи своихъ коренныхъ воззрѣній, не чуждались личныхъ взаимныхъ сношеній.

*) „Русское Обозрѣніе“ 1894 г., № 8. „Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковыхъ къ И. С. Тургеневу“.

Лучшіе представители обоихъ направленій, умные, просвѣщенные и благородные люди, горячо спорили между собою на страницахъ журналовъ и въ то же время сходились въ дружескихъ бесѣдахъ, въ которыхъ свободно доказывали то, что по тогдашнимъ обстоятельствамъ не было доступно печатному слову. Правда, мало по малу отношенія между двумя партіями дѣлались все болѣе и болѣе натянутыми; тѣмъ не менѣе, когда въ 1850 году Тургеневу случилось прожить нѣсколько мѣсяцевъ въ Москвѣ, онъ, чистый западникъ по своему образу мыслей, могъ поддерживать дружелюбныя сношенія съ людьми славянофильскаго лагеря. Съ братьями Кирѣевскими Тургеневъ былъ знакомъ еще съ юности по деревенскимъ и частію родственнымъ связямъ (мать Ивана Сергѣевича доводилась имъ дальнею родственницей), и еще въ 1843 году, когда появилась въ печати его первая поэма „Параша“, Ив. В. Кирѣевскій, встрѣтясь съ авторомъ въ Москвѣ, привѣтствовалъ его поздравленіями по случаю этого произведенія; но смущенный *Т. Л.*—такъ означена была на книжкѣ фамилія сочинителя—„поспѣшилъ отказаться отъ своего дѣтища“ *). Къ П. В. Кирѣевскому Тургеневъ питалъ глубокое уваженіе и говорилъ о немъ: „Это человѣкъ хрустальной чистоты и прозрачности“. Съ Ю. Ѳ. Самаринымъ Тургеневъ также находился въ короткихъ сношеніяхъ. Напротивъ того, къ А. С. Хомякову онъ не чувствовалъ особеннаго расположенія, хотя былъ знакомъ и съ нимъ. За то съ семействомъ Аксаковыхъ Тургеневъ сошелся довольно близко.

Какъ уже было сказано, сближеніе это произошло въ 1850 году. Безъ сомнѣнія, и ранѣе того Тургеневъ встрѣчался съ молодыми Аксаковыми; но въ домѣ отца ихъ, Сергѣя Тимоѳеевича, онъ сталъ бывать именно въ означенную пору. Старшій изъ сыновей, Константинъ Сергѣевичъ, жилъ въ то время, какъ всегда, съ отцомъ—зимой въ Москвѣ, лѣтомъ въ извѣстной Аксаковской подмосковной, сельцѣ Абрамцевѣ (близъ Троице-Сергіевой лавры),—а младшій, Иванъ Сергѣевичъ, служилъ еще въ Ярославлѣ и лишь по временамъ наѣзжалъ

*) Сочиненія Тургенева, изданіе 1891 г., т. X, стр. 21.

въ Москву. Иванъ Аксаковъ нравился Тургеневу больше, чѣмъ Константинъ. „Поклонитесь отъ меня“, писалъ онъ однажды отцу ихъ,—„вашимъ дѣтямъ, которыхъ я люблю, хотя различною любовью. Съ моимъ полнымъ соименникомъ я, кажется, могъ бы легко весьма тѣсно сблизиться“. Энергическій и живой, твердый и прямой почти до суровости, И. С. Аксаковъ вообще производилъ своею личностью сильное впечатлѣніе, даже на людей, предубѣжденныхъ противъ его образа мыслей. „Въ Калугѣ“, писалъ о немъ Бѣлинскій въ 1846 году, „столкнулся я съ Иваномъ Аксаковымъ. Славный юноша! Славянофилъ, а такъ хорошъ, какъ будто никогда не былъ славянофиломъ“ *). Чтобы объяснить себѣ, каковъ былъ И. С. Аксаковъ въ то время, всего лучше обратиться къ его тогдашнимъ стихотвореніямъ. Рѣдко отличаясь красотою формы, они съ большою силой выражаютъ душевныя настроенія, пережитыя въ то время молодымъ человѣкомъ. Приведемъ здѣсь двѣ его піесы, мало извѣстныя, но очень характерныя, и которымъ самъ авторъ придавалъ особое значеніе.

I.

Усталыхъ силъ я долго не жалѣлъ.
Не упрекнутъ бездѣйствіемъ позорнымъ
Мою тоску; какъ труженикъ, умѣлъ
Работать я съ усердіемъ упорнымъ.

Моей душѣ тѣ годы не легки;
Скупымъ трудомъ не брезгалъ я лукаво,—
И мнится мнѣ, досуга и тоски
Купилъ себѣ я дорогое право!..

Въ былые дни поэтовъ чаровалъ
Блаженства сонъ, эдемъ въ неясной дали...
Почуявъ ложь, безумецъ тосковалъ,
И намъ смѣшны его печали!

Но, осмѣявъ его безсильный плачъ,
Я въ жизнь вступилъ путемъ иныхъ мечтаній:
Къ трудамъ благимъ, къ рѣшенію задачъ,
На жаркій бой, на подвигъ испытаній.

*) *Пыпинъ*. Бѣлинскій, его жизнь и переписка, ч. II, стр. 262.

Всѣ помыслы, всѣ силы, всю любовь
Направилъ я—и громъ далекій слышалъ!..
Лгала и ты, младая кровь,
Исчезъ обманъ, едва я въ поле вышелъ!

И понялъ я, что спитъ желанный громъ,
Что вмѣсто битвъ—нерѣдко съ браннымъ духомъ
За комаромъ бѣжимъ мы съ топоромъ,
За мухою гоняемся съ обухомъ!

И понялъ я, что подвиговъ живыхъ,
Блестящихъ жертвъ, борьбы великодушной
Пора прошла, и намъ въ замѣну ихъ
Борьбы глухой достался подвигъ скучной!

Отважныхъ силъ не нужно въ наши дни!
И юности лукавые порывы
Опасны намъ—затѣмъ, что всѣ они
Такъ хороши, такъ ярки, такъ красивы.

Есть путь иной, гдѣ вѣра не легка:
Сгораетъ въ немъ порыва скорый пламень;
Есть долгій трудъ, есть подвигъ червяка:
Онъ точитъ дубъ... Долбитъ и капля камень

Невзрачный путь! Тебѣ я вѣренъ былъ!
Лишенъ ты всей отрады упоенья,
И дерзко я на сердце наложилъ
Тяжелый гнетъ упорнаго терпѣнья!..

Но слышно мнѣ порой, въ тиши работъ,
Что бурныхъ силъ не укротило время!
Когда же власть, скажи, твоя пройдетъ,
О молодость, о тягостное бремя?

23-го ноября 1850.

II.

Послѣ 1848 года

Глаголя ему Пилатъ: Что есть истина?

Іоан. XVIII. 38.

Пережитъ тяжелая година;
Была борьба, и пролилася кровь.
Послѣднихъ грёзъ рѣшалася судьбина;
Но дряхлый міръ не обновился вновь.

И вѣра въ немъ послѣдняя разбилась!
Онъ счастья ждалъ отъ мудрости земной:
Она ему обманщицей явилась,
А истины не видитъ онъ другой!..

О гордый умъ! Средь дерзостной надежды
Вдругъ старымъ вновь ты словомъ пораженъ,
Что вѣчно здѣсь тебѣ удѣлъ невѣжды
Невѣдомой судьбою обреченъ.

Среди побѣдъ надъ силами природы,
Среди чудесъ, что̀ всюду ты воздвигъ,
Раскрылъ ли ты намъ таинство свободы,
Какимъ путемъ блаженства ты достигъ?..

Смутился міръ... Окрестъ себя взирая,
Обломки вѣръ онъ видитъ предъ собой:
Возникнетъ мысль... является иная,
Мигъ отживетъ и смѣнится другой!

Безумецъ палъ, весь преданный мечтанью,
Но сномъ почить страдалецъ не успѣлъ:
Еще живой, онъ преданъ осмѣянью,
Уже забытъ для новыхъ жертвъ и дѣлъ!..

И мы, трудясь, трудамъ своимъ не вѣримъ,
И втайнѣ мы не вѣримъ ничему;
Бѣжимъ ли въ бой, на гибель,—лицемѣримъ
На зло судьбѣ, на перекоръ уму!

Гдѣ жь истина?.. Безмолствуетъ могила!
Вездѣ алтарь разрушенный стоитъ...
Какая жь міръ зиждительная сила
Для жизни вновь и вѣры оживитъ?

Но слово есть... Любви, свободы, свѣта
Оно создать пыталось дивный храмъ...
Вполнѣ ль оно дождалося отвѣта?
Сдержало ль все, что̀ обѣщало намъ?

Иль на землѣ съ землею примиренье
И счастье дать не властно и оно,
И намъ, живымъ, даруетъ утѣшенье,
Что мертвымъ лишь блаженство суждено?..

Вамъ слово то дало ль отраду мира?
Скажите мнѣ: вы поняли ль завѣтъ,
Вы, заживо умершіе для міра,
Ты, на столбѣ стоявшій тридцать лѣтъ,

Ты, цѣлый вѣкъ молившійся въ пустынѣ,
Ты, въ гробовой себя зарывшій мглѣ,
Святые всѣ безумцы, дайте нынѣ
Отвѣтъ: гдѣ жизнь—межъ васъ, иль на землѣ?

И въ правѣ ли или не въ правѣ къ счастью
Стремиться здѣсь, средь міра человѣкъ,
Онъ, созданный ему безвѣстной властью,
Онъ, мучимый страданьемъ цѣлый вѣкъ?

Въ пещерѣ ль жизнь? Въ пустынѣ ль примиренье?
Вопросы тѣ ужель не рѣшены?
Стремленіе, мученье и сомнѣнье
Отъ вѣка намъ, какъ видно, суждены!..

Безмолвно все!.. Но если въ мірѣ этомъ
Есть истина, невѣдомая намъ,—
Блесни лучемъ, откликнись мнѣ отвѣтомъ,—
На твой алтарь всего себя отдамъ!

Передъ собой усталъ я лицемѣрить!
Для дѣлъ твоихъ мнѣ силы сбереги...
О, если есть, чему я долженъ вѣрить,
Ты моему безвѣрью помоги!..

31-го декабря 1850.

И. С. Аксаковъ называлъ себя въ то время „человѣкомъ сомнѣнія“, и приведенныя стихотворенія выражаютъ именно это настроеніе: въ первомъ онъ высказываетъ сомнѣніе въ пользѣ энергическаго или, лучше сказать, героическаго труда на поприщѣ практической дѣятельности, во второмъ—касается сомнѣнія въ сферѣ религіозной. Оба эти стихотворенія, одно за другимъ, И. С. Аксаковъ переслалъ въ Москву къ роднымъ, но тамъ они произвели смущеніе и тревогу. На замѣчанія изъ Москвы ему пришлось давать объясненія. По поводу первой піесы онъ писалъ отцу (4-го декабря 1850 года): „На счетъ моихъ стиховъ скажу вамъ только, что выраженіе: за комаромъ съ топоромъ и проч.—есть русская поговорка, мною подслушанная. Я употребилъ ее въ томъ же смыслѣ, въ какомъ мы говоримъ: буря въ стаканѣ воды и проч. Я хотѣлъ сказать, что мы съ огромнымъ запасомъ силъ воюемъ съ комаромъ, то-есть, желая бурь и борьбы, возводимъ пустяки на степень важныхъ событій и готовы разразиться надъ ними

со всею важностью, тяжестью и серьезностью удара! Вы, милый отесенька, кажется, поняли это въ другомъ смыслѣ. Если за комаромъ погнаться съ ракеткой или съ булавкой, такъ его уловишь и уязвишь, но въ томъ-то и смѣшное, что мы расточаемъ на эту борьбу силы, беремъ тяжелый топоръ, орудіе могучей силы, и отправляемся воевать съ комаромъ. Грусть въ томъ, что отважной силы вовсе не нужно".

Второе стихотвореніе потребовало еще большихъ объясненій. „Я очень люблю свои послѣдніе стихи", писалъ И. С. Аксаковъ отцу (7-го января 1851 года),—„и меня огорчили ваши слова: лучше, еслибъ ты ихъ вовсе не писалъ! Мнѣ кажется теперь, что я не могъ бы ихъ не написать, мнѣ нужно бы ихъ написать, во что бы то ни стало. Это не просто потѣха риѳмъ. Я не понималъ, или такъ я чуждъ всякого дурного замысла, что мнѣ казалось невозможнымъ перетолковать стихи въ дурную сторону. Въ нихъ выражается убѣжденіе въ безплодности западныхъ стремленій и требованіе вѣры". Но и этого толкованія оказалось недостаточно, и полторы недѣли спустя (18-го января). И. С. Аксаковъ снова писалъ отцу: „Вы пишите, что... что собираетесь меня побранить. Да за что же меня бранить? Если за стихи, такъ это странно, какъ будто они отъ моей воли зависѣли. Къ какой стати сталъ бы я среди людей, увѣренныхъ въ силѣ и правотѣ своихъ убѣжденій, бросать свое слово, полное сожалѣнія и ироніи, какъ вышеприведенные стихи („Усталыхъ силъ я долго не жалѣлъ"), или среди людей, порѣшившихъ для себя вопросы вѣры, являться со стихами 31-го декабря, съ вопросами и сомнѣніями, старыми, неумѣстными въ томъ московскомъ кругу, къ которому я принадлежу, кругу, который не смущается вопросомъ: гдѣ истина? потому что увѣренъ, что нашелъ ее. Мнѣ легче было бы написать что-нибудь въ „благонамѣренномъ" вкусѣ. Значитъ, они имѣютъ свое внутреннее основаніе во мнѣ самомъ и искренни".

Отстаивая свое право волноваться сомнѣніями, которыя возникали въ его душѣ, И. С. Аксаковъ, по видимому, терялъ надежду быть вполнѣ понятымъ въ своемъ ближайшемъ окруженіи, и ему приходила мысль искать себѣ опоры внѣ

этой среды. „Вы пишете“, говорилъ онъ въ томъ же письмѣ отъ 18-го января,—„что читаете мои стихи. Я не спрашиваю васъ: нравятся ли они,—но понимаются ли они? Я бы желалъ, чтобъ ихъ прочли Грановскому или вообще людямъ, у которыхъ болѣла душа съ 1848 года“. Имя Грановскаго подвернулось здѣсь подъ перо пишущаго не даромъ. Благородный и даровитый Грановскій былъ чрезвычайно чутокъ ко всему, что наполняетъ собою нравственный міръ человѣка. Событія 1848 года въ Западной Европѣ глубоко взволновали его; онъ живо сочувствовалъ страданіямъ бѣдствующихъ низшихъ классовъ, сердцемъ и мыслью переживалъ перипетіи движенія, которое сулило имъ улучшеніе быта, но вскорѣ принесло только разочарованіе; лучше чѣмъ кто-либо онъ понималъ, что подавить мятежъ не значитъ рѣшить соціальный вопросъ. Но въ то же время онъ задавалъ себѣ вопросъ: торжество народной толпы не станетъ ли гибелью для лучшихъ плодовъ цивилизаціи, служившей до сихъ поръ только меньшинству, но равно необходимой и для большинства? „Элементы революціонные или, какъ называютъ ихъ теперь, разрушительные“, писалъ онъ въ 1853 году,—„не потеряли нисколько своей силы, и не нынче завтра могутъ разразиться съ жестокостью, къ несчастію, вызванною крайностями реакціи. Провидѣніе, кажется, осудило современныя поколѣнія на постоянное переходное положеніе, на состояніе въ борьбѣ, которая будетъ бросать ихъ изъ одной крайности въ другую“ *). Это тяжелое раздумье Грановскаго было понятно и сочувственно И. С. Аксакову, и потому онъ не задумался указать на этого блестящаго представителя противной партіи, какъ на безпристрастнаго судью своихъ стиховъ. Настроеніе Грановскаго онъ не задумался противопоставить впечатлѣніямъ своихъ близкихъ; это видно изъ дальнѣйшихъ словъ того же письма 18-го января 1851 года, непосредственно слѣдующихъ за приведеннымъ выше отрывкомъ: „Даже у Константина она (душа) не болѣла; онъ безо всякой внутренней душевной боли способенъ заклеймить проклятіемъ $^{9}/_{10}$

*) *Станкевичъ*, А. Тимоѳей Николаевичъ Грановскій, стр. 233—236.

человѣчества и давно не считаетъ людьми бѣдные народы Запада, а чѣмъ-то въ родѣ лошадиныхъ породъ. Оно, можетъ быть, и такъ, но убѣжденіе это полно для меня горечи!“ Не знаемъ, что отвѣчали И. С. Аксакову изъ Москвы на его горячія рѣчи; но въ параллели, которая обрисовывается приведенными словами между авторомъ стиховъ и его братомъ, обнаруживается тотъ оттѣнокъ воззрѣнія на вещи, который отличалъ мнѣнія младшаго брата отъ взглядовъ старшаго. И, очевидно, этотъ-то оттѣнокъ, это вызванное требованіями наболѣвшаго сердца уклоненіе отъ суроваго догматизма, присущаго образу мыслей К. С. Аксакова, и составляло ту особенность умственной и нравственной физіономіи Ивана Сергѣевича, которая располагала къ нему людей не славянофильской среды. Не знаемъ также, было ли исполнено выраженное И. С. Аксаковымъ желаніе относительно Грановскаго, но стихотвореніе „Послѣ 1848 года“ было прочтено Тургеневу. Это, разумѣется, также былъ цѣнитель, способный удовлетворить требованіямъ автора и понять поставленные имъ „многозначительные“, по его выраженію, вопросы. Піеса встрѣтила со стороны Тургенева одобреніе, и когда извѣстіе о томъ дошло до И. С. Аксакова, онъ написалъ роднымъ, что радуется этой похвалѣ *).

Такъ завязывались сношенія Тургенева съ семьей Аксаковыхъ, и притомъ роль посредника, если не по внѣшности, то по внутреннему смыслу обстоятельствъ, принадлежала младшему изъ сыновей Сергѣя Тимоѳеевича. Съ писемъ же И. С. Аксакова начинается и та корреспонденція, которую мы предлагаемъ читателю **). Въ объясненіе первыхъ писемъ слѣдуетъ сказать, что въ исходѣ 1851 года въ славянофильскомъ

*) Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ въ его письмахъ, т. II, стр. 363, 369, 374 и 375; приложеніе, стр. 52—55.

**) Считаемъ нужнымъ замѣтить, что расположеніе Аксаковскихъ писемъ въ хронологическомъ порядкѣ не встрѣтило затрудненій: на многихъ изъ нихъ даты выставлены самими писавшими; время написанія другихъ опредѣлено по отвѣтамъ Тургенева, который всегда датировалъ свои письма, либо по другимъ надежнымъ признакамъ. Письма К. С. и И. С. Аксаковыхъ писаны, разумѣется, собственноручно; также и большая часть писемъ ихъ отца; но нѣкоторыя письма Сергѣя Тимоѳеевича только диктованы имъ, а писаны постороннею (женскою) рукой.

кружкѣ возникло намѣреніе возобновить изданіе своего печатнаго органа. Двѣ книги „Московскаго Сборника“ были выпущены славянофилами въ 1846 и 1847 годахъ; но затѣмъ изданіе его было пріостановлено въ силу различныхъ обстоятельствъ. Мысль начать опять печатаніе „Сборника“ явилась у славянофиловъ съ переселеніемъ И. С. Аксакова въ Москву, что послѣдовало въ началѣ 1851 года; онъ былъ душой всего предпріятія, и ему же принадлежала мысль привлечь Тургенева къ участію въ этомъ дѣлѣ, на ряду съ другимъ западникомъ—Грановскимъ.

Письмо къ Тургеневу И. С. Аксакова.

Я къ вамъ съ просьбой, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ. Помните, я говорилъ вамъ о несогласіи, изъявленномъ братомъ, на участіе въ „Сборникѣ“, нами издаваемомъ, нѣкоторыхъ сотрудниковъ, вполнѣ имъ уважаемыхъ, но печатающихъ свои статьи въ петербургскихъ журналахъ. Вы знаете брата, слѣдовательно, и не удивились этому эксцентрическому требованію. Однако на общемъ совѣтѣ теперь рѣшено: непремѣнно произвести реформу въ характерѣ изданій нашихъ, расширить кругъ сотрудниковъ (полагая только непремѣннымъ условіемъ нравственное съ ними сочувствіе и права ихъ на наше искреннее уваженіе), избѣгать всякой излишней исключительности и односторонности. Это рѣшеніе принято и Константиномъ Сергѣевичемъ, какъ защитникомъ принципа единогласія. Самъ же онъ внутренно очень радъ этому, потому что любитъ васъ искренно, и первое несогласіе его стоило ему большой борьбы!.. Грановскій также участвуетъ и уже пишетъ статью. Братъ и я просимъ васъ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ, прислать непремѣнно что-нибудь для нашего „Сборника“: какую статью—вамъ не нужно сказывать, разумѣется, не въ родѣ „Провинціалки“ (не смотря на все достоинство ея мелкихъ чертъ), а больше въ духѣ „Записокъ Охотника“... Впрочемъ, что тутъ много толковать при той простотѣ взаимныхъ отношеній, которая существуетъ между людьми искренними, серьезными, скорбящими и давно наскучившими всякимъ суесловіемъ. Вы пришлете статью? Ну,

да. Прощайте же, крѣпко жму вашу руку. Весь вашъ *Иванъ Аксаковъ*.

Мой адресъ у васъ записанъ. Впрочемъ, на всякій случай, вотъ онъ: на Арбатѣ, въ Николо-Песковскомъ переулкѣ, въ домѣ г-жи Серединской, во флигелѣ.

1851 г. ноября 26-го. Москва.

* * *

Не извѣстно, какую статью собирался написать для „Московскаго Сборника“ Грановскій; во всякомъ случаѣ, его намѣреніе осталось безъ исполненія.

Комедія Тургенева „Провинціалка“ была помѣщена въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1851 года, т. LXXIV; „Записки Охотника“ печатались отдѣльными разсказами въ *Современникѣ* съ 1847 по 1851 годъ, и съ перваго же разсказа „Хорь и Калинычъ“ приковали къ себѣ общее вниманіе. Первые литературные опыты Тургенева, его поэмы и повѣсти, встрѣтили строгое осужденіе со стороны славянофиловъ; когда, въ 1846 году, появился въ „Петербургскомъ Сборникѣ“ его стихотворный разсказъ „Помѣщикъ“, К. С. Аксаковъ отозвался о немъ очень жестоко въ критической статьѣ, помѣщенной въ „Московскомъ Сборникѣ“ 1847 года (за подписью *Пирехъ*); но въ той же статьѣ было сказано о „Хорѣ и Калинычѣ“ слѣдующее: „Мы должны указать на появившійся въ 1-мъ нумерѣ *Современника* превосходный разсказъ Тургенева: „Хорь и Калинычъ“. Вотъ что̀ значитъ прикоснуться къ землѣ и къ народу: въ мигъ дается сила! Пока г. Тургеневъ толковалъ о своихъ скучныхъ любвяхъ да разныхъ апатіяхъ, о своемъ эгоизмѣ, все выходило вяло и безталанно; но онъ прикоснулся къ народу, прикоснулся къ нему съ участіемъ и сочувствіемъ—и посмотрите, какъ хорошъ его разсказъ! Талантъ, таившійся въ сочинителѣ, скрывавшійся все время, пока онъ силился увѣрить другихъ и себя въ отвлеченныхъ и потому небывалыхъ состояніяхъ души, этотъ талантъ въ мигъ обнаружился, и какъ сильно и прекрасно, когда заговорилъ о другомъ. Всѣ отдаютъ ему справедливость: по крайней мѣрѣ, мы спѣшимъ сдѣлать это. Дай Богъ г. Тургеневу продолжать по этой дорогѣ!“ Впо-

слѣдствіи К. С. Аксаковъ не разъ ссылался на этотъ свой отзывъ, которымъ онъ первый въ нашей литературѣ привѣтствовалъ поворотъ въ творческой дѣятельности Тургенева; такія ссылки встрѣчаются въ ниже печатаемыхъ письмахъ, а также въ „Обозрѣніи современной литературы", которое К. С. Аксаковъ помѣстилъ въ 1-й книгѣ *Русской Бесѣды* на 1857 годъ, впрочемъ, передѣлавъ изъ статьи, приготовленной еще для второй книги „Московскаго Сборника" на 1852 годъ.

Письмо къ Тургеневу И. С. Аксакова.

И не принуждайте себя писать, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ; ждите, пока послышите въ себѣ „внутреннюю необходимость". Это нежеланіе литературничать, мнѣ кажется, служитъ вѣрнымъ ручательствомъ въ пробужденіи въ васъ лучшихъ, искреннихъ требованій; должно быть, вы если не нашли, то почуяли истину, по крайней мѣрѣ, испытываете мучительное сначала, но, вѣроятно, спасительное безвѣрье въ отношеніи къ выработавшемуся доселѣ человѣческому умствованію. Мнѣ это состояніе очень знакомо; самого себя я плохо утѣшаю, но не знаю почему, ваше письмо повѣяло на меня добромъ, какою-то доброю надеждой относительно васъ... Благодарю васъ за ваше дружеское объясненіе. Но послушайте: я радъ буду, если вы не будете писать *теперь*, — и очень будетъ грустно мнѣ, когда увижу въ печати какую-нибудь вещь, написанную такъ, безъ внутренней необходимости, вещь дешевую, на которую не стоило бы тратить ни времени, ни таланта. *Современникъ* и *Отечественныя Записки* объявляютъ о вашемъ сотрудничествѣ, а первый—о вашемъ романѣ. Сохрани васъ Богъ подумать, что участіе ваше въ журналахъ, при неучастіи въ „Сборникѣ", оскорбляя меня, внушаетъ мнѣ эти слова. Нѣтъ, это огорчитъ меня за васъ; мнѣ будетъ жаль этой невозможности нравственной писать что-нибудь „такъ", отъ которой въ будущемъ ожидалъ я столько добра.

Я хотѣлъ было тотчасъ отвѣчать вамъ, но потомъ вздумалъ подождать оказіи. Оказіи еще нѣтъ, и я рѣшился ея

не дожидаться. Впрочемъ, въ январѣ предвижу одну оказію, съ которой вы получите отъ меня извѣстный стихъ.

Батюшка съ января мѣсяца думаетъ приступить къ печатанію своихъ „Записокъ“. „Сборникъ“ нашъ выйдетъ не прежде половины февраля. Кромѣ „Бродяги“ моего (изъ котораго я даю нѣсколько отрывковъ), ничего болѣе по части „изящной словесности“ не предвидится. Пріѣзжайте-ка въ Москву. Батюшка и братъ вамъ очень и очень дружески кланяются и желали бы весьма съ вами повидаться. Будьте здоровы, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ. Весь вашъ Иванъ Аксаковъ.

1851 г. Москва, 27-го декабря.

***

Изъ первыхъ строкъ этого письма слѣдуетъ заключить, что еще въ 1851 году Тургеневъ писалъ къ И. С. Аксакову; но относящіяся къ этому году письма Тургенева либо не сохранились, либо не попали въ печать; по крайней мѣрѣ, самое раннее изъ писемъ, изданныхъ въ *Вѣстникѣ Европы*, относится уже къ февралю 1852 года, а такого письма, въ которомъ Тургеневъ говорилъ бы, что вовсе не чувствуетъ „внутренней необходимости“ писать,—нѣтъ тамъ вовсе (если не считать одного намека въ вышеупомянутомъ февральскомъ письмѣ 1852 года). Во всякомъ случаѣ, такое расположеніе его духа было не болѣе, какъ временное и случайное, и И. С. Аксаковъ имѣлъ основаніе усумниться въ точности словъ своего корреспондента, ссылаясь на объявленія петербургскихъ журналовъ. Въ этихъ объявленіяхъ самымъ любопытнымъ фактомъ было обѣщаніе редакціи *Современника* предложить своимъ подписчикамъ „романъ“ Тургенева: до тѣхъ поръ онъ писалъ только повѣсти, разсказы и комедіи. Этотъ первый опытъ романа занималъ Тургенева въ теченіе 1852—1855 годовъ и неоднократно упоминается въ его перепискѣ съ Аксаковыми, но остался не конченнымъ и въ печати не появлялся. Мы еще будемъ имѣть случай ниже сообщить нѣсколько свѣдѣній объ этомъ не изданномъ произведеніи Тургенева.

„Записки“, къ печатанію которыхъ, по сообщенію И. С. Аксакова, собирался приступить его отецъ, суть „Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи“; первое изданіе ихъ дѣйствительно появилось въ свѣтъ весной 1852 г.

Письмо къ Тургеневу И. С. Аксакова.

Посылаю вамъ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ, съ *оказіей* раскольническій стихъ. Онъ переписанъ во всемъ согласно съ подлинникомъ: даже всѣ ошибки и правописаніе, всѣ неясности и непонятныя слова удержаны. Нѣ по чему поправить, да и не возьму я этого на себя; но нѣтъ сомнѣнія, что рукопись, которая у меня въ рукахъ, есть списокъ и, вѣроятно, неправильный съ другой рукописи. Но нужды нѣтъ: характеръ, духъ всей пѣсни слышится и чувствуется достаточно. Благодарю васъ за ваше дружеское письмо и поздравляю васъ съ новымъ годомъ; желаю вамъ здоровья и бодрости.

„Просьбы Оленина“ я получилъ. Всѣ совѣтуютъ напечатать, но всѣ сомнѣваются, пропуститъ ли цензура. Если отдѣлъ смѣси устроится, то я отдамъ ихъ цензору. А въ самомъ дѣлѣ, какой замѣчательный языкъ въ этихъ „просьбахъ“!

Сдѣлайте одолженіе, какъ только пріѣдете въ Москву, дайте сейчасъ знать о вашемъ пріѣздѣ: если никого изъ насъ не будетъ въ Москвѣ, то намъ немедленно дадутъ знать въ деревню, и мы съ братомъ пріѣдемъ. Съ будущей недѣли приступаю къ печатанію „Сборника“. Гоголь постоянно и много работаетъ и печатаетъ второе изданіе своихъ сочиненій съ прибавкою и 5-го, *новаго* тома. Прощайте же, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ. Оказія больно торопитъ. Крѣпко, крѣпко жму вамъ руку. Весь вашъ *Ив. Аксаковъ.*

1852 января 4-го.

* * *

Письмо это писано изъ Абрамцева, гдѣ семья Аксаковыхъ проводила зиму 1851—1852 годовъ.

Раскольническій стихъ, посланный И. С. Аксаковымъ Тургеневу, принадлежалъ, вѣроятно, сектѣ странниковъ или бѣ-

гуновъ, изученіемъ которой Аксаковъ занимался во время своей службы въ Ярославлѣ. Онъ составилъ о бѣгунахъ обширную дѣловую записку, изъ которой былъ напечатанъ только заключительный параграфъ (*Русскій Архивъ* 1866 г.); тутъ помѣщенъ между прочимъ отрывокъ изъ одного духовнаго стиха бѣгунской секты.

„Просьбы“ Оленина, доставленныя Тургеневымъ для „Московскаго Сборника“, не попали въ него, но были впослѣдствіи напечатаны въ *Русскомъ Архивѣ* 1870 года. Копію съ этихъ любопытныхъ документовъ конца прошлаго вѣка Тургеневъ нашелъ въ одной старинной тетрадкѣ, сохранившейся въ его деревенскомъ домѣ въ селѣ Спасскомъ, и, препровождая эти бумаги П. И. Бартеневу, между прочимъ писалъ ему: „Прадѣдъ мой вписалъ въ свою тетрадку три просьбы нѣкоего секундъ-маіора Оленина. Онѣ, вѣроятно, поразили его мастерствомъ изложенія, знаніемъ законовъ, смѣлостью обличительныхъ нападокъ. Просьбы эти, которыя самъ секундъ-маіоръ называетъ незастѣнчивыми, дѣйствительно любопытны, какъ знаменіе того времени, какъ образчикъ чистѣйшаго ябедническаго слога, возвышающагося иногда до краснорѣчія и не лишеннаго своеобразной юмористической окраски. Особенно замѣчательна вторая просьба, въ которой проводится сравненіе между Тамбовскимъ намѣстникомъ и „нашимъ праотцемъ Адамомъ“. Что Оленинъ былъ крючкотворъ перваго сорта—это не подлежитъ сомнѣнію; но накипѣвшее въ немъ негодованіе также несомнѣнно и неподдѣльно“.

Упоминаемое Аксаковымъ изданіе сочиненій Гоголя не состоялось за послѣдовавшею вскорѣ смертью автора „Мертвыхъ Душъ“. Свѣдѣнія о приготовленіяхъ къ этому изданію находятся въ предисловіи къ 10-му изданію сочиненій Гоголя, вышедшему подъ редакціей Н. С. Тихонравова.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

12-го января 1852.

Благодарю васъ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, за вашу дружескую память обо мнѣ въ письмахъ къ моему сыну, вашему полному соименнику. Познакомившись съ вами, я не

перестаю жалѣть объ одномъ: зачѣмъ такъ поздно узналъ васъ. Ваше участіе въ моихъ „Охотничьихъ Запискахъ“ и одобрительныя слова для меня дороже всѣхъ другихъ, и не мудрено: вы соединяете въ себѣ цѣнителя по литературной и охотничьей части. Я не хотѣлъ печатать нынѣшній годъ моихъ „Записокъ“ по многимъ отношеніямъ, а главное — потому, что онѣ не ранѣе половины марта выдутъ изъ печати: для успѣшнаго хода книги это поздно; но, увлекаясь вашимъ участіемъ и обѣщаніемъ написать рецензію (за что васъ искренно благодарю), я рѣшился печатать и вчера послалъ рукопись съ сыновьями въ Москву. Въ печати выдетъ около 30-ти листовъ въ большую осьмушку.

Московскія книги идутъ ужасно тупо. Моихъ „Записокъ объ уженьи“, которыя также имѣютъ свое достоинство и были расхвалены во всѣхъ журналахъ, продалось не болѣе 15-ти экземпляровъ, да еще 40 рублей въ томъ числѣ пропали на объявленія. Если то же будетъ съ „Записками ружейнаго охотника“, то (скажу между нами) мнѣ не къ году будетъ такой убытокъ.

Очень жалѣю о вашемъ нездоровьѣ; но меня утѣшаютъ слухи, что вы мнительны. Зачѣмъ вы живете въ Петербургѣ? Тамошняя атмосфера вредна вамъ. Когда будете въ Москвѣ? Не будете ли такъ добры, не заѣдете ли въ мое уединеніе по дорогѣ къ Троицѣ? Иначе мы не увидимся. Я здоровъ по возможности, но боюсь зимней дороги.

Разставшись съ моими „Записками“, я грущу о прекращеніи дѣла, которое пріятно занимало меня три года... Попробую продолжать „Семейную Хронику“. Прощайте, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ. Обнимаю васъ. Если вздумаете написать ко мнѣ, то адресуйте прямо на мое имя въ Сергіевскій посадъ Московской губерніи. Душою вашъ *С. Аксаковъ*.

* * *

Первое изданіе „Записокъ объ уженьи рыбы“ С. Т. Аксакова вышло въ 1847 году въ Москвѣ. Журнальныя рецензіи обратили вниманіе не только на ихъ спеціальныя достоинства, но и на прекрасныя описанія природы, которыя

встрѣчаются здѣсь такъ же, какъ въ „Запискахъ ружейнаго охотника“. Тургеневъ, отвѣчая на это письмо Сергѣя Тимоѳеевича, справедливо объяснялъ незначительный матеріальный успѣхъ книги объ уженьи тѣмъ, что она „какъ ни хороша, но интересуетъ у насъ слишкомъ немногихъ“. Впрочемъ, „Записки объ уженьи“ имѣли еще два отдѣльныя изданія (въ 1854 и 1856 гг.).

Свою „Семейную Хронику“ С. Т. Аксаковъ началъ писать еще въ половинѣ сороковыхъ годовъ, и первый отрывокъ изъ нея появился въ печати въ „Московскомъ Сборникѣ“ 1846 года.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С.-Петербургъ. 2-го февр. 1852. Суббота.

Ваше письмо чрезвычайно меня обрадовало, любезный и почтенный Сергѣй Тимофѣевичъ; и главное—мнѣ было пріятно думать, что если ваши прекрасныя „Записки“ появятся въ свѣтъ ранѣе, чѣмъ вы предполагали, то читатели будутъ этимъ отчасти обязаны мнѣ. Ради Бога, печатайте ихъ нынѣшней же зимой; не сравнивайте ихъ съ вашей книгой объ *Уженьи*, которая, какъ ни хороша, но интересуетъ у насъ слишкомъ немногихъ; у насъ на Руси ловятъ рыбу большей частью неводомъ—собственныхъ охотниковъ до уженья мало, — а ружейныхъ охотниковъ—слава Богу!—есть и великое множество. Притомъ ваши Записки будутъ дороги не для однихъ охотниковъ; всякому человѣку, не лишенному поэтическаго чутья, онѣ доставятъ истинное наслажденье, и потому я готовъ отвѣчать за успѣхъ ихъ—и литературный, и матеріальный. А для меня, повторяю—написать имъ разборъ будетъ просто праздникъ.

Я, дѣйствительно, не лишенъ мнительности; но, къ сожалѣнью, на этотъ разъ—у меня, хотя не опасная, но несомнѣнная и непріятная болѣзнь: желудочная лихорадка, которая гоститъ у меня каждый день отъ 12 до 7 часовъ. Впрочемъ, благодаря строжайшей діетѣ, она, кажется, проходитъ—но я еще все сижу дома.

Я надѣюсь быть въ Москвѣ около начала мая — и если

не застану васъ въ Москвѣ—непремѣнно заѣду къ вамъ дня на три. Вы такъ добры и пишете мнѣ, что сожалѣете, что узнали меня поздно; повѣрьте, что это сожалѣніе не менѣе сильно съ моей стороны, особенно когда я вспомню, что мы могли быть давно знакомы... но у каждаго человѣка есть своя судьба, которая ведетъ его по своимъ дорогамъ.

Поклонитесь отъ меня вашимъ дѣтямъ, которыхъ я душевно люблю—хотя различною любовью. Съ моимъ полнымъ соименникомъ—я, кажется, могъ бы легко весьма тѣсно сблизиться. Съ удовольствіемъ думаю о нашемъ свиданьи весной.—Надѣюсь, что альманахъ ихъ печатается—и сожалѣю, что не могъ быть участникомъ въ немъ. Не пишется что-то — по крайней мѣрѣ, ничего порядочнаго не пишется — и скажу откровенно, что я слишкомъ уважаю ихъ изданіе, чтобы дать имъ, напр., такую пустую вещицу, какъ ту, которая появится во 2-мъ № Современника.

Отличная у васъ мысль—продолжать „Семейную Хронику“. Приведите ее въ исполненіе.

До свиданья—будьте здоровы и веселы—желаю вамъ всего хорошаго въ мірѣ и съ искренней привязанностью остаюсь душевно уважающій васъ—*Ив. Тургеневъ*.

Письмо къ Тургеневу И. С. Аксакова.

26-го февраля 1852 года. Москва.

Любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ! Вчера мы похоронили Гоголя. Точно будто хоронилъ самого себя; знаю, что вы испытываете то же чувство, и потому мнѣ захотѣлось писать къ вамъ. Какое тяжкое чувство сиротства овладѣло всѣми, для которыхъ въ Гоголѣ заключалась вся надежда, все утѣшеніе, единственная свѣтлая точка въ Россіи! Теперь все лопнуло. Надо начать жить *безъ Гоголя!* Онъ изнемогъ подъ тяжестью не разрѣшимой задачи, отъ тщетныхъ усилій найдти примиреніе и свѣтлую сторону тамъ, гдѣ ни то, ни другое не возможно,—въ обществѣ. 12 лѣтъ трудился онъ надъ этой задачей, 12 лѣтъ писалъ онъ 2-й томъ „Мертвыхъ Душъ“, писалъ, переписывалъ, передѣлывалъ и все не считалъ оконченнымъ, ни разу не могъ удовлетвориться... И вотъ онъ

самъ сжигаетъ ихъ и, сжегши, умираетъ. Все это полно страшнаго, огромнаго смысла. Вся мученическая, художественная дѣятельность Гоголя, все его существованіе, писаніе „Мертвыхъ Душъ“, сожженіе ихъ и смерть, все это составляетъ такое огромное историческое событіе, съ такимъ необъятнымъ значеніемъ, отъ котораго духъ захватываетъ. „Ну, кажется, теперь больше хоронить некого“, сказалъ намъ вчера Грановскій. И дѣйствительно, мы похоронили не только послѣднюю славу, но кажется, и послѣдняго художника не только для Россіи, но и для цѣлаго міра. И этотъ послѣдній художникъ міра былъ русскій и, какъ говоритъ братъ, христіанинъ, подвижникъ, монахъ. Въ самомъ дѣлѣ, указанное имъ отличіе русскаго художника ото всей пьяной фалангі западныхъ художниковъ — поразительно. Гоголь постоянно смотрѣлъ на свой трудъ, какъ на подвигъ; въ немъ не было двухъ жизней и двухъ лицъ отдѣльныхъ — писателя и человѣка, члена общества. Когда я присутствовалъ при чтеніи 2-й главы изъ 2-го тома „Мертвыхъ Душъ“, то мнѣ дѣлалось страшно: такъ каждая строка казалась написанною кровью и плотью, всею его жизнью. Казалось, онъ принялъ въ свою душу всю скорбь Россіи. Какъ поразительны теперь слова, заканчивающія 1-й томъ „Мертвыхъ Душъ“: „Русь, Русь, куда несешься ты, дай отвѣтъ... Не даетъ отвѣта“! И не нашелъ онъ отвѣта! Все сожжено имъ, ничего не осталось! А сколько у него было начатаго и уже оконченнаго, кромѣ „Мертвыхъ Душъ“! У брата Константина сохранились только подлинныя черновыя рукописи Гоголя, заключающія въ себѣ всю „Диканьку“, „Миргородъ“ и много первоначальныхъ молодыхъ этюдовъ. Уѣзжая за границу, онъ отдалъ ему ихъ на сохраненіе,— такъ они и остались у брата.

Прощайте. Хотѣлъ писать еще, но помѣшали, да къ тому же для полной бесѣды надо было бы написать листовъ десять. Когда же вы въ Москву? Пріѣзжайте, обнимаю васъ. Весь вашъ *Ив. Аксаковъ*.

P. S. Я уѣзжалъ изъ Москвы недѣли на три въ Курскую губернію и воротился только на канунѣ смерти Гоголя.

* * *

Это прекрасное письмо составляетъ какъ бы черновой набросокъ статьи И. С. Аксакова: „Нѣсколько словъ о Гоголѣ", помѣщенной въ „Московскомъ Сборникѣ" 1852 года; сходство между письмомъ и статьей иногда буквальное. Едва ли не на это письмо послѣдовалъ отвѣтъ Тургенева, не дошедшій по назначенію, но попавшій въ другія руки и послужившій однимъ изъ поводовъ къ ссылкѣ писавшаго весной 1852 года. Изъ этого Тургеневскаго отвѣта извѣстенъ лишь слѣдующій отрывокъ, напечатанный М. И. Сухомлиновымъ въ отчетѣ II отдѣленія Академіи Наукъ за 1883 годъ: „Скажу вамъ безъ преувеличенія: съ тѣхъ поръ, какъ я себя помню, ничего не произвело на меня такого впечатлѣнія, какъ смерть Гоголя. Эта страшная смерть—историческое событіе, понятное не сразу; это—тайна, тяжелая, грозная тайна... Ничего отраднаго не найдетъ въ ней тотъ, кто ее разгадаетъ. *Трагическая судьба Россіи* отражается на тѣхъ изъ русскихъ, кои ближе другихъ стоятъ къ ея нѣдрамъ... Гоголь погибъ! Мнѣ, право, кажется, что онъ умеръ потому, что рѣшился, захотѣлъ умереть... Г. Мусинъ-Пушкинъ не устыдился назвать Гоголя публично писателемъ лакейскимъ... Сидя въ грязи по горло, эти люди принялись ѣсть эту грязь—на здоровье! Благороднымъ людямъ должно теперь крѣпче, чѣмъ когда-нибудь, держаться за себя и другъ за друга. Пускай хоть эту пользу принесетъ смерть Гоголя!" Въ *Вѣстникъ Европы* письма съ такими строками не помѣщено.

Рукописями Гоголя, оставшимися у К. С. Аксакова и состоявшими изъ пяти записныхъ тетрадей, воспользовался Н. С. Тихонравовъ при редакціи 10-го изданія сочиненій Гоголя.

Письмо къ Тургеневу И. С. Аксакова.

Любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ! Батюшка поручилъ мнѣ спросить васъ: кого изъ петербургскихъ книгопродавцевъ рекомендуете вы для отдачи ему на коммиссію „Записокъ ружейнаго охотника", которыя въ четвергъ или пятницу на этой недѣлѣ выйдутъ. Московскіе книгопродавцы обыкновенно

доставляютъ въ Петербургъ только при усиленныхъ требованіяхъ. Сдѣлайте одолженіе, увѣдомьте, къ кому изъ книгопродавцевъ и сколько совѣтуете вы доставить экземпляровъ, съ уступкою 20 или 25 процентовъ, съ полученіемъ ли денегъ впередъ, или одной расписки и т. п. Мнѣ очень, очень совѣстно навязывать вамъ на шею эти хлопоты, но у васъ, вѣроятно, есть пріятели между книгопродавцами. Собственно же къ вамъ книжка будетъ доставлена немедленно.

Ваша живая, прекрасная статья о Гоголѣ помѣщена въ одномъ № со статьей моего отца. Это вышло очень кстати: этотъ дружный, согласный хоръ голосовъ двухъ разныхъ поколѣній произвелъ на здѣшнюю публику особенное дѣйствіе. Прощайте, будьте здоровы, да пріѣзжайте поскорѣе въ Москву. Весь вашъ *Ив. Аксаковъ*.

Понедѣльникъ 17-го марта 1852. Москва.

* * *

Статья Тургенева о Гоголѣ появилась въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* 1852 года, № 32, подъ заглавіемъ: „Н. В. Гоголь. Письмо изъ Петербурга“; рядомъ съ нею была напечатана статья С. Т. Аксакова: „Письмо къ друзьямъ Гоголя“; первая повторена въ собраніи сочиненій Тургенева, въ отдѣлѣ „Литературныхъ Воспоминаній“, вторая—въ „Исторіи моего знакомства съ Гоголемъ“ С. Т. Аксакова (М. 1890).

О переговорахъ своихъ съ книгопродавцемъ Базуновымъ на счетъ „Записокъ ружейнаго охотника“ Тургеневъ увѣдомлялъ И. С. Аксакова письмомъ отъ 20-го марта. Въ то время онъ еще не зналъ, что ему грозитъ высылка, но уже собирался въ Москву и въ свою деревню.

Письмо Тургенева къ И. С. Аксакову.

С.-Петербургъ. Четвергъ, 20-го марта 1852.

Спѣшу отвѣчать на ваше письмо, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ. Самый надежный здѣсь книгопродавецъ—Базуновъ—и вашему батюшкѣ должно отправить къ нему *сто* экземпляровъ, за которые онъ вышлетъ росписку, а деньги онъ будетъ выдавать еженедѣльно, съ вычетомъ 25 процентовъ. Я

самъ лично его не знаю — также какъ и всѣхъ здѣшнихъ книгопродавцевъ. Эти свѣдѣнія мнѣ доставилъ Некрасовъ, человѣкъ весьма опытный въ этомъ дѣлѣ, и который взялся переговорить лично съ Базуновымъ и устроить это дѣло какъ только можно будетъ выгоднѣе для Сергѣя Тимофеича. И такъ высылайте немедленно 100 экз. сюда. Некрасовъ же велѣлъ вамъ сказать, что въ Москвѣ вы не должны давать болѣе 20-ти проц.

Вы не можете себѣ представить, какъ обрадовало меня извѣстіе о выходѣ въ свѣтъ книги С. Т. — и съ какимъ нетерпѣньемъ я ее ожидаю. Посылайте ее поскорѣй, чтобы рецензія могла поспѣть въ апрѣльскую книжку. Некрасовъ настаиваетъ на томъ, чтобы выслать непремѣнно разомъ 100 экз., а не помаленьку.

Что вы мнѣ говорите о моей статейкѣ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ — мнѣ было очень пріятно — на меня самого сильно подѣйствовало сосѣдство благородной и трогательной статьи Сергѣя Тимофеича.

Извините меня, что я вамъ написалъ такое короткое и вялое письмецо. Мысль, что я въ весьма скоромъ времени буду въ Москвѣ и увижу васъ и всѣхъ тамошнихъ друзей, еще усиливаетъ мою обычную лѣнь. Притомъ —

„Tanto vi ho da dir, ch'incomminciar non oso“...

И потому до свиданья. У насъ здѣсь грязная, сырая, больная весна. Всегда въ это время Петербургъ посѣщается тифомъ — но въ нынѣшнемъ году онъ такъ силенъ, что заведены временныя больницы. Еще причиной больше, чтобы спасаться отсюда. Я, если Богъ дастъ, черезъ двѣ недѣли непремѣнно буду въ Москвѣ.

Присылайте поскорѣй „Записки Ружейнаго Охотника“. Кланяюсь С. Т — у и вашему брату, дружески жму вамъ руку, и т. д.

Письмо къ Тургеневу И. С. Аксакова.

1852, воскресенье 23-го марта. Москва.

Любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ! Сейчасъ получилъ ваше письмо; завтра отправится къ вамъ книга: „Записки ружей-

наго охотника". Отправляется она къ вамъ безъ надписи и не въ той оберткѣ или сорочкѣ, въ которой имѣетъ явиться въ свѣтъ. Для „Записокъ" нарисована пріятелемъ моимъ художникомъ Мамоновымъ обертка съ изображеніемъ куликовъ, журавлей и тому подобной дичи. Книга вышла, то-есть, окончена печатаньемъ, но еще не переплетена, и рисунокъ не оттиснутъ. Поэтому я и велѣлъ изготовить нѣсколько экземпляровъ хоть въ томъ видѣ, въ какомъ вамъ и посылается. Такъ какъ я уѣзжалъ почти на цѣлый мѣсяцъ изъ Москвы и поручалъ печатаніе безъ себя разнымъ лицамъ, то въ книгу вкрались многія немаловажныя ошибки, почему и прошу васъ, при чтеніи, принимать въ соображеніе листъ опечатокъ. Обращаю особенное ваше вниманіе на красоту описанія степей.

„Сборникъ" нашъ долженъ выйдти на Ѳоминой. Хоть онъ будетъ и не таковъ, какимъ я его думалъ сдѣлать, однако все же будетъ по многому замѣчателенъ.

Въ середу вышлю къ Базунову экземпляровъ 100. Благодарю за скорый отвѣтъ и за хлопоты. Прощайте, будьте здоровы, да пріѣзжайте скорѣе сюда. Всѣ вамъ кланяются. Весь вашъ *Ив. Аксаковъ*.

Больше не пишу, потому что рѣшительно некогда, да и какъ писать! Батюшка пришлетъ къ вамъ экземпляръ особый, съ надписью. Жаль, что такъ мало времени, а вамъ бы слѣдовало написать не только рецензію, но и замѣчанія.

* * *

Художникъ, украсившій своимъ рисункомъ заглавный листъ „Записокъ ружейнаго охотника", — Эммануилъ Александровичъ Дмитріевъ-Мамоновъ; онъ принадлежалъ къ славянофильскому кружку и для „Московскаго Сборника" 1852 года нарисовалъ портретъ Гоголя; статьи его по исторіи живописи печатались въ *Русской Бесѣдѣ* 1856—59 годовъ, а въ *Русскомъ Архивѣ* 1873 года онъ помѣстилъ историко-критическій очеркъ о славянофилахъ, вызвавшій тогда же возраженіе со стороны И. С. Аксакова.

Письмо къ Тургеневу И. С. Аксакова.

Марта 28-го, пятница (1852).

Нынче или завтра отправятся въ Петербургъ сто экземпляровъ къ Базунову. Я отправляю ихъ черезъ брата его, московскаго книгопродавца, который, кромѣ этого, купилъ у меня за деньги, съ уступкой 30 процентовъ, 75 экземпляровъ. Вы увидите, что изданіе довольно красиво; нравится мнѣ очень обертка, сдѣланная Мамоновымъ. Вашъ экземпляръ, за подписью моего отца, будетъ дожидаться васъ въ Москвѣ.

Такъ-то! Пріѣзжайте скорѣе, но во всякомъ случаѣ, постарайтесь возвѣстить о вашемъ пріѣздѣ заранѣе, чтобы я и братъ могли пріѣхать изъ деревни (еслибы случилось, что мы на это время не въ Москвѣ). Больше не пишу, потому что, потому что... Ну да, какъ бишь ее — эта испанская фраза, которую вы пишете въ письмѣ?.. Прощайте, крѣпко обнимаю васъ. Всѣ вамъ кланяются. „Сборникъ“ выходитъ въ концѣ Ѳоминой. Весь вашъ *Ив. Аксаковъ*.

* * *

Фраза — не испанская, а италіанская — на которую намекаетъ И. С. Аксаковъ, была вставлена въ письмѣ къ нему Тургенева отъ 20-го марта 1852 года. Она составляетъ слѣдующій стихъ изъ Петрарки (Sonetti e canzoni in vita di madonna Laura, son. 136):

Tanto le ho a dir, che incominciar non oso.

То-есть: столько имѣю тебѣ сказать, что начать не смѣю.

Письмо Тургенева къ И. С. Аксакову.

С.-Петербургъ. 9-го апр. 1852.

Сегодня появился № Современника съ небольшой моей статейкой о книгѣ С. Т.—любезный Иванъ Сергѣевичъ—и съ большими выписками изъ нея. Въ „Критику“ это не успѣло уже попасть и помѣщено въ „Литературныхъ Новостяхъ“. Въ *іюньской* книгѣ Современника будетъ о ней пространная статья—и въ *майской* Отеч. Зап. (эту статью я теперь пишу). Книга вашего отца привела меня въ совершенный восторгъ.—

Выѣзжаю я отсюда черезъ недѣлю—и потому все остальное переговоримъ при личномъ свиданьи. А до тѣхъ поръ будьте здравы и невредимы—жму вамъ всѣмъ руки и остаюсь, и т. д.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

29-го мая 1852. Абрамцево.

Не умѣю пересказать вамъ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ, какъ былъ я огорченъ, получивъ на дняхъ извѣстіе, что вы проѣхали черезъ Москву! У меня все оставалась надежда, что вы пробудете тамъ нѣсколько времени, что вы поѣдете къ Троицѣ и заѣдете ко мнѣ, по обѣщанію вашему, или (еслибъ вамъ нельзя было пріѣхать), что мнѣ дадутъ знать, и я самъ пріѣду въ Москву повидаться съ вами. Но какъ нарочно никого изъ моихъ, кромѣ больной дочери, не было на ту пору въ Москвѣ.

Обо всемъ случившемся съ вами, можетъ быть, ошибочно и смутно знаютъ всѣ, слѣдственно, не могу и я не знать; но понять этого происшествія я никакъ не умѣю. Тутъ должно быть, какъ я полагаю, недоразумѣнье. Я былъ долго цензоромъ и хорошо знаю эти дѣла: если цензоръ, не одобривъ къ напечатанію піесы, не внеся ея въ комитетъ и не подвергнувъ ея законному запрещенію, возвратитъ ее сочинителю, то онъ можетъ дѣлать съ своей піесой, что́ ему угодно; онъ имѣетъ полное право отдать на разсмотрѣніе тутъ же другому цензору. У всякаго человѣка свой умъ — царь въ головѣ, и я знаю множество примѣровъ, что не пропускаемыя піесы въ Москвѣ посылались въ Петербургъ и потомъ печатались въ московскихъ журналахъ съ особеннымъ означеніемъ, какой цензоръ одобрилъ ихъ къ печати. Напечатать же піесу, запрещенную на законномъ основаніи въ Москвѣ или Петербургѣ (это все равно), нельзя иначе, какъ обманомъ, предупредивъ официальное о ней сообщеніе: такой поступокъ—уголовное преступленіе, и не только вы, но едва ли кто-нибудь пустится на такое дурное дѣло. Я убѣжденъ, что ваши невинныя и законныя дѣйствія были представлены въ послѣднемъ видѣ. Разумѣется, это тѣмъ не менѣе огорчительно для васъ и для всѣхъ. Но я никакъ не могу по-

вѣрить, чтобъ сѣтованіе о потерѣ Гоголя, котораго я зналъ лучше всѣхъ, и который былъ самый христіанскій и монархическій писатель, могло быть поставлено въ вину кому бы то ни было. Во всякомъ случаѣ примите искренное выраженіе моего сердечнаго участія во всемъ случившемся съ вами.

Благодарю васъ за ваши теплыя, дорогія мнѣ строки о моихъ „Запискахъ“. Послѣднія слова вашей статьи могли бы слишкомъ меня возгордить, еслибъ я не напоминалъ себѣ безпрестанно, что вы увлекаетесь, какъ молодой охотникъ и какъ добрый пріятель старому охотнику.

Прощайте, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, я боленъ всю весну и не могу вполнѣ наслаждаться природой. Я надѣюсь, что мы будемъ имѣть отъ васъ извѣстія. Будьте здоровы и бодры. Крѣпко васъ обнимаю. Душой вашъ *Сергѣй Аксаковъ*.

***

Отвѣчая на это письмо уже изъ деревни, 6-го іюня Тургеневъ подтверждалъ соображенія С. Т. Аксакова своими разъясненіями и между прочимъ писалъ: „Посылая мою статью въ Москву, я и не думалъ дѣлать что-нибудь противозаконное; Назимовъ, котораго я видѣлъ въ Москвѣ, очень удивился, когда узналъ, что я даже въ глаза не видалъ г. Мусина-Пушкина“. Вообще Тургеневъ полагалъ, что поводомъ къ преслѣдованіямъ, которымъ онъ подвергся, послужили какія-либо представленія начальника петербургской цензуры М. Н. Мусина-Пушкина, и въ этомъ смыслѣ онъ разсказываетъ о своемъ арестѣ и высылкѣ изъ Петербурга даже въ своихъ позднѣйшихъ „Литературныхъ Воспоминаніяхъ“. То же сообщаетъ, на основаніи городскихъ слуховъ и А. В. Никитенко въ своемъ дневникѣ. Но, какъ видно изъ документальныхъ данныхъ, сообщенныхъ М. П. Сухомлиновымъ, дѣло о напечатаніи статьи Тургенева возникло инымъ путемъ. Какъ бы то ни было, Тургеневъ встрѣтилъ свою ссылку „бодро“ и писалъ Аксакову (отъ 6-го іюня): „Въ моей судьбѣ, особенно теперь, въ деревнѣ, я ничего не вижу ужаснаго... Ничего, перемелется—мука будетъ. Я на дняхъ принимаюсь за статью о вашей много читанной и много любимой мною

книжкѣ для *Современника*". Но еще раньше написанія этой большой статьи, еще до выѣзда изъ Петербурга, Тургеневъ далъ въ этотъ журналъ слѣдующую небольшую замѣтку о „Запискахъ ружейнаго охотника", за которую и благодаритъ его С. Т. Аксаковъ въ своемъ письмѣ:

„Въ Москвѣ вышли на дняхъ „Записки ружейнаго охотника" С. Т. А—ва, того самаго, автора, которому мы уже обязаны прекрасной книгой объ уженьѣ. Мы поздравляемъ русскую литературу и читателей нашихъ съ появленіемъ этихъ „Записокъ". Подобныя книги появляются у насъ слишкомъ рѣдко. Кому еще не знакомо новое сочиненіе С. Т. А—ва, тотъ не можетъ себѣ представить, до какой степени оно занимательно, какою обаятельной свѣжестью вѣетъ отъ его страницъ. Да не подумаютъ читатели, что „Записки ружейнаго охотника" имѣютъ цѣну для однихъ охотниковъ: всякій, кто только любитъ природу во всемъ ея разнообразіи, во всей ея красотѣ и силѣ, всякій, кому дорого проявленіе жизни всеобщей, среди которой самъ человѣкъ стоитъ, какъ звено живое, высшее, но тѣсно связанное съ другими звеньями,— не оторвется отъ сочиненія г. А—ва; оно станетъ его настольною книгой, онъ будетъ ее съ наслажденіемъ читать и перечитывать; естествоиспытатель прійдетъ отъ нея въ восторгъ... Мы предоставимъ себѣ удовольствіе въ одномъ изъ слѣдующихъ нумеровъ *Современника* подробно поговорить объ этомъ сочиненіи, написанномъ съ такою любовью и съ такимъ знаніемъ дѣла; и мы будемъ говорить о ней, находясь сами на мѣстѣ, въ деревнѣ, среди той природы, которой она служитъ вѣрнымъ и поэтическимъ отраженіемъ, предаваясь сами „ружейной охотѣ"; теперь мы ограничимся только просьбой къ читателямъ не смѣшивать этой капитальной книги, которая въ одно и въ то же время обогащаетъ и ту спеціальную литературу, которой она принадлежитъ, и общую нашу словесность,—не смѣшивать ее съ ничтожными и вздорными сочиненьицами объ охотѣ, появившимися въ послѣднее время".

Затѣмъ слѣдуетъ нѣсколько выписокъ изъ книги Аксакова, а въ концѣ замѣтки говорится:

„Но мы никогда бы не кончили, еслибъ захотѣли выписывать все прекрасное въ книгѣ г. А—ва. Повторяемъ, мы объ ней еще поговоримъ въ скоромъ времени, и поговоримъ подробно. Теперь же намъ остается пожелать ей, къ чести читателей вообще и охотниковъ въ особенности, самый блестящій успѣхъ, самое обширное распространеніе. Эту книгу нельзя читать безъ какого-то отраднаго, яснаго и полнаго ощущенія, подобнаго тѣмъ ощущеніямъ, которыя возбуждаетъ въ насъ сама природа, а выше этой похвалы мы никакой не знаемъ“ (*Современникъ* 1852, т. XXVII, отд. VI, стр. 325—331: „Литературн. новости“).

Мы сочли умѣстнымъ привести здѣсь эту замѣтку Тургенева, никогда впослѣдствіи не перепечатывавшуюся, потому что высказанныя тутъ похвалы глубоко тронули автора „Записокъ ружейнаго охотника“; для Тургенева же эта замѣтка послужила программой, по которой онъ принялся въ деревнѣ писать большую статью о той же книгѣ. Въ письмѣ отъ 9-го апрѣля, говоря о вышеприведенной замѣткѣ, Тургеневъ извѣщалъ Сергѣя Тимоѳеевича, что онъ приготовляетъ рецензію на его сочиненіе и для *Отечественныхъ Записокъ*. Въ майской книгѣ этого журнала есть дѣйствительно рецензія на „Записки“ Аксакова, написанная тоже въ хвалебномъ тонѣ, но безъ того одушевленія, какое отличаетъ замѣтку *Современника*. Очень можетъ быть, что эту рецензію писалъ уже не Тургеневъ, вынужденный въ то время оставить Петербургъ.

Письмо къ Тургеневу И. С. Аксакова.

Любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ! Какъ досадно, какъ обидно, что я не видался съ вами! Я все время жилъ въ Москвѣ и только на нѣсколько дней уѣзжалъ въ деревню. Я даже чуть-чуть было не махнулъ къ вамъ въ деревню...

Послушайте: я продолжаю изданіе „Сборника“. Второй томъ выходитъ къ 1-му октября. Дайте, прошу васъ, статью. Мнѣ непремѣнно хочется, и теперь больше, чѣмъ когда-либо, чтобы вы приняли участіе въ нашемъ честномъ изданіи... Пришлите хоть бездѣлицу, только, разумѣется, не въ родѣ „Трехъ Встрѣчъ“, а такую, которая бы подходила къ „Сборнику“...

Если вы прочли „Сборникъ“, то васъ, можетъ быть, смутила статья Кирѣевскаго. Знайте, что ни Константинъ, ни я, ни Хомяковъ не подписались бы подъ этою статьей. По разнымъ, не зависящимъ отъ меня обстоятельствамъ, предисловіе мое, съ оговоркой, что всѣ статьи, принадлежа къ одному направленію, могутъ имѣть особые оттѣнки мысли и направленія, которые никакъ не должны быть приписываемы наравнѣ всѣмъ сотрудникамъ „Сборника“,—это предисловіе не могло быть напечатано. Во второмъ томѣ „Сборника“ будетъ дополненіе къ этой статьѣ со стороны Хомякова.

Обо многомъ хотѣлось бы поговорить съ вами, поговорить лично, а не черезъ письма... Отвѣчайте мнѣ поскорѣе, адресуя въ Троицко-Сергіевскій посадъ, Московской губерніи, или хотя по старому адресу въ Москву. Братъ Константинъ васъ обнимаетъ. Будьте здоровы, охотьтесь и пишите. Отъ всей души любящій васъ *Ив. Аксаковъ*.

Мая 29-го 1852 года.

По точному ли адресу посылаю это письмо?

Приписка С. Т. Аксакова.

30-го мая, рано утромъ

Еще разъ васъ обнимаю, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ! Для второго нумера „Сборника“ я написалъ большую статью: „Знакомство съ Державинымъ“, которую мои всѣ хвалятъ, но мнѣ хотѣлось бы прочесть ее вамъ. Вашъ душею *С. Аксаковъ*.

* * *

Высланный изъ Петербурга, Тургеневъ могъ остановиться и въ Москвѣ только проѣздомъ, въ концѣ апрѣля и въ началѣ мая. Случайность помѣшала ему видѣться съ И. С. Аксаковымъ, который занимался уже въ то время приготовленіями къ печати второй книги „Московскаго Сборника“ на 1852 годъ. Въ первой его книгѣ, вышедшей 21-го апрѣля, было обѣщано его немедленное продолженіе; у Аксакова уже собраны были матеріалы для второй книги, но ему хотѣлось обогатить ее вкладами новыхъ сотрудниковъ. А между

тѣмъ, помѣщенная въ первой книгѣ статья И. В. Кирѣевскаго „О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отношеніи къ просвѣщенію Россіи“ нѣкоторыми своими мнѣніями внушала Аксакову опасеніе, что эти воззрѣнія отвратятъ отъ „Сборника“ новыхъ участниковъ. Со взглядами Кирѣевскаго не вполнѣ соглашались другіе славянофилы, и Хомяковъ готовилъ даже для второй книги „Сборника“ возраженіе своему другу. Грановскій объявилъ И. С. Аксакову, что рѣшительно несогласенъ съ Кирѣевскимъ, но все-таки находилъ его статью превосходно написанною, а отъ сотрудничества въ „Сборникѣ“ не отказывался *). Точно также Аксаковъ разсчитывалъ удержать за собою содѣйствіе Тургенева. И дѣйствительно, послѣдній не замедлилъ откликнуться на этотъ призывъ: въ письмѣ отъ 6-го іюня онъ выражалъ готовность прислать Аксакову вновь написанный имъ разсказъ, и разсказъ этотъ въ самомъ дѣлѣ нисколько не походилъ на повѣсть „Три Встрѣчи“, которая была помѣщена Тургеневымъ въ февральской книжкѣ *Современника* на 1852 годъ.

Письмо къ Тургеневу К. С. Аксакова.

(Послано вмѣстѣ съ двумя предыдущими письмами).

Любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ! Чувствую просто потребность написать къ вамъ и обнять васъ хоть заочно. Какъ жаль, что не удалось этого сдѣлать въ Москвѣ! Мы давно знакомы, но сближаться стали недавно; въ послѣднее время я отъ всей души полюбилъ васъ. А о сколькомъ надо было бы переговорить; я увѣренъ, что въ результатѣ оказалось бы больше между нами согласія, и что вообще согласію часто мѣшаетъ неумѣнье объясняться и становиться на противоположную точку зрѣнія. Я собирался еще поблагодарить васъ за прекрасный разборъ романа Туръ; по моему, онъ все еще снисходителенъ. Въ особенности благодаренъ я вамъ за то мѣсто, гдѣ вы говорите о невольномъ сочувствіи авторши къ свѣтскому князю. Вы писали какъ-то къ брату, что сами вы чувствуете потребность литературнаго поста для себя.

*) Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ въ его письмахъ, т. III, стр. III и IV.

Знакъ добрый; это движеніе серьезное. Что касается до меня, то я продолжаю заниматься, но такъ какъ мои занятія—изысканія и изслѣдованія, то они могутъ быть постоянны. Я откинулъ притязанія на художественность, откинулъ ихъ давно; всюду занимаетъ меня только мысль; для нея беру я и художественныя формы, какъ средство. Вы, можетъ быть, слышали, что я написалъ небольшую комедію; жаль, что не удалось вамъ прочесть ее; она, кажется, нравится многимъ; если комедія точно имѣетъ достоинство, то

Si natura negat, facit indignatio versum.

Что, какъ вамъ нравится „Сборникъ“? Каковы пѣсни? Прошу васъ не поскучать моею статьей и прочесть ее внимательно; вы увидите, что вопросъ, въ ней разсматриваемый,—живой вопросъ. Я думаю написать еще статью о древнемъ бытѣ славянъ на основаніи пѣсенъ, сказокъ, преданій и проч. Какой истинно чудный міръ открывается передъ нами, какая стройность, какая высота, какая *образованность!* Когда стоишь въ изумленіи передъ духовною красотой древняго русскаго міра, то, конечно, задаешь себѣ тотъ же вопросъ, который слыхалъ я часто отъ людей мнѣнія противоположнаго: отъ чего же не удержался этотъ міръ? Былъ ли онъ слишкомъ хорошъ для земли, или чего-нибудь ему недоставало? Исторія отвѣчаетъ на это, что славяне, тревожимые народами, незнакомыми съ ихъ высокимъ міромъ, далеко до него не доросшими, должны были измѣнить самп свой бытъ, свое стройное человѣческое мирное восхожденіе въ духѣ и разумѣ перемѣнить на историческое поприще, на ряды битвъ и учрежденій; должны были, слѣдовательно, вооружиться оружіемъ необразованныхъ народовъ. Они взяли свои мѣры, обезпечили себя, сколько могли, огородили себя отъ своей собственной исторіи, но невполнѣ спасительна была эта преграда, сохранившая ихъ однако отъ страшной катастрофы кристаллизаціи, съ одной стороны, и гніенія — съ другой, катастрофы, въ которой находится теперь, напримѣръ, Франція. Сверхъ того, я скажу вамъ, что еще міръ древній не исчезъ; онъ могущественно еще держится у крестьянъ; съ другой стороны,

дѣятельность умственная, сознаніе проникается имъ и такимъ образомъ прочно утверждаетъ его бытіе. Я говорю вамъ общими словами, намѣреваясь изложить довольно ясно и подробно мои мысли или въ очеркѣ русской исторіи, или въ цѣломъ рядѣ статей.

Я невольно заговорилъ съ вами о томъ, что̀ такъ сильно, такъ постоянно меня занимаетъ. Какъ скоро чувствуешь себя близкимъ къ человѣку, то говоришь ему о томъ, что̀ дорого. Обнимаю васъ крѣпко. Вашъ *Константинъ Аксаковъ*.

Однако дологъ ли будетъ вашъ литературный постъ? Очень мнѣ любопытно будетъ прочесть, что̀ вы напишете. Григоровичъ, послѣ двухъ прекрасныхъ разсказовъ, пишетъ теперь „Проселочныя Дороги“. Къ этому названію надо бы прибавить: *не проѣздныя*.

* * *

Упоминаемый въ этомъ письмѣ романъ г-жи Евгеніи Туръ—„Племянница“. Онъ былъ изданъ въ Москвѣ въ 1851 году, и Тургеневъ написалъ его разборъ, помѣщенный въ январской книжкѣ *Современника* 1852 года. Разборъ этотъ, вообще благосклонный для автора, содержалъ въ себѣ однако нѣсколько критическихъ замѣчаній довольно строгихъ. Самостоятельное сужденіе о талантѣ г-жи Туръ, высказанное критикомъ, было найдено въ нѣкоторыхъ литературныхъ кружкахъ тогдашней Москвы слишкомъ смѣлымъ и подало поводъ ко многимъ толкамъ о статьѣ Тургенева. К. С. Аксаковъ не принадлежалъ къ числу почитателей дарованія г-жи Туръ.

На вопросы К. С. Аксакова о томъ, какое впечатлѣніе произвела первая книга „Московскаго Сборника“ на Тургенева, послѣдній отвѣчалъ, въ письмѣ отъ 6-го іюня, что онъ прочелъ въ ней пока только стихотворенія, и что помѣщенныя тамъ народныя пѣсни показались ему удивительны, достойны стать наравнѣ съ пѣснями въ собраніи Кирши Данилова. Отзывъ о статьѣ самого Константина Сергѣевича Тургеневъ далъ лишь полгода спустя, но какъ бы отвѣчая на запросы, особенно занимавшіе его корреспондента, Тургеневъ сообщилъ въ томъ же іюньскомъ письмѣ, что въ теченіе зимы 1851—1852

годовъ онъ много и съ интересомъ занимался русскою исторіей и народнымъ бытомъ.

Написанная К. С. Аксаковымъ комедія „Князь Луповицкій или пріѣздъ въ деревню“ была напечатана только въ 1856 году.

Романъ Д. В. Григоровича, не понравившійся Аксакову, печатался въ то время въ *Отечественныхъ Запискахъ*.

Письмо Тургенева къ Аксаковымъ.

С. Спасское. 6-го (18-го) іюня 1852.

Я получилъ ваше тройное письмо, добрые мои друзья, и не могу вамъ сказать, какъ оно меня обрадовало. Отъ души благодаренъ вамъ за ваше участіе — хотя въ моей судьбѣ, особенно теперь, въ деревнѣ, я ничего не вижу ужаснаго. Вы совершенно правы въ своихъ предположеньяхъ на мой счетъ, любезный Сергѣй Тимофѣевичъ: посылая мою статью *) въ Москву, я и не думалъ дѣлать что-нибудь противузаконное: Назимовъ, котораго я видѣлъ въ Москвѣ, очень удивился, когда узналъ, что я даже въ глаза не видалъ г-на Мусина-Пушкина.—Ничего—перемелется, мука будетъ! Я на дняхъ принимаюсь за статью о вашей многочитанной и много-любимой мною книжкѣ для Современника. Радуюсь вашей дѣятельности и увѣренъ, что статья ваша о Державинѣ выйдетъ славная.— Сборникъ у меня здѣсь — но я въ немъ успѣлъ прочесть только стихотворенія. Пѣсни — удивительны, достойны стать наравнѣ съ пѣснями въ собраніи Кирши Данилова; стихотвореніе Хомякова—очень звонко—читается ore rotundo, какъ говаривали въ старину—но и только; не грѣетъ и не язвитъ. Вашъ „Бродяга“, любезный П. С., благородная, славная вещь; жаль только, что напряженность не мысли, а формы, вредитъ иногда впечатлѣнію. Ваши стихи имѣютъ всѣ качества поэзіи, кромѣ того тонкаго, неуловимаго—того *запаха*, которымъ дышитъ, играя, счастливая и свободная жизнь. Но откуда взять этого счастья въ наше сухое, трудное и горькое время? Спасибо вамъ и за то, что̀ вы намъ дали. Мнѣ говорили, что 1-й № Сборника хорошо разошелся; это меня

*) По случаю смерти Гоголя.

радуетъ. Для 2-го № у меня есть небольшая вещь, написанная мною подъ арестомъ, которой и пріятели мои довольны, и я:—я готовъ ее вамъ послать—но, во-1-хъ, мнѣ кажется, ея не пропустятъ; во-2-хъ, не думаете ли вы, что мнѣ на время надобно помолчать? Вотъ и мои „Записки Охотника“ совсѣмъ готовы, и билетъ на ихъ выпускъ выданъ; однако мы съ Кетчеромъ рѣшились подождать. Впрочемъ, я на всякій случай велю переписать мою вещь.

Я эту зиму чрезвычайно много занимался русской исторіей и русскими древностями; прочелъ Сахарова, Терещенку, Снегирева e tutti quanti. Въ особенный восторгъ привелъ меня Кирша Даниловъ.—Ваську Буслаева считаю я эпосомъ русскимъ—но къ результатамъ (привело) меня это все далеко не столь отраднымъ, какъ васъ, любезный К. С.—во всякомъ случаѣ къ другимъ результатамъ. Но такъ какъ я въ этомъ дѣлѣ еще ученикъ, то мнѣ и хотѣлось бы потолковать съ людьми знающими, съ вами. Я въ Москвѣ много говорилъ съ Забѣлинымъ — который мнѣ очень понравился; свѣтлый русскій умъ и живая ясность взгляда. Онъ возилъ меня по кремлевскимъ древностямъ. Кстати, я объ вашей комедіи слышалъ много хорошаго отъ людей, которые не очень-то къ вамъ расположены, съ прибавленіемъ: „Мы отъ Аксакова этого не ждали“. *Комедіи*, признаться, и я отъ васъ не ждалъ. Очень бы хотѣлось послушать—но когда мы увидимся—это единому Богу извѣстно.

Здѣсь я еще пока ничего не дѣлаю—вдыхаю цѣлой грудью деревенскій воздухъ—читаю Гоголя—и только. А, сказать между нами, я радъ, что высидѣлъ мѣсяцъ въ части; мнѣ удалось тамъ взглянуть на русскаго человѣка со стороны, которая была мнѣ мало знакома до тѣхъ поръ.

Мой адресъ: Орловской губерніи, въ городъ Мценскъ, И. С. Т—у. Пожалуй, можете прибавить: въ село Спасское, Лутовиново тожъ,—но это ненужно. Мы въ 9 верстахъ отъ Мценска, и четыре раза въ недѣлю туда посылаемъ. Если кому-нибудь изъ васъ случится ѣхать черезъ Мценскъ, и вамъ вздумается ко мнѣ завернуть, скажите только: въ Лутовиновку—всякій васъ довезетъ.

Прощайте пока, друзья,—желаю вамъ всего хорошаго.—обнимаю васъ всѣхъ и остаюсь, и т. д.

PS. Надѣюсь, что мы теперь будемъ переписываться.

Письмо къ Тургеневу И. С. Аксакова.

Любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ! Спасибо вамъ за „Муму“: я непремѣнно помѣщу его въ „Сборникъ“, если только мнѣ позволено будетъ издавать „Сборникъ“ и если не воспрещено вовсе печатать ваши сочиненія. Мнѣ нѣтъ нужды знать: вымыселъ ли это, или фактъ, дѣйствительно ли существовалъ дворникъ Герасимъ или нѣтъ. Подъ дворникомъ Герасимомъ разумѣется иное. Это олицетвореніе русскаго народа, его страшной силы и непостижимой кротости, его удаленія къ себѣ и въ себя, его молчанія на всѣ запросы, его нравственныхъ, честныхъ побужденій... Онъ, разумѣется, со временемъ заговоритъ, но теперь, конечно, можетъ казаться и нѣмымъ, и глухимъ; теперь, покуда, онъ удалился къ себѣ на родину. Весь разсказъ чрезвычайно живъ; нѣтъ въ немъ ни натянутости, ни преувеличенія, все въ мѣру, нигдѣ вы не пересолили (что иногда случается съ вами въ „Запискахъ Охотника“). Есть какая-то сдержанность, придающая еще болѣе силы всему разсказу; слышится будто присутствіе другой, глубокой мысли, лежащей за рамками произведенія и не исчерпываемой произведеніемъ.

Отецъ мой отъ всей души благодаритъ васъ за вашу книгу, читаетъ ее и, кажется, собирается писать къ вамъ большое письмо. Я самъ перечитываю теперь „Записки Охотника“ и не понимаю, какимъ образомъ Львовъ рѣшился пропустить ихъ. Это стройный рядъ нападеній, цѣлый батальный огонь противъ помѣщичьяго быта. Все это даетъ книгѣ огромное значеніе, независимо отъ ея литературнаго достоинства. Конечно, не всѣ разсказы одинаковаго достоинства. „Контора“, „Бурмистръ“, „Бирюкъ“, „Пѣвцы“ (гдѣ можно было бы обойтись безъ послѣдней сцены пьяныхъ въ кабакѣ), „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“, „Свиданіе“, „Хорь и Калинычъ“—лучше всѣхъ другихъ. Хорошъ также, очень хорошъ „Овсянниковъ“.

Но не могу удержаться, чтобы не сдѣлать вамъ слѣдующихъ замѣчаній.

Въ „Запискахъ Охотника“ встрѣчаются очень часто такія натянутыя сравненія, такія претенціозныя остроты, такая изысканная наблюдательность, какъ будто любующаяся собою и всѣмъ говорящая: какова наблюдательность, а?—что я удивляюсь, какъ вашъ строгій и разборчивый вкусъ допустилъ все это. Къ чему всѣ эти шуточки и остроты, часто ни къ селу, ни къ городу, на счетъ старыхъ дѣвокъ, кислыхъ фортепьянъ (слово *кислый* у васъ въ большомъ ходу), рыхлыхъ купчихъ, дряблыхъ грудей и проч., и проч.? Нападенія на старыхъ дѣвушекъ напоминаютъ мнѣ нападенія г. Вонлярлярскаго на единственные сапоги у бѣдняка. На этотъ счетъ такъ остроумно острятся водевильные писатели, что вы могли бы не оспаривать у нихъ первенства въ этомъ отношеніи. Ничего подобнаго нѣтъ въ „Мумѹ“.

Не понимаю я также вашего восклицанія: „Вотъ она старая-то Русь!“ Это восклицаніе, обличающее очень поверхностный взглядъ, еще понятно въ 1847 году, но теперь оно устарѣло. Вы знаете, что „дворовый человѣкъ“ есть скорѣе явленіе Петровской Руси, нежели древней, что Алексѣй Михайловичъ запрещалъ брать изъ крестьянъ въ дворовые, и что Петръ, уничтоживъ различіе между крестьянами и холопами, сдѣлалъ ихъ всѣхъ холопами.

Послушайте, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ: какъ могли вы теперь оставить мѣсто о г. Любозвоновѣ? Само собою разумѣется, что подъ Любозвоновымъ вы разумѣли брата Константина, великодушно отвергая мнѣніе Овсянникова, „что онъ не въ своемъ умѣ“, предположеніемъ, что онъ боленъ. Вы могли это написать въ 1847 году, но теперь, для краснаго словца, вы пожертвовали истиной... Мало ли что вы тогда писали—по ошибкѣ и недоразумѣнію! Теперь многое вамъ уяснилось, и какъ хотите, вы поступили не совсѣмъ согласно съ вашимъ собственнымъ убѣжденіемъ. Къ тому же эта насмѣшка совершенно устарѣла. Все это было хорошо тогда, а теперь ни общество, ни публика не улыбнутся ни разу отъ этой выходки. Всѣ подмостки, на которыхъ стояли

тогда насмѣхавшіеся, рушились подъ ними; убѣжденія, во имя которыхъ они нападали, выдохлись и испарились, и сами вы обо многомъ измѣнили свои мнѣнія.

Мнѣ пришло въ голову еще одно замѣчаніе—относительно крестьянской рѣчи. Я вообще противъ употребленія крестьянской рѣчи въ литературѣ такъ, какъ она является у Григоровича и отчасти у васъ. Это не свободная крестьянская рѣчь, а копировка, стоющая, по видимому, большихъ усилій. Григоровичъ, желая вывести на сцену русскаго мужика *вообще*, заставляетъ его говорить рязанскимъ нарѣчіемъ, вы—орловскимъ, Даль—винегретомъ изъ всѣхъ нарѣчій. Мнѣ кажется, можно вложить въ уста русскому мужику русскую крестьянскую рѣчь безъ этого жалкаго коверканья словъ, безъ разныхъ ужимокъ, составляющихъ особенность мѣстную, а иногда и личную, и не одинаковыхъ въ каждомъ мѣстѣ. Видно, что вы копируете и къ тому же частенько не доглядываете; у васъ, напримѣръ, мужикъ безпрестанно говоритъ: *удивительно*. Вы могли, конечно, услыхать это слово отъ *одного* мужика, но вообще крестьяне этого выраженія не употребляютъ. Думая уловить русскую рѣчь, вы улавливаете только мѣстное нарѣчіе. Впрочемъ, и то сказать, вы обозначили мѣстность, гдѣ дѣйствуютъ лица вашихъ разсказовъ, и это обвиненіе относится къ вамъ въ меньшей степени, чѣмъ къ Григоровичу.

Такъ-то, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ! Да когда же мы увидимся? Я не писалъ къ вамъ до сихъ поръ потому, что писать письма по нашей почтѣ, при такихъ любопытныхъ почтмейстерахъ, скучно. Письмо ваше, въ отвѣтъ на наше, мы получили. Съ вашимъ мнѣніемъ о „Бродягѣ“ я не только согласенъ, но едва ли найдется человѣкъ, менѣе меня довольный этимъ произведеніемъ. Второй томъ „Сборника“ поданъ мною уже два мѣсяца: его посылаютъ въ Петербургъ. Что изъ всего этого будетъ—Богъ вѣсть! Прощайте, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ, будьте здоровы. Братъ и батюшка васъ обнимаютъ. Преданный вамъ *Ив. Аксаковъ*.

4-го октября 1852 г. Москва.

* * *

Это письмо И. С. Аксакова содержитъ въ себѣ главнымъ образомъ его сужденіе о „Запискахъ Охотника“, высказанное по случаю ихъ изданія отдѣльною книгой, что послѣдовало въ срединѣ 1852 года. П. В. Анненковъ, въ своихъ воспоминаніяхъ о Тургеневѣ, говоритъ, что знаменитый писатель „радовался всякому разбору своихъ произведеній, выслушивалъ его съ покорностью школьника, обнаруживая и готовность исправленія. Одного замѣчанія о неумѣстности сравненія Хоря и Калиныча съ Гёте и Шиллеромъ, допущеннаго имъ,—достаточно было, чтобы сравненіе осталось только на страницахъ *Современника* 1847 года, гдѣ впервые явилось, и не перешло въ слѣдующія изданія“ *). Быть можетъ, И. С. Аксакову и не была извѣстна эта чрезвычайная чуткость Тургенева къ отзывамъ критики, но дружелюбныя отношенія автора „Записокъ Охотника“ къ людямъ славянофильскаго направленія давали Аксакову поводъ думать, что при новомъ изданіи этого произведенія изъ него будутъ исключены тѣ выходки противъ славянофиловъ, которыя находились въ первоначальномъ текстѣ „Записокъ Охотника“. Надежды эти не оправдались, и даже въ прекрасномъ разсказѣ „Однодворецъ Овсянниковъ“ осталась нелѣпая и неправдоподобная фигура г. Любозвонова, несомнѣнно составляющая карикатуру на Константина Аксакова. Обо всемъ этомъ И. С. Аксаковъ съ благородною прямотой высказался передъ Тургеневымъ, и Тургеневу оставалось только сознаться въ своей оплошности или въ своемъ упрямствѣ, либо въ крайнемъ случаѣ отмолчаться. Онъ предпочелъ послѣднее: письмо И. С. Аксакова осталось безъ отвѣта со стороны Тургенева, и даже имя младшаго Аксакова исчезло на нѣкоторое время изъ писемъ Тургенева къ его отцу и брату.

Рядомъ съ этимъ эпизодомъ любопытно обратить вниманіе на то, какъ благодушно отнесся И. С. Аксаковъ къ отзыву Тургенева объ его поэмѣ „Бродяга“; отрывки изъ нея были помѣщены въ первой книгѣ „Московскаго Сборника“, и Тур-

*) *Вѣстникъ Европы* 1884 года. № 2, стр. 461 и 462.

геневъ, въ письмѣ отъ 6-го іюня, отозвался о нихъ нѣсколько свысока слѣдующими словами: „Вашъ „Бродяга“, любезный Иванъ Сергѣевичъ, благородная, славная вещь; жаль только, что напряженность не мысли, а формы вредитъ иногда впечатлѣнію. Ваши стихи имѣютъ всѣ качества поэзіи, кромѣ того тонкаго, неуловимаго—того *запаха*, которымъ дышитъ, играя, счастливая и свободная жизнь. Но откуда взять этого счастья въ наше сухое, трудное и горькое время? Спасибо вамъ и за то, что́ вы намъ дали“.

Изъ письма И. С. Аксакова видно, что въ то время, когда оно писалось, самъ онъ былъ озабоченъ цензурною судьбой второй книги „Московскаго Сборника“, но еще не ожидалъ его запрещенія, и потому съ радостью принялъ присланную Тургеневымъ рукопись разсказа „Мумỳ“. Вскорѣ, однако, послѣдовало запрещеніе продолжать изданіе „Московскаго Сборника“; „Муму“ была возвращена автору и появилась въ печати въ *Современникѣ* 1853 года, томъ XLIV.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

7-го октября 1852. Абрамцево.

Наконецъ дошелъ до меня пріятный подарокъ вашъ, любезный Иванъ Сергѣевичъ! Я давно уже зналъ, что назначенныя мнѣ „Записки Охотника“ лежатъ у Кетчера, но сыновья мои, пріѣзжая на короткое время въ Москву, не заставали его дома. Теперь экземпляръ у меня, и я уже успѣлъ половину прочесть самъ и половину прослушать. Хотя всѣ „Записки“ ваши были мнѣ извѣстны прежде, но я прочелъ ихъ съ новымъ удовольствіемъ, а многія мѣста—съ наслажденіемъ. Искренно благодарю васъ за книги и за надпись, которою я очень дорожу; мнѣ давно хотѣлось писать къ вамъ; но я именно дожидался вашихъ книгъ; къ тому же продолжалась еще осенняя охота, и вы вѣрно были пріятно ею заняты. Съ 3-го октября установилась у насъ настоящая зима. Я надѣюсь и желаю, чтобъ у васъ стояла другая погода. Въ октябрѣ бываетъ еще славная стрѣльба вальдшнеповъ, но здѣсь все давно пропало. Если вы проведете зиму въ вашемъ Спасскомъ, то я стану чаще писать къ вамъ и

надѣюсь отъ васъ получать письма. Мы вполнѣ оцѣнили ваше послѣднее сочиненіе: я предпочитаю его многимъ, а Константинъ—всѣмъ прежнимъ сочиненіямъ вашимъ.

Здоровье мое порядочно; боюсь только, чтобъ раннее прекращеніе моихъ охотъ и тѣлодвиженія на вольномъ воздухѣ не разшевелило моихъ недуговъ; всякое головное занятіе мнѣ вредно, и я долженъ заниматься весьма не подолгу, а нынѣшній годъ, считая его съ весны, прибавилъ мнѣ два лишнихъ зимнихъ мѣсяца, то-есть, апрѣль и октябрь: бѣлизна снѣга очень тяжела моему бѣдному глазу. Мои „Охотничьи Записки“ уже давно разошлись, и я принужденъ приступить ко второму изданію; къ сожалѣнію, я не могъ добиться отъ ружейныхъ охотниковъ замѣчаній собственно объ охотѣ, кромѣ весьма справедливаго упрека въ дѣланьѣ зарядовъ и также въ томъ, что я считалъ тягу вальдшнеповъ не токомъ ихъ; меня убѣдили въ противномъ, и я поправилъ эти двѣ ошибки, изъ которыхъ первая была непростительно груба. Съ нетерпѣніемъ ожидалъ я вашей второй статьи, но видно что-нибудь помѣшало вамъ исполнить ваше намѣреніе. Ничего не можетъ быть выше и лестнѣе для меня того, что сказали вы о моихъ „Запискахъ“ въ первой вашей статьѣ; но во второй я надѣялся найти критическія замѣчанія литератора и охотника: я непремѣнно воспользовался бы ими при второмъ изданіи.

Теперь предстоитъ мнѣ тяжелый по своей неудобоисполнимости трудъ: я далъ слово написать пространную біографію Загоскина съ оцѣнкой его сочиненій. Принимаясь за это дѣло, вижу, что статья моя будетъ лишена всякаго достоинства. Говорить о немъ искренно, какъ о человѣкѣ общественномъ и служебномъ, нельзя: въ первомъ случаѣ будетъ недовольно его семейство, а во второмъ, вѣроятно, встрѣтится затрудненіе въ цензурномъ отношеніи; а между тѣмъ я чувствую, что можно было бы сказать много интереснаго: Загоскинъ во многихъ отношеніяхъ былъ человѣкъ весьма оригинальный, добродушный и забавный до высшей степени.

Прощайте, любезный Иванъ Сергѣичъ! Нынѣшній годъ я очень обиженъ зимой: она простояла до 1-го мая, а насту-

пила съ 3-го октября. Какъ-то не гуляется безо всякой цѣли и причины. Есть ли надежда увидаться съ вами нынѣшнею зимой? Будьте здоровы и пишите. Обнимаю васъ. Вашъ душой *С. Аксаковъ*.

* * *

Сочиненія Тургенева, о которыхъ С. Т. Аксаковъ говоритъ въ этомъ письмѣ, опять-таки „Записки Охотника“ и еще не напечатанный въ то время разсказъ „Муму“. Но всего нетерпѣливѣе Сергѣй Тимоѳеевичъ ожидалъ иной вещи—давно обѣщанной большой статьи о „Запискахъ ружейнаго охотника“. А между тѣмъ Тургеневъ все медлилъ исполненіемъ даннаго обѣщанія; только въ началѣ октября засѣлъ онъ за писаніе этой рецензіи и въ половинѣ того же мѣсяца увѣдомилъ уже Сергѣя Тимоѳеевича объ отсылкѣ своей статьи въ Петербургъ. На самомъ же дѣлѣ этого не было, и въ письмѣ отъ 13-го декабря Тургеневу пришлось сознаться, что только теперь статья отправляется въ редакцію *Современника*.

Письмо къ Тургеневу К. С. Аксакова.

(Октябрь 1852).

Любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ! Получили мы наконецъ ваши „Записки Охотника“. Напишу вамъ откровенно о нихъ мое мнѣніе.

Лѣтъ шесть тому назадъ, послѣ разныхъ стихотвореній вашихъ à la Lermontoff, послѣ вашихъ стихотворныхъ разсказовъ и поэмъ, послѣ разныхъ выдумокъ и небылицъ (не въ фактическомъ, случайномъ, а въ существенномъ, нравственномъ отношеніи), меня поразилъ изящною правдой разсказъ вашъ: „Хорь и Калинычъ“. Тогда же, въ той же самой критикѣ, гдѣ я нападалъ на васъ, я отдалъ ему съ радостію должную справедливость. Вы продолжали „Записки Охотника“, достоинство которыхъ было признано всѣми. Любопытно было мнѣ теперь повторить свое впечатлѣніе и перечесть „Хорь и Калинычъ“ и другіе разсказы. Я перечелъ „Хорь и Калинычъ“—тотъ же, и тѣ же въ немъ достоинства, но видно, требованія выросли, видно—выросло время: только да-

леко не такъ понравился мнѣ этотъ разсказъ, какъ прежде. Да и въ самомъ дѣлѣ: первая минута разсвѣта послѣ ночи свѣтла, но передъ настоящимъ днемъ она только полусвѣтъ, и плохо, если день не свѣтлѣе разсвѣта. Ваши „Записки Охотника“ вообще—только одно мерцаніе какого-то свѣта, не больше. Сверхъ того, кромѣ общаго, неяснаго достоинства, есть общіе же, ясные недостатки. Первый недостатокъ: это постоянное *усиліе*, которое сопровождаетъ всякое описаніе, всякій разговоръ, всякое изображеніе, однимъ словомъ, все сочиненіе ваше „Записокъ Охотника“. Видно, что авторъ не спокоенъ, не свободенъ, и хочетъ все сказать повыразительнѣе. Потомъ: есть любимыя выраженія, часто неумѣстныя, есть старыя насмѣшки надъ старыми дѣвами, которыя пора бы уже кинуть серьезнымъ людямъ. Вотъ вамъ мое откровенное сужденіе, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ. Я написалъ статью о современной литературѣ; она уже переписана для цензуры; тамъ говорю я и о васъ; такъ какъ статья была написана до прочтенія мною вновь „Записокъ Охотника“, то объ нихъ сказано тамъ не совѣмъ такъ, какъ я пишу вамъ, то-есть, мягче; въ сущности, впрочемъ, смыслъ тотъ же. Какъ нарочно говорю я тамъ, что вы принадлежите къ такимъ писателямъ, которымъ хочется сказать: *впередъ*. Думалъ ли я, что такъ скоро исполнится мое желаніе? Слѣдующее ваше произведеніе („Муму“) рѣшительно есть, какъ говорятъ, шагъ впередъ. Вы здѣсь гораздо болѣе серьезны; мелочные эффекты словъ и изображеній оставили васъ почти вовсе, и на первомъ планѣ — ясный и вмѣстѣ многозначительный образъ Герасима. До сихъ поръ у васъ, въ вашихъ произведеніяхъ, была какая-то авторская мелочная придирчивость къ жизни и ея явленіямъ: здѣсь ея почти нѣтъ. Весь на виду строгій образъ Герасима, до того сочувственный, что имъ побѣждается вполнѣ все несчастное уродство. Спасибо вамъ! Обнимаю васъ отъ всей души. Больше объ этомъ разсказѣ вашемъ теперь не распространяюсь. Надѣюсь сдѣлать это въ непродолжительномъ времени. Скажу еще. Въ этомъ сочиненіи вашемъ много разъ предстояла вамъ опасность перейдти границу, впасть въ неправду смѣшного

или натянутаго и эффектнаго, или отвратительнаго, жалкаго и ужаснаго. Но вы удивительно искусно прошли мимо всѣхъ подводныхъ камней, ни за одинъ не зацѣпившись. Нѣкоторыя изреченія портного напоминаютъ отчасти старое ваше время, но они исчезаютъ въ общемъ.

Вы увидите, я надѣюсь, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ, что люди-обезьяны годятся только на посмѣхъ, что какъ бы ни претендовалъ человѣкъ-обезьяна на страсти или на чувство, онъ смѣшонъ и не годится въ дѣло для искусства, что, слѣдовательно, вся сила духа въ самостоятельности; въ наше время, у насъ, въ жизни она только въ крестьянинѣ; съ другой стороны, не въ жизни дѣйствительной, а въ отвлеченной умственной области, она только въ сознаніи самобытномъ, въ *сознаніи* того, что́ въ *жизни* являетъ крестьянинъ, хотя и онъ самъ имѣетъ сознаніе, сознаніе особаго рода и степени. Подвигъ сознанія предстоитъ намъ, жалкимъ людямъ безъ почвы; великая сила мысли должна вновь соединить насъ съ нашею Русью послѣ того, какъ полтораста лѣтъ тому назадъ, была волей и неволей порвана съ нею наша непосредственная связь. А, каково! Полтораста лѣтъ разыгрывали мы и, надо правду сказать, очень недурно — роль обезьянъ Западной Европы.

Прочли ли вы мою статью о родномъ бытѣ? Я собираюсь писать новую, которая съ виду легче, а на дѣлѣ труднѣе: о бытѣ славянъ вообще и русскихъ въ особенности, на основаніи преданій, обычаевъ, повѣрій и пѣсенъ. А какія чудныя вещи открываются! Пока читаю и дѣлаю замѣтки и выписки.

Братъ уже писалъ къ вамъ. Батюшка пишетъ къ вамъ самъ. Желалъ бы, очень бы желалъ потолковать съ вами лично. Вашъ *Константинъ Аксаковъ*.

О „Сборникѣ“ еще ничего не извѣстно. Вы, я думаю, знаете, что онъ уже поданъ въ цензуру.

***

Подобно двумъ предшествующимъ письмамъ И. С. и С. Т. Аксаковыхъ, и это письмо Константина Сергѣевича вызвано

чтеніемъ „Записокъ Охотника“ и „Муму“. Мысли, здѣсь высказанныя, К. С. Аксаковъ изложилъ впослѣдствіи въ печати въ статьѣ „Обозрѣніе современной литературы“ (*Русская Бесѣда* 1857 г. кн. I), для которой воспользовался болѣе раннимъ своимъ трудомъ этого рода, упоминаемымъ въ настоящемъ письмѣ. Статья о славянскомъ бытѣ по пѣснямъ и преданіямъ не была кончена авторомъ; сохранились только черновые отрывки изъ нея, которые и напечатаны въ первомъ томѣ сочиненій К. С. Аксакова послѣ его смерти.

Письмо Тургенева къ К. С. Аксакову.

С. Спасское. 16-го октября 1852.

Благодарю васъ душевно, любезный Константинъ Сергѣевичъ, за ваше письмо. Скажу вамъ прямо, что я самъ во многомъ раздѣляю ваше мнѣніе о моихъ „Запискахъ“ — и говорю это вовсе не изъ желанья пощеголять своею скромностью,—а потому, что чувствую это самъ—и уже давно. Зачѣмъ же я издалъ ихъ? спросите вы... А затѣмъ, чтобы отдѣлаться отъ нихъ, отъ этой *старой манеры*. Теперь эта обуза сброшена съ плечъ долой. Но достанетъ ли у меня силъ идти впередъ—какъ вы говорите—не знаю. Простота, спокойство, ясность линій, добросовѣстность работы, та добросовѣстность, которая дается увѣренностью—все это еще пока идеалы, которые только мелькаютъ передо мной. Я оттого между прочимъ не приступаю до сихъ поръ къ исполненію моего романа, всѣ стихіи котораго давно бродятъ во мнѣ, что не чувствую въ себѣ ни той свѣтлости, ни той силы, безъ которыхъ не скажешь ни одного *прочнаго* слова. Примѣръ Гр—вича хоть кого устрашитъ,—а не въ талантѣ же недостаетъ ему!—Съ другой стороны, жизнь торопитъ и гонитъ, и дразнитъ, и манитъ... Трудно современному писателю, особенно русскому, быть покойнымъ,—ни извнѣ, ни извнутри ему не вѣетъ покоемъ...

Соглашаясь совершенно съ вашими замѣчаніями насчетъ моихъ „Записокъ“ и принявъ ихъ *къ свѣдѣнію* для будущихъ моихъ работъ—я не могу раздѣлять вашего мнѣнія насчетъ „людей-обезьянъ, которые не годятся въ дѣло для искус-

ства"... Обезьяны добровольныя и главное—самодовольны да... Но я не могу отрицать ни исторіи, ни *собствен права* жить; претензія отвратительна—но страданью я со ствую. Трудно объяснить все это въ короткомъ письм Но я знаю, что здѣсь именно та точка, на которой мы ходимся съ вами въ нашемъ воззрѣніи на русскую жизн на русское искусство: я вижу трагическую судьбу плем великую общественную драму тамъ, гдѣ вы находите у коеніе и прибѣжище эпоса... Но повторяю, объ этомъ мо говорить и спорить—но писать трудно.

Съ стыдомъ сознаюсь, что не прочелъ еще вашей ст въ Сборникѣ—но я все лѣто рѣшительно не бралъ въ р ни пера, ни книги. Желаю вамъ успѣха въ новой ва работѣ.—Мнѣ пріятно слышать, что 2-й № Сборника и детъ.—Вы не получали моего письма отъ 7-го іюня?—Я няйтесь всѣмъ вашимъ, Богъ знаетъ когда придется увид ся—а хотѣлось бы. Не забудьте написать мнѣ, долго ли еще пробудете въ Абрамцевѣ. Прощайте.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское, 17-го октября 1852

Очень обрадовало меня ваше письмо, любезный и поч ный Сергѣй Тимофѣевичъ,—и я спѣшу отвѣчать. Но пре долженъ спросить у васъ—получили ли вы письмо, посл ное мною къ вамъ *7-го іюня* въ отвѣтъ на ваше трой письмо?—Мнѣ было бы очень досадно, еслибъ оно зате лось—я въ немъ благодарилъ васъ душевно за ваше у стіе—въ будущемъ письмѣ скажите мнѣ, получили ли его.—Я дѣйствительно проведу всю зиму въ Спасскомъ потому надѣюсь переписываться съ вами часто. А зима у настала—и какая! Такой ранней зимы никто не запомни Охоту мою она отрубила какъ топоромъ. 1-го октября е было множество вальдшнеповъ—2-го они уже почти и исчезли. Я однако на свое ружье убилъ въ теченіи нын няго года 304 штуки, а именно—69 вальдшнеповъ, 66 касовъ, 39 дупелей, 33 тетерева, 31 куропатку, 25 пе перепеловъ, 16 зайцевъ, 11 коростелей, 8 курочекъ, 4 ут

1 гаршпена, 1 кулика. Мои два охотника убили около 500. Эти числа, кажется, велики—но, принявъ въ соображеніе, какъ много и какъ далеко я ѣздилъ—нельзя сказать, чтобы я охотился удачно. Я ѣздилъ за тетеревами въ Козельскъ и Жиздру, за болотной дичью—въ Карачевъ и Епифань. Очень сожалѣю я о васъ, при видѣ этой рѣзко-бѣлой, мертвой снѣговой скатерти—говорятъ, людямъ съ слабыми глазами хорошо носить черный вуаль, когда они идутъ гулять зимой.

Какъ я радъ, что мои предсказанія насчетъ вашихъ Записокъ сбылись, и вы уже готовите второе изданіе! — Рецензію мою на вашу прекрасную книгу я только-что кончилъ (я засѣлъ за нее въ первый же день выпавшаго снѣга—все лѣто я пера въ руки не бралъ) и отправляю ее съ нынѣшней почтой въ Петербургъ. Впрочемъ, въ моей рецензіи вы бы не нашли ничего такого, что́ бы слѣдовало исправить въ вашей книгѣ—я только изъявляю сожалѣніе, что, переставъ охотиться лѣтъ 10 тому назадъ, вы не могли дать статьямъ о ружьяхъ, собакахъ и пр. ту полноту и подробность, которыя мы встрѣчаемъ, напр., въ книгѣ Э. Блаза, „Le Chasseur au chien d'arrêt“—образцовой книгѣ для *французской* охоты, которую я знаю тоже по опыту. Но главное достоинство вашего сочиненія не въ томъ, чтобы служить руководствомъ для начинающаго охотника, хотя много дѣльныхъ замѣчаній и совѣтовъ разсыпано на каждой страницѣ; ваша книга останется въ литературѣ русской на болѣе почетной степени—*такой* книги еще у насъ не бывало—и я буду очень радъ, если моя рецензія еще разъ докажетъ это русской публикѣ, которая, впрочемъ, вовсе не ждала этого доказательства, чтобы раскупить вашу книгу.

Все, что́ вы мнѣ говорили о моей литературной дѣятельности—мнѣ очень дорого и лестно; я очень высоко ставлю ваше мнѣніе и буду стараться не обмануть ваши ожиданія; я распоряжусь такъ, что все, что́ бы я ни написалъ, будетъ вамъ доставлено, а работать я намѣренъ. Къ сему письму приложено отъ меня нѣсколько словъ К—у С—у насчетъ его замѣчаній, которыя я бо́льшею частью признаю справедливыми, хотя въ коренномъ нашемъ воззрѣніи на русскую

жизнь, а оттого и на русское искусство, мы расходи
Онъ это, я думаю, знаетъ; но чего онъ не знаетъ, мо
быть, вполнѣ, это—та горячая симпатія, которую я чувс
къ его благородной и искренней натурѣ. И. С., говор
хотѣлъ мнѣ писать, но письма отъ него я не получал

Напишите мнѣ, пожалуйста, долго ли вы намѣрены
быть въ деревнѣ и далеко ли она отъ Троицкаго монаст

Я очень понимаю всѣ затрудненія, которыя вамъ прид
встрѣтить при составленіи біографіи покойнаго Загоск
но все-таки это будетъ подарокъ для всѣхъ любящихъ
весность, и вамъ надобно кончить этотъ трудъ поскор

Прощайте, добрый мой Сергѣй Тимофѣевичъ. Какъ бы
тѣлось сказать: до свиданія... Но въ этомъ воленъ и
Желаю вамъ быть здоровымъ и веселымъ и остаюсь, и

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

29-го октября (1852). Абрамцев

Я получилъ письмо ваше, любезнѣйшій Иванъ Серг
отъ 17-го октября. Оно очень меня утѣшило, и я спѣшу
вѣчать вамъ по порядку. Письмо ваше отъ 6-го—18-го і
мы получили и, кажется, тогда же на него отвѣчали: в
чемъ, не ручаюсь за свою память. Какъ бы то ни бы
вы не можете сомнѣваться, что мы сердечно оцѣнили иск
ность того чувства, съ которымъ оно было написано.
проводите зиму въ Спасскомъ, а мы всѣ—въ подмоско
Абрамцево, находящейся въ двѣнадцати верстахъ отъ Х
ковскаго монастыря; даже домъ мой оттуда виденъ. До
къ намъ знаетъ весь Хотьковъ. Зима наступила у нас
3-го октября: снѣгу бездна, и морозъ третьяго дня дохо
до 22-хъ градусовъ. Снѣжныя бури, бураны по-оренбург
ревутъ день и ночь! По нѣскольку дней не имѣю возмож
сти выходить на воздухъ, что мнѣ необходимо. Надо з
знаться: ужасный климатъ! Принимая въ соображеніе
ность мѣстностей и изобиліе дичи — вы убили немного
свое ружье. Конечно, въ старые годы я убивалъ, на с
одноствольное ружье, до 1.200 штукъ, но это было въ Оп
бургской губерніи, и число благородной дичи не превыш

300 штукъ; утки и кулики всѣхъ породъ составляли 600—700 штукъ, а у васъ ихъ почти совсѣмъ нѣтъ: можетъ быть, вы и не ходите за ними. Очень благодарю васъ за рецензію на мою книгу и стану съ нетерпѣніемъ ждать ее въ ноябрьской книжкѣ *Современника*. Никогда не думалъ я, чтобы мой смиренный трудъ, доставившій мнѣ много удовольствія въ кабинетѣ, во время самой работы, доставилъ мнѣ столько утѣшительныхъ отзывовъ, въ числѣ которыхъ я цѣню выше всѣхъ, безъ сомнѣнія, ваши. Цензура не пропустила ко второму изданію эпиграфа изъ моего посланія къ Дмитріеву; говоря о невзгодахъ старости, я заключаю посланіе слѣдующими стихами:

Есть однако утѣшитель
Вѣчно юный и живой,
Чудотворецъ и цѣлитель,—
Ухожу къ нему порой...
Ухожу я въ міръ природы,
Міръ спокойствія, свободы,
Въ царство рыбъ и куликовъ,
На свои родныя воды,
На просторъ степныхъ луговъ,
Въ тѣнь прохладную лѣсовъ
И—въ свои младые годы!

Вы не можете себѣ представить, какъ занимаетъ меня теперь „Біографія Загоскина“. Я самъ того не ожидалъ. Нѣтъ никакого сравненія между тѣми разрозненными впечатлѣніями, которыя производило чтеніе писателя, въ продолженіе долгаго времени постепенно выдававшаго свои сочиненія, съ тѣмъ впечатлѣніемъ, которое получаешь, прочтя въ одинъ мѣсяцъ то, что онъ написалъ во всю свою жизнь... Я не умѣю теперь объяснить этого вамъ. Не знаю, удастся ли мнѣ выразить все то, что думаю и чувствую. Для меня теперь ясенъ Загоскинъ, какъ писатель и человѣкъ, но отразится ли въ моихъ словахъ его живая физіономія и особый смыслъ—рѣшительно не знаю. Я уже написалъ 17 листовъ; можетъ быть, еще напишу столько же. Перечитывая написанное, часто становлюсь весьма недоволенъ. Если я поспѣшу, то, вѣроятно, выйдетъ не хорошо. Надобно, кончивши статью, положить

ее въ ящикъ мѣсяца на два, а потомъ обработать ее, но время не терпитъ долгаго отлагательства.

Константинъ будетъ самъ писать къ вамъ; письмо Ивана послано черезъ Москву: неужели вы его не получили? Я не нахожу словъ благодарить васъ за обѣщаніе доставлять мнѣ все, что̀ вы вновь напишете; я буду теперь постоянно въ пріятномъ ожиданіи. Прощайте, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ! Получаете ли вы *Москвитянина?* Если нѣтъ, то я пришлю вамъ особо тѣ нумера, гдѣ будетъ моя статья напечатана. Крѣпко васъ обнимаю. Душою вашъ *С. Аксаковъ*.

Письмо къ Тургеневу К. С. Аксакова.

(Конецъ октября 1852).

Любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ! Мы получили, батюшка и я, вашъ отвѣтъ на наши письма. Мнѣ было очень пріятно прочесть вашъ отвѣтъ, который убѣждаетъ меня въ томъ, что вы вступаете въ новую сферу авторства, болѣе полную и истинную. Предложить вамъ, для бо̀льшаго пониманія Россіи, лѣтописи и грамоты я не рѣшаюсь. Читать ихъ наѣздомъ принесетъ немного пользы. Читать ихъ сряду можно только изучая, а это трудъ очень большой и едва ли возможный для сочинителя-художника. Конечно, и чтеніе наѣздомъ можетъ обогатить человѣка, точь въ точь, какъ обогащался наѣзднікъ во времена оны; но добыча отрывочна и невсегда полезна. Изучать нашу старину очень трудно. Переворотъ Петра такъ отшибъ у насъ память, что весь міръ русскій до Петра кажется намъ потемками, а между тѣмъ чувствуешь, что это міръ свѣтлый и ясный — только не для нашего пониманія; мы, то-есть, преобразованные классы, отреклись отъ него тому полтораста лѣтъ, и результатомъ нашего отреченія было истощеніе нашего ума и чувства и воли. Но человѣкъ всегда можетъ окрѣпнуть, всегда очиститься отъ своего развратa; поэтому и мы, догадливыя русскія обезьянки, можемъ сдѣлаться русскими людьми. Теперь, слабые и плохенькіе, глядимъ мы на цѣлый міръ самобытной русской жизни, отдаленный отъ насъ, съ одной стороны, временемъ, съ другой — современною чертою, пространствомъ, такъ-сказать, глядимъ

съ разными ощущеніями. Одни легкомысленно смѣются, очень довольные, что жить имъ не стоитъ труда (весь трудъ заключается въ самобытности), очень довольные своей удобной ролью обезьяны. Другіе съ какимъ-то рабскимъ рвеніемъ и усердіемъ нападаютъ на русскую самобытность. Третьи грустятъ и приходятъ въ недоумѣніе—разслабленные, но не выходящіе изъ своей разслабленности. Наконецъ, четвертые, которыхъ обнялъ стыдъ обезьянства, дѣлаютъ всѣ усилія, чтобъ постигнуть русскую самобытную жизнь, чтобъ освободить плѣнный умъ свой отъ западнаго ига, чтобъ если не въ жизни, то въ сознаніи стать русскими людьми. Велика задача и трудъ великъ, но слава Богу, что есть и задача, и трудъ! И вотъ сквозь туманъ настоящаго видишь передъ собою такой строй жизни, до котораго никогда бы не домыслился личный умъ человѣка. Одно надо помнить: только самостоятельность дастъ силу мысли; въ зеркалѣ ничего не остается отъ отраженія. А самостоятельность русской мысли есть во всѣхъ проявленіяхъ жизни. Она живетъ въ лѣтописяхъ и актахъ и въ современномъ бытѣ простого народа.

Въ какой мѣрѣ вы согласны со мною—я не знаю. Но что въ васъ есть искреннее и плодотворное стремленіе къ Русской землѣ—въ этомъ я увѣренъ. Я прошу васъ, я требую, чтобъ вы прочли внимательно статью мою: „О древнемъ бытѣ“ въ „Сборникѣ“; не поскучайте нѣкоторыми подробностями разбора мнѣній противоположныхъ и подробностями доказательствъ моего мнѣнія; эти подробности необходимы.

У васъ вѣрно есть „Кирша Даниловъ“. Прочтите тамъ, безъ всякихъ предварительныхъ мнѣній: „Сорокъ каликъ со каликою“, и скажите мнѣ, каково вамъ покажется это сказаніе въ художественномъ и нравственномъ отношеніи. Прочтите также тамъ же: „Какъ было молодцу“ и проч.

Какъ быстро смѣняются въ наше время литературныя направленія! Но какъ ошибутся тѣ, которые эту перемѣнчивость сочтутъ за какое-то быстрое стремленіе жизни впередъ! Напротивъ, это показываетъ только, что никакое направленіе не серьезно. Наша литература не то, что *идетъ впередъ*, а *не постоитъ на мѣстѣ*, а это—большая разница. Вся при-

чина этой перемѣнчивости въ томъ, что никакое явленіе не утверждено на прочномъ основаніи, на основаніи самобытности: вся жизнь совершается на поверхности, и потому то и дѣло являются и исчезаютъ ея выраженія, какъ круги на водѣ. Впрочемъ, въ настоящую минуту есть какой-то утѣшительный смыслъ въ томъ совершенномъ паденіи у насъ французской литературы и въ обращеніи къ литературѣ англійской. Всегда на нравственномъ основаніи, она серьезна и прочна. Чувство вѣры и чувство семейное есть у всѣхъ англійскихъ писателей. Обычаи чтутся свято въ Англіи, а кажется, Англія—не отсталая земля. Безъ точки опоры нѣтъ собственнаго движенія. Точка опоры—это самостоятельная народная жизнь. Впрочемъ, Англію привелъ я только въ примѣръ, а не въ доказательство; доказательства такъ сильны сами по себѣ, въ дѣлѣ самомъ, что въ подкрѣпленіи постороннемъ не нуждаются.

Братъ Иванъ писалъ къ вамъ,—получили ли вы его письмо? Ваше дружеское письмо, писанное въ іюлѣ мѣсяцѣ, мы получили. Отвѣтили мы на него сейчасъ, но подробный отвѣтъ я отлагалъ до прочтенія „Записокъ Охотника“, а мы получили ихъ нескоро. Кажется мнѣ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ, что вторичная наша встрѣча насъ такъ сблизила, что мы съ вами ужь не разойдемся. Такъ я чувствую; увѣренъ, что и вы тоже. Прощайте. Обнимаю васъ крѣпко. Вашъ *Константинъ Аксаковъ*.

Батюшка вамъ писалъ. Онъ и братъ Иванъ васъ крѣпко обнимаютъ. Кажется, „Сборникъ“ не выйдетъ. Жаль!.. Какъ проходитъ вашъ день въ деревнѣ? Что вы читаете и что пишете? Хотѣлось бы поговорить лично.

* * *

Это письмо К. С. Аксакова было отправлено съ предшествующимъ письмомъ его отца, и Тургеневъ получилъ оба посланія вмѣстѣ: но отвѣчалъ онъ только Сергѣю Тимоѳеевичу небольшимъ письмомъ отъ 13-го декабря; впрочемъ, въ немъ говорилось между прочимъ: „Вмѣстѣ съ вашимъ письмомъ я получилъ также очень умное и милое письмо отъ

Константина Сергѣевича; я ему отвѣчать буду особо". Но обѣщанный отвѣтъ послѣдовалъ только мѣсяцъ спустя, то-есть, въ половинѣ января 1853 года. Слѣдуетъ однако замѣтить, что въ послѣдніе мѣсяцы 1852 года Тургеневъ былъ поглощенъ большимъ творческимъ трудомъ; о результатахъ его онъ извѣщалъ С. Т. Аксакова 13-го декабря слѣдующими словами: „Въ послѣднее время написалъ большую повѣсть подъ названіемъ: „Постоялый Дворъ". Она уже совсѣмъ исправлена и списана — при первой оказіи отправлю ее въ Москву къ Кетчеру, который ее доставитъ на прочтеніе вамъ. Очень мнѣ будетъ любопытно узнать ваше мнѣніе о ней". Это извѣстіе должно было объяснить Аксаковымъ, почему корреспонденція Тургенева сдѣлалась столь скудною въ исходѣ 1852 года.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское 13-го дек 1852.

Я давно получилъ ваше письмо отъ 29-го окт., любезный и почтенный Сергѣй Тимофѣевичъ,—и потому только до сихъ поръ не отвѣчалъ, что мнѣ хотѣлось въ то же время извѣстить васъ объ окончательномъ отправленіи моей статьи въ Петербургъ. Она у меня уже давно была готова — я все ждалъ одного знакомаго, чтобы переписать ее. Кончилось тѣмъ, что этотъ знакомый рѣшился зимовать въ Одессѣ и очень поздно далъ мнѣ знать объ этомъ; я принялся самъ за переписку, и сегодня статья отправляется къ редакторамъ Современника. Она еще поспѣетъ въ 1-ый №. Желаю, чтобы она заслужила ваше одобреніе. Вмѣстѣ съ вашимъ письмомъ я получилъ также очень умное и милое письмо отъ К. С.; я ему отвѣчать буду особо, да и васъ прошу не считать нынѣшняго моего письма чѣмъ инымъ, какъ только увѣдомленіемъ о статьѣ. Я очень тороплюсь, чтобы не опоздать на почту. Скажу вамъ только, что въ послѣднее время написалъ большую повѣсть подъ названіемъ: „Постоялый Дворъ". Она уже совсѣмъ исправлена и списана—при первой оказіи отправлю ее въ Москву къ К—у (Кетчеру), который ее доставитъ на прочтеніе вамъ. Очень мнѣ будетъ любопытно

узнать ваше мнѣніе о ней. Впрочемъ я еще до того времени вамъ напишу—и не позже, какъ на будущей недѣлѣ. Пока будьте здоровы и веселы и не забывайте, и т. д.

P.-S. Москвитянинъ я получаю и буду получать въ будущемъ году.—Что̀ біографія Загоскина?

* * *

Новый 1853 годъ начался при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ какъ для помѣщика села Спасскаго, такъ и для обитателей подмосковнаго Абрамцева. Тургеневъ долженъ былъ оставаться въ своей деревнѣ безвыѣздно. „Положеніе мое“, писалъ онъ К. С. Аксакову 16-го января 1853 года,—„теперь весьма исключительное. Я спрашивалъ черезъ губернатора у министра внутреннихъ дѣлъ — могу ли я посѣтить *свои* деревни, лежащія не въ Орловской губерніи; мнѣ на дняхъ отвѣчали отказомъ“. Что касается Аксаковыхъ, то надъ ними тяготѣло во всей силѣ бремя цензурной опалы. Хотя, весной 1852 года, первая книга „Московскаго Сборника“ была дозволена къ выпуску, но пересмотръ помѣщенныхъ въ ней статей привелъ власти къ заключенію о явно-предосудительномъ направленіи этого изданія; а когда, вслѣдъ затѣмъ, вторая книга „Сборника“ была представлена въ цензуру въ рукописи, содержаніе предназначенныхъ сюда статей, какъ „Богатыри великаго князя Владиміра“—К. С. Аксакова, „О подвижности народонаселенія въ древней Россіи“—князя В. А. Черкасскаго, „Объ общественной жизни въ губернскихъ городахъ“ — И. С. Аксакова, и пр., окончательно убѣдило въ томъ, что сотрудники названнаго изданія, такъ-называемые „славянофилы“, отличаются весьма вреднымъ образомъ мыслей, враждебнымъ настоящему порядку вещей и мѣропріятіямъ правительства. „Сборникъ“ былъ запрещенъ, и пятерымъ изъ авторовъ, въ немъ участвовавшихъ, именно: К. С. и И. С. Аксаковымъ, П. В. Кирѣевскому, А. С. Хомякову и князю В. А. Черкасскому, вмѣнено было въ обязанность представлять свои предназначенныя къ печати рукописи не иначе, какъ въ главное управленіе цензуры, гдѣ онѣ разсматривались и откуда пересылались въ нѣкоторыя

другія учрежденія *). Это распоряженіе равнялось почти полному запрещенію печатать что-либо, и безъ сомнѣнія, Сергѣй Тимоѳеевичъ имѣлъ въ виду такой запретъ, хотя и не упоминалъ о немъ, когда привѣтствовалъ Тургенева съ наступленіемъ новаго года въ слѣдующемъ письмѣ.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

1853 года. 1-го января.

Двѣ почты ожидалъ я вашего второго письма, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, которое вы обѣщали намъ въ письмѣ вашемъ отъ 13-го декабря; но, не получивъ его, не хочу откладывать долѣе удовольствія побесѣдовать съ вами. Поздравляю васъ съ новымъ годомъ. Неужели онъ не будетъ лучше прошлаго? Я не запомню такого ужаснаго високоса, какимъ былъ во многихъ отношеніяхъ прошедшій годъ! Я надѣюсь на милость Божію, которая можетъ разсѣять темныя тучи, подъ печальными знаменіями которыхъ начинается годъ настоящій: я разумѣю холеру. Она свирѣпствуетъ въ Персіи, очень сильна, какъ я слышалъ, въ нашихъ западныхъ губерніяхъ, особенно около Пинска, и хотя слаба, но упорно держится въ Петербургѣ. Москва ожидаетъ ее каждую минуту, но нисколько не унываетъ и, говорятъ, очень веселится... Да помилуетъ ее Богъ!

Благодарю васъ за увѣдомленіе объ отправленной вами статьѣ въ *Современникъ*. Нетерпѣливо ожидаю ея появленія и заранѣе утѣшаюсь тѣмъ, что̀ прочту. Даю вамъ слово— съ полною откровенностью сказать мое мнѣніе. Еще болѣе благодарю васъ за обѣщаніе доставить мнѣ вашу новую повѣсть. Вы, безъ сомнѣнія, идете впередъ, и всякій вашъ шагъ возбуждаетъ во мнѣ полный интересъ, къ какому я только способенъ.

На счетъ второго изданія моихъ „Записокъ“ я сообщу вамъ непріятную новость, которая приведетъ васъ въ совершенное изумленіе: г. цензоръ Флеровъ исключилъ, кромѣ разныхъ выраженій, нѣсколько страницъ цѣликомъ. Выраженія, на-

*) *М. И. Сухомлиновъ.* Изслѣдованія и статьи по русской литературѣ и просвѣщенію, т. II, стр. 466 – 469.

примѣръ, исключены слѣдующія: „отлетная строевая птица“ — *строевая* не понравилось г. цензору; „народъ не ѣстъ давленной птицы“ — эти всѣ слова вымараны. Какъ это ни глупо, но изъ-за этого я не завелъ бы процесса, еслибъ г. Флеровъ не исключилъ всѣ описанія тетеревиныхъ токовъ и также тока дупельшнеповъ и перепеловъ. Теперь же не хочу уступить ни одного слова. Я предложилъ Назимову, ради сохраненія чести цензурнаго комитета, поправить дѣло домашнимъ образомъ. Если онъ не согласится, то на сихъ дняхъ подамъ формальную просьбу въ общее присутствіе цензурнаго комитета; въ случаѣ отказа подамъ прошеніе въ главное управленіе цензуры и даже въ извѣстный особый комитетъ и къ графу Орлову. Однимъ словомъ, я употреблю всѣ усилія, и если не успѣю, то брошу всѣ отпечатанные 18 листовъ. Авось мой процессъ будетъ полезенъ для другихъ и откроетъ глаза правительству на дѣйствія цензуры, дошедшія до крайней нелѣпости. Всего забавнѣе, что мой Иванъ Сергѣевичъ и Катковъ, которому поручено печатанье, не видали до сихъ поръ исключеній цензуры. Теперь можно себѣ представить, что̀ сдѣлаетъ цензоръ съ „Біографіей Загоскина“, которая должна выйти въ первой книжкѣ *Москвитянина*. Я рѣшительно объявилъ Погодину, что несогласенъ на исключенія, и понесу статью въ Петербургъ прямо къ графу Адлербергу, какъ къ министру двора, ибо Загоскинъ служилъ по этому министерству. Я долженъ вамъ признаться, что цензурныя продѣлки меня взбѣсили, и я цѣлыя сутки не могъ успокоиться. Не могу похвастаться здоровьемъ: хотя не тяжко, но безпрестанно прихварываю. Обнимаю васъ и сердечно желаю обнять лично въ наступившемъ году. Вашъ душою *С. Аксаковъ*.

Сыновья мои васъ обнимаютъ и поздравляютъ съ новымъ годомъ.

* * *

Въ отвѣтъ на это письмо Тургеневъ (16-го января) не могъ не выразить своего удивленія по поводу сообщенныхъ ему „даже теперь невѣроятныхъ“ цензурныхъ фактовъ. Вмѣстѣ

съ тѣмъ, онъ увѣдомлялъ, что писалъ недавно И. С. Аксакову: очевидно, ему хотѣлось положить предѣлъ происшедшей между ними размолвкѣ. Къ сожалѣнію, это Тургеневское письмо не вошло въ число тѣхъ писемъ, которыя напечатаны въ *Вѣстникѣ Европы*; но о примирительномъ его характерѣ мы можемъ заключить по отвѣту на него И. С. Аксакова. (См. письмо отъ 22-го янв. 1853 г.).

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское. 16-го янв. 1853.

Получилъ я ваше письмо отъ 1-го янв., любезный Сергѣй Тимофѣевичъ, и благодарю за память обо мнѣ. Согласенъ съ вами, что прошлый годъ былъ дѣйствительно тяжелый годъ— что̀ будетъ дальше? Нельзя надѣяться, чтобы холера не пожаловала къ намъ, хотя доктора̀ до сихъ поръ утверждали, что она никогда не идетъ съ запада на востокъ; но въ наше время не одинъ докторскія теоріи опровергаются событіями. Впрочемъ, она можетъ къ намъ прибыть также съ юга, изъ Персіи. Что̀ будетъ, то̀ будетъ, а унывать не къ чему.— Мы до сихъ поръ не получали здѣсь ни одной газеты, и потому я еще не знаю, попала ли моя статья о вашей книгѣ въ № 1-й Современника; послѣ невѣроятныхъ, даже теперь невѣроятныхъ фактовъ цензурныхъ, сообщенныхъ вами въ вашемъ письмѣ ко мнѣ—я не удивляюсь, если и мою невинную статейку исказятъ; въ такомъ случаѣ я вамъ пошлю ее въ оригиналѣ. Я думаю, что Нв. Сер. (которому я писалъ недавно) теперь уже получилъ отъ Кетчера мою послѣднюю вещь; жду вашего мнѣнія о ней. Отъ Анненкова (автора „Провинціальныхъ Писемъ“) я получилъ отзывъ одобрительный. Анненкова не должно судить по его „Письмамъ“—въ немъ собственно таланта немного, но онъ человѣкъ чрезвычайно умный, съ тонкимъ и вѣрнымъ вкусомъ; изданіе Пушкина, которое онъ готовитъ, будетъ классическое; онъ мнѣ читалъ отрывки изъ біографіи Пушкина, написанной имъ,— превосходные по мастерству изложенія, ясности и теплотѣ воззрѣнія. Съ нетерпѣніемъ жду вашей біографіи Загоскина въ 1 № Москвитянина. Должно надѣяться, что цензоры на-

конецъ придутъ нѣсколько въ себя. Анненкова я ждалъ къ себѣ въ деревню, но онъ долженъ былъ спѣшить въ Петербургъ. У меня на праздникахъ были маскарады: дворовые люди забавлялись; а фабричные съ бумажной фабрики брата пріѣхали за 15 верстъ и представили какую-то ими самими сочиненную разбойничью драму. Уморительнѣе этого ничего невозможно было вообразить; роль главнаго атамана исполнялъ одинъ фабричный, а представителемъ закона и порядка былъ одинъ молодой мужикъ; тутъ былъ и хоръ въ родѣ древняго, и женщина, поющая въ теремѣ, и убійства, и все что хотите; языкъ представлялъ смѣшеніе народныхъ пѣсенъ, фразъ à la Marlinski и даже стиховъ изъ „Дмитрія Донского“! Я когда-нибудь опишу это подробнѣе. Впрочемъ, эту драму сочинили, какъ я потомъ узналъ, не фабричные; ее занесъ какой-то прохожій солдатъ. Передайте, пожалуйста, прилагаемый листокъ Константину Сергѣичу. Будьте здоровы, веселы и меня не забывайте. Дружески жму вамъ и всему вашему семейству руки.

Письмо Тургенева къ К. С. Аксакову.

С. Спасское. 16-го янв. 1853.

Любезный К. С. Давно собирался я писать къ вамъ, но все откладывалъ до прочтенья статьи вашей въ Московскомъ Сборникѣ. Теперь я ее прочелъ съ большимъ вниманіемъ, и насколько я могу судить въ этихъ вещахъ, согласенъ съ вами насчетъ „родового быта“. Мнѣ всегда казался этотъ родовой бытъ—такъ, какъ его представляютъ Соловьевъ и Кавелинъ—чѣмъ-то искусственнымъ, систематическимъ, чѣмъ-то напоминавшимъ мнѣ наши давно-прошедшія гимнастическія упражненія на поприщѣ философіи. Всякая система—въ хорошемъ и дурномъ смыслѣ этого слова—не русская вещь: все рѣзкое, опредѣленное, разграниченное намъ не идетъ—оттого мы, съ одной стороны, не педанты, хотя за то съ другой стороны..... (многоточіе въ подлинникѣ).

Я русскую исторію знаю, какъ только можетъ знать ее человѣкъ, не изучавшій источниковъ; сужденіе мое о ней вытекаетъ болѣе изъ сочувствія къ тому, что теперь дѣ-

лается въ русской жизни; стоитъ хорошенько присмотрѣться къ современному распорядку деревенскому, чтобы понять невозможность Соловьевскаго родового быта. Собранные вами факты были для меня интересны и новы, взглядъ вашъ вѣренъ и ясенъ, но—признаюсь вамъ откровенно—въ выводахъ вашихъ я согласиться не могу: вы рисуете картину вѣрную и, окончивъ ее, восклицаете: какъ это все прекрасно!.. Я никакъ не могу повторить этого восклицанія вслѣдъ за вами. Я, кажется, уже сказывалъ вамъ, что по моему мнѣнію трагическая сторона народной жизни—не одного нашего народа—каждаго—ускользаетъ отъ васъ, между тѣмъ какъ самыя наши пѣсни громко говорятъ о ней! Мы обращаемся съ Западомъ, какъ Васька Буслаевъ (въ Киршѣ Даниловѣ) съ мертвой головой—побрасываемъ его ногой—а сами... Вы помните, Васька Буслаевъ взошелъ на гору да и сломилъ себѣ на прыжкѣ шею. Прочтите, пожалуйста, отвѣтъ ему мертвой головы. У меня Кирша Даниловъ въ изданіи Сахарова—тамъ нѣтъ пѣсни, о которой вы говорите, а, помнится, я читалъ ее. Я себѣ выпишу изъ Москвы особое изданіе Кирши Данилова.

Любопытно мнѣ будетъ знать ваше мнѣніе о моемъ послѣднемъ произведеніи. Какой вы изъ него выведете выводъ? Досадно, что всѣ эти вещи нельзя обсудить на бумагѣ; въ часъ разговора больше скажешь и больше узнаешь, чѣмъ въ годъ переписки. Положеніе мое теперь весьма исключительное. Я спрашивалъ черезъ губернатора у министра внутреннихъ дѣлъ—могу ли я посѣтить *свои* деревни, лежащія не въ орловской губерніи; мнѣ на дняхъ отвѣчали отказомъ.—Нечего дѣлать, должно сидѣть у моря и ждать погоды. Впрочемъ я здѣсь, по крайней мѣрѣ, не лѣнюсь; принялся за свой романъ и написалъ пять главъ.

Прощайте, добрый К. С. Когда-то Богъ приведетъ увидѣться?

Письмо къ Тургеневу И. С. Аксакова.

Абрамцево. 1853 года января 22-го.

Вы слишкомъ горячо приняли къ сердцу, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ, мое письмо отъ 4-го октября: при чтеніи

вашего послѣдняго отвѣта, мнѣ стало самому совѣстно, что я вздумалъ писать вамъ о такихъ пустякахъ, какъ Любозвоновъ и проч. Будьте увѣрены, что братъ мой ни на минуту не задумался надъ этимъ мѣстомъ; ни тѣни неудовольствія въ немъ не было; ни онъ, ни я не сохраняемъ ни малѣйшаго зерна досады или чего-нибудь подобнаго... Но довольно объ этомъ.

Вашего „Муму“ Кетчеру я отдалъ, но „Постоялаго Двора“ отъ него еще не получалъ: онъ просилъ отсрочки на недѣлю. Я ношу въ душѣ искреннее, сильное убѣжденіе, что вы непремѣнно пойдете впередъ, что вы *должны* идти впередъ; у васъ есть всѣ необходимые залоги совершенствованія... Гоголь говорилъ бывало: „Надо стоять выше своего произведенія“. Онъ находилъ, что тотъ, кто умѣетъ видѣть свои недостатки, легко соглашается на значительныя помарки и проч. „Выше своего произведенія“: вотъ эта-то возможность стать выше своего произведенія, кажется, для васъ вполнѣ существуетъ. Любопытно было бы мнѣ знать, что это за романъ вы пишете. Принявшись за романъ, вы почувствовали въ себѣ, значитъ, силы для большого произведенія, въ которомъ заданная мысль можетъ быть исчерпана вполнѣ. Дай вамъ Богъ успѣха. Все, что вы пишете о способахъ описыванія природы въ вашей статьѣ, помѣщенной въ первомъ нумерѣ *Современника*, вполнѣ справедливо, выражено чрезвычайно мѣтко и удачно и мнѣ совершенно по сердцу... Но какое знаніе близкаго къ природѣ быта, какая близкая связь съ природой нужна для той высокой простоты описанія, о которой вы говорите!.. Намъ, по большей части (я говорю естественно о себѣ), недостаетъ точности выраженій; намъ доступенъ больше запахъ, ароматъ природы, съ какою-то неопредѣленною музыкальностью ощущеній... Охотникамъ же вообще міръ природы знакомъ ближе, со всѣми его частностями и подробностями; онъ умѣетъ назвать ихъ, онѣ не тонутъ для него въ неясности ощущеній „любителя природы“... Впрочемъ, я нахожу, вамъ слѣдовало бы распространиться теперь о томъ современномъ мастерствѣ описыванія природы, которое—не связывая этого описанія съ своею личностью—

похоже на дагерротипный снимокъ и производитъ непріятное впечатлѣніе... Какъ-то досадно дѣлается, что дается природа въ руки такъ дешево, что описаніе природы, въ вѣрности котораго нельзя не сознаться, не требуетъ отъ писателя ни высокаго служенія природѣ, ни особенной горячей любви къ ней... Разумѣется, эти писатели не схватываютъ духа жизни: не въ описаніи мелочей, не въ вѣрности всѣхъ подробностей состоитъ дѣло. Все это такъ; но вамъ бы слѣдовало показнить и этихъ господъ, а ихъ развелось много. Они теперь не станутъ говорить: „побѣги праха къ небесамъ“, но опишутъ вамъ пылинку съ оскорбительною подробностью, съ отвратительною вѣрностью...

Про себя скажу вамъ, что я очень, очень много занимался нынѣшнюю зиму изученіемъ древнихъ нашихъ учрежденій, чтеніемъ грамотъ, актовъ и проч. О результатахъ этого чтенія поговоримъ когда-нибудь на досугѣ. Написалъ я также одну довольно большую вещь, которую бы мнѣ очень хотѣлось вамъ прочесть. Это—„Отрывокъ изъ книги: Самыя *достовѣрныя* записки чиновника-очевидца. Присутственный день уголовной палаты. Судебныя сцены“... Вѣрность, грустная вѣрность описанія въ сочиненіи подобнаго рода есть главное достоинство, и я могу имъ похвалиться. Вы знаете, я служилъ почти десять лѣтъ въ разныхъ должностяхъ и въ разныхъ углахъ Россіи, и изнанка жизни, лицевую сторону которой представляютъ законы, именно бытъ судебный, мнѣ коротко знакома. Теперь я занятъ изданіемъ книги „Записокъ ружейнаго охотника“; для этого скоро опять отправлюсь въ Москву; слѣдовательно, теперь никакъ не могу къ вамъ пріѣхать; но у меня сильное желаніе съ вами видѣться, и я надѣюсь осуществить его нынѣшнею же зимой. Прощайте, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ: будьте здоровы. Всѣ мои вамъ кланяются. Обнимаю васъ крѣпко. Весь вашъ отъ души *Ив. Аксаковъ*.

Пишите, пишите и пишите!

* * *

„Судебныя Сцены“, написанныя И. С. Аксаковымъ, были напечатаны въ 1871 году въ журналѣ *Заря*, а затѣмъ по-

мѣщены въ приложеніи къ III-му тому изданной его переписки. Упоминаемая имъ статья Тургенева (въ № 1 *Современника* 1853 года), это—давно обѣщанный послѣднимъ разборъ „Записокъ ружейнаго охотника“, которыхъ потребовалось второе изданіе прежде, чѣмъ Тургеневъ успѣлъ кончить свою статью. Онъ далъ ей форму письма къ Н. А. Некрасову, тоже страстному охотнику, и распространился въ ней главнымъ образомъ о мастерскихъ картинахъ природы, вышедшихъ изъ-подъ пера Сергѣя Тимоѳеевича, а по этому поводу—вообще о томъ, какъ слѣдуетъ описывать природу. Какъ видно изъ писемъ Аксаковыхъ, статья Тургенева сильно заняла ихъ; но самого автора „Записокъ“ (да отчасти и сыновей его) она удовлетворила не вполнѣ—по малочисленности собственно критическихъ замѣчаній на его книгу. Къ тому же, Тургеневъ печатно заявлялъ, что пришлетъ еще второе письмо къ Некрасову—„о такъ-называемыхъ охотничьихъ удачахъ и неудачахъ, объ охотничьихъ суевѣріяхъ, преданіяхъ и повѣрьяхъ“ и—не исполнилъ своего обѣщанія. Тѣмъ не менѣе, когда въ *Москвитянинѣ* 1853 года (№ 4) Б. Н. Алмазовъ обратилъ вниманіе на критическій очеркъ Тургенева и, рядомъ съ выраженіемъ ему похвалъ, высказалъ удивленіе, почему прекрасныя эстетическія разсужденія попали въ статью объ охотѣ,—замѣчаніе это не ускользнуло отъ вниманія С. Т. Аксакова, и онъ поспѣшилъ сообщить Тургеневу (въ письмѣ отъ 27-го февраля), что вовсе не раздѣляетъ мнѣнія, высказаннаго въ *Москвитянинѣ*. Любопытно, что цензура обнаружила строгость даже относительно охотничьей статьи Тургенева и вычеркнула въ ней полторы страницы. Тургеневъ препроводилъ копію съ нихъ Сергѣю Тимоѳеевичу при письмѣ отъ 5-го—11 февраля и этимъ сообщеніемъ, въ свою очередь, вызвалъ не малое изумленіе въ старикѣ Аксаковѣ.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

(Исходъ января 1853 года).

Наконецъ я дождался перваго нумера *Современника* и съ жадностью прочелъ статью вашу, любезнѣйшій Иванъ Сер-

ѣичъ! Благодарю васъ отъ искренняго сердца! Не нужно говорить, какъ было мнѣ пріятно и утѣшительно читать ваши лестные отзывы. Похвалъ слишкомъ много, и слова ваши, что *нечего критиковать*, слишкомъ снисходительны: это я знаю самъ. Но я прочелъ всю статью вашу съ истиннымъ наслажденіемъ, независимо отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ вы обращаетесь прямо къ моимъ „Запискамъ“. Какъ я хорошо сдѣлалъ, что уклонился отъ описанія технической части охоты! Въ настоящее время я совершенный невѣжда въ ней. Вы сказали мнѣ много новаго и любопытнаго, о чемъ я даже и не слыхивалъ. Въ вашемъ воззрѣніи на природу и на отношенія къ ней писателя, подтвержденномъ образцами великихъ художниковъ, столько истины, что она, я увѣренъ, освѣтитъ, уяснитъ этотъ высокій предметъ, темно понимаемый иными, даже талантливыми описателями природы. Особенно благодарю я васъ за то, что вы обратили вниманіе на мою книгу гг. естествоиспытателей, которымъ могли бы быть полезны мои добросовѣстныя наблюденія, хотя они не всегда полны и часто односторонни. Рулье словесно и письменно восторгался ими, хотѣлъ написать огромную статью еще въ маѣ мѣсяцѣ—и не написалъ ни одной строчки.

Я такъ васъ люблю, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, что не могу говорить съ вами иначе, какъ съ полною откровенностью. Я не боюсь показаться въ глазахъ вашихъ человѣкомъ раздражительно самолюбивымъ, требовательнымъ и неблагодарнымъ. Итакъ, къ дѣлу. Если вы меня спросите: удовлетворила ли вполнѣ статья ваша всѣмъ *моимъ* ожиданіямъ (замѣтьте: собственно лично *моимъ*), то я скажу вамъ, что я ожидалъ и желалъ чего-то другого. А именно: ваше письмо къ издателю *Современника*—не критика на мою книгу, а прекрасная статья по поводу моей книги. Впрочемъ, я очень понимаю, что, удержавъ характеръ критики, статья ваша вышла бы, можетъ быть, не такъ интересна и нѣсколько суха, а главное, что для такого рода разборовъ прошло уже время, и я совершенно согласенъ, что большинство читателей было бы рѣшительно отъ того въ проигрышѣ. Потомъ, я ожидалъ менѣе похвалъ, но за то ожидалъ безпристрастнаго суда

и справедливыхъ осужденій; я надѣялся болѣе серьезнаго тона, особенно въ отношеніи къ языку и слогу. Наконецъ, говоря о Пушкинѣ и Шекспирѣ, приведя изъ нихъ даже образцы, вы (разумѣется, безъ всякаго намѣренія) задавили, такъ сказать, огромными ихъ личностями мою мелкую персону!.. По крайней мѣрѣ, я это почувствовалъ, слушая статью; можетъ быть, никому другому не взойдетъ и въ голову такая мысль... Но я, право, смущаюсь, написавъ эти строки! Смущаюсь не тѣмъ, что онѣ будутъ непріятны вамъ; я этого не думаю: въ нашей дружбѣ искренность необходима; я смущаюсь тѣмъ, что второе письмо ваше о моихъ „Запискахъ" можетъ измѣниться въ своей формѣ отъ моихъ теперешнихъ словъ. Итакъ, прошу васъ этого не дѣлать: если письмо написано, оставьте, какъ оно есть; если будете писать, забудьте о моихъ словахъ.

Спѣшу васъ извѣстить, что второе изданіе моихъ „Записокъ" выйдетъ черезъ двѣ недѣли, и что прежній текстъ возстановленъ совершенно... Но увы, другая бѣда случилась со мною, которую и поправить уже нельзя. Вы вѣрно получили первый нумеръ *Москвитянина* и прочли „Біографію Загоскина". Ради Бога, прочтите вторично всѣ тѣ мѣста, которыя обезображены пропусками и опечатками, не только уничтожившими личныя убѣжденія автора, но давшими противуположный смыслъ его словамъ. Прилагаю особый регистръ важнѣйшимъ пропускамъ и опечаткамъ и прошу исправить мою статью. Я надѣюсь со временемъ прислать вамъ отдѣльный оттискъ, исправленный по возможности. Признаюсь вамъ въ моей слабости: это меня разсердило, и я поднялъ жестокую войну съ Погодинымъ. Убѣдительно васъ прошу, въ доказательство, что моя откровенность пришла вамъ по сердцу, сказать мнѣ строгую правду о „Біографіи Загоскина" во всѣхъ отношеніяхъ. Какъ я радъ, что вы хотите написать о примѣтахъ, повѣрьяхъ и суевѣріяхъ охотниковъ! Мнѣ только на дняхъ пришла въ голову мысль, что слѣдовало бы написать объ этомъ во второмъ изданіи „Записокъ"; но я какъ-то мало зналъ или мало помню разсказовъ объ этомъ интересномъ предметѣ. Иванъ мой былъ у Кетчера, но „По-

стоялаго Двора" не могъ получить: онъ былъ не свобо-ценъ; надѣюсь однако скоро имѣть его въ своихъ рукахъ. Крѣпко васъ обнимаю. Я все прихварываю. На силу воро-тилась наша зима. Вашъ всею душой *С. Аксаковъ*.

***

Списокъ опечатокъ, которыми была искажена въ *Москви-нянинѣ* „Біографія Загоскина", не сохранился при этомъ письмѣ Сергѣя Тимоѳеевича, но онъ былъ тогда же сообщенъ въ томъ же журналѣ (№ 2), гдѣ появилась самая статья. Такъ бы то ни было, нѣсколько грубыхъ типографскихъ про-маховъ не могли ни одному сколько-нибудь чуткому человѣ-ку помѣшать оцѣнить достоинство новаго труда С. Т. Акса-кова. Тургеневъ пришелъ отъ него въ восхищеніе и 22-го января писалъ автору: „Вчера получилъ я первый нумеръ *Москвитянина*, любезный и почтенный Сергѣй Тимоѳеевичъ, и вчера же прочелъ вашу „Біографію Загоскина". Я не чи-талъ подобной біографіи на русскомъ языкѣ! По глубокому и ясному пониманію характера и таланта того человѣка, ко-торому она посвящена, по теплотѣ сочувствія, разлитого въ каждой строчкѣ, по внутренней ея соразмѣрности и спокой-ному мастерству изложенія, біографія эта можетъ назваться образцовой. Иныя выраженія изумительны своей мѣткостью. Особенно поразило меня то мѣсто, гдѣ вы говорите, что, чи-тая Загоскина, чувство народности незамѣтно поднимается со дна души. Это совершенно вѣрно. Я сожалѣю только объ одномъ: зачѣмъ вы помѣстили двѣ выдержки изъ сочиненій Загоскина? Кромѣ того, что Загоскинъ—именно такой писа-тель, котораго по выдержкамъ судить нельзя, онѣ (особенно куплеты) уже слишкомъ незначительны и могутъ невѣрно по-дѣйствовать на читателя". Въ петербургскихъ журналахъ того времени считали долгомъ судить особенно строго обо всемъ, что печатали писатели, принадлежавшіе къ славянофильской группѣ; такъ и на „Біографію Загоскина" появилась въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1853 года (№ 5) рецензія, если не совсѣмъ враждебная, то во всякомъ случаѣ мало сочувствен-ная. Рецензенту (А. Д. Галахову?) между прочимъ показалось

невѣрнымъ то самое сужденіе С. Т. Аксакова о Загоскинѣ какъ о народномъ писателѣ, которое привело въ восторгъ Тургенева. Сергѣй Тимоѳеевичъ отнесся къ этому отзыву не безъ ироніи, какъ видно изъ его письма отъ 21-го мая.

Мы уже знаемъ, какъ понравился разсказъ Тургенева „Муму“ въ семьѣ Аксаковыхъ. Они увидѣли въ немъ рѣшительный поворотъ въ творчествѣ автора и потому надѣялись отъ него новыхъ успѣховъ. Между тѣмъ Тургеневъ выслалъ въ Москву рукопись новаго своего произведенія, повѣсти „Постоялый Дворъ“. Аксаковы нетерпѣливо желали съ нею познакомиться: упоминанія и вопросы о „Постояломъ Дворѣ“ не разъ повторяются въ ихъ письмахъ этого времени, между прочимъ—въ предшествующемъ письмѣ Сергѣя Тимоѳеевича и нижеслѣдующемъ (отъ 30-го января 1853 г.)—его старшаго сына (Замѣтимъ кстати, что послѣдній разумѣетъ тутъ подъ названіемъ „Дворника“ все тотъ же разсказъ „Муму“). Первыя строки этого письма К. С. Аксакова объясняются увѣдомленіемъ Тургенева (въ письмѣ отъ 16-го января), что онъ наконецъ прочелъ его статью „О семейномъ бытѣ древнихъ славянъ“ въ прошлогоднемъ „Московскомъ Сборникѣ“ и согласенъ съ изложенными здѣсь возраженіями противъ примѣненія теоріи родового быта къ древней русской жизни. Но Тургеневъ былъ не знатокъ въ русской исторіи и сознавался въ этомъ. Его недостаточный интересъ къ историческимъ вопросамъ и къ изученію народной старины не мало огорчалъ Константина Сергѣевича, и въ своей горячности онъ усиленно старался обратить вниманіе Тургенева на эти предметы, даже не прочь былъ втянуть его въ область филологіи и лингвистики; но въ то же время онъ какъ бы не надѣялся на успѣхъ своихъ стараній, и потому самъ, въ бесѣдѣ со своимъ корреспондентомъ, обращался къ вопросамъ собственно литературнымъ. Повѣсть П. Д. Хвощинской (Крестовскаго) „Искушеніе“, только что напечатанная въ *Отечественныхъ Запискахъ*, и комедія А. Н. Островскаго „Не въ свои сани не садись“, еще не появившаяся въ печати, но уже игранная на сценѣ, были главными литературными новостями того момента; въ связи съ ними находятся разсужденія К. С. Аксакова въ упомянутомъ его письмѣ, отъ 30-го января 1853 г.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское, 22-го января 1853.

Вчера получилъ я первый № Москвитянина, любезный и почтенный Сергѣй Тимофѣевичъ, и вчера же прочелъ вашу біографію Загоскина. Я не читалъ подобной біографіи на русскомъ языкѣ! По глубокому и ясному пониманію характера и таланта того человѣка, которому она посвящена, по теплотѣ сочувствія, разлитаго въ каждой строчкѣ, по внутренней ея соразмѣрности и спокойному мастерству изложенія, біографія эта можетъ назваться образцовой. Иныя выраженія изумительны своей мѣткостью. Особенно поразило меня то мѣсто, гдѣ вы говорите, что, читая Загоскина, „чувство народности незамѣтно поднимается со дна души". Это совершенно вѣрно. Я сожалѣю только объ одномъ: зачѣмъ вы помѣстили двѣ выдержки изъ сочиненій З—а? Кромѣ того, что З. именно такой писатель, котораго по выдержкамъ судить нельзя—онѣ (особенно куплеты) уже слишкомъ незначительны и могутъ невѣрно подѣйствовать на читателя. „Мирошева", котораго я не читалъ, я теперь непремѣнно прочту; что же касается до „Милославскаго", то я зналъ его наизусть; помнится, я находился въ пенсіонѣ въ Москвѣ въ 31-мъ году (мнѣ былъ 12-й *) годъ), и намъ по вечерамъ надзиратель нашъ разсказывалъ содержаніе „Ю. М.". Невозможно изобразить вамъ то поглощающее и поглощенное вниманіе, съ которымъ мы всѣ слушали; я однажды вскочилъ и бросился бить одного мальчика, который заговорилъ было посреди разсказа. Кирша, земскій ярыжка, Омляшъ, бояринъ Шалонскій — всѣ эти лица были чуть не родными всему нашему поколѣнію—и я до сихъ поръ помню всѣ малѣйшія подробности романа. Да, такая народность завидна и дается немногимъ! Въ 32-мъ и 33-мъ году я часто видывалъ Загоскина въ домѣ моего отца, съ которымъ онъ былъ очень друженъ; впечатлѣніе, которое онъ производилъ на меня, далеко не соотвѣтствовало уваженію, которое я питалъ

*) Небольшая ошибка: 13-й годъ, такъ какъ Тургеневъ родился 28-го октября 1818 г.

къ его роману; впрочемъ, это было не уваженіе, а какое-то горячее дружелюбное чувство—какъ бы къ старшему брату (я говорю о Юріѣ Мил—мъ). Причина, почему я передъ самимъ Загоскинымъ не благоговѣлъ, была двоякая: съ одной стороны, онъ слишкомъ былъ простъ и добръ, иногда даже спорилъ со мной — а мальчишка, какимъ я былъ тогда, не можетъ благоговѣть передъ тѣмъ, кто становится съ нимъ рядомъ; съ другой стороны, въ З—ѣ была какая-то добродушная хвастливость насчетъ женщинъ, которая мнѣ тѣмъ болѣе не нравилась, что онъ обыкновенно въ этихъ случаяхъ выражался французскимъ, весьма неправильнымъ языкомъ. Но вспоминая всѣхъ тѣхъ литераторовъ, съ которыми мнѣ потомъ пришлось сблизиться—и изъ которыхъ едва ли одинъ сто́илъ Загоскина—приводя себѣ на память всю ихъ мелочную раздражительность, кичливое самолюбіе и ломаніе (я уже не смѣю упоминать о собственныхъ грѣхахъ въ этомъ родѣ), я не могу довольно надивиться скромности автора, который дѣйствительно нѣкоторое время не имѣлъ себѣ равнаго въ народной любви—да и до конца сохранилъ ее; Загоскинъ, съ которымъ я, 13-лѣтній мальчишка, могъ обходиться безцеремонно—былъ отличный человѣкъ!

Желаю я, чтобы моя статейка о вашей книгѣ хотя отдаленно могла вамъ понравиться такъ, какъ ваша біографія мнѣ понравилась.

Доставилъ ли Кетчеръ Ив. Сергѣевичу „Постоялый Дворъ" и прочли ли вы его, и если прочли—какого вы о немъ мнѣнія? Такъ какъ совершенно неизвѣстно, когда мы съ вами увидимся, а мнѣ хочется подвергать мои произведенія вашему суду, то я постараюсь распорядиться такъ, чтобы списокъ съ 1-й части моего романа достался вамъ въ руки—только это между нами. Она будетъ состоять изъ 12 главъ—я уже написалъ семь.

Я увѣренъ, что вы обратили вниманіе на повѣсть о Фролѣ Скобѣевѣ въ первомъ № Москвитянина. Это чрезвычайно замѣчательная вещь. Всѣ лица превосходны и наивность слога трогательна. Но стихотворенія Щербины мнѣ еще менѣе по вкусу, чѣмъ стихи г-жи Павловой или Растопчиной—

это какой-то любострастный писк, который намъ хотятъ выдать за античность! И хотя бы стихи были хороши! Нѣтъ—этакого рода поэзія не годится никуда.

Прощайте, дорогой С. Т., будьте здоровы и веселы.—У насъ съ 12-го января стала холодная, солнечная погода—вѣроятно, и у васъ такъ же.—Холерные случаи попадаются здѣсь довольно часто, но пока ничего слишкомъ худого нѣтъ.—Егеря мои колотятъ множество зайцевъ—я очень зябокъ и на эту охоту не хожу. Кормятся у меня 12 куропатокъ—въ мартѣ выпущу ихъ на разводъ. На дняхъ послалъ охотника въ степную деревню съ порученіемъ поймать и привезти еще.

P.-S Правда ли, что Катковъ женится и переѣзжаетъ въ Петербургъ?

Письмо къ Тургеневу К. С. Аксакова.

(30-го января 1853 года).

Любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ! Очень радъ я, что статья моя показалась вамъ ясною: вотъ ея задача. Что касается до того, какое впечатлѣніе производитъ доказанный ею бытъ,—это задача другая, особая; она рѣшается не одною статьею, а цѣлымъ рядомъ трудовъ, цѣлымъ хоромъ живыхъ явленій и, наконецъ, процессомъ собственной жизни. Съ большимъ нетерпѣніемъ ждемъ мы „Постоялаго Двора". Слѣдъ, оставленный во мнѣ „Дворникомъ", такъ живъ, впечатлѣніе такъ сильно, ясно и просто, что уже много будетъ мнѣ удовольствія, если „Постоялый Дворъ" будетъ такъ же хорошъ, какъ „Дворникъ", изъ котораго ничего не стоитъ вамъ выкинуть два-три старые пріема изображенія и рѣчи. Впечатлѣніе художественнаго произведенія тогда хорошо, когда оно просто и не спутанно, когда оно происходитъ безъ примѣси разныхъ приправъ и пряностей, на что́ великіе мастера господа французы, перенесшіе въ литературу изящную свою знаменитую кухню. Какъ въ ихъ кухнѣ часто не разберешь, что ѣшь, такъ въ литературѣ не разберешь, что́ читаешь, и чувствуешь только, что раздражаетъ что-то. Передъ нашими глазами прошла цѣлая эпоха литературы, вся задача которой

была *раздражать* впечатлѣніе. Какъ подумаешь, такъ въ этомъ есть что-то особенно гадкое. Раздраженное впечатлѣніе есть уже наименѣе художественное, и если изящное произведеніе производитъ впечатлѣніе такого рода, то объ немъ толковать долго нечего, а прямо отнести къ кухонной стряпнѣ, да еще французской кухни. Можно ли повѣрить, что такъ недавно писали еще на этотъ ладъ, и что это казалось великимъ достоинствомъ? Можно ли повѣрить, что вы, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ, употребляли еще недавно разныя приправы, съ перцемъ и уксусомъ, также раздражая впечатлѣніе? Недавно это, а между тѣмъ я чувствую, что это уже для васъ не возможно; вашъ „Дворникъ“, гдѣ еще слышны незначительныя отрыжки прежняго, ваша статья о батюшкиной книгѣ показываютъ, что и дѣломъ, и мыслію вы удалились отъ прежняго вашего авторства, которымъ мучили вы свой талантъ и вымучивали у него вовсе не истинно достойныя произведенія. Скажите спасибо природѣ, охотѣ и русскому крестьянину, которые отвлекли васъ отъ вашихъ „Андреевъ“, „Разговоровъ“ и пр. и пр. и заставили васъ писать „Записки Охотника“, хотя еще далеко не вполнѣ васъ освободившія отъ прежняго! Но вы не остановились и на этихъ „Запискахъ“ и двинулись далѣе; доброе дѣло! Впечатлѣніе истинно достойнаго произведенія — всегда честное, такъ сказать, прямое, безъ всякихъ штукъ и претензій. Посмотрите, какъ все просто и прямо у Шекспира; впечатлѣнія сильны, но вовсе не раздражительны. Припомните Вальтера Скотта, къ которому я сохраняю постоянную и особенную привязанность, можетъ быть—по юнымъ воспоминаніямъ. Наконецъ, припомните Гоголя. Когда же припомнишь теперь французскія произведенія, до которыхъ, впрочемъ, я никогда не былъ охотникъ, то становится довольно противно. Въ особенности противны французскіе изящные писатели, когда они говорятъ о добрѣ; пусть бы они лучше оставили въ покоѣ добро. Способъ раздраженія и соблазна и тутъ ихъ не оставляетъ, но тутъ онъ является во всей своей гнусности; можно сказать, что они *соблазняютъ* на добро, *развращаютъ* на добро. Но довольно о французской литературѣ; лежачаго

не бьютъ. Между тѣмъ, лживый пріемъ писателя можетъ быть всюду, ложь сильна въ людяхъ; безпощадно и не жмурясь надо глядѣть на ея смазливую харю и плевать въ ея безстыжіе глаза. Вы, какъ я вижу, не намѣрены ей мирволить и раздѣлываетесь съ нею бодро. Пишите и пишите; очень интересно теперь все, что̀ вы пишете.

Но есть другая опасность для писателя: это *естественность*. Поскользнуться здѣсь какъ разъ можно. Существенная естественность неотъемлема для всякаго истинно прекраснаго произведенія. Но она дается не легко. А есть естественность дешевая, стенографическая, которой отпустятъ вамъ въ любой литературной лавочкѣ, на сколько прикажете. Эта естественность совсѣмъ запрудила нашу литературу. Вспомните опять Шекспира. У него вовсе нѣтъ этой естественности наружной, а какъ все естественно! Вспомните мудрыя слова Шиллера:

Der Schein soll nie die Wirklichkeit erreichen,—
Und singt Natur, so muss die Kunst entweichen.

Вспомните также опять Гоголя, но не его подражателей. Между тѣмъ, стенографическая естественность еще въ полномъ у насъ разгарѣ. Островскій недавно написалъ комедію, которая на сценѣ имѣетъ огромный, какъ говорятъ, успѣхъ. Тѣ, кто знаетъ комедію, говорятъ, что она мнѣ должна понравиться; быть можетъ, мысль ея, но самая комедія — не знаю. Въ ней выведенъ опять купецъ. Признаюсь, мнѣ ужь стало жалко купца. Догадались, что въ его физіономіи много характернаго, много русскаго, не смотря на искаженіе купеческимъ бытомъ, и вотъ принялись за купца, жмутъ его, какъ лимонъ, и, наконецъ, выжмутъ, что̀ могутъ, опошлятъ и бросятъ. И такъ какъ при такой операціи не нужно большого таланта, то всѣмъ удается купецъ. Великое дѣло національности или народности очень страдаетъ отъ нашихъ неловкихъ патріотическихъ комедій и драмъ.

Читали ли вы повѣсть Крестовскаго „Искушеніе“? Повѣсть прекрасная, благородная, но, но... право не знаю, какъ сказать, но есть какая-то скрытая напряженность, какой-то

тонкій чадъ, разлитый по всей новѣсти, который мѣшаетъ дышать вполнѣ легко и свободно тѣмъ благороднымъ чувствомъ, которымъ проникнута новѣсть. Если вы получаете *Московскія Вѣдомости* (въ чемъ я почти увѣренъ), то вѣрно прочли мою небольшую статейку, которой далъ Катковъ слишкомъ широкое заглавіе—„О русскихъ пѣсняхъ“. А въ *Москвитянинѣ* вѣрно прочли тупую и недобросовѣстную антикритику г. Шеппинга. Хотя сужденіе его не имѣетъ значенія, но недобросовѣстность всегда крайне досадна. Хотѣлось бы переслать вамъ мою статью о богатыряхъ, а также о современной литературѣ; впрочемъ, эта статья требуетъ большого исправленія и пополненія. Какъ бы хотѣлось, чтобъ вы прочли статью „Знакомство съ Державинымъ“; можетъ быть, батюшка вамъ ее пошлетъ тоже. Жаль, что эта его статья завязла теперь съ вторымъ томомъ „Московскаго Сборника“ въ цензурѣ. Онъ самъ хочетъ написать вамъ нѣсколько строкъ. Листъ къ концу, но мнѣ еще хочется сказать вамъ нѣсколько словъ. Много хорошаго въ вашей статьѣ о батюшкиной книгѣ, но собственно о книгѣ можно было бы сказать больше—не въ смыслѣ похвалы, а въ смыслѣ опредѣлительной оцѣнки, и я вполнѣ согласенъ съ тѣмъ, что пишетъ вамъ батюшка, который въ то же время очень доволенъ статьей вашей.

Любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ! Мы вполнѣ откровенны съ вами... Но не правда ли, что это всего лучше? Вы, я надѣюсь, также вполнѣ откровенны съ нами. Какъ скоро получимъ „Постоялый Дворъ“, такъ надѣемся написать вамъ немедленно. Очень я радъ, что вы познакомились съ произведеніями умнаго и любезнаго Алексѣя Михайловича. Письма его особенно хороши. Занимаясь стариною, я нашелъ много о состояніи крестьянъ до Петра, что совершенно стираетъ съ древней Руси стыдъ крѣпостного состоянія. Мы обязаны и этимъ европейскому преобразованію. Непремѣнно достаньте Киршу Данилова и читайте внимательно, а если вы музыкантъ, то обратите вниманіе на ноты, приложенныя при каждой пѣснѣ; многія изъ нихъ совершенно оригинальный речитативъ, другія — превосходные напѣвы высокаго музы-

кальнаго достоинства. Это музыка чисто народная. Но довольно! Мнѣ еще надо писать цѣлое письмо о грамматикѣ. Вы какъ? Чувствуете расположеніе къ филологіи, корнямъ, санскритскому языку, Боппу и пр. и пр.? Самаринъ былъ у насъ въ деревнѣ, просилъ вамъ кланяться, и сказать, что онъ не зналъ о пребываніи вашемъ въ деревнѣ, а то бы, возвращаясь изъ Кіева, заѣхалъ къ вамъ непремѣнно. Онъ узналъ объ этомъ, уже пріѣхавъ въ Москву. Прощайте, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ, обнимаю васъ. Вашъ *Константинъ Аксаковъ.*

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

30-го января (1853 года).

Сейчасъ узналъ, что Константинъ пишетъ къ вамъ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, а потому спѣшу написать нѣсколько строкъ. Я получилъ письмо ваше отъ 22-го января. Вашъ отзывъ о „Біографіи Загоскина“ такъ сладокъ моему самолюбію, что я даже боюсь этой сладости! Боюсь сдѣлаться на старости болтуномъ на бумагѣ! Вы совершенно правы: выписки изъ Загоскина могутъ скорѣе повредить моему о немъ приговору, чѣмъ служить доказательствомъ. Я не получалъ еще отдѣльныхъ оттисковъ „Біографіи Загоскина“, но какъ скоро получу, то пришлю немедленно, исправленный. Впрочемъ, я послалъ вамъ поправки. Вчера мой Иванъ уѣхалъ въ Москву, и я надѣюсь, что онъ добудетъ „Постоялый Дворъ“, съ которымъ познакомиться горю нетерпѣніемъ. Не нахожу словъ благодарить васъ за ваше доброе намѣреніе доставить мнѣ 1-й томъ вашего романа. Вы сами можете себѣ представить, какъ я ожидаю этого праздника себѣ! Кромѣ наслажденія художественнаго, которое я непремѣнно въ немъ найду, меня въ высшей степени интересуетъ движеніе вашей собственно мысли. Не смотря на то, что я безпрестанно прихварываю, я принялся писать очень большую статью: „Воспоминаніе объ А. С. Шишковѣ“. Тамъ будетъ опредѣлено значеніе тогдашняго русскаго направленія. Разумѣется, „Державинъ“ и эта статья, если будетъ написана, будутъ вамъ сообщены. Я говорю вамъ безъ шутокъ, что

вы дадите Богу отвѣтъ за мое авторство, потому что я столько же уважаю ваше мнѣніе (въ искренности котораго не сомнѣваюсь), сколько и люблю васъ. Прощайте. Обнимаю васъ. Преданный душой *С. Аксаковъ*.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское. 5-го (17-го) февраля 1853.

Я еще не успѣлъ отвѣчать на ваше письмо, любезный Сергѣй Тимофѣевичъ, какъ уже получилъ отъ васъ другое— и потому тотчасъ берусь за перо, чтобы не остаться въ долгу передъ вами и вашими сыновьями. Впрочемъ, я на этотъ разъ хочу вамъ сказать только нѣсколько словъ. Я очень радъ, что мой отзывъ о вашей статьѣ въ Москвитянинѣ доставилъ вамъ удовольствіе — и мнѣ пріятно думать, что я былъ отчасти причиной возбужденія въ васъ литературной дѣятельности. Я очень понимаю, почему вы не совсѣмъ довольны моей статьей: я увлекся нѣсколько въ сторону отъ вашей книги—но я не предвидѣлъ, что цензура такъ немилосердно поступитъ со мной. Не упоминаю уже о множествѣ отдѣльныхъ мѣстъ, ослабленныхъ или выкинутыхъ ею; посылаю вамъ цѣлыя полторы страницы вычеркнутыя—послѣ словъ: „разсужденіями по ихъ поводу“—на стр. 39 *). Что г-нъ цензоръ подозрѣвалъ въ этомъ отрывкѣ—пантеизмъ, что ли— или вообще мое имя на него подѣйствовало—не знаю. Въ другой моей статьѣ я хотѣлъ поговорить подробнѣе о вашей книгѣ — и вѣроятно такъ и сдѣлаю—но, признаюсь, такая цензура хоть у кого отобьетъ охоту брать перо въ руки. Иванъ Сергѣевичъ написалъ мнѣ по поводу моей статьи очень умное письмо, на которое отвѣчу отдѣльно, также какъ и Константину Сергѣевичу,—а сегодня я себя чувствую весьма вялымъ и лѣнивымъ. Иванъ Сергѣичъ говоритъ, что онъ, можетъ-быть, проѣдетъ ко мнѣ—то-то былъ бы для меня праздникъ. — Если кто-нибудь изъ вашихъ будетъ писать Самарину, поблагодарите его за память обо мнѣ.

Любезный Сергѣй Тимофѣичъ, простите мнѣ это нелите-

*) На предпослѣдней строкѣ.

ресное письмо. На дняхъ соберусь съ духомъ и напишу большой отвѣтъ вашимъ обоимъ сыновьямъ. А пока—будьте вы всѣ здоровы и вѣрьте въ искреннюю и глубокую преданность, и т. д.

NB. Это письмо кончено 9-го февраля.

(Къ этому письму приложенъ особо вышеупомянутый листокъ съ мѣстами, вычеркнутыми цензурою въ статьѣ Тургенева о книгѣ С. Т. Аксакова).

„Между тѣмъ такого рода воззрѣніе совершенно несогласно съ истиннымъ смысломъ природы, съ ея основнымъ направленіемъ. Безспорно, вся она составляетъ одно великое, стройное цѣлое—каждая точка въ ней соединена со всѣми другими—но стремленіе ея въ то же время идетъ къ тому, чтобы каждая именно точка, каждая отдѣльная единица въ ней существовала исключительно для себя, почитала бы себя средоточіемъ вселенной, обращала бы все окружающее себѣ въ пользу, отрицала бы его независимость, завладѣвала бы имъ какъ своимъ достояніемъ. Для комара, который сосетъ вашу кровь—вы пища, и онъ такъ же спокойно и беззазорно пользуется вами, какъ наукъ, которому онъ попался въ сѣти—имъ самимъ,—какъ корень, роющійся во тьмѣ—земляною влагой.—Обратите въ теченьи нѣсколькихъ мгновеній ваше вниманіе на муху, свободно перелетающую съ вашего носа на кусокъ сахару, на каплю меда въ сердцѣ цвѣтка—и вы поймете, что я хочу сказать—вы поймете, что она рѣшительно на столько же сама по себѣ—на сколько вы сами по себѣ. Какъ изъ этого разъединенія и раздробленія, въ которомъ, кажется, все живетъ только для себя—какъ выходитъ именно та общая, безконечная гармонія, въ которой, напротивъ, все, что существуетъ—существуетъ для другого, въ другомъ только достигаетъ своего примиренія или разрѣшенія—и всѣ жизни сливаются въ одну міровую жизнь—это одна изъ тѣхъ „открытыхъ“ тайнъ, которыя мы всѣ—и видимъ, и не видимъ. Говорить объ этомъ заманчиво—но оно повело бы меня слишкомъ далеко; я удовольствуюсь тѣмъ, что напомню вамъ извѣстныя страницы Гёте о природѣ—и приведу два, три слова, имъ сказанныя:

„Природа проводитъ бездны между всѣми существами, и всѣ они стремятся поглотить другъ друга. Она все разъединяетъ, чтобы все соединить“...

„Ея вѣнецъ—любовь. Только черезъ любовь можно къ ней приблизиться“...

„Кажется, она только и хлопочетъ о томъ, чтобы создавать личности—и личности ей ничего не значатъ. Она безпрестанно строитъ и безпрестанно разрушаетъ“...

„На стр. 40-й, въ строкѣ 15 сверху, послѣ слова *„невозможно,* выкинуты слова: „Авторъ перенесъ въ изображеніе этой птицы ту самую законченность, ту округленность каждой отдѣльной жизни, о которой мы говорили выше“, и т. д. и т. д.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

27-го февраля 1853 года.

Я получилъ письмо ваше, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ, начатое 5-го и конченное 9-го февраля, еще на прошедшей почтѣ, но не отвѣчалъ немедленно, потому что ожидалъ обѣщанныхъ вами писемъ моимъ сыновьямъ. Теперь же я начинаю опасаться, не разнемоглись ли вы, потому что, написавши послѣднее письмо ко мнѣ, вы были какъ будто не совсѣмъ здоровы. Во всякомъ случаѣ, мнѣ хочется поговорить съ вами, и я удовлетворяю своему желанію; но предварительно беру съ васъ честное слово: не считать *необходимостью немедленно мнѣ отвѣчать.* Переписка тогда только хороша, когда она—дѣло вольное, а не обязательное. Къ тому же, вы заняты такимъ дѣломъ, отъ котораго не надо отрываться мыслями, а только надо давать имъ иногда отдохновеніе. Благодарю васъ за присылку мнѣ двухъ выкупутыхъ страницъ, прекрасныхъ по мыслямъ и выраженію ихъ. Теперь только я почувствовалъ, какъ я требователенъ и раздражителенъ, и какъ вы кротки и терпѣливы. Послѣ того, что цензура дѣлаетъ съ вами, мнѣ не должно смѣть жаловаться. Что же касается до исключительнаго обращенія вашего ко мнѣ (на страницѣ 4-й), то искренно скажу: я не считаю мою книгу достойною такого отзыва и ясно вижу, что вы пристрастны къ автору. Въ четвертомъ нумерѣ *Москви-*

тянина напечатанъ какой-то странный отзывъ на ваше письмо о моей книгѣ. Я увѣренъ, что вы не сочтете его искаженнымъ отголоскомъ моего мнѣнія, высказаннаго въ письмѣ къ вамъ, потому что мы ни съ кѣмъ не говорили объ этомъ предметѣ.

Увы, и третья попытка достать „Постоялый Дворъ“ оказалась безуспѣшною! „Постоялаго Двора“ нѣтъ дома, его переписываютъ; а какъ желающихъ, безъ сомнѣнія, очень много, то я рискую получить его черезъ годъ. 2-го марта посылаю въ Москву нарочнаго и, пользуясь правомъ весьма давняго знакомства, самъ пишу убѣдительное письмо къ Кетчеру. Если это не поможетъ, то обращусь къ вамъ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ, и буду просить: присылать впередъ всѣ ваши рукописи черезъ меня; а по прочтеніи, на что понадобится нѣсколько дней, я стану аккуратно доставлять полученное мною къ Кетчеру, или къ кому вы прикажете. Если вы читаете *Москвитянинъ*, то вѣрно прочли и замѣтили повѣсть г-жи Вельтманъ: „Викторъ“. Эта... женщина вздумала мимоходомъ попачкать славу Гоголя. Оба они съ мужемъ всегда шипѣли около себя хулу и клевету на Гоголя, а теперь осмѣлились даже и печатно поплевать на его память. Я сейчасъ увѣдомилъ объ этомъ Погодина, а онъ съ своей молодой редакціей и не узналъ, что у него въ журналѣ напечатано. Надобно бы ее показнить нѣсколькими строками равнодушія и презрѣнія, да негдѣ, да еще, пожалуй, и не пропустятъ.

21-го февраля, въ день кончины Гоголя, написалъ я нѣсколько словъ о немъ, желая сообщить мои мысли о составленіи біографіи Гоголя тѣмъ господамъ, которые весьма легкомысленно принимаются за это важное дѣло. Если моя статейка будетъ напечатана въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, то пришлю вамъ отдѣльный оттискъ. Не могу похвалиться здоровьемъ: сырая и гнилая зима и своя невоздержность ожесточили мою хворь, и я постоянно нездоровъ. Что романъ? Великъ будетъ мой праздникъ, когда получу его! Обнимаю васъ. Душою вашъ *С. Аксаковъ*.

* * *

Повѣсть „Викторъ“, возбудившая столь горячее негодованіе С. Т. Аксакова, есть произведеніе Е. И. Вельтманъ, жены извѣстнаго романиста и археолога. Необходимо сказать о ней нѣсколько словъ, чтобъ отзывъ Аксакова не остался непонятнымъ.

Герой этой повѣсти — молодой человѣкъ, получившій въ Петербургѣ изнѣженное воспитаніе и самое поверхностное образованіе подъ руководствомъ француза-гувернера; онъ пріученъ къ роскоши и непривыченъ ни къ какому дѣльному труду, благоговѣетъ предъ свѣтскостью и мечтаетъ объ одномъ — о поѣздкѣ за границу. Но какъ разъ въ то время, когда онъ сталъ взрослымъ, оказывается, что у него нѣтъ никакого состоянія, кромѣ небольшой деревеньки, гдѣ живетъ его мать. Лишенный возможности поддерживать свои свѣтскія связи въ столицѣ, Викторъ, противъ воли, рѣшается поселиться въ деревнѣ. Здѣсь, въ разговорѣ съ родными, онъ узнаётъ, что сынъ ихъ богатаго сосѣда Чапарина топчетъ своими собаками ихъ поля и обижаетъ ихъ крестьянъ. Викторъ предпринимаетъ поѣздку къ Чапарину, чтобы объясниться по этому дѣлу, но, вмѣсто усадьбы Чапарина, попадаетъ къ другимъ сосѣдямъ, въ помѣщичью семью средней руки, и знакомится съ нею. При другомъ случаѣ Викторъ проникаетъ и къ Чапаринымъ, но вмѣсто того, чтобы вступить въ предположенное объясненіе съ богачемъ-сосѣдомъ, приходитъ въ восторгъ отъ роскошной обстановки его деревенскаго дома, отъ изящнаго обращенія членовъ его семейства, людей, перенесшихъ утонченныя привычки англійской castle-life въ глушь русской провинціи. Въ каждомъ изъ этихъ семействъ есть по молодой дѣвушкѣ: въ первомъ — простодушное дитя деревни, миловидная Грушенька, почти лишенная образованія, но которую Викторъ желаетъ развить, влюбившись въ нее съ перваго взгляда; во второмъ—бойкая Бетси, свѣтская барышня, говорящая на разныхъ языкахъ, толкующая о стихахъ и френологіи, и притомъ большая модница и отъявленная кокетка. Смутивъ сперва душевное спокойствіе Грушеньки,

Викторъ вслѣдъ затѣмъ попадаетъ въ сѣти, разставленныя ему Бетси. Чтобы поддержать знакомство съ домомъ ея родителей, онъ входитъ въ долги. Но вскорѣ обнаруживается, что развязная барышня просто дурачила его. Чапарины уѣзжаютъ за границу. Грушенька выходитъ замужъ за стараго знакомаго, пожилого ротмистра Кобурина, разыгрывающаго въ повѣсти роль „здравомысла“, а самъ Викторъ, окончательно разоривъ мать своими долгами, куда-то скрывается; лишь по прошествіи нѣкотораго времени становится извѣстнымъ, что онъ опредѣлился въ военную службу на Кавказъ. Послѣдняя сцена повѣсти изображаетъ Виктора больнымъ, едва ли не помѣшаннымъ, на рукахъ какой-то казачки „неопредѣленныхъ лѣтъ“.

Литературное достоинство повѣсти г-жи Вельтманъ очень незначительно; но основная мысль ея—противоположеніе простой сельской жизни ложному блеску столичной щеголеватости—могла бы, пожалуй, даже понравиться С. Т. Аксакову, если бы сочинительница не вздумала ввести въ свое произведеніе одну черту, въ сущности вовсе не нужную для развитія сюжета, а именно какую-то странную полемику противъ Гоголя. Пустой и жалкій герой повѣсти представленъ вмѣстѣ съ тѣмъ поклонникомъ автора „Мертвыхъ Душъ“; собираясь въ объѣздъ сосѣдей, онъ прочитываетъ предисловіе ко второму изданію знаменитой поэмы и рѣшается воспользоваться своею поѣздкой для собранія замѣчаній и житейскихъ наблюденій, которыя отошлетъ затѣмъ Гоголю. „Подкупательныя слова автора „Мертвыхъ Душъ“, разсказываетъ г-жа Вельтманъ о своемъ ничтожномъ героѣ,—„послужили фосфорною спичкой, поднесенной къ пороху. „Хмъ, странно!“ почти вскрикнулъ онъ, отложивъ книгу въ сторону,—„за часъ тому назадъ я не зналъ, что начать съ собою, голодная смерть уже грозила нравственному моему человѣку, и вдругъ открывается передо мною обширное поле, и я начинаю видѣть предъ собою цѣль жизни, назначеніе, могущее заставить забыть всякую превратность рока! Изволь“, произнесъ Викторъ съ энтузіазмомъ,—„изволь, геніальный человѣкъ, я выхожу на вызовъ твой! Здѣсь, въ темной глуши, мы снимемъ со стоячихъ

болотъ тину, дадимъ всему токъ, жизнь! Изволь, по звуку твоего голоса я выхожу на трудъ жизни во всеоружіи опыта и терпѣнія; и опытъ, и трудъ мы понесемъ въ даръ людямъ! Да, изволь, я буду писать тебѣ все, что знаю и вижу, что узнаю и увижу; для тебя отнынѣ будутъ глаза мои открыты и умъ на сторожѣ!" Надобно сказать однако, что всею предшествующею характеристикой своего героя, всѣмъ разсказомъ объ его воспитаніи и свѣтскихъ замашкахъ сочинительница вовсе не приготовила читателя къ тому, чтобъ онъ могъ ожидать подобнаго рѣшенія отъ Виктора: въ немъ нѣтъ никакого анализа, никакой трезвости взгляда на жизнь, нѣтъ даже самомнѣнія, которое заставило бы его предполагать въ себѣ эти способности. Роль сотрудника Гоголю г-жа Вельтманъ навязываетъ ему какъ-то случайно, безпричинно и, разумѣется, не можетъ выдержать его въ этой роли. Послѣ первой своей поѣздки Викторъ садится писать письмо къ Гоголю: „Викторъ, настроенный до энтузіазма, не отлагая принялся за дѣло, за описаніе открытаго имъ на земной поверхности никѣмъ невѣдомаго угла, обитаемаго, какъ ему казалось, невѣдомыми никѣмъ существами. Обдумавши сколько возможно здраво, онъ рѣшился начать описаніе съ начала, то-есть, съ самаго начала, ведущаго въ этотъ невѣдомый уголъ пути, и тотчасъ же сталъ, какъ говорится, въ тупикъ". Этимъ сочинительница хочетъ сказать, что ея герой не нашелъ ничего прибавить къ перечтеннымъ имъ Гоголевскимъ описаніямъ русской дороги и русской деревни. Въ такомъ же положеніи оказался онъ и дальше: „Крыльцо и особливо передняя, представляющая столько живописныхъ матеріаловъ живописному перу автора поэмы, здѣсь не представила ровно ничего. Въ ней не замѣтилъ Викторъ ни малѣйшаго предмета, годнаго для описанія; въ ней не было даже и того особеннаго воздуха, о которомъ говорится въ поэмѣ, и который изнѣженнымъ нервамъ Виктора былъ бы непремѣнно ощутителенъ". Тутъ уже пущена въ автора „Мертвыхъ Душъ" ядовитая стрѣла, но увы, и она обращается вспять! Не найдя матеріала для дополненія Гоголевскихъ описаній, Викторъ рѣшается начать письмо къ знаменитому писателю какимъ-то общимъ раз-

сужденіемъ—и опять останавливается: онъ не знаетъ, какъ зовутъ Гоголя. „Приложивъ свой адресъ въ концѣ предисловія“, наивно восклицаетъ герой г-жи Вельтманъ,—„господинъ авторъ позабылъ написать полное свое имя! Не всякій же обязанъ знать, какъ зовутъ его по имени и отчеству!“

Вотъ какой силы полемика г-жи Вельтманъ противъ Гоголя! Но еще забавнѣе то, что чѣмъ дальше развивается дѣйствіе въ повѣсти, тѣмъ все больше и больше стушевывается намѣреніе героя быть наблюдателемъ провинціальныхъ нравовъ. Во второй половинѣ повѣсти Викторъ вспоминаетъ о своей роли почитателя и сотрудника Гоголя только однажды—въ слѣдующемъ разговорѣ съ Кобуринымъ о безпутномъ сынѣ богача Чапарина:

„Этотъ неучъ“, заключилъ Викторъ,—„кажется не привыкъ стѣснять себя“.

„Неуковъ слѣдуетъ учить“, сказалъ Кобуринъ, глотая первую рюмку и какъ-то искоса поглядывая.

„Можетъ быть, надъ ними слѣдуетъ рыдать слезами, которыя льются изъ наболѣвшей души поэта“, сказалъ Викторъ.

„Хорошо, что у поэтовъ слезы дешевы“.

„Но можно рыдать и не однѣми слезами, можно перелагать слезы въ смѣхъ и рыдать смѣхомъ“, прибавилъ Викторъ.

„Часъ отъ часу не легче“, подумалъ Кобуринъ“.

Подъ конецъ повѣсти сочинительница уже совсѣмъ забываетъ, какую роль она вздумала навязать своему герою, и онъ уже просто-на-просто попадаетъ въ смѣшное и жалкое положеніе. Быть можетъ, впрочемъ, такова и была цѣль г-жи Вельтманъ; быть можетъ, она въ самомъ дѣлѣ хотѣла показать, что только ничтожный человѣкъ, въ родѣ ея героя, способенъ увлекаться Гоголемъ, и что ему неизбѣжно предстоитъ поплатиться за свое увлеченіе. Но если такъ, то, значитъ, г-жа Вельтманъ вообще не признавала за поэтическимъ творчествомъ никакого нравственнаго значенія, и видѣла въ немъ лишь пищу и забаву праздныхъ умовъ. Къ сожалѣнію, такое предположеніе оказывается весьма вѣроятнымъ. Извѣстно, по крайней мѣрѣ, что самъ Вельтманъ, человѣкъ безспорно даровитый, любилъ играть своимъ та-

лантомъ и растратилъ его слишкомъ легкомысленно. Не мудрено, что Е. П. Вельтманъ раздѣляла воззрѣнія своего мужа. Но не всякій писатель хочетъ быть только сказочникомъ, и всѣхъ менѣе хотѣлъ имъ быть Гоголь.

Вполнѣ понятно, что легкомысленное отношеніе г-жи Вельтманъ къ автору „Мертвыхъ Душъ“, желаніе показать тщету его дѣятельности должно было глубоко оскорбить С. Т. Аксакова. Этимъ и объясняется жестокость его отзыва о „Викторѣ“ и его сочинительницѣ. Къ мнѣнію отца присоединились и сыновья: по крайней мѣрѣ, Иванъ Сергѣевичъ, въ письмѣ отъ 11-го марта, говоритъ о „Викторѣ“ съ такою же безпощадною строгостью. Любопытно, что старикъ Аксаковъ не сдержалъ въ себѣ желанія „показнить“ злополучную писательницу и въ печати. Въ статьѣ „Нѣсколько словъ о біографіи Гоголя“, написанной годъ спустя по его смерти и напечатанной въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* 1853 года, № 35 (о ней упоминается въ письмѣ отъ 27-го февраля), С. Т. Аксаковъ высказываетъ свое мнѣніе о разныхъ статьяхъ о Гоголѣ, появившихся послѣ его кончины, и мимоходомъ замѣчаетъ: „Не заслуживаетъ вниманія недавно раздавшееся шипѣніе, вѣроятно, давно сдерживаемой непріязни или зависти, скрытое подъ формою повѣсти. Презрительнымъ равнодушіемъ наградитъ публика такія безсильныя и жалкія попытки“. На слова С. Т. Аксакова о повѣсти г-жи Вельтманъ и Тургеневъ, въ письмѣ отъ 6-го марта, отозвался очень недружелюбно: „Повѣсть г-жи Вельтманъ я не читалъ и теперь еще менѣе прочту — есть же такія дрянныя души, которыя не останавливаются даже передъ святыней смерти“.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское. 6-го марта 1853.

Любезный и дорогой Сергѣй Тимофѣевичъ, я вполнѣ согласенъ съ вами, что переписка должна быть дѣло вольное, и потому пишу вамъ сегодня только два слова для того, чтобы сказать вамъ, что мое здоровье очень порядочно, но что вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ я нахожусь теперь въ такомъ расположеніи духа, что не въ состояніи изложить

порядочно двѣ мысли сразу. Оттого я и къ вашимъ сыновьямъ не писалъ. Впрочемъ, я надѣюсь, все это пройдетъ очень скоро—и я тогда съ удвоеннымъ удовольствіемъ примусь за перо. На дняхъ я былъ въ Орлѣ и оттуда ѣздилъ къ П. В. Кирѣевскому и провелъ у него часа три. Это человѣкъ хрустальной чистоты и прозрачности—его нельзя не полюбить. Онъ, я думаю, васъ увидитъ—онъ на дняхъ уѣхалъ въ Москву. Я его просилъ всѣмъ вамъ поклониться. Впередъ я буду всѣ свои рукописи посылать черезъ васъ, а когда вы прочтете „Постоялый Дворъ"—напишите мнѣ свое мнѣніе. Я просилъ также Кирѣевскаго сказать мнѣ, что онъ объ этомъ думаетъ. Мнѣ очень жаль, что вы все хвораете—авось весна васъ поправитъ. Что за жестокая зима у насъ! Сегодня здѣсь совершенная кура и вьюга. Повѣсть г-жи В. я не читалъ и теперь еще менѣе прочту — есть же такія грянныя души, которыя не останавливаются даже передъ святыней смерти.

Прощайте, добрый С. Т., поклонитесь отъ меня вашимъ сыновьямъ—и вѣрьте въ искреннюю привязанность вашего, и т. д.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

9-го марта (1853 года).

На это письмо прошу васъ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, отвѣчать мнѣ немедленно, хотя въ нѣсколькихъ строкахъ. На дняхъ родилась у меня „смѣлая, но благородная мысль", которую спѣшу сообщить вамъ съ первою почтой: я вздумалъ издавать ежегодно (видно, собираюсь еще пожить) „Охотничій Сборникъ". Хотя вы и безъ меня догадаетесь, что будетъ составлять его содержаніе, но вотъ вамъ родъ программы: Въ „Сборникѣ" будетъ помѣщаться все касающееся до стрѣльбы всякихъ звѣрей и всякихъ птицъ; ловля ихъ тѣхъ и другихъ сѣтьми и всякими другими снастями; охота псовая, соколиная и ястребиная; рыболовство во всѣхъ возможныхъ видахъ, начиная съ удочки до глушенья рыбы дубинками по льду; все относящееся къ жизни и нравамъ звѣрей, птицъ и рыбъ; наблюденія охотниковъ въ разныхъ

полосахъ Россіи надъ пролетомъ, прилетомъ и отлетомъ птицъ; замѣчательныя явленія въ природѣ, имѣющія какое-нибудь соотношеніе съ какою-нибудь охотою; извѣстія о необыкновенно успѣшныхъ ружейныхъ охотахъ, отъѣзжихъ поляхъ псовыхъ охотниковъ, уловахъ рыбы, объ уменьшеніи дичи, о появленіи нѣкоторыхъ породъ птицъ и рыбъ тамъ, гдѣ прежде ихъ не бывало; описаніе хищныхъ птицъ, употребляемыхъ для охоты, а также пѣвчихъ; ловля и содержаніе сихъ послѣднихъ; охота водить голубей, чистыхъ или гонныхъ и всякихъ другихъ; примѣты и суевѣрія охотниковъ; современное состояніе технической части по всѣмъ родамъ охотъ; наконецъ, переводъ статей съ языковъ иностранныхъ или извлеченія изъ нихъ всего непосредственно относящагося до охоты, съ самымъ строгимъ выборомъ. Книга должна состоять изъ 25 листовъ, выходить въ январѣ, февралѣ или мартѣ; желательно приложить къ каждой книгѣ по одной или по двѣ хорошенькихъ картинки. Испросивъ дозволеніе цензуры, я могу немедленно публиковать отъ своего имени во всѣхъ газетахъ и журналахъ и обратиться съ просьбою къ охотникамъ всей Руси о содѣйствіи къ предпринимаемому изданію; признаюсь, я мало надѣюсь на дѣятельное участіе людей незнакомыхъ, хотя, безъ сомнѣнія, многіе изъ нихъ имѣютъ драгоцѣнныя спеціальныя свѣдѣнія, которыя могли бы быть очень интересны и полезны и которыя погибнутъ вмѣстѣ съ ними; но какъ главное затрудненіе состоитъ въ томъ, что эти люди по большей части не умѣютъ и боятся писать для печати, то надобно устранить это затрудненіе, то-есть предложить имъ присылать голыя извѣстія, факты, а редакцію взять на себя. Я имѣю въ виду нѣсколько такихъ охотниковъ. У меня здѣсь есть въ сосѣдствѣ крестьянинъ, великій мастеръ и безумный охотникъ ловить въ капканы волковъ и лисъ; если его разсказамъ придать приличную редакцію, то они будутъ очень интересны.

Скажите мнѣ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ: что вы думаете о моемъ намѣреніи? Можетъ ли его исполненіе имѣть успѣхъ, и даете ли вы мнѣ слово дѣятельно участвовать въ такомъ предпріятіи? Въ случаѣ вашего одобренія и согласія

дайте мнѣ обѣщаніе, что для первой книги напишете двѣ немаленькія статьи о чемъ вамъ угодно. Я надѣюсь, что Хомяковъ напишетъ о псовой охотѣ, а Самаринъ—что-нибудь о стрѣльбѣ кабановъ и дикихъ козъ. Я самъ напишу: вступительную статью „Охота и охотникъ", „Травля ястребами перепелокъ, съ подробнымъ описаніемъ выкармливанія и вынашиванья ястребовъ", „Глушенье рыбы, охота за нею съ острогою", „Гоньба звѣрей по густой порошѣ безъ собакъ". Если первая книга не будетъ имѣть успѣха и хода, то, разумѣется, второй не будетъ, а я останусь въ большой выгодѣ, потому что цѣлый годъ буду постоянно и пріятно занятъ. Вы не можете себѣ представить, съ какимъ наслажденіемъ пишу я теперь о своей дѣтской охотѣ съ ястребами. Даже бросилъ не дописанною статью о Шишковѣ. На мысль „Сборникъ", можетъ быть, навело меня чтеніе книгъ *Journal des chasseurs* и „Chasses et pêches anglaises"; въ первомъ есть статьи Віардо; но этими книгами вообще я не совсѣмъ доволенъ; въ нихъ мало существеннаго для охотника. Писемъ отъ васъ нѣтъ: дай Богъ, чтобъ сильное погруженіе въ работу было единственной тому причиной. Какова зима? Всю первую недѣлю были жестокіе морозы, а именно: 18 (понедѣльникъ), 24 (вторникъ), 17 (среда), 23 (четвергъ), 19 (пятница) и 21 (суббота) градусовъ, а сегодня должны прилетѣть жаворонки! Прощайте, будьте здоровы и веселы! Сегодня или завтра жду „Постоялый Дворъ". Вашъ душой *С. Аксаковъ*.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

10-го марта (1853 года).

Именно вчера получилъ я „Постоялый Дворъ" и вчера же съ жадностью я его выслушалъ; глубокая мысль этого разсказа обняла меня совершенно, и когда я проснулся сегодня по утру, то фигура Акима первая прошла передо мною. Повѣсть превосходная! Задумана глубоко и ведена съ такою разумною мѣрою, какую рѣдко можно встрѣтить у самыхъ талантливыхъ писателей. Вы не соблазнились ни однимъ эффектомъ — ни въ поступкахъ дѣйствующихъ лицъ, ни въ

явленіяхъ жизни, ни въ единомъ словѣ. Я высоко цѣню эту мѣру, которая обличаетъ строгость, чистоту убѣжденія и зрѣлость таланта. Это—русскіе люди, русская драма жизни, некрасивая по внѣшности, но потрясающая душу, изображенная русскимъ талантомъ. Поздравляю отъ души и жму крѣпко вашу руку. Что касается до языка, то мнѣ встрѣчались слова неточныя и невѣрно употребленныя. Сверхъ того, я считаю совершенною ошибкой употребленіе словъ и выраженій мѣстныхъ, провинціальныхъ, для пониманія которыхъ надобно имѣть словарь областныхъ парѣчій. Языкъ долженъ быть общепонятный, русскій. Вмѣсто мнимаго придаванья колорита мѣстности, такія слова мѣшаютъ общему впечатлѣнію, по крайней мѣрѣ, при первомъ чтеніи. Благодарю васъ искренно за то отрадное чувство, которое осталось въ моей душѣ! Теперь отъ васъ зависитъ дальнѣйшее совершенствованіе: несомнѣнно, что вы можете много сдѣлать. Вы вѣрно слыхали и даже прочли новую комедію Островскаго. Всѣ, даже сыновья мои говорятъ, что на театрѣ она производитъ сильное дѣйствіе. Я признаю талантъ автора, но въ піесѣ вижу только превосходныя, изумительно вѣрныя сцены, очерки, а полноты созданія, по моему, нѣтъ. Крѣпко васъ обнимаю. Всею душою вашъ *С. Аксаковъ*.

11-го марта.

Я выслушивалъ „Постоялый Дворъ“ сегодня въ другой разъ и съ еще бо́льшимъ удовольствіемъ: для меня это вѣрный знакъ высокаго достоинства піесы.

Письмо къ Тургеневу И. С. Аксакова.

Абрамцево, марта 11-го 1853 года.

Любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ! Вчера наконецъ прочли мы вашъ „Постоялый Дворъ“. Вы шибко идете впередъ и далеко, съ каждымъ шагомъ, оставляете за собой прежнія произведенія. Написать такую повѣсть, создать Акима, или—все равно—умѣть отыскать его между другими, понять, оцѣнить и возлюбить его — не только великая литературная и общественная заслуга, но и личный нравственный подвигъ,

дѣло души. Нужно даже нѣкоторое мужество, чтобъ не только явить свое собственное сочувствіе, но и отъ общества потребовать сочувствія къ такому смиренному и некрасивому герою, каковъ Акимъ, который останется вѣчно непонятнымъ для Запада, и надъ которымъ онъ всегда готовъ вдоволь надругаться. Этотъ оскорбленный, ограбленный и разоренный Акимъ, умѣвшій изъ-подъ развалинъ своего земного благосостоянія возрасти до такой недосягаемой для насъ нравственной высоты, заставляетъ читателя даже стыдиться тѣхъ буйныхъ выходокъ, которыя возбуждаются въ самомъ читателѣ въ пользу Акима. Западный писатель сдѣлалъ бы непремѣнно Акима злодѣемъ, оправдалъ бы, освятилъ бы зло въ его лицѣ и обвинилъ бы людей и общество въ злодѣяніяхъ Акима; впрочемъ, писатель былъ бы правъ: такъ точно бы поступилъ западный человѣкъ. Русскій человѣкъ остался чистымъ и святымъ—и тѣмъ самымъ сильнѣе обвинилъ общество, поразилъ его такимъ неотразимымъ обвиненіемъ, которое... — вы думаете: погубитъ общество, низведетъ на него месть и кару? нѣтъ!—которое, можетъ быть, святостью и правотою своею смиритъ гордыхъ, исправитъ злыхъ и спасетъ общество. Но оставляя въ сторонѣ послѣднее, то-есть, будущія послѣдствія этого смиренія для общества, я долженъ сказать, что смиреніе вашего Акима сильнѣе всѣхъ прежнихъ вашихъ и нападокъ и возгласовъ дѣйствуетъ на душу. Очень хороша Лизавета Петровна, и хороша именно тѣмъ, что она не злодѣйка, не исключеніе, а такъ себѣ, даже недурная женщина: виновата не столько она, сколько положеніе, сколько ея право. Ну, словомъ, хорошо, Иванъ Сергѣевичъ, очень хорошо! Есть кое-какіе, кажется мнѣ, недоглядки и промахи въ рѣчи русскаго человѣка, но они легко могутъ быть исправлены. Напримѣръ, выраженіе Акима: „Богъ говоритъ“, едва ли можетъ быть допущено; едва ли онъ будетъ фамильярно и рѣшительно навязывать Богу свои рѣчи... Вообще это произведеніе—лучшее изъ всѣхъ написанныхъ вами; но относительно художественной отдѣлки и вообще искусства и мастерства — я убѣжденъ — вы можете идти еще гораздо дальше...

Новаго сообщить вамъ нечего, развѣ только о комедіи Островскаго. Но вы, вѣроятно, объ этомъ уже слышали довольно. Тѣмъ не менѣе скажу вамъ, что впечатлѣніе, производимое этою піесою на сценѣ, не только силою своею побѣждаетъ всѣ предубѣжденія, но едва ли съ какимъ-либо прежде испытаннымъ впечатлѣніемъ сравниться можетъ. Вполнѣ понятна эта піеса только въ театрѣ. Но піеса — чисто временщица. то-есть, вполнѣ принадлежитъ времени и глубже не зачерпываетъ. Бородкинъ—главное лицо—не характеръ, а представитель извѣстнаго сословія и положенія. Нравственное достоинство человѣка, заслоненное до сихъ поръ смѣшною внѣшностью и купеческою ложною образованностью, здѣсь ярко выступаетъ на сцену въ состязаніе съ представителемъ другого сословія, въ которомъ нѣтъ ничего смѣшного, все comme il faut и умѣстно, но въ которомъ за то не оказывается никакого нравственнаго достоинства... Впрочемъ, едва начнетъ стираться эта смѣшная купеческая внѣшняя физіономія, тогда поблѣднѣетъ контрастъ между внутреннимъ достоинствомъ и внѣшнимъ его выраженіемъ, и піеса утратитъ свое теперешнее огромное общественное значеніе. Прощайте. любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ, будьте здоровы. О „Московскомъ Сборникѣ“ нѣтъ еще положительныхъ вѣстей: жду ихъ на этой недѣлѣ. Братъ Константинъ *очень* доволенъ вашей повѣстью, обнимаетъ васъ, но не знаю—успѣетъ ли написать нынѣче; если же нѣтъ, то съ слѣдующею же почтою напишетъ вамъ особо. Прочтите въ *Москвитянинѣ* повѣсть „Викторъ“ г-жи Вельтманъ: вы увидите тамъ, какъ эта м.....ка бросаетъ исподтишка камни въ Гоголя. Весь вашъ *Ив. Аксаковъ*.

Письмо къ Тургеневу К. С. Аксакова.

12-го марта (1853).

Обнимаю васъ крѣпко за вашъ „Постоялый Дворъ“: этотъ разсказъ—дѣло серьезное, и въ немъ я призналъ русскаго человѣка съ той глубокой стороны, къ которой не всякій питаетъ сочувствіе, и даже вы сами,—извините за откровенность—откликнувшись на нее вполнѣ какъ художникъ, все,

кажется мнѣ, какъ человѣкъ, не вполнѣ передъ ней преклонились. Акимъ, послѣ попытки пожара, это — такое лицо, которое выше несказанно всякаго европейца на его мѣстѣ, который, не смотря на первую неудачу, еслибы не струсилъ, влѣпилъ бы пулю въ лобъ или зарѣзалъ своего соперника и не преминулъ бы при сей вѣрной оказіи порисоваться и выкинуть какой-нибудь драматическій эффектъ. Особенность русскаго человѣка, а вмѣстѣ и русской исторіи (о чемъ у меня уже написано кое-что), именно состоитъ въ отсутствіи всякаго эффекта, всякой фразы. Нѣтъ ничего *красиваго;* нѣтъ той неизбѣжной *картинки*, безъ которой Западъ не умѣетъ ни драться, ни пировать, ни любить, ни ненавидѣть. Но эта вѣчная картина подавила въ немъ, въ Западѣ, всякую искренность, и когда перестала кипѣть кровь молодости—въ этомъ кипѣньи была своя грубая физическая правда,—Западъ представилъ раздраженную соблазнительно-красивыми мечтаніями мысль и совершенно изнеможенную волю, ибо ни въ чемъ нѣтъ тамъ правды, все эффектъ, вездѣ картинка, и вмѣстѣ личное самолюбіе на первомъ планѣ. Но оставимъ Западъ въ сторонѣ, со всей его аристократической гордостью, со всѣмъ его историческимъ comme il faut. Мнѣ хотѣлось сказать вамъ нѣсколько словъ о насъ и о русскомъ человѣкѣ. Недостатокъ, о которомъ я сейчасъ говорилъ, тайное или явное стремленіе къ эффекту и картинкѣ есть у всѣхъ насъ болѣе или менѣе. У насъ оно, рѣшительно противорѣча духу русской народности, законно гораздо менѣе и слышно гораздо болѣе; трудно намъ, при такомъ поползновеніи къ душевной неправдѣ, понимать русскаго человѣка. Трудно, но не невовможно, и движимые благимъ чувствомъ народнымъ, не погибшимъ въ насъ, мы стали вглядываться въ русскаго человѣка и понимать его мало по малу. Пониманіе его есть въ то же время наше личное очищеніе и исправленіе. Русскій человѣкъ или, лучше, русскій крестьянинъ есть, въ существенныхъ своихъ проявленіяхъ, дѣйствіяхъ и словахъ, такой великій наставникъ и проповѣдникъ истины и добра христіанскаго ученія, который убѣдитъ всякаго, кажется, кто упрямо не заткнетъ ушей. У всѣхъ у насъ, преобразованныхъ болѣе или менѣе,

если не фразы, то все какое-то не вполнѣ искреннее отношеніе къ чувству, къ мысли, къ жизни вообще; не смѣшайте искренность съ натуральностью: это напротивъ полюсы. Въ русскомъ человѣкѣ и русской исторіи видите вы такую простоту, такое безпримѣсное добро, такое отсутствіе личнаго самолюбія, какихъ, конечно, вы не встрѣтите ни въ одномъ народѣ. Доброе русское дѣло—вполнѣ доброе дѣло, оно не разглашается. Картинки у насъ нѣтъ. Въ крестьянинѣ вы видите то же самое: та же правда, та же простота, то же отсутствіе эффекта. Какая постоянная скромность, какъ бы ни было велико дѣло! Какое смиреніе! Ничего нѣтъ *краснваго*, но именно потому такая душевная красота! Хорошо это слово: *красивый!* Вѣдь всякій разбойникъ и даже воръ можетъ быть красивъ, но человѣкъ истинно добродѣтельный, истинно высокій духомъ красивъ быть не можетъ. Его душевная красота одѣта смиреніемъ, какъ рубищемъ. Но для того, кто можетъ оцѣнить это внутреннее истинное добро душевное, для того поблѣднѣютъ всѣ пестрыя и яркія выходки себялюбиваго благородства, и весьма понизится точка зрѣнія point d'honneur, по милости которой выработалось столько щекотливо-благородныхъ мерзавцевъ. Но какъ трудно намъ, стоящимъ такъ ниже русскаго крестьянина, какъ трудно намъ изобразить его! Съ какимъ собственнымъ смиреніемъ должны мы приступать къ этому подвигу! Доселѣ вамъ онъ мало удавался, но было ужь и то много, что сколько-нибудь предчувствовался строй жизни русскаго человѣка. Теперь же, въ предыдущей повѣсти и, наконецъ, въ „Постояломъ Дворѣ", русскій человѣкъ слышенъ; особенно въ „Постояломъ Дворѣ" образъ Акима, высокій его подвигъ душевный сильно овладѣваютъ впечатлѣніемъ, и душа возвышается. За это спасибо вамъ! Что касается до самого изложенія, то кое-гдѣ встрѣчаются нескусныя только мѣста, невѣрно иногда слово, но нѣтъ ни претензій, ни этихъ усильныхъ выраженій, ничего напряженнаго, ничего затѣйливаго, что̀ попадалось въ вашихъ прежнихъ произведеніяхъ. Но знаете ли что̀? Разсказъ вашъ проще, это—его великое достоинство; онъ—я увѣренъ—будетъ еще проще и дороже и подойдетъ къ ха-

рактеру иконописи. Помните нашъ разговоръ объ этомъ? Я говорилъ вамъ, что только такъ можно изображать русскаго человѣка, и это не мало. Вы сами докажете это, когда будете изображать вполнѣ достойно русскаго человѣка. Но прощайте, пора посылать на почту. Я расписался, но причиной вашъ „Постоялый Дворъ“. Обнимаю васъ крѣпко и крѣпко. Дай Богъ вамъ продолжать писать! Вашъ *Константинъ Аксаковъ.*

Батюшка и братъ васъ обнимаютъ. Надѣюсь еще написать вамъ скоро, ибо письмо не вполнѣ дописано. Надо сказать вамъ также о самоубійствѣ.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

14-го марта (1853 года).

Нѣсколько уже дней прошло, какъ мнѣ прочли два раза „Постоялый Дворъ“, о чемъ я писалъ вамъ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, 11-го марта. Я уже отправилъ обратно рукопись къ Кетчеру, который остановилъ чье-то переписыванье, чтобъ прислать мнѣ оригиналъ, да и оказія встрѣтилась вѣрная. Но разсказъ такъ свѣжо и неотвязно мерещится моему воображенію, что мнѣ хочется еще поговорить о немъ. Видно, это такая вещь (глупое слово!), которая что дальше, то входитъ глубже.

Я писалъ, кажется, объ одномъ Акимѣ, заслонявшемъ тогда передъ моими глазами другихъ; но теперь, вглядываясь на досугѣ въ черты новыхъ моихъ знакомыхъ, я вижу, что всѣ они, каждый въ своемъ родѣ, имѣютъ такія выразительныя, типическія физіономіи, что ихъ долго, а можетъ быть, и никогда не забудешь. Грустно мнѣ, старому, безъ голоса и чистоты произношенія, что я не могу прочесть вашего разсказа *вслухъ самому себѣ*: тогда бы только оказалась его настоящая красота и сила! Старикъ дядя, понюхивающій табачекъ и посиживающій на заваленкѣ, сказалъ немного словъ, показался мимоходомъ, повернулся, такъ сказать, однимъ бокомъ, но какъ хорошо я съ нимъ познакомился! Такъ и слышу вѣщія его слова племяннику передъ женитьбой на горничной! Жена Акима... трудно мнѣ увѣрить себя, что

я не зналъ ея прежде: по крайней мѣрѣ точно такихъ я знавалъ. Какъ вѣрна она самой себѣ на всѣхъ жизненныхъ путяхъ своихъ, столь обыкновенныхъ у всѣхъ такого рода существъ! Поднимала носъ и фукала въ дѣвкахъ на волокитъ и жениховъ; наконецъ, вышла замужъ по разсчету, а больше по уговорамъ другихъ за мужика, да еще за стараго, и жила сначала честно, да подвернулась молодая, смазливая рожа, съ закатистымъ голосомъ, подслужилось домашнее удобство, и подломилась она какъ на льду, передалась и тѣломъ и душой (какая была) не испытаннымъ еще наслажденіямъ съ *молодымъ* парнемъ, отдала и мужнины денежки... Ахнула, да поздно! Тупо раскаялась, тупо, вся опустившись, дожила свой вѣкъ... Превосходно! „Не жалѣй ты меня, да денежки-то получи съ него...“ до такой степени вѣрно, истинно, что я теперь удивляюсь, какъ не вырвалось у меня громкаго восклицанія, когда я услышалъ эти слова! Единственно потому, что они были вполнѣ естественны. А Наумъ?.. Наумъ— точно также превосходный, вѣрный типъ другого русскаго человѣка. Можетъ быть, кто-нибудь спроситъ: отъ чего простилъ онъ пойманнаго на мѣстѣ преступленія съ поличнымъ, старика Акима? Отъ того, что нельзя было не простить: у русскаго человѣка-мошенника нѣтъ злости (кромѣ рѣдкихъ исключеній), а вѣры *своему брату-крестьянину* — много; къ тому же зады нечисты, а всего хуже — судъ... Нѣтъ, вполнѣ естественны, послѣдовательны и логичны всѣ поступки Наума. Помѣщица — мастерски выбранное и выставленное лицо. Высшее ея достоинство состоитъ въ томъ, что она лично на себя не возбуждаетъ гнѣва: вѣдь, ей какъ-то и совѣстно было... Вся вина падаетъ на принципъ, на положеніе. Экономка до такой степени хороша, что точно видишь ее своими глазами и узнаешь также старинную знакомку. Хорошъ и дьяконъ съ женой, но они слабы въ сравненіи съ другими.

Вотъ какое впечатлѣніе оставилъ во мнѣ „Постоялый Дворъ“. Въ старые годы мое эстетическое чувство бывало чутко и вѣрно; но теперь я устарѣлъ и не могу ручаться за него; ручаюсь только за искренность. Къ тому же, для оконча-

ельной оцѣнки мнѣ надо прочесть самому печатное сочиненіе или очень четко переписанное: такъ бывало со мною даже прежде. Я достану себѣ хорошій списокъ съ „Постоялаго Двора“ и тогда сдѣлаю вамъ, можетъ быть, не мало замѣчаній на счетъ неточнаго употребленія словъ и даже выраженій. На первыхъ страницахъ, мнѣ помнится, сказано: „Здѣсь лежалъ постоялый дворъ“ — *лежалъ* не говорится. Потомъ: „карета, запряженная шестерикомъ кобылъ“ — помѣщики никогда не ѣздили на кобылахъ въ *экипажахъ*; развѣ это какая-нибудь мѣстная особенность? Кольнуло меня тоже выраженіе: „Богъ говоритъ“; также какое-то слово, кажется, „сидло“ вмѣсто петля и пр. и пр. Теперь не помню.

11-го марта, въ раннія обѣдни, вспыхнулъ въ Москвѣ Большой театръ и къ вечеру сгорѣлъ. Говорятъ, много людей погибло, но я не вѣрю. Подробностей не знаю. Какъ жаль! Даже какъ-то грустно! Въ старые годы сцена его была мнѣ знакома, какъ свой домъ. Я любилъ главныя (послѣднія) репетиціи на сценѣ въ фантастическомъ полусвѣтѣ, въ смѣшеніи лицъ и одеждъ; репетиціи часто бывали лучше представленій. Прощайте! Наговорился съ вами до сыта. Обнимаю васъ. Будьте здоровы и пишите, пишите. Вашъ душой *С. Аксаковъ*.

Усталъ до смерти! Я считаю немаловажнымъ достоинствомъ, что разсказъ совершенно благоустроенъ, что его можно читать вслухъ женщинамъ: слышна чистота въ прикосновеніи къ грязному, весьма искусно соблюденная.

17-го марта.

Письмо долежало до 17-го. Театръ сгорѣлъ весь, вѣроятно — отъ печи. Людей погибло немного, но гибель двухъ и спасеніе одного сильно потрясло меня. Пожаръ былъ такъ силенъ, что полиція не могла помочь, а спасала только сосѣднія зданія. Когда огонь уже обхватывалъ крышу, на ней показались трое людей; двое, не видя спасенія, рѣшились не дожидаться; помолились Богу и прыгнули: разумѣется, разбились въ дребезги; послѣдній не имѣлъ духу броситься; онъ стоялъ на горячей крышѣ и молился Богу. Вдругъ изъ толпы выбѣгаетъ Ярославской губерніи крестьянинъ и вызывается

спасти погибающаго; съ шестомъ и веревкой, сначала по лѣстницѣ, а потомъ по жолобу влѣзаетъ на крышу, подаетъ на шестѣ веревку, которую какъ-то зацѣпляетъ за трубу, и по веревкѣ оба спускаются до лѣстницы. Толпа въ десять тысячъ человѣкъ притаила дыханье, и когда наступила минута спасенья, въ одно мгновенье обнажились тысячи головъ и тысячи рукъ перекрестились, но—ни одного восклицанія!.. Въ благоговѣйной тишинѣ и благодарности принялъ народъ милость Божію... Какъ бы раскопошились тутъ французы!

* * *

„Постоялый Дворъ“ былъ полученъ въ Абрамцевѣ лишь три мѣсяца спустя послѣ того, какъ Тургеневъ извѣстилъ Аксаковыхъ объ окончаніи этой повѣсти и объ отсылкѣ ея въ Москву. За то чтеніе этого произведенія вполнѣ вознаградило Аксаковыхъ за продолжительность ихъ ожиданія; какъ видно изъ писемъ, впечатлѣніе, произведенное на нихъ „Постоялымъ Дворомъ“, было самое выгодное: Тургеневъ оправдывалъ ихъ надежды, дѣйствительно шелъ впередъ, и именно по тому пути, на которомъ они хотѣли его видѣть. Въ этомъ отношеніи любопытно сравнить ихъ впечатлѣніе по прочтеніи „Постоялаго Двора“ съ впечатлѣніями, которыя вынесли другіе друзья Тургенева изъ знакомства съ этою повѣстью также въ рукописи. Еще въ январѣ 1853 года Тургеневъ получилъ отъ П. В. Анненкова одобрительный отзывъ о ней, о чемъ и поспѣшилъ увѣдомить С. Т. Аксакова. Анненковъ оцѣнилъ главнымъ образомъ драматическій элементъ въ „Постояломъ Дворѣ“, но къ своей похвалѣ прибавлялъ слѣдующую оговорку: „Не должно обманываться, что родъ жгучести, свойственный этой драмѣ, да и другимъ русскимъ драмамъ, какъ „Антону Горемыкѣ“, „Купцамъ Краснопиковымъ“, происходитъ отъ самого безобразнаго начала, отъ противорѣчій нестерпимыхъ, нечеловѣческихъ. При этомъ автору легко—за него заработаетъ дѣйствительность. Ему не нужно искать обстоятельствъ, жизненныхъ сцѣпленій, разнообразныхъ столкновеній лицъ и характеровъ: одинъ только намекъ — и драма готова. Милліоны драмъ существуютъ въ головѣ, въ воспоминаніяхъ, въ

аслышкѣ каждаго". Такимъ образомъ, отъ критика, въ сущности, ускользалъ глубокій жизненный смыслъ имъ самимъ одмѣченной драмы. Еще меньше пониманія этого смысла бнаруживалось въ отзывѣ В. П. Боткина. „Читалъ я „Постоялый Дворъ", писалъ онъ Тургеневу 17-го февраля.— „Но мнѣ второстепенныя лица удались гораздо лучше лицъ переднягo плана, хотя написанныхъ и сильными красками. Герой такъ преувеличенъ, что сбивается на мелодраматическаго героя, и вообще вся повѣсть болѣе походитъ на эскизъ, нежели на дѣльную картину". Въ противоположность этимъ отзывамъ, въ которыхъ преобладаетъ исключительно эстетическая точка зрѣнія, Аксаковы, въ своихъ сужденіяхъ, выдвигали впередъ нравственное значеніе повѣсти и особенно радовались тому, что Тургеневъ умѣлъ изобразить въ сочувственномъ освѣщеніи высокій душевный подвигъ простого русскаго человѣка. Такое разнообразіе отзывовъ, по видимому, до нѣкоторой степени смутило автора, и намъ сдается, что въ его отвѣтѣ Аксаковымъ (отъ 2-го апрѣля) сказывается оттѣнокъ этого чувства. Ихъ горячія похвалы, разумѣется, были ему очень пріятны; но радуясь имъ „по человѣческой слабости", онъ принимаетъ ихъ лишь съ извѣстнымъ ограниченіемъ—„какъ поощреніе, ручательство, что онъ не сбивается съ дороги". Отъ многихъ возможныхъ объясненій по поводу своей повѣсти онъ уклоняется. Оцѣнкой ея отдѣльныхъ лицъ, сдѣланною старикомъ Аксаковымъ, онъ очень доволенъ: „Стало быть, подумалъ я,—я не напуталъ, коли Сергѣй Тимоѳеевичъ вѣрно понялъ все, что я хотѣлъ сказать". Но противъ толкованій К. С. Аксакова объ особенностяхъ русскаго народнаго характера Тургеневъ считаетъ нужнымъ протестовать: „Со всѣмъ сказаннымъ Константиномъ Сергѣевичемъ согласиться мнѣ трудно. Это не мѣшаетъ мнѣ быть душевно благодарнымъ за его участіе—и со вниманіемъ взвѣшивать и обдумывать каждое его слово". Какъ извѣстно, результатъ этого обдумыванія оказался отрицательный: послѣ „Постоялаго Двора" Тургеневъ уже не бралъ за повѣсти исключительно изъ простонароднаго быта.

Въ числѣ замѣчаній, которыя Аксаковы сочли нужнымъ сдѣлать автору повѣсти, одно касалось ея слога и языка. Аксаковы, особливо Сергѣй Тимоѳеевичъ, осуждали Тургенева за излишнее употребленіе мѣстныхъ словъ орловскаго говора. Тотъ же недостатокъ находилъ И. С. Аксаковъ и въ „Запискахъ Охотника“ (см. выше письмо 10-го марта), и еще раньше его порицалъ эту привычку Тургенева Бѣлинскій по прочтеніи первыхъ разсказовъ изъ тѣхъ же „Записокъ“ *). Но едва ли всѣ эти укоры были справедливы: во-первыхъ, у Тургенева, въ сущности, очень немного такъ-называемыхъ провинціализмовъ, а во-вторыхъ, тѣ, какіе есть, вовсе не портятъ его рѣчи и, напротивъ того, придаютъ ей иногда особую яркость и выразительность. Литературная рѣчь самого С. Т. Аксакова не чужда подобныхъ особенностей—только не Орловскаго края, а Заволжья. Да и вообще, кому же, какъ не художникамъ слова, принадлежитъ преимущественное право обогащать литературный языкъ новыми выраженіями, и откуда же ихъ брать всего удобнѣе, какъ не изъ мѣстныхъ говоровъ? Какъ бы то ни было, въ своемъ отвѣтѣ на замѣчаніе Сергѣя Тимоѳеевича Тургеневъ припомнилъ старый упрекъ Бѣлинскаго и просилъ Аксакова сдѣлать надлежащія указанія, даже изъявилъ готовность прислать для этой цѣли особую копію „Постоялаго Двора“. Дѣйствительно въ дальнѣйшихъ письмахъ Сергѣя Тимоѳеевича встрѣчаются неоднократныя напоминанія о доставленіи обѣщанной копіи, но намѣреніе Тургенева оставалось не исполненнымъ въ теченіе цѣлаго года, а въ исходѣ 1855 года „Постоялый Дворъ“ уже явился въ печати.

Письмо Тургенева къ Аксаковымъ.

С. Спасское. 2-го апрѣля 1853.

Я только вчера вернулся изъ 10-дневной поѣздки, добрые друзья мои, С. Т., К. С. и И. С., и нашелъ здѣсь ваши милыя письма. Не могу отвѣтить вамъ теперь, какъ бы хотѣлось — у меня опять разыгралась моя гастрическая лихо-

*) *Пыпинъ*. Бѣлинскій, его жизнь и переписка, ч. II, стр. 323.

адка и порядкомъ меня мучитъ — поѣздка-то моя очень не
ѳ-время была сдѣлана — но хотя нѣсколько словъ долженъ
амъ сказать сегодня. Я очень счастливъ и радъ, что вамъ
ой „Постоялый Дворъ“ понравился—всякія похвалы болѣе
или менѣе, по человѣческой слабости, пріятны; но въ ва-
шихъ словахъ я не похвалы себѣ вижу, а поощреніе, ру-
ательство въ томъ, что я не сбиваюсь съ дороги — и это
еня радуетъ и подкрѣпляетъ. Дай Богъ, чтобы и впередъ
заслужилъ ваше драгоцѣнное для меня одобреніе! Отвѣчать
ке на все то, что́ вы мнѣ пишете по поводу „П. Д.“, я те-
ерь не въ силахъ—когда-нибудь въ другое время, насколько
то будетъ возможно въ письмѣ—но, отложивъ въ сторону
всякое сочинительство или, говоря правильнѣе, всякое сочи-
нительское самолюбіе, не могу не повторить, что со всѣмъ
сказаннымъ К. С. согласиться мнѣ трудно. Это не мѣшаетъ
мнѣ быть душевно благодарнымъ за его участіе—и со вни-
маніемъ взвѣшивать и обдумывать каждое его слово. Ваша
оцѣнка каждаго отдѣльнаго лица въ „П. Д.“, милый С. Т.,
меня просто возродила:—стало быть,—подумалъ я,—я не на-
путалъ, коли С. Т. такъ вѣрно понялъ все, что я хотѣлъ
сказать. Я для васъ приказалъ уже переписать „П. Д.“ и
пошлю его вамъ. Буду ждать вашихъ самомалѣйшихъ замѣ-
чаній съ нетерпѣньемъ; что касается до провинціальныхъ вы-
раженій, то, къ несчастью, я самъ ихъ незамѣтно употребляю
въ разговорѣ—и покойный критикъ В. Г. Б. всегда назы-
валъ меня „орловцемъ, не умѣющимъ говорить по-русски“.
Прошу васъ указать мнѣ такія выраженія.

Вашъ „Охотничій Сборникъ“ — блистательная и, я надѣ-
юсь, выгодная въ денежномъ отношеніи мысль. Разумѣется,
я вашъ сотрудникъ и мое перо, мое имя къ вашимъ услу-
гамъ. На-дняхъ примусь думать о содержаніи статей и сообщу
вамъ—на чемъ остановлюсь.

Кончаю мое короткое письмо — лихорадка моя почти не-
чезла, но осталась какая-то слабость и тупость. Считайте за
мною, по крайней мѣрѣ, два большихъ и дѣльныхъ письма,
а теперь позвольте обнять васъ всѣхъ отъ души и пожелать
вамъ всего хорошаго.

Письмо Тургенева къ Аксаковымъ.

С. Спасское. 23-го апрѣля 1853. Четвергъ.

Давно я не писалъ къ вамъ, добрые друзья мои, С. Т., К. С. и И. С., какъ бы мнѣ хотѣлось, хоть и недавно послалъ къ вамъ письмо—хочу сегодня немного поговорить съ вами. Здоровье мое все еще неудовлетворительно—желудокъ мой находится въ положеніи довольно скверномъ—однако и въ теченіе послѣднихъ десяти дней поправился и раза три былъ на охотѣ. Вальдшнеповъ въ нынѣшнемъ году у насъ очень было мало; въ болотистыхъ мѣстечкахъ попадались бекасы (болотъ у насъ—вы знаете—нѣтъ); дроздовъ прилетѣло множество—и такіе они жирные, какихъ я отроду не видывалъ; съ грачами сдѣлалась какая-нибудь бѣда—совсѣмъ ихъ не встрѣчаешь; ласточки еще не прилетали, хотя время стоитъ теплое и трава такъ и лѣзетъ изъ земли, и деревья, особенно ракиты, сильно зазеленѣли. Впрочемъ, мнѣ кажется, что къ намъ еще завернутъ холода. Сегодня Егорьевъ день—но скотъ уже съ недѣлю какъ выгоняютъ въ поле; всѣмъ была бы хороша Святая, еслибъ къ намъ не прибыла хотя ожидаемая, но непрошенная гостья—холера; уже нѣсколько дней она давала о себѣ знать, а вчерашняго дня открылась и довольно круто. Человѣкъ 5 уже умерло. Что будетъ дальше—неизвѣстно; мѣры предосторожности взяты. Крестьяне, къ счастью, получили довѣренность къ моей больницѣ—и тотчасъ являются, какъ только дурно себя чувствуютъ. Вѣроятно, холера и васъ не оставила безъ своего посѣщенія—вы такъ близко живете отъ Москвы, гдѣ она до сихъ поръ сильна. Но однако—Богъ съ ней!

Съ будущей тяжелой почтой пошлю вамъ копію „Пост. Двора“ и прошу замѣчаній. Романъ мой переписывается тоже — праздники его пріостановили. Да, кстати, поздравляю васъ съ ними и заочно христосуюсь съ вами. Самъ я ничего не дѣлалъ; перечитывалъ и исправлялъ написанныя главы — безжалостно выкидываю всякое, не идущее къ дѣлу, сочинительское слово. Впрочемъ, вы знаете, какъ всякое желудочное разстройство дѣйствуетъ на человѣка, и потому не

удивитесь, если я вамъ скажу, что все это время я ни на что и никуда не годился—да и теперь еще вялъ, какъ по утру скошенный лопухъ. Право!

Отлагаю конецъ моего письма до субботы—до меня дошли слухи насчетъ продолженія „Сборника“ и литературной дѣятельности вашихъ сыновей, любезный С. Т. — Правда ли это? А для вашего „Охотничьяго Сборника“ у меня уже составленъ планъ двухъ статей.

Пятница—вечеромъ.

Вчера была удивительная погода—я много гулялъ и увидалъ первыхъ ласточекъ. Я намѣренъ для вашего „Сборника“ составить, во-первыхъ, статью о ловлѣ курскихъ и бердичевскихъ соловьевъ, списанную со словъ моего стараго охотника, который разъ двадцать ѣздилъ за ними по порученьямъ купцовъ и вывозилъ тысячныхъ соловьевъ—за занимательность этой статьи я отвѣчаю; а во-вторыхъ, разсказъ о стрѣльбѣ мужиками медвѣдей на овсахъ въ Полѣсьѣ. Это тоже, я надѣюсь, выйдетъ статья порядочная. Если здоровье мое окончательно утвердится, къ Петрову дню вы получите обѣ статьи.

Я въ теченьи послѣднихъ двухъ недѣль убилъ 4 вальдшнеповъ, одну куропатку (спѣшу замѣтить: самца), 6 бекасовъ, 2 гаршнеповъ, 1 кулика и нѣсколько дроздовъ—сущая бездѣлица! Посмотримъ, что скажутъ дупеля.

Дайте объ себѣ вѣсточку и не взыщите за пустоту этого письма. Впрочемъ, будьте здоровы и веселы — крѣпко жму вамъ всѣмъ руки.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

29 апрѣля 1853 года.

Христосъ воскресе и во истину воскресе, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ! Благодаримъ за поздравленія и сами поздравляемъ. Сейчасъ получилъ письмо ваше отъ 23-го или отъ 24-го апрѣля. Очень меня огорчаетъ, что вы не совсѣмъ здоровы, и что ваше Спасское (какъ я предполагаю по вашему письму) посѣтила незваная гостья. Въ Москвѣ, напротивъ, она до того ослабѣла, что, не смотря на розговѣнье,

на Ѳоминой хотѣли закрыть холерныя больницы. Около насъ покуда все благополучно: у Троицы было нѣсколько случаевъ, но самыхъ ничтожныхъ. Вообще, въ Москвѣ холера легко уступала лѣкарствамъ. Спѣшу сообщить вамъ вѣрное народное средство, которымъ все Замоскворѣчье лѣчилось съ положительнымъ успѣхомъ: взять полрюмки чистаго березоваго дегтя и полрюмки конопляпаго масла, смѣшать какъ можно лучше и выпить. Дай Богъ, чтобъ эта эпидемія пролетѣла у васъ быстро, и чтобъ мое письмо не застало ея въ Спасскомъ. Весна стоитъ чудная! Птица прилетѣла вся вдругъ; вальдшнеповъ мало, а грачей довольно; ласточки прилетѣли 21-го апрѣля; лѣсъ только что началъ одѣваться, а уже третій день, какъ поютъ соловьи и кричатъ перепела: послѣднее очень меня изумляетъ, потому что еще нѣтъ травы. Съ нетерпѣніемъ ожидаю „Постоялаго Двора“,—только боюсь, что замѣчанія мои будутъ плохи, потому что я хватилъ весны, началъ удить и сдѣлался неспособенъ къ умственному труду. Сравненіе вялаго и опустившагося человѣка со скошеннымъ по утру и полежавшимъ до вечера на солнцѣ лопухомъ—въ высшей степени вѣрно и живописно; но я отъ души желаю, чтобы оно было невѣрно въ отношеніи къ вамъ.

30-го апрѣля.

Я заранѣе прихожу въ восхищеніе отъ вашихъ статей! Чувствую, какъ онѣ будутъ интересны. Здѣшній цензурный комитетъ не рѣшился дозволить мнѣ „Сборникъ“, какъ *періодическое* изданіе. Я послалъ просьбу въ главное управленіе цензуры и употребилъ всѣ зависящія отъ меня средства, чтобы имѣть успѣхъ. Въ случаѣ положительнаго отказа, я все-таки выдамъ большой томъ „Собраніе статей о различныхъ охотахъ“ разныхъ сочинителей. Итакъ, убѣдительно васъ прошу написать обѣщанныя статьи. Слухи, дошедшіе до васъ, относительно изданія „Московскаго Сборника“, совершенно справедливы, и Хомяковъ, Иванъ Кирѣевскій, князь Черкасскій и мои сыновья обязаны подпиской посылать свои сочиненія, назначаемыя для печати, въ главное управленіе цензуры.

Вчера выпало много дождя, и атмосфера сильно прохла-

дилась, такъ что теперь, въ 9 часовъ, только 8 градусовъ. Я не смѣю пойти удить, а сыновья уѣхали; но вчера и третьяго дня время стояло очаровательное; рыба беретъ необыкновенно рано и хорошо: мы выудили болѣе 100 штукъ окуней, ершей, щукъ и прочая. Если эпидемія у васъ не прекратилась, то вотъ вамъ совѣтъ: носить фланелевый поясъ на всемъ животѣ и желудкѣ. Прощайте, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ! Да сохранитъ васъ Богъ здравымъ и невредимымъ! Сколько вы написали романа? Неужели кончили? Буду ожидать его нетерпѣливо. Обнимаю васъ. Вашъ душою *С. Аксаковъ*.

30-го апрѣля.

Я сейчасъ перечелъ ваше письмо отъ 2-го апрѣля и вижу, что я на него не отвѣчалъ. Это письмо было писано вами послѣ десятидневной отлучки, *очень не во время вами сдѣланной*, какъ вы сами выражаетесь. Въ это время у васъ была гастрическая лихорадка, но я надѣюсь, что всѣ ваши недуги теперь прошли, потому что вы начали выходить на охоту. Въ старые годы начало охоты весной производило на меня неописанное дѣйствіе; я весь перерождался и буквально грезилъ и во снѣ, и на яву охотой. Теперь уже я привыкъ къ тому, что ружье для меня не существуетъ; уженье отчасти наполнило пустоту, оставленную отсутствіемъ ружейной охоты, и даже теперь, не чувствуя того страстнаго увлеченія, съ какимъ я удилъ даже лѣтъ 10 тому назадъ, я не могу спокойно оставаться въ комнатѣ, если здоровъ. Мною овладѣваетъ такое безпокойство, что я (говорю по совѣсти) иду или ѣду удить иногда безъ всякаго желанія. Это совсѣмъ уже не охота, а какая-то власть привычки, родъ болѣзненнаго недуга. Прощайте, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ! Когда-то Богъ приведетъ увидѣться, а хотѣлось бы!

Читали ли вы романъ Григоровича „Рыбаки?“ Что вы скажете? Многіе хвалятъ безусловно. По началу нельзя судить рѣшительно; но многія замашки мнѣ не нравятся и еще болѣе не понравятся, если разовьются такъ, какъ должно предполагать. Прощайте, крѣпко васъ обнимаю. *С. Аксаковъ*.

* * *

Еще при первомъ извѣстіи о задуманномъ С. Т. Аксаковымъ „Охотничьемъ Сборникѣ“ Тургеневъ отнесся къ этому предпріятію съ самымъ горячимъ сочувствіемъ и обѣщалъ свое сотрудничество въ этомъ изданіи. „Я намѣренъ“, писалъ онъ Сергѣю Тимоѳеевичу 24-го апрѣля,—„для вашего „Сборника“ составить, во-первыхъ, статью о ловлѣ курскихъ и бердичевскихъ соловьевъ, списанную со словъ моего стараго охотника, который разъ двадцать ѣздилъ за ними по порученьямъ купцовъ и вывозилъ тысячныхъ, соловьевъ—за занимательность этой статьи я отвѣчаю; а во-вторыхъ, разсказъ о стрѣльбѣ мужиками медвѣдей на овсахъ въ Полѣсьѣ. Это то же, я надѣюсь, выйдетъ статья порядочная“. Но сперва работа у Тургенева не спорилась, ему нездоровилось, и онъ сравнивалъ себя со скошеннымъ лопухомъ: сравненіе, которое такъ понравилось Сергѣю Тимоѳеевичу. Между тѣмъ предпріятіе стараго охотника встрѣтило цензурныя затрудненія. „Не смотря на прекрасную цѣль“, сообщаетъ на основаніи офиціальныхъ данныхъ М. И. Сухомлиновъ,—„возникло сомнѣніе въ томъ, обладаетъ ли С. Т. Аксаковъ достаточною благонамѣренностью для изданія какого бы то ни было сборника, хотя бы и охотничьяго. Вопросъ рѣшенъ былъ отрицательно. Офиціознымъ поводомъ къ отказу послужило то обстоятельство, что разрѣшеніе какъ сборниковъ, такъ и журналовъ, зависѣло отъ высшаго начальства, а утруждать его такими маловажными предметами, какъ охотничьи статьи, признали неудобнымъ“ *). Вынужденный отказаться отъ періодическаго изданія „Сборника“, Сергѣй Тимоѳеевичъ не отступался однако отъ своей мысли напечатать собраніе охотничьихъ разсказовъ, составилъ для него свои собственныя статьи и, какъ видно изъ дальнѣйшихъ писемъ, неоднократно напоминалъ Тургеневу о данномъ имъ обѣщаніи. Дѣло тѣмъ не менѣе затянулось: одну изъ своихъ статей, „Травля Перепелокъ“, самъ С. Т. Аксаковъ напечаталъ въ *Москвитянинѣ* (1854, № 2); статьи

*) Изслѣдованія и статьи по русской литературѣ и просвѣщенію. т. II, стр. 470—71.

отъ Ю. Ѳ. Самарина и А. С. Хомякова вовсе не были получены, да и Тургеневъ исполнилъ свое обѣщаніе лишь на половину, вмѣсто двухъ разсказовъ, доставилъ только одинъ, и то уже въ исходѣ 1854 года. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ причинъ самый планъ изданія С. Т. Аксакова измѣнился, и, вмѣсто собирательнаго труда, получился почти единоличный; сборникъ вышелъ въ свѣтъ уже въ 1855 году, подъ заглавіемъ: „Разсказы и воспоминанія охотника о разныхъ охотахъ. *Сергѣя Аксакова*. Съ приложеніемъ статьи *И. С. Тургенева:* „О Соловьяхъ“. Второй изъ разсказовъ, обѣщанныхъ Сергѣю Тимоѳеевичу Тургеневымъ, былъ обработанъ имъ лишь два года спустя и напечатанъ въ *Библіотекѣ для Чтенія* 1857 г., № 10, подъ заглавіемъ: „Поѣздка въ Полѣсье“.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское. Вторникъ, 12-го мая 1853.

Я только третьяго дня вернулся съ поѣздки за 150 верстъ отсюда, любезный Сергѣй Тимофѣевичъ, и нашелъ здѣсь ваше письмо. Я ѣздилъ стрѣлять дупелей въ выводныхъ болотахъ, лежащихъ между лѣсами вдоль береговъ Десны. Я немного опоздалъ — самки уже сѣли на яйца, а самцы уже начали разлетаться и точки прекратились. Однако мы на три ружья убили въ три поля 105 штукъ красной дичи—на мою долю пришлось 41. Молодая моя собака меня очень радовала—и мѣста великолѣпныя. Къ сожалѣнію, погода намъ не благопріятствовала—холода стояли препепріятные, а въ послѣдніе дни дождикъ лилъ почти постоянно. На будущую весну, если Богъ дастъ, я заберусь туда гораздо раньше. Теперь до Петрова дня ружье на крючокъ и по мѣрѣ возможности — за перо. Романа моего я кончилъ только первую часть, и она теперь переписывается. По недоразумѣнію, безъ меня вамъ „П. Д.“ не выслали—онъ отправляется завтра. Здоровье мое нѣсколько поправилось. Люди, умершіе въ нашемъ околоткѣ, отправились на тотъ свѣтъ, вѣроятно, отъ объѣденія, по крайней мѣрѣ, съ того времени холерныхъ припадковъ не слыхать. За совѣтъ очень благодаренъ, и если холера серьезно къ намъ пожалуетъ, я набрюшникъ надѣну. Видно, одно слово:

„Сборникъ“ такъ напугало цензуру, что она не рѣшается позволить даже охотничьяго сборника! Во всякомъ случаѣ, издайте непремѣнно вашу книгу. Я горжусь тѣмъ, что я отчасти былъ причиною скорѣйшаго напечатанія вашихъ „Записокъ“. Позвольте мнѣ и теперь настоять на томъ, чтобы вы ни за что не отказывались отъ вашего предпріятія. Статьи мои непремѣнно будутъ готовы къ Петрову дню. Одну я уже началъ (поѣздку въ Полѣсье) и написалъ страницъ 5.

Погода у насъ теперь (я это пишу 16-го мая—въ годовщину освобожденія моего изъ части) стоитъ удивительная. Я не помню такой свѣжей и юной зелени. Все ликуетъ—другого слова употребить нельзя. Вчера мы ходили вдоль осиноваго лѣса, со стороны тѣни, вечеромъ; солнечные лучи забирались съ своей стороны въ глубь лѣса и обливали стволы осинъ такимъ теплымъ свѣтомъ, что они становились похожи на стволы сосенъ, а листва ихъ почти спѣла и надъ нею поднималось блѣдно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Эта картина была удивительна—ее словами передать невозможно. Калямъ бы ее схватилъ своею кистью. Вы слышали—онъ умеръ. Очень его жаль!

Хоть я вовсе не рыбакъ, но въ честь вашу пойду сегодня удить карасей въ прудѣ. Другой рыбы у меня здѣсь нѣтъ.

Прощайте, добрый С. Т. Будьте здоровы съ вашими сыновьями и со всѣмъ вашимъ семействомъ. И я скажу: когда-то Богъ приведетъ увидѣться? Вмѣстѣ поѣхали бы, между прочимъ, къ Троицѣ; вообразите—я въ Троицѣ никогда не бывалъ. Крѣпко жму вамъ руку и остаюсь навсегда вашъ. и т. д.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

21-го мая 1853 года.

Сегодня я получилъ письмо ваше, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, отъ 12-го мая (кажется, отправленное 16-го мая) и сегодня же спѣшу на него отвѣчать.

24-го мая.

Не исполнилось мое желаніе отвѣчать немедленно на ваше письмо. Въ тотъ день помѣшали именины моего Константина, а на другой—пріѣздъ двухъ сербовъ, изъ которыхъ одинъ

кончилъ свое образованіе въ Россіи и возвращается въ свою родную Сербію, а другой еще учится въ Троицкой духовной академіи, откуда перейдетъ въ Московскій университетъ. Ихъ разсказы произвели на меня сильное впечатлѣніе и такъ меня заняли, что я и теперь еще полонъ ими. Вчера же пріѣзжалъ къ намъ меньшой сынъ Загоскина, предобрѣйшее двадцатилѣтнее созданіе, потерявшій недавно страстно его любившую мать и въ полгода совершенно осиротѣвшій. Возвращаюсь къ вашему письму: очень радъ, что вы сдѣлали охотничью поѣздку за дупелями на берега Десны; по оренбургскому, въ три поля, на три ружья, — 105 штукъ добыча скудная; но у васъ, можетъ быть, это и хорошо. Я удивляюсь только, что вы опоздали (какъ пишете): токи дупелей всегда начинаются въ началѣ мая, но продолжаются до половины іюля, и только въ самомъ началѣ вмѣстѣ съ самками, а потомъ слетаются одни самцы. По крайней мѣрѣ, такъ бываетъ у насъ, въ Оренбургской, Самарской и Симбирской губерніяхъ. Искренно радуюсь, что молодая собака васъ порадовала. Вѣроятно, появлялась у васъ въ околодкѣ *спорадическая* холера, а потому не распространилась. Въ Москвѣ холера очень уменьшилась и теперь тянется понемногу, уступая въ началѣ всякому лѣкарству. На дняхъ она оказалась въ разныхъ мѣстахъ около насъ, и даже въ двухъ верстахъ. Явленія были смертельныя, но въ маломъ числѣ и почти всѣ завозныя и заносныя. Оверъ велѣлъ мнѣ сказать, что всѣ почти согласились съ нимъ въ *заразительности* холеры, что въ настоящую эпидемію ея нѣтъ въ воздухѣ, и что она распространяется только матеріально, при извѣстныхъ условіяхъ, посредствомъ сообщенія здоровыхъ съ больными. Я готовъ съ этимъ согласиться, потому что ни въ Москвѣ, ни здѣсь не замѣтно никакого расположенія къ желудочному разстройству.

Что касается до „Сборника“, то я нисколько не теряю надежды на полученіе дозволенія. Во всякомъ случаѣ, если только буду живъ и здоровъ, книга выйдетъ непремѣнно. Ваше участіе и одобреніе, безо всякаго сомнѣнія, были и будутъ для меня самымъ сильнымъ двигателемъ. Заранѣе крѣпко обнимаю и заранѣе благодарю за статьи.

Вы пишете, что у васъ стоитъ удивительная погода и въ скобкахъ прибавляете, что пишете 16-го апрѣля: вѣроятно, это ошибка, и вы хотѣли написать: „мая“. Я очень этому радъ, но у насъ совсѣмъ напротивъ: цѣлый май, за исключеніемъ двухъ-трехъ дней, стоитъ погода холодная и дождливая, даже было нѣсколько морозовъ. Впрочемъ, и у насъ зелень свѣжа и великолѣпна. Черемуха, въ которую я почти влюбленъ, уже отцвѣла, но синель, воздушный жесминъ и всѣ цвѣтущіе кусты еще не распускались. Сѣверный вѣтеръ мѣшаетъ мнѣ удить, а дождь и прохладная атмосфера меня бы не удержали. Впрочемъ, одѣвшись по зимнему и прикрывшись зонтикомъ отъ вѣтра, я всякій день сижу гдѣ-нибудь на берегу Вори; рыбы ловлю много, но некрупной. Картина вечера написана вами прекрасно, и, по крайней мѣрѣ, мнѣ вы передали ее словами вполнѣ. Очень желаю, чтобъ уженье карасей вамъ понравилось: въ отсутствіи ружья, оно могло бы доставлять вамъ пріятное развлеченіе. Авось, Богъ будетъ милостивъ, и мы когда-нибудь вмѣстѣ поѣдемъ къ Троицѣ! Прощайте, мой любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ; ожидаю „Постоялаго Двора“. Пишите романъ: я многаго отъ васъ ожидаю. Крѣпко васъ обнимаю, вашъ душой *С. Аксаковъ*.

Сыновья мои васъ обнимаютъ. Они оба были больны лихорадкой, сначала Иванъ, а потомъ Константинъ: послѣдній только на дняхъ отъ нея освободился. Послѣ завтра Иванъ ѣдетъ въ Москву, а потомъ въ Пензенскую губернію. У него есть хозяйственныя предпріятія, о которыхъ сообщу вамъ подробно тогда, когда они осуществятся, чего я никакъ не предвижу. Вы, вѣрно, прочли въ майской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* отзывъ о „Біографіи Загоскина“. У этихъ господъ нѣтъ никакого умѣнья. Критику очень хотѣлось меня укусить, но онъ рѣшительно не умѣлъ это сдѣлать. Еслибъ я былъ на его мѣстѣ, то больно бы искусалъ сочинителя „Біографіи“, и отчасти весьма справедливо. Статья о комедіи Островскаго „Не въ свои сани не садись“ также написана вяло, двусмысленно и темно. Новое проявленіе животнаго магнитизма въ верченьѣ столовъ совершенно справедливо, но очень вредно для нервныхъ людей и способно не-

редавать болѣзненное состояніе: мы удостовѣрились въ этомъ собственными опытами. Шутить съ этимъ не должно.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское. 5-го іюня 1853.

Мнѣ очень весело, что мы состоимъ съ вами въ перепискѣ, добрый и любезный Сергѣй Тимофѣевичъ—всякое ваше письмо мнѣ доставляетъ истинное удовольствіе, и вы видите, что я не мѣшкаю моими отвѣтами. Я очень радъ, что у вашихъ дѣтей лихорадка прошла; и у насъ здѣсь было много лихорадокъ, но съ весной онѣ кончились. Вотъ уже пятый день какъ у насъ стоитъ удивительная погода—говорятъ, надо желать дождей; озимые хлѣба вездѣ довольно плохи—есть большія вымочки — во многихъ мѣстахъ пшеница совсѣмъ пропала. Охотники могутъ утѣшаться мыслью, что, судя по веснѣ, выводки будутъ славные.

Я про себя долженъ сказать, что я никакъ не могу работать—желудокъ мой меня мучитъ. Ничего не варитъ и заставляетъ меня проводить безсонныя ночи, которыя меня очень разслабляютъ. Хочу попробовать лѣчиться бѣлой горчицей, которая, говорятъ, многимъ помогаетъ. Однако первую часть романа кончилъ. Я ее уже отправилъ къ Анненкову въ Петербургъ—по обѣщанію—но какъ только онъ ее прочтетъ—она будетъ вамъ доставлена, и я тогда попрошу вашего мнѣнія, которымъ вы знаете какъ я дорожу. Также прошу вашихъ сыновей сказать мнѣ, что они думаютъ.—Это—вещь совсѣмъ въ другомъ родѣ, чѣмъ „Постоялый Дворъ“. Кстати о немъ—вѣрно, ему не судьба тотчасъ попасть къ вамъ; я согласился на просьбу одного человѣка, который желалъ его переписать, но вы его скоро получите. Впрочемъ оно теперь кажется и не такъ къ спѣху. Мнѣ, главное, хочется знать, что вы скажете о моемъ романѣ и попалъ ли я въ тонъ романа.

Холера къ намъ подвигается; говорятъ, она уже въ Тулѣ. но здѣсь всѣ припадки пока прекратились. Что̀ будетъ, то будетъ, а мы готовы.

А все-таки я надѣюсь скоро написать статьи для „Сборника“. Если только я возьмусь за перо—онѣ будутъ гото-

вы. Но для этого нужно, чтобы желудокъ оправился, а то просто ничего невозможно дѣлать. Валяешься цѣлый день на разныхъ диванахъ, словно кто колесомъ по тебѣ переѣхалъ. Это очень скучно.

Письмо мое чрезвычайно вяло и пусто, но я настолько надѣюсь на ваше расположеніе, чтобы не заставлять себя быть остроумнымъ и любезнымъ, когда тупо въ головѣ. — Ахъ, да, у меня на дняхъ былъ Фетъ, съ которымъ я прежде не былъ знакомъ. Онъ мнѣ читалъ прекрасные переводы изъ Горація. Иныя оды необыкновенно удались—напрасно только онъ употребляетъ не только устарѣлыя слова — каковы: „перси“ и т. д.—но даже небывалыя слова въ родѣ: „завой“ (завитокъ), „уханіе“ (запахъ) и т. д. Я всячески старался ему доказать, что „уханіе“ такъ же дико, для слуха, какъ, напр., „получіе“ (отъ *благо*получія). Собственныя его стихотворенія не стоютъ его первыхъ вещей; его неопредѣленный, но душистый талантъ немного выдохся. Попадаются однако прелестные стихи—напр., эти два, оканчивающіе граціозное описаніе лѣтней тихой ночи:

И сыплетъ ночь своей бездонной урной
Къ намъ міріады звѣздъ.

Самъ онъ мнѣ кажется милымъ малымъ. Немного тяжеловатъ и смахиваетъ на малоросса,—ну и нѣмецкая кровь отозвалась уваженіемъ къ разнымъ систематическимъ взглядамъ на жизнь и т. п. Но все-таки онъ мнѣ весьма понравился. Онъ ѣдетъ въ Новгородъ—его перевели въ какой-то уланскій гвардейскій полкъ.

А затѣмъ прощайте, добрый Сергѣй Тимофѣичъ. Жму вамъ крѣпко руку и желаю вамъ и всѣмъ вашимъ всего хорошаго—а Ивану Сергѣевичу—успѣха въ его предпріятіи. Прощайте и т. д.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

Спасское, 29-го іюня 1853 (Петровъ день).

„Давненько не бралъ я въ руки шашекъ“, говаривалъ Чичиковъ Ноздреву; давно не получалъ я отъ васъ писемъ, лю-

езный Сергѣй Тимофѣевичъ, говорю я. Вслѣдствіе этой мы-ли я взялъ перо и принялся писать къ вамъ. Начну съ ого, что сегодня Петровъ день—а я дома! Что прикажете лать? Обѣ суки мои въ пустовкѣ—да и мнѣ вчера поста-или піявки, желая уменьшить брюшное полнокровіе, не даю-цее моему желудку варить самую легкую пищу. Должно на-ѣяться, что черезъ нѣсколько дней и суки мои, и я — мы идемъ въ порядокъ и начнемъ охотиться.

Получили ли вы черезъ Кетчера 1-ю часть моего рома-іа—или нѣтъ еще? Анненковъ давно ее прочелъ и уже на-писалъ мнѣ о ней свое мнѣніе, весьма дѣльное и справед-ливое. Я бы сказалъ вамъ, что именно онъ критикуетъ, но мнѣ хочетея посмотрѣть, сойдетесь ли вы съ нимъ въ воззрѣніи на мою посильную работу. Жду вашего приговора съ нетерпѣніемъ. По прочтеніи, пришлите романъ ко мнѣ, если Кетчеръ не сказалъ вамъ, чтобы вы ему возвратили.— Какъ ваше здоровье въ это неестественное лѣто? У насъ отъ продолжительной засухи всѣ яровыя почти-что пропали. И погода стоитъ какая-то непріятная. Крестьяне болѣютъ кро-вавыми поносами.

Очень мнѣ жаль, что Кокоревъ умеръ. Его „Саввушка“ подавалъ большія надежды. Много въ немъ было теплоты и наблюдательности. Нездоровится нашимъ писателямъ.

А я все лѣнюсь и ничего дѣлать не могу. Вотъ и Петровъ день—а статьи для вашего „Сборника“ и до половины не до-ведены. Но два-три дня дѣятельности все это могутъ поправить.

Знаете ли, въ чемъ состоитъ главное мое занятіе? Играю въ шахматы съ сосѣдями или даже одинъ, разбираю шах-матныя игры по книгамъ. Отъ упражненья я достигъ нѣко-торой силы. Также много занимаюсь музыкой, т.-е., говоря правильнѣе, занимаюсь тѣмъ, что слушаю музыку. Жена жи-вущаго у насъ Тютчева и сестра ея много играютъ въ че-тыре руки. Бетховенъ, Моцартъ, Мендельсонъ и Веберъ— наши любимцы.

6-го іюля.

Охотился 2 раза—неудачно. Дичи мало. Придется ѣхать подальше. Дайте о себѣ вѣсточку—а пока будьте здоровы,

дружески жму вамъ руку и кланяюсь всему вашему семейству. Вашъ и т. д.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

Іюля 12-го 1853 года.

Совѣстно и пріятно было мнѣ получить письмо ваше, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, отъ 29-го іюня и 6-го іюля! Совѣстно—потому что я не отвѣчалъ еще вамъ на письмо ваше 5-го іюля, а пріятно — потому что вы, не смотря на жаркое лѣто и нездоровье, захотѣли перемолвить со мной нѣсколько словъ. Обнимаю васъ заочно и благодарю! Я, кажется, писалъ вамъ, что лѣтомъ голова моя бываетъ въ отпуску, и самъ я бываю похожъ на школьника, который уѣхалъ въ деревню на вакацію, все забылъ, что̀ твердилъ цѣлый годъ, боится взглянуть на книгу и на чернильницу съ перомъ, и цѣлый день бѣгаетъ съ удочкой, за ягодами, за грибами. Не сочтите, что все это написано ради красоты слога. Нѣтъ! Слава Богу, все это буквально справедливо и объясняетъ, почему я такъ давно не писалъ вамъ. Къ тому же у меня было множество гостей, и въ томъ числѣ средній сынъ мой Григорій съ женой и съ маленькою дочерью, которая такъ мила и умна, что привела бы меня въ восхищеніе, и не будучи моею единственною внучкой. По болѣзни жены сынъ мой долженъ былъ оставить службу и уѣхать за границу. На дняхъ я простился съ нимъ на два года. Послѣ завтра онъ отправляется изъ Петербурга на пароходѣ.

Искренно сожалѣю о вашемъ нездоровьѣ. Признаюсь, брюшное полнокровіе кажется мнѣ какою-то докторскою фантазіей. Желудочному разстройству должна быть другая причина, и сильное тѣлодвиженіе съ ружьемъ должно быть гораздо лучшимъ лѣкарствомъ, чѣмъ піявки. Отчего это у васъ мало дичи? Здѣсь напротивъ: не смотря на *талоку* (знаете вы это слово?), безпрестанно попадаются выводки тетеревятъ и вальдшнеповъ. Третьяго дня одна крестьянская дѣвочка принесла мнѣ двухъ вальдшнеповъ, которые уже очень хорошо летали, и которыхъ она поймала въ лѣсу во время проливнаго дождя. Лѣто у насъ стоитъ очаровательное — теплое,

дождливое и не очень вѣтреное, а тишина для меня всего дороже. Отчего вы называете его неестественнымъ и погоду непріятною?

Я не получилъ первой части вашего романа и также „Постоялаго Двора“. Послѣ завтра мой Иванъ будетъ въ Москвѣ, самъ поѣдетъ къ Кетчеру и возьметъ у него рукопись, если она свободна. Съ величайшимъ нетерпѣніемъ ожидаю вашего романа. По одной первой части нельзя сдѣлать вѣрнаго заключенія; очень часто бываетъ, что прекрасно обрисованное и выведенное на сцену лицо не выдерживается впослѣдствіи; бываетъ и на оборотъ; но я откровенно скажу вамъ о томъ впечатлѣніи, какое произведетъ на меня вашъ новый трудъ. Я здоровъ и всѣ мои, кромѣ Константина, который немножко прихварываетъ. Кажется, будетъ война. Обстоятельства увлекаютъ насъ противъ воли. Исторія возьметъ свое: я ожидаю великихъ событій. Прощайте, будьте здоровы, дописывайте статьи для „Сборника“ и стрѣляйте, какъ можно больше! Обнимаю васъ. Сыновья мои—тоже. Вашъ душой *С. Аксаковъ*.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

4-го августа 1853 года.

Наконецъ получилъ я первую часть вашего безыменнаго романа, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, и выслушалъ ее съ величайшимъ вниманіемъ, интересомъ и удовольствіемъ. Говоря вообще, новое сочиненіе ваше имѣетъ большія достоинства; но это только вступленіе въ романъ, и окончательнаго приговора произнести невозможно. Спѣшу сообщить вамъ первое впечатлѣніе, произведенное на меня этимъ чтеніемъ. Начну съ того, что первая часть, какъ мнѣ кажется, раздѣляется на двѣ половины: на списанную съ дѣйствительности, имѣющую характеръ подлинныхъ записокъ или воспоминаній, и на созданную фантазіей автора. Первая, какъ фактъ, имѣетъ высокій интересъ истины, а вторая иногда не совсѣмъ удовлетворяетъ моимъ требованіямъ: какъ-то слышенъ переходъ отъ правды къ вымыслу. Мнѣ кажется, Глафира Ивановна въ первыхъ главахъ не могла быть сочинена; въ ней есть такія черты, которыя въ дѣйствительности

встрѣтиться могутъ, но въ созданіе художественной фантазіи имъ попасть никакъ не возможно: ибо послѣднее есть типъ извѣстнаго рода характеровъ и похоже на многіе изъ нихъ, а фактъ нерѣдко похожъ только на самого себя. Безъ сомнѣнія, описаніе такихъ исключительныхъ характеровъ весьма любопытно и поучительно. Глафира Ивановна въ первыхъ главахъ—великолѣпна, въ послѣдующихъ, мнѣ кажется, она невѣрна самой себѣ. Я понимаю, что она — существо въ высшей степени капризное и непослѣдовательное, и что никакъ нельзя угадать разности ея поступковъ въ одинакихъ обстоятельствахъ; но я смутно чувствую, что иногда она должна поступать какъ-нибудь да не такъ. Впрочемъ, надобно подождать, что̀ будетъ далѣе.

Эти строки написаны уже съ недѣлю. Въ это время у меня часто болѣла голова, или я былъ неспокоенъ духомъ; но какъ все это можетъ продолжиться, то я рѣшился, хотя въ короткихъ словахъ, сказать вамъ мое мнѣніе. Я отослалъ первую часть къ Кетчеру; но послѣ я возьму ее, вновь прослушаю и напишу вамъ подробно. Итакъ, къ дѣлу. Первая часть, какъ приступъ къ роману, очень интересна и возбуждаетъ много мыслей и ожиданій. Нѣкоторыя лица превосходны, какъ-то: Глафира Ивановна (не смотря на мой упрекъ въ неопредѣленности), сосѣдъ Чермакъ и Василій Васильевичъ: послѣдняго я ставлю выше всѣхъ; это—истинный типъ такого рода по преимуществу русскихъ натуръ! Второстепенныя лица: французъ (лучшій между ними), докторъ, Леонъ, бурмистръ и Пилушка — очень хороши; но мнѣ не нравится Елизавета Михайловна, которая, кажется, должна играть у васъ главную роль. Вопервыхъ, это лицо не русское, не въ томъ обширномъ смыслѣ, что всякая образованная дѣвушка—существо не русское, какъ и всѣ мы, но въ смыслѣ гораздо тѣснѣйшемъ: въ Елизаветѣ Михайловнѣ нѣтъ русской натуры, которая бываетъ слышна въ человѣкѣ, забитомъ европейскимъ образованіемъ. Вовторыхъ, судя потому, какъ вы ее предварительно нарисовали, она дѣйствуетъ въ домѣ Глафиры Ивановны не такъ, какъ бы ей слѣдовало, то-есть, нестрого, несистематично. Напримѣръ, она не должна была

такъ легко, безъ принудительныхъ обстоятельствъ, согласиться на свиданье съ сыномъ госпожи дома. Притомъ, что̀ за любовная чума! Вѣдь кажется, въ нее всѣ будутъ влюблены! Дмитрій Петровичъ какъ-то очень теменъ и несимпатиченъ. Объясненіе въ любви слишкомъ обыкновенно, чтобъ не сказать—пошло. Оба молодые люди, то-есть, Елизавета Михайловна и Дмитрій Петровичъ, особенно послѣдній, не возбуждаютъ участія, и это вѣрный знакъ, что они очерчены неудачно. Наконецъ, въ романѣ много подробностей: нѣкоторыя написаны мастерски, напримѣръ, уборка комнаты—это прелесть; но многія обличаютъ претензію на живопись подробностей, на полноту представленій. Вообще можно сказать, что только тѣ подробности въ описаніи интересны, которыя бросаютъ какой-нибудь свѣтъ на дѣйствующія лица; въ противномъ случаѣ онѣ, какъ ненужныя, утомительны. Это излишество есть у васъ. Въ рукописи я замѣтилъ много мѣстъ, и при вторичномъ чтеніи разовью вамъ подробно мои замѣчанія.

Вотъ вамъ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ, моя искренняя исповѣдь. Повторяю, что я съ наслажденіемъ выслушалъ начало вашего романа, не смотря на замѣченные мною недостатки. Я не захотѣлъ скрыть отъ васъ ни одной мысли, хотя откровенно скажу, и самъ не вполнѣ полагаюсь на вѣрность моего мнѣнія: мнѣ необходимо прочесть въ другой разъ и, если можно, самому; притомъ, при дальнѣйшемъ развитіи романа, можетъ быть, темное и, по видимому, несообразное сдѣлается ясно и послѣдовательно.

Здоровы ли вы? Что̀ дѣлаете? Стрѣляете ли? У насъ лѣто чудное! Два раза атмосфера охлаждалась, но тепло превозмогало! У насъ, слава Богу, довольно дождей; воздухъ влаженъ, и вѣроятно, отъ того до сихъ поръ холера слабо развивалась; но въ другихъ мѣстахъ, именно гдѣ была засуха, холера была очень сильна. Прощайте! Скажите мнѣ, что̀ написалъ вамъ Анненковъ объ вашемъ романѣ? Крѣпко васъ обнимаю. Вашъ душой *С. Аксаковъ*.

Я надѣюсь, что вы напишете мнѣ, которыя изъ моихъ замѣчаній покажутся справедливыми и на оборотъ. Иванъ въ

Москвѣ; Константинъ пишетъ самъ; но вы у насъ въ большомъ *долгу* по письмамъ. Я не оставляю намѣренія издать книжку подъ названіемъ: „Статьи о разныхъ охотахъ“. Если васъ не обременитъ моя просьба, то я напомнилъ бы вамъ обѣщаніе написать для моего сборника двѣ охотничьи статьи: „О соловьяхъ“ и „Стрѣльба Медвѣдей“. Напишите, пожалуйста, хотя одну; только она должна быть доставлена мнѣ не позже ноября. При свиданіи я скажу вамъ причину, почему печаталъ свои статьи въ *Москвитянинѣ*. Между нами, обстоятельства мои затруднительны.

Письмо къ Тургеневу К. С. Аксакова.

(Начало августа 1853 года).

Любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ! Наконецъ получили мы и прочли вашъ романъ. И вотъ вамъ мое искреннее, какъ ужь это условлено между нами, сужденіе. *Романъ* у васъ, какъ понималось и понимается это слово, начинается съ 12-й главы. До этой главы идетъ описаніе дѣйствующихъ лицъ, выходящихъ одно за другимъ. Я вовсе не думаю, чтобы цѣлость романа достигалась ниткой интриги, сшивающею въ одно всѣ лица и событія; напротивъ, я думаю, что единая живая связь, это—связь *жизни*; связь внутренней причины и внутренняго смысла всего сильнѣе выставляется въ „Мертвыхъ Душахъ“, гдѣ нѣтъ никакого событія. Слѣдовательно, въ этомъ отношеніи я не сдѣлаю вамъ ни малѣйшаго упрека, то-есть, въ томъ, что у васъ 11 главъ безъ всякой завязки. Я скажу только, что предварительный біографическій очеркъ каждаго лица кажется мнѣ едва ли вполнѣ художественнымъ пріемомъ. Относительно болѣе подробнаго впечатлѣнія батюшка сдѣлалъ очень вѣрныя замѣчанія, съ которыми я вполнѣ согласенъ; батюшка самъ вамъ пишетъ, и потому я здѣсь ихъ не повторяю. Скажу вамъ, что лицо самое для меня сочувственное—это Василій Васильевичъ; да чуть ли оно не лучше всѣхъ и написано. Общее впечатлѣніе очень живо. Весь этотъ домъ, съ барыни до послѣдняго слуги, такъ выразителенъ, что интересъ читающаго не ослабѣваетъ ни на минуту. Что касается до завязки, то я ни на минуту не чув-

ствовалъ въ ней надобности, да и лучше было бы безъ нея; оманъ для меня начался съ первыхъ строкъ, когда убираютъ барынинъ кабинетъ; это — одно изъ лучшихъ мѣстъ. Вообще зрѣлости и объективности гораздо болѣе, чѣмъ прежде. Итакъ, впечатлѣніе самое выгодное. Но все это относится къ 11-ти главамъ. Я хочу поговорить съ вами о 12-й, которая измѣняетъ, по моему, и тонъ романа, и серьезное впечатлѣніе, имъ производимое. 12-я глава просто смѣшна, и я не могъ удержаться, чтобы не смѣяться, читая ее. Зачѣмъ подпустили вы амура? Амуръ—мальчишка, и больше ничего. Въ наше время онъ въ большомъ ходу, и безъ него шагу не ступятъ сочинители. Но какой смыслъ лежитъ въ томъ, что такой-то и такая-то влюбились другъ въ друга? Между тѣмъ это считается какимъ-то дѣломъ, подвигомъ, достойнымъ описанія. Вы скажете: „Но любовь ворочаетъ многимъ“. Такъ! Задайте же себѣ этотъ вопросъ; возведите любовь до общаго значенія; ее самую, какъ общее явленіе, сдѣлайте предметомъ художественнаго изображенія, и тогда она, не теряя своего общаго значенія, явится у васъ въ индивидуальномъ, частномъ видѣ. А у насъ, въ литературѣ, куда ни пойди, непремѣнно наткнешься на влюбленнаго юношу или дѣвушку, какъ будто здѣсь есть какое общее содержаніе, кромѣ мелкаго, анекдотическаго интереса. Наши посредственные таланты гоняются за нимъ, но мнѣ бы не хотѣлось, чтобы вы оставались на поприщѣ посредственныхъ талантовъ. Замѣтьте, Шекспиръ только разъ коснулся любви, но посвятилъ ей собственно цѣлую пьесу. Ни въ его историческихъ драмахъ, ни въ „Лирѣ“, ни въ „Макбетѣ“ нѣтъ ея вовсе. Ея нѣтъ и въ „Отелло“, гдѣ она является въ прошедшемъ, а передъ вами ревность мужа. Въ „Гамлетѣ“ является она легкимъ намекомъ, поглощенная, подавленная огромнымъ вопросомъ душевнаго анализа, разбивающаго всякій интересъ жизни. Мало говорятъ у насъ объ общественныхъ страстяхъ человѣка, объ общихъ задачахъ, а вмѣсто того кажутъ намъ разнородныхъ влюбленныхъ—то на французскій, то на англійскій, то на испанскій манеръ. Не уважаю, признаюсь, я и самаго этого личнаго чувства любви или влю-

бленности, какъ скоро переходитъ оно за предѣлы юности. Призракъ юности въ лѣтахъ зрѣлыхъ, это чувство есть раздраженіе слабости душевной, какое-то слабонервное состояніе. Хотя намъ нечего дѣлать, но мысль съ нами; мужественная сила мысли—не думы, дума совсѣмъ другое,—дѣятельность ученая, художественная въ истинномъ смыслѣ слова, съ достойнымъ содержаніемъ, всегда можетъ быть подвигомъ мужа. Если донъ-Жуанъ и могъ создаться на испанской почвѣ, то это какъ человѣческая односторонность, доведенная до общаго значенія, какъ ложь человѣческаго существа. Но смѣшнѣе донъ-Кишота былъ бы человѣкъ, захотѣвшій идти по слѣдамъ донъ-Жуана—чувственно или душевно. Впрочемъ, я сбился въ сторону; недостатокъ того, что римляне называли *virtus*. недостатокъ мужественности, меня постоянно огорчаетъ. Вѣдь мужъ не потому только мужъ, что онъ мужчина, мужскаго пола. Но довольно.

Не нравится мнѣ ваша Елизавета Михайловна. Она принадлежитъ къ поколѣнію, недавно, то-есть, лѣтъ около двадцати, появившемуся, какихъ-то мужественныхъ женщинъ. Не подумайте, чтобы я не предполагалъ силы въ женщинѣ: напротивъ,—но я понимаю иначе эту силу, далеко не такъ, какъ изображена она въ „Сказкѣ“ Лермонтова. Хотя ваша героиня далеко не то, но все, кажется, того же происхожденія. Эти мужественныя женщины явились какъ разъ объ руку съ женственными мужчинами, а каковъ толкъ отъ такого состоянія человѣчества—показываетъ намъ современная исторія, въ особенности Франціи. Впрочемъ, въ Англіи не то: тамъ женщина — женщина, а мужчина — мужчина. „Дженъ Эйръ“ не переходитъ предѣлы женственности.

Итакъ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ, романъ вашъ до 12-й главы прекрасенъ: всѣ лица живы, интересъ серьезенъ и надѣется быть еще серьезнѣе, когда еще точнѣе и глубже опредѣлится бытъ самый. Изъ Дмитрія Петровича могло бы выйти самое замѣчательное лицо, на которомъ бы обозначился весь современный общественный вопросъ. Общественный интересъ, вотъ что̀ должно быть задачей литературныхъ произведеній; это слышно и въ „Мумѹ“, и въ „Постояломъ

Дворѣ". Но наше общество еще не было затронуто съ этой стороны. Не была затронута ни модная благотворительность, ни миролюбивыя, даже пріятельскія отношенія къ пороку comme il faut, ни то, что порядочные люди въ ладу съ мерзавцами, ни то, что къ подлецу богатому всѣ побѣгутъ на вечеръ, и пр., и пр.

Я написалъ было статью объ этомъ: ее едва ли пропустятъ, но хочу послать. Пришлю, можетъ быть, и вамъ. Во 2-мъ нумерѣ „Сборника" было два моихъ стихотворенія, подвергнувшіяся тоже запрещенію; одно изъ нихъ—„Луна и Солнце". Говоря объ этихъ двухъ свѣтилахъ, я высказалъ въ то же время слегка мой взглядъ на мечтательное и дѣйствительное направленія, соотвѣтствующія имъ. Луну я, хотя очень нѣжно, отдѣлалъ немного. Стихотвореніе оканчивается слѣдующими стихами (рѣчь идетъ о солнцѣ):

Тотъ только солнце любитъ смѣло,
Кто жизнь въ мечту не обратилъ,
Кому доступно въ мірѣ дѣло,
Кто не изнѣжилъ данныхъ силъ,
Кто полумысли, получувства
Въ своей душѣ не допускалъ,
Рѣчей загадочныхъ искусства
Презрѣннаго не изучалъ,
Кому противенъ путь намёка,
И ненавистнѣй для кого
Благообразіе порока,
Чѣмъ безобразіе его,
Въ комъ чувство жизни вѣчно ново,
Кто рѣчи хитро не двоитъ,
Чья мысль ясна, чье прямо слово,
Чей духъ свободенъ и открытъ.

Вотъ вамъ и стихи; написалъ вамъ большое письмо; обнимаю васъ. Вашъ *Константинъ Аксаковъ*.

* * *

Романъ Тургенева, о которомъ идетъ рѣчь въ двухъ предшествующихъ письмахъ къ нему С. Т. и К. С. Аксаковыхъ, да говорилось вскользь и въ письмахъ болѣе ранняго времени на основаніи сообщеній самого автора,—былъ первымъ

его опытомъ въ этомъ родѣ литературныхъ произведеній. Выше было уже замѣчено, что романъ этотъ занималъ Тургенева въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, начиная съ 1852 года. Тѣмъ не менѣе, онъ остался, по видимому, не дописаннымъ. По крайней мѣрѣ, въ печати извѣстенъ лишь одинъ небольшой отрывокъ изъ него, подъ заглавіемъ: „Собственная господская контора“, появившійся въ 1859 году въ *Московскомъ Вѣстникѣ* и впослѣдствіи перепечатанный въ десятомъ томѣ собранія сочиненій Тургенева. Не знаемъ, сохранились ли въ его бумагахъ какіе-нибудь другіе слѣды этого романа, но достовѣрно, что первая часть его уже была отдѣлана авторомъ, переписана и сообщалась для прочтенія не только Аксаковымъ, но и нѣкоторымъ другимъ лицамъ. Въ доступной намъ перепискѣ Тургенева, кромѣ отзывовъ Сергѣя Тимоѳеевича и Константина Сергѣевича, находятся письма объ этой первой части П. В. Анненкова и В. П. Боткина. Считаемъ умѣстнымъ привести здѣсь ихъ сужденія, а равно и то, что̀ самъ Тургеневъ писалъ о своемъ романѣ Аксаковымъ. Конечно, эти данныя не могутъ сообщить полнаго понятія о первомъ крупномъ произведеніи Тургенева, но во всякомъ случаѣ они познакомятъ насъ со впечатлѣніями первыхъ читателей романа, который Тургеневъ предпочелъ не отдавать въ печать.

Въ письмѣ отъ 16-го октября 1852 года Тургеневъ благодарилъ К. С. Аксакова за его откровенный отзывъ о „Запискахъ Охотника“ (см. выше письмо К. С. Аксакова отъ начала октября 1852 г.) и затѣмъ говорилъ своему корреспонденту слѣдующее: „Зачѣмъ же я издалъ ихъ? спросите вы... А затѣмъ, чтобы отдѣлаться отъ нихъ, отъ этой *старой манеры*. Теперь эта обуза сброшена съ плечъ долой. Но достанетъ ли у меня силъ идти впередъ, какъ вы говорите,— не знаю. Простота, спокойство, ясность линій, которая дается увѣренностью, все это еще пока идеалы, которые только мелькаютъ передо мною. Я оттого между прочимъ не приступаю до сихъ поръ къ исполненію моего романа, всѣ стихіи котораго давно бродятъ во мнѣ, что не чувствую въ себѣ ни той свѣтлости, ни той силы, безъ которыхъ не скажешь

ни одного *прочнаго* слова". Это былъ первый намекъ, который Тургеневъ сдѣлалъ Аксаковымъ на счетъ задуманнаго имъ романа. Но еще раньше, чѣмъ были написаны сейчасъ приведенныя строки, о замыслѣ Тургенева было извѣстно одному изъ ближайшихъ его друзей, П. В. Анненкову, и послѣдній горячо привѣтствовалъ новое намѣреніе автора „Записокъ Охотника". Вотъ что̀ писалъ онъ ему 12-го октября 1852 года, по прочтеніи тѣхъ же „Записокъ" въ отдѣльномъ изданіи: „Вообще книга ваша, по моему мнѣнію, останется въ литературѣ, какъ и имя ваше, съ почетною строкой: это безъ низости говоря. Но теперь, кажется, слѣдовало бы дописать книгу и додѣлать свое имя. Нужно бы, кажется, убить въ себѣ сочинительство, которое въ послѣднее время, какъ будто на оборотъ сильнѣе въ васъ становится („Пѣвцы", „Сцена на дорогѣ", „Три Встрѣчи"). Теперь, сдается мнѣ, нужно вамъ беречься его пуще огня, если я только не вру. Въ послѣднемъ случаѣ можете плюнуть и сказать: „человѣкъ съ ума сошелъ, однако же во мнѣ интересуется",—и будете правы. Я рѣшительно жду отъ васъ романа съ полною властью надъ всѣми лицами и надъ событіями и безъ наслажденія самимъ собою (то-есть, своимъ авторствомъ), безъ внезапнаго появленія оригиналовъ, которыхъ вы ужь черезчуръ любите,—потому что и оригиналы родятся и живутъ безъ особенныхъ знаковъ на себѣ и волненія на землѣ, и наконецъ, чтобъ мизеріи, противорѣчія и нелѣпости жизненныя не выставляли себя на показъ и не кокетничали своимъ безобразіемъ, какъ это у васъ иногда выходитъ, а ложились удивительно обыкновенно, не подозрѣвая, чтобы можно было на нихъ смотрѣть. И такой романъ вы напишите непремѣнно, если подумаете, что некому другому написать его, что надобно занять въ жизни все то мѣсто, которое по росту приходится, что наступаетъ пора зрѣлости таланта (а его не мало, parole d'honneur!), у котораго, какъ и у хозяина его, сѣдина показывается, не смотря, что тому и другому считаютъ 28 лѣтъ или около. И съ такимъ романомъ „Записки Охотника" дѣлаются вдвойнѣ замѣчательными: это—книга, и это—ступень, а безъ романа

они все-таки останутся канатомъ, на которомъ когда-то умный и ловкій танцоръ плясалъ до поту лица. Такіе канатики въ меньшихъ размѣрахъ были у Беницкихъ, Нарѣжныхъ и проч.,— ихъ стащили съ нихъ замертво. Да и на что смотрѣть, когда нѣтъ развитія?“

Ободренія, читаемыя въ письмѣ Анненкова, были однако почти излишними: въ зиму 1852 — 1853 годовъ Тургеневъ усиленно работалъ надъ своимъ романомъ, и въ письмѣ отъ 23-го апрѣля 1853 года уже могъ извѣстить Аксаковыхъ, что романъ его переписывается, а полтора мѣсяца спустя, въ письмѣ отъ 5-го іюня, онъ уже увѣдомлялъ Сергѣя Тимоѳеевича, что кончилъ первую часть романа и отослалъ ее на прочтеніе Анненкову, который долженъ былъ затѣмъ препроводить рукопись Аксаковыхъ. Затѣмъ въ письмѣ отъ 29-го іюня Тургеневъ спрашивалъ Сергѣя Тимоѳеевича: „Получили ли вы черезъ Кетчера первую часть моего романа, или нѣтъ еще? Анненковъ давно ее прочелъ и уже написалъ мнѣ о ней свое мнѣніе, весьма дѣльное и справедливое. Я бы сказалъ вамъ, что именно онъ критикуетъ, но мнѣ хочется посмотрѣть, сойдетесь ли вы съ нимъ въ воззрѣніи на мою посильную работу. Жду вашего приговора съ нетерпѣніемъ. По прочтеніи пришлите романъ ко мнѣ, если Кетчеръ не сказалъ вамъ, чтобы вы его ему возвратили“.

Отзывъ Анненкова, изложенный въ письмѣ отъ 1-го іюня 1853 года, заключался въ слѣдующемъ: „Браво, Иванъ Сергѣевичъ! Во-первыхъ, есть превосходныя мѣста, каковы всѣ, гдѣ является Чермакъ, какова прогулка на ферму, какова сама барыня — типъ новый и который, будучи разработанъ впослѣдствіи, что несомнѣнно, сдѣлается еще выпуклѣе и оригинальнѣе. Но есть и длинноты, не сами по себѣ, а въ экономіи романа, сколько могу судить. Два раза начинаете вы исторію жизни лицъ—сперва барыни, и это хорошо, потомъ лектрисы, и это нехорошо — по моему, разумѣется. Знаете что? Откровенно скажу: мнѣ всегда на душѣ непріятно, когда авторъ начинаетъ біографію героини. Тутъ всегда больше литературнаго плутовства, чѣмъ дѣла, а потомъ тутъ натуга, усиливаніе, задобриванье читателя, себя оправданіе, то-есть,

множество мерзостей, описанію не поддающихся. Какъ уже хотите, а изъ біографіи лектрисы вамъ рано или поздно придется поубавить многое. Напримѣръ, къ чему всѣ влюбляются въ нее? Чтобы оправдать, что у Гагиной всѣ влюбляются въ нее? Да это не надобно. Извѣстно, коль въ деревню явилась дѣвушка, мужескъ полъ весь влюбленъ въ нее, и это еще эффектнѣе для читателя было бы. Ну, а молодца Митю вы, наоборотъ, кажется, не дописали. Я тамъ не знаю, что̀ онъ будетъ, хоть и догадываюсь маленько, но и теперь есть въ романѣ одна пропущенная глава, и притомъ еще превосходнѣйшая во всѣхъ отношеніяхъ: воспитаніе Мити. Написанная безъ всякихъ примѣненій къ 26-лѣтнему Митѣ и безъ всякихъ намёковъ на будущее, эта превосходная глава еще ярче выставитъ фигуру барыни и пояснитъ Митю. А то онъ охотится и дичится, все какъ будто говоря про себя: „Посмотрите, какую штуку я выкину!“ Затѣмъ, нѣсколько фразъ, впрочемъ, милѣйшаго Нилушки, какъ придуманныхъ, можно исключить, и у другихъ нѣсколько выраженій, какъ-то похожихъ на фіоритуры. Я отмѣтокъ не дѣлалъ. Зачѣмъ марать рукопись? Все это мелочи — и пропадутъ сами собой, когда рукопись, погулявъ по свѣту, опять къ вамъ придетъ. Но успѣхъ замѣчательный и въ описаніяхъ природы, теплыхъ и вѣрныхъ, и въ тонѣ разсказа, и въ постановкѣ лицъ. Я вамъ предрекаю, что первая часть романа не будетъ имѣть успѣха, то-есть, огромнаго, разумѣется, теперь. Она больно ровна, мало спѣшитъ, краски сливаются и пропадаютъ сами собой въ другихъ. Все это откроется впослѣдствіи, какъ романъ будетъ конченъ. Вотъ первое впечатлѣніе, произведенное во мнѣ чтеніемъ: берите его, какъ есть, а вѣрно оно, или нѣтъ,—сами разсудите. Я же за своимъ мнѣніемъ и гоняться не намѣренъ. Многое еще и другое хотѣлось бы сказать, да вѣдь на письмо есть границы. Кстати о границахъ. Вотъ какое положеніе думалъ я еще сказать: надо писать для печати. Эта пошлость перестаетъ быть пошлостью, когда вспомнишь, что дѣло идетъ не о капризѣ или нелѣпости того или другого исполнителя, а объ общемъ правилѣ, вѣскомъ и неизбѣжномъ. Нельзя же быть пошлецомъ и сожалѣть, что

дѣти ро́дятся не изъ-подъ мышки, и плакаться на это. Но объ этомъ въ другое время. Я далъ вашъ романъ Коршу, который, вмѣстѣ съ семействомъ, жаждалъ его видѣть. Послѣ нихъ перешлю къ Кетчеру".

Мѣсяцъ спустя, въ письмѣ отъ 6-го іюля, Анненковъ снова писалъ Тургеневу: „Романъ вашъ я уже переслалъ къ Кетчеру. Вотъ еще замѣтка. Коршъ, безъ предварительной сговорки, тоже замѣтилъ, что лицо Мити колеблется, а не стоитъ передъ глазами. Онъ при этомъ и мысль выразилъ, по моему, справедливую. Есть большая разница—подготовлять читателя къ полному объясненію лица, или оставлять его въ недоумѣніи. Послѣднее точно никогда не должно быть и есть ошибка. Съ перваго же раза надо видѣть, съ кѣмъ имѣешь дѣло, и этой бѣдѣ легко пособить въ Митѣ перестановкой главы о воспитаніи, что̀ мнѣ кажется совершенно необходимо. Вы спрашиваете: цензурна ли, или нѣтъ—ваша повѣсть? И да, и нѣтъ,—смотря по тому, что̀ будетъ въ цѣломъ. Если выйдетъ частность, случай, исключеніе — нѣтъ; если похожее на дѣло общее, на возможность существованія во многихъ углахъ—да, принимая уже, разумѣется, осторожность изложенія въ обоихъ случаяхъ главнымъ дѣломъ. Такъ, кажется, по крайней мѣрѣ должно разумѣть цензурную мысль вообще, да и такъ почасту она проявляется. Поэтому, сдается мнѣ, барыня въ своей конторѣ не будетъ пропущена, а барыня на прогулкѣ будетъ пропущена, хотя въ послѣдней барыня гнуснѣе, и отъ нея болѣе тошнитъ, чѣмъ отъ первой барыни. Долго пояснять мое положеніе, да вы отгадаете сами все нужное и даже ненужное въ немъ".

Пересланная въ Москву, рукопись романа не сразу попала въ руки Аксаковыхъ. Прежде чѣмъ дойти до нихъ, она была прочитана П. Х. Кетчеромъ и В. П. Боткинымъ, и оба они не замедлили сообщить Тургеневу свои отзывы о прочитанномъ. Мы не имѣемъ въ рукахъ письма Кетчера, но изъ письма Анненкова къ Тургеневу отъ 20-го іюля можно отчасти составить себѣ понятіе о сужденіи Кетчера: вѣроятно, Тургеневъ сообщилъ Анненкову сущность Кетчерова мнѣнія. На это-то сообщеніе и отвѣчалъ Анненковъ слѣдующими словами:

„Любезный мой Тургеневъ! Васъ бѣднаго изругали изъ Москвы; это обыкновенно тамъ такъ водится. Городъ православный: пюргатуара не допускаетъ—будь или угодникъ, или грѣшникъ; но, Господи, Твоя воля! гдѣ же видано, чтобъ писателя, который не Данилевскій, не Станицкій и не графиня, судить одними только отрицаніями:, не, не... и пр.? Этого не понимаю. Такъ позволительно дѣлать только дружбѣ. Если бы Кетчеръ былъ человѣкъ менѣе откровенный и доблестный, онъ былъ бы вшестеро умнѣе. Я представлю себѣ Гёте или Шекспира съ Кетчеромъ подъ бокомъ: они не написали бы ни строчки. Я понимаю, почему ему не нравится прогулка барыни: все, что глаза не выжигаетъ, для него кисель. Онъ въ литературѣ любитъ париться въ два вѣника, такъ чтобы съ перваго же томика его замертво на улицу вытащили. Аксаковъ, вѣроятно, дастъ вамъ замѣтить, что въ романѣ нѣтъ простосердечія и наивности разсказа, которыя онъ больно любитъ (и справедливо!), да для которыхъ надобно иногда, чтобъ голова десять лѣтъ сряду только *Вѣдомости* читала да „Пана Твардовскаго“ смотрѣла. Не всякому это досталось. Одинъ отъ физической боли только плачетъ, а другой только бѣсится,—тутъ ужъ ничѣмъ не поможешь. Но для разныхъ толковъ оставлять развитіе романа, всѣ комбинаціи и сцены, которыя уже болѣе никуда не будутъ годиться,—это тоже непонятно для меня. Тутъ у васъ и робость, и тщеславіе дѣтскія, смѣю молвить—робость погрѣшить въ созданіи, тщеславіе показаться передъ людьми съ прорухой. Господи, да какъ же это можно? Погибъ на вѣкъ! Будетъ ревѣть Кетчеръ, шипѣть Боткинъ, бѣсноваться Григорьевъ, а Аранетовъ замѣтитъ, что у русскихъ писателей вообще недостаетъ аристократической ровности. Для этого пропадай все добро и все, что можетъ явиться добраго еще, и все, что уже съ годъ придумано и продумано. Какъ баба въ „Ревизорѣ“, вы можете сжечь свой романъ и сказать: мнѣ отъ своего счастія неча отказываться; но только на человѣка, знающаго, что онъ дѣлаетъ, походить не будете“.

По этимъ строкамъ можно догадываться, что даже сужденіе Кетчера привело Тургенева въ смущеніе, и едва ли онъ

не намекнулъ Анненкову на возможность бросить начатый романъ въ огонь. Но еще сильнѣйшее огорченіе ожидало автора отъ отзыва Боткина. Между тѣмъ, какъ Анненковъ выражался предъ Тургеневымъ осторожно и распространялся больше о хорошихъ сторонахъ романа, чѣмъ объ его недостаткахъ, Боткинъ высказалъ Тургеневу очень строгое сужденіе объ его произведеніи.

„Вчера“, писалъ онъ ему 18-го іюля 1853 года,—„кончилъ я I-ю часть романа, и, несмотря на полную свѣжесть впечатлѣнія, мнѣ очень трудно тебѣ передать его. Начну съ того, что онъ читается безъ увлеченія, потому что ни одно изъ лицъ его не возбуждаетъ ни большого участія, ни большого любопытства. Конечно, Глафира Ивановна любопытна, но какъ патологическій субъектъ. Дмитрій Петровичъ вообще теменъ и неопредѣленъ; мотивы его нравственнаго состоянія, высказанные имъ, слабы и бѣдны. Его первоначальное свинство съ Елизаветой Михайловной трудно соединить съ его въ сущности хорошею натурой; вообще все отношеніе его къ Елизаветѣ Михайловнѣ отзывается придуманностью автора и имѣетъ характеръ не правды и жизни, а сочинительства. Ожесточенность, которую предполагаетъ онъ въ себѣ, едва ли могла въ какой-нибудь мѣсяцъ, и такъ внезапно, растаять отъ страсти его къ Елизаветѣ Михайловнѣ. Если его натуру, повѣривъ словамъ его, принять за серьезную, а не просто за капризную и пустоватую, то трудно отыскать тѣ причины, которыя не дали ему вырваться изъ-подъ невыносимой опеки Глафиры Ивановны. Правда, что онъ самъ себя называетъ „слабымъ, ничтожнымъ и презрѣннымъ человѣкомъ“, но развѣ отъ этого онъ становится интереснѣе? Да для читателя и недостаточно, что онъ только *называетъ* такимъ себя самъ; читатель все-таки не знаетъ о немъ положительно, что̀ онъ такое; не знаетъ, принимать ли сужденіе о себѣ Дмитрія Петровича за правду, или только за гиперболы покаянія, которыя легко могли оказаться въ такомъ взрывѣ признанія. А первая часть должна, по крайней мѣрѣ, отчетливо обрисовать дѣйствующія лица. Такая же неопредѣленность или, точнѣе, силуэтность лежитъ и на лицѣ Елизаве-

ты Михайловны. Участіе и любопытство, возбуждаемыя ею, очень слабы. Я понимаю эту нравственную твердость души, которую она рѣшилась сохранить въ своей жизни, но для привлекательности женщины, для героини романа мало ея одной. Она возбуждаетъ сколько угодно уваженія и почтенія, но необходимый холодъ, ее окружающій, невольно холодитъ къ ней и чувство читателя. Словомъ, это лицо такъ смутно очерчено, что оно не любопытно, не интересно и не привлекательно. Весьма естественно, что она полюбитъ Дмитрія Петровича. Извѣстно, что женщины съ твердымъ умомъ и характеромъ любятъ обыкновенно мужчинъ недалекихъ и слабохарактерныхъ; но, судя по тому, что̀ она въ первой части, она едва ли сдѣлается отъ этого интереснѣе. Главная же бѣда во всемъ этомъ та, что нигдѣ не чувствуется поэтической струи, нигдѣ ни малѣйшаго ея слѣда и признака, равно какъ нигдѣ не слышно юмористическаго элемента. Правда, что лучше и подробнѣе всѣхъ отдѣлано лицо Глафиры Ивановны. Это славный этюдъ, но только этюдъ, потому что сознаніе читателя никакъ еще не можетъ собрать черты ея въ одну рѣзко-опредѣленную форму, въ одинъ ясный типъ; онѣ какъ-то разсыпаются на множество мелкихъ частностей, дробятся, не засѣдая цѣликомъ въ воображеніи читателя, который все-таки не знаетъ, что̀ она такое въ сущности. Я уже не говорю о подробныхъ и растянутыхъ описаніяхъ, которыя попадаются безпрестанно; не говорю о манерѣ объ всемъ только разсказывать, а не представлять. Описанія,—разумѣется, кромѣ картинъ природы,—большею частію вялы, безполезно длинны и безцвѣтны. Спросивъ самого себя: возбуждаютъ ли эти лица любопытство узнать ихъ дальнѣйшую судьбу, я принужденъ былъ отвѣчать: нѣтъ, не возбуждаютъ. Потомъ я спросилъ себя: обѣщаютъ ли, по крайней мѣрѣ, эти характеры, въ томъ видѣ, какъ выставилъ ихъ авторъ, серьезный и глубокій драматическій интересъ? И на этотъ вопросъ невольно отвѣтилъ себѣ: нѣтъ, не обѣщаютъ. А причиной этому, мнѣ кажется, слабость собственно романической стороны, именно—блѣдность Дмитрія Петровича и Елизаветы Михайловны. Ихъ постоянно затемняетъ собою яркое и несравненно сильнѣе всѣхъ

нарисованное лицо Глафиры Ивановны. Ее хотя сколько-нибудь понимаешь, а прочіе болѣе похожи на маріонетки, которыхъ заставляетъ двигаться и говорить авторъ. Извѣстно, что интересъ романовъ заключается или въ событіяхъ, или въ драматическихъ столкновеніяхъ данныхъ характеровъ. Но развѣ Дмитрій Петровичъ—характеръ? Дѣло, разумѣется, не въ слабости или силѣ, а въ опредѣленности характера. Я, по крайней мѣрѣ, не знаю, что̀ это за человѣкъ. Наконецъ, во всей этой части я не вижу твоей манеры, отличительную черту которой составляетъ тонкій артистическій юморъ, который безпрестанно задѣваетъ читателя то оригинальною метафорой, то неожиданнымъ сравненіемъ, то поэтическимъ, быстро мелькающимъ взглядомъ (и тѣмъ оно дороже!) и постоянно держитъ умъ его en éveil. Увы, въ первой части этого почти нѣтъ! Повѣствованіе тянется все біографически, обстоятельно, добросовѣстно, трудолюбиво и рутинно, и только изрѣдка прерываютъ эту монотонность небольшія и всегда граціозныя картины природы. Заключу совѣтомъ: положи рукопись, и черезъ шесть мѣсяцевъ прочти. „Но неужели же ничего хорошаго“? спросишь ты. Есть, да все это пока на второмъ планѣ. Очень хорошо задуманно и начинаетъ вырисовываться лицо Чермака; но не понятно, почему имѣетъ къ нему такое довѣріе Глафира Иванова. Прочія лица—легкіе силуэты“.

Въ концѣ письма Боткинъ требовалъ отвѣта на него со стороны Тургенева. Но, по видимому, такого отвѣта не послѣдовало, и, судя по дальнѣйшимъ письмамъ Боткина, никакихъ объясненій между нимъ и авторомъ романа на эту тему не происходило. Отзывъ Боткина дѣйствительно переступалъ предѣлы умѣренности и едва ли былъ безпристрастенъ. Понятно, что Тургеневъ задѣтъ былъ имъ за живое, но, по видимому, не отнесся къ нему съ тою уступчивостью, какую онъ не разъ обнаруживалъ предъ требованіями критики. Чтобы лучше разобраться въ дорогомъ ему дѣлѣ, онъ отдалъ его на судъ Анненкова и передалъ ему письмо Боткина. Анненковъ отвѣчалъ Тургеневу 14-го августа въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „Я получилъ, милый Тургеневъ, ваше доброе письмо, и за желаніе посвятить мнѣ романъ—

спасибо. Онъ сдѣлался для васъ нравственнымъ вопросомъ; акъ я думалъ и съ самаго начала. Будемъ же разсуждать, ’il vous plaît. Прежде всего, Боткинъ правъ, когда гово-итъ, что Митя не ясенъ, и что героиня вселяетъ уваженіе, мѣсто интереса; но объ этомъ, кажется, и отсюда было пи-ано. Не ясенъ Митя потому, что врывается въ романъ какъ будто съ затверженною ролью; а если главой о воспитаніи и первомъ житьѣ-бытьѣ вы поясните, почему приведенъ онъ былъ замѣстить волю капризомъ, врожденную застѣнчивость— грубымъ обращеніемъ, нравственное чувство—тупымъ норо-вомъ, и почему фактически не можетъ имѣть онъ уваженія къ себѣ, понятія о достоинствѣ и прямоты, естественности дѣйствій, то онъ будетъ ясенъ. Въ отношеніи его вы начали съ конца, вмѣсто того, чтобъ начать съ начала, и поторопились сказать результатъ: это—ошибка. Вы ее исправьте. Въ отно-шеніи героини—всю ея біографію надо выкинуть за окно и оставить ее дѣйствовать съ чертами твердости, съ пугли-востью къ окружающимъ; тутъ она выражаетъ себя. Это на оборотъ съ Митей: пусть она падаетъ съ облаковъ, потому что ея психическое состояніе въ чужомъ домѣ ясно безъ освѣ-щенія предварительнаго. Только одно: изъ желанія сдѣлать характеръ, противуположный съ характеромъ Мити, не надо забывать, что такія натуры, какова героиня, близки къ су-хой методичности, къ отвращенію отъ животной стороны че-ловѣчества, боятся чиха всякаго, и что онѣ способны быть гиранками, будучи вмѣстѣ страстными, красивыми и даже граціозными персонами. Это—недостатокъ качествъ, какъ го-ворятъ французы, и эта сторона, о которой вы уже думали, вѣроятно, и безъ меня, снимаетъ съ нихъ тѣнь идеализаціи и составляетъ ихъ особенность отъ „Племянницъ“ и др. Все остальное въ письмѣ Боткина до романа не относится, а по-рождено посторонними обстоятельствами, и слѣдующими: 1) упреки въ недосказанности на счетъ барыни и Чермака — тѣмъ, что вы послали на разсмотрѣніе одну часть, а ее, по прежнимъ примѣрамъ, разсматриваютъ уже какъ цѣлое, и это васъ впередъ научитъ не посылать однѣхъ первыхъ частей на разсмотрѣніе; 2) упреки въ біографической сухости —

тѣмъ, что первая ваша манера такъ вкоренилась у всѣхъ, что гдѣ ея нѣтъ, тамъ, кажется, и ничего нѣтъ. Но возратиться назадъ—вы сознаете—нѣтъ возможности, и я радуюсь этому. Да! На концѣ первой манеры вашей лежитъ пошлость (NB. Боткинъ самъ это говорилъ, entre nous soit dit), и съ утратой свѣжести въ краскахъ и милыхъ задирокъ молодости она оканчивается въ безразличномъ болотѣ анекдотовъ-куликовъ, которымъ не пропѣть уже по соловьиному. Довольно и этого. Но все-таки впечатлѣніе незанимательности должно огорчить васъ. Не вѣрьте этому. Оно произошло оттого, кажется, что вы слишкомъ усердно принялись за романъ, присѣли добросовѣстно за него, и прилежаніе повредило тутъ. Я беру даже мѣста, гдѣ долго поработали вы, и они вышли мѣста растянутыя: таково описаніе дома, но это—поправка одного утра, не болѣе. Такъ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, которыхъ не упомню. Какъ пристяжная хорошей крови, вы вытянули постромки съ первой версты. Но развѣ въ этомъ состоитъ незанимательность? И особенно въ писателѣ, qui a fait ses preuves, развѣ этого рода недостатки значатъ что-нибудь, такъ какъ отсѣчь ихъ—минутное дѣло? Незанимательность лежитъ въ пошлости лицъ, въ пошлости ихъ отношеній, въ пошлости основной мысли произведенія. Объ авторѣ „Записокъ Охотника“, безъ комплиментовъ говоря, можно говорить, что характеръ не додѣланъ, мало или слишкомъ освѣщенъ, но говорить объ незанимательности есть или барская резолюція, или изнѣженная придумка, какъ у Боткина. Не вѣрьте незанимательности разсказа. Какъ подумаешь, какъ еще абстрактны многіе изъ нашихъ друзей, не смотря на стремленіе къ реализму, доходящее иногда до уродливости! Въ сужденіи, въ пониманіи все—абстрактъ; ни малѣйшаго вниманія на причины, ни малѣйшаго соображенія замысла, положенія автора, а отсюда—приговоръ, но не пособіе, опредѣленіе, а не указаніе, казнь, а не совѣтъ. И все пошло къ чорту грубо, односторонне, отвлеченно, а стало быть, невѣрно, ложно и гадко, ей Богу!—А результатъ многословія сего—тотъ: хотя бы вамъ пришлось передѣлать всю первую часть, передѣлайте ее, но дальнѣйшаго развитія интриги и

замысла ни подъ какимъ видомъ не оставляйте. Въ нихъ слышится живое трепетаніе жизни, а не звуки, испускаемые иногда и мертвымъ: вѣрьте мнѣ. Сдѣлайте ихъ цензурнѣе и пустите въ публичный оборотъ. Это всего вѣрнѣе. Публичный оборотъ важнѣе ареопага-изъ пятнадцати Гёте, изъ дюжины критиковъ. Для кого вы пишете? Для меня, для А, для В? Да вы знаете хорошо, что вы хоть лопните отъ усердія, а я и А и В всегда найдемъ, чѣмъ васъ отравить на пріятельскомъ ужинѣ. Вы сами точно также устроены и знаете, какъ только въ рукахъ книга, и пошли вставать образы, лица, вопросы, допросы и проч. Ни себя, ни насъ вы никогда не удовлетворите. Зачѣмъ же добиваться этого съ такою горячностью? Это ли—послѣднее слово созданія? Эта ли—цѣль его? Цѣль есть публичный оборотъ мысли, которая и растетъ, и крѣпнетъ вмѣстѣ съ расширеніемъ оборота. И вѣрьте: когда въ публичности начинаетъ возникать сочувствіе, то всѣ такіе умники, какъ А, В и азъ, если хотите, начинаютъ умолкать, пристыжаться, и стоятъ, какъ ребенокъ передъ розгой, съ половину спущенными штанами. Вотъ чего должно добиваться!.. Итакъ, объяснивъ, сколько могъ, мысль мою, оставляю вамъ разсуждать о приличіи и сущности ея, о чемъ и увѣдомьте".

Надобно отдать справедливость Анненкову, что онъ умѣлъ мастерски, что̀ называется, разговорить Тургенева, успокоить его волненіе, возбужденное письмомъ Боткина. Мастерство гретейскаго судьи проявляется здѣсь тѣмъ ярче, что, возражая противъ нѣкоторыхъ положеній Боткина, онъ въ то же время присоединился ко многимъ его замѣчаніямъ, но только облекъ ихъ въ болѣе мягкую форму, въ форму не порицаній, а дружескихъ совѣтовъ. Все это, вмѣстѣ съ письмами Аксаковыхъ, въ которыхъ также говорилось о романѣ тономъ сочувствія, и которыя пришли къ Тургеневу раньше послѣдняго письма Анненкова, должно было подѣйствовать успокоительно на встревоженнаго автора. Объ этомъ можно заключать, между прочимъ, и по тому письму Тургенева (отъ 30-го августа), которымъ онъ отвѣчалъ Аксаковымъ на ихъ отзывъ о романѣ. „Съ вашими замѣчаніями", писалъ онъ

Сергѣю Тимоѳеевичу,—„я согласенъ и только выгораживаю одно: въ мою героиню (которую, впрочемъ, я всю передѣлаю) въ сущности не влюбляется *никто*,—и менѣе всѣхъ Дмитрій Петровичъ, который, напротивъ, ее также капризно возненавидитъ, а чтобы пояснить это лицо, я въ первой же части помѣщу главу о его воспитаніи, которою я предполагалъ начать 2-ю часть. Сцена объясненія вамъ теперь, вѣроятно, станетъ понятнѣе,—хотя, видно, ее тоже нужно перенначить, чтобы не оставлять читателя въ сомнѣніи. Главныя мои лица—Чермакъ, Дмитрій Петровичъ и Глафира Ивановна. Въ нихъ я, если могу, постараюсь выразить современный бытъ, какимъ онъ у насъ *выродился*“.

Уже изъ этихъ словъ видно, впрочемъ, что критическія замѣчанія, посыпавшіяся на романъ Тургенева, оставили въ авторѣ глубокій слѣдъ и возбудили его мнительность. Еще яснѣе свидѣтельствуютъ о томъ дальнѣйшія письма Тургенева къ Аксаковымъ; такъ, 6-го октября онъ писалъ: „Стану передѣлывать, а потомъ, если Богъ дастъ, и продолжать свой романъ. Я еще не получилъ обратно рукописи, но надѣюсь, что она скоро явится. Въ моемъ послѣднемъ письмѣ было сказано нѣсколько словъ на счетъ вашихъ замѣчаній,—теперь же не хочется больше говорить, а дѣлать; письма ваши прочтены мною не разъ,—и многое принято къ свѣдѣнію“. Затѣмъ, въ письмѣ отъ 14-го ноября читаемъ: „Я въ Орелъ повезу свой романъ, который я во многомъ передѣлаю. Я немного охладѣлъ къ нему,—однако чувствую, что надо его кончить и развить тѣ характеры и мысли, которые только еще обозначены въ первой части“.

Охлажденіе, о которомъ упоминаетъ Тургеневъ въ приведенныхъ строкахъ, было роковымъ признакомъ. Безъ сомнѣнія, онъ еще продолжалъ нѣкоторое время думать о своемъ романѣ, и еще полтора года спустя, въ письмѣ къ С. Т. Аксакову отъ 2-го іюня 1855 года, снова упоминалъ, что намѣренъ передѣлать романъ съ основанія; но мало по малу творчество его обратилось къ другимъ созданіямъ, въ которыхъ онъ и обнаружилъ свою „новую манеру“; успѣхъ ихъ былъ такъ блестящъ, что естественно заслонилъ собою

для автора первую попытку его въ области романа, которая такъ и не увидѣла свѣта.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское. 30-го августа 1853 г.

Если я такъ долго не писалъ вамъ, любезный и добрый Сергѣй Тимофѣевичъ, если я и теперь напишу вамъ очень мало—пожалуйста, не думайте, что я забылъ васъ, и въ особенности не думайте, что я не благодаренъ вамъ и вашему сыну за ваши дѣльныя и славныя письма. Но вотъ въ чемъ дѣло: Тютчевъ, которому я поручилъ-было управленіе моимъ имѣніемъ, отъ меня отходитъ—и теперь это все падаетъ на меня. Я все это время ѣздилъ по деревнямъ, не охотился, и теперь у меня въ головѣ одно хозяйство, разсчеты, счеты и т. д. Такъ что ни о чемъ литературномъ я и подумать—пока—не въ состояніи. Предоставляю себѣ впослѣдствіи поговорить съ вами о моемъ романѣ, но теперь же скажу, что съ вашими замѣчаніями я согласенъ и только выгораживаю одно: въ мою героиню (которую, впрочемъ, я всю передѣлаю) въ сущности не влюбляется *никто*—и менѣе всѣхъ Дмитрій Петровичъ, который, напротивъ, ее такъ же капризно возненавидитъ; а чтобы пояснить его лицо, я въ первой же части помѣщу главу о его воспитаніи, которою я предполагалъ начать 2-ую часть. Сцена объясненія вамъ теперь, вѣроятно, станетъ понятнѣе — хотя видно, ее тоже нужно переиначить, чтобы не оставлять читателя въ сомнѣніи. Главныя мои лица: Чермакъ, Дмитрій Петровичъ и Глафира Ивановна. Въ нихъ я, если смогу, постараюсь выразить современный бытъ, какимъ онъ у насъ *выродился*".

Но все это въ будущемъ—а въ настоящемъ пропасть занятій, интересныхъ и любопытныхъ, если хотите, но съ непривычки обременительныхъ. И потому извините меня, если я больше не прибавлю словъ. Присылайте мнѣ мой романъ, если онъ еще у васъ, *пишите мнѣ* и вѣрьте въ искреннюю и неизмѣнную дружбу вашего и т. д.

P. S. Рукопись „Постоялаго Двора" будетъ вамъ выслана изъ Москвы г. Ѳеоктистовымъ.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское. 6-го октября 1853.

Съ перваго сентября не писалъ я къ вамъ, любезный и добрый мой Сергѣй Тимофѣевичъ (и то я отвѣчалъ тогда очень коротко на ваши большія письма)—это ни на что не похоже! Но вѣдь вы уже знаете, что я теперь самъ занимаюсь хозяйствомъ—и потому не взыщете на меня. Я въ ужасныхъ былъ хлопотахъ все это время—и теперь едва начинаю привыкать къ новому моему положенію. Стерпится-слюбится. Но пока тяжеленько, особенно при наступившей снова холодной осенней погодѣ — и въ одиночествѣ. Вѣтеръ такіе выводитъ переливы, что невозможно не воскликнуть иногда невольно: фу! какъ гадко и скучно и холодно и непріязненно жить на землѣ! Точно та „волшебница“ зима, о которой говорилъ Пушкинъ, выслала впередъ свою злую дворную собаку—и сидитъ она, и воетъ передъ каждымъ домомъ, возвѣщая прибытіе своей хозяйки и злобно скучая о ней. Вотъ-вотъ—вишь какъ высоко забираетъ! Надо встряхнуться и думать о другомъ.

Скажу вамъ о себѣ, что я намѣренъ или, выражаясь точнѣе, принужденъ прожить въ деревнѣ до Новаго года,— а тамъ съѣзжу недѣль на шесть въ Орелъ—и останусь тамъ, между прочимъ, для выборовъ. Этого я никогда не видалъ, а говорятъ — любопытное зрѣлище. Могу сказать, что я стараюсь не упускать никакого случая извлекать изъ провинціальной жизни всевозможную пользу. Я познакомился съ великимъ множествомъ новыхъ лицъ и ближе сталъ къ современному быту, къ народу.

Съ наступленіемъ зимы наступитъ для меня литературная работа, которую я совсѣмъ-было бросилъ въ это послѣднее время. Стану передѣлывать, а потомъ, если Богъ дастъ, и продолжать свой романъ. Я еще не получалъ обратно рукописи, но надѣюсь, что она скоро явится. Въ моемъ послѣднемъ письмѣ было сказано нѣсколько словъ насчетъ вашихъ замѣчаній—теперь же не хочется больше говорить, а дѣлать: письма ваши перечтены мною не разъ — и многое принято къ свѣдѣнію. Кончу я также обѣщанныя статьи для вашего

„Сборника“—лишь бы новыя занятья мои не развлекли меня. Любопытно мнѣ также знать, что̀ ваша статья о Державинѣ? Я чай, вы тоже полѣнились, то-есть удили рыбу—я охотился мало и неудачно. Вальдшнеповъ—послѣдней нашей радости—совсѣмъ почти не было.

Извѣстите меня о себѣ и о семействѣ вашемъ. На дняхъ мы много говорили обо всѣхъ васъ съ П. В. Кирѣевскимъ, который пріѣзжалъ ко мнѣ изъ своей орловской деревни. Что̀ за милый и чистый человѣкъ!

Это письмо будетъ отправлено къ вамъ изъ Москвы—или доставлено прямо вамъ въ руки, если вы въ Москвѣ. Его отвозитъ туда Тютчевъ, который сегодня (7-го октября) уѣзжаетъ. Когда увижу я васъ?—Господь знаетъ; а какъ бы мнѣ этого хотѣлось!

Прощайте пока, добрый Сергѣй Тимофѣевичъ. Кланяюсь вашимъ сыновьямъ, жму вамъ всѣмъ руки и желаю всего хорошаго. Будьте здоровы и не забывайте искренно любящаго васъ—

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

3-го ноября 1853.

Давненько не писалъ я къ вамъ, любезнѣйшій мой Иванъ Сергѣичъ! Даже не отвѣчалъ на два письма: отъ 30-го августа и отъ 6-го октября, чего со мной никогда прежде не бывало. Причина моего молчанія—самая непріятная для меня, то-есть, болѣзненность или хворость. Я боленъ съ 25-го августа; сначала страдалъ зубными, лицевыми и головными болями, которыя довели меня до сильнаго разстройства нервъ; сталъ было въ исходѣ сентября поправляться и понемножку удить, но вдругъ появилось другое зло, правда, не такъ мучительное, но едва ли не болѣе досадное: у меня раздражились и заболѣли оба глаза, и болятъ до сихъ поръ; съ 5-го октября я не знаю открытаго воздуха. Я не могу буквально ни читать, ни писать, къ чему я привыкъ въ послѣдніе два года, такъ что разучился диктовать, и это мѣшаетъ мнѣ съ удовольствіемъ заниматься. На первое письмо ваше скажу вамъ, что я отчасти радъ вашимъ хозяйственнымъ занятіямъ.

хотя они непріятно оторвали васъ отъ литературы и отъ охоты. Я не думаю, чтобы вы надолго обременили себя управленіемъ вашего имѣнія; вы, вѣроятно, найдете себѣ благонадежнаго помощника; но, по моему, очень важно то, что вы были принуждены войти во всѣ подробности сами и всмотрѣться въ дѣло поближе своими глазами. Второе письмо ваше, писанное съ оказіей, только третьяго дня привезли мнѣ изъ Москвы: гдѣ оно лежало—не знаю. Итакъ, съ наступленіемъ зимы вы принимаетесь за перо. Дай Богъ вамъ работать успѣшно. Я радъ, что вы не забываете о статьяхъ, обѣщанныхъ вами „Охотничьему Сборнику“. Я просилъ бы васъ заняться ими немедленно: онѣ послужили бы вамъ переходомъ къ серьезному занятію романомъ. Дозволеніе издавать „Сборникъ“ захрясло въ Министерствѣ Просвѣщенія, но я надѣюсь скоро получить его, и тогда работа пойдетъ живо. Падняхъ отправилъ я въ цензуру 2-е изданіе „Записокъ объ уженьѣ рыбы“. Я сдѣлалъ эту книжку почти вдвое толще и надѣюсь, что она выиграетъ своей полнотою. Если я ошибаюсь, то, разумѣется, вы скажете мнѣ правду. Въ непродолжительномъ времени у васъ будетъ неожиданный гость—вашъ полный тёзка: онъ отправляется, по порученію Географическаго Общества, описывать важнѣйшія ярмарки на югѣ Россіи. Онъ теперь въ Петербургѣ. Константинъ васъ обнимаетъ; онъ довольно работалъ, и первая часть „Грамматики“, кажется, готова. Этотъ, безъ сомнѣнія, важный и, по совѣсти скажу, даровитый трудъ непремѣнно будетъ встрѣченъ враждебно всею ученою кастой и не понятъ остальною публикой, ибо философскую грамматику трудно написать нефилософскимъ языкомъ. Недавно послалъ онъ статью объ этомъ же предметѣ, въ видѣ рецензіи на книгу г. Шафранова, въ Академію. Я никакъ не думаю, чтобы она приняла ее; я полагаю, напротивъ, что она, какъ бомба, упадетъ въ это ученое собраніе и все его разгонитъ. Во всякомъ случаѣ, эта статья будетъ напечатана, не смотря на скучныя хлопоты съ главнымъ управленіемъ цензуры. Константину необходимо закрѣпить печатью за собою тѣ мысли, которыя со временемъ, потерявъ свою дикость, будутъ приняты всѣми и даже при-

своены тѣми людьми, которымъ сначала показались онѣ чудовищными. Эта исторія повторяется съ Константиномъ постоянно съ самой ранней его молодости. Статью „Знакомство съ Державинымъ“ я пришлю вамъ съ Иваномъ: хотя эта тетрадь черновая, но Иванъ разберетъ и прочтетъ вамъ. „Постояльца Двора“ я еще не получалъ. Первая часть романа возвращена мною очень давно Кетчеру.

Не смотря на общее нежеланіе войны, исторія произвела войну. Весьма любопытно наблюдать, какъ всѣ человѣческіе разсчеты и усилія будутъ уничтожаться предъ неминуемымъ результатомъ внутреннихъ причинъ. Жаль только, что христіане, особенно православные, жестоко пострадаютъ отъ турецкаго фанатизма прежде, чѣмъ мы успѣемъ имъ помочь. Крѣпко васъ обнимаю. Вашъ душою *С. Аксаковъ*.

* * *

Сочиненіе С. П. Шафранова, которое разбиралъ К. С. Аксаковъ по порученію Академіи Наукъ, вышло въ 1852 году въ Москвѣ, подъ заглавіемъ: „О видахъ русскихъ глаголовъ въ синтаксическомъ отношеніи“. Поводомъ къ разбору было то, что Шафрановъ представилъ свой трудъ на соисканіе Демидовскихъ премій. Но К. С. Аксаковъ далъ отрицательный отзывъ, и премія присуждена не была. Аксаковъ напечаталъ свою рецензію особою брошюрой подъ заглавіемъ: „О русскихъ глаголахъ“ (М. 1855), послѣ долгаго разсмотрѣнія ея въ главномъ управленіи цензуры.

18-го ноября Тургенева посѣтилъ въ его Спасскомъ П. С. Аксаковъ и провелъ у него день; 20-го числа Тургеневъ написалъ о томъ его отцу, но не успѣлъ еще отправить свое письмо, какъ получилъ увѣдомленіе о Высочайшемъ разрѣшеніи выѣхать изъ деревни и прибыть въ Петербургъ. 23-го ноября Тургеневъ увѣдомилъ о томъ С. Т. Аксакова.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское. 14-го ноября 1853.

Очень было мнѣ пріятно получить отъ васъ, наконецъ, письмо, любезный Сергѣй Тимофѣевичъ, и очень непріятно узнать, что причиною вашего молчанія было ваше нездоровье. На-

дѣюсь, что установившаяся зима поможетъ вамъ,—лишь бы бѣлизна снѣга не повредила вашимъ глазамъ. Не оставляйте меня безъ вѣсти о себѣ.

Мой, какъ вы называете его, полный тёзка будетъ принятъ въ Спасскомъ съ отверзтыми объятіями. Кромѣ того, что я надѣюсь побесѣдовать съ нимъ, такъ какъ давно уже это мнѣ не удавалось—самъ по себѣ онъ очень мнѣ милъ и симпатиченъ. Порученіе ему досталось интересное, и я увѣренъ, что онъ превосходно его исполнитъ.

Я, кажется, уже писалъ вамъ, что я намѣренъ переѣхать на зиму въ Орелъ (я выѣзжаю отсюда послѣ Николина дня); что же касается до управленія дѣлъ моихъ, то я призвалъ на помощь дядю, брата моего отца, который при покойницѣ матушкѣ лѣтъ двадцать этимъ занимался. Видно, нашъ братъ щелкопёръ дѣйствительно ни къ какому дѣльному занятію не способенъ. — Что̀ дѣлать! Всего не соединишь и не обхватишь—и дай Богъ, чтобы въ своемъ-то, въ собственномъ ремеслѣ не дѣлалъ промаховъ на каждомъ шагу!

За литературу я только-что̀ начинаю приниматься—до сихъ поръ всякія дрязги сидѣли въ головѣ сиднемъ. Первое, что̀ я кончу—будетъ непремѣнно статья для вашего „Сборника“. Я въ Орелъ повезу также свой романъ, который я во многомъ передѣлаю. Я немного охладѣлъ къ нему—однако чувствую, что надо его кончить и развить тѣ характеры и мысли, которыя только еще обозначены въ первой части.

У насъ совершенно стала зима. Барометръ на 2 градуса выше „Яснаго“; обледенѣлыя деревья блестятъ на солнцѣ какъ стеклянныя—и снѣгъ все затянулъ твердой бѣлой корой. А завтра Введенье—или, какъ говорятъ, „Веденьё, которое ломаетъ леденьё“. На оттепель не похоже. Притомъ снѣгъ легъ не на сырую, а на сухую землю. Но вотъ увидимъ—а пока зимній путь чудный.

Доставили мнѣ 9-ую и 5-ую главу „Мертвыхъ Душъ“ (2-й части). 9-я глава, гдѣ Пѣтухъ и Костанжогло—удивительна, но 5-я съ небывалымъ и невозможнымъ откупщикомъ Муратовымъ... Лучше не говорить о ней—и набросить, какъ почтительные сыновья Ноя, покровъ на обнажившагося нашего литературнаго отца.

Съ удовольствіемъ послушаю я статью о Державинѣ и постараюсь узнать отъ И. С.—въ чемъ именно состоитъ новая грамматическая система К. С. Я никогда ни занимался языкомъ русскимъ теоретически и плохо знаю его исторію—но у меня есть на его счетъ нѣкоторыя мысли—посмотрю, совпадаютъ ли онѣ съ воззрѣніемъ вашего сына.

Прощайте, добрый С. Т. Пожалуйста, не забывайте меня,—а главное—какъ можно скорѣе выздоравливайте. Если не можете писать или читать, то играйте въ карты—это мнѣ напоминаетъ то тинтерѣ, которое я узналъ у васъ въ Москвѣ и гдѣ трефы играютъ такую важную роль. Помните, еще покойный Загоскинъ игралъ съ нами...

Иныхъ ужъ нѣтъ,—а тѣ далече,
Какъ Сади нѣкогда сказалъ.

Кстати, давно вы не читали Восточныхъ Стихотвореній Пушкина? Перечтите ихъ—я отъ нихъ безумствую. Еще разъ прощайте — жму вамъ крѣпко руку и кланяюсь вашему семейству.

P. S. Славную мысль вы возымѣли насчетъ 2-го изданія „Записокъ объ уженьѣ“. Чѣмъ больше отъ васъ—тѣмъ лучше.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское. 20-го ноября 1853.

Дорогой гость, о пріѣздѣ котораго вы меня предувѣдомляли, любезный Сергѣй Тимофѣевичъ, былъ у меня третьяго дня и просидѣлъ до вечера. Вы можете себѣ представить, какъ я былъ ему радъ и какъ много мы съ нимъ толковали и разговаривали. Это посѣщеніе было для меня истиннымъ праздникомъ. Желаю, чтобы дѣятельность, которой онъ теперь себя посвящаетъ, его удовлетворила—обидно видѣть такой запасъ силъ, которыя никуда не идутъ. Для него это еще тѣмъ тяжеле, что у него нѣтъ той безпечности, по милости которой нашъ братъ свистунъ коротаетъ свой вѣкъ безъ особенной скуки.

23-го ноября.

Сообщаю вамъ, любезный С. Т., извѣстіе, сейчасъ мною полученное — Государю было угодно дозволить мнѣ выѣздъ

изъ деревни и возвращеніе въ С.-Петербургъ. Я увѣренъ, что вы будете сочувствовать моему удовольствію—а мнѣ болѣе всего пріятна возможность видѣться съ друзьями, между которыми вы занимаете одно изъ первыхъ мѣстъ. Я выѣзжаю отсюда тотчасъ послѣ 6-го декабря. На этотъ разъ я въ Москвѣ не могу остановиться болѣе чѣмъ на день — но на возвратномъ пути (я въ Петербургѣ пробуду около мѣсяца) непремѣнно заѣду къ вамъ въ Абрамцево и погощу у васъ. Съ удовольствіемъ думаю уже теперь о нашей встрѣчѣ.

Посылаю вамъ статью вашу о Державинѣ. Она чрезвычайно интересна и любопытна—и хотя великій поэтъ является въ ней въ чуть-чуть комическомъ свѣтѣ, тѣмъ не менѣе общее впечатлѣніе трогательно — словно изъ другого міра звучитъ этотъ голосъ. Непремѣнно надобно напечатать эту статью.

Писать больше некогда—я не хотѣлъ отложить этого извѣстія до другой почты—а теперь крѣпко жму вамъ и К. С. руку и говорю: до свиданія. Преданный вамъ —

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

29-го ноября (1853 года).

Обнимаю и поздравляю васъ, любезный Иванъ Сергѣичъ! Вы не можете сомнѣваться въ искренности моего чувства. Я повеселѣлъ отъ мысли, что увижу васъ въ моемъ Абрамцевѣ; только признаюсь, сильно меня пугаетъ мысль, что вы заживетесь въ Петербургѣ и проѣдете Москву по послѣднему пути. Ну, да что объ этомъ! Я теперь очень радуюсь. Константинъ вчера ускакалъ въ Москву на похороны: у Самарина умеръ отецъ. Константинъ васъ обнимаетъ и поздравляетъ. Со времени болѣзни моихъ глазъ пишу въ первый разъ собственноручно. Надѣюсь, что это мнѣ не повредитъ, потому что у меня очень весело на сердцѣ. Прощайте, до свиданья. Вашъ *С. Аксаковъ*.

* * *

Это было послѣднее въ 1853 году письмо отъ С. Т. Аксакова, полученное Тургеневымъ въ Спасскомъ. Передъ Николинымъ днемъ онъ выѣхалъ оттуда и, послѣ однодневъ-

ной остановки въ Москвѣ, явился въ Петербургъ 9-го декабря 1853 года.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С.-Петербургъ. 13-го декабря 1853.

Сегодня пятый день, что я пріѣхалъ сюда, любезный и добрый Сергѣй Тимофѣевичъ — и я еще не успѣлъ хорошенько оглядѣться — а потому не ждите отъ меня путнаго письма. Я хочу дать вамъ пока мой адресъ — а именно: я поселился въ Поварскомъ переулкѣ, въ домѣ Тулубьева, близь Владимірской. Мнѣ очень было бы пріятно, еслибъ вы написали мнѣ нѣсколько строкъ о себѣ и о вашихъ. Имѣете ли вы извѣстіе отъ Ивана Сергѣевича? Какъ онъ началъ свое дѣло?

Меня здѣсь всѣ встрѣтили очень любезно и благосклонно— буду стараться, чтобъ и впредь эти чувства не измѣнились.

Я уже видѣлъ Рашель — но отлагаю поговорить о ней и о многомъ другомъ до слѣдующаго письма.

Будьте здоровы—крѣпко жму вамъ руку, кланяюсь всѣмъ вашимъ и остаюсь душевно вамъ преданный —

* * *

Невольное пребываніе Тургенева въ деревнѣ продолжалось полтора года. Онъ переносилъ ссылку нетерпѣливо и искалъ средствъ выйти изъ своего тягостнаго положенія. „Мы видѣли“, разсказываетъ П. В. Анненковъ,—„подложный паспортъ на имя какого-то мѣщанина, пріобрѣтенный имъ гдѣ-то, и съ которымъ онъ явился однажды въ Москву, къ изумленію и ужасу своихъ пріятелей“. По счастію, обстоятельство это, обнаруженіе котораго могло бы имѣть для Тургенева самыя печальныя послѣдствія, было сохранено въ свое время въ глубокой тайнѣ. Между тѣмъ изъ Петербурга Тургеневу данъ былъ совѣтъ составить письмо съ просьбой объ освобожденіи, и когда онъ прислалъ его, посредникомъ въ ходатайствѣ за опальнаго согласился быть графъ Ал. К. Толстой, лично извѣстный Наслѣднику Цесаревичу Александру Николаевичу. 14-го ноября 1853 года

послѣдовало Высочайшее разрѣшеніе Тургеневу оставить Спасское и пріѣхать въ столицу, а 18-го ноября Анненковъ писалъ уже ему изъ Петербурга слѣдующее: „Любезный другъ, Иванъ Сергѣевичъ! Вчера разнесся здѣсь слухъ, что вы прощены. Если это—правда, то мнѣ хотѣлось бы, чтобъ я первый васъ поздравилъ съ этимъ. Что вы будете дѣлать—я не знаю, но желалъ бы, въ случаѣ, если рѣшитесь на поѣздку, и совѣтовалъ бы пріѣхать прямо сюда, не останавливаясь въ Москвѣ или какъ можно менѣе останавливаясь. Примите этотъ совѣтъ *непремѣнно* въ соображеніе. Вамъ еще нужно здѣсь поблагодарить высшія лица, освободившія васъ отъ необходимости жить больному въ деревнѣ, въ хандрѣ и тоскѣ. Впрочемъ, на что бы вы ни рѣшились, я вамъ скажу одно: надо быть осторожнымъ и осмотрительнымъ въ формѣ, во внѣшности, въ минутныхъ дѣлахъ, такъ какъ въ сущности вы никогда не можете быть виноваты". Это письмо дѣйствительно предупредило офиціальное извѣщеніе объ освобожденіи Тургенева, и когда, 23-го ноября, онъ получилъ увѣдомленіе о томъ отъ графа А. Ѳ. Орлова, то уже могъ сообразовать свои дѣйствія съ благоразумными указаніями своего петербургскаго корреспондента.

Возвращеніе Тургенева въ Петербургъ послѣдовало при благопріятныхъ для него обстоятельствахъ. „Меня здѣсь всѣ встрѣтили очень любезно и благосклонно — буду стараться, чтобъ и впредь эти чувства не измѣнились", писалъ онъ С. Т. Аксакову на пятый день по своемъ пріѣздѣ, и при этомъ, очевидно, разумѣлъ тѣхъ лицъ, которыя содѣйствовали его освобожденію; что же касается собственно литературныхъ кружковъ, въ ихъ полномъ сочувствіи Тургеневъ не могъ, конечно, сомнѣваться. Особенную радость проявила редакція *Современника*. Тургеневъ сохранялъ давнія связи съ П. П. Панаевымъ и Н. А. Некрасовымъ и привыкъ печатать свои произведенія преимущественно въ ихъ журналѣ; со своей стороны, и редакторы *Современника* чрезвычайно дорожили сотрудничествомъ писателя, который уже успѣлъ сдѣлаться любимцемъ публики. Чтобы привѣтствовать вновь прибывшаго, въ редакціи *Современника*

строился обѣдъ, на который сошлись П. В. Анненковъ, А. А. Фетъ, Д. В. Григоровичъ, А. В. Дружининъ, В. А. Милютинъ, М. Н. Лонгиновъ и еще нѣсколько человѣкъ изъ ближайшихъ сотрудниковъ журнала. Эта пріятельская вація состоялась 13-го декабря, въ тотъ самый день, которымъ Тургеневъ помѣтилъ свое письмо къ С. Т. Аксакову. Почтенный старикъ былъ очень утѣшенъ его полученіемъ и поспѣшилъ отвѣчать слѣдующимъ посланіемъ.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

22-го декабря 1853.

Вы не можете себѣ представить, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, какъ я обрадовался вашему письмецу изъ Петербурга! Во первыхъ, мнѣ очень понравилось въ заголовкѣ словцо „С.-Петербургъ“; а вовторыхъ, мнѣ очень было пріятно, что вы не забыли меня въ сѣверной Пальмирѣ, гдѣ такъ давно не были, и гдѣ, конечно, встрѣтило васъ множество разнообразныхъ дѣлъ, привѣтствій и впечатлѣній. Очень благодарю васъ и жму вашу руку такъ крѣпко, какъ можетъ сжать ее старикъ. Я не знаю, когда вы выѣхали изъ своей деревни, и получили ли вы мое письмо, въ которомъ я привѣтствовалъ вашъ отъѣздъ. Здоровье мое и всѣхъ моихъ находится въ удовлетворительномъ состояніи, но глаза въ нормальное положеніе не приходятъ и нѣсколько мѣшаютъ мнѣ заниматься. Впрочемъ, я обхожусь кое-какъ безъ большой отъ нихъ помощи, то-есть, диктую. Когда вы пріѣдете ко мнѣ, то я зачитаю васъ до обморока. Я теперь съ увлеченіемъ пишу исторію моего болѣзненнаго дѣтства, которая называется „Казанская Гимназія“. Стану ожидать вашего суда, на искренность и справедливость котораго могу положиться; самъ же и всѣ мои въ этомъ дѣлѣ не могутъ быть настоящими судьями: оно слишкомъ затрогиваетъ чувство, а тотъ господинъ сумѣетъ обмануть кого угодно. Константинъ мой сильно работаетъ, преимущественно надъ грамматикой, и написалъ еще нѣсколько статей о посторонннихъ предметахъ. Иванъ мой былъ на Сумской ярмаркѣ и теперь живетъ въ Харьковѣ, въ ожиданіи ярмарки Крещенской; письма

его очень интересны, и за дѣло принялся онъ съ обычной своей энергіей; кажется, онъ сдѣлаетъ много хорошаго и полезнаго.

Очень интересуюсь вашимъ отзывомъ объ игрѣ Рашель. Я началъ писать статью изъ моихъ воспоминаній — объ Я. Е. Шушерцѣ, съ которымъ былъ коротко знакомъ; тамъ я говорю объ извѣстной актрисѣ Жоржъ, пріѣзжавшей въ 1808 году въ Петербургъ. Мнѣ кажется, что Рашель есть улучшенная Жоржъ, въ которой было много искусства, много чудной пластики, много *страсти* и—ни капли *чувства*. Очень буду радъ, если ошибаюсь, и очень пожалѣю, что ея не увижу. Прощайте! Авось, когда-нибудь увидимся. Будьте здоровы и веселы. Вашъ душою *С. Аксаковъ.*

Константинъ васъ обнимаетъ. Ваше письмо отъ 13-го, а на конвертѣ напечатано 17-е декабря.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

5-го февраля 1854 года.

Одинъ проѣзжій изъ Петербурга привезъ мнѣ огорчительное извѣстіе, что вы, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, нездоровы. Онъ самъ васъ не видалъ, но слышалъ объ этомъ, и потому я утѣшаю себя надеждой, что до него дошли преувеличенные слухи. Сдѣлайте милость, увѣдомьте меня немедленно о состояніи своего здоровья и выведите изъ безпокойства. А я, признаться, думалъ, что вы загулялись въ сѣверной Пальмирѣ и засмотрѣлись на игру Рашель, которая теперь подвизается у насъ въ Москвѣ, и которую я, конечно, поѣхалъ бы посмотрѣть, еслибъ не хворость, а главное, еслибъ не зимнее время. Я продолжаю прихварывать и не только не пользуюсь свѣжимъ воздухомъ, но даже и въ прохладныя комнаты выходить боюсь. За то много работаю, и когда вы ко мнѣ пріѣдете, то зачитаю васъ до обморока. Статья моя „О травлѣ перепелокъ“ напечатана во второмъ нумерѣ *Москвитянина*. Пожалуйста, прочтите на досугѣ и скажите ваше мнѣніе безъ всякаго снисхожденія и ласки старому вашему пріятелю. Вѣдь, я серьезно боюсь, чтобъ мнѣ не заболтаться на старости; трудно уло-

вить ту минуту, когда неминуемо начнешь глупѣть и станешь принимать желаніе приласкать старика за наличную монету.

Что ни говори, а все меня безпокоитъ ваше нездоровье. Да чѣмъ вы больны? Нѣтъ ли у васъ моей болѣзни, то-есть, остановокъ въ біеніи пульса, такъ что онъ иногда у меня идетъ черезъ разъ: разъ есть, разъ нѣтъ? Вслѣдствіе этой болѣзни, за 15 лѣтъ тому назадъ, приговорили меня къ смерти, а я теперь живу по милости Божіей, да и плюю на мою болѣзнь и, конечно, умру не отъ нея. Глазъ у меня плохъ: ни читать, ни писать. Крѣпко васъ обнимаю. До свиданія. Преданный душою *С. Аксаковъ*.

Константинъ васъ обнимаетъ.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С.-Петербургъ. 10-го февраля 1854.

Давнымъ давно собирался я писать къ вамъ, любезный и добрый Сергѣй Тимофѣевичъ—да всё не могъ улучить свободнаго времени; сегодня однако рѣшился дать вамъ вѣсть о себѣ. Прежде всего искреннее спасибо вамъ за „Травлю Перепелокъ“—которую я не прочелъ, а проглотилъ цѣликомъ. Это превосходная вещь—и написана тѣмъ славнымъ русскимъ языкомъ, которымъ вы одни владѣете. Кстати, въ 9 № Современника будетъ напечатано письмо мое къ вамъ, въ которомъ изложится мнѣніе одного здѣшняго охотника и хорошаго моего знакомаго, доктора Берса—о разныхъ темныхъ вопросахъ, касающихся до прилета и улета дичи. Кажется, его замѣчанія справедливы и во всякомъ случаѣ могутъ вызвать отвѣтъ съ вашей стороны.

Здоровье мое въ послѣднее время стало опять немного поправляться—моя болѣзнь состоитъ въ гастритѣ, или хроническомъ желудочномъ разстройствѣ, часто сопровождаемомъ лихорадкой и безсонницей. Мнѣ очень жаль, что и вы не совсѣмъ въ своей тарелкѣ; авось весна насъ обоихъ поправитъ — а вы ждите меня непремѣнно въ первыхъ числахъ апрѣля или даже въ концѣ марта.

Я здѣсь веду жизнь хотя не разсѣянную — но какъ-то

растраченную на тысячу мелочей и т. д. Впрочемъ, я сдѣлалъ здѣсь двѣ хорошія вещи: уговорилъ Тютчева (Ѳ. И.) издать въ свѣтъ собранныя свои стихотворенія и помогъ Фету окончательно привести въ порядокъ и выправить свой переводъ Горація. Самъ же я ничего пока не дѣлаю — надѣюсь приняться за дѣло въ деревнѣ.

Сегодня вышелъ здѣсь манифестъ о войнѣ съ Англіей и Франціей. Вы, вѣроятно, скоро его получите, если уже не получили.

Вы мнѣ ничего не пишете объ Ив. Серг. Думаю, что онъ здоровъ и работаетъ. Спасибо К. С. за его поклонъ. Жму вамъ всѣмъ руки — и говорю: до свиданія. Душевно васъ любящій...

PS. Изданіе Пушкина подвигается, хотя очень медленно. Пользуясь отъѣздомъ англійскаго посланника, я купилъ очень дешево 2 отличныхъ англійскихъ ружья Форсайта.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

1854 года 15-го февраля. Абрамцево.

Очень я обрадовался вашему письму, любезный мой Иванъ Сергѣичъ, писанному 11-го февраля. Хотя вы и жалуетесь на свое нездоровье, но вы и прежде жаловались на него, и я вижу, что оно находится въ обыкновенномъ положеніи; а мнѣ сказали даже, что вы отправляетесь на Кавказъ. Итакъ, я не теряю надежды увидѣть васъ въ моемъ Абрамцевѣ и зачитать васъ до обморока разными моими „Воспоминаніями". Ваше доброе слово о моей статьѣ, помѣщенной въ *Москвитянинѣ*, меня очень порадовало, и хотя я отдѣляю слова пристрастной дружбы отъ истинной оцѣнки критика, но все остается много для удовлетворенія моего авторскаго самолюбія. *Отечественныя Записки* ко мнѣ не благоволятъ и за „Біографію Загоскина" не сказали мнѣ ни одного одобрительнаго слова, а потому и нынѣче, при обозрѣніи статей въ 1-мъ и 2-мъ нумерахъ *Москвитянина*, не хотѣли замѣтить моей статьи, подписанной полнымъ именемъ. Скоро будетъ еще статья моя напечатана въ *Москвитянинѣ*: „Отрывокъ изъ Семейной Хроники". Вы ни слова не пишете мнѣ

объ игрѣ Рашель, а мнѣ очень любопытно знать ваше мнѣніе. Всѣ разсказы самовидцевъ, и въ томъ числѣ моей собственной семьи, заставляютъ меня думать, что эта женщина, кромѣ пластики и мимики, возведенныхъ на высшую ступень совершенства, имѣетъ талантъ истинный, настоящій, то-есть, душу, чувство, принимая эти слова въ обширномъ значеніи. Я признаюсь, прежде не думалъ этого объ ней и считалъ, что она—та же m-lle George, игру которой я изучалъ нѣкогда въ подробности. Мнѣ особенно интересно ваше мнѣніе, потому что я недавно кончилъ одно изъ моихъ „Воспоминаній“, въ которомъ разобрано и опредѣлено все достоинство игры m-lle George. Я напечаталъ второе изданіе моихъ „Записокъ объ уженьѣ рыбы“, дополненное цѣлою третью текста; я немедленно вамъ его пришлю и прошу васъ написать о немъ нѣсколько строкъ, обратя вниманіе на добавленныя мѣста и особенно на вновь прибавленныя, которыя отмѣчу карандашемъ.

Вы пишете, что въ 9-мъ нумерѣ *Современника* будетъ напечатано ваше письмо ко мнѣ. Не ошибка ли это? 9-й нумеръ выйдетъ въ октябрѣ. Я и не зналъ, что Берсъ переселился въ Петербургъ; я самъ съ нимъ дружески знакомъ. Очень радъ буду отвѣчать, если хватитъ моихъ свѣдѣній въ этомъ довольно темномъ дѣлѣ. Вы сдѣлали два добрыя дѣла, уговоривъ Тютчева издать свои стихотворенія, а Фета—свои переводы Горація. Иванъ жилъ все это время въ Харьковѣ и усердно занимался своимъ тягостнымъ дѣломъ; 6-го февраля онъ долженъ былъ уѣхать въ Полтаву, откуда писемъ отъ него я еще не имѣю. Нетерпѣливо ожидаю изданіе Пушкина. Жаль, если оно будетъ, какъ говорятъ, чрезвычайно дорого. Какъ вамъ нравится „Опытъ біографіи Гоголя“, первая треть котораго, вѣроятно, напечатана во 2-мъ нумерѣ *Современника?* Вообразите, что я еще не читалъ вашей повѣсти въ 1-мъ нумерѣ. Я не получилъ также рукописи „Постоялаго Двора“. Прощайте! Обнимаю васъ. Будьте же здоровы и бодры. Вашъ душою *С. Аксаковъ*.

Константинъ въ Москвѣ по дѣлу. Онъ написалъ два стихотворенія.

* * *

Январь 1854 года прошелъ безъ обмѣна корреспонденціи между Тургеневымъ и старикомъ Аксаковымъ; но на два февральскія письма послѣдняго первый отвѣчалъ своевременно. Въ письмѣ отъ 10-го февраля Тургеневъ съ восхищеніемъ отозвался про статью о травлѣ перепелокъ и въ то же время сообщалъ, что готовитъ къ печати, въ видѣ письма къ С. Т. Аксакову, изложеніе наблюденій доктора Берса касательно прилета и улета дичи, а въ письмѣ отъ 28-го февраля выражалъ готовность написать рецензію на новое изданіе „Записокъ объ уженьи“. Но суета петербургской жизни все больше и больше втягивала въ себя давно не бывшаго въ столицѣ Тургенева, и въ первомъ же изъ упомянутыхъ писемъ онъ долженъ былъ сознаться, что пока самъ онъ ничего не дѣлаетъ и ведетъ „жизнь хотя не разсѣянную, но какъ-то растраченную на тысячу мелочей“. Въ результатѣ оказалось, что обѣщанныя статейки не были написаны. Не отвѣчалъ Тургеневъ и на вопросы С. Т. Аксакова объ игрѣ Рашель и о помѣщавшейся въ *Современникѣ* біографіи Гоголя. Это былъ извѣстный трудъ П. А. Кулиша, впослѣдствіи изданный отдѣльною книгой въ значительно расширенномъ видѣ, подъ заглавіемъ „Записокъ о жизни Н. В. Гоголя“. Когда первый опытъ этой біографіи печатался въ журналѣ, онъ не понравился Сергѣю Тимоѳеевичу, а равно и его младшему сыну, и оба они находили, что составленная г. Кулишомъ біографія заключаетъ въ себѣ „многія неловкія мѣста, на которыя удобно нападать недоброжелательному человѣку“ *). Но позже, когда біографъ подвергъ свой трудъ переработкѣ, Сергѣй Тимоѳеевичъ согласился даже сообщить г. Кулишу отрывки изъ своихъ воспоминаній о Гоголѣ, которые и были включены въ новое изданіе этого сочиненія.

Противъ обыкновенія Тургеневъ рѣшилъ провести лѣто 1854 года не въ деревнѣ, а въ окрестностяхъ Петербурга; письмомъ отъ 31-го марта онъ извѣстилъ С. Т. Аксакова, что нанялъ дачу въ Петергофѣ, но что прежде переѣзда туда побы-

*) Ив. С. Аксаковъ въ его письмахъ, т. III, стр. 65.

ваетъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ въ Спасскомъ, а на обратномъ пути, въ маѣ мѣсяцѣ, посѣтитъ и Абрамцево. Обѣщаніе это было дѣйствительно приведено въ исполненіе: во второй половинѣ мая Тургеневъ прогостилъ пять дней въ Аксаковской подмосковной.

Аксаковымъ давно хотѣлось лично повидаться съ Тургеневымъ; но когда состоялась наконецъ эта встрѣча, впечатлѣніе, произведенное имъ на обитателей Абрамцева, оказалось не совсѣмъ въ его пользу. По отъѣздѣ Тургенева Сергѣй Тимоѳеевичъ, въ своей перепискѣ съ младшимъ сыномъ, странствовавшимъ въ то время по Малороссіи, лишь вскользь упомянулъ о посѣтившемъ ихъ гостѣ. Эта сдержанность возбудила въ И. С. Аксаковѣ тревожное любопытство, выразившееся въ слѣдующихъ его вопросахъ отцу (въ письмѣ отъ 7-го іюня): „Вы пишете, милый отесенька, что васъ на пять дней захватилъ Тургеневъ. Такъ онъ былъ у васъ? Что же, какъ его нашли у насъ, понравился ли онъ, и что̀ онъ самъ теперь, каковъ? Кончилъ ли онъ свой романъ и читалъ ли его вамъ? Вы такъ мало о немъ говорите, что какъ будто имъ не совсѣмъ довольны“. Вопросы были такъ настоятельны, что отмалчиваться на нихъ оказывалось не возможнымъ, и Сергѣй Тимоѳеевичъ отвѣтилъ сыну слѣдующими словами: „О Тургеневѣ писать—не умѣстно. Какъ добрый человѣкъ, онъ понравился намъ, то-есть, нѣкоторымъ. Но какъ его убѣжденія совершенно противуположны, и какъ онъ совершенно равнодушенъ къ тому, что̀ всего дороже для насъ, то ты самъ можешь судить, какое онъ оставилъ впечатлѣніе. Впрочемъ, по моей вѣротерпимости это не мѣшаетъ мнѣ любить его по прежнему“ *). Слишкомъ общія выраженія этого отзыва не позволяютъ сдѣлать опредѣленное заключеніе. Несомнѣнно только то, что послѣ этого свиданія Константину Аксакову труднѣе было бы сказать Тургеневу то, что̀ онъ говорилъ ему годъ тому назадъ—о возможности соглашенія между ними. Какъ бы то ни было, какъ ни рѣзко обнаружилась разность воззрѣній, личныя отношенія между Аксаковыми и Тургене-

*) И. С. Аксаковъ въ его письмахъ, т. III, стр. 18

вымъ не измѣнились: переписка ихъ сохранила прежній дружественный характеръ, и по временамъ, какъ увидимъ далѣе, въ ней стали мелькать намеки даже на такія обстоятельства частной, чисто личной жизни Тургенева, о которыхъ не могло быть и рѣчи прежде.

Въ первомъ письмѣ Тургенева къ С. Т. Аксакову, писанномъ изъ Петергофа 31-го мая, рѣчь шла главнымъ образомъ о литературныхъ новостяхъ, которыя встрѣтили Ивана Сергѣевича по пріѣздѣ въ Петербургъ. Между прочимъ, онъ сообщалъ о томъ, что въ Парижѣ появился французскій переводъ „Записокъ Охотника“ г. Шарріера, и что этотъ развязный господинъ счелъ себя въ правѣ сдѣлать къ русскому оригиналу различныя добавленія, большею частью нелѣпаго свойства. Тургеневъ былъ этимъ такъ возмущенъ, что рѣшился протестовать противъ искаженія своего произведенія особымъ письмомъ въ *Journal de Saint-Pétersbourg*. Другая новость, о которой писалъ Тургеневъ заключалась въ томъ, что ему удалось получить отъ вдовы поэта Баратынскаго нѣсколько не изданныхъ стихотвореній и писемъ, на основаніи которыхъ онъ собирался написать статью о немъ; по этому поводу Тургеневъ высказывалъ свое мнѣніе о Баратынскомъ; онъ не считалъ его поэтомъ „въ единственно истинномъ Пушкинскомъ смыслѣ“, но высоко цѣнилъ „его благородную художническую честность, его постоянное и безкорыстное стремленіе къ высшимъ цѣлямъ поэзіи и жизни“, находилъ въ немъ „много, можетъ быть, слишкомъ много ума, вкуса и проницательности, и замѣчалъ, что „каждое слово его носитъ слѣдъ не только рѣзца — подпилка“. Эта характеристика вызвала со стороны С. Т. Аксакова нѣкоторое возраженіе. Вновь найденныя стихотворенія Баратынскаго Тургеневъ отдалъ для напечатанія въ *Современникъ* (1854 г., № 11) и туда же предназначалъ свой этюдъ о немъ, но написать эту статью не собрался. Кстати сказать, онъ въ это время принималъ вообще большое участіе въ судьбѣ *Современника*, матеріальное положеніе котораго было тогда довольно запутанное, и старался поддержать этотъ журналъ; въ письмѣ отъ 7-го августа онъ даже предлагалъ С. Т. Акса-

кову принять въ немъ участіе, но старый литераторъ съ достоинствомъ отклонилъ это предложеніе, тѣмъ болѣе для него неожиданное, что еще не задолго предъ тѣмъ на страницахъ *Современника* (1854 г., № 2) онъ былъ задѣтъ насмѣшками Панаева. Театральныя воспоминанія С. Т. Аксакова были напечатаны въ *Москвитянинѣ* (1854 г., №№ 10 и 11), и Тургеневъ, въ письмѣ отъ 7-го августа, писалъ о нихъ: „Это просто прелесть; а что касается до слога, мы всѣ у васъ должны учиться".

Въ половинѣ сентября Тургеневъ оставилъ Петербургъ и отправился въ свое Спасское, чтобы захватить еще конецъ охоты; но ранніе морозы прекратили ее преждевременно. 8-го октября онъ увѣдомилъ С. Т. Аксакова, что уже повѣсилъ ружье на крючокъ и принимается за статейки, обѣщанныя для его сборника охотничьихъ разсказовъ; онъ обѣщалъ самъ привезти ихъ въ Абрамцево на обратномъ пути въ Петербургъ, въ концѣ осени.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

28-го февраля 1854. С.-Петербургъ.

Спѣшу отвѣтить хоть немногими словами на ваше письмо отъ 15-го февр., любезный и добрый Сергѣй Тимофѣевичъ. Пишете вы мнѣ, что слышали, будто я отправляюсь на Кавказъ — по это несправедливо; я имѣю намѣреніе провести лѣто въ деревнѣ — если здѣсь не произойдутъ какія-нибудь необыкновенныя событія—и въ первыхъ числахъ апрѣля во всякомъ случаѣ, если буду живъ, буду у васъ въ Абрамцевѣ. Я на дняхъ познакомился съ однимъ кн. Оболенскимъ (кажется, Юріемъ), который много мнѣ говорилъ о васъ. Заранѣе радуюсь нашему свиданію и нашимъ разговорамъ.

Ожидаю съ нетерпѣніемъ новаго изданія книги „Объ Уженьѣ"—и исполню ваше желаніе на ея счетъ.

Письмо отъ Берса должно было быть помѣщено не въ 9-й, а въ 3-й кн. Современника, но отложено до 4-го, т.-е. до апрѣльскаго, номера.

Могу сообщить вамъ пріятное извѣстіе—Пушкинъ, наконецъ, начнетъ печататься. Слухъ о дороговизнѣ новаго из-

данія до васъ дошелъ ложный; напротивъ—оно, сколько я знаю, будетъ сравнительно очень дешево.

Господинъ, которому я поручилъ доставить вамъ рукопись „Постоялаго Двора", потерялъ ее—придется велѣть переписать ее снова.

До свиданія, добрый Сергѣй Тимофѣевичъ, будьте здоровы и веселы—кланяйтесь всѣмъ вашимъ. Дружески жму вамъ руку. Преданный вамъ...

PS. Письмо это кончено 4-го марта.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С.-Петербургъ. 31-го марта 1854. Среда.

Очень вамъ благодаренъ, добрый и почтенный Сергѣй Тимофѣевичъ, за присланную книгу „Объ Уженьѣ". Я перечелъ ее съ наслажденьемъ и предоставляю себѣ удовольствіе поговорить о ней въ Современникѣ — такъ что она не поспѣетъ къ апрѣльской книжкѣ. „Семейную Хронику" я еще не успѣлъ прочесть, но слышу великія похвалы со всѣхъ сторонъ.

Я выѣзжаю отсюда черезъ недѣлю — въ Москвѣ пробуду только день Свѣтлаго Воскресенія—но увижусь съ вами въ началѣ мая, т.-е. на обратномъ пути изъ деревни, гдѣ я пробуду не болѣе трехъ недѣль. Я здѣсь нанялъ дачу въ Петергофѣ, чтобы быть на мѣстѣ дѣйствіи, или, выражаясь правильнѣе, чтобы не слишкомъ отдалиться отъ центра, куда будутъ приходить всѣ извѣстія. Въ маѣ мѣсяцѣ я у васъ проведу дней 5. Вы мнѣ кстати покажете, какъ должно удить—вѣдь май мѣсяцъ, говорятъ, лучшее время для уженья. Наговоримся вволю.

Итакъ, до свиданья около 5-го мая. Надѣюсь найти васъ тогда веселымъ и бодрымъ, крѣпко жму вамъ руку, кланяюсь всѣмъ вашимъ и остаюсь навсегда преданный вамъ, и т. д.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское. 8-го мая 1854.

Пишу вамъ сегодня только нѣсколько строкъ, любезный Сергѣй Тимофѣевичъ, для того, чтобы увѣдомить васъ, что

я выѣзжаю отсюда во вторникъ 11-го числа (раньше я съ дѣлами справиться не могъ), буду въ Москвѣ 12-го, а у васъ, если буду живъ, 13-го обѣдаю. 14-е число — самый поздній срокъ. Итакъ, до скораго свиданія. Заочно жму вамъ руку и остаюсь душевно вамъ преданный, и т. д.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

Петергофъ. 31-го мая 1854. Троицынъ день.

Пишу къ вамъ любезный и почтенный Сергѣй Тимофѣевичъ, по минованіи обоихъ майскихъ Михайловыхъ дней (вы помните?), въ которые ничего особеннаго со мной не случилось. Я поселился здѣсь въ небольшомъ домикѣ колониста, въ двухъ верстахъ отъ Петергофа и въ полуверстѣ отъ моря, которое видно изъ моихъ оконъ надъ верхушками сосноваго лѣса. Завелъ себѣ лошадь и таратайку—и располагаю здѣсь прожить до осени. Къ сожалѣнію, погода у насъ до того невыразимо гадкая, что и сказать нельзя. Холодъ, дождь, вѣтеръ воетъ и ноетъ—тоска! Куда дѣвались красные дни, которые тѣшили насъ въ Абрамцевѣ! Надо вооружиться терпѣньемъ. Вотъ буквально пришлось сидѣть у моря и ждать погоды. Въ Кронштадтъ, который отсюда всего въ пяти верстахъ, я еще не ѣздилъ. Англичане, говорятъ, близко, но носу къ намъ сюда еще не кажутъ.

Поговоримъ немного о литературныхъ новостяхъ. Во-первыхъ, скажу вамъ, что я познакомился со вдовою Баратынскаго, и она мнѣ вручила альбомъ, куда она вписала все, что̀ осталось отъ ея мужа, письма и пр. Можно будетъ составить довольно любопытную статью. Отъ Толстого, автора „Исторіи моего дѣтства“, прислана повѣсть, продолженіе первой, подъ названіемъ „Отрочество“; говорятъ, превосходная. Въ Парижѣ появился переводъ моей книги съ длиннымъ предисловіемъ—то-то, я думаю, пасказано вздору!

Баратынскій не поэтъ въ единственно-истинномъ, въ Пушкинскомъ смыслѣ, но нельзя не уважать его благородную художническую честность, его постоянное и безкорыстное стремленіе къ высшимъ цѣлямъ поэзіи и жизни. Константину Сергѣичу онъ бы понравился, несмотря на свое запад-

ничество. Ума, вкуса и проницательности у него было много, можетъ быть, слишкомъ много — каждое слово его носитъ слѣдъ не только рѣзца—подпилка, стихъ его никогда не стремится, даже не льется. Вотъ вамъ неизданное его стихотвореніе (которое не давайте списывать); въ немъ довольно вѣрно выразились всѣ особенности его музы.

Когда твой голосъ, о поэтъ,
Смерть въ высшихъ звукахъ остановитъ,
Когда тебя во цвѣтѣ лѣтъ
Нетерпѣливый рокъ уловитъ —

Кого закатъ могучихъ дней
Во глубинѣ сердечной тронетъ?
Кто въ отзывъ гибели твоей
Стѣсненной грудію возстонетъ?

И тихій гробъ твой посѣтитъ —
И надъ умолкшей Аонидой,
Рыдая, пепелъ твой почтитъ
Нелицемѣрной панихидой?

Никто!—Но сложится пѣвцу
Канонъ намеднешнимъ зоиломъ —
Уже кадящимъ мертвецу,
Чтобы живыхъ задѣть кадиломъ.

Отголосокъ великой нашей классической эпохи слышится въ формѣ стиха Баратынскаго.

Некрасовъ, котораго вы такъ не любите, написалъ нѣсколько хорошихъ стихотвореній, особенно одно—плачъ старушки-крестьянки объ умершемъ сынѣ.

Адресъ мой очень простъ: въ Петергофъ. Я уже распорядился здѣсь на почтѣ—письма будутъ мнѣ доставляться. Пожалуйста, напишите мнѣ два слова о себѣ, о вашемъ житьѣ въ Абрамцевѣ, которое я такъ душевно полюбилъ. Поклонитесь, прошу васъ, вашей супругѣ и всему вашему семейству. Жму вамъ и К. С. руки дружески и остаюсь преданный вамъ...

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

11-го іюня 1854 г. Абрамцево.

Я получилъ наконецъ давно ожидаемое письмецо отъ васъ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, но, увы, письмецо оказалось

неудовлетворительнымъ, то-есть, не сказало мнѣ ни слова о томъ, о чемъ я, по искреннему моему участію, всего болѣе желалъ знать. Я пробовалъ отыскивать иносказаній, но никакихъ не нашелъ. Итакъ, стало не о чемъ было писать, потому что вы вѣрно не забыли своего обѣщанія. Если въ Петергофѣ стоитъ такая же погода, какъ въ Абрамцевѣ, то вы теперь наслаждаетесь финскою природой во всей ея красѣ; теперь домикъ колониста на берегу моря—прелесть! Сосѣдство Кронштадта также интересно; только почетные салюты двумъ флотамъ великихъ націй, если они пожалуютъ осмотрѣть кронштадтскія укрѣпленія, будутъ слишкомъ слышны въ вашемъ домикѣ.

Очень благодарю васъ за литературныя новости. Я увѣренъ, что вы составите славную статью о Баратынскомъ. Въ присланныхъ вами стихахъ (за которые я сердечно благодаренъ) очень вѣрно выражается характерная личность поэта. Нетерпѣливо желаю прочесть „Отрочество“ Толстого и надѣюсь скоро имѣть это удовольствіе, но всего болѣе желалъ бы прочесть предисловіе француза къ вашей книгѣ, если онъ—настоящій французъ, не бывавшій въ Россіи. Все, что́ вы говорите о Баратынскомъ, совершенно справедливо, но къ этому надобно прибавить, по моему мнѣнію, что въ основаніи онъ имѣлъ чисто поэтическій талантъ, и что свободному изліянію его именно мѣшали умъ, взыскательный вкусъ, невсегда умѣстная проницательность и отдѣлка стиха *подпилкомъ*, какъ вы очень удачно выразились. Радуюсь, что Некрасовъ написалъ нѣсколько хорошихъ стихотвореній. Послѣ вашего разсказа я принимаю въ немъ искреннее участіе. Благодарю васъ за посѣщеніе Абрамцева и за то, что вы полюбили наше житье въ немъ. Ваше посѣщеніе оставило долгій и пріятный слѣдъ въ нашемъ мирномъ уединенномъ кружкѣ. Жена моя и семья вамъ кланяются, а мы съ Константиномъ крѣпко обнимаемъ васъ. Я безъ васъ веду себя очень дурно: я схватилъ жестокую лихорадку, а потомъ умудрился простудиться въ самый жаркій день и двое сутокъ страдать ревматическими болями въ головѣ, зубахъ и ногѣ; но меня славно вылѣчили, и я сегодня уже гулялъ. Время

стоитъ очаровательное. Будете ли вы стрѣлять на взмор Я думаю, нѣтъ. Вообразите, что въ лихорадкѣ я началъ сать одинъ изъ самыхъ задушевныхъ отрывковъ моей „Х ники“ и самъ покуда очень доволенъ; но продолжать могу... Прощайте, еще разъ васъ обнимаю. Вашъ душ *С. Аксаковъ.*

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

Петергофская колонія. 7-го августа 1854 г.

Послѣ долгаго молчанья берусь опять за перо, любезн Сергѣй Тимофѣевичъ, и прежде всего благодарю васъ за в ше милое письмо отъ 11-го іюня, на которое я до сихъ пор къ стыду моему, не отвѣчалъ. Я только третьяго дня ве нулся съ поѣздки (за 160 верстъ) на тетеревовъ и бѣлы куропатокъ. Ѣздилъ долго—дней 16—и только къ самому у концу отыскалъ отличныя, истинно царскія мѣста по множ ству дичи и удобству стрѣльбы. Недостатокъ проводниковъ хорошо знавшихъ мѣстность, и собственная недогадливос были тому причиной—а эти превосходныя мѣста были все въ 10 верстахъ отъ села, гдѣ я поселился. Впрочемъ я сво поѣздкой былъ доволенъ—чувствовалъ себя совершенно зд ровымъ—да оно и не мудрено было, при удивительной п годѣ, которая стоитъ у насъ уже около двухъ мѣсяцевъ. Т перь вычистилъ ружье, даю отдыхать собакѣ и жду дупеле а на вальдшнеповъ поѣду къ себѣ въ деревню около 10-сентября.

Я вамъ не писалъ о тѣхъ планахъ, которые у меня бы въ головѣ во время пребыванія моего въ Абрамцевѣ, пото что всѣ эти планы упали въ воду—карты сказали правду

Получилъ я наконецъ французскій переводъ моихъ „Зап сокъ“—и лучше бы, еслибъ не получилъ ихъ! Этотъ г-нъ Ша ріеръ чортъ знаетъ что̀ изъ меня сдѣлалъ — прибавлялъ ц цѣлымъ страницамъ, выдумывалъ, выкидывалъ—до невѣроя ности; вотъ вамъ образчикъ его манеры: у меня, напр., ск зано: „я убѣжалъ; онъ переводитъ эти два слова слѣду щимъ образомъ: „je m'enfuis d'une course folle, effaré échevelée, comme si j'eusse eu à mes trousses toute u

légion de couleuvres, commandée par des sorcières". И все въ этакомъ родѣ. Каковъ безсовѣстный французъ!—и за что я теперь долженъ превратиться, по его милости, въ шута?

Здѣсь всѣ—и, разумѣется, начиная съ меня—въ восторгѣ отъ вашего „Шушерина". Это просто прелесть; а что касается до слога — мы всѣ у васъ должны учиться. Отголосокъ этихъ мнѣній вы найдете въ августовскомъ Современникѣ, въ фельетонѣ Панаева. Очень я радъ, что вы продолжаете ваши драгоцѣнныя „Воспоминанія". Да не пришлете ли вы что-нибудь для Современника? Хоть статью о Державинѣ. Они бы вамъ въ ножки поклонились. Если вздумаете, пришлите на мое имя—*до* 10 сентября.

Я думаю пробыть у себя въ деревнѣ до половины октября—и непремѣнно васъ въ концѣ октября увижу.

О политическихъ дѣлахъ вамъ не пишу—ничего важнаго въ послѣднее время не случилось, кромѣ блистательнаго отраженія перваго приступа французовъ къ Аланду. Они кончатъ тѣмъ, что возьмутъ его—превосходство силъ слишкомъ велико—но онъ имъ станетъ дорого. Когда англійскій флотъ былъ здѣсь—мы ѣздили смотрѣть его на Красную-Горку, за 50 верстъ отсюда.

Прощайте, любезный и добрый Сергѣй Тимофѣевичъ. Желаю вамъ всего хорошаго, начиная съ здоровья. Передайте мой дружескій поклонъ всему вашему семейству—и въ первомъ письмѣ къ моему тёзкѣ — поклонитесь ему отъ меня. Гдѣ онъ теперь и что̀ дѣлаетъ? К—а С—а обнимаю. До свиданья—въ октябрѣ, если Богъ дастъ. Преданный вамъ и т. д.

Суббота, 14-го августа.

Письмо это, по недоразумѣнію, не было отнесено на почту—отправляю его сегодня. Въ Journal de St. Pétersbourg помѣстили мое письмо къ редактору насчетъ Шарріеровскаго перевода. Будьте здоровы.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

22-го августа 1854 г. Абрамцево.

Наконецъ я получилъ давно и нетерпѣливо ожидаемое мною письмо ваше, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, отъ 7-го и при-

писочку отъ 14-го августа. Итакъ, карты сказали правду! Я не повѣрилъ имъ и ожидалъ рѣшительно другого результата. Да будетъ все къ лучшему для васъ! Желаю этого сердечно, искренно.

Я поправился въ моемъ здоровьи и укрѣпился на воздухѣ, пользуясь изъ всѣхъ силъ стоявшею у насъ жаркою погодой, которая уже третій день превратилась въ холодную, осеннюю и мокрую погоду, сопровождаемую жестокимъ сѣвернымъ вѣтромъ, который окончательно засадилъ меня въ комнатѣ. Впрочемъ, я радъ, что прекратилась эта зловредная засуха, служившая къ распространенію разныхъ эпидемическихъ болѣзней и развившая въ Москвѣ сильную холеру. Дождь льетъ уже третій день; авось влажность атмосферы будетъ способствовать къ прекращенію всякихъ эпидемій.

Вы сдѣлали дальнюю поѣздку за тетеревами и куропатками; за этою дичью я бы не поѣхалъ такъ далеко. Жаль, что вы не написали мнѣ, сколько штукъ заполевали. Желаю вамъ повеселиться на дуэляхъ и очень радъ, что по милости вальшпеновъ имѣю надежду обнять васъ въ октябрѣ. Г. Шарріеръ превзошелъ въ своей наглости всѣхъ французскихъ переводчиковъ. Это, конечно, забавно для публики, но каково же автору! Я очень радъ, что письмо ваше напечатано въ *Journal de Saint-Pétersbourg*. Сосѣдъ мой Путята получаетъ этотъ журналъ, и я немедленно его достану. Отзывъ вашъ о моей статьѣ „Шушеринъ“ былъ мнѣ очень пріятенъ: я вѣрю вашему вкусу и вашей искренности, хотя въ то же время признаю выраженіе, что вы *должны учиться у меня слогу*, преувеличеннымъ выраженіемъ вашей дружбы. Я очень благодаренъ и Панаеву за всѣ его похвалы, тоже нѣсколько излишнія; но я удивляюсь, гдѣ онъ могъ читать печатныя сочиненія въ стихахъ и прозѣ. Это правда, что стихи мои имѣли всѣ пороки своего времени, но стиховъ оригинальныхъ я никогда не печаталъ. Что же касается до прозаическихъ статей, то я никогда реторикой не страдалъ. Къ истинному моему сожалѣнію, я не могу исполнить вашего желанія, то-есть, дать какую-нибудь статью въ *Современникъ*, во-первыхъ, потому, что я не стану печатать болѣе отдѣльныхъ

статей, а выдамъ цѣлый томъ „Хроники и Воспоминаній“, и вовторыхъ, потому, что далъ себѣ слово никогда не печатать ни одной строчки въ петербургскихъ журналахъ.

Я уже послалъ вашъ поклонъ вашему тезкѣ. Константинъ васъ обнимаетъ. Увидѣть васъ въ Абрамцевѣ будетъ для меня утѣшеніемъ. Тогда-то я наговорюсь съ вами обо всемъ. Глаза у меня плохи и мѣшаютъ заниматься. Всѣ мои вамъ кланяются. Прощайте, до свиданья, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ! Жму крѣпко вамъ руку. Вашъ душою *С. Аксаковъ.*

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское. 8-го октября 1854.

Съ 22-го сентября нахожусь я здѣсь, любезный и почтенный Сергѣй Тимофѣевичъ, но охотился очень плохо—вальдшнеповъ совсѣмъ почти не было—ранніе ночные морозы и послѣднихъ прогнали. Куропатокъ тоже очень мало и перепелокъ—словомъ, плохо дѣло! Я со вчерашняго дня повѣсилъ ружье на крючокъ и хочу приняться за работу — непремѣнно окончу двѣ обѣщанныя вамъ статейки и привезу ихъ въ Абрамцево черезъ мѣсяцъ; раньше я отсюда не выѣду. Надѣюсь, что застану васъ всѣхъ въ добромъ здоровьѣ—и наговоримся тогда вдоволь о томъ, о чемъ писать невозможно въ двухъ словахъ. Веселы ли будутъ бесѣды наши — Богъ вѣсть; но знаю навѣрное, что время я проведу въ Абрамцевѣ пріятно. Напишите мнѣ, не ждете ли вы къ тому времени Ивана Сергѣевича домой—а адресъ мой все тотъ же: Орловской губерніи, въ городъ Мценскъ. Извините, пожалуйста, краткость этого письма — поздно хватился и боюсь опоздать на почту. Итакъ, до свиданія — крѣпко жму вамъ всѣмъ руки и остаюсь преданый вамъ, и т. д.

PS. Цензура, говорятъ, сильно исказила „Отрочество“ въ 10-мъ нумерѣ Современника — а все-таки прочтите и скажите ваше мнѣніе.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

18-го октября 1854 года. Абрамцево.

Отъ души благодарю васъ; любезный мой Иванъ Сергѣичъ, за ваше дружеское письмецо изъ Спасскаго отъ 8-го

октября. Я зналъ уже, что вы позднѣе выѣхали изъ Петербурга, чѣмъ предполагали, и жалѣлъ, что вы нѣсколько пропустили вальдшнеповъ; но ихъ было мало у васъ, и жалѣть было не о чемъ. Вальдшнеповъ и здѣсь совсѣмъ не было, но за то рябчиковъ и тетеревовъ болѣе, чѣмъ въ прежніе годы. Дрозды пропали необыкновенно рано, а журавли пошли въ походъ съ 25-го іюля, чего я во всю мою жизнь не видывалъ. По запискамъ моимъ видно, что я стрѣливалъ журавлей въ Оренбургской губерніи наканунѣ своихъ именинъ, то-есть, 24-го сентября. Вы слишкомъ рано повѣсили на крючокъ свое ружье. Въ октябрѣ самая лучшая стрѣльба тетеревовъ съ подъѣзда, зайцевъ, начинающихъ бѣлѣть, и утокъ, летающихъ по зарямъ въ поля большими стаями, а день проводящихъ по рѣкамъ и рѣчкамъ. Впрочемъ, можетъ быть, у васъ совсѣмъ нѣтъ этой стрѣльбы, а можетъ быть и то, что вы ее презираете. Боже мой, какъ все это я любилъ! Затрудненіе въ охотѣ, близость разлуки съ ней дѣлали для меня всякую добычу драгоцѣнною. Вотъ и теперь выдалось въ октябрѣ дней восемь потеплѣе, и я удилъ каждый день отъ 9 часовъ утра до 4 по полудни, удилъ окуней и ершей иногда не болѣе штукъ пяти, удилъ съ такимъ увлеченіемъ, что самъ любовался собою и благодарилъ Бога за это счастливое свойство. Третьяго дня я простился съ удочкой. Обѣщаніе ваше пріѣхать къ намъ и привезти даже двѣ статейки для моей книжки я принимаю съ сердечной благодарностью и стану съ нетерпѣніемъ ожидать васъ. Рукопись моя „Разсказы и воспоминанія охотника о разныхъ охотахъ“ должна была поступить въ цензуру въ самыхъ первыхъ числахъ ноября. Но я очень радъ подождать вашихъ статеекъ хоть цѣлый мѣсяцъ; онѣ украсятъ мою книжку и придадутъ ей разнообразіе, котораго именно ей недостаетъ. Пріѣзжайте, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ! О печальномъ и грустномъ придется поговорить намъ, но тѣмъ не менѣе поговорить будетъ отрадно. Я теперь нахожусь въ самомъ напряженномъ состояніи духа: я также нравственно осажденъ, какъ Севастополь, котораго судьба, а вмѣстѣ съ нимъ и флота, теперь, вѣроятно, уже рѣшена. Ко времени вашего пріѣзда, вѣроятно,

инъ будетъ въ Абрамцевѣ. Обнимаю васъ за себя и Константина, котораго я послалъ въ Москву по самымъ скучнымъ дѣламъ въ опекунскомъ совѣтѣ. Всѣ мои вамъ кланяются. Глаза у меня не хороши. Будьте здоровы. Вашъ слою *С. Аксаковъ*.

Охота, милый другъ, охота
Зоветъ насъ прелестью своей
Въ лѣса поблекшіе, въ болота,
На серебристый пухъ степей.
Ужь гуси, журавли стадами
Летаютъ въ хлѣбныя поля;
Безчисленныхъ станицъ рядами
Покрыта кажется земля.
И вотъ подъемлются, какъ тучи,
Плывутъ къ обширнымъ озерамъ;
Ихъ крикомъ стонетъ брегъ зыбучій,
Далеко слышнымъ по зарямъ.
Пруда заливы утокъ полны;
Одѣвъ живой ихъ пеленой,
Онѣ вздымаются, какъ волны,
Подъ ними скрытою волной.
Вертятся стаи турухтановъ,
Пролетныхъ рѣзвыхъ куличковъ;
Среди осеннихъ лишь тумановъ
Мы видимъ ихъ вокругъ прудовъ.
Бекасъ и гаршнепъ, разжирѣвши,
Забыли быстрый свой полетъ
И, къ кочкамъ въ камышахъ присѣвши,
Таятся плотно средь болотъ.
Товарищъ ихъ, летать лѣнивой,
Погонышъ, вѣчный скороходъ,
Съ болотной курицей красивой
Въ корняхъ кустовъ, въ топяхъ живетъ.
Но дупель, вальдшнепъ, честь и слава
Одинъ — болотъ, другой — лѣсовъ,
Искусныхъ егерей забава,
Предметъ охотничьихъ трудовъ,
Перемѣнили на отлетѣ
Житья всегдашняго мѣста;
Ужь дупель въ полѣ, не въ болотѣ,
А вальдшнепъ пересѣлъ въ куста.
Попепела съ коростелями,
Какъ будто обернувшись въ жиръ,

Подъ травянистыми межами
Себѣ находятъ сытный пиръ.
Собравшись стрепета стадами
По днямъ таятся въ залежахъ,
А въ ночь свистящими рядами
Летятъ гостить на озимяхъ.
По ковылю степей волнистыхъ
Станицы ходятъ тудановъ
Иль роются въ мѣстахъ нечистыхъ
Башкирскихъ старыхъ кочевьевъ.
Расправивъ черныя косицы,
Глухарь по утреннимъ зарямъ
(Нѣтъ осторожнѣе сей птицы!)
Садится сосенъ по верхамъ.
И наконецъ, другъ неизмѣнный,
Стрѣльбы добыча круглый годъ,
Нашъ тетеревъ простой, почтенный,
Собравшись въ стаи, насъ зоветъ:
Черкнетъ заря—и какъ охотно
Валятъ на хлѣбъ со всѣхъ сторонъ,
Насытились и беззаботно
На вѣтвяхъ дремлютъ до полденъ;
И на деревьяхъ обнаженныхъ
Далеко видитъ острый взоръ,
Какъ будто кочекъ обоженныхъ,
Угрюмыхъ косачей соборъ!

Мнѣ пришла фантазія послать вамъ посланіе мое къ бр
писанное около 37 лѣтъ тому назадъ; я отрубилъ ем
лову и хвостъ. Стихи, конечно, несовременные, но и
схвачено вѣрно, и вамъ, какъ охотнику, можетъ быть прія

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское. 11-го ноября 185

Вообразите себѣ, какая досада, любезный С. Т.—я не
быть у васъ въ Абрамцевѣ. Такое вышло дѣло, что мнѣ
часъ надо въ Петербургъ ѣхать—я въ Москвѣ останов
всего нѣсколько часовъ. Но если я буду живъ и здоров
я непремѣнно доставлю себѣ удовольствіе быть у васъ
январѣ мѣсяцѣ: а именно—я хочу присутствовать на
лѣе московскаго университета 12-го января. Къ Креще
я пріѣду къ вамъ и, можетъ быть, мы вмѣстѣ всѣ поѣ

ь Москву. Это я непремѣнно исполню—и потому до свиія черезъ два мѣсяца.

Посылаю вамъ одну статейку о соловьяхъ. Мнѣ совѣстно, то я изъ-за такой бездѣлицы задержалъ поданіе вашей книги ъ цензуру. Другая моя статья (о стрѣльбѣ медвѣдей на овахъ въ Полѣсьи) не готова—та гораздо больше—я не нафюсь ее довольно скоро кончить—къ генварю будетъ готова. Ужасная лѣнь на меня напала—даже стыдно. Я еще не блаодарилъ васъ за ваше послѣднее письмо—стихи ваши хотя старой фактуры, какъ вы говорите, но исполнены жизни. Досадно мнѣ очень, что я не увижу теперь Ивана Сергѣича—думаю, что онъ въ январѣ будетъ въ Москвѣ или въ Абрамцевѣ. Разсказъ о соловьяхъ записанъ мною съ дипломатической точностью, слово въ слово. Пишите мнѣ въ Петербургъ по слѣдующему адресу: Въ Главномъ Штабѣ, на квартирѣ вице-директора Инспекторскаго Департамента, Павлу Васильевичу Анненкову, для передачи И. С. Т. Какъ только я найму себѣ квартиру, напишу вамъ. Будьте здоровы, веселы и счастливы—кланяюсь всѣмъ вашимъ и остаюсь навсегда любящій васъ —

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

22-го ноября 1854. Абрамцево.

Благодарю васъ, любезный мой Иванъ Сергѣичъ, за прекрасную статью о соловьяхъ и за письмецо ваше отъ 11-го оября. Я ждалъ васъ каждый день. Дѣлать нечего, покоюсь необходимости „ѣхать сейчасъ въ Петербургъ“ и даже грою кое-какія соображенія по поводу этой необходимости. ткровенно скажу, что пріѣздъ вашъ въ Абрамцево къ Крещенью, не смотря на юбилей Московскаго университета, кается мнѣ менѣе вѣроятнымъ, чѣмъ заѣздъ изъ Москвы по рогѣ въ Петербургъ. Но что до этого! Дай Богъ, чтобъ се устроилось къ лучшему для васъ, а я съ терпѣніемъ буду жидать удовольствіе увидать васъ.

Статья о соловьяхъ — прелесть по живости разсказа, по ціальности языка и по горячему чувству охотника, которымъ проникнуто каждое слово. Душевно васъ благодарю за

нее и за трудъ, довольно скучный, который вы взяли на себя, переписавъ съ такою отчетливостью 4 большихъ страницы. Статья переписана съ дипломатической точностью, вплетена въ мою рукопись и посылается въ цензуру, которая (увы!) часъ отъ часу приходитъ въ большее неистовство; боюсь, что мнѣ не позволятъ напечатать чужую статью въ моихъ разсказахъ. Въ самое то время, какъ я читалъ ваше письмо, пріѣхалъ мой Иванъ. Онъ очень жалѣетъ, что не заѣхалъ къ вамъ; онъ подумалъ, что васъ навѣрное уже нѣтъ въ деревнѣ. Сыновья мои обнимаютъ васъ. У насъ глубокая зима, вступившая въ свои права законно и славно. Снѣгу точно въ февралѣ. Я увѣренъ, что будутъ жестокіе морозы. Въ какомъ напряженномъ состояніи теперь живу я! Борьба въ Крыму — сама по себѣ великая драма, но, по моему, это только прологъ къ великой всемірной драмѣ, на чью бы сторону ни склонилась побѣда. Я такъ волнуюсь, что часто отъ того захварываю, и это мѣшаетъ мнѣ успѣшно заниматься. Въ мои года можно бы имѣть поболѣе спокойствія, но гдѣ же взять, когда его нѣтъ, и я часто примѣняю къ себѣ стихи моего Ивана:

Когда же власть твоя пройдетъ,
О молодость, о тягостное бремя!

Обнимаю васъ. Преданный душою *С. Аксаковъ*.

Всѣ мои кланяются и благодарятъ за память. Воля ваша, а Пушкинъ пущенъ дорого; дешевизна удвоила бы расходъ экземпляровъ.

* * *

Возвращаясь изъ деревни въ Петербургъ въ ноябрѣ 1854 года, Тургеневъ не заѣхалъ въ Абрамцево и ограничился лишь отсылкой къ Сергѣю Тимоѳеевичу, при письмѣ отъ 11-го ноября, давно обѣщаннаго разсказа о соловьяхъ; за то онъ выражалъ намѣреніе посѣтить Аксаковыхъ въ слѣдующемъ январѣ, когда пріѣдетъ въ Москву на празднованіе столѣтняго юбилея университета.

Необходимость спѣшить въ Петербургъ, которою оправдывался Тургеневъ, подала Сергѣю Тимоѳеевичу поводъ къ до-

гадкѣ, стоящей въ связи съ нѣкоторыми намеками какъ его предшествующихъ писемъ, такъ и отвѣтовъ на нихъ самого Тургенева. Дѣло въ томъ, что зима 1853—1854 годовъ была для возвращеннаго изъ ссылки автора „Записокъ Охотника“ періодомъ блестящихъ свѣтскихъ успѣховъ, и что вслѣдствіе ихъ въ обществѣ пошли слухи о возможной его женитьбѣ. По всему вѣроятію, была о томъ рѣчь и въ Абрамцевѣ, когда Тургеневъ гостилъ тамъ въ маѣ мѣсяцѣ. Тѣ же слухи достигли до И. С. Аксакова въ его странствованіяхъ, и въ письмахъ своихъ къ роднымъ онъ спрашивалъ разъясненія. „На комъ же именно хочетъ жениться Тургеневъ? Это любопытно“, писалъ онъ изъ Курска 20-го іюня, и затѣмъ возвращался къ тому же предмету въ письмѣ отъ 21-го августа изъ Харькова: „Вы не получаете отъ Тургенева писемъ; здѣсь мнѣ разсказывали про него, что онъ женится, одни говорятъ— на какой-то Тургеневой же, другіе же—на графинѣ Веліегорской. Я радъ былъ бы за Тургенева, еслибы случилось это послѣднее. Графиня Веліегорская, служившая прототипомъ Гоголевой Улинькѣ, можетъ имѣть на Тургенева благодѣтельное вліяніе, разорветъ узы, связывающіе его съ грязнымъ и безнравственнымъ обществомъ Ив. Панаева и компаніи. Я думаю, ей будетъ около 28 лѣтъ. Впрочемъ, если онъ женится, то вѣрно вы знаете на комъ“ *). На самомъ дѣлѣ знать было нечего; слухи не оправдывались; на мимоходомъ брошенныя слова и на пожеланія Сергѣя Тимоѳеевича Тургеневъ отвѣчалъ глухо, а въ письмѣ отъ 7-го августа выразился даже такимъ образомъ: „Я вамъ не писалъ о тѣхъ планахъ, которые у меня были въ головѣ во время пребыванія моего въ Абрамцевѣ, потому что всѣ эти планы упали въ воду—карты сказали правду“. Сергѣй Тимоѳеевичъ подхватываетъ этотъ намекъ въ письмѣ отъ 22-го августа, и снова возвращается къ той же игрѣ въ письмѣ отъ 22-го ноября: по его соображеніямъ, Тургеневъ не даромъ поспѣшилъ въ Петербургъ. Но въ дѣйствительности обстоятельства сложились иначе; рѣшительный шагъ въ жиз-

*) И. С. Аксаковъ въ своихъ письмахъ, т. III, стр. 25, 26 и 60.

ни сдѣланъ не былъ: Тургеневъ не женился. Какъ замѣтилъ хорошо знавшій его Анненковъ, „онъ страдалъ сознаніемъ, что не можетъ побѣдить женской души и управлять ею... Онъ не отвѣчалъ ни на одну изъ симпатій, которыя шли ему на встрѣчу, за исключеніемъ развѣ трогательныхъ связей его съ О. А. Т. въ 1854 году, но и она длилась недолго и кончилась... мирнымъ разрывомъ и поэтическимъ воспоминаніемъ о прожитомъ времени“ *). Эпизодъ этой встрѣчи, удержавшій Тургенева на лѣто 1854 года въ Петербургѣ, былъ извѣстенъ Аксаковымъ: этимъ и объясняются намеки, оброненные въ письмахъ Сергѣя Тимоѳеевича.

Вопреки сомнѣніямъ старика Аксакова, Тургеневъ дѣйствительно привелъ въ исполненіе свое намѣреніе побывать въ Абрамцевѣ въ январѣ 1855 года. Затѣмъ онъ обѣщалъ повторить свое посѣщеніе весной, но въ апрѣлѣ отправился изъ Петербурга въ деревню и прожилъ тамъ до половины октября. Проѣздомъ черезъ Москву онъ однако видѣлся съ молодыми Аксаковыми и говорилъ съ ними о только-что изданныхъ охотничьихъ разсказахъ ихъ отца. „Отъ книжки“, писалъ по этому случаю И. С. Аксаковъ въ Абрамцево,— „онъ въ восхищеніи; кромѣ *знаменитаго* половодья и ловли съ острогой, говоритъ онъ,—ему нравится очень еще описаніе слѣдовъ разныхъ звѣрьковъ на снѣгу“ **).

Съ этихъ поръ, съ половины 1855 года, переписка между Тургеневымъ и Аксаковыми становится менѣе частою. Это объясняется между прочимъ тѣмъ, что лѣто 1855 года Сергѣй Тимоѳеевичъ провелъ не въ Абрамцевѣ; впрочемъ, слѣдующее письмо писано имъ еще до выѣзда изъ подмосковной.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С.-Петербургъ. 8 декабря 1854.

Я съ недѣлю тому назадъ получилъ ваше письмо, любезный и почтенный Сергѣй Тимофѣичъ, но у меня такъ много теперь дѣла (для 1-хъ нумеровъ Совр — а и Отеч. Зап.), что рѣшительно не имѣлъ времени отвѣчать вамъ и сегодня

*) *Вѣстникъ Европы* 1884 г., № 2, стр. 462.
**) И. С. Аксаковъ въ своихъ письмахъ, т. III, стр. 114 и 115.

ограничусь только немногими строками. Прежде всего повторяю, что непремѣнно, если буду живъ, буду у васъ 8-го или 9-го генваря. Я непремѣнно хочу присутствовать на юбилеѣ — и не могу представить, что̀ бы могло помѣшать мнѣ быть у васъ въ Абрамцевѣ. Я имѣлъ свѣдѣніе объ васъ и о вашемъ семействѣ отъ Самарина, съ которымъ на дняхъ обѣдалъ. Я радъ, что статья о „Соловьяхъ“ вамъ понравилась.

Вотъ гдѣ я теперь поселился: на Фонтанкѣ, близь Аничкова моста, въ домѣ Степанова. Пишите мнѣ, пожалуйста, по этому адресу.

Совѣстно посылать такое короткое письмецо, но дѣлать нечего. Вознагражу себя при свиданіи. До тѣхъ поръ желаю вамъ заочно всего хорошаго, крѣпко жму руку, кланяюсь всему вашему семейству и остаюсь преданный вамъ—

P. S. Ловля съ острогой и крытіе тетеревовъ шатромъ— прелесть, особенно первое.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С.-Петербургъ. 29-го декабря 1854. Четвергъ.

Любезнѣйшій Сергѣй Тимофѣевичъ, спѣшу увѣдомить васъ, что я непремѣнно — если буду живъ и здоровъ — выѣзжаю отсюда черезъ недѣлю, т.-е. въ самое Крещеніе, и буду у васъ въ Абрамцевѣ 8-го или 9-го числа января. Я для того пишу къ вамъ заранѣе, чтобы вы могли — въ случаѣ если вы сами или кто-нибудь изъ вашихъ будете къ тому времени въ Москвѣ — предупредить меня объ этомъ по слѣдующему адресу: на Пречистенку, возлѣ пожарнаго депо, въ домѣ Тургенева (моего брата). Я остановлюсь не у него— помѣщеніе у него слишкомъ тѣсное—но я навѣрное увижу его въ самый день пріѣзда.

Писать пока болѣе нечего—скоро увидимся и наговоримся. Кланяюсь всему вашему семейству и дружески жму вамъ руку. Душевно васъ любящій—

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

16 мая 1855 года. Абрамцево.

Давненько не писалъ я къ вамъ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, или, правильнѣе сказать, не диктовалъ ни одной

строчки. Давненько и вы не писали ко мнѣ. Да кажется, съ тѣхъ поръ, какъ вы были у меня зимой. Я получилъ отъ васъ черезъ Константина самый пріятный отзывъ о моей книжкѣ и обѣщаніе пріѣхать въ маѣ въ Абрамцево: первому я охотно повѣрилъ и обрадовался, а второму, какъ человѣкъ, умудренный уже годами, не повѣрилъ и потому не обрадовался. Итакъ, вмѣсто того, чтобы ожидать васъ въ маѣ, я удовлетворяю моей потребности поговорить съ вами, повидаться хоть на бумагѣ и принимаюсь диктовать.

Что за чудная лѣтняя погода стояла у насъ три недѣли! Какъ была пріятна весенняя природа при лѣтней теплотѣ! Все распустилось и расцвѣло гораздо ранѣе обыкновеннаго. Я во всю жизнь мою не запомню, чтобы 10-го мая выколосилась рожь и вывелись скворчата, которые на дняхъ должны даже вылетѣть. Но увы! Все перемѣнилось. Уже третій день, какъ начало холодѣть, и сегодня, если не утихнетъ сѣверный вѣтеръ, должно ожидать мороза. Дорого поплатимся мы за безвременную роскошь тепла (термометръ показывалъ въ тѣни 24 градуса), и я боюсь, чтобы наказаніе не было слишкомъ продолжительно. Впрочемъ, собственно для охотъ прохладное время удобнѣе: стрѣлять и удить теперь гораздо лучше. Внезапные жары очень рано прекратили весеннее уженье, и оно очень давно получило уже лѣтній характеръ, то-есть, рыба стала брать только около солнечнаго восхода или заката, а я ни тѣмъ, ни другимъ пользоваться не могу.

Знаете ли, отчего мнѣ захотѣлось непремѣнно сегодня написать къ вамъ? Оттого, что только сегодня получилъ я отъ графини Соллогубъ рукопись „Постоялаго Двора“ и увидѣлъ въ концѣ разсказа вашу собственноручную подпись. У меня часто мелькало желаніе писать къ вамъ; но, вѣроятно, безъ этого обстоятельства я бы долго еще пробирался. Напишите же мнѣ пожалуйста хоть нѣсколько строкъ: какъ вы стрѣляли, какъ вы наслаждались природой, какъ вы что-нибудь дѣлали, или какъ вы ничего не дѣлали? Что собираетесь писать и когда думаете ѣхать въ Петербургъ и на перепутьи изъ Москвы заѣхать въ Абрамцево? О себѣ скажу вамъ,

го я во все время теплой погоды удилъ, гулялъ, подсматривалъ за разными явленіями въ природѣ и узналъ двѣ новости: во-первыхъ, что щука въ маѣ перемѣняетъ зубы, и во-вторыхъ, что кошки ловятъ рыбу, когда она бьетъ икру а мели около самыхъ береговъ и даже выбрасывается на нихъ и на береговую травку. Можетъ быть, вы это знаете, о я не зналъ до сихъ поръ. Все это время я былъ здоовъ, а теперь вотъ уже другой день, какъ у меня болитъ олова. Константинъ васъ обнимаетъ, и всѣ мои вамъ клаяются. Я приготовляю окончательно къ печати мою книгу съ 1-го сентября начну хлопотать въ цензурѣ; хочу полать ее въ Петербургъ: тамъ лучше понимаютъ настоящее аправленіе, а здѣсь набрали цензоровъ неимовѣрно глуыхъ. Прощайте, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ! Крѣпко васъ бнимаю. Преданный вамъ душою *С. Аксаковъ*.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское. 2-го іюня 1855.

Разъ десять собирался я къ вамъ писать, любезный и потенный Сергѣй Тимофѣевичъ, но у меня полонъ былъ домъ остями, которые разъѣхались только вчера, проживъ три едѣли — и я не имѣлъ минуты свободнаго времени. Ваше исьмо, полученное мною на дняхъ, заставило меня покраѣть—мнѣ стало стыдно своей лѣни и я поспѣшилъ взяться а перо. Гостили у меня Григоровичъ, Боткинъ и Дружининъ; мы проводили время очень весело—разыграли на дорощенномъ театрѣ доморощенный же фарсъ и т. д., и т. д. Теерь опять въ домѣ все пусто и я не прочь отдохнуть. Я долженъ днако вамъ отдать отчетъ въ своихъ охотничьихъ похожденіхъ. Я пріѣхалъ сюда 12-го апрѣля—и къ изумленію не засталъ же ни одного вальдшнепа—они уже протекли—въ нынѣшемъ году все дѣлается двумя недѣлями раньше обыкновеаго—и рѣки прошли въ половинѣ марта, надѣлавъ много аззоренія и убытковъ. 18-го апрѣля я отправился на веннихъ дупелей и бекасовъ на берега Десны, въ 200 вергахъ отсюда. Дупелей и бекасовъ мы уже застали на яицахъ, днако еще были точки — и охота вышла недурная. Въ 5

полей мы на 4 ружья убили 220 штукъ. На мою долю пришлось 52. Я стрѣлялъ довольно плохо, за то собака моя меня порадовала. Время стояло превосходное и я вполнѣ насладился весною. Въ одномъ изъ моихъ полей я убилъ странную птицу: помѣсь курочки и коростеля. Ростъ ея и весь складъ былъ коростелиный — перья на спинѣ какъ у него; перья на груди, животѣ и бокахъ—какъ у курочки. носъ весь красный и длиннѣе и острѣй, чѣмъ у коростеля. Къ сожалѣнію, чучелы я не могъ сохранить. Я до сихъ поръ вовсе не зналъ, какъ кошка ловитъ рыбу и даже всегда удивлялся, отчего она такъ до нея жадна—теперь это мнѣ понятно. Вѣкъ живи—вѣкъ учись. Мнѣ очень пріятно, что гр. Соллогубъ доставилъ вамъ наконецъ „Постоялый Дворъ— и еще пріятнѣе, что это заставило васъ вспомнить обо мнѣ и написать ко мнѣ; считаю излишнимъ говорить вамъ, какъ ваше одобреніе и память ваша обо мнѣ—мнѣ дороги.

Я пока ничего не дѣлаю, но собираюсь приняться снова за свой романъ и передѣлать его съ основанья. Здоровье мое порядочно.

Ради Бога, издайте вашу книгу въ Петербургѣ и не позже первыхъ чиселъ октября. Это непремѣнно нужно. Что дѣлаетъ мой тёзка? Спасибо К. С. за поклонъ.

Я отсюда выѣду въ половинѣ октября—какъ только кончатся осенніе вальдшнепы—и непремѣнно къ вамъ изъ Москвы заѣду. Но до того времени мы, я надѣюсь, не разъ перепишемся.

Передайте мой усердный поклонъ вашей супругѣ и всѣмъ вашимъ; будьте здоровы и не забывайте душевно вамъ преданнаго...

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское. 3-го августа 1855.

Любезнѣйшій и почтеннѣйшій Сергѣй Тимофѣевичъ, я еще не получалъ отъ васъ отвѣта на мое послѣднее письмо—но, можетъ быть, оно затерялось—и мнѣ очень хочется поговорить съ вами. Какъ вы провели лѣто, которое уже на исходѣ? Я его провелъ весьма однообразно — почти не выѣз-

жалъ, не охотился—у насъ вездѣ была холера и довольно сильная; я ее побаиваюсь—дома-то все ничего, а заѣдешь въ какую-нибудь деревню—и вдругъ придется умирать въ сѣиномъ сараѣ — скверно! Такъ я и не охотился. Теперь она—не подстереги врагъ слова!—замѣтно ослабѣла—и я, можетъ быть, рѣшусь отправиться верстъ за 100 на дупелей. Очень меня разстроила эта невозможность предаться моей любимой страсти; собаки славныя, ружья отличныя—мѣста открыты удивительныя — и все это задаромъ! Авось въ будущемъ году посчастливится.

Я воспользовался уединеніемъ и бездѣйствіемъ и написалъ большую повѣсть, которую завезу къ вамъ, когда буду въ Москвѣ—около 10-го октября—ибо я непремѣнно намѣренъ къ вамъ заѣхать. Не знаю, что̀ вы скажете; я ни надъ однимъ моимъ произведеніемъ такъ не трудился и не хлопоталъ, какъ надъ этимъ; конечно, это еще не ручательство; но, по крайней мѣрѣ, самъ передъ собою правъ. Коли Пушкины и Гоголи трудились и передѣлывали десять разъ свои вещи, такъ ужъ намъ, маленькимъ людямъ, самъ Богъ велѣлъ. А то придетъ порядочная мысль въ голову, полѣнишься обдумать ее хорошенько, да обдѣлать какъ слѣдуетъ — и выйдетъ какая-то смутная чепуха. Это со мною не разъ случалось—и я далъ себѣ слово впередъ не позволять себѣ этого.

Напишите мнѣ, пожалуйста, гдѣ теперь Иванъ Сергѣевичъ? Наши всѣ ополченія выступили—вѣроятно и московское тоже. Вижу я по объявленіямъ, что Константинъ Сергѣевичъ издалъ брошюру о глаголахъ; выпишу и прочту, если это только не этимологія, которой я боюсь пуще холеры. Разскажите мнѣ о себѣ и о всемъ вашемъ семействѣ.

А, нечего сказать, живемъ мы въ невеселое время. Война ростетъ, ростетъ — и конца ей не видать, лучшіе люди (бѣдный Нахимовъ!) гибнутъ—болѣзни, неурожай, падежи—у насъ коровы и лошади мрутъ какъ мухи... Впереди еще пока никакого не видать про̀свѣту. Надо потерпѣть. Еще разикъ, еще разъ, какъ говорятъ бурлаки. Авось все это вознаградится съ лихвою. Читали ли вы статью Толстого:

„Севастополь“ въ Современникѣ? Я читалъ ее за столомъ, кричалъ: ура! и выпилъ бокалъ шампанскаго за его здоровье.

А что „Семейная Хроника“? Не явится ли хоть какой-нибудь отрывокъ на Божій свѣтъ? „Москвитянинъ“ въ агоніи — никто его не читаетъ и печатать въ немъ — значитъ бросать свои вещи ночью въ темную яму въ безлюдномъ мѣстѣ. Надо что-нибудь придумать—мы объ этомъ потолкуемъ въ октябрѣ. У меня-было много плановъ зашевелилось въ головѣ въ началѣ нынѣшняго года—теперь это все притихло. Можетъ быть, къ зимѣ они закопошатся вновь. Кн. Вяземскій—вы вѣроятно читали—назначенъ товарищемъ министра просвѣщенія—только онъ, говорятъ, очень плохъ и слабъ. У Норова, сколько слышно, намѣренія отличныя—что-то изъ всего этого выйдетъ?

До свиданія, любезный Сергѣй Тимофѣевичъ, черезъ два мѣсяца. Мой усерднѣйшій поклонъ вашей супругѣ и всему вашему семейству. Будьте здоровы и веселы—дружески жму вамъ руку и остаюсь душевно вамъ преданный—

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

11-го августа 1855 года. Абрамцево.

Да, мой любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, я не писалъ къ вамъ два мѣсяца и не отозвался на ваше письмо отъ 2-го іюня. Я уѣзжалъ на лѣто въ чужіе края, откуда и почта не ходитъ, а лѣто у насъ было чудесное, какого я давно не помню. Ровно недѣля, какъ погода похолодѣла, и я собирался уже писать къ вамъ, какъ получилъ другое отъ васъ письмо, отъ 3-го августа. Обнимаю васъ и благодарю за него. Буду отвѣчать на оба письма ваши вдругъ. Весенняя ваша охота была бы не дурна, еслибъ находилась близко; но ѣхать за 200 верстъ, чтобы убить 52 штуки бекасовъ и дупелей... это подвигъ, и я вижу, что вы гораздо больше охотникъ, чѣмъ я бывалъ смолоду. Застрѣленная вами птица, которую вы называете помѣсью курочки и коростеля, есть не что иное, какъ особенный видъ *погоныша*, то-есть, болотной курочки или болотнаго коростеля; я на своемъ вѣку убилъ ихъ

нѣсколько штукъ. Очень я сожалѣю, что проклятая холера помѣшала вамъ охотиться нынѣшнее лѣто, хотя оно было слишкомъ жарко для охоты. Но, можетъ быть, я перестану объ этомъ жалѣть, когда услышу вашу новую повѣсть, которую стану ждать съ живѣйшимъ нетерпѣніемъ. Отъ всего сердца благодарю васъ за обѣщанье пріѣхать къ намъ и беру заранѣе съ васъ честное слово, что никакія житейскія дѣла не помѣшаютъ вамъ исполнить ваше доброе намѣреніе. Тезка вашъ, Иванъ Сергѣичъ, теперь въ походѣ; сегодня онъ долженъ быть въ Брянскѣ; 5-го сентября онъ долженъ быть въ Нѣжинѣ, 9-го въ Козельцѣ, а 13-го въ Кіевѣ. Не вздумаете ли вы написать къ нему что-нибудь? Вы бы его очень обрадовали; адресъ просто на его имя: офицеру 111-й дружины, съ оставленіемъ на почтѣ до востребованія. Иванъ покуда доволенъ своимъ положеніемъ, не смотря на множество совершенно новыхъ для него хлопотъ; но я боюсь, что онѣ скоро ему наскучатъ. Константинъ мой сегодня по утру уѣхалъ въ Москву, но успѣлъ надписать вамъ свою статью „О глаголахъ“, которая на сей же почтѣ и посылается. Зная, что вы не пристрастны къ филологіи, онъ думалъ отдать вамъ ее при свиданіи. Пожалуйста, напишите ваше откровенное мнѣніе объ этой статьѣ (она была въ цензурѣ полтора года); Константинъ проситъ васъ объ этомъ и обнимаетъ. Статью Толстого я прочелъ съ восхищеніемъ и также мысленно крпчалъ *ура* и сочинителю, и тому, что она напечатана. „Хроника и Воспоминанія“ переписывались набѣло; но сегодня писецъ очень захворалъ; завтра я его отправлю въ больницу и пріищу другого писца, который долженъ кончить рукопись къ 1-му сентября. Константинъ повезъ отрывки, чтобъ прочесть Назимову, который принимаетъ въ этомъ участіе; если дѣло не сдѣлается въ Москвѣ, то отправлю мою книгу въ Петербургъ, подъ защиту Блудова и князя Вяземскаго: я не слышалъ, что онъ слабъ и плохъ, и очень порадовался его назначенію. Отличныя намѣренія министра ничего не значатъ. На дняхъ у меня былъ Самаринъ и князь Черкасскій, который мнѣ очень понравился: они сказывали мнѣ, что въ Москвѣ получено позволеніе издавать журналъ и газету кому-

то изъ кружка Грановскаго, что деньги и средства приготовлены огромныя; и я полагаю, что вы принимаете въ этомъ журналѣ участіе. Справедливо ли мое предположеніе?

Прощайте, мой любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ! Какъ мнѣ пріятно, что я поговорилъ съ вами! Все лѣто я былъ очень здоровъ; какъ-то Богъ дастъ провесть осень? У насъ не холера, а упорныя повальныя болѣзни. Крѣпко васъ обнимаю. Душою вашъ *С. Аксаковъ*.

Всѣ мои вамъ кланяются и благодарятъ за память.

***

„Я отъ васъ перваго слышу о новомъ московскомъ журналѣ. Дай Богъ, чтобъ онъ пошелъ хорошо и дѣльно. Давно пора". Такъ отвѣчалъ Тургеневъ, въ письмѣ отъ 5-го сентября, на извѣстіе, сообщенное ему С. Т. Аксаковымъ. Оно относилось къ *Русскому Вѣстнику*, изданіе котораго задумывалъ въ то время М. Н. Катковъ. Хотя журналъ этотъ возникалъ въ „кружкѣ Грановскаго", то-есть, среди западниковъ, Аксаковы согласились принять въ немъ участіе. „Имена Каткова, Корша и Леонтьева", писалъ И. С. Аксаковъ отцу по прочтеніи объявленія о *Русскомъ Вѣстникѣ*,— „порукою въ томъ, что журналъ будетъ серьезный, честный, добросовѣстный, не петербургская литературная Сѣнная площадь, и я очень радъ этому явленію" *). Не суждено было участвовать въ этомъ изданіи самому Грановскому: онъ скончался послѣ краткой болѣзни, 4-го октября 1855 года. Смерть его произвела на всѣхъ тяжкое горестное впечатлѣніе; въ ней видѣли великую общественную утрату, и именно эту мысль высказалъ Катковъ въ некрологѣ Грановскаго, напечатанномъ чрезъ день послѣ его кончины въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* (№ 120). Тургеневъ пріѣхалъ въ Москву ко дню похоронъ и подъ ихъ свѣжимъ впѣчатлѣніемъ написалъ небольшую статью о Грановскомъ для *Современника* (№ 11). Извѣщая о томъ Сергѣя Тимоѳеевича письмомъ изъ Петербурга, отъ 16-го октября, Тургеневъ говорилъ: „Потерять

*) И. С. Аксаковъ въ его письмахъ, т. III, стр. 209.

этого человѣка въ теперешнюю минуту — слишкомъ горько; съ этимъ, вѣроятно, согласятся всѣ, къ какому бы образу мыслей ни принадлежали".

Между тѣмъ, „Семейная Хроника и Воспоминанія" были разрѣшены цензурой къ печати безъ большихъ измѣненій; Катковъ предлагалъ С. Т. Аксакову уступить все это сочиненіе для *Русскаго Вѣстника*, но Сергѣй Тимоѳеевичъ предпочелъ издать его отдѣльною книгой, и для этой цѣли переселился на зиму въ Москву. Книга его вышла въ свѣтъ предъ началомъ 1856 года. Кстати замѣтить, что въ этомъ первомъ изданіи „Семейная Хроника" появилась еще не вполнѣ; два послѣдніе отрывка ея — „Молодые въ Багровѣ" и „Жизнь въ Уфѣ" — были написаны и напечатаны только въ 1856 году, первый — въ *Русской Бесѣдѣ* (кн. II), а второй — въ *Русскомъ Вѣстникѣ* (№ 15). Отдавая этотъ отрывокъ Каткову, С. Т. Аксаковъ хотѣлъ сдержать на дѣлѣ свое обѣщаніе принять участіе въ его журналѣ; но характеръ послѣдняго опредѣлился съ первыхъ же книжекъ, и еще въ мартѣ 1856 года Сергѣй Тимоѳеевичъ писалъ своему младшему сыну слѣдующее: „Статья Гилярова о моей книгѣ не принята въ *Русскій Вѣстникъ*, ибо содержитъ въ себѣ рѣзкія славянофильскія убѣжденія... Итакъ, Катковъ выведенъ на чистую воду, и наши имена должны быть исключены изъ числа участниковъ" *). Статья Гилярова нашла себѣ мѣсто въ *Русской Бесѣдѣ*, изданіе которой славянофилы предприняли одновременно съ журналомъ Каткова.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское. 5-го сентября 1855.

Хотѣлъ-было я въ благодарность за ваше письмо, любезный и почтенный Сергѣй Тимофѣевичъ, написать вамъ о моихъ (весьма неудачныхъ) охотничьихъ похожденьяхъ — но извѣстіе о Севастополѣ, полученное здѣсь вчера, лишило меня всякой бодрости — и мнѣ только хочется пожать вамъ молча руку и повторить, что я непремѣнно буду у васъ че-

*) И. С. Аксаковъ въ своихъ письмахъ, ч. III, стр. 242, примѣчаніе.

резъ мѣсяцъ. Хотя бы мы умѣли воспользоваться этимъ страшнымъ урокомъ, какъ пруссаки іенскимъ пораженіемъ!.. Но нѣтъ—писать объ этомъ нельзя. Я получилъ книгу К. С. и еще не прочелъ ея — но благодарю за память. Объ Иванѣ Сергѣичѣ я имѣлъ извѣстіе отъ карачевскаго богача, Кирѣевскаго, который угощалъ его со всей дружиной и познакомился съ нимъ. Когда соберусь съ духомъ, напишу ему въ Кіевъ. Будьте здоровы. Я отъ васъ перваго слышу о новомъ московскомъ журналѣ. Дай Богъ, чтобъ онъ пошелъ хорошо и дѣльно. Давно пора. Обо всемъ этомъ переговоримъ—а теперь еще разъ кланяюсь всему Абрамцеву и говорю: до свиданія. Преданный вамъ —

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С.-Петербургъ. 16-го октября 1855.

Я проѣхалъ черезъ Москву и не былъ у васъ, любезный и почтенный Сергѣй Тимофѣевичъ—дѣла не терпящія отлагательства требовали моего присутствія въ Петербургѣ—но я бы все-таки непремѣнно сдержалъ мое обѣщаніе, еслибы я не имѣлъ твердой надежды увидѣть васъ въ декабрѣ. 12-го декабря я *обязанъ* быть на выборахъ по тульской губерніи, и я на возвратномъ пути побываю у васъ несомнѣнно. Мнѣ такъ хочется переговорить съ вами о многомъ, многомъ... время, въ которое мы живемъ, принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя повторяются слишкомъ рѣдко—и всѣ люди мыслящіе, любящіе свою родину, должны желать сближенія и духовнаго сообщенія.

Напишите мнѣ нѣсколько строчекъ по прежнему адресу (на Фонтанкѣ, близъ Аничкова моста, въ домѣ Степанова), что̀ дѣлаетъ ваша „Хроника“, и увеличивается ли вѣроятность увидѣть ее въ печати?

Я пріѣхалъ въ Москву къ самому дню похоронъ Грановскаго. Давно ничего такъ на меня не подѣйствовало. Потерять этого человѣка въ теперешнюю минуту—слишкомъ горько; съ этимъ вѣроятно согласятся всѣ, къ какому бы образу мыслей ни принадлежали. Самыя похороны были какимъ-то событіемъ—и трогательнымъ—и возвышеннымъ. Вы навѣрное

мѣтили въ Московскихъ Вѣдомостяхъ статью о Грановскомъ, дписанную: Студентъ XXX. Превосходная вещь—желалъ я знать, кто этотъ студентъ? Я написалъ о Гр. небольую статью, которая появится въ Современникѣ. Повѣсть, писанная мною лѣтомъ, будетъ помѣщена въ январской нижкѣ Совр—а. Я вамъ прочту ее въ декабрѣ.

Сообщите мнѣ какія-нибудь извѣстія объ Иванѣ Сергѣевичѣ. Кланяюсь всему вашему семейству—васъ и К. С. обнимаю дружески и желаю вамъ всего хорошаго. Будьте здоовы, пишите мнѣ и до свиданія. Преданный вамъ.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

1855 октября 30-го.

Я въ Москвѣ, любезнѣйшій мой Иванъ Сергѣевичъ, и иву въ Денежномъ переулкѣ, у Покрова въ Левшинѣ, въ мѣ Пфеллера. Я переѣхалъ третьяго дни и за хлопотами успѣлъ отвѣтить вамъ на письмо ваше отъ 16-го октября, торое какъ-то очень долго шло до меня. Я предчувствовалъ, о мы не увидимся осенью. Какъ быть! Авось увидимся въ кабрѣ; теперь наше свиданіе важнѣе. Да, вы совершенно авы: мы живемъ въ такое время, какое не часто повтоется; оно не имѣетъ никакого сравненія съ Двѣнадцатымъ домъ, и многіе не понимаютъ его важности. Смерть Гравскаго и меня поразила. Что же касается до значенія его настоящую минуту, то мы поговоримъ съ вами объ этомъ чно. Статья о Грановскомъ студента XXX точно замѣчаьна, но фамиліи сочинителя я не знаю. Мнѣ особенно равится первая небольшая статья Каткова. Надѣюсь скоро рочесть въ *Современникѣ* вашу статью и увѣренъ, что она удетъ очень хороша. Я недавно перечелъ ваши строки о мерти Гоголя, и онѣ сильно на меня подѣйствовали, а Гравскаго вы знали ближе и любили, вѣроятно, больше. Неего и говорить, что я нетерпѣливо желаю выслушать вашу овую повѣсть. Вы хотите знать о моемъ Иванѣ Сергѣевичѣ: ъ теперь, вѣроятно, уже присоединился къ арміи Лидерса. ы, конечно, уже знаете, что Смоленское и Московское ополнія приписаны къ ней; всѣ 23 дружины будутъ разбиты

по полкамъ и составятъ въ нихъ 3 и 4 батальоны. Иванъ не можетъ оставаться въ должности казначея или квартирмейстера, потому что каждый полкъ имѣетъ своихъ. Не веселая будущность поступать въ строевые офицеры, не имѣя ни малѣйшаго понятія о военной службѣ, подъ начальство Богъ знаетъ какого господина. Рукопись моя пропущена и печатается. Грустно, очень грустно со всѣхъ сторонъ. Каждую минуту нужно ждать, что выберутъ въ ополченье моего Константина: Самаринъ уже въ мундирѣ. Я здоровъ, но глаза плохи. Всѣ мои вамъ кланяются, а Константинъ обнимаетъ васъ вмѣстѣ со мною. Душою вашъ *С. Аксаковъ*.

***

Служба въ ополченіи составляетъ любопытный и характерный эпизодъ въ жизни И. С. Аксакова и Юр. Ѳ. Самарина; первый изъ нихъ принадлежалъ къ ополченію московскому, второй — къ симбирскому; И. С. Аксаковъ подробно описалъ свое пребываніе въ ополченіи въ письмахъ къ роднымъ (т. III его переписки), а объ ополченской службѣ Самарина есть воспоминанія В. Д. Давыдова, бывшаго его начальника (*Русскій Архивъ*. 1877 г., кн. II). К. С. Аксаковъ вовсе не поступалъ въ ополченіе.

Въ ноябрѣ 1855 года въ Москвѣ возникла мысль отпраздновать пятидесятилѣтній юбилей артистической дѣятельности М. С. Щепкина. Въ то время пробудившееся общество искало всякихъ случаевъ проявить свою жизненность: торжество въ честь знаменитаго актера послужило однимъ изъ такихъ поводовъ. Старый театралъ, давній другъ Щепкина и страстный цѣнитель его дарованія, С. Т. Аксаковъ принялъ горячее участіе въ устройствѣ праздника: онъ написалъ статью о сценической дѣятельности Михаила Семеновича (*Московскія Вѣдомости* 1855 г., № 143), разослалъ пригласительныя письма московскимъ литераторамъ и отнесся къ Тургеневу, чтобы привлечь его къ участію въ предстоящемъ праздникѣ. Тургеневъ не могъ самъ пріѣхать въ Москву, но собралъ въ Петербургѣ подписку на поднесеніе подарка Щепкину и взялъ на себя хлопоты по изготовленію поздравительнаго письма отъ извѣстнѣйшихъ петербургскихъ писателей какъ стар-

го, такъ и младшаго поколѣнія. С. Т. Аксаковъ находилъ отъ адресъ прекраснымъ и, говоря о немъ въ письмѣ къ адшему сыну, прибавлялъ: „Разумѣется, тутъ были Плетвъ и князь Вяземскій, и не было Греча и Булгарина". отъ адресъ и другія рѣчи, произнесенныя на данномъ Щепну обѣдѣ, были тогда же напечатаны, за исключеніемъ нако тоста, сказаннаго К. С. Аксаковымъ. Но въ письмѣ ргѣя Тимоѳеевича къ его младшему сыну сохранилось опиніе обѣда съ тѣми подробностями, оглашеніе которыхъ бызапрещено графомъ А. А. Закревскимъ. Вотъ извлеченіе ъ этого описанія: „26-го ноября данъ былъ Щепкину обѣдъ залѣ училища живописи и ваянія. Посѣтителей было до 0, и въ томъ числѣ нѣсколько лицъ почетныхъ... Передъ ѣдомъ Константинъ прочелъ мою статью, сидя за особымъ оломъ вмѣстѣ со Щепкинымъ, который плакалъ и смѣялся. ушатели, разумѣется, разсыпались рукоплесканіями. Помъ, присланный изъ Петербурга депутатъ, актеръ Бурдинъ, очелъ прекрасное поздравленіе Щепкину отъ петербургихъ аристовъ. За обѣдомъ было много спичей. Барсовъ, явленіемъ своей благодарности, заставилъ всѣхъ плакать. годинъ провозгласилъ тостъ за мое здоровье, который былъ нятъ съ такимъ единодушнымъ восторгомъ, что Константинъ, съ бокаломъ, вошолъ въ середину стола и сказалъ ѣдующее: „Тостъ вашъ для меня дорогъ. Благодарю васъ ъ имени моего отца, благодарю всею душою за ваше совствіе. Выраженіе общественнаго сочувствія, общественнаго ѣнія драгоцѣнно, и отецъ мой ставитъ его выше всего. Я не гу лучше отвѣчать на вашъ тостъ, столь для меня драгоцѣнй, какъ предложивъ тостъ: въ честь общественнаго мнѣнія!" ѣ секунды продолжалось молчаніе и разразилось крикомъ и омомъ рукоплесканій. Всѣ встали съ своихъ мѣстъ, чокась, обнимались; незнакомые знакомились съ Константимъ... Ни музыкой, ни тостомъ въ честь искусства и театра могли унять хлопанья и крика. Константинъ поспѣшно халъ въ домъ къ Щепкину, гдѣ его встрѣтили иллюминація, па актрисъ и знакомыхъ женщинъ и малороссійскія пѣсни"*).

*) И. С. Аксаковъ въ его письмахъ, т. III, стр. 214—215, примѣчаніе.

Въ нижеслѣдующихъ трехъ письмахъ С. Т. Аксакова, послѣднихъ письмахъ 1855 года, идетъ рѣчь главнымъ образомъ о юбилеѣ Щепкина и, между прочимъ, о тостѣ К. С. Аксакова.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

1855 г. 13-го ноября. Москва.

Любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ! У меня есть надежда выманить васъ изъ Петербурга нѣсколько ранѣе назначеннаго вами срока, а именно: въ самыхъ послѣднихъ числахъ ноября исполнится пятьдесятъ лѣтъ, какъ Щепкинъ, выступивъ въ первый разъ на сцену публичнаго театра. Если его юбилей пройдетъ безъ всякихъ знаковъ уваженія къ его таланту и къ его постоянному художническому труду, то это будетъ стыдно московскому обществу. Я очистилъ мою совѣсть и приготовилъ статью съ краткимъ обозрѣніемъ театральной жизни Щепкина; но, къ удивленію моему, покуда не вижу ни въ комъ горячаго желанья дать Щепкину хоть обѣдъ. Я предполагаю, что вы своими письмами къ вашимъ московскимъ знакомымъ и пріятелямъ можете подвинуть это дѣло, а всего лучше, если пріѣдете сами въ исходѣ ноября. Не могу утерпѣть, чтобъ не сказать вамъ правду: вы просто срѣзали меня, напечатавъ „Постоялый Дворъ“ съ такими измѣненіями, которыя уничтожаютъ мысль и, несмотря на передѣлку или поддѣлку, производятъ такое смѣшеніе въ понятіяхъ читателя, что повергаютъ въ недумѣніе бѣдную его голову, разумѣется, такого читателя, которому не извѣстно существо его.

Я не успѣлъ кончить этого письма, какъ явился ко мнѣ Соловьевъ и съ жаромъ ухватился за мысль торжествовать юбилей Щепкина обѣдомъ, стихами и поднесеніемъ какой-нибудь вазы. Итакъ, помогите этому доброму намѣренію. Что вы напечатаете въ новомъ журналѣ Каткова? Къ сожалѣнію, я не могъ принять его великолѣпно выгоднаго предложенія относительно моей книги: литературная совѣсть не позволила мнѣ разорвать мое сочиненіе на восемь книжекъ журнала. Прощайте; до скораго, быть можетъ, свиданія. Обнимаю васъ. Душою вашъ *С. Аксаковъ*.

* * *

„Постоялый Дворъ“ Тургенева появился въ ноябрьской книжкѣ *Современника* за 1855 годъ, прежде чѣмъ С. Т. Аксаковъ успѣлъ сообщить автору свои замѣчанія о языкѣ повѣсти, и притомъ съ передѣлками противъ той редакціи, въ какой повѣсть была первоначально прочитана Аксаковыми. Въ чемъ состояли эти измѣненія—не извѣстно; перепечатывая впослѣдствіи „Постоялый Дворъ“, Тургеневъ не возстановилъ его текста въ первоначальномъ видѣ. Изъ этого можно заключить, что передѣлки были имъ произведены по указанію его петербургскихъ друзей, съ мнѣніемъ которыхъ согласился самъ авторъ. Впрочемъ, хотя измѣненія и огорчили Сергѣя Тимоѳеевича, они, надо думать, не были слишкомъ существенными; по крайней мѣрѣ, все, что̀ нравилось Аксаковымъ при чтеніи повѣсти въ рукописи, сохранилось и въ ея печатномъ текстѣ, и Сергѣй Тимоѳеевичъ, какъ видно изъ дальнѣйшихъ писемъ, могъ остаться при своемъ первоначальномъ мнѣніи, что это—лучшее произведеніе Тургенева.

Письмо Тургеневи къ С. Т. Аксакову.

С.-Петербургъ. 19-го ноября 1855.

Не понимаю вслѣдствіе чего—письмо ваше, любезный и почтенный Сергѣй Тимофѣевичъ, дошло до меня только сегодня по утру—и я спѣшу вамъ отвѣтить. Вотъ что̀ я намѣренъ дѣлать насчетъ Щепкинскаго юбилея. Въ теченіе трехъ дней соберу на листѣ отъ всѣхъ знакомыхъ литераторовъ приношенія для обѣда и подарка—и тотчасъ пошлю ихъ вмѣстѣ съ листомъ къ вамъ. Время, къ сожалѣнію, такъ коротко, что извернуться почти нельзя. Самъ я въ Москву теперь никакъ поѣхать не могу; напишите мнѣ, пожалуйста, когда именно назначенъ день юбилея—я бы могъ, кромѣ листа, прислать письмо отъ имени здѣшнихъ литераторовъ и художниковъ къ тому дню. Ужасно жалко, что я обо всемъ этомъ извѣстился такъ поздно.

Я лучше всѣхъ знаю, какъ глупо поступилъ я съ „Постоялымъ Дворомъ“—но, во-первыхъ, я сговорчивъ и уступчивъ до нелѣпости за ненмѣніемъ характера—а во-вторыхъ,

меня убѣждали во имя журнала (роковой 11-й книжки, которая такъ дѣйствуетъ на подписку) — нечего было помѣстить, авторы не прислали своихъ статей и т. д. Я махнулъ рукой и согласился. Литературная репутація моя не такая, чтобы дрожать надъ ней—не первая глупость—и увы! вѣроятно не послѣдняя.

Вмѣстѣ съ листомъ и деньгами вы получите письмо потолковѣе этого, а теперь я спѣшу—радъ что вы въ Москвѣ и здоровы—до свиданья—жму вамъ дружески руку.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

22-го ноября (1855 года), вечеръ.

Письмо ваше, любезный мой Иванъ Сергѣевичъ, отъ 19-го ноября, было отправлено изъ Петербурга 21-го, а потому и получено мною сегодня. Собирайте подписку, деньги, пишите привѣтствіе: все это прекрасно; только къ обѣду поспѣть едва ли можетъ, потому что онъ назначенъ 26-го, то-есть, въ субботу. Очень жаль, что мое письмо долго шло къ вамъ. Деньги если опоздаютъ — не бѣда: они пойдутъ въ сумму, которая будетъ составлена для того, чтобы изъ процентовъ выдавать премію лучшему воспитаннику театральной школы; разумѣется, эта премія будетъ называться Щепкинскою; но хорошо бы прочесть за обѣдомъ Щепкину ваше привѣтствіе или адресъ. Если вы отправите его въ пятницу, рано по утру на желѣзной дорогѣ, то оно въ 11 часовъ будетъ въ Московскомъ почтамтѣ, который находится прямо противъ дома, гдѣ помѣщается Московское училище живописи и ваянія, въ залѣ котораго будетъ данъ обѣдъ. Поручите чиновнику или кондуктору, чтобъ онъ доставилъ вашъ пакетъ прямо туда на имя Погодина. Чтобъ выиграть болѣе времени, можетъ быть, вамъ дадутъ знать по телеграфу, что обѣдъ будетъ 26-го ноября. Прощайте, до свиданья. Обнимаю васъ. Вашъ душою *С. Аксаковъ*.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

14-го декабря 1855 г. Москва.

Очень меня огорчило извѣстіе, что вы, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, хвораете, а какъ время тульскихъ выборовъ уже

проходитъ, то, вѣроятно, до весны вы не заглянете въ Москву. Не могъ добиться толку отъ Погодина, давно ли вы больны, чѣмъ вы больны и долго ли болѣть намѣревастесь? Да плюньте вы, ради Бога, на этотъ Петербургъ хоть за вредность его климата! Ожидая безпрестанно вашего пріѣзда, я не увѣдомилъ васъ въ свое время о Щепкинскомъ юбилеѣ; теперь, конечно, вы все уже знаете,—можетъ быть, иное и не такъ, какъ было, но теперь это ужь старина, и къ чему поднимать ее? По милости редакціи *Московскихъ Вѣдомостей* и университетской типографіи я до сихъ поръ не имѣю оттисковъ моей статьи, которую, легко можетъ быть, вы и не читали. Впрочемъ, весь интересъ этой статьи заключается въ вашей ко мнѣ дружбѣ. Статья не то что дурно написана, а дурно построена. Я такъ отвыкъ отъ всякой суеты, что голова моя не выноситъ самой пріятной бесѣды, если она состоитъ не изъ двухъ или трехъ, а изъ нѣсколькихъ собесѣдниковъ. Статью я писалъ въ Москвѣ, а потому она и прихрамываетъ недостаткомъ послѣдовательности и общаго тона. Благородный тостъ за общественное мнѣніе, возбудившій общее сочувствіе, кромѣ нѣкоторыхъ людей, къ нему не благорасположенныхъ, къ сожалѣнію, не былъ напечатанъ: это дало возможность перебрать на разныя манеры слова самыя простыя и благонамѣренныя.

Итакъ, мы съ вами вмѣстѣ участвуемъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ*. По моему, это очень пріятное явленіе. Очень мнѣ досадно, что я ничего не могъ дать Каткову, кромѣ маленькаго отрывка, да и тотъ изъ печатающейся книги, которая выйдетъ въ свѣтъ черезъ нѣсколько дней послѣ выхода перваго нумера журнала. Я хотѣлъ только этимъ доказать Каткову, что дѣйствительно желаю участвовать въ его изданіи. Книга моя выйдетъ огромная: вчера подписанъ 25-й листъ, а ихъ будетъ еще десять. Неловко будетъ держать въ рукахъ такой тяжелый томъ.

Къ общему сожалѣнію Назимовъ оставляетъ университетъ, и къ общему ужасу носится молва, что на его мѣсто назначается попечитель Петербургскаго университета... Всѣ безъ исключенія поражены страхомъ... Да и чего ждать отъ

человѣка, который считаетъ Гоголя вреднымъ, лакейскимъ писателемъ? Очень, очень будетъ жаль, если этотъ слухъ оправдается; это будетъ ударъ для литературной дѣятельности, возникающей въ Москвѣ.

Напишите мнѣ добрыя вѣсти о себѣ и скажите, когда мы увидимся. „Постоялый Дворъ“ и въ настоящемъ своемъ видѣ признанъ всѣми за лучшее ваше произведеніе. Я все хвораю головой, да и глазомъ не могу похвалиться.

Прощайте! Крѣпко васъ обнимаю, вмѣстѣ съ Константиномъ. Всѣ мои вамъ кланяются. Вашъ душою *С. Аксаковъ.*

***

Слухъ о назначеніи М. Н. Мусина-Пушкина на мѣсто В. И. Назимова попечителемъ Московскаго учебнаго округа и начальникомъ московской цензуры, какъ извѣстно, не оправдался.

„Семейная Хроника“ и „Воспоминанія“ Т. С. Аксакова, при самомъ своемъ появленіи въ концѣ декабря 1855 года, были встрѣчены общимъ горячимъ одобреніемъ. Читатели, казалось, сразу почувствовали, что литература обогатилась новымъ, по истинѣ классическимъ произведеніемъ. „Книга моя“, писалъ авторъ своему младшему сыну около новаго 1856 года,—„вышла и, по мѣрѣ поступленія въ лавку, раскупается на расхватъ. Въ Петербургъ могли послать только 70 экземпляровъ, ибо переплетчики переплетаютъ съ неимовѣрною медленностью“. Близкія автору лица, имѣвшія случай слышать отрывки изъ рукописи, ожидали большого успѣха, да и самъ Сергѣй Тимоѳеевичъ хорошо зналъ себѣ цѣну; тѣмъ не менѣе, первые, услышанные имъ, отзывы не произвели на него впечатлѣнія, и въ томъ же письмѣ къ сыну онъ говорилъ: „Похвалы и восторги, къ сожалѣнію, не доставляютъ мнѣ никакого удовольствія“. Правда, мѣсяцъ спустя послѣ того, какъ эти слова были написаны, онъ долженъ сознаться: „Какъ бы ни были велики мои надежды на успѣхъ моей книги, дѣйствительность превзошла всякія самолюбивыя ожиданія“. Правда и то, что отзывы критики оказывались, въ большинствѣ случаевъ, вполнѣ бла-

гопріятными автору; но онъ мало придавалъ имъ значенія и все ожидалъ, что послѣ похвалъ наступитъ очередь для порицаній. Въ семьѣ Аксаковыхъ господствовало убѣжденіе, что въ нашей журнальной литературѣ собственно нѣтъ людей, способныхъ оцѣнить настоящимъ образомъ достоинство труда Сергѣя Тимоѳеевича. „Не знаю“, писалъ ему младшій сынъ,—„говорилъ ли кто о высокомъ достоинствѣ правды, о *теплотѣ* безпристрастія вашихъ разсказовъ. Много можно было бы сказать про вашу книгу, и вы лучше всѣхъ судить ее можете. Право, вы бы хорошо сдѣлали, еслибы въ видѣ письма къ кому-нибудь, хоть къ Тургеневу, написали свое собственное мнѣніе и о толкахъ, порожденныхъ вашею книгою, и о самой книгѣ, и тѣмъ положили бы конецъ возгласамъ à la Григорьевъ. Все крикливое, шумливое, заносчивое, всякая выходка становится неумѣстною, неприличною, жалкою передъ высокой воздержностью тона вашей книги, передъ зрѣлостью суда, предъ спокойствіемъ изложенія“ *). С. Т. Аксаковъ и самъ склонялся къ такому намѣренію, однако не привелъ его въ исполненіе. Всего болѣе приводило Сергѣя Тимоѳеевича въ досаду то, что критика разсматривала „Семейную Хронику и Воспоминанія“, какъ одно цѣлое, съ одними и тѣми же дѣйствующими лицами. Между тѣмъ, въ предисловіи къ своей книгѣ Аксаковъ особенно настаивалъ на различіи содержанія этихъ произведеній и утверждалъ, что „Хроника“ написана „по разсказамъ семейства гг. Багровыхъ, близкихъ моихъ сосѣдей“, тогда какъ „Воспоминанія“ составляютъ часть его личной автобіографіи. Какъ разъяснилъ впослѣдствіи И. С. Аксаковъ, отецъ его „такимъ способомъ надѣялся прекратить толки и пересуды, непріятные для родственнаго чувства“ многихъ семействъ, представители которыхъ еще здравствовали въ то время, когда писалась книга **). О невниманіи критиковъ къ этому предупрежденію говорится и въ письмахъ Сергѣя Тимоѳеевича къ Тургеневу.

Въ письмѣ отъ 7-го февраля С. Т. Аксаковъ упоминаетъ

*) И. С. Аксаковъ въ его письмахъ, т. III, стр. 223, 237 и 242.
**) Полное собраніе сочиненій С. Т. Аксакова, т. I, стр. XXIX.

о полученномъ имъ отъ Тургенева письмѣ отъ 22-го января 1856 года. Письма съ этою датой не помѣщено въ *Вѣстникѣ Европы*, а оно было бы особенно любопытно, такъ какъ Тургеневъ, повидимому, высказывалъ въ немъ свое впечатлѣніе по прочтеніи „Семейной Хроники и Воспоминаній".

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

7-го февраля (1856 года). Москва.

Въ отплату за ваше долгое молчаніе и рѣдкія письма я не отвѣчалъ вамъ до сихъ поръ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, на милое письмо ваше отъ 22-го января. Нечего и говорить, какъ пріятно мнѣ, что вы *зачитываетесь* моей книгой. Не забудьте, что я всѣ ваши слова принимаю за наличныя деньги. Книга моя—для васъ не новость; вы слышали изъ нея бо́льшую часть, и потому вамъ нѣтъ извиненія въ излишествѣ похвалы. Еслибъ я буквально повѣрилъ всѣмъ лестнымъ отзывамъ, то они могли бы вскружить мнѣ голову. Но, слава Богу, покуда я держусь и понимаю, что общедоступность книги для всякаго сорта читателей и благодарность за удовольствіе, ею доставляемое, увлекли читающую публику въ преувеличенье и восторги, что̀ и дѣлается наконецъ модою. Посмотрю, что̀ скажутъ печатные разборы. Всѣхъ болѣе интересуетъ меня мнѣніе Некрасова. Въ послѣднихъ стихахъ его такъ много истины и поэзіи, глубокаго чувства и простоты, что я пораженъ ими, ибо прежде не замѣчалъ ничего подобнаго въ его стихахъ.

Я прочелъ оба ваши сочиненія въ *Отечественныхъ Запискахъ* и въ *Современникѣ*. Я поговорю подробно и откровенно съ вами объ этомъ предметѣ при свиданіи; притомъ же, „Рудинъ" не конченъ, и серьезная сторона только что начала развиваться. Я не вижу, почему вамъ не совладать съ задачей? Вы принялись за нее очень хорошо; но скажите ради Бога, какъ при вашемъ вкусѣ, тактѣ и чувствѣ приличія могла написаться извѣстная страница (я разумѣю: бурчанье въ животѣ и пахъ, и сохъ), страница въ началѣ вашей повѣсти. Воля ваша, а этому причиною цинизмъ петербургскаго общества... Я понимаю, какъ это стран-

по и дико, что я въ отвѣтъ на ваше теплое и лестное моему самолюбію письмо отвѣчаю такими строками. Но какъ же мнѣ тутъ быть? Чѣмъ больше я люблю васъ и вашъ прекрасный талантъ, тѣмъ больше я раздражаюсь всѣмъ тѣмъ, что̀ не достойно васъ и вашего таланта. Притворяться я не могу, да и не хочу, а отдѣлываться пустыми фразами, общими мѣстами я считаю оскорбленіемъ существующему между нами чувству дружбы. Да пріѣзжайте по крайней мѣрѣ пораньше, чтобъ вы могли остаться подольше въ Москвѣ. Мы оба съ Константиномъ очень рады знакомству съ графомъ Толстымъ. Онъ уменъ и серьезенъ; онъ способенъ понимать строгія мысли, въ какіе бы пустяки не вовлекла его пошлая сторона жизни. Я ставлю его очень высоко по задаткамъ, которые онъ далъ намъ, и узнавъ его лично, еще болѣе надѣюсь на его будущую литературную дѣятельность.

Прощайте! Крѣпко васъ обнимаю. До свиданья. Вашъ душою *С. Аксаковъ*.

* * *

Въ январьской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* на 1856 годъ была помѣщена повѣсть Тургенева „Переписка“, а въ январской книжкѣ *Современника* началось печатаніе „Рудина“, оконченнаго въ слѣдующемъ нумерѣ. Мѣсто, не понравившееся С. Т. Аксакову въ „Рудинѣ“, есть разсказъ Пигасова объ одномъ умирающемъ, находящійся во второй главѣ повѣсти; при перепечаткѣ ея Тургеневъ сдѣлалъ въ этомъ мѣстѣ сокращенія и измѣненія.

Повѣсть „Переписка“ была задумана авторомъ еще въ 1850 году*) и по своему характеру принадлежитъ къ числу произведеній такъ-называемой „первой манеры“ Тургенева, лучшимъ образцомъ которой является „Дневникъ лишняго человѣка“. При своемъ появленіи въ печати „Переписка“ прошла почти не замѣченною и была заслонена шумнымъ успѣхомъ „Рудина“, произведенія, въ которомъ авторъ проявилъ свою „новую манеру“ творчества, посвященную болѣе ши-

*) Письма И. С. Тургенева къ А. А. Краевскому (приложеніе къ отчету Императорской Публичной Библіотеки за 1890 годъ), стр. 16.

рокому изображенію русскаго общественнаго быта. Такъ, и Аксаковы не обратили вниманія на „Переписку“, между тѣмъ какъ по поводу „Рудина“ высказался не только Сергѣй Тимоѳеевичъ, но и его старшій сынъ. Помѣщаемое ниже письмо Константина Сергѣевича, послѣднее, какое писалъ онъ къ Тургеневу, очень любопытно во многихъ отношеніяхъ, между прочимъ для характеристики самого писавшаго. Аксаковы, и отецъ и сынъ, въ старое время хорошо знавали М. А. Бакунина, изображеніе котораго многіе угадывали въ лицѣ Рудина; не далѣе, какъ въ началѣ 1855 года К. С. Аксаковъ вспоминалъ этого „щегольскаго діалектика“ въ своей статьѣ о Московскомъ университетѣ тридцатыхъ годовъ, написанной по случаю его столѣтняго юбилея *). Такимъ образомъ повѣсть Тургенева представляла для Аксаковыхъ особенный интересъ; но между тѣмъ какъ Константинъ Сергѣевичъ готовъ былъ допустить нѣкоторое сходство между Рудинымъ и Бакунинымъ, Сергѣй Тимоѳеевичъ предпочиталъ видѣть въ героѣ повѣсти только литературный типъ. Такое толкованіе, возводившее Рудина въ обобщенное изображеніе отвлеченнаго русскаго человѣка, понравилось и автору, который, въ письмѣ отъ 27-го февраля 1856 года, отвѣчалъ С. Т. Аксакову слѣдующимъ признаніемъ: „Мнѣ пріятно, что вы не ищете въ Рудинѣ копіи съ какого-нибудь извѣстнаго лица... Ужъ коли съ кого списывать, такъ съ себя начинать“. Надобно сказать, что вопреки сочувственному сужденію публики, въ нѣкоторыхъ литературныхъ кружкахъ отнеслись къ повѣсти Тургенева очень сдержанно, именно находили, что романистъ, изобразивъ своего героя несостоятельнымъ въ дѣлахъ общежитія, унизилъ этимъ выведенную имъ личность проповѣдника высокихъ идей. По словамъ Анненкова, „нѣкоторые органы журналистики, оскорбленные уничтоженіемъ героя, объясняли это униженіе негодованіемъ автора на человѣка, который бралъ деньги взаймы и не отдавалъ ихъ“ **). Такое

*) Эта статья К. С. Аксакова, подъ заглавіемъ: „Воспоминаніе студенства 1832 — 1835 годовъ“, напечатана въ газетѣ *День* 1861 — 1862 гг., №№ 39 и 40.

**) *Вѣстникъ Европы* 1884 г., № 2, стр. 472.

осужденіе не могло не встревожить мнительнаго Тургенева, и въ словахъ С. Т. Аксакова онъ радъ былъ найти оправданіе самому себѣ и болѣе вѣрное объясненіе своей художественной задачѣ.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

1856 года 18-го февраля. Москва.

Я прочелъ всю вашу повѣсть, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, и спѣшу сказать вамъ мое искреннее мнѣніе. Конецъ первой части „Рудина“ и почти вся вторая мнѣ очень понравились. Много тонкаго, умнаго и глубоко подмѣченнаго въ человѣкѣ высказано вами прекрасно. Я не хочу знать, чистый ли вымыселъ характеръ Рудина, или нѣтъ. Я принимаю его, какъ типъ такихъ людей. Я вижу гораздо болѣе внѣшняго сходства съ извѣстнымъ лицомъ, чѣмъ нравственнаго, и васъ обвиняютъ за это внѣшнее сходство. Если все примѣнять къ извѣстному лицу, то извиненіе или опредѣленіе Лежнева покажутся натянутыми, и за это также найдутся люди, которые станутъ обвинять васъ; но я вполнѣ признаю ихъ естественность и правду; я даже видалъ на моемъ вѣку людей, подобныхъ Рудину, и слыхалъ приговоры о нихъ именно такихъ же нравственныхъ людей, какъ Лежневъ. Вообще, повѣсть возбуждаетъ много немелкихъ вопросовъ и раскрываетъ глубокія тайны духовной природы человѣка, а всего болѣе ту запутанную, и, по видимому, не объяснимую совмѣстимость противуположныхъ качествъ.

Въ *Петербургскихъ Вѣдомостяхъ* нашелъ разборъ моей книги. Не касаясь до похвалъ и осужденій, я желалъ бы только, чтобы кто-нибудь изъ добрыхъ людей сказалъ г. критику, что это верхъ неделикатности—печатно увѣрять, что лица, выведенныя въ „Хроникѣ“, тождественны съ лицами въ моихъ „Воспоминаніяхъ“. Неужели слова мои, что „Хроника“ ничего не имѣетъ общаго съ „Воспоминаніями“, не заслуживаютъ уваженія пишущихъ о моей книгѣ. Признаюсь, я этого не ожидалъ. *Московскія Вѣдомости* поступили также; но тамъ видна опрометчивость, а здѣсь явное желаніе меня оскорбить. Я не говорю уже о томъ, что нелѣпыя похвалы

ставятъ мнѣ въ какую-то вину, и что находятъ во мнѣ сочувствіе къ патріархальному быту башкирцевъ и обширности ихъ стадъ и табуновъ. Я хотѣлъ было самъ написать объ этомъ, но мнѣ показалось это неловкимъ. Ефремовъ мнѣ сказалъ пріятную вѣсть, что въ началѣ марта вы будете въ Москвѣ. Признаюсь, плохо этому вѣрю. Онъ сказалъ мнѣ также, что вы пишете повѣсть для Каткова. Пожалуйста пишите. Мнѣ жалко на него смотрѣть. Онъ бьется какъ рыба объ ледъ, а замѣчательныхъ статей взять негдѣ. Петербургъ грабитъ Москву. Говорятъ, что стихи графа Толстого были назначены для Москвы. Поклонитесь графу Л. Н. Толстому. Не напишетъ ли онъ что-нибудь для *Русскаго Вѣстника*? Какое бы это было доброе дѣло!

Я очень огорченъ: потерялъ 42-лѣтняго пріятеля Годеина. Обнимаю васъ. Вашъ душою *С. Аксаковъ*.

* * *

Стихи графа Толстого, о которыхъ упоминаетъ С. Т. Аксаковъ въ предшествующемъ письмѣ, суть произведенія графа Алексѣя Константиновича; они были помѣщены въ февральской книжкѣ *Современника* 1856 года. На страницахъ этого журнала графъ А. К. Толстой впервые выступилъ въ печати за два года передъ тѣмъ, но какъ только славянофилы пріобрѣли свой самостоятельный органъ въ *Русской Бесѣдѣ*, онъ рѣшилъ перенести туда свою дѣятельность, и въ теченіе 1857—1859 годовъ печаталъ свои стихотворенія только въ этомъ изданіи. Вышеупомянутыя стихотворенія были, такъ сказать, перехвачены у автора редакціей *Современника* передъ появленіемъ первой книги *Бесѣды*.

Въ мартовской книжкѣ *Современника* 1856 года была напечатана критическая статья П. В. Анненкова по поводу „Семейной Хроники и Воспоминаній“, о чемъ С. Т. Аксаковъ говоритъ въ нижеслѣдующемъ письмѣ *). Анненковъ, подобно Тургеневу, въ началѣ пятидесятыхъ годовъ познакомился съ Аксаковыми и не могъ не почувствовать глубо-

*) Эта статья Анненкова перепечатана во 2-й книгѣ его „Воспоминаній и критическихъ очерковъ“.

каго уваженія къ этой семьѣ. Въ петербургскихъ журнальныхъ кружкахъ, гдѣ въ то время принято было относиться къ славянофиламъ какъ смѣшнымъ чудакамъ, фанатикамъ и проповѣдникамъ застоя, не мало трунили надъ Анненковымъ за его уваженіе къ „московскимъ пророкамъ“ *). Но когда появилась книга С. Т. Аксакова, ея высокія достоинства не могли не поразить даже самыхъ упорныхъ противниковъ славянофильскаго направленія, и редакція *Современника* не затруднилась дать въ своемъ журналѣ мѣсто хвалебному сужденію Анненкова. Въ статьѣ своей онъ указываетъ высокое художественное достоинство „Семейной Хроники“ и вмѣстѣ съ тѣмъ оцѣниваетъ ея значеніе въ нравственномъ и общественномъ отношеніи. „Семейная Хроника“ Багровыхъ, говоритъ онъ,—„путемъ искусства миновала щекотливость семейныхъ понятій о приличіи, не подавъ повода жаловаться на пристрастное развитіе одной какой-либо стороны въ ущербъ другой, а главное — тѣмъ, что авторъ не сдѣлалъ изъ фамильныхъ преданій средства для заявленія своей собственной страсти, своихъ личныхъ наклонностей, хотя бы въ сущности и заслуживающихъ уваженія“. Именно это замѣчаніе критика особенно понравилось автору „Хроники“.

Въ нижеслѣдующемъ письмѣ С. Т. Аксаковъ говоритъ также о разборѣ его книги, помѣщенномъ Ксенофонтомъ Полевымъ въ *Сѣверной Пчелѣ* (1856, № 52). Распространяться объ этой ничтожной статейкѣ не стоитъ; довольно замѣтить, что Полевой осуждаетъ слогъ и языкъ Аксакова.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С.-Петербургъ. 27-го февр. 1856. Понедѣльникъ.

Любезный и почтенный Сергѣй Тимофѣевичъ, я получилъ ваше письмо отъ 18-го числа, и хотя чувствую, что отвѣчу немногими словами, но рѣшаюсь отвѣчать, чтобы не откладывать письма въ долгій ящикъ. Мною овладѣло въ послѣднее время какое-то безпокойство, которое не даетъ мнѣ ничѣмъ заняться послѣдовательно. Въ головѣ точно дымъ бро-

*) И. С. Аксаковъ въ его письмахъ, т. III. стр. VIII.

дитъ какой-то и на сердцѣ не совсѣмъ легко. Это все пройдетъ—и уже бывало со мной; я вамъ пишу объ этомъ только для того, чтобы напередъ извиниться въ незначительности моего письма.

Ваше мнѣніе о 2-й части моей повѣсти меня искренно обрадовало — вы знаете, какъ я дорожу вашимъ мнѣніемъ. Мнѣ пріятно также и то, что вы не ищете въ „Рудинѣ“ копіи съ какого-нибудь извѣстнаго лица... Ужъ коли съ кого списывать, такъ съ себя начинать.

Въ Петербургскихъ Вѣдомостяхъ подвизаются на критическомъ поприщѣ какіе-то баши-бузуки—и потому отъ нихъ нечего ждать, чтобы они уважали приличія. Впрочемъ никто на нихъ и не обращаетъ вниманія. Въ Современникѣ—въ мартовскомъ нумерѣ—явится статья объ васъ, Анненкова, которою, я надѣюсь, вы останетесь довольны. Толстому я передалъ вашъ поклонъ и ваше порученіе. Онъ написалъ превосходный разсказъ, подъ названіемъ: „Метель“. Вы увидите его въ мартовской книжкѣ Совр—а.

Я уже боюсь говорить вамъ, когда я прибуду въ Москву—чувствую, что извѣрился—но все-таки мнѣ кажется, что если я буду живъ и здоровъ — въ половинѣ марта васъ увижу. А до тѣхъ поръ будьте здоровы и веселы—кланяюсь вамъ и всѣмъ вашимъ. Душевно вамъ преданный —

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

12-го марта 1856. Москва.

Третьяго дня я испыталъ два удовольствія: по утру выслушалъ критику на мою книгу Анненкова, а въ вечеру—статью о томъ же предметѣ въ *Сѣверной Пчелѣ*, вѣроятно, Ксенофонта Полевого. Вы справедливо сказали, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, что я вполнѣ буду доволенъ статьей Анненкова. Эта статья произвела на меня отрадное, успокоительное впечатлѣніе. Какъ ни дороги, ни лестны для меня отзывы критика о художественномъ достоинствѣ и значительности моего труда, но всего дороже для меня то, что онъ оцѣнилъ мою рѣшимость напечатать книгу; онъ утвердилъ меня въ мысли, что я долженъ былъ такъ поступить. Я зналъ,

то найдутся подлецы или глупцы, которые не пощадятъ бо-лѣзненной стороны моего сочиненія, что они обрадуются случаю уязвить меня въ больное мѣсто; я зналъ, что близкіе люди будутъ недовольны появленіемъ въ печати моей „Хро-ники“ и „Воспоминаній“; я на все это рѣшился, и статья Анненкова наградила меня за эту рѣшимость. Если онъ въ Петербургѣ, то скажите ему отъ меня мою душевную бла-годарность и прибавьте отъ себя (по секрету), что онъ утвер-дилъ меня въ намѣреніи написать четвертый отрывокъ „Се-мейной Хроники“, въ которой жизнь молодыхъ Багровыхъ покажетъ будущее ея развитіе, и до котораго дотронуться мнѣ уже не возможно.

Сѣверная Пчела не подозрѣваетъ, до какой степени она утѣшила меня своей бранью. Я боялся ея похвалъ, какъ огня. Слава Богу, меня ругаютъ въ такой газетѣ, гдѣ не признаютъ великаго таланта Гоголя. Скажите пожалуйста графу Толстому, что „Метель“—превосходный разсказъ. Я могу объ этомъ судить лучше многихъ: не одинъ разъ испы-талъ я ужасъ зимнихъ бурановъ, и однажды потому только остался живъ, что попалъ на стогъ сѣна и въ немъ ноче-валъ. Скажите ему, что подробностей слишкомъ много; одно-образіе ихъ нѣсколько утомительно. Хотя я мало съ нимъ знакомъ, но не боюсь сказать ему голую правду.

Когда же я васъ увижу? Скоро начнутъ портиться дороги. Не пора ли въ Спасское, а по милости его и въ Москву, гдѣ нетерпѣливо ждетъ васъ искренно любящій старикъ *С. Аксаковъ*.

Не понимаю, отчего Анненковъ, при всей его деликатно-сти, назвалъ Софью Николаевну Марьей Николаевной и по-яснилъ, что лицо „Хроники“ и „Воспоминаній“ одно и то же.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

С. Спасское. 25-го мая 1856.

Любезный и почтенный Сергѣй Тимофѣевичъ, супруга ва-ша мнѣ сказывала, когда я проѣзжалъ черезъ Москву, что вы еще съ мѣсяцъ въ ней пробудете, и потому я это пись-мо посылаю въ Денежный переулокъ, въ надеждѣ, что въ

случаѣ вашего отъѣзда—его вамъ перешлютъ въ Абрамцево. Вотъ уже двѣ недѣли слишкомъ какъ я у себя въ деревнѣ и живу растительной (чтобы себя не обидѣть, не сказать—животной) жизнью. Ѣмъ *все*—даже салатъ!—и сплю какъ моська. Дѣлать ничего не могу, читаю однако съ большимъ удовольствіемъ „Исторію Греціи“ Грота и любуюсь моими милыми и счастливыми аѳинянами. Былъ на охотѣ два раза—побилъ коростелей и перепеловъ да двухъ дупелей, да небывалую у насъ птицу — маленькаго (съ дрозда) *чернаго* рыболова съ огромнѣйшими сѣрыми крыльями и красными лапками съ перепонками; теперь, до тетеревовъ, повѣшу ружье на гвоздикъ. Много я думалъ все это время—во-первыхъ, объ услышанномъ мною продолженіи „Семейной Хроники“, а во-вторыхъ, о нашихъ толкахъ съ вашимъ сыномъ. „Семейная Хроника“—вещь положительно эпическая, а съ Константиномъ Сергѣичемъ, я боюсь, мы никогда не сойдемся. Онъ въ „мірѣ“ видитъ какое-то всеобщее лѣкарство, панацею, альфу и омегу русской жизни; а я, признавая его особенность и свойственность—если такъ можно выразиться—Россіи, все-таки вижу въ немъ одну лишь первоначальную, основную почву—но не болѣе какъ почву, форму, *на* которой строится, а не *въ* которую выливается государство. Дерево безъ корней быть не можетъ; но К. С., мнѣ кажется, желалъ бы видѣть корни на вѣтвяхъ. Право личности имъ, что̀ ни говори, уничтожается—а я за это право сражаюсь до сихъ поръ и буду сражаться до конца. Обо всемъ этомъ мы еще поговоримъ въ іюлѣ—но пословица гласитъ: „горбатаго исправитъ могила“—а мы съ нимъ чуть ли не оба горбаты, только въ разныя стороны. Хотя я принадлежу болѣе къ „тряпкамъ“, къ которымъ К. С. причисляетъ, напр., Фета—но вѣдь и у тряпки есть свое упорство: разорвать ее легко, а молотомъ сколько угодно бей по ней, ничего не сдѣлаешь.

До меня дошли слухи, что вашъ сынъ Иванъ сошелся съ Васильчиковымъ и ѣдетъ въ Крымъ; радуюсь за него и за само дѣло. Горько было думать, что такой человѣкъ, какъ И. С., могъ воскликнуть: когда же власть твоя пройдетъ, о молодость, о тягостное бремя!“

До свиданія, любезнѣйшій С. Т. Желаю вамъ всего хорошаго на землѣ, прежде всего здоровья. Кланяюсь вашей супругѣ и всему вашему семейству и остаюсь навсегда преданный вамъ душою, и т. д.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

4-го іюня 1856. Абрамцево.

Какъ вы обрадовали меня письмомъ своимъ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ! Оно застало меня еще въ Москвѣ, за день до моего отъѣзда. Крѣпко васъ обнимаю и благодарю. Письмо, безъ дѣловой побудительной причины, отъ человѣка, котораго любишь,—для меня подарокъ даже лѣтомъ, даже въ деревнѣ. Отвѣчаю вамъ подробно. Очень радъ, что вы живете растительной жизнью и кушаете салатъ. Все это въ свое время необходимо, чтобы жить хорошо умственной жизнью. Завидую вамъ, что вы били коростелей, перепеловъ и дупелей, а про небывалую у васъ птицу, убитую вами, скажу вамъ, что это водяной дроздъ или „водяная кляпка“; хотя не зовутъ дроздомъ, но она не принадлежитъ къ роду дроздовъ; она точно—рыболовъ маленькихъ рѣчекъ или ручьевъ, ныряетъ очень искусно и бѣгаетъ по дну. Благодарю васъ за то, что думаете о продолженіи „Семейной Хроники“, и за великолѣпный эпитетъ, который вы прилагаете къ ней. Дай Богъ, чтобъ она его заслужила въ хорошемъ смыслѣ этого слова. Слышанный вами отрывокъ уже напечатанъ во второй книжкѣ *Бесѣды*, которая выйдетъ въ началѣ іюня; а пятый отрывокъ, въ которомъ я уже раскланиваюсь навсегда съ моими героями, вѣроятно, будетъ напечатанъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ*. Что же касается до Константина, то пусть онъ отвѣчаетъ самъ. Скажу только, что я горбатъ больше въ вашу сторону. Слухи до васъ дошли справедливые: Иванъ точно былъ вызванъ княземъ Васильчиковымъ въ Петербургъ и 31-го мая уже уѣхалъ въ Крымъ. Всѣ говорятъ, что Васильчиковъ—прекраснѣйшій человѣкъ, но не рано ли вы радуетесь и за дѣло, и за моего Ивана? Дѣло такъ трудно, что дерзко надѣяться какого-нибудь успѣха, а здоровье Ивана такъ разстроено, что ему слѣдовало приняться за серьезное

лѣченіе. Къ тому же передъ самымъ отъѣздомъ онъ получилъ лихорадку и поѣхалъ черезъ день послѣ задавленнаго хининой третьяго пароксизма. Я увѣренъ, что черезъ нѣсколько мѣсяцевъ воротится онъ совершенно больной, и это было бы не самое худшее. При свиданіи разскажу вамъ обо всемъ подробно. Я говорю смѣло *при свиданьи*, потому что вы мнѣ дали слово.

Послѣ вашего отъѣзда мы видѣлись съ графомъ Л. Н. Толстымъ. Онъ познакомился съ нѣкоторыми изъ нашихъ и поѣхалъ эмансипировать свою Ясную Поляну. Все это прекрасно, но въ этотъ разъ я замѣтилъ, что вашъ отзывъ о немъ очень справедливъ.

Какъ хорошо теперь въ деревнѣ! Великолѣпенъ Божій міръ, и человѣческое слово не можетъ дать о немъ понятія. По нездоровью моему, я думалъ, что не попаду въ деревню; но, слава Богу, я здѣсь, и тишина, меня окружающая, нарушается только голосами птицъ, шумомъ деревьевъ, качаемыхъ вѣтромъ, и громовыми ударами, которые сейчасъ раздавались надъ моей головою. Прощайте до свиданья! Душою вашъ *С. Аксаковъ*.

* * *

Весною 1856 года Тургеневъ, по обычаю, отправился изъ Петербурга въ деревню и на пути остановился на нѣсколько дней въ Москвѣ, гдѣ видѣлся съ Аксаковыми и возобновилъ оживленные споры съ Константиномъ Сергѣевичемъ; затѣмъ въ началѣ мая онъ уѣхалъ въ Спасское и 25-го числа написалъ оттуда Сергѣю Тимоѳеевичу большое письмо, въ которомъ чувствуется еще отголосокъ этихъ споровъ. Необходимо привести изъ него значительную выписку, такъ какъ иначе слѣдующія ниже, отвѣтныя письма Аксаковыхъ остались бы не понятными"...Далѣе приводится почти все письмо Тургенева, и по поводу слѣдующихъ словъ Тургенева въ этомъ письмѣ:

„Хоть я принадлежу болѣе къ „тряпкамъ", къ которымъ Константинъ Сергѣевичъ причисляетъ, напримѣръ, Фета,— но вѣдь и у тряпки есть свое упорство: разорвать ее легко, а молотомъ сколько угодно бей по ней, ничего не сдѣлаешь"—академикъ Л. Майковъ говоритъ:

„Сравненіе, которымъ заканчивается этотъ отрывокъ, напоминаетъ слова, сказанныя о Тургеневѣ И. С. Аксаковымъ въ письмѣ къ отцу отъ 24-го апрѣля 1857 года изъ Парижа, гдѣ онъ встрѣтился съ авторомъ „Рудина“: „Тургеневъ ѣдетъ на дняхъ въ Англію и начинаетъ чувствовать симпатію къ англичанамъ; это — шагъ впередъ въ его развитіи. Какъ ему достается отъ пріятелей за всѣ его послѣднія сочиненія, начиная съ „Рудина“: что онъ измѣняетъ прежнимъ мнѣніямъ, взглядамъ, принципамъ и пр. Жаль — нѣтъ у него, какъ выразилась фрейлина Тютчева, l'epine dorsale morale, просто тряпка характеромъ, а есть въ немъ требованія высшей правды и свободы“ *). Этотъ отзывъ можетъ служить хорошимъ показателемъ того, какъ смотрѣли на Тургенева въ крѣпкой своею самостоятельною, внутреннею жизнью семьѣ Аксаковыхъ. И замѣчательно, въ то время, когда именно въ своей „тряпичности“ онъ искалъ оправданія и опоры своимъ убѣжденіямъ западника, К. С. Аксаковъ — какъ видно изъ нижеслѣдующаго письма — еще не терялъ надежды увлечь его въ систему славянофильскихъ воззрѣній. Печатаемая переписка вообще очень ясно свидѣтельствуетъ, что таково было постоянное стремленіе всѣхъ Аксаковыхъ, и едва ли не оно служило основною причиной той связи, которую они такъ настойчиво поддерживали съ Тургеневымъ, не смотря на множество всяческихъ разногласій, ихъ раздѣлявшихъ.

Письмо къ Тургеневу К. С. Аксакова.

Іюня 18-го 1856.

Любезный и добрый мой Иванъ Сергѣичъ! Давно собирался писать къ вамъ и наконецъ пишу. Мы въ деревнѣ, но маменька съ двумя сестрами въ Москвѣ еще. Въ деревнѣ начинаю я отдыхать отъ сусты городской, отъ умной болтовни, отъ дѣльнаго бездѣлья. Но вообразите, я такъ от-

*) И. С. Аксаковъ въ своихъ письмахъ, т. III, стр. 324. И. С. Аксаковъ приводитъ тутъ слова своей будущей супруги, рожденной Анны Ѳедоровны Тютчевой.—Позднѣйшее сужденіе И. С. Аксакова о Тургеневѣ см. въ некрологѣ послѣдняго, въ газетѣ *Русь* 1883 г., № 17.

выкъ отъ работы, чувствовалъ такую умственную лѣнь, что не вдругъ, и то съ большимъ трудомъ, принялся за дѣло. Думаю я о васъ и о нашихъ спорахъ, и чувствуется мнѣ, что мы съ вами, не смотря на разницу въ мысляхъ и характерахъ,—одной эпохи, одного поколѣнія, одного воспитанія отчасти, ибо были на желѣзныхъ водахъ германской мысли. И кажется мнѣ, что понятны мы другъ для друга во многомъ, въ чемъ не будемъ такъ понятны взаимно съ людьми, съ которыми больше сочувствуемъ и больше согласны. А вѣдь въ самомъ дѣлѣ, желѣзныя воды — эта германская философія. Какъ благодаренъ я крѣпительнымъ струямъ, хотя я не совершилъ полнаго курса и оставилъ ихъ; на это было нѣсколько причинъ, между прочимъ и та, что я испугался, что весь обращусь въ желѣзо, признакомъ чего служитъ одно мое стихотвореніе, посвященное Самарину, носящее нѣмецкое заглавіе: „An die Idee“, съ эпиграфомъ нѣмецкимъ же: „Es existirt nichts, als Idee“. Нѣсколько разъ приходило мнѣ желаніе видѣть васъ въ Абрамцевѣ, а не спѣшащимъ уѣхать, а живущимъ прохладно, и толковать съ вами о многомъ и о многомъ. А не согласны мы съ вами во многомъ, и характеры наши разны; но тѣмъ не менѣе я искренно люблю васъ. Прочелъ я недавно, въ деревнѣ только, вашего „Рудина“, и прочелъ съ большимъ удовольствіемъ. Рудинъ похожъ очень на общаго нашего знакомаго, хотя, какъ сходство, онъ не очень удовлетворителенъ. Кой-гдѣ встрѣчаются неуясненности, характеръ Рудина не широко развитъ; но тѣмъ не менѣе, повѣсть имѣетъ большое достоинство, и такое лицо, какъ Рудинъ, замѣчательно и глубоко. Лѣтъ десять тому назадъ вы бы изобразили Рудина совершеннымъ героемъ. Нужна была зрѣлость созерцанія для того, чтобы видѣть пошлость рядомъ съ необыкновенностью, дрянность рядомъ съ достоинствомъ, какъ въ Рудинѣ. Вывести Рудина было очень трудно, и вы эту трудность побѣдили, хотя и можно кой-чего бы еще требовать. Теперь вы Печорина, конечно, выставили бы не героемъ. А замѣчательное лицо—нашъ знакомый!

Рудина я вспомнилъ и кругъ нашъ студентскій, и Стан-

кевича, и почувствовалъ, что ради этой жизни, и вамъ знакомой, ради умственнаго молодого хода мы съ вами близки съ этой стороны. Что вы дѣлаете теперь и что вы пишете? Я пишу „Обозрѣніе современной литературы“ и буду говорить о васъ безпристрастно—и въ ту, и въ другую сторону. Во второй книжкѣ *Бесѣды* будетъ помѣщена моя эпиграмма на современныхъ писателей вообще, слѣдовательно, и на васъ тутъ же; но вы, конечно, не обидитесь. Я досадую, что забылъ вамъ ее прочесть. Кромѣ уже доброты вашей и благодушія, съ какимъ встрѣчаете вы всякій упрекъ, вы увидите, что тутъ собственно и обижаться не чѣмъ: литературное мнѣніе, и только. Былъ въ Москвѣ графъ Толстой, и я имѣлъ случай замѣтить, что вы вѣрно его очертили. Странный человѣкъ! Молодъ что ли онъ? Не установился? Иногда идетъ съ нимъ разговоръ ладно; онъ слушаетъ умно и ведетъ рѣчь разумно; а иногда вдругъ упрется, повторяетъ свои слова и какъ будто васъ не понимаетъ. Кажется, въ немъ нѣтъ еще центра. Въ *Современникѣ* есть отзывъ о *Бесѣдѣ*. Не знаю, что сказать объ этомъ отзывѣ. Надѣюсь, что дѣло разъяснится, и отношенія наши къ журналамъ опредѣлятся. Что за нападенія на Хомякова! Не понимаю, отчего не упоминаютъ даже о моемъ „Луповицкомъ“.

Вотъ написалъ вамъ какое длинное письмо; споръ о мірѣ желалъ бы продолжать съ вами изустно, но, пожалуй, и письменно. Теперь, впрочемъ, уже некогда. Неужели вы и нынѣшнюю зиму думаете проводить въ поганомъ Петербургѣ, который народъ называетъ „Пятибрюхъ“? Прекрасно, и прекрасный омонимъ — Пятибрюхъ! Именно, пятью брюхами пожираетъ онъ Россію. Покуда вамъ будетъ казаться возможнымъ жить въ Петербургѣ, по тѣхъ поръ мы съ вами на разныхъ путяхъ, но тѣхъ поръ вы будете слабы и шатки. Но пора уже остановиться мнѣ, а то распишусь и на другія страницы. До свиданья, обнимаю васъ. Искренно васъ любящій *Константинъ Аксаковъ*.

Батюшка васъ обнимаетъ.

Крѣпко васъ обнимаю. Вашъ душою *С. Аксаковъ*.

* * *

„Обозрѣніе современной литературы“, о которомъ К. С. Аксаковъ говоритъ въ предшествующемъ письмѣ, помѣщено было только въ I-й книжкѣ *Русской Бесѣды* на 1857 годъ; мы уже имѣли случай упоминать о немъ въ объясненіяхъ къ письмамъ 1852 года. Что же касается „эпиграммы на современныхъ писателей“, то это—довольно длинное стихотвореніе, помѣщенное во II-й книгѣ *Бесѣды* 1856 года, подъ заглавіемъ: „Литераторы-натуралисты“; авторъ осмѣиваетъ въ немъ чисто внѣшнюю наблюдательность писателей, которые вздумали изображать народный бытъ, вовсе не будучи въ состояніи

До смысла жизни досягнуть.

Отзывъ о новомъ славянофильскомъ органѣ появился въ майской книжкѣ *Современника*, и хотя выражалъ сочувствіе нѣкоторымъ сторонамъ направленія *Бесѣды*, но въ то же время отличался страннымъ тономъ какого-то неумѣстнаго поощренія, что̀, очевидно, и произвело непріятное впечатлѣніе на К. С. Аксакова.

Въ письмѣ Тургенева къ старику Аксакову (отъ 25-го мая) упоминается объ его намѣреніи повидаться съ Сергѣемъ Тимоѳеевичемъ въ іюлѣ мѣсяцѣ. Это обѣщаніе было связано съ предположеніемъ Тургенева уѣхать за границу. Въ серединѣ лѣта онъ дѣйствительно получилъ возможность привести свое намѣреніе въ исполненіе: около 20-го іюля явился онъ въ Москву, но провелъ здѣсь всего два дня и, не заѣзжая въ Абрамцево, поспѣшилъ въ Петербургъ, чтобъ немедленно отправиться на пароходѣ въ Штетинъ *).

На этотъ разъ Тургеневъ прожилъ за границей слишкомъ два года. Зиму 1856—1857 годовъ онъ провелъ въ Парижѣ, и въ первой половинѣ ноября С. Т. Аксаковъ получилъ

*) Анненковъ, въ своей статьѣ „Шесть лѣтъ переписки съ И. С. Тургеневымъ“ (*Вѣстникъ Европы* 1885 г., мартъ), невѣрно опредѣляетъ время отъѣзда Тургенева за границу въ 1856 году. Болѣе точное опредѣленіе находится въ письмѣ В. П. Боткина къ А. В. Дружинину отъ 26-го іюля того же года (см. въ сборникѣ, изданномъ литературнымъ фондомъ, подъ заглавіемъ: „XXV лѣтъ 1859—84“, стр. 495).

отъ него черезъ редакцію *Русской Бесѣды*, письмо, помѣченное 1-мъ числомъ этого мѣсяца. Въ немъ между прочимъ читаемъ: „Книга ваша произвела впечатлѣніе даже за границей; скоро появится подробный отчетъ о ней въ *Revue des deux mondes*. Что касается до меня, то пребываніе во Франціи произвело на меня обычное свое дѣйствіе, все, что я вижу и слышу, какъ-то тѣснѣе и ближе прижимаетъ меня къ Россіи, все родное становится мнѣ вдвойнѣ дорого, и еслибъ не особенныя, отъ меня ужъ точно не зависящія обстоятельства,—я бы теперь же вернулся домой. Во всякомъ случаѣ, если я буду живъ и здоровъ, я въ маѣ мѣсяцѣ у себя въ деревнѣ“. По видимому, таково было дѣйствительное намѣреніе Тургенева, — но исполнить его ему не пришлось. Оставшись за границей, онъ распорядился, чтобы С. Т. Аксакову былъ доставленъ экземпляръ вновь изданнаго собранія его повѣстей, и поэтому случаю писалъ: „Въ нихъ, я это знаю, слишкомъ много слабаго, не додѣланнаго— отчасти отъ лѣни, а отчасти—что грѣха таить! — отъ безсилія; но вы пропускайте или дополняйте мысленно плохое и взгляните снисходительно на остальное. Я — одинъ изъ писателей междуцарствія, эпохи между Гоголемъ и будущимъ главою; мы всѣ разработывали въ ширину и въ разбивку то, что великій талантъ сжалъ бы въ одно крѣпкое цѣлое, добытое изъ глубины; что же дѣлать? Такъ насъ и судите“. Голосъ, поданный Тургеневымъ изъ Парижа, очень обрадовалъ С. Т. Аксакова, который и поспѣшилъ на него откликнуться.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

Парижъ. 1-го (13-го) ноября 1856.

Любезный и почтенный Сергѣй Тимофѣевичъ, до сихъ поръ я все странствовалъ, или, говоря точнѣе, до сихъ поръ я не свилъ себѣ хотя временнаго гнѣзда—но теперь я поселился на квартирѣ, rue de Rivoli, № 206, и взялся за перо, отъ котораго рука отвыкла было. Я часто думалъ объ васъ и о вашихъ, а теперь одно изъ первыхъ моихъ желаній — дать вамъ о себѣ вѣсть и услыхать отъ васъ, какъ вы можете

и что дѣлаете хорошаго. Я даже не знаю навѣрное, гдѣ вы—въ Абрамцевѣ или въ Москвѣ—и пишу, на-удачу, въ редакцію Русской Бесѣды. Здѣсь я — пока — отрѣзанъ отъ живого сообщенія съ Россіей; письма-то я получаю, хотя немного; но журналовъ (кромѣ 2 нумеровъ Современника)—не вижу; впрочемъ я надѣюсь помаленьку все это достать; здѣсь есть одинъ князь Трубецкой, который все получаетъ, и съ которымъ я надѣюсь познакомиться; сверхъ того, здѣшній священникъ получаетъ Русскую Бесѣду. Хочется мнѣ очень прочесть во 2-мъ № „Р. Б.“ тѣ главы изъ вашихъ воспоминаній, которыя я слышалъ въ нынѣшнемъ году, весной, въ Москвѣ. Книга ваша произвела впечатлѣніе даже за границей; скоро появится подробный отчетъ о ней въ Revue des 2 Mondes. Что касается до меня, то пребываніе во Франціи произвело на меня обычное свое дѣйствіе: все, что я вижу и слышу, какъ-то тѣснѣе и ближе прижимаетъ меня къ Россіи, все родное становится мнѣ вдвойнѣ дорого — и еслибъ не особенныя, отъ меня ужъ точно не зависящія обстоятельства—я бы теперь же вернулся домой. Во всякомъ случаѣ, если я буду живъ и здоровъ—я въ маѣ мѣсяцѣ у себя въ деревнѣ. Я охотился здѣсь осенью; но дичи было весьма мало (кромѣ зайцевъ); куропатки переводятся — и скоро даже эта послѣдняя однообразная французская охота прекратится. Впрочемъ я убилъ одного фазана. Я заказалъ себѣ великолѣпнѣйшее ружье у перваго мастера въ Лондонѣ, Ленга, и весной вывезу оттуда двухъ отличныхъ собакъ. Кролика я никакъ не могъ убить ни одного; ужасно трудно стрѣлять ихъ на перемычкахъ; какъ мыши шмыгаютъ они черезъ узкія дорожки, оставляемыя во Франціи въ лѣсахъ, и выстрѣлъ всегда приходится позади.

Я написалъ въ Петербургъ, чтобы доставили вамъ одинъ экземпляръ моихъ собранныхъ „Повѣстей и Разсказовъ“ Анненковскаго изданія. Въ нихъ, я это знаю, слишкомъ много слабаго, недодѣланнаго—недодѣланнаго отчасти отъ лѣни, а отчасти—что грѣха таить!—отъ безсилія; но вы пропускайте или дополняйте мысленно плохое и взгляните снисходительно на остальное. Я одинъ изъ писателей междуцар-

ствія—эпохи между Гоголемъ и будущимъ главою; мы всѣ разработывали въ ширину и въ разбивку то, что великій талантъ сжалъ бы въ одно крѣпкое цѣлое, добытое имъ изъ глубины; что же дѣлать! Такъ насъ и судите.

Напишите мнѣ, пожалуйста, хотя два слова о себѣ и о всѣхъ вашихъ. Что И. С. вернулся изъ Крыма и какъ его здоровье? Что дѣлаетъ К. С.? Какъ идетъ Бесѣда въ отношеніи финансовомъ, т. - е. много ли у ней подписчиковъ? Что дѣлается въ Москвѣ? Мы здѣсь чуяли вѣяніе новой жизни, начавшейся на родинѣ, и радовались душевно; скажите слово и о ней. Передайте мой поклонъ Самарину и Хомякову.

Хочу я познакомиться съ здѣшними литераторами, хотя ни къ одному не чувствую симпатіи и ничего не ожидаю для себя отъ этого знакомства; но оно любопытно—и, можетъ быть, поучительно. Состояніе умовъ во Франціи, сколько я могу судить, довольно странное и совсѣмъ не такое, какимъ его почитаютъ у насъ. Этого въ письмѣ и особенно въ немногихъ словахъ не передашь. Постараюсь глядѣть на все безъ предубѣжденья и пристрастья—и буду также стараться много видѣть.

Прощайте, любезнѣйшій Сергѣй Тимофѣичъ, желаю вамъ отъ души всего хорошаго на свѣтѣ. Кланяюсь вашей супругѣ и всѣмъ вашимъ, крѣпко жму вашу руку и остаюсь навсегда душевно вамъ преданный, и т. д.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

16-го ноября 1856. Москва.

Какъ меня обрадовало ваше милое письмо, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, отъ 1-го ноября изъ Парижа! Я виноватъ передъ вами: я думалъ, что вы не соберетесь написать ко мнѣ посреди этого вихря суеты! Редакція *Русской Бесѣды* немедленно доставила мнѣ ваше письмо; но если вы вздумаете еще написать ко мнѣ, то адресуйте на Арбатъ, въ домъ фонъ - Дребушъ, гдѣ я теперь живу. Благодарю васъ за дружбу и участіе; но увы! ничего утѣшительнаго, ни въ какомъ отношеніи, не могу сообщить вамъ. Я разстроенъ

душевно и тѣлесно усилившеюся болѣзнью нашей больной дочери, страдающей уже 14 лѣтъ; даже не могу принимать обыкновенныхъ лѣкарствъ, потому что при волненіи духа они скорѣе вредятъ, чѣмъ помогаютъ.

Но лучше я стану отвѣчать подробно на ваше письмо. Вы слышали въ Москвѣ четвертый отрывокъ моей „Хроники“, который точно напечатанъ во 2-мъ № *Русской Бесѣды;* но пятый, котораго вы не знаете, и которымъ заканчивается „Хроника“, напечатанъ въ одной изъ книжекъ августа *Русскаго Вѣстника*. Если будете имѣть случай, пожалуйста прочтите и напишите мнѣ голую правду. Я послѣ скажу вамъ, почему мнѣ это особенно интересно. Мнѣ очень пріятно, что книгу мою читаютъ мои земляки даже и за границей, и я съ большимъ нетерпѣніемъ ожидаю отчета о ней въ *Revue des deux mondes;* этимъ отчетомъ, вѣроятно, я буду обязанъ вашей дружбѣ. Какъ утѣшили меня ваши слова, что въ маѣ вы будете у себя въ деревнѣ! Въ такомъ случаѣ вы найдете меня еще въ Москвѣ, и я успѣю побесѣдовать съ вами до отъѣзда въ деревню. Мнѣ это будетъ не только отрадно, но и полезно; мнѣ нужно это: я занятъ теперь такимъ дѣломъ, о которомъ хотѣлъ бы знать ваше мнѣніе. Я боюсь, попалъ ли я на настоящій топъ, и не нужно ли измѣнить самые пріемы: я пишу книгу для дѣтей, разумѣется, не маленькихъ, а такихъ, которымъ около 12-ти лѣтъ. Я ничего не придумалъ лучшаго, какъ написать исторію ребенка, начавъ ее со времени баснословнаго до историческаго и проведя его сквозь всѣ впечатлѣнія жизни и природы, жизни преимущественно деревенской. Какъ бы мнѣ хотѣлось сію же минуту прочесть вамъ нѣсколько тетрадей! Разумѣется, тутъ нѣтъ никакой поддѣлки подъ дѣтскій возрастъ и никакихъ нравоученій. Чувствую, что можно бы сдѣлать дѣло немаловажное, но никакъ не смѣю надѣяться на удачное исполненіе. Благодарю васъ за увѣдомленіе объ охотѣ. Мнѣ очень хочется полюбоваться на ваше лондонское ружье и собакъ. Я, какъ охотникъ, очень понимаю, что кролика трудно убить при такихъ условіяхъ. Заранѣе благодарю васъ за ваши „Повѣсти и Разсказы“, которые

ювь перечту съ удовольствіемъ. Мнѣ сказывали, что у васъ
ного есть передѣлокъ, на которыя очень любопытно мнѣ
глянуть. Вы безпристрастны къ себѣ до несправедливости,
о мысль, что мы всѣ—писатели междуцарствія въ литера-
урѣ, совершенно справедлива; я даже напечаталъ эту мысль
ь 4-й книгѣ *Русской Бесѣды*. Но заслуги наши не мало-
ажны: безъ насъ не возможно появленіе геніальнаго писа-
еля. Ивана ожидаю въ ноябрѣ. Константинъ кое-что дѣлаетъ,
болѣе хлопочетъ около меня. У *Русской Бесѣды* 850 под-
исчиковъ. Пожалуйста познакомьтесь съ парижскими лите-
аторами. Это очень любопытно.

Прощайте, мой любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ! Всѣ мои
чень благодарятъ васъ за память и сами вамъ кланяются.
рѣпко васъ обнимаю. Да сохранитъ васъ Богъ здрава и
евредима! До свиданія! Преданный душою *С. Аксаковъ*.

Хомяковъ и Самаринъ въ деревнѣ и воротятся къ Рожде-
ству. Иванъ былъ здоровъ, но уже третью недѣлю не имѣю
ъ него писемъ. Вообразите! И Петръ Кирѣевскій умеръ.
онстантинъ будетъ самъ писать вамъ.

* * *

Новый трудъ, за который принялся С. Т. Аксаковъ по
кончаніи „Семейной Хроники“, это—„Дѣтскіе годы Багрова-
нука“. Тургеневъ, получивъ извѣстіе, что Сергѣй Тимоосе-
ичъ занимается этимъ сочиненіемъ, писалъ ему 8-го января
новаго стиля) 1857 года: „Ваша мысль написать исторію
ебенка для дѣтей—прекрасна, и я увѣренъ, что вы испол-
ите ее, какъ нельзя лучше, съ этою эпическою ясностью
простотой, которая составляетъ вашу особенность между
ишущей братіей“. Въ томъ же письмѣ, посылая поклоны сы-
овьямъ Сергѣя Тимоосевича, Тургеневъ прибавлялъ: „Пусть
нѣ Константинъ Сергѣичъ напишетъ письмо—я ему отвѣчу
непремѣнно; а весною какъ мы будемъ спорить! Я очень
люблю спорить съ нимъ, потому что, не смотря на нашъ
рикъ и жаръ, дружелюбная улыбка не сходитъ у насъ съ
уши и чувствуется въ каждомъ словѣ“. Но К. С. Аксаковъ
не отозвался на это приглашеніе, да и Тургеневу не при-

шлось возобновить съ нимъ изустные споры. Вмѣсто того, ему предстояла встрѣча съ И. С. Аксаковымъ. Младшій сынъ Сергѣя Тимоѳеевича пріѣхалъ въ Парижъ въ апрѣлѣ 1857 года. „Здѣсь Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ“, писалъ онъ оттуда отцу вскорѣ по прибытіи; — „онъ обрадовался мнѣ чрезвычайно и взялся быть моимъ чичероне по Парижу... Тургеневъ хандритъ, совсѣмъ размякъ, тоскуетъ въ Парижѣ, собирается недѣли на двѣ въ Лондонъ, потомъ въ Германію на воды и развѣ къ зимѣ будетъ въ Россію. Онъ былъ очень боленъ, но теперь въ обыкновенномъ своемъ положеніи; съ величайшею подробностью спрашивалъ онъ о васъ, милый отесенька, и о Константинѣ“ *). Какое впечатлѣніе произвелъ Тургеневъ на И. С. Аксакова при ихъ дальнѣйшихъ свиданіяхъ—мы уже знаемъ изъ словъ послѣдняго, приведенныхъ въ объясненіи къ письму отъ 4-го іюня 1856 г.

Авторъ „Рудина“ дѣйствительно переживалъ въ ту пору тяжелый нравственный кризисъ. Вотъ что̀ писалъ онъ В. П. Боткину въ одинъ изъ приступовъ своей хандры, незадолго до встрѣчи съ И. С. Аксаковымъ: „Скажу тебѣ на ухо съ просьбой не пробалтываться: ни одной моей строчки никогда напечатано (да и написано) не будетъ до скончанія вѣка. Третьяго дня я не сжегъ (потому что боялся впасть въ подражаніе Гоголю), но изорвалъ и бросилъ въ water-closed всѣ мои начинанія, планы и т. д. Все это—вздоръ. Таланта съ особенною физіономіею и цѣльностью у меня нѣтъ; были поэтическія струнки, да онѣ прозвучали и отзвучали — повторяться не хочется. Въ отставку! Это не вспышка досады, повѣрь мнѣ; это выраженіе или плодъ медленно созрѣвшаго убѣжденія. Неуспѣхъ моихъ повѣстей ничего мнѣ не сказалъ новаго... Ты, вѣроятно, подумаешь, что все это—преувеличеніе, и ты мнѣ не повѣришь. Ты увидишь, я надѣюсь, что я никогда не говорилъ серьезнѣе и искреннѣе. Ты знаешь, что я хотѣлъ бросить стихи писать, какъ только убѣдился, что я не поэтъ, а по теперешнему моему убѣжденію, я — такой же повѣствователь, какой былъ поэтъ“ **). Вопреки

*) И. С. Аксаковъ въ его письмахъ, т. III, стр. 315 и 317.
**) XXV лѣтъ. 1859—1884, стр. 500—501.

овамъ Тургенева, сомнѣнія въ силѣ его дарованія возникли ъ немъ именно при оглядкѣ на свою прежнюю литературую дѣятельность: изданное въ концѣ 1856 года собраніе о повѣстей и разсказовъ было встрѣчено критикой довольно рого, и это сильно подѣйствовало на мнительнаго автора. ы знаемъ изъ его переписки съ Аксаковыми, что онъ и мъ чувствовалъ уже потребность измѣнить „манеру“ своего ворчества; но ему не легко было услышать то же требоніе со стороны; а между тѣмъ въ этомъ смыслѣ высказывались даже самые расположенные къ нему цѣнители его роизведеній, какъ, напримѣръ, Дружининъ *). Въ концѣ коновъ, кризисъ, пережитый Тургеневымъ, принесъ благодѣльныя послѣдствія для его дарованія, и осенью 1857 года, ѣшившись продлить свое пребываніе за границей и провести му въ Римѣ, онъ уже ставилъ это рѣшеніе въ связь съ озобновленіемъ художественнаго труда, отъ котораго хотѣлъ ыло совсѣмъ отказаться за нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ. 3-го сентября онъ писалъ П. В. Анненкову: „Что касается о моего внезапнаго путешествія въ Римъ, то, поразмысливъ орошенько дѣло, вы, я надѣюсь, убѣдитесь сами, что для ня, послѣ всѣхъ моихъ треволненій и мукъ душевныхъ, ослѣ ужасной зимы въ Парижѣ, тихая, исполненная споойной работы зима въ Римѣ, среди этой величественной и иряющей обстановки, просто душеспасительна. Въ Петергѣ мнѣ было бы хорошо со всѣми вами, друзья мои, но работѣ нечего было бы и думать; а мнѣ теперь, послѣ кого долгаго бездѣйствія, предстоитъ либо бросить мою литературу совсѣмъ и окончательно, либо попытаться: нельзя еще разъ возродиться духомъ?“ **). Блистательный успѣхъ ѣнчалъ эту попытку: въ Римѣ, еще до конца 1857 года, писана была „Ася“ (напечатанная въ *Современникѣ* 1858 года 1) и задумано „Дворянское Гнѣздо“—то именно изъ произведеній Тургенева, которое, при своемъ появленіи въ пе-

*) Собраніе сочиненій А. В. Дружинина, т. VII. Здѣсь перепечатанъ зборъ „Повѣстей и Разсказовъ“ Тургенева, помѣщенный сперва въ *Библіотекѣ для Чтенія* 1857 года.

**) *Вѣстникъ Европы* 1885 г., мартъ, стр. 8 и 9.

чати въ началѣ 1859 года, было встрѣчено наиболѣе полнымъ и наиболѣе единодушнымъ восторгомъ со стороны читателей. Анненковъ говоритъ объ этомъ единодушіи въ своемъ разборѣ „Дворянскаго Гнѣзда“ *), и его слова теперь, по прошествіи тридцати-пяти лѣтъ, получаютъ значеніе цѣннаго историческаго свидѣтельства, которое стоитъ привести: „На новомъ романѣ автора сошлись люди противоположныхъ партій въ одномъ общемъ приговорѣ; представители разнородныхъ системъ и воззрѣній подали другъ другу руку и выразили одно и то же мнѣніе. Романъ былъ сигналомъ повсемѣстнаго примиренія и образовалъ родъ какого-то литературнаго *trêve de Dieu*, гдѣ каждый позабылъ на время свои любимыя мнѣнія, чтобы вмѣстѣ съ другими спокойно насладиться произведеніемъ и присоединить свой голосъ къ общей и единодушной похвалѣ“. Если таково было впечатлѣніе, произведенное „Дворянскимъ Гнѣздомъ“, и если изъ-подъ пера Тургенева, при всемъ его западничествѣ, могло вылиться произведеніе такой примиряющей силы, то едва ли можно отрицать, что его художественный замыселъ возникъ на этотъ разъ не безъ вліянія тѣхъ своеобразныхъ впечатлѣній, которыя Тургеневъ почерпнулъ въ общеніи со славянофильскою семьей Аксаковыхъ. Но то была уже послѣдняя дань, которую художникъ-романистъ взялъ съ этихъ людей. Силою обстоятельствъ сношенія Тургенева съ Аксаковыми близились къ концу.

Въ теченіе всего 1857 года Тургеневъ не писалъ Аксаковымъ. Объ его треволненіяхъ и вообще о всемъ, что съ нимъ происходило въ ту пору, Сергѣй Тимоѳеевичъ могъ получать лишь отрывочныя свѣдѣнія отъ третьихъ лицъ; но когда, въ концѣ года, графъ Л. Н. Толстой сообщилъ ему, что Тургеневъ желалъ бы возобновить съ нимъ прерванныя сношенія, старикъ Аксаковъ поспѣшилъ написать въ Римъ. Обстоятельства того времени, и въ особенности только что поставленный на очередь крестьянскій вопросъ, внушили Сер-

*) Этотъ разборъ появился въ *Русскомъ Вѣстникѣ* 1859, № 16; перепечатанъ во второй книгѣ „Воспоминаній и критическихъ очерковъ“ Анненкова.

гѣю Тимоѳеевичу мысль звать Тургенева въ Россію, и онъ отправилъ ему посланіе, нѣсколько напоминающее своимъ содержаніемъ письма, которыя въ былое время Аксаковъ писывалъ тоже въ Римъ къ Гоголю.

Письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову.

Парижъ. 8-го января нов. ст. 1857.

Любезный и почтенный Сергѣй Тимофѣевичъ, давно я получилъ ваше письмо и давно собираюсь отвѣтить—и не то чтобы времени не было, но не приходило того расположенія духа, въ которомъ хочется бесѣдовать съ отсутствующими друзьями. Впрочемъ не „вихрь“ парижской жизни тому причиной: я здѣсь живу только-что не отшельникомъ—да притомъ Парижъ съ своимъ трескомъ и блескомъ можетъ вскружить голову юношѣ или, пожалуй, старику; а я еще не старикъ, хотя уже Богъ знаетъ какъ давно пересталъ быть юношей. Я съ тѣхъ поръ, какъ писалъ вамъ, познакомился со многими здѣшними литераторами—не съ старыми славами, бывшими коноводами—отъ нихъ, какъ отъ козла, ни шерсти, ни молока—а съ молодыми, передовыми. Я долженъ сознаться, что все это крайне мелко, прозаично, пусто и безталанно. Какая-то безжизненная суетливость, вычурность или плоскость безсилія, крайнее непониманіе всего нефранцузскаго, отсутствіе всякой вѣры, всякаго убѣжденія, даже художническаго убѣжденія—вотъ что встрѣчается вамъ, куда ни оглянитесь. Лучшіе изъ нихъ это чувствуютъ сами — и только охаютъ и хряхтятъ. Критики нѣтъ,—дрянное потаканіе всему и всѣмъ; каждый сидитъ на своемъ конькѣ, на своей манерѣ и кадитъ другому, чтобы и ему кадили — вотъ и все. Одинъ стихотворецъ вообразитъ, что нужно „проводить“ реализмъ—и съ усиліемъ, съ натянутой простотой воспѣваетъ „Паръ“ и „Машины“; другой кричитъ, что должно возвратиться къ Зевсу, Эроту и Палладѣ—и воспѣваетъ ихъ, съ удовольствіемъ помѣщая греческія имена въ свои французскіе стишки; и въ обоихъ капли нѣтъ поэзіи. Сквозь этотъ мелкій гвалтъ и шумъ пробиваются, какъ голоса устарѣлыхъ пѣвцовъ, дребезжащіе звуки Гюго, хилое хныканье Ламартина, бол-

товня зарапортовавшейся Сандъ; Бальзакъ воздвигается идоломъ и новая школа реалистовъ ползаетъ въ прахѣ передъ нимъ, рабски благоговѣя передъ Случайностью, которую величаютъ Дѣйствительностью и Правдой; а общій уровень нравственности понижается съ каждымъ днемъ и жажда золота томитъ всѣхъ и каждаго—вотъ вамъ Франція! Если я живу здѣсь, то вовсе не для нея и не для Парижа, а въ силу обстоятельствъ, не зависящихъ отъ моей воли. Но весна придетъ—и я полечу на родину, гдѣ еще жизнь молода и богата надеждами. О, съ какой радостью увижу я наши полустепныя мѣста! А въ маѣ я буду у васъ въ Абрамцевѣ, непремѣнно.

Очень меня огорчаетъ извѣстіе о болѣзни вашей дочери и о собственномъ вашемъ разстройствѣ. Дай Богъ, чтобы все это поправилось и пришло въ обычную колею! Статью о вашихъ „Хроникахъ“ написалъ нѣкто Делавдъ, здѣшній литераторъ, хорошо знакомый съ русскимъ языкомъ; я ему помогъ и кое-что истолковалъ. Статья должна скоро явиться въ Revue des 2 Mondes. Ваша мысль написать исторію ребенка для дѣтей—прекрасна, и я увѣренъ, что вы исполните ее какъ нельзя лучше, съ тою эпической ясностью и простотой, которая составляетъ вашу особенность между всею пишущей братьей. Русскій Вѣстникъ, въ которомъ находится отрывокъ вашей „Хроники“, обѣщанъ мнѣ кн. Трубецкимъ (пріятелемъ Константина Сергѣевича). Я его вижу довольно часто; онъ очень милый и добрый человѣкъ и васъ всѣхъ весьма любитъ. Онъ получаетъ также Русскую Бесѣду, но 4-я часть еще здѣсь не получена.

Поклонитесь отъ меня всему вашему семейству, супругѣ вашей и К. С. и И. С. въ особенности. Пусть мнѣ К. С. напишетъ письмо—я ему отвѣчу непремѣнно; а весною какъ мы будемъ спорить! Я очень люблю спорить съ нимъ, потому что, несмотря на нашъ крикъ и жаръ, дружелюбная улыбка не сходитъ у насъ съ души и чувствуется въ каждомъ словѣ. А съ инымъ во всемъ соглашаешься и спорить нѣ о чемъ, а между имъ и тобой—цѣлый оврагъ.

Я здѣсь вижу Васильчикова, брата генерала В., у кото-

раго И. С. Сколько я могу судить, изъ слѣдствія ничего особеннаго не вышло.

Ну прощайте, любезный и почтенный С. Т. Будьте здоровы и дай вамъ Богъ время и охоту писать. Я что-то не могу ничего дѣлать—точно рука вывихнута. Авось справлюсь. До свиданія весной. Весь вашъ, и т. д.

PS. Какъ мнѣ жаль обоихъ Кирѣевскихъ—передать вамъ не могу.

Письмо къ Тургеневу С. Т. Аксакова.

20-го декабря 1857. Москва.

Л. Н. Толстой сказалъ мнѣ двѣ добрыя вѣсточки отъ васъ: первую—что я скоро прочту вашу статью въ *Современникѣ*, и вторую—что вы, мой любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ, хотите возобновить со мною переписку. Я самъ не знаю, отчего я давно не возобновилъ ея. Кажется, оттого, что не былъ увѣренъ въ прочности вашего мѣстопребыванія; извѣстіе же о пріѣздѣ вашемъ въ Вѣну заставило меня обнадѣяться, что оттуда вы пріѣдете къ намъ. Кромѣ желанія перемолвить съ вами кое о чемъ, мнѣ хочется убѣдить васъ, что вы должны немедленно воротиться въ Россію. Мы переживаемъ теперь великое время. Важность событія требуетъ, чтобы каждый русскій, образованный и благонамѣренный человѣкъ, былъ на своемъ мѣстѣ, не въ качествѣ помѣщика (что̀ также весьма недурно), а въ качествѣ члена общества. Не смотря на искреннее желаніе почти всѣхъ порядочныхъ людей, переломъ засталъ насъ совершенно врасплохъ. У насъ ничего нѣтъ готоваго: ни мѣстныхъ свѣдѣній, ни статистическихъ описаній, ни экономическихъ плановъ, никакихъ предварительныхъ трудовъ, и что̀ всего хуже—нѣтъ согласія между собою. Корабль тронулся, и у насъ закружилась голова. Мы не только не столковались между собою, но мы еще и не думали о дѣлѣ серьезно. Письменное и еще болѣе изустное слово имѣютъ теперь большое значеніе; теперь надобно говорить направо и налѣво, объяснять трудный и запутанный предметъ и по возможности упрощать его пониманіе. Если только здоровье ваше позволяетъ, то пріѣзжайте

къ намъ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣичъ. Нельзя жить на чужой сторонѣ, когда рѣшается судьба родины.

Что̀ сказать вамъ о себѣ? Я продолжаю постоянно хворать, но часто забываю объ этомъ. Чисто литературные интересы поблѣднѣли для меня, и моя книга, которую я такъ горячо желалъ видѣть напечатанною, теперь уже мало меня занимаетъ, а я положилъ въ нее всю мою душу, все мое дарованіе и все умѣнье, пріобрѣтенное долговременною опытностью. Не во время она появится и не можетъ быть вполнѣ оцѣнена. Важность интереса, если я и сумѣлъ представить его въ простотѣ художественной формы, неминуемо должна ускользнуть отъ развлеченнаго вниманія даже такихъ читателей, которые въ другое, болѣе спокойное время поняли бы его вполнѣ. Исключеній будетъ не много, и, конечно, вы первый будете принадлежать къ нимъ. Съ Толстымъ мы видаемся часто и очень дружески. Я полюбилъ его отъ души; кажется, и онъ насъ любитъ. Книга моя выйдетъ черезъ мѣсяцъ. По милости ея глаза мои или глазъ сталъ хуже. Прощайте! Будьте здоровы и пріѣзжайте скорѣе. Крѣпко васъ обнимаю. Душою вашъ *С. Аксаковъ*.

Я живу на Тверскомъ бульварѣ, въ домѣ княгини Юсуповой.

* * *

Отвѣчалъ ли Тургеневъ на это письмо—не извѣстно; по крайней мѣрѣ отвѣтъ его не напечатанъ, и вообще не имѣется никакихъ слѣдовъ его дальнѣйшихъ сношеній, какъ съ Сергѣемъ Тимоѳеевичемъ, такъ и съ старшимъ его сыномъ. Если не ошибаемся, Тургеневъ не имѣлъ случая видѣться съ ними по своемъ возвращеніи въ Россію осенью 1858 года. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ того, 30-го апрѣля 1859 г., послѣдовала кончина Сергѣя Тимоѳеевича. Какимъ тяжкимъ ударомъ эта смерть была для его близкихъ, свидѣтельствуетъ слѣдующее письмо къ Тургеневу отъ И. С. Аксакова.

Письмо къ Тургеневу И. С. Аксакова.

Москва, 26-го октября 1859.

Я зналъ о вашемъ проѣздѣ черезъ Москву отъ Базунова, который и передалъ мнѣ отъ васъ извѣстіе о здоровьѣ моей

тетки А. С. Аксаковой; зналъ также, что вы, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ, оставались въ Москвѣ слишкомъ мало времени, чтобы можно было намъ успѣть видѣться. Что вамъ сказать о братѣ и вообще о нашихъ? Кончина батюшки не была для семьи просто потерею отца, но потерей, сверхъ того, самаго живого и живящаго ея члена, самаго сочувственнаго лица, самаго ласковаго, теплаго и мудраго совѣтника, съ которымъ всѣ мы постоянно находились въ умственномъ общеніи. Что касается до меня собственно, то лично въ моемъ образѣ жизни не произошло никакой перемѣны, потому что я почти не жилъ вмѣстѣ съ семьей, воспитавшись и проведя большую часть жизни внѣ семьи. Смерть вообще перестала быть для меня неожиданнымъ явленіемъ и не смущаетъ моихъ отношеній къ жизни. Слѣдовательно, про меня и говорить нечего. Но брата кончина батюшки совершенно перевернула. Вы его не узнаете—такъ онъ перемѣнился. Онъ какъ будто продолжаетъ держать за руку покойнаго, не покидаетъ его и за гробомъ, такъ-сказать, находится въ постоянномъ съ нимъ общеніи. Всякое развлеченіе себя онъ считаетъ нравственнымъ паденіемъ. Для постороннихъ это можетъ казаться страннымъ, но для меня, которому была извѣстна эта исключительная, даже не христіанская, если хотите, привязанность его къ отцу, — въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Въ теченіе сорока слишкомъ лѣтъ своей жизни Константинъ разлучился съ отцомъ только разъ въ жизни на четыре мѣсяца, да и этому ужъ 25 лѣтъ! Они жили, спали въ одной комнатѣ; отецъ мой, какъ страстный человѣкъ, такъ страстно полюбилъ своего первенца, что замѣнилъ ему няньку, убаюкивалъ самъ его пѣснями и проч. Слѣдовательно, независимо отъ всего, возьмите въ соображеніе одну силу сорокалѣтней привычки. Еще въ молодости развлекался онъ другими привязанностями, но въ послѣднія 10—15 лѣтъ, все, что было въ сердцѣ любви и нѣжности, соединенной съ сыновней pietas, все было сосредоточено имъ на одномъ отцѣ. Отецъ мой былъ слишкомъ уменъ и зорокъ, чтобы не понимать вреда этой исключительности, старался иногда ее ослабить, но и обстоятельства такъ сло-

жились, и болѣзнь моего отца, вслѣдствіе которой онъ потерялъ одинъ глазъ, все это вмѣстѣ помѣшало ему, а старческая хворь, напротивъ того, заставляла дорожить такою привязанностью. Какъ бы то ни было, о Константинѣ Сергѣевичѣ могу сказать только то утѣшительнаго, что онъ во вторые три мѣсяца (теперь уже шесть мѣсяцевъ прошло со времени кончины) сталъ усиленно и много заниматься, чему свидѣтельствомъ служатъ 13 печатныхъ листовъ его критической статьи о Буслаевѣ, изъ которыхъ одна половина уже помѣщена въ V-й книгѣ *Бесѣды*, а другая появится въ VI-й книгѣ. Маменька ослабѣла и опустилась сильно, но здорова, какъ и всѣ прочіе. Въ послѣдній годъ жизни моего отца критика была не только несправедлива къ нему, но жестка, груба и озлоблена. Кромѣ *Русской Бесѣды*, *Русскаго Вѣстника* и *Русскаго Дневника*, прочіе журналы почти и не упомянули о кончинѣ. Все это въ порядкѣ вещей: отецъ мой, читая хвалебные о себѣ отзывы, всегда говаривалъ: „Когда же примутся ругать? А это непремѣнно будетъ“. Я увѣренъ, что черезъ нѣсколько времени мнѣніе критики опять повернется къ нему...

Вы пишете, что только слышали о *Бесѣдѣ*. Да развѣ вы ея не получаете? Теперь-то бы вамъ и читать ее на досугѣ. Въ послѣдней V-й книгѣ много интереснаго. Хотите—я вамъ ее пришлю? Ко времени вашего пріѣзда въ Москву выйдетъ VI-я книга. Я подавалъ просьбу о дозволеніи мнѣ издавать газету подъ названіемъ *Дума*, но вчера получилъ отъ главнаго управленія цензуры отказъ на томъ основаніи, что вы де не оправдали довѣрія правительства при изданіи газеты *Парусъ*. Ни Хомякова, ни Елагиныхъ нѣтъ еще въ Москвѣ, равно какъ и Каткова.

Въ Петербургѣ депутаты съ Ростовцевскою комиссіей рѣжутся не на животъ, а на смерть. Эта борьба представляетъ прелюбопытное зрѣлище. Съ одной стороны — либерализмъ безкорыстный и благоразумный, но чиновничій, тѣмъ болѣе дерзкій, что отрѣшенъ отъ жизни, либерализмъ деспотовъ-бюрократовъ, нивелирующій, искажающій начала народной жизни, покланяющійся Петровской палкѣ. Съ другой стороны—

либерализмъ озлобившихся помѣщиковъ, дерзость людей, которымъ уже нечего больше терять, либерализмъ болѣе жизненный и способный къ жизненному воплощенію, но являющійся все же во имя личныхъ, корыстныхъ интересовъ. Обѣ стороны выбили другъ друга изъ позиціи, не имѣютъ почвы подъ ногами и болтаются ногами по воздуху, а третье лицо этой драмы, народъ, молчитъ и не раскрываетъ своихъ тайнъ, и ждетъ. На дняхъ, какъ меня увѣдомляли изъ Петербурга (по почтѣ), депутаты отъ трехъ губерній — Ярославской, Тверской и Харьковской (всего пять человѣкъ) подали государю адресъ, въ которомъ просятъ передать мѣстное управленіе сословіямъ дворянъ, крестьянъ, мѣщанъ и купцовъ, слитыхъ въ одно, ввести судъ присяжныхъ, гласность въ судѣ и печати и пр. и пр. Отвѣтъ былъ: „благодарить за совѣтъ“. Я не могу признать этотъ адресъ дѣломъ серьезнымъ, но все это важно, какъ симптомъ.

Какъ жаль, что вы опять нездоровы! Надѣюсь, что эта болѣзнь, не важная сама по себѣ, скоро пройдетъ. Ее надо лѣчить воздухомъ. Прощайте, до свиданія, крѣпко жму вамъ руку. Мой адресъ въ конторѣ *Русской Бесѣды*, на Никитской, въ домѣ княгини Голицыной, на дворѣ во флигелѣ (я тамъ и живу); а адресъ нашихъ — въ Гнѣздниковскомъ переулкѣ (рядомъ съ Леонтьевскимъ), домъ Нилуса. Весь вашъ *Иванъ Аксаковъ*.

Съ нетерпѣніемъ буду ждать появленія вашей новой повѣсти. Какъ относится она къ „Дворянскому Гнѣзду“ въ смыслѣ преемства мысли?

* * *

7-го декабря 1860 года скончался на островѣ Занте Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ. Онъ умеръ послѣ долгой и тяжкой болѣзни, окруженный близкими родными—матерью, сестрами и братомъ Иваномъ Сергѣевичемъ, которые и перевезли его тѣло въ Москву, чтобы похоронить въ Симоновомъ монастырѣ, рядомъ съ могилой Сергѣя Тимоѳеевича.

Тургеневъ находился въ Парижѣ, когда до него дошла вѣсть о смерти К. С. Аксакова. „Пожалуйста“, писалъ онъ

отъ 9-го января 1861 года А. И. Герцену,—„напиши мнѣ немедленно, откуда дошла до тебя вѣсть о смерти К. Аксакова, и достовѣрна ли она. Ни въ журналахъ, ни въ полученныхъ мною изъ Россіи письмахъ ни слова объ этомъ нѣту. Я все еще не хочу вѣрить смерти этого человѣка". Весною 1861 года Тургеневъ возвратился въ Россію и, вѣроятно, видѣлся съ И. С. Аксаковымъ, который около того времени началъ хлопотать о разрѣшеніи ему издавать газету *День*, и въ число сотрудниковъ ея пригласилъ Тургенева. Слѣдующія два письма, послѣднія въ настоящемъ собраніи, относятся къ этому сотрудничеству. Лѣто 1861 года Тургеневъ провелъ въ своемъ Спасскомъ, чтобы „присутствовать при медлительномъ устроеніи новаго быта" своихъ бывшихъ крѣпостныхъ *); о немъ-то и собирался онъ писать въ газету Аксакова.

Письмо къ Тургеневу И. С. Аксакова.

Пишу къ вамъ, чтобы только напомнить вамъ, дорогой Иванъ Сергѣевичъ, о вашемъ обѣщаніи. Мнѣ очень нужно *такое* письмо, дѣловое и дѣльное, изъ провинціи, съ мѣста; нужно пропустить живую струю свѣжаго воздуха, которая только и можетъ вѣять оттуда — снизу. Пожалуйста напишите. Я уже не говорю о томъ, какъ дорожу вашимъ сотрудничествомъ.

Былъ у меня вашъ молодой пріятель. Онъ мнѣ очень понравился. Мы говорили съ нимъ долго и много, и серьезно, и кажется мнѣ, я успѣлъ его отвратить отъ его неразумнаго предпріятія. Обнимаю васъ. Возвращайтесь скорѣе въ Россію. Вашъ *Иванъ Аксаковъ*.

4-го сентября 1861. Москва.

Письмо къ Тургеневу И. С. Аксакова.

(Исходъ 1861 года).

Ни слуху, ни духу объ васъ, или лучше сказать, ходятъ какіе-то слухи, но такіе нелѣпые, что и слухами называться

*) Первое собраніе писемъ И. С. Тургенева, стр. 91.

не могутъ. Не знаю, въ Петербургѣ ли вы, или за границей. На всякій случай посылаю письмо. Что же ваше обѣщаніе, любезный Иванъ Сергѣевичъ? Мнѣ очень бы хотѣлось и нужно бы было помѣстить ваши „Четыре мѣсяца въ деревнѣ“. Объ Анненковѣ также ничего не знаю, слѣдовательно, и о повѣсти вашей. Вашъ *Иванъ Аксаковъ*.

Мой адресъ теперь: въ Москву, на Спиридоновку, въ домѣ Вечеслова, или просто въ редакцію газеты *День*.

* * *

Статья, обѣщанная Тургеневымъ *Дню*, не была написана. Оно и понятно: не смотря на близкія отношенія къ семейству Аксаковыхъ и на знакомство съ другими представителями славянофильскаго направленія, Тургеневъ никогда не мирился съ ихъ воззрѣніями и оставался чистымъ западникомъ; появленіе статьи, подписанной его именемъ, на столбцахъ газеты, широко развернувшей славянофильскую программу, было бы уже слишкомъ большою аномаліей. Къ тому же, во второй половинѣ 1861 года Тургеневъ былъ поглощенъ работой надъ „Отцами и Дѣтьми“, а въ теченіе 1862 года переживалъ впечатлѣнія, произведенныя не него общественными и журнальными толками по поводу этого романа. Затѣмъ въ 1863 году, въ самый разгаръ польскаго возстанія, случилось одно обстоятельство, поставившее Тургенева въ острыя отношенія къ газетѣ Аксакова. Въ № 22 *Дня*, отъ 1-го іюня, появилась, за подписью г. Х., корреспонденція, въ которой разсказывалось, какія небылицы о звѣрствѣ русскихъ войскъ надъ поляками печатаются во французскихъ газетахъ, и прибавлялось, что по прочтеніи одного изъ такихъ извѣстій Тургеневъ вздумалъ было написать на нихъ каррикатурную пародію. Авторъ „Отцовъ и Дѣтей“ нашелъ нужнымъ протестовать противъ этого сообщенія письмомъ къ редактору *Дня*. „Вы бы меня весьма обязали“, писалъ онъ Аксакову,—„еслибы напечатали въ ближайшемъ нумерѣ вашего журнала, что въ этомъ анекдотѣ нѣтъ ни слова правды. Я вполнѣ раздѣляю ваше воззрѣніе на польскій вопросъ, но мнѣ противно думать, что въ такое не-

чальное, трудное, грозное время я выставленъ передъ читателемъ кривлякою и шутомъ. Видно, какъ ни прячь свою жизнь, какъ упорно ни замыкайся въ самомъ себѣ, досужаго корреспондента не убережешься. Мнѣ это тѣмъ болѣе досадно, что это появилось въ *Днѣ*, журналѣ, который уважаю и хотѣлъ бы видѣть чаще. Повторяю, вы сдѣлаете мнѣ истинное удовольствіе, если скажете объ этомъ нѣсколько словъ. Я убѣжденъ, что мы должны бороться съ поляками, но не должны ни оскорблять ихъ, ни смѣяться надъ ними". Аксаковъ напечаталъ это письмо въ № 29 *Дня*, отъ 20-го іюля, присоединивъ къ нему свое объясненіе, въ которомъ говорилъ между прочимъ слѣдующее: „Охотно исполняемъ желаніе многоуважаемаго нами писателя и извиняемся предъ нимъ и предъ публикой, что помѣстили такое невѣрное свѣдѣніе. Намъ это очень прискорбно потому, что оно такъ непріятно г. Тургеневу. Но, право, мы и теперь думаемъ, что отвѣчать на польскія баснословныя клеветы не возможно иначе, какъ смѣхомъ!" Какъ ни мягокъ былъ отвѣтъ Аксакова, онъ едва ли удовлетворилъ Тургенева; по крайней мѣрѣ, съ этого времени личныя сношенія между обоими писателями прекратились совершенно.

Никогда, можетъ быть, въ теченіе всей своей литературной дѣятельности Тургеневъ не заявлялъ своихъ западническихъ воззрѣній болѣе настойчиво, чѣмъ во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ. Ему казалось, что они теперь въ загонѣ, и онъ считалъ долгомъ выступить на ихъ защиту. Съ явнымъ сочувствіемъ излагалъ онъ ихъ устами Потугина въ „Дымѣ" (1867 г.), а чтобы не было никакого сомнѣнія, что эти рѣчи составляютъ исповѣдь самого автора, онъ повторялъ то же самое уже отъ своего лица въ „Воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ" (1868 г.), и наконецъ, въ статьѣ „По поводу Отцовъ и Дѣтей" (1869 г.) называлъ себя „кореннымъ, неисправимымъ западникомъ, считающимъ славянофильское ученіе ложнымъ и безплоднымъ". Критика строго отнеслась къ тенденціозности „Дыма", но Тургеневъ храбро держался противъ ея упрековъ. „Представьте себѣ", писалъ онъ П. В. Анненкову въ маѣ 1867 года, въ мо-

ментъ московскаго славянскаго съѣзда,—„я нисколько не конфужусь: словно съ гуся вода. Я, напротивъ, очень доволенъ появленію моего забитаго Потугина, вѣрующаго единственно въ цивилизацію европейскую, въ самый разгаръ этого всеславянскаго фанданго съ кастаньетками, въ челѣ котораго такъ потѣшно кувыркается Погодинъ“ *). Замѣчательно, однако, что одновременно съ „Воспоминаніями о Бѣлинскомъ“ Тургеневу вздумалось написать воспоминаніе и о славянофилахъ, главнымъ образомъ — о семьѣ Аксаковыхъ. Набросавъ эту статью, онъ увѣдомилъ о томъ Анненкова и прибавлялъ: „За изысканную вѣжливость этого отрывка ручаюсь заранѣе“ **). Онъ предполагалъ было пустить написанное въ печать, но вскорѣ отказался отъ такого намѣренія. Какого свойства была эта статья—остается неизвѣстнымъ; но уже самая мысль Тургенева написать воспоминанія о семействѣ Аксаковыхъ служитъ свидѣтельствомъ тому, что свои сношенія съ ними авторъ „Дворянскаго Гнѣзда“ считалъ однимъ изъ замѣчательныхъ эпизодовъ своей жизни. Будущему біографу Тургенева, несомнѣнно, предстоитъ любопытная и важная задача опредѣлить, какая роль принадлежитъ вліянію Аксаковыхъ въ развитіи Тургеневскаго творчества.

Л. Майковъ.

---

*) *Русское Обозрѣніе* 1894 г., № 1, стр. 19 и 20.
**) Тамъ же № 4, стр. 513.

Алфавитный указатель

произведеній Тургенева, именъ писателей, названій сочиненій, статей, книгъ, журналовъ, газетъ и т. п. — упоминаемыхъ на страницахъ второй части второго выпуска „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева".

Абу, Эдмонъ. 248—250.
Авсѣенко, В. Г. 24—42, 53—66, 112—114, 139—142, 172, 173, 179, 180, 188.
Адлербергъ. гр. 412.
Аксакова, А. С. 567.
Аксакова, О. Г. 356.
Аксаковъ, Г. 356, 466.
Аксаковъ, И. С. 84, 290, 356—573.
Аксаковъ, К. С. 84, 290, 356—573.
Аксаковъ, С. Т. 84, 218, 228, 290, 356—573.
Алмазовъ, Б. Н. 418.
Алябьевъ. 343.
„Анджело", Кюи. 303.
„An die Idee", К. С. Аксакова. 552.
„Андрей". 215, 426.
„Андрей Колосовъ". 216, 226.
„Анна Каренина", Толстого. 149, 326, 353, 307.
Анненкова, Г. А. 358.
Анненковъ, П. В. 78, 218, 288, 315, 358, 395, 413, 414, 450, 463, 465, 469, 474—476, 478, 480, 482, 485, 495—497, 517, 520, 542, 544—547, 554, 561, 562, 571—573.
Антокольскій. 300, 309, 315—318, 321, 328, 330.
„Антонъ Горемыка", Григоровича. 450.
„Арабески", Гоголя. 345.
Арапетовъ, И. П. 288, 479.
„Арцагангъ". 273.
„Ася". 219, 222, 228, 561.
„Атеней", 219.
„Атта-Троль", Гейне. 69.
Ауэрбахъ. 221.
Афанасьевъ. 295.
„Ахъ, давно ли гулялъ я съ тобой". 216.
„Ацисъ и Галатея", Клодъ-Лоррена. 350.
„Бабочникъ", Пименова. 340.
Базуновъ. 378—381, 566.
Байронъ. 216, 341.
„Бакинскія Извѣстія". 273.
Бакунинъ, М. А. 542.
Балакиревъ. 292, 293, 295, 298, 321.
„Баллада". 215.
Бальзакъ. 564.
Баратынскій. 504, 507—509.
Барклай-де-Толли. 339.
Барсовъ. 533.
Бартеневъ, П. И. 372.
„Безденежье". 216.

ая Ночь". 215.
93.
ь. 276, 278.
. 476.
Артуръ. 220.
r Börsen Courier". 241.
, Сарра. 332, 333.
499, 502, 505.
ъ. 297, 301, 465.
ека для Чтенія". 219, 459,

ыя Вѣдомости". 222.
ыя Новости". 43.
". 217, 221, 392.
ія Загоскина", С. Т. Ак-
. 397, 405, 410, 412, 413,
121, 423, 429, 462, 500.
). 403.
. 527.
ри великаго князя Вла-
а", К. С. Аксакова. 410.
овъ, А. П. 285, 288.
25.
429.
Годуновъ", Мусоргска-
)2.
Годуновъ", Пушкина.

ъ. 303.
, В. П. 215, 292—294,
74, 478—480, 482—485,
54, 560.
, М. 334.
ь, Георгъ. 231.
гъ. 247.
ръ". 216, 226.
ръ". 188, 220.
а", И. С. Аксакова. 370,
94—396.
подъ озеромъ". 216.
, С. К. 222.
. 292—294, 317, 321,
39, 342, 343.
)въ. 321.

Булгаринъ. 533.
Бурдинъ. 533.
Буренинъ, В. 68—72, 115, 142—146, 164, 169—171, 173, 174, 180, 182, 186, 192, 193, 204, 205, 324, 334.
Бурже, Поль. 231.
„Бурлаки", Рѣпина. 351.
„Бурмистръ". 217, 392.
Буслаевъ. 568.
Буткевичъ. 219.
Бутлеровъ. 206, 207.
„Бѣдная Невѣста", Островскаго. 218.
„Бѣжинъ Лугъ". 217.
Бѣлинскій. 219, 220, 226, 230, 286, 321, 360, 452, 453, 572, 573.
„Бѣсы", Достоевскаго. 41, 45.
Вагнеръ. 206, 207.
„Вальсъ", Щербачева. 326.
Вандикъ. 293.
Варламовъ. 343.
Васильевъ, П. 221.
Васильевъ, свящ. 288.
Васильчиковъ, кн. 548, 549, 564.
Веберъ. 465.
Веласкесъ. 349.
Веліегорская, гр. 519.
Вельтманъ, Е. И. 433—439, 444.
„Венеціанскій Купецъ", Шекспира. 14.
Вердеръ. 225.
Верещагинъ, В. В. 311, 323, 330.
„Весенній Вечеръ". 215.
„Вешнія Воды". 221.
„Взбаламученное Море", Писемскаго. 43, 45.
„Взятіе Божіей Матери на небо", Брюлова. 342.
Вигель. 341.
„Видъ на Валаамѣ", Куинджи. 351.
„Викторъ", Е. И. Вельтманъ. 433, 434, 438, 444.

Витали. 348.
Витбергъ. 347.
Віардо, Луи. 232, 287, 289, 296.
Віардо, П. 238, 259, 287, 289, 296, 297, 301, 302, 308, 312, 315, 322, 329.
Владиславлевъ. 276.
„Власть Тьмы", Толстого. 355.
де-Вогюэ, Мельхіоръ. 231.
„Волшебныя Сказки", Перро. 220.
Вольтеръ. 121.
Вонлярлярскій. 393.
„Воспоминаніе объ А. С. Шишковѣ", С. Т. Аксакова. 429, 441.
„Воспоминаніе студентства 1832—1835 годовъ", К. С. Аксакова. 542.
„Воспоминанія о Бѣлинскомъ". 220, 572, 573.
„Восточное Обозрѣніе". 274.
„В. П. Б.". 215.
Вронченко, М. 216.
„Всемірная Иллюстрація". 274.
„Встрѣча моя съ Бѣлинскимъ". 219.
„Вчера и Сегодня". 216.
„Въ Дорогѣ". 216.
„Въ ночь лѣтнюю, когда тревожной грустью полный". 215.
„Вѣкъ". 219, 293.
„Вѣстникъ Европы". 1—9, 79, 206, 214, 220—223, 254, 280, 312, 316—318, 326, 356—358, 370, 377, 395, 520, 540, 542, 554, 561.
Вяземскій, кн. 526, 527, 533.
Габоріо. 210.
Гаевскій, В. П. 311, 348.
„Газета Гатцука". 273.
„Gazetta Piemontese". 236.
Гайднъ. 301.
Галаховъ, А. Д. 421.
„Гамлетъ и Донъ-Кихотъ". 15, 219.
„Гамлетъ", Шекспира. 471.
„Гамлетъ Щигровскаго уѣз 217, 392.
Гансъ. 225.
Гартманъ. 298.
Гаршинъ, Вс. 352.
„Гашишъ", гр. А. А. Куту 322, 328, 329.
„Гдѣ тонко, тамъ и рвется".
Гегель. 136.
Гедеоновъ. 216.
Ге. 350, 352.
Гейне. 69.
„Гемициклъ", Делароша. 31
„Генералъ-поручикъ Патку Кукольника. 216.
„Генералъ-поручикъ Паткуль гедія Кукольника", статья генева. 216.
Герценъ. 84, 85, 89, 91, 178.
Гёте. 18, 123, 208—210, 216, 320, 331, 395, 431, 479.
Гиляровъ. 529.
Гильомэ, Морисъ. 238.
Глазуновъ. 223.
Глинка. 294, 318, 321, 341—353.
„Глушенье Рыбы", С. Т. А кова. 441.
Глюкъ. 301, 303, 320.
Гнѣдичъ. 321.
Говоруха-Отрокъ (Ю. Николае 72—78, 147—150, 166, 181, 186, 187.
Гоголь. 86, 114, 205, 211, 227, 235, 306, 343—345, 354, 357, 371, 372, 375— 383, 390, 391, 416, 426, 433, 435—438, 444, 501, 519, 525, 531, 538, 547, 557, 560, 563.
Годеинъ. 544.
Голенищевъ-Кутузовъ, гр.
Головинъ, К. 104—109, 199

Stanford University Libraries
3 6105 124 438 032

PG 54
Z 42
v. 2

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

MAR 1 1975